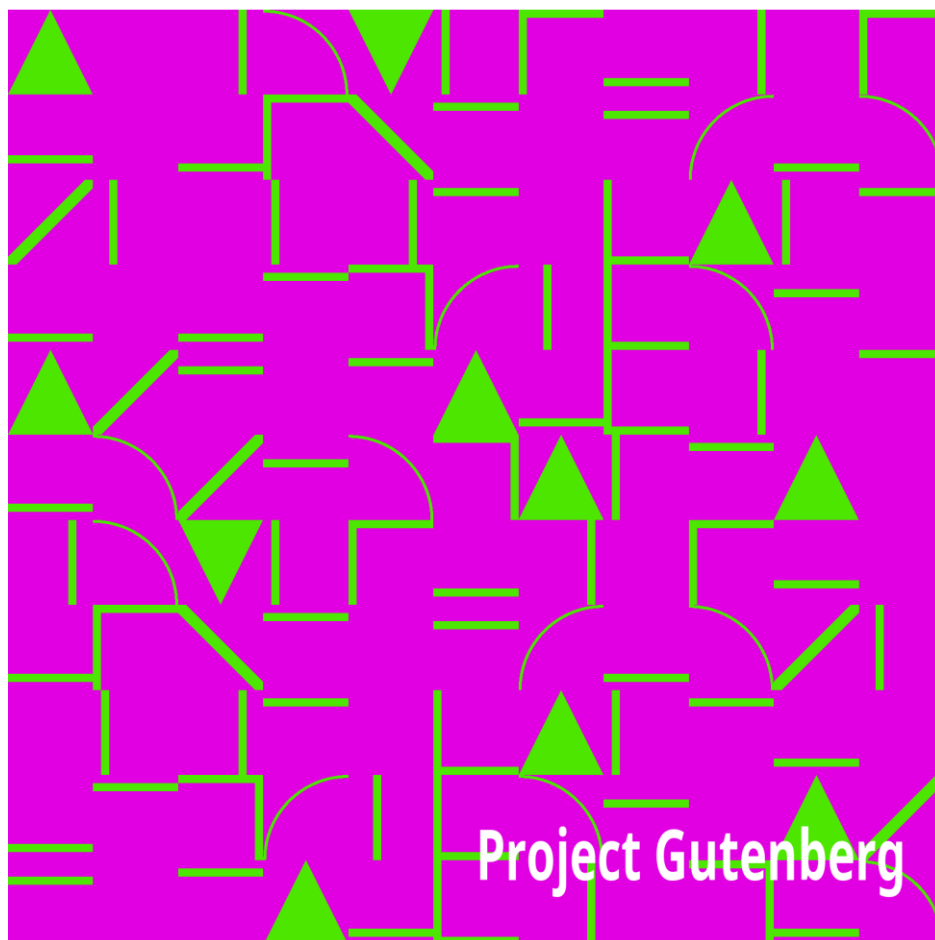


История Рима в период поздней республики и раннего принципата

А. Х. Дж. Гринидж

A History of Rome During the Later Republic and Early Principate

A. H. J. Greenidge



The Project Gutenberg eBook of A History of Rome During the Later Republic and Early Principate.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: A History of Rome During the Later Republic and Early Principate

Автор: А. Х. Дж. Гринидж

Дата выхода: 1 января 2006 [eBook #9781]

Последнее обновление: 2 января 2021 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Чарльзом Альдарондо, Керен Вергон, Чарли Киршнером и командой онлайн-распределенной корректуры

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK A HISTORY OF ROME DURING THE LATE REPUBLIC AND EARLY PRINCIPATE ***

Подготовлено Чарльзом Альдарондо, Керен Вергон, Чарли

Киршнером и командой онлайн-распределенной корректуры.

ИСТОРИЯ РИМА

В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ И РАННЕГО КНЯЖЕСТВА

А. Н. J. GREENIDGE, M. A., D. LITT. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ПОЗДНИЙ СТИПЕНДИАТ ГЕРТФОРДСКОГО КОЛЛЕДЖА И ЛЕКТОР ПО ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ В БРАСЕНОУЗ-КОЛЛЕДЖЕ, ОКСФОРД

ТОМ I

ОТ ТРИБУНАТА ТИБЕРИЯ ГРАКХА ДО ВТОРОГО КОНСУЛЬСТВА МАРИЯ ДО Н. Э. 133-104 ГГ.

С ДВУМЯ КАРТАМИ

НА ДО Н. Э. И ДО Н. Э.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот труд будет состоять из шести томов. Согласно предварительно составленному мною плану, второй том будет охватывать период со 104 по 70 год до н. э., заканчивающийся первым консульством Помпея и Красса; третий - период с 70 по 44 год до н. э., завершающийся смертью Цезаря; четвертый том, вероятно, будет занят Третьей гражданской войной и правлением Августа, а пятый и шестой - правлением императоров до восшествия на престол Веспасиана.

Первоисточники, на которых основана большая часть содержания настоящего тома, были собраны в течение последних нескольких лет мисс Клей и мной, и уже опубликованы в сокращенном виде. Некоторое представление о долге, которым я обязан современным авторам, можно получить из ссылок в сносках. Поскольку для краткости я часто приводил работы этих авторов под сокращенными и неполными названиями, я счел целесообразным добавить к этому тому список полных названий работ, на которые даются ссылки. Но этот список не претендует на то, чтобы быть полной библиографией того периода истории, которому посвящен данный том. Карта Вэд-Меллага и прилегающей к нему территории, которую я вставил для иллюстрации вероятного места битвы при Мутхуле, взята из карты "Medjerda supérieure", опубликованной в *"Атласе романской провинции Африки"* мсье Саломона Рейнаха.

Я очень обязан моему другу и бывшему ученику, мистеру Э. Дж. Хардингу из Хартфордского колледжа, за бескорыстный труд, который он затратил на гранки всего этого тома. Его проницательности и рассудительности обязаны многие улучшения в форме работы.

Проблема, с которой сталкивается автор, погружающийся в историю народа (каким бы полным ни было единство периода, с которым он имеет дело), заключается в объеме вводной информации, которую он считает необходимым предоставить своим читателям. В данном случае я не чувствовал ни обязанности, ни желания давать очерк развития Рима или его конституции вплоть до периода Гракхов. Тот объем информации по общей и политической истории Рима, который средний студент должен был получить из любого из превосходных учебников, используемых в настоящее время, вполне достаточен, чтобы позволить ему понять технические аспекты политики того периода, с которым я имею дело; и мне очень не хотелось обременять этот том *кратким изложением* предмета, который я уже рассматривал в другой работе. С другой стороны, не так-то просто получить информацию о социальной и экономической истории Рима, и поэтому первые сто страниц этой книги я посвятил подробному изложению условий, предшествовавших и определивших великий конфликт интересов, которым открывается наша история.

А. Н. J. G.

ОКСФОРД, август, 1904 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I: Характеристика периода. Последние изменения в условиях римской жизни. Завершение периода экспансии за счет колоний или земельных наделов. Причины социального недовольства. Жизнь зажиточных классов. Издержки политической жизни. Попытки борьбы с роскошью. Мотивы наживы среди высших классов. Средства приобретения богатства, открытые для представителей знати; средства, открытые для представителей торгового сословия. Политическое влияние эквитов. Деловая жизнь Рима; финансы и банковское дело. Внешняя торговля. Положение мелких торговцев. Сельское хозяйство. Сокращение числа крестьян-собственников. Латифундии и новый сельскохозяйственный идеал. Рост пастбищного хозяйства. Причины изменений в землевладении. Система владения. Будущие перспективы сельского хозяйства. Рабский труд; опасности, связанные с его использованием; восстания рабов в Италии. Подневольная война в Сицилии (около 140-131 гг. до н. э.). Необходимость реформ.

ГЛАВА II: Источники, из которых могла исходить реформа. Отношение Сципиона Аэмилиана. Тиберий Гракх; его юность и ранняя карьера. Нумантинский договор. Мотивы, побудившие Тиберия Гракха к реформам. Его трибунат (133 г. до н. э.). Условия введенной им аграрной меры. Создание специальной аграрной комиссии. Оппозиция законопроекту. Вето, наложенное Марком Октавием. Тиберий Гракх объявляет юстицию. Бесплодное обращение в сенат. Отставка Октавия. Принятие аграрного закона; назначение комиссаров; судебная власть, предоставленная комиссарам. Использование завещанного Атталом имущества. Нападки на Тиберия Гракха. Его защита низложения Октавия. Новая программа Тиберия Гракха; предложение мер, касающихся армии, судов и италийцев. Попытка Тиберия Гракха переизбраться в трибуны. Бунт во время выборов и смерть Тиберия Гракха, последствия его падения.

ГЛАВА III: Отношение сената после падения Тиберия Гракха. Специальная комиссия, назначенная для суда над его приверженцами (132 г. до н. э.). Судьба Сципиона Назики. Постоянство земельной комиссии и тщательность ее работы. Трудности, связанные с юрисдикцией по спорным претензиям. Италийцы обращаются к Сципиону Аэмилиану. Его вмешательство; судебная власть отбирается у комиссаров (129 г. до н. э.). Смерть Сципиона Аэмилиана. Трибунат Карбо (131 г. до н. э.); закон о голосовании и попытка сделать трибуна сразу же повторно избранным. Требования италиков; переговоры о расширении избирательного права. Чужеземный акт Пенна (126 г. до н. э.). Предложение Флакка о расширении трибуната (125 г. до н. э.). Восстание фригийцев. Основание Фабратерии (124 г. до н. э.). Внешние события этого периода; Пергамское царство. Завещание Аттана Третьего (133 г. до н. э.). Восстание Аристоники (132-130 гг. до н. э.). Организация провинции Азия (129-126 гг. до н. э.). Сардинская война (126-125 гг. до н. э.). Завоевание и присоединение Балеарских островов (123-132 гг. до н. э.).

ГЛАВА IV: Политическая ситуация к моменту появления Кая Гракха в качестве кандидата в трибуны (124 г. до н. э.). Ранняя карьера Кая Гракха. Первый трибунал Кая Гракха (123 г. до н. э.). Законы, принятые или предложенные во время этого трибунала; закон о защите капута римского гражданина. Импиachment Попилия. Закон, касающийся магистратов, которые были низложены народом. Социальные реформы. Закон, предусматривающий удешевление продажи кукурузы. Закон, смягчающий условия военной службы, 208 г. Аграрный закон. Судебное законодательство. Закон, разрешающий уголовное преследование за продажные судебные решения. Закон о провинции Азия. Новый баланс сил, созданный этими законами в пользу эквитов. Закон о консульских провинциях. Колониальные планы Кая Гракха. Закон Рубриана об обновлении Карфагена. Закон о строительстве дорог. Избрание Фанния в консулы, а Кая Гракха и Флакка в трибуны. Деятельность Кая Гракха во время его второго трибунала (122 г. до н. э.). Законопроект о франшизе. Оппозиция законопроекту. Исключение италиков из Рима; угроза вето и приостановка меры. Предложение об изменении порядка голосования в Comitia Centuriata. Новая политика сената; контрзаконодательство Друза. Колониальные предложения Друза. Его меры по защите латинян. Завершение второго трибунала Кая Гракха. Его неспособность быть избранным трибуном в третий раз. Предложение об отмене закона Рубриана. Собрание на Капитолии и его последствия (121 г. до н. э.). Объявление осадного положения. Захват Авентина; поражение гракханцев; смерть Кая Гракха и Флакка. Судебное преследование приверженцев Кая Гракха. Будущие суды над Гракхами. Последние годы жизни Корнелия. Оценка характера и последствий реформ Гракхов.

ГЛАВА V: Политическая ситуация после падения Кая Гракха. Обвинение и оправдание Опимия (120 г. до н. э.). Публий Лентул умирает в изгнании. Обвинение и осуждение Карбо (119 г. до н. э.). Луций Красс. Политика сената в отношении поздних реформ. Два новых земельных закона (около 121-119 гг. до н. э.). Решение земельного вопроса в отношении Ager Publicus в Италии (III в. до н.э.). Ограничение власти знати; конные суды; процессы над Скаэволой (120 г. до н. э.) и Катонем (113 г. до н. э.). Консульство Скавра (115 г. до н. э.); закон об избирательном праве вольноотпущенников. Сумбурный закон; деятельность цензоров Метелла и Домиция (115 г. до н.э.). Триумфы Домиция, Фабия (120 г. до н. э.) и Скавра (115 г. до н. э.) за военные успехи. Доверие избирателей к древним домам. Признание талантов знати; карьера Скавра (163-115 гг. до н. э.). Возвышение Мария; его ранняя карьера (157-119 гг. до н. э.). Трибунал Мария (119 г. до н. э.). Его закон о способе голосования в комициях проведен, несмотря на противодействие сената. Он выступает против меры по распределению кукурузы. Марий избирается претором; обвиняется и оправдывается по делу Амбита (116 г. до н. э.). Его преторство (115 г. до н. э.) и пропреторство в Испании (114 г. до н. э.). Дальнейшая оппозиция сенату; основание Нарбо Марция (118 г. до н. э.). Глауций; его трибунал и закон о вымогательстве (около 111 г. до н. э.). Дух смуты; религиозные страхи в Риме (114 г. до н.э.). Первый суд над весталками (114 г. до н. э.). Второй суд над весталками (113 г. до н. э.). Человеческие жертвоприношения. Большой пожар в Риме (III в. до н. э.).

ГЛАВА VI: Нумидийское царство. Расы Северной Африки. Нумидийцы. Нумидийская монархия. Правление Миципса (148-118 гг. до н.э.). Ранние годы Югурты. Югурта в Нумантии (134-133 гг. до н. э.). Совместное правление Югурты, Адгербала и Гиемпсала (118 г. до н. э.). Убийство Гиемпсала (около 116 г. до н. э.); война между Югуртой и Адгербалом. Оба царя отправляют посланников в Рим; обращение Адербала. Решение сената. Нумидия разделена между претендентами. Возобновление войны между Югуртой и Адербалом (около 114 г. до н. э.). Осада Цирты (112 г. до н. э.). Посольство из Рима, проигнорированное Югуртой. Повторное обращение Адербала. Очередная комиссия, присланная Римом. Сдача Цирты и убийство Адербала. Расправа над итальянскими торговцами. Ее влияние на торговые круги Рима; протест Меммия. Объявление войны Югурте. Командование Бестией в Нумидии (III в. до н. э.). Отношение Бокха из Мавретании. Переговоры Бестии с Югуртой; заключение мира. Волнение в Риме при известии о соглашении с Югуртой. Деятельность Меммия. Югурта побуждают прибыть в Рим (III в. до н. э.). Югурта в Риме; сцена в Контио. Убийство Массивы. Югурта покидает Рим, и война возобновляется, 365 г. Спурий Альбин в Нумидии. Он возвращается в Рим, оставив командовать Аулуса Альбина. Предприятие Аула Альбина; его поражение и договор с Югуртой (109 г. до н. э.). Получение известия в Риме; сенат признает договор недействительным. Возвращение Спурия Альбина в Африку. Мамилианская комиссия (110 г. до н. э.). Метелл назначен в Нумидию (109 г. до н. э.).

ГЛАВА VII: Метелл восстанавливает дисциплину в армии. Югурта пытается вести переговоры; Метелл интригует с посланниками. Первая кампания Метелла (109 г. до н. э.). Захват Ваги. Битва при Мутуле. Принятие известий в Риме. Второй поход Метелла (108 г. до н. э.). Осада Замы. Переписка Метелла с Бомилькаром. Переговоры с Югуртой. Недовольство в провинции Африка ходом войны; амбиции Мария. Планы по обеспечению Мариуса командованием. Резня римского гарнизона в Ваге. Восстановление Ваги Метеллом. Суд и казнь Турпилия, интриги Бомилькара. Бомилькар предан смерти Югуртой. Марий возвращается в Рим. Его избрание в консулы (108 или 107 г. до н. э.); Нумидия назначена его провинцией. Зачисление *Capite Censi* в легионы. Экспедиция Метелла в Талу (107 г. до н. э.); захват города, Лептис Майор обращается за помощью к римлянам и получает ее. Югурта находит помощь среди гетульцев. Соединение Югурты и Бокха. Метелл движется к Цирте. Завершение командования Метеллом.

ГЛАВА VIII: Марий прибывает в Африку (107 г. до н. э.). Возвращение Метелла в Рим: его триумф. Первая кампания Мария. Экспедиция в Капсу и разрушение города. Второй поход Мария (106 г. до н. э.); операции на Мулукче. Прибытие Суллы с конницей из Италии. Начало карьеры Суллы. Возобновление коалиции Югурты и Бокха. Отступление Мария на Цирту; сражения на этом пути. К Мариусу обращается Бокк; Сулла и Манлий отправляются на встречу с Бокхом. Посланцы Бокха достигают Суллы в римском зимнем лагере (105 г. до н. э.). С Бокхом заключено перемирие; затем римский сенат предоставляет ему условные условия союза. Миссия Суллы к Бокху. Защитники Нумидии и Рима при мавританском дворе. Сулла призывает Бокха выдать Югурту. Предательство нумидийского царя; завершение войны; урегулирование в Нумидии. Судьба Югурты. Триумф Мария. Уроки Нумидийской войны. Растущее соперничество между Марием и Суллой. Внутренняя политика Рима; реакция в пользу знати; избрание Серрана и Казпиона (107 г. до н. э.). Судебный закон Казпиона (106 г. до н. э.). Мера, поддержанная Крассом. Реакция против предложения; победа эквитов; возобновление коалиции против сената в связи с проведением кампании на Севере. Консульские выборы 105 г. до н. э. Последствия поражения при Араузио (6 октября 105 г. до н. э.). Избрание Мария на второй консульский срок.

КАРТЫ

Вэд Меллаг и прилегающая территория.
Нумидия и римская провинция Африка.
Названия современных работ, упомянутых в примечаниях.

*Знает ли орел, что находится в яме?
Или ты пойдешь спросить у крота?
Можно ли вложить Мудрость в серебряный жезл?
Или Любовь в золотую чашу?*

БЛЕЙК

ИСТОРИЯ РИМА

ГЛАВА I

Период римской истории, в который мы сейчас вступаем, как и многие предшествующие ему, является периодом восстания, прямо направленного против существующих условий общества и через средства, принятые для удовлетворения новых потребностей и облегчения внезапно осознанных, если не внезапно созданных, страданий того времени, косвенно влияющего на структуру политического тела. Разница между социальным движением настоящего и прошлого может быть справедливо описана как одна из степеней, поскольку в революции, начавшейся с Гракхов и закончившейся Цезарем, не было ни одного элемента недовольства, который не присутствовал бы в предыдущие эпохи социальных и политических волнений. Бремя военной службы, проклятие долгов, нищета аграрного пролетариата, жажда земли, стремление ремесленника и купца к улучшению условий труда и торговли - отдельные крики недовольства, которые находят свое объединение в протесте против монополии власти и узкого или эгоистичного правления господствующего класса, Все эти крики наполняли воздух в то время, когда Кай Лициний в середине IV века и Аппий Клавдий в его конце разрабатывали свои проекты реформ. Цикл истории нации действительно никогда не может быть прерван, пока характер нации остается прежним. И средний римлянин середины второго века до нашей эры[1] во всех существенных чертах был римлянином времен Аппия и Лициния, или даже той эпохи, когда десять комиссаров опубликовали Таблицы, которые должны были наложить печать вечного характера на римское право. В деловых отношениях он был либо угнетателем, либо угнетенным, либо молотом, либо наковальней. В личной жизни он был индивидуалистом, чьи симпатии ограничивались узким кругом его иждивенцев; он был торговцем и финансистом, чьи гуманитарные инстинкты были подчинены кодексу чисто коммерческой морали, и кто ценил справедливость главным образом потому, что она представляла линию наименьшего сопротивления и облегчала ведение его промышленных операций. Как и все индивидуалисты, он был в некотором роде анархистом, проникнутым идеей, которая прослеживается на каждой странице летописи его предков и истории его государства, что самопомощь является божественно данным средством обеспечения права, что истинный социальный порядок - это решение противоречивых претензий, доведенных до предела, пока усталые борцы не придут к временному компромиссу; Но ему мешало осознание того, что демократия - это плод индивидуального самоограничения и подчинения общей воле - качества, которыми он не мог похвастаться, и символы награды, которую он не хотел бы получить за счет своих особых представлений о личной свободе, - и он был вынужден, Вследствие этого отречения он был вынужден подчиниться исполнительному правительству, столь же сильному, можно сказать, тираническому, как и все, что когда-либо

демонстрировала республика, - правительству, которое было продуктом беспокойного духа самоутверждения и самовозвеличивания, который римлянин чувствовал в себе и, следовательно, имел достаточно оснований подозревать в других.

Римлянин остался прежним, но за последние пятьдесят или шестьдесят лет его окружение изменилось более разительно, чем за все предшествующие столетия в истории Республики. Завоевание Италии, правда, дало его городу много нового и плодотворного в области религии, искусства, торговли и права. Но эти добавления лишь способствовали более полной реализации тенденции, которая проявилась с самого раннего этапа республиканской истории, - тенденции вписать отдельные элементы чудесных открытий, сделанных одаренной небесами расой греков, в рамки, которые были полностью национальными и римскими. Идеи были заимствованы, и эти идеи, безусловно, привели к повышению эффективности и, следовательно, к росту богатства. Но грубый материал эллинизма, реализованный в интеллектуальных идеях или (приз, который больше привлекал практичного римлянина с его конкретным умом) в материальных вещах, не был воспринят в целом как награда за победу: и в прежние века не предпринималось больших попыток усвоить одно или насладиться другим. Природа материальных наград, которые были обеспечены эпохами итальянских завоеваний, действительно делала такую ассимиляцию или наслаждение невозможными. Они были бы возможны только в государстве, которое обладало достаточно полной городской жизнью; а эффект войн, которые Рим вел со своими соседями на полуострове, привел к тому, что жизнь среднего гражданина стала более чисто сельскохозяйственной, чем это было в эпоху ранней Республики, возможно, даже в эпоху царей. Ход политической, социальной и интеллектуальной истории нации в значительной степени определяется методами, которые она использует для своего расширения в тот неизбежный момент, когда ее первоначальные границы оказываются слишком узкими, чтобы удовлетворить даже самые скромные потребности растущего населения. Выбранный метод будет зависеть главным образом от географических условий и от военных характеристик народа, которые неразрывно связаны с ними. Когда город Старой Греции начал ощущать силу своей растущей мужественности и развивающийся голод, который был одновременно признаком и источником этой силы, он посмотрел на горную линию, отрезавшую его от внутренних районов, он обратил полный надежды взгляд на море, сверкавшее у его берегов; он укомплектовал свои корабли и отправил свою беспокойную молодежь к новому и далекому дому, который был лишь копией старого. Результатом этого морского приключения стали слава городской жизни и всеобъемлющий размах эллинизма. Прогресс римского предпринимательства был совершенно иным. Следуя примеру всех завоевательных народов Италии,[2] и особенно сабеллианских захватчиков, чье движение непосредственно предшествовало их собственному, римляне взяли курс на экспансию вглубь страны, и то городское единство, которым они обладали, рассеялось по обширным территориям, на которых оседали легионы или куда знатный человек посылал своих вооруженных сторонников, номинально для того, чтобы сохранить землю в качестве общественного достояния Рима, в действительности же, чтобы сохранить ее для себя и своих потомков. В определенный момент (который так же четко обозначен в римской, как и в эллинской истории) возможность такой экспансии прекратилась, и необходимость ее прекращения была столь же полно выражена в политике правительства, как и во вкусах народа. Ни одна латинская колония не была основана позже 181 года, ни одна римская колония - позже 157 года,[3] и сенат не проявлял склонности к возобновлению планов дальнейшего распределения территории между народами. Такое безразличие к колониальным предприятиям объяснялось многими причинами. Во-первых, хотя колонизация всегда была облегчением для пролетариата и одним из средств, регулярно используемых властью имущими для смягчения его опасного недовольства, правительство

всегда рассматривало социальный аспект этого метода экспансии как подчиненный стратегическому.[4] Этого стратегического мотива больше не существовало, и недаленовидная политика, которая смотрела на настоящее, а не на будущее, на людей нынешнего поколения, а не на их сыновей, вполне могла счесть, что колония, которая не нужна для защиты района, в котором она была поселена, пагубно влияет на боевую мощь Рима. Морские колонии, основанные с конца великой Латинской войны и до конца второй борьбы с Карфагеном, требовали, по крайней мере во многих случаях, освобождения от военной службы,[5] а традиция такого рода имеет тенденцию сохраняться, когда ее оправдание уходит в прошлое. Но даже если бы правительство могло опровергнуть такую точку зрения, несомненно, что сбор становился тем более серьезным делом, чем больше становилось общин, в которые приходилось обращаться командиру рекрутов, и столь же очевидно, что ветеран, только что получивший надел, на котором он мог основать свое хозяйство, мог быть склонен запоздало откликнуться на призыв к оружию. Латинская колония казалась еще большим анахронизмом, чем военная колония граждан. Член такой общины, хотя государство, в которое он входил, пользовалось большими привилегиями автономии, переставал быть римским гражданином в отношении политических прав, и даже в те времена, когда самоуправление ценилось едва ли не больше, чем гражданство, правительство могло осуществить свой проект по продвижению этих полунезависимых поселений в сердце Италии только угрожая денежным штрафом солдату, который предпочитал свои права гражданина тем льготам, которые он мог получить в качестве эмигранта.[6] Теперь, когда великие войны принесли сомнительную, но, по крайней мере, потенциальную выгоду каждому члену римской общины, а пропасть между полноправными гражданами и членами союзных общин все увеличивалась, было более чем сомнительно, что представитель первого класса, каким бы отчаянным ни было его положение, с готовностью согласится записать себя в число последних. Но даже если не принимать во внимание эти соображения, любому, кто придерживался традиционного мнения, что колонизация должна служить целям государства, должно было показаться весьма сомнительным, что безземельному гражданину того времени можно доверять выполнение своих обязанностей эмигранта. Еще в 186 году консул Спурий Постумий, совершая судебное турне по Италии, к своему удивлению обнаружил, что колонии на обоих итальянских побережьях, Сипонтум на Верхнем и Буксентум на Нижнем море, были покинуты их жителями, и для замены исчезнувших в пространстве недобросовестных эмигрантов необходимо было организовать новый сбор.[7] С течением времени риск такого дезертирства становился все выше, отчасти из-за растущей трудности поддержания достаточного уровня жизни на земле, отчасти из-за того, что более энергичные духи, от которых только и зависели надежды на постоянное поселение, находили более легкий путь к богатству и более заманчивую сферу для проявления мужественных качеств в привлекательности кампании, которая, казалось, обещала грабеж и славу, особенно когда эти призы не сопровождались непомерным количеством страданий и трудов. Так, когда стало известно, что Сципион Африканский будет сопровождать своего брата в экспедиции против Антиоха, пять тысяч ветеранов, как граждан, так и союзников, отслуживших полный срок под командованием первого, предложили свои добровольные услуги уходящему консулу[8], а девятнадцать лет спустя опыт, полученный в результате кампании в Македонии и Азии, привлек многих желающих в легионы, которые должны были участвовать в борьбе с Персеем.[9] Полупрофессиональный солдат, в сущности, зарождался, человек с духом авантюрным и беспокойным, который не обещал довольствоваться мелкими интересами и небольшими наградами жизни на итальянском форпосте. Но если времена официальной колонизации прошли, почему бы не принять параллельную систему раздела завоеванных земель между более бедными гражданами без создания нового политического поселения

или какого-либо строгого ограничения числа получателей? Эта "виританская" ассигнация всегда шла параллельно с той, что принимала форму колонизации; для нее требовалось лишь наличие земли, пригодной для распределения, а выделяемые наделы могли рассматриваться лишь как средство облегчения участи бедных членов существующих муниципалитетов. Предполагалось, что эта система существовала со времен царей; считалось, что она легла в основу первого аграрного закона Спурия Кассия в 486 году;[10] она использовалась после завоевания вольсков в IV веке и сабинов в III;[11] она послужила основой для аграрного законодательства Фламиния, когда в 232 году он романизировал *агера Галлика* к югу от Ариминума, не посадив в этом регионе ни одной колонии;[12] а в дату, предшествующую гракханскому законодательству всего на сорок лет, этот метод был возобновлен, когда некоторые галльские и лигурийские земли, считавшиеся военными трофеями и объявленные незанятыми, были разделены на участки, по десять *югеров* римским гражданам и по три - представителям латинской фамилии.[13] Но для правительства того периода, о котором мы говорим, продолжение такого курса, если он вообще предлагался, выглядело в свете политики, которая была незнакомой, трудной и вызывающей возражения. Вероятно, даже на более поздних этапах этот метод распределения был окрашен убеждением, что, как и колония, он обеспечивал систему военного контроля над оккупированным районом, а чисто социальная цель распределения земли, если она вообще выдвигалась, считалась характерной скорее для демагога, чем для государственного деятеля. Со стратегической точки зрения такая мера была излишней; с экономической - она предполагала не только тягу к наделам среди бедных слоев населения, чему, возможно, было мало доказательств, но и веру, которая должна была быть в высшей степени сангвинической, что эти нищие, будучи обеспеченными, окажутся эффективными фермерами, способными сохранить положение, которое многие из них уже потеряли. Кроме того, если такая уступка должна была быть сделана, то она должна была быть сделана на землю сразу после того, как она перешла из владения врага в собственность Рима; если с момента аннексии прошло время, то почти наверняка на эту территорию были заявлены какие-то претензии, и какими бы теневыми они ни были, римский закон в интересах самого государства всегда склонялся к тому, чтобы признать *фактическое* право *де-юре*. Необходимо было также учитывать претензии союзников и муниципиев; ведь уступки римским гражданам в широком масштабе неизбежно приводили к сложным вопросам о правах, которыми многие из этих волостей обладали в действительности, на большую часть территории, доходами от которой они пользовались. Если союзники и муниципальные города не пострадали, то убытки должны были лечь на само Римское государство, которое получало один из главных источников стабильных и постоянных доходов - источник, который должен был удовлетворить требования италийской администрации[14] - из своих владений в Италии, на подрядчиков, которые собирали эти доходы, и на предприимчивых капиталистов, которые вложили свои богатства и энергию в пустующие места, куда их пригласило правительство, и которые придали этим опустошенным территориям большую часть той ценности, которой они теперь обладали. Наконец, эти предприимчивые собственники были широко представлены в сенате; ведущие представители дворянства приступили к созданию новой системы сельского хозяйства, результаты которой противоречили интересам мелкого фермера, и условия которой были бы подрваны обширной системой распределения, такой, какой только и могло хватить для удовлетворения нищего пролетариата. Чувство, что будущий аграрный закон бесполезен с экономической и опасен с политической точки зрения, усиливалось убеждением, что его предложение положит начало войне между классами, что его провал приведет к возмущению общин и что его успех нанесет тяжелый материальный ущерб стражам государства.

Таким образом, простая система территориальной экспансии, которая непрерывно продолжалась с самых ранних дней завоеваний, теперь могла считаться закрытой навсегда. С точки зрения италийских соседей Рима, время для такого закрытия действительно было достаточно. Если бы у нас была карта Италии, на которой были бы указаны относительные пропорции земель в Италии и Цизальпинской Галлии, захваченных Римом или оставленных туземным городам или племенам, мы, вероятно, обнаружили бы, что владения государства-завоевателя, будь то занятые колониями, поглощенные даром гражданства или удерживаемые как общественное достояние, составляли почти половину территории всего полуострова.[15] Расширение такого прогресса было явно невозможно, если только не спровоцировать войну с Конфедерацией, которая составляла столь значительную часть боевой мощи Рима; но если признать, что расширение по старым линиям теперь недостижимо, и согласиться с тем, что существующие ресурсы Италии не обеспечивают достаточных средств к существованию для большинства граждан Рима, то в будущем можно рассматривать два метода расширения как практически осуществимые. Один из них - аграрная ассигнация за счет либо государства, либо богатых классов, либо и тех, и других; другой - выход за море. Но ни то, ни другое не заслуживало вмешательства правительства или регулирования по схеме, которая удовлетворяла бы как сиюминутные, так и будущие потребности. Первое, как мы уже показали, было отвергнуто из-за его новизны, опасности и неудобства; второе, как нам кажется, было делом частного предпринимательства и, прежде всего, частного капитала. Она никогда не могла стать доступной для очень бедных слоев населения, если только не принимала форму колонизации, а на трансмаринную колонизацию сенат смотрел с предубеждением.[16] Совсем иначе он относился к предприятиям иностранных спекулянтов и торговцев; к ним он относился с легким безразличием. Их богатство было опорой, на которую государство могло опереться в трудную минуту, но, пока пагубные последствия коммерческого предпринимательства для внешней политики не стали более очевидными, считалось, что правительство не должно ни помогать, ни мешать богатому и предприимчивому римлянину в его делах с народами подвластных или защищенных земель.

Рим, если под этим именем понимать подавляющее большинство римских граждан, впервые за многие века оказался в ситуации, когда всякое движение и всякий прогресс, казалось, были отринуты. Сила общины, казалось, исчерпала себя на время; как сила, исходящая от всей общины, она, возможно, исчерпала себя навсегда. Часть номинально суверенного народа еще могла бы превратиться в могучее орудие, которое понесло бы победу на край земли и открыло бы новые каналы предпринимательства как для тех, кто руководил их движением, так и для них самих. Но в данный момент государство было отброшено назад; оно считало, что цель достигнута, и это достижение, естественно, предполагало паузу, долгий обзор результатов, достигнутых за эти долгие годы борьбы с гидраговым врагом за рубежом. Завершение третьей македонской войны, по словам современника, принесло с собой такое спокойное чувство безопасности, какого Рим не мог ощутить в течение столетий[17]. Такая безопасность давала возможность богатым наслаждаться материальными преимуществами, которые приобрела их власть; но она также давала возможность бедным задуматься о странном урожае, который завоевание великих держав мира принесло людям, чье упорное терпение обеспечило мир, которым они не имели ни средств, ни досуга насладиться. У тех, кто уклонился от службы в легионах или закончил ее, не хватало средств, хотя досуг у них был; у тех, кто все еще подчинялся призыву к оружию, не хватало ни того, ни другого, если только передышку между длительными кампаниями можно назвать досугом, а добычу, с трудом завоеванную и быстро растраченную, - средствами. Даже после разрушения Карфагена Рим, хотя и находился в двойной безопасности, все еще был достаточно занят со своими легионами; управление Испанией было одной затяжной

войной, и проконсулы все еще стремились завоевать для себя триумфы, улучшая работу своих предшественников.[18] Но такая война не могла поглотить энергию или стимулировать интерес всего народа в целом. Реакция, которая так часто следовала за успешной кампанией, когда дисциплина лагеря была потряхнута и обязанности солдата сменились потребностями гражданина, возобновилась в масштабах, бесконечно больших, чем прежде, - в масштабах, пропорциональных величине напряжения, которое было снято, и величине потребностей, которые были возрождены. Крики о реформах могли быть старыми и привычными, но их возросшая интенсивность и разнообразие, можно сказать, придали им качественное отличие. Существует этап, на котором разница в степени кажется равной разнице в роде: и этот этап, несомненно, был достигнут в социальных проблемах, представленных временем. В былые времена борьбы между орденами вопрос о привилегиях иногда затмевал чисто экономический вопрос, и хотя внимательное изучение тех дней смуты показывает, что доминирующая нота в конфликте часто была просто предлогом, призванным служить личным амбициям поборников плебса, все же видимость, а не реальность проблемы навязывает воображению толпы, и политическая эмансипация считалась благом даже тогда, когда факты показывали, что ее большие призы достались небольшому и эгоистичному меньшинству. Теперь, однако, иллюзий быть не могло. С одной стороны, не было ничего, кроме материальных потребностей, с другой - ничего, кроме материальной власти. Интеллектуальные претензии, которые можно было бы выдвинуть для оправдания монополии на должность и богатство, могли быть встречены интеллектуальным превосходством со стороны демагога, ратующего за конфискацию. Конечная основа жизни государства впервые была обнажена и подвергнута безжалостному анализу; оставалось выяснить, какая из двух великих сил общества возьмет верх: сила привычки, которая так часто ослепляла римлянина в отношении его реальных потребностей; или сила желания, которая, поскольку она так редко одерживала победу над его врожденным консерватизмом, была склонна, когда эта победа была одержана, увлечь его дальше по пути безрассудных и непоследовательных реформ, чем это могло бы произойти с расой, более наделенной даром проверять на каждом этапе прогресса цели и потребности социального организма, рассматриваемого как единое целое.

Анализ социального недовольства в любой исторический период должен проводиться в форме изучения потребностей, порожденных эпохой, и адекватности или неадекватности средств их удовлетворения. Если мы обратимся сначала к тем силам общества, которые владели крепостью и должны были стать объектом нападения, то обнаружим, что господствующие желания, которые одушевляли этих богатых и влиятельных людей, были в основном продуктом новой космополитической культуры, которую город-победитель начал впитывать в те дни, когда завоевания и дипломатия впервые перенесли его за моря. Она стала добровольной жертвой, когда покоренные народы, сгибаясь перед грубой силой, которая лишь заменила новый сюзеренитет старым и почти не коснулась их внутренней жизни, начали демонстрировать на глазах изумленных завоевателей материальный комфорт и духовное очарование, которые в случае контакта мощной, но узкой цивилизации с той, которая превосходно эластична и сильна в самом изысстве своей физической слабости, всегда могут превратить поражение в победу. Но студент, который начинает свое исследование новой римской жизни с изучения римского общества, как оно существовало во второй половине второго века до нашей эры, не может решиться собрать нити чисто интеллектуальных и моральных влияний, которые были созданы новой эллинистической цивилизацией. Он чувствует, что находится только в начале процесса, что ему не хватает материала для картины, что иллюстративный материал, который он мог бы использовать, можно найти в основном в литературных записях более поздней эпохи, и что использование этого материала не только вовлечет его в исторические грехи предвосхищения и

анахронизма. О некоторых этапах войны между старым духом и новым мы еще будем говорить; но кульминационный момент, достигнутый смешением греческих и римских элементов, - единственный, который ясно виден современному глазу. Однако эта точка была достигнута не ранее второй половины следующего столетия. Только тогда из слияния, казалось бы, диссонирующих элементов родился новый "романизм", который должен был стать правящей цивилизацией Италии и западных провинций и, в силу полноты слияния и новизны продукта, сам был противопоставлен и веками жил в дружеском соперничестве с более бескомпромиссным эллинизмом восточных земель. Но некоторые экономические последствия нового влияния требуют нашего непосредственного внимания, поскольку мы занимаемся изучением зарождения экономической революции, и поэтому необходимо проанализировать некоторые из наиболее насущных потребностей и некоторые из наиболее острых желаний, которые пробуждались эллинизмом либо в более чистой одежде, которую дала ему старая Греция, либо в более роскошных одеждах, которые он принял во время своего пребывания на Востоке.

Тенденция рассматривать город как дом, а деревню - лишь как средство освежиться и сферу элегантного отдыха в течение той части года, когда волнения городского сезона, его дела и удовольствия приостанавливаются, стала заметно проявляться в жизни высших классов. Деловые и финансовые люди были вынуждены жить в городе, и если сельское хозяйство все еще было основным или дополнительным источником их богатства, то за потребностями поместья приходилось следить приставу-резиденту.[19] Такая концентрация высших классов в городе неизбежно влекла за собой значительный рост цен и арендной платы за жилье в его стенах. Правда, безрассудные цены, которые платили за дома, особенно за загородные виллы, гранды и миллионеры следующего поколения,[20] еще не были достигнуты; Но те признаки, которыми мы располагаем, свидетельствуют об общем росте цен на все, что в Риме могло считаться желательным для культурного вкуса[21], и показывают, что лучшая домашняя недвижимость уже должна была приносить большие доходы, независимо от того, продавалась она или сдавалась в аренду, и мы знаем, что бедные отпрыски знати, если дело или удовольствие побуждали их проводить часть года в Риме, вскоре должны были подниматься по лестнице квартир или ночлежек.[22] Нехватка места привела к возведению этажа за этажом. На крышах старых домов возводились новые палаты, куда можно было попасть по наружной лестнице, и они либо служили для размещения увеличившейся свиты городской администрации, либо сдавались чужакам, не имевшим собственного жилья;[23] продолжали появляться еще более крупные ночлежные дома или "острова", получившие свое название из-за их высокой изолированности от соседних зданий[24], и даже частные дома вскоре достигли высоты, которую пришлось сдерживать вмешательством закона. Бывший консул и авгур был вызван цензорами 125 года для объяснения величины возведенной им виллы, и за высоту строения он подвергся не только строгости блюстителей нравственности, но и штрафу, наложенному общественным судом.[25] Большие изменения произошли во внутреннем устройстве домов богачей - изменения, оправданные простительным желанием большего комфорта и вызванные как растущей формальностью жизни, так и значительным увеличением числа жителей, но склонные, когда они были приняты, вовлекать отца семейства в тот самый бесполезный вид экстравагантности, который принимает форму увлечения строительством. Зал или Атриум когда-то был практически всем домом. Он выходил на улицу. В нем располагались семейная кровать и кухонный очаг. Дым проходил через дыру в крыше и окутывал семейные портреты, которые смотрели вниз на членов семьи, собравшихся у очага за общей трапезой. Зал был главной спальней, кухней, столовой и приемной, а также единственным проходом с улицы в маленький дворик на заднем дворе. До сих пор дома знатных людей отличались от домов бедняков только размерами и совсем незначительно - структурой. Дом богатого патриция

был просто более масштабным и примитивно неудобным; и если его большая гостиная, построенная из дерева, могла вместить огромное количество клиентов, то кровать и горшки для приготовления пищи все равно были видны каждому посетителю. Главным из ранних нововведений был лишь низкий портик, заимствованный этрусками у греков и перенесенный ими в Рим, который шел вокруг двора, был разделен на маленькие камеры и каморки и служил для размещения слуг дома.[26] Но теперь мода диктовала, чтобы дверной проем не выходил на улицу, а был отделен от нее вестибюлем, в котором собирались первые посетители, прежде чем их впускали в зал аудиенций. Пол Атриума больше не был общим проходом в регионы, расположенные сзади, но специальный коридор, лежащий либо с одной, либо с обеих сторон зала[27], вел мимо кабинета или Таблинума, расположенного сразу за ним, во внутренний двор за пределами зала. Даже святость брачного ложа не могла продолжать придавать ему публичность, которая была неприятна для вкуса эпохи, которая приобрела понятия о достоинстве уединения, о комфорте, который можно найти на пенсии, и об удобстве разделения покоев, которые использовались для публики, и тех, которые использовались только для частных целей. Главные спальни были смещены к задней стенке, а стороны двора перестали быть исключительным местом обитания иждивенцев. Общий очаг больше не мог служить сферой кулинарных операций дорогого повара со свитой прислуги; огонь для приготовления пищи был перенесен в одну из комнат у задних ворот дома, которая в итоге превратилась в просторную кухню, изобилующую всеми импортными средствами для удовлетворения растущей роскоши стола; а члены семьи, слоняющиеся в зале, или посетители, впускаемые через его порталы, были избавлены от раздражения сильными запахами и едким дымом. Римская семья также обнаружила неудобство обеда в большой и скудно обставленной комнате, не слишком хорошо освещенной и доступной для вторжения случайных домашних и посторонних. Предпочтительнее было принимать общую трапезу в светлой и просторной верхней комнате, и новый тип коенакулума сразу же удовлетворил стремление к личному комфорту и специализации в использовании квартир, что является одним из главных признаков развивающейся материальной цивилизации. Большой зал стал выставочным залом дома, но даже для этой цели его размеры оказались слишком малы. В то время как количество диковинок и произведений искусства, собранных римлянами-завоевателями или путешественниками, было столь велико, что для демонстрации их редкости или великолепия требовалось больше места. Это пространство было получено путем удаления из Атриума всех бытовых препятствий, которыми он был когда-то загроможден. Теперь его можно было сделать немного меньше в пропорции к остальной части дома, но при этом он казался гораздо более просторным, чем раньше. Пространство, на которое уменьшились его стороны, теперь можно было использовать для строительства двух крыльев или алей, которые служили тройной цели: освещали зал с боков, лучше демонстрировали произведения искусства, которые хозяин особняка или его дворецкий[28] показывал посетителям или клиентам, и, наконец, служили галереей для семейных портретов, которые были окончательно удалены из Атриума, чтобы их можно было увидеть в лучшем свете на стенах крыльев. Теперь на них было изображено семейное древо в виде нарисованных линий, которые соединяли маленькие святилища с начертанными *изображениями* великих предков дома.[29] Возможно также, что алеи служили комнатами для более частных аудиенций, чем это было возможно в Атриуме.[30] Из толпы, заполнявшей зал ранним утром, отдельные лица или группы могли быть отделены дворецким и проведены в присутствие великого государственного деятеля или адвоката, который прогуливался по полу в уединении одной из этих длинных боковых галерей. [31] Дела более частного характера велись в еще большей безопасности Таблинума, архивной комнаты и кабинета дома. Здесь хранились не только семейные записи и счета, но и официальные реестры и бумаги, которые магистрат должен был иметь под рукой в течение года своей службы.[32]

Внутренние операции по ведению официальных дел были в Риме очень велики, поскольку государство не дало своим администраторам даже скелета гражданской службы, и именно в этой комнате консул запирался со своим квестором и писцами, и именно здесь, как хороший глава семьи и аккуратный деловой человек, он тщательно просматривал записи доходов и расходов, прибылей и убытков со своим искусным греческим бухгалтером.

Вся тенденция реформ в домашней архитектуре заключалась в разграничении общественной и частной жизни человека, занимающегося бизнесом или делами. Его общественная деятельность ограничивалась передней частью дома; его отдых, домашние радости и частные удовольствия проходили в зданиях, расположенных за атриумом и его крыльями. По мере того как каждое из этих направлений жизни становилось все более амбициозным, сфера для осуществления одного из них становилась все более величественной, а та, что способствовала развитию другого, - сценой более совершенной, но более спокойной роскоши. Атриум вскоре должен был стать дворцовым залом, украшенным мраморными колоннадами;[33] маленький двор с его скромным портиком сзади должен был превратиться в греческий перистиль, открытый к небу и окруженный колоннами двор, в котором зеленели кустарники и деревья, а атмосфера охлаждалась и освежалась постоянной игрой фонтанов. Окончательная форма римского дома была восхитительным образцом новой цивилизации. Он был римским и в то же время греческим[34] - римским в грандиозном фасаде, который он представлял миру, греческим в спокойном фоне мыслей и чувств.

Растущее великолепие дома требовало такого количества и разнообразия прислуги, о котором и не мечтали в более простые времена. Раб с фермы, с его грубыми руками и обветренным лицом, больше не мог быть привезен своим элегантным хозяином в город и выставлен на обозрение привередливого общества как тип слуги, удовлетворяющего его повседневные потребности. Городская и деревенская семья теперь полностью разграничивались; только когда на ферме рождался ребенок с заметным изяществом и красотой, его переводили в особняк как подающего надежды, которые были бы растрачены в деревенском труде.[35] В любой части заведения вкус и богатство владельца можно было проверить по учтивости и красоте его живых инструментов. Цепная собака у ворот была заменена человеческим уборщиком, который часто сам был в цепях[36]. Посетителя, когда он проходил мимо носильщика, принимал дворецкий в холле, а в присутствие хозяина входил ряд лакеев и ашеро́в, слуг передней части дома, людей с бесстрастным достоинством и покорной покорностью, которые рабство только укрепляет в восточном уме.[37] В домашнем хозяйстве каждая потребность, порожденная растущим идеалом комфорта и утонченности, требовала отдельной группы служителей. Тело купальщика натирали и благоухали знатоки этого искусства; обслуживание стола находилось в руках людей, для которых приготовление деликатесов стало единственным делом их жизни. Обладание поваром, способным отвечать самым высоким ожиданиям эпохи, было недоступно всем, кроме самых богатых; за такого специалиста нужно было заплатить сумму в четыре таланта;[38] он был призом миллионера, а семьи с более скромными средствами, если они хотели, чтобы банкет был изысканно сервирован, были вынуждены нанимать временные услуги искусного мастера.[Экономка,[40] следившая за запасами кладовой, вершила судьбы обеда в согласии с поваром; и у каждого из них в подчинении была толпа помощников с разными именами и тщательно разграниченными функциями.[41] Дела внешнего мира требовали другого класса слуг. Были специальные камердинеры, на которых возлагалась обязанность делать записи и приглашения для друзей своих хозяев; был ценный слуга с быстрым глазом и хорошей памятью, невероятно богатый кладезь имен и сплетен, беспристрастный наблюдатель путей и слабостей каждого класса, который мог сообщить

своему хозяину имя и атрибуты приближающегося незнакомца. Были лакеи, составлявшие ядро свиты клиентов мужчины, когда он выходил за границу, мальчики изящной формы со стройными конечностями и невинными лицами, которые были духами, сопровождавшими даму, когда она проезжала в своей коляске по улице. Мускулы более крепких рабов теперь позволяли легко передвигаться, чего раньше не было. Римскому чиновнику не нужно было садиться на лошадь в жаркие часы дня, когда он проезжал через деревушки Италии, а ухмыляющийся деревенщина мог спросить, наблюдая за торжественным и бесшумным перемещением носильщиков, не скрывают ли тщательно задернутые занавески труп[42].

Внутренняя роскошь домашнего очага проявлялась в безжизненных предметах так же полно, как и в живых существах. Комнаты благоухали ароматными духами и были увешаны гобеленами большой стоимости и разнообразных расцветок. Столы были уставлены изделиями из серебра, слоновой кости и других драгоценных материалов, выполненными с тончайшим мастерством. Вино умеренного вкуса презиралось; фалернское и чианское были единственными марками, которые истинный знаток считал бы достойными своего вкуса. Хорошо различались редкие сорта рыбы, а другие деликатесы на столе были соразмерны с труднодостижимостью. Мода на одежду следовала тенденциям эпохи; редкость материала, его тонкая текстура, легкость, которую он придавал телу, были объектами главного внимания. На Форуме можно было увидеть юношей в одеяниях из материала, столь же мягкого, как и женские, и почти прозрачного в своей тонкости. Поскольку все эти инструменты удовольствия и роскошь, которая взывала к честолюбию даже сильнее, чем к вкусу, преследовались с разорительной конкуренцией, цены были взвинчены до невероятной степени. Амфора фалернского вина стоила сто денариев, банка понтийской соленой рыбы - четыреста; молодой римлянин часто отдавал талант за любимца, а юноши, принадлежавшие к высшему классу по красоте лица и изяществу форм, стоили еще дороже.[Мало кто мог возразить Катону, когда он сказал в сенате, что Рим - единственный город в мире, где банка консервированной рыбы из Черного моря стоит больше, чем ярмо волов, а мальчик-фаворит стоит дороже, чем ферма йомена. 44] Одним из главных предметов социальных амбиций было иметь более тяжелый сервиз из серебряной тарелки, чем у соседей. В старые добрые времена - времена не столь давно минувшие, но отделенные от настоящего пропастью, которую обстоятельства сделали глубже, чем годы, - римлянин испытывал скорее официальную, чем личную гордость за серебро, которое он мог выставить перед почтительным взором знатного иностранца, ставшего гостем государства; а карфагенские посланники были поражены сходством между серебряными сервизами, которые появлялись на столах их различных хозяев. Этот опыт привел их к более высокой оценке римского братства, чем римского богатства, и серебряная пластина, выполнявшая столь разнообразные обязанности, была, по крайней мере, ответственна за моральный триумф.[45] Всего за несколько лет до начала первой войны с Карфагеном консул Руфин был исключен из сената за то, что имел при себе десять фунтов кованого металла,[46] а Сципион Эмилиан, человек нынешнего возраста, но приверженец старой школы, оставил своему наследнику всего тридцать два фунта веса. Менее чем через сорок лет младший Ливий Друз был известен тем, что владел пластинами весом в десять тысяч фунтов[47], и пополнение первобытного клада, которое, должно быть, сделали всего два или три члена этой семьи, может служить показателем того, насколько эта конкретная форма страсти к показухе повлияла на умы и практику римлян лучшего класса того времени.

Были и другие предметы, ценившиеся не только за их внутреннюю ценность, но и за то отличие, которое обеспечивало их обладание, которые привлекали амбиции и напрягали доходы модного человека. Произведения искусства, должно быть, когда-то стоили дешево на римском рынке; ведь даже если мы откажемся верить рассказу Муммия об оценке приза,

который доставил ему павший Коринф,[48] перегрузка грузов с бесценными сокровищами в Рим - по крайней мере исторический факт, и Гракхи наверняка сами видели поезда с повозками, несущими свой драгоценный груз по Виа Сакра к Капитолию. Трофеи щедрого завоевателя украшали триумфы, общественные здания и даже частные дома других, но многое из того, что было отдано Коринфом, не стало собственностью ни полководца, ни государства. Полибий видел, как римские легионеры играли в шашки на "Дионисе" Аристеиды и многих других знаменитых полотнах, которые были сорваны со своего места и брошены на землю как ковер;[49] но многие жители лагеря, должно быть, лучше оценивали материальную ценность картин эллинских мастеров, и скупость римского коллекционера часто удовлетворялась без особых затрат для его ресурсов. То, до какой степени возвращающаяся армия может распространять свои приобретенные вкусы и распределять захваченные товары, было показано примерно за сорок лет до падения Коринфа, когда Манлий привел свои легионы после первого исследования богатых городов Азии. Вещи и названия, о которых римлянин и не мечтал, вскоре радовали глаз и поражали слух знакомым звучанием. Он научился любить бронзовые кушетки, предназначенные для столовой, изящные приставные столики со странными иностранными названиями, тонкие ткани, из которых были сотканы покрывала для кровати или подстилки, ноты, выбиваемые из псалтыря и арфы пальцами танцовщиц Востока.[50] Это был первый приступ цветущей роскоши восточного эллинизма; но примерно за пять-двадцать лет до этого Рим получил свой первый опыт более чистого вкуса греческого гения на Западе. Целый ряд актов художественного вандализма, которыми были отмечены шаги государства-завоевателя, можно проследить до мер, принятых Клавдием Марцеллом после падения Сиракуз. Систематическое разграбление произведений искусства впервые получило официальную санкцию, и общественные здания Рима были отнюдь не единственными бенефициарами этой новой интерпретации прав войны. Большая часть ценной добычи попала в частные дома,[51] чтобы стимулировать завистливую коварность многих будущих правителей, которые, проклиная вкус коллекционера и не имея возможности воевать, сделают тонкие набеги на художественные сокровища своей провинции секретной статьей своего правления. Когда правящие классы нации на протяжении большей части столетия приучены к легкому приобретению лучших материальных сокровищ мира, вещи, которые когда-то казались роскошью, занимают легкое место в категории общепринятых потребностей. Но внезапное предложение прекратилось; рыночная стоимость, которую грабеж уничтожил или уменьшил, поднялась до своего нормального уровня; к жизни добавилось еще одно бремя, появился еще один стимул к богатству, а общественная потребность настолько остра, что средства для ее удовлетворения вряд ли будут слишком тщательно изучены, прежде чем их примут.

Более простительными были вкусы, связанные с более чисто интеллектуальными элементами эллинской культуры: влияние, которое оказывал греческий ритор или философ в общении с суровыми, но восприимчивыми умами Рима, любовь к книгам, новые уроки, которые должны были преподать ритмичное течение языка и ритмичные движения конечностей. Греческий авантюрист был одной из самых ярких черт эпохи, последовавшей сразу за окончанием великих войн. Более поздние мыслители, как правило, обиженно-национального, академического и псевдоисторического типа, отвергавшие удобства жизни, которыми они продолжали наслаждаться, и лелеявшие приятную фикцию образцовых нравов древних времен, видели в нем лишь источник несмешанного зла;[52] и действительно, восточный грек из простонародья, выпущенный на волю в общество бедных кварталов или втершийся в доверие к какому-нибудь богатому, но необразованному хозяину, должно быть, часто становился проводником уроков, которые лучше было бы не усваивать. Но в Италии также появились лучшие профессора эпохи, златокудрые люди, говорившие на языке поэзии, риторики и философии, которые отвлеклись от утомительной конкуренции в

своих кругах и бесплодных полей своих прежних трудов, чтобы найти лестное внимание, приятное достоинство, и возможность наслаждаться сытой, спокойной и безбедной жизнью в домах римских аристократов, жаждущих знаний и еще более жаждущих овладеть непревзойденными формами, в которых могли бы сохраниться их собственные деяния и посредством которых могли бы быть одержаны их собственные политические и судебные победы. Вскоре города Италии, особенно эллинского Юга, будут соперничать друг с другом, чтобы предоставить свободу своих городов и другие почести в дар молодому поэту-эмигранту из Антиохии, а члены самых знатных домов будут соревноваться за честь его дружбы и за привилегию принимать его под своей крышей. [Поток греческой образованности был широк и силен; [54] он нес на своем лоне каждого мужчину и женщину, стремившихся к репутации элегантности, остроумия или смертоносного удара в словесном заслоне, игравшем столь большую роль в политической игре; каждый, кто отказывался плыть по течению, был либо изгоем в лучшем обществе, либо стремился завоевать эксцентричную репутацию национального мракобесия с его мнимым сопровождением честной деревенской силы.

Знакомство с профессорами и поэтами вело к знакомству с книгами, а хранить последние под модной крышей было так же необходимо, как и первые. Первая частная библиотека в Риме была создана Аэмилием Паулусом, когда он привез домой книги, принадлежавшие побежденному Персею; [55] и среди высококультурных людей стало такой же чертой завоевания, как и привоз домой богатых запасов литературы, как и собирание предметов искусства, которые могут лишь радовать чувственный вкус и затрагивать лишь внешнюю поверхность ума. [56]

Но влияние новой культуры отнюдь не считалось желательным ограничивать умами зрелых людей. Была, правда, школа осторожных эллинистов, которые могли бы предпочесть такую точку зрения и, во всяком случае, проводили бы тщательную дискриминацию между теми элементами греческого обучения, которые укрепляли бы молодой ум, давая ему более широкий диапазон видения и новую галерею благородных жизней, и теми, которые вели бы к простому показу, к женолюбию, а может быть (кто может сказать?) к позитивному разврату. Но это не могло быть точкой зрения всего общества. Если элегантный римлянин должен был стать наполовину греком, он должен был научиться в нежном и впечатлительном возрасте двигать конечностями и модулировать голос в истинно эллинском духе. Отсюда картина, на которую Сципион Аэмилиан, здравомыслящий эллин и крепкий римлянин, смотрел изумленными глазами и описывал ее энергичным и бескомпромиссным языком, подобающим бывшему цензору. "Мне говорили, - сказал он, - что свободнорожденные мальчики и девочки ходят в школу танцев и двигаются среди непорядочных профессоров этого искусства. Я не мог заставить себя поверить в это; но меня самого отвели в такую школу, и Боже правый! Что я там увидел! Более пятидесяти мальчиков и девочек, один из них, стыдно сказать, сын кандидата в депутаты, мальчик в золотой шапочке, отрок не моложе двенадцати лет. Он звенел парой кастаньет и танцевал степ, который нескромный раб не смог бы станцевать с приличием". [57] Такими могли бы быть размышления пуританина, если бы он попал в современную академию танцев. Мы можем позволить себе усомниться в безнравственности представленной выставки, но не может быть никаких сомнений в социальных амбициях, которые она раскрывает, - амбициях, которые будут сохраняться на протяжении всей жизни мальчика с кастаньетами, которые приведут его к тому, что он будет придавать большое значение блеску всего, что он называет своим, - блеску, определяемому определенными жесткими внешними стандартами и достигаемому любой ценой, будь то губительное сокрытие честной бедности или борьба за богатство даже с помощью самых сомнительных средств.

Но бремя, лежавшее на богатстве великих, отнюдь не ограничивалось теми, что налагались чисто социальными канонами. Политическая жизнь в Риме всегда была дорогой, поскольку должность была неоплачиваемой, а ее занятие предполагало досуг и значительное пренебрежение домашними заботами для патриция, который был готов ее принять. Но в последнее время государство взяло на себя обязанность увеличивать финансовые расходы, причитающиеся народу, не претендуя на то, чтобы оплачивать их из общественных фондов. Государство" в Риме не означало того, что оно означало бы в подобном контексте среди народов эллинского мира. Оно означало не то, что массы наживаются на богатых классах, а то, что богатые классы наживаются на самих себе; и эта особая форма добровольного самопожертвования среди влиятельных семей в сенате была эквивалентна признанию того, что Рим перестает быть аристократией и становится олигархией, добровольно ставит требования богатства на один уровень с требованиями рождения и заслуг, или, скорее, настаивает на том, что последние не могут быть действительными, если они не сопровождаются первыми. Главным признаком признания того, что политическое продвижение может быть куплено у народа законным путем, стало принятие правила, установленного примерно во время Первой Пунической войны, согласно которому расходы на общественные игры не должны покрываться исключительно за счет казны.[Редко когда удавалось привлечь народ к участию в расходах на выставку за счет подписки, собранной среди своих;[59] они были получателями, а не дарителями праздника, и фактические дарители знали, что выставка - это соревнование за благосклонность, что репутация выигрывается или проигрывается по достоинству, и что успешный участник накапливает запас благодарности, который существенно облегчит ему восхождение к высшим наградам в государстве. Личные расходы, если они не могли быть полностью реализованы на существующее наследство магистрата, должны были быть поддержаны подарками друзей, займами у ростовщиков под непомерные проценты и, что самое худшее, но самое удобное из всех методов, взносами, номинально добровольными, но реально принудительными, от итальянских союзников и провинциалов. Еще в 180 году сенат был вынужден принять сильную резолюцию против расточительности, которая подразумевала угнетение;[60] но эта резолюция была на самом деле критикой новых методов управления; корни зла (бремя магистратуры, увеличение числа регулярно повторяющихся праздников) они не заботились и не решались устранить. Эдильство было особой магистратурой, на которую возлагались эти расходы из-за ее традиционной связи с проведением публичных игр; и хотя оно не было ни курульным, ни плебейским по своей форме обязательной ступенью в шкале магистратур, однако, поскольку оно занималось до претуры и консульства, было очевидно, что блестящая демонстрация, которую давал народу занимающий эту должность, могла сделать бесплодными усилия менее богатого конкурента, избегавшего ее тягот.[61] Игры проводились совместно соответствующими парами коллег,[62] *Ludi Romani* - под руководством курульных,[63] *Ludi Plebeii* - плебейских эдилов.[64] Если бы они оставались единственными ежегодными представлениями, расходы для участников, хотя и большие, были бы ограничены, но другие празднества, которые раньше были эпизодическими, в последнее время стали постоянными. Игры в честь Цереры (*Cerialia*), отдаленное происхождение которых, возможно, восходит к временам монархии, впервые появляются как полностью установленные в 202 году;[65] фестиваль в честь Флоры (*Floralia*) датируется 238 годом до н.э.,[66] но, вероятно, стал ежегодным только в 173 г.; [67] а игры в честь Великой Матери (*Мегалесиуи*) последовали через тринадцать лет после приглашения и гостеприимного приема римлянами этой фригийской богини и стали регулярными в их календаре в 191 г.[68] Этот рост удобств для народа, каждый пункт которого укладывается в срок в пятьдесят лет, является замечательной чертой эпохи, последовавшей за принятием Римом императорской власти. Она доказывает, что римлянин был готов подчинить свою

строгую религию целям удовлетворения потребностей, если мог позволить себе роскошь, что наслаждение этой роскошью считалось счастливым средством поддержания хорошего настроения народа по отношению к себе и своим правителям, и что расходы на ее обеспечение рассматривались не только как совместимые с традициями существующего режима, но и как средство укрепления этих традиций путем закрытия ворот власти для бедных.

Типы зрелищ, от которых массы получали наибольшее удовольствие, также были новыми и дорогостоящими творениями. В основном это были гладиаторские представления и охота на диких зверей. Даже первое и более раннее развлечение имело историю не более ста лет. Считалось, что это пережиток того реалистического взгляда на загробную жизнь, который сохранялся в Италии еще долго после того, как она перешла от более духовной цивилизации греков. Считалось, что люди, которые на глазах у скорбящей толпы закалывали друг друга мечом, были той свитой, которая ушла с мертвым вождем за пределы могилы, и именно из мрачных обрядов этрусков, как полагают, этот обычай торжественного заклания был перенесен в Рим. Первый год Первой Пунической войны стал свидетелем самого раннего боя, сопровождавшего римские похороны,[69] и, хотя светские удовольствия быстро заняли место мрачной траурной оценки, а религиозная вера, лежавшая в основе этого зрелища, возможно, вскоре ушла в прошлое, ни государство, ни родственники не оказывали должной чести прославленному покойнику, если за его кончиной не следовал смертельный бой чемпионов из конкурирующих гладиаторских школ, и люди, стремившиеся к достойным похоронам, предусматривали такие бои в своих завещаниях. Римский магистрат подчинился распространенному вкусу, и представления гладиаторов стали одной из самых привычных черт шоу эдилов. Военные настроения были в фаворе, так как считалось, что это закаляет нервы расы, произошедшей из чресл бога войны,[70] а гуманные чувства ни в один век не были шокированы современными варварствами, которые они терпят или которыми наслаждаются. Но определенный элемент грубости в этом виде спорта и, возможно, сам факт того, что он был родом из Италии, могли бы сделать его малопривлекательным, если бы культурные классы действительно обладали властью регулировать развлечения публики. Лидеры общества предпочли бы греческий *Агон* с его изящной борьбой и состязаниями в тонких искусствах. Но римская публика не желала эллинизироваться в этом вопросе и продемонстрировала свое настроение, когда на триумфе Луция Аниция Галла в 167 году была предпринята попытка устроить музыкальную выставку. Зрители настояли на том, чтобы исполнители бросили свои инструменты и боксировали друг с другом. [71] Это, хотя и не лучший, но все же более терпимый тип того, каким должно быть состязание в мастерстве. Поэтому было вполне естественно, что профессиональный боец стал гораздо более неизбежным условием социального и политического успеха, чем охотник или скаковая лошадь, которые когда-либо были у нас. Некоторые предприимчивые представители знати вскоре стали предпочитать владение оружием системе найма и открыли собственные школы, в которых *ланиста* был всего лишь тренером. Вскоре к владениям римской знати добавился еще один элемент, связанный с растущим увлечением борьбой с дикими зверями. Первая зафиксированная "охота" такого рода была устроена в 186 году Марком Фульвием по окончании Этолийской войны, когда львы и пантеры были выставлены на всеобщее обозрение.[72] Семнадцать лет спустя два курульных эдила предоставили шестьдесят три африканских льва и сорок медведей и слонов для Цирцензийских игр.[73] В конце концов эти зверинцы стали представлять общественную опасность, и курульный эдил (сам один из главных нарушителей) был вынужден издать эдикт, определяющий компенсацию за ущерб, который дикие звери могут причинить во время своего путешествия по Италии или проживания в городах.[74] Обязанность богатства обеспечивать роскошью бедных - великолепная черта древней цивилизации, в которой она всегда превосходила

современную, - признавалась в тогдашнем Риме с предельной откровенностью; но это была обязанность, которая уже перешла те пределы, за которыми ее можно было с радостью выполнять как долг патриота или мецената; Оно достигло той стадии, когда его деморализующие последствия, как для дающего, так и для получающего, были очевидны каждому зрячему, но когда на критику его пороков можно было ответить убедительной репликой, что оно является жизненной необходимостью существующей политической ситуации.[75]

Приведенный нами обзор огромных расходов, вызванных социальными и политическими аппетитами того времени, подводит к рассмотрению двух вопросов, которые, хотя и редко формулировались или встречались в своей обнаженной форме, постоянно присутствовали в умах классов, вынужденных считать себя либо самыми ответственными авторами, либо самыми выдающимися жертвами существующих стандартов как в политике, так и в обществе. Эти вопросы звучали так: "Можно ли остановить этот истощающий поток?" и "Если нельзя, то как его обеспечить?". Город, находящийся в состоянии лихорадки, всегда породит желающего стать врачом; но любопытный факт о Риме того и другого времени заключается в том, что врач так часто был пациентом в другой форме. Как при управлении провинциями скандалы индивидуального правления часто встречались самым суровым законодательством, исходящим от того самого органа, который породил злодеев, так и когда предлагались средства для борьбы с социальными пороками города, сенат, несмотря на свою склонность к индивидуальным проступкам, обычно демонстрировал обладание коллективной совестью. Люди, которые формулировали стандарты чистоты и самоограничения, могли быть немногочисленны, но, если они не проявляли раздражающей активности и бескомпромиссных методов Катона, они обычно получали поддержку своих коллег, и чем суровее был цензор, тем с большей радостью его приветствовали как украшение порядка. Этот блюститель нравов все еще издавал свои эдикты против столовых деликатесов, иностранных духов и дорогих домов;[76] еще в 169 году люди поспешно гасили огни, когда сообщалось, что Тиберий Семпроний Гракх возвращается с ужина, чтобы не попасть под подозрение в несвоевременном веселье;[77] и спорадическая деятельность цензуры найдет множество иллюстраций в последующих главах нашей работы. Деградация различных государственных структур все еще была следствием ее антисанкций; но более мягкая, более универсальная и, вероятно, гораздо более эффективная мера борьбы с роскошью - система, которой придерживался Катон, приняв чрезмерную оценку стоимости товаров[78] и таким образом переложив бремя налогов с плеч ремесленника и фермера на плечи богатейшего класса[79], - была вырвана из его рук полным прекращением прямых поборов после Третьей македонской войны[80].

Тем временем законы о роскоши продолжали издаваться из Ростры и приниматься народом. Все они, которые, как известно, были приняты или считались действительными после окончания великих войн, имели только одну цель - наступление на расходы на стол, форму чувственного наслаждения, которая, благодаря легкости и варварскому изобилию, с которым богатство могло похвастаться в этой области, была особенно популярна среди высших классов Рима. Другие формы экстравагантности, похоже, в то время не были затронуты законодательством, так как Оппиев закон, который был обусловлен напряжением Второй Пунической войны, был отменен после ожесточенной борьбы в 193 году, и римские дамы теперь могли украшать себя более чем половиной унции золота, носить одеяния разных цветов и ездить в своих каретах по любой улице, по своему усмотрению.[81] Первым законодательным актом, пытавшимся контролировать расточительность за столом, стал орфический закон 181 года, ограничивавший количество гостей, которых можно было приглашать на увеселительные мероприятия. Катон был последователен, выступая против

принятия этого закона и сопротивляясь его отмене. Он распознал бесполезный закон, когда увидел его, но не пожелал признать эту бесполезность.[82] Двадцать лет спустя[83] фаннийский закон вырос из постановления сената, предписывавшего главным людям государства (*principes*) давать клятву перед консулами не превышать определенного предела расходов на банкеты, устраиваемые во время Мегалесийских игр. Усиленный мерой, которая предписывала еще более жестокие детали, чем орфический закон. Новый закон фактически определял стоимость и характер продуктов, потребление которых разрешалось. Он разрешал тратить сто ассов в дни Римских игр, Плебейских игр и Сатурналий, тридцать ассов в некоторые другие праздничные дни и только десять ассов (менее чем вдвое больше дневного жалованья римского солдата) на все остальные трапезы в течение года; он запрещал подавать любую птицу, кроме одной курицы, да и ту не откармливали; он предписывал употреблять исключительно местное вино.[84] Это постановление было усилено восемнадцать лет спустя дидийским законом, который включал в число наказаний не только виновника пира, нарушившего предписанные ограничения, но и гостей, присутствовавших на таком пиру. Он также заставил или побудил италийских союзников принять положения Фаннийского закона[85] - необычный шаг, который мог свидетельствовать о том, что роскошь, подобная римской, ослабляла ресурсы конфедерации, от мощи которой так зависело ведущее государство, или же был вызван знанием того, что представители римской знати отправлялись в отпуск в загородные города, чтобы насладиться удовольствиями, запрещенными дома, и потратить свои деньги на италийские заведения общественного питания[86].

Частота принятия подобных законов, которые мы вновь обнаружим перед эпохой реформ Суллы[87], кажется, доказывает их неэффективность,[88] и, более того, стандарт комфорта, который они хотели ввести, был совершенно несовместим с обстоятельствами эпохи. Стремление к единообразию[89] стандартов всегда было целью римского, как и греческого, свода законов, но какое единообразие можно было ожидать в обществе, где крайности богатства и бедности были так сильно выражены, где капитал накапливался в руках знатных и крупных торговцев и был полностью изъят из рук свободнорожденных крестьян и ремесленников? Ограничение бесполезного потребления действительно благоприятствовало более продуктивному использованию капитала; но вскоре мы увидим, что это продуктивное использование, целью которого было ухудшение состояния земли за счет выпаса скота и покупки подневольного труда, было столь же пагубным для свободного гражданина, как и самая безрассудная расточительность. Однако несомненно, что и законы о роскоши, и цензурные постановления того периода пытались достичь как экономических, так и социальных целей; и, какими бы ошибочными ни были их методы, они демонстрировали определенную оценку промышленных бедствий того времени. Положение Фаннийского закона в пользу местных вин говорит о желании помочь мелкому земледельцу, который заменил виноградарством выращивание зерновых, и предвещает защитное законодательство цicerоновского периода.[90] Большая часть этого законодательства также была продиктована "меркантильной" теорией, согласно которой государство обедняется из-за вывоза драгоценных металлов в чужие земли[91] - мнение, которое нашло свое выражение в определенном постановлении более раннего периода, запрещавшем выплачивать золото или серебро кельтским племенам на севере Италии в обмен на товары или рабов, которых они продавали римским купцам[92].

Еще одна серия законов была направлена на обеспечение чистоты электората, подверженного опасности развращения из-за подавляющего влияния богатства. Законы

против взяточничества, неизвестные в более ранний период,[93] становятся болезненно частыми с того момента, когда Рим вступил в контакт с богатствами Востока. Через шесть лет после завершения великого азиатского похода народу по решению сената было предложено одобрить не один закон, направленный против неправомерного влияния на выборах;[94] в 166 году новые скандалы потребовали рассмотрения в Государственном совете;[95] а в 159 году появился еще один закон.[96] Однако смертная казнь, которая, по-видимому, была следствием нарушения по крайней мере одного из этих законов,[97] не удержала кандидатов от того, чтобы ставить свое гражданство на карту своего успеха. Все еще сохранявшийся обычай клиенты затруднял установление объекта дарения, а тайна голосования, введенная на выборах в 139 году, не позволяла доказать, что подозрительный дар подействовал, и тем самым создать убедительное дело против дарителя.

Моральный контроль, осуществляемый магистратом, а также сумочные или уголовные предписания, закрепленные в актах парламента, могли служить временными паллиативами в отношении некоторых явных злодеяний момента; но они были бессильны сдержать расточительность расходов, которые были санкционированы обычаем и в некоторых отношениях фактически принуждались законом. Одной из важнейших практических потребностей нового римлянина было увеличение его доходов всеми способами, которые могли быть сочтены законными обществом, которое даже в свои лучшие времена никогда не отличалось беспринципностью в эксплуатации бедных и было склонно иллюстрировать святость договора наглядными примерами жестокого угнетения. Характер и интенсивность гонки за богатством отличались от потребностей озабоченных транжир; и в отношении как потребностей, так и средств их удовлетворения высший средний класс находился в гораздо более выгодном положении, чем его благородные правители. Он мог беспрепятственно тратить свою энергию в погоне за прибылью, которую можно было извлечь из государственных заказов, торговли, банковского дела и денежного кредитования, и при этом не был вынужден подчиняться тяготам, создаваемым агитацией за должность и непомерными требованиями, предъявляемыми избирателями к денежным ресурсам кандидата. Блеск жизни меркантильного класса с его беспечной роскошью и легким безразличием к расходам устанавливал для дворянства стандарт, который был одновременно и раздражающим, и унижительным. Их побуждали применять меру богатства даже к членам их собственного ордена и считали неизбежным, что любой из их пэров, чье состояние уменьшилось, должен занимать лишь подчиненное место как в политике, так и в обществе;[98] а средства, которые они иногда были вынуждены принимать, чтобы соперничать с богатством успешного подрядчика и промоутера, были если и не менее разумными с моральной точки зрения, то, по крайней мере, гораздо более сомнительными с чисто юридической точки зрения.

Часть нынешнего богатства, которым обладали некоторые ведущие дворянские семьи, могла быть чисто случайной, результатом счастливой случайности командования и завоеваний среди богатого и податливого народа. Военные трофеи, правда, доставались не полководцу, а государству; однако он пользовался большой свободой действий в отношении движимого имущества, которое в случае эллинского или азиатского завоевания составляло один из самых богатых элементов приза, и средний полководец вряд ли проявил бы сдержанность и общественный дух, как разрушитель Коринфа. Общественное и военное мнение позволяло победителю оставить себе достаточную долю плодов своей доблести, и она увеличивалась за счет вклада, на который он имел особое и неоспоримое право. Речь идет о почетных подношениях, которые делали государства, оказавшиеся у ног победителя и желавшие привлечь его жалость и заручиться его влиянием на римское правительство. Примерами таких подношений являются сто четырнадцать золотых корон, которые несли на триумфе

Тита Квинция Фламинина,[99] двести двенадцать фунтов веса, показанные на триумфе Манлия,[100] и большой золотой венок весом в сто пятьдесят фунтов, который амбрасиоты преподнесли Нобилиору.[Но еще не наступило время, когда генерал, отправляющийся в поход, или даже губернатор округа, который просто беспокоили пограничные набеги, мог спокойно потребовать твердые деньги в качестве эквивалента драгоценного металла, превращенного в эту бесполезную форму, и когда "коронарное золото" должно было стать одной из регулярных привилегий любого римского губернатора, претендовавшего на военный успех.[102] Вряд ли победоносный полководец этого периода переплавлял подношения, которые он мог посвятить в храмах или оставить для галереи своего дома, и мы должны заключить, что немногие представители знати, проводившие великие кампании, лишь немного обогащались за счет подношений, которые беспомощные народы клали к их ногам. Правильнее было бы сказать, что огромный приток драгоценных металлов усугубил трудности их положения; ведь если золото или серебро принимало форму художественных произведений, которые оставались в их распоряжении, то оно лишь преувеличивало идеал, которому должен был соответствовать их уровень жизни; если же оно принимало форму огромного количества денег, которые вливались в казну государства или распределялись среди легионеров, то главным его следствием было повышение цен и показная видимость огромного роста богатства, которое не соответствовало реальному росту производства.

Но каковы бы ни были последствия металлических призов великих кампаний, эти призы не могли принести пользу ни дворянам в целом, ни в дни сравнительного мира, последовавшего за долгой эпохой войн с богатыми державами, они не могли рассматриваться как постоянный источник будущего капитала или дохода. Когда представитель чиновничьей касты искал способы плодотворного инвестирования, которое могло бы увеличить его доходы, его шансы, на первый взгляд, были ограничены законодательными ограничениями, которые выражали предполагаемые принципы его класса. Клодианский закон, принятый в начале Второй Пунической войны, предусматривал, что ни один сенатор или сын сенатора не должен владеть кораблем с грузом, превышающим триста амфор. Цель этой меры заключалась в том, чтобы запретить представителям правящего класса принимать участие во внешней торговле в качестве перевозчиков, производителей или участников такого крупного дела, как контракт на поставку кукурузы, благодаря которому провинциальное зерно поступало на римский рынок; а корабли малого тоннажа, которые им разрешалось держать, должны были служить им лишь для перевозки на удобный рынок продукции их собственных владений в Италии.[103] Это ограничение было введено не из корыстных побуждений; оно было одиозно для знати, но, поскольку его поддерживал Фламиний, должно быть, было популярно среди масс, которые были слепы к тому факту, что ограничение энергии сенатора сельским хозяйством было бы бесконечно более разрушительным для благосостояния среднего гражданина, чем трата этой энергии на торговлю. Это ограничение, возможно, получило поддержку растущего купеческого класса, который, возможно, был рад избавиться от конкуренции могущественных соперников, и оно, несомненно, служило, по крайней мере внешне, для обозначения различия между человеком с крупными промышленными предприятиями и человеком, чей официальный ранг поддерживался земельным богатством - различия, которое, в форме контраста, проведенного между рыцарями и сенаторами, появляется на каждом шагу в истории поздней Республики. Но каковы бы ни были непосредственные мотивы принятия этой меры, за ней стоял великий и здоровый принцип. Это был принцип, согласно которому соображения внешней политики не должны напрямую контролироваться или тормозиться вопросами торговли, что политика государства не должна становиться предметом корыстных

капризов капитала. Выраженный таким образом дух был прямо противоположен интересам торговца, подрядчика и налогоплательщика. Насколько он был невыгоден, еще нельзя было судить; ведь трансмариновые интересы Рима в то время еще не достигли того развития, которое предполагало овладение завоеванными землями римским капиталистом. Но независимо от того, создал ли этот закон Хлодиана или просто сформулировал противоположность между землей и торговлей, между италийской и провинциальной прибылью, несомненно, что эта противоположность была одним из самых мощных факторов, оживлявших римскую историю на протяжении большей части двух столетий, которые последовали за его принятием. Она порождала конфликт между политикой ограничения предпринимательства, проводимой на благо государства и подданных, и политикой экспансии, подчиняющейся интересам капитала, между политикой осторожной защиты и тем безумием империализма, которое всегда ассоциируется с варварством, разбойничеством или торговлей.

Но если мы поинтересуемся, достиг ли этот закон своей мнимой цели - полностью отгородить сенаторов от прибылей любого предприятия, которое можно было бы назвать коммерческим, - то утвердительный ответ покажется нам более чем сомнительным. Закон был мертвой буквой, когда Цицерон предъявил Верресу обвинение,[104] но его кончина могла быть достигнута в результате долгого и медленного процесса упадка. Но даже если бы положения закона соблюдались на протяжении всего рассматриваемого нами периода, путь к богатству, полученному от деловых связей с провинциями, не обязательно был бы закрыт для чиновничьего сословия. Мы скоро увидим, что компании, созданные для выполнения государственных контрактов, вероятно, позволяли владеть акциями частным лицам, которые вообще не фигурировали в зарегистрированном списке партнеров, и мы знаем, что владение акциями крупного государственного концерна считалось одним из методов ведения бизнеса, который не накладывал на участника пятно вульгарного коммерциализма.[105] И если сенатор решил более непосредственно наслаждаться доходами от трансмаринной торговли, в какой степени ему действительно препятствовали положения закона? Он мог не иметь собственного корабля, но его вольноотпущенники могли плавать в любой порт на самых больших судах, и кто мог возразить, если доходы, которые иждивенец должен был выплачивать своему господину, брались из прибыли от торговли? Опять же, не было запрета на ссуды под заклад, и Катон увеличил свое состояние, став через своего вольноотпущенника членом морской компании, каждый партнер которой имел лишь ограниченную ответственность и перспективу огромных прибылей.[106] Пример этого энергичного добытчика денег также иллюстрирует множество способов, с помощью которых дворянин с деловыми вкусами мог увеличить свои доходы, не распространяя свои предприятия далеко от столицы. Можно было использовать растущий вкус к загородным виллам, к ручьям, озерам и естественным лесам; купить подходящее место за небольшую цену, сдать его в хорошую аренду или продать по более высокой цене. Владение домами в городе, которое со временем переросло в монополию на целые кварталы и улицы, принадлежавшую такому человеку, как Красс,[107] во всех отношениях соответствовало сенаторскому званию. Можно было даже быть работоторговцем без потери достоинства, по крайней мере, если вести гнусные дела через раба. Молодому и перспективному мальчику требовался всего лишь год обучения искусству, чтобы осторожный покупатель мог получить большую прибыль от его продажи.[108] Тем не менее, такие методы должны были рассматриваться знатно в целом как лишь вспомогательные средства для увеличения своего состояния: и, несмотря на то, что Катон придерживался мнения, что сельское хозяйство должно быть скорее развлечением, чем бизнесом,[109] не может быть сомнений, что основное богатство чиновного класса все еще можно было найти в акрах Италии. Однако это было не то богатство умеренной усадьбы, которое можно было получить от тщательной

обработки полей; это было богатство, которое, как мы вскоре увидим, было связано с рабовладельческим капитализмом, надсмотрщиком, иностранным методом обработки земли по образцу грандиозных плантационных систем Востока и верой в превосходство пастбищ над обработкой земли, которая должна была превратить многие густонаселенные и плодородные равнины в пустыню, полную опасностей и запустения.

Но как бы он ни стремился, находилось немало дворян, которые обнаруживали, что их расходы не могут быть покрыты за счет торговли, в которую ввязывались другие, или за счет доходов, приносимых большими участками итальянской земли, на которые он претендовал как на исключительную власть. Драматург той эпохи изобразил Скудость как дочь Роскоши;[110] а еще более ужасное дитя должно было родиться в Скупости, которая возникла из бесполезных пристрастий и жестоких соревнований того времени.[Желание получить и удержать всегда было римским пороком; но оно также было неизменным принципом римского государства и убеждением римского чиновника - убеждением настолько глубоко укоренившимся и спонтанным, что не давало оснований для самодовольства, - что жажда приобретения должна ограничиваться областью частного права и никогда не пересекать жесткий барьер, отделявший эту область от сферы богатства и власти, которую город доверил своему слуге как торжественное доверие. Лучшего надзирателя часто можно было встретить в лице неглупого делового человека - например, Катона, - который никогда не отказывался от своих прав и с таким же упорством и страстью защищал права своих подчиненных. Честь, которая преобладала в торговом кодексе на родине, считалась настолько само собой разумеющейся во всех делах с иностранным миром, что государство презирало тщательную проверку расходов своих министров и было избавлено от позора системы общественного аудита. Даже в эту эпоху, которую античные историки считают началом упадка общественной добродетели, Полибий мог противопоставить подозрительное отношение к блюстителям порядка, характерное для официальной жизни его собственной несчастной страны, обоснованному доверию, которое Рим возлагал на честь своих министров, и мог поведать миру, что "если бы магистрату греческого государства был доверен всего лишь денежный талант, для надежности залога требовалось бы десять аудиторов, столько же печатей и вдвое больше свидетелей; Но даже в этом случае вера не соблюдается; в то время как римлянин, занимающий официальный или дипломатический пост и распоряжающийся огромными суммами денег, придерживается своего долга, руководствуясь лишь моральными обязательствами клятвы, которую он дал"; что "среди римлян продажный чиновник - такое же редкое явление, как финансист с чистыми руками среди других народов".[112] Когда старший Африкан разорвал бухгалтерские книги своего брата - книги, в которых было записано перемещение восемнадцати тысяч талантов от азиатского царя к римскому генералу, а от него - к римскому государству[113], - он преподал урок доверия, который был немедленно принят сенатом и народом. И похоже, что в том, что касалось расходования государственных средств, это доверие продолжало оправдываться. Правда, Катон яростно поносил честь полководцев в вопросе распределения военных призов между солдатами и проводил горький контраст между частными и официальными ворами. "Первые, - говорил он, - проводят свою жизнь в ремнях и железных оковах, вторые - в пурпуре и золоте". [114] Но не существовало твердых правил практики, которыми бы руководствовались при таком распределении, и командир, в остальном честный, мог не испытывать угрызений совести, проявляя избирательный вкус в своих интересах. С другой стороны, преднамеренное присвоение государственных средств, по-видимому, редко подозревалось или, по крайней мере, редко становилось предметом судебного рассмотрения, и в течение многих лет после учреждения постоянного суда для рассмотрения дел о вымогательстве не считалось необходимым создавать аналогичный трибунал для рассмотрения дел о казнокрадстве.[За исключением долгого, мучительного и

безрезультатного процесса над Сципионами[116], ни один вопрос подобного рода не поднимался с тех пор, как Маний Ацилий Глабрион, покоритель Антиоха и этолийцев, боролся за цензуру. Тогда некоторые ревнивые представители знати подняли против него историю, основанную на существовании несомненного богатства, которое он щедро использовал, чтобы завоевать расположение народа. Утверждалось, что некоторые деньги и добыча, найденные в лагере короля, никогда не выставлялись на триумф и не поступали в казну. Были приглашены легаты и военные трибуны, и Катон, сам претендовавший на цензуру, был готов засвидетельствовать, что золотые и серебряные вазы, которые он видел в захваченном лагере, не были видны в триумфальной процессии. Глабрио отказался от своей кандидатуры, но народ не захотел осудить его, и обвинение было прекращено.[117] Здесь мы снова сталкиваемся со старым соблазном охоты за курьезами, который аристократия сочла неприличным в таком "новом" человеке, как Глабрио; показания Катона - единственные показания, которые оказались опасными, - не подтвердили обвинения в том, что деньги, причитающиеся государству, были перехвачены римским консулом.

Но бережное отношение к имуществу государства, к сожалению, не распространялось на имущество его клиентов. Еще до того, как провинции уступили легкую добычу, облегченную расстоянием и безответственностью, итальянские города были вынуждены жаловаться на насилие и жестокость римских командиров, расположившихся по соседству,[118] а пассивное молчание, с которым праенестинцы сносили неумеренные требования консула, было роковой гарантией безнаказанности, грозившей навсегда изменить отношения этих свободных союзников к покровительствующей державе.[119] Но провинциальные командования предоставляли больше соблазнов и гораздо более благоприятное поле для капризной тирании; ведь здесь поборы правителя не были ни опровергнуты присягой на должность, ни поначалу даже запрещены санкциями закона. Требования можно было предъявлять в соответствии с потребностями момента, а эти потребности, естественно, интерпретировались в соответствии с желаниями и вкусами правителя в данный момент.[120] Катон не только сократил расходы, которые были произвольно наложены на несчастных туземцев Сардинии,[121] но, кажется, был автором определенного закона, который установил предел для таких требований в будущем.[122] Но легче разработать указ, чем гарантировать его соблюдение, а в то время, когда вокруг кипела война, постановления, принятые для мирной провинции, не могли затронуть действий победоносного полководца, добивавшегося результатов завоевания. Жалобы стали поступать отовсюду - от амбрасиотов Греции, сеноманов Галлии[123] - и сенат сделал все возможное, либо путем собственного разбирательства, либо путем создания комиссии по расследованию, чтобы удовлетворить претензии зависимых народов. В результате получилась своего рода грубая справедливость, но она была слишком грубой, чтобы справиться со злом, которое, как вскоре стало ясно, переросло в систематическое угнетение. Новаторский шаг был предпринят, когда в 171 году делегаты от двух Испаний явились в курию, чтобы пожаловаться на скупость и наглость своих римских губернаторов. Претору было поручено выбрать из сенаторского состава пять судей, которых обычно выбирали для разрешения международных споров (*recuperatores*), чтобы они судили каждого из обвиненных губернаторов,[124] и таким образом был заложен зародыш регулярного суда над тем, что теперь стало регулярным преступлением. Дальнейшее и более постыдное признание, что суд должен быть постоянным и толковать определенный закон, было вскоре сделано, и Кальпурнийский закон 149 года[125] стал первым из той длинной серии законодательных актов о вымогательстве, которые отмечают тщетность исправительных мер перед лицом слабой системы правового и еще более слабой системы морального контроля. Судебные процессы о вымогательстве вскоре стали игрушкой политики, любимой ареной для проявления энергии молодого и восходящего политика, любимым оружием, с помощью которого можно было одновременно отомстить и

увековечить старую семейную вражду. Вскоре им суждено было приобрести еще большее значение как критерию методов управления, которые должно было использовать государство, как определению соответствующих прав администратора и капиталиста на управление судьбами жителей зависимого района. Их многообразное политическое значение разрушает наше доверие к их решениям, и мы редко можем сказать, был ли оправдательный или обвинительный приговор, вынесенный этими судами, оправдан на основании представленных доказательств. Но не может быть и речи о зле, которое скрывается за этой законодательной и судебной деятельностью. Мотив, побудивший людей занять административные должности за границей, во многих случаях был сугубо эгоистичным и подлым - желание приобрести богатство так быстро, как это было возможно при соблюдении не слишком строгих законов. Ни один мотив такого рода не может быть универсальным в политическом обществе, а в Риме мы даже не можем назвать его общим. Власть и отличия привлекали римлян не меньше, чем богатство, и некоторых правителей спасали от искушения колоссальные состояния, которыми они уже обладали. Но о том, как рано он начал действовать на умы многих, свидетельствует то нетерпение, которое, как мы увидим, вскоре проявили соперничающие консулы в отношении ведения войны, которая могла бы дать победителю длительный контроль над богатыми городами, принадлежавшими Пергамскому царству, если это не доказывалось странным нежеланием, которое магистраты задолго до этого проявляли, чтобы принять некоторые команды, которые были возложены на них[126].

В умах народа и правительства зародилось подозрение о другом виде злоупотребления властью, более унижительном, хотя и не обязательно более вредном, чем грабеж подданных. Утверждалось, что можно найти римлянина, который продаст предполагаемые интересы своей страны иностранному правителю или, во всяком случае, примет подарок, который может повлиять или не повлиять на его суждение. Комиссар в Иллирии был заподозрен в присвоении денег, предложенных ему правителями этого района в 171 г.[127], и был дан первый намек на то, что общественное доверие к честности дипломатов было подорвано, что внесло такой хаос во внешнюю политику того периода, который является непосредственной темой нашей работы. Система протектората, которую Рим так широко внедрил, с ее тайными дипломатическими сделками и скрытыми конференциями с королями, предоставляла больше возможностей для тайного обогащения и больше безопасности для использования приобретенных богатств, даже чем разграбление провинции. Доказать факт совершения этого деяния было трудно, а в большинстве случаев и невозможно. Мы должны довольствоваться хроникой подозрений о его растущей частоте, а подозрения эти достаточно ужасны. Если бы обычай выжимать богатства из подданных и продавать поддержку правителям продолжал преобладать, то вскоре можно было бы сказать, с тем элементом преувеличения, который придает правде особое значение, что небольшая группа людей получает доходы от каждого народа в мире[128].

Таковы были источники богатства, открытые для людей, которым официально запрещалось заниматься торговлей и которые, как предполагалось, не имели прямого интереса к финансовым операциям. Гораздо более широкие сферы денежного обогащения, более единообразно легальные, хотя иногда и столь же деспотичные, были открыты для класса людей, которые к этому времени были признаны как своего рода второй порядок в государстве. Граждане, которые, как показали результаты переписи, имели в своем распоряжении определенный капитал, - от обладателей умеренного состояния, которое общество могло бы использовать в качестве демаркационной линии между высшим и низшим средним классом, до распорядителей самых гигантских состояний - были объединены в тело, обладающее значительной социальной и политической солидарностью.

Эта солидарность была достигнута главным образом благодаря общности интересов, вытекающих из схожих методов денежных вложений, которые они использовали, а также благодаря тому обстоятельству (незначительному самому по себе, но важному в древнем обществе, которое всегда было склонно к делению на классы), что все члены этого класса могли называть себя вежливым титулом "рыцари" - это было оправдано правом, которым они обладали, служить на своих собственных лошадях в римской кавалерии вместо того, чтобы разделять пешую службу легионеров. Общее обозначение не было неуместным для людей, которые в определенном смысле были государственными служащими и в самом деле составляли часть администрации. У рыцаря могло быть много занятий; он мог быть ростовщиком, банкиром, крупным импортером; но в первую очередь он был земледельцем, занимавшимся сбором налогов. В первом случае он был просто частным лицом, которое могло быть или не быть временно связанным с другими; во втором случае его положение означало, что он был членом мощной и постоянной корпорации, которая служила правительству, от которого она могла получить большую прибыль или от рук которого она могла понести большие потери - правительству, которому нужно было помогать в его бедах, бороться, когда его требования были непомерными, поощрять, когда его меры казались прогрессивными, и препятствовать, когда они казались реакционными с коммерческой точки зрения. Группа частных лиц или частных фирм никогда не смогла бы достичь такой последовательности в организации или единообразия в политике, которые демонстрировали эти общества сборщиков налогов; даже компания должна прожить долгую жизнь, прежде чем она сможет обрести силу и уверенность, достаточные для энергичных действий в оппозиции к государству; и кажется несомненным, что эти общества были полностью освобождены от парализующего принципа, который римское право применяло к партнерству - принципа, который диктовал, что каждое партнерство должно быть распущено смертью или выходом на пенсию одного из участников.[129] Государство, не имевшее собственной гражданской службы, достойной этого названия, позаботилось о создании постоянных организаций частных акционеров, которые должны были удовлетворять его потребности, придать им нечто вроде официального характера и обеспечить каждой из них в результате ее постоянства индивидуальную силу, которая, несмотря на теорию, согласно которой налоги и общественные работы выставались на аукцион, могла обеспечить некоторым из этих компаний практическую монополию на определенную сферу деятельности. Но компания в Риме, как и в других местах, сильна пропорционально широте своей основы. Небольшое кольцо капиталистов может тиранить общество до тех пор, пока они ограничиваются обеспечением монополии на частные предприятия и пока закон позволяет им осуществлять эту самодержавную власть без контроля; но такое кольцо гораздо менее способно подчиниться произвольному диктату аристократического органа землевладельцев, такого как сенат, или встретить возмущенное сопротивление номинально всемогущего органа потребителей, такого как комиция, чем корпорация, пустившая глубокие корни в обществе благодаря широкому распространению своих акций. Мы знаем из положительного заверения опытного наблюдателя римской жизни, что число граждан, имевших долю в этих компаниях, было особенно велико.[130] Этот наблюдатель подчеркивает этот факт, чтобы проиллюстрировать зависимость значительной части общества от воли сената, который обладал властью контролировать условия договоров как на общественные работы, которые он передавал в руки подрядчиков, так и на источники производства, которые он сдавал в аренду;[131] но столь же очевидно, что большое число акционеров должно было оказывать глубоко изменяющее влияние на произвол такого органа, как сенат, который управлял главным образом через уважение к общественному мнению; и мы знаем, что в крайнем случае можно было подать апелляцию в суверенное собрание, если находился магистрат, достаточно смелый, чтобы донести до него

предложение, которое было отклонено сенатом.[132] В таких кризисах сила компаний зависела главным образом от количества индивидуальных интересов, которые были поставлены на карту; акционер чаще появляется на таких собраниях, чем человек, которого не затрагивает глубоко вопрос, и очень редко средний потребитель обладает достаточной проницательностью, чтобы видеть, или достаточной энергией, чтобы противостоять страданиям и неудобствам, которые возникают в результате махинаций капитала. Временами можно было набить законодательное собрание людьми, имевшими какой-либо финансовый интерес, пусть даже незначительный, в споре, вытекающем из контракта, требующего решения; но скоро должно было наступить время, когда такие вопросы детализации уступят место гораздо более важным вопросам политики, когда вопросы, вытекающие из выбранной правительством линии внешней деятельности, будут обсуждаться в холодном и сверкающем свете золотых ставок, потеря или выигрыш которых зависели от проводимой политики. Даже опытному глазу было бы нелегко понять, что такое собрание представляет собой армию капитала. Исследования позволили предположить, что компании того времени состояли как из внешнего, так и из внутреннего круга; что масса акционеров отличалась от тех, кто был учредителями, управляющими и активными агентами концерна, что ответственность первых, по крайней мере, была ограничена и что их акции, будь то малые или большие, были передаваемыми и подверженными колебаниям рынка.[133] Но даже если мы не верим, что это различие между *socii* и *participes* было юридически проработано, все же, вероятно, существовали средства, с помощью которых представители внешней общественности могли вступать в деловые отношения с признанными партнерами в одном из этих предприятий, чтобы разделить его прибыли и убытки.[134] Вольноотпущенник, вложивший свои небольшие сбережения в дело предприимчивого покровителя, придавал своему голосу в собрании такое же меркантильное значение, какое придавал своему избирательному праву в сенате какой-нибудь знатный пэр, обменявший независимость своих суждений на получение более быстрой прибыли, чем можно было извлечь из земли.

Получатели доходов делились на три широких класса. Во-первых, это подрядчики по созданию, содержанию и ремонту общественных сооружений, которыми располагало или которые планировало построить государство, таких как дороги, акведуки, мосты, храмы и другие общественные здания. Если цензоры и их советники действовали со знанием дела, беспристрастно и осмотрительно, то гигантские прибыли в таком деле были невозможны; ведь на такие контракты давались самые низкие цены, а результаты могли быть отклонены, если проверка показывала, что они неудовлетворительны. Во-вторых, существовали компании, которые арендовали источники производства, принадлежавшие государству, такие как рыбные промыслы, солеварни, шахты и лесные угодья. В некоторых случаях так поступали даже с пахотными землями, а конфискованные территории Капуи и Коринфа были сданы в долгосрочную аренду *мытарям*. В-третьих, существовали общества, которые сами не приобретали арендных прав, но выступали в качестве настоящих посредников между государством и частными лицами[135], которые платили ему доходы, будь то в качестве арендаторов его территории, или в качестве пользователей участков, на которые оно претендовало, или в качестве должников по платежам, установленным соглашением или законом. Эти классы должников государства, с которыми вступали в контакт посредники, можно проиллюстрировать, соответственно, на примере обитателей домениальных земель Италии, корабельщиков, заходивших в порты, и провинциалов, таких как жители Сицилии или Сардинии, которые были обременены выплатой десятины с продукции своих земель.[136] Если мы рассмотрим отдельно характеристики трех классов государственных фермеров, мы обнаружим, что и первые, и вторые являются прямыми работодателями труда, а третьи получают лишь косвенную прибыль от производства, контролируемого другими.

Именно в этом отношении, как работодатели труда, тогдашние общества были свободны от тревог и ограничений, которые сопровождают современное использование капитала. За исключением редких случаев, когда подрядчики арендовали пахотную землю и сдавали ее в субаренду первоначальным жильцам, - а именно такой способ, по-видимому, был принят для территории Кампании[137], - не может быть никаких сомнений в том, что работа, которую они контролировали, выполнялась в основном руками рабов. Поэтому они были избавлены от раздражения и расходов, которые могли быть вызваны конкуренцией и организованным сопротивлением свободного труда. Рабы, занятые на многих из этих производств, должны были обладать высокой квалификацией; ведь многие из этих сфер богатства, которые государство делегировало подрядчикам, требовали особых промышленных приспособлений и необычных знаний от мастеров и ведущих ремесленников. Слабость рабского труда - отсутствие интеллекта и духа - не могла ощущаться так остро, как в больших сельскохозяйственных поместьях, где работали в основном неквалифицированные люди; а трудности, которые могли возникнуть из-за недостатка силы или интереса, из-за владения слабыми или инертными руками, вероятно, преодолевались таким же бескомпромиссным способом в мастерской подрядчика и в поместьях дворянства. Максима о том, что престарелый раб должен быть продан, не могла быть свойственна только подмастерьям в сельском хозяйстве, а *эргастул* с его закованными в цепи бандами должен был быть так же хорошо знаком мануфактурщику, как и землевладельцу.[Что касается учредителей и акционеров этих компаний, то нельзя было ожидать, что они будут представлять себе или содрогаться, когда представляли себе бессердечные, возможно, бесчеловечные средства, с помощью которых обеспечивалась регулярная прибыль на их капитал. 139] Также маловероятно, что правительство того периода проявляло большую заботу о надзоре за условиями работы или судьбой рабочих. Партнер желал быстрой и большой прибыли, государство - большой ренты и небольших тендеров. Беспощадная трата человеческой энергии, растрата человеческих жизней и практический отказ от свободного труда, который наводнял города бездельниками, были идеями, которые, если и возникали, то, вероятно, оставались на заднем плане правительством, которое обычно испытывало финансовые трудности, и отдельными людьми, одушевленными жестокой коммерческой конкуренцией эпохи.

Стремление подрядчиков и арендаторов к большим прибылям, естественно, выражалось в желании расширить сферу своей деятельности. Каждое продвижение в римской сфере военной оккупации предполагало строительство новых дорог, мостов и акведуков; каждое расширение этой сферы должно было сопровождаться конфискацией определенных территорий, которые государство объявляло общественными доменами и передавало той компании, которая гарантировала бы выплату наибольшего дохода. Но гнусный империализм, одушевлявший подрядчика и арендатора, должен был быть ничтожен по сравнению с тем, что питало мечты истинного государственного посредника, человека, стоявшего между налогоплательщиком и государством, производителем и потребителем. Завоевание означало бы новые линии побережья и границы, на которых расположились бы рабочие дома коллекционеров с их местными директорами и активными "семьями" вольноотпущенников и рабов. Это могло бы даже означать, что более плодотворный источник дохода был бы передан на попечение мытаря. Зрелище того, как начислялся и собирался земельный налог в Сицилии и Сардинии, возможно, уже внушало надежду на то, что при следующей организации провинций капиталисты Рима будут более справедливы. Когда Сицилия оказалась под властью Рима, отстраненность правительства от финансовых интересов, а также его врожденный консерватизм, оправданный успехом итальянской организации, который диктовал мнение, что местные институты не следует легкомысленно менять, заставили его принять методы налогообложения земли, которые были

распространены на острове в момент его присоединения. Эти методы предполагали установление налога местными чиновниками и сбор его местными компаниями или государствами.[140] Правда, , что ни то, ни другое не исключало полностью предприимчивости римских капиталистов; они пересекали Мессинский пролив на многих частных предприятиях и в таком большом количестве селились в деловых центрах острова, что в хартии, данной сицилийским городам после первой сервильной войны, содержалось подробное положение о разрешении исков между римлянами и туземцами.[Не стоило ожидать, что они будут воздерживаться от участия в местных компаниях, претендовавших на сицилийскую десятину, или от конкуренции с ними, да и закон не запрещал такие объединения или конкуренцию. Но разрозненные группы капиталистов, которые вступали в контакт с сицилийскими йоменами, не обладали официальным характером и официальным влиянием крупных компаний Италии. Ни одно объединение, каким бы могущественным оно ни было, не могло похвастаться монополией на главный источник дохода на острове. Но то, что они сделали, было показателем того, что они могли бы сделать, если бы нашлась другая возможность и более покладистое правительство. Любой человек или любая партия, которые могли бы пообещать рыцарям беспрекословный контроль над доходами новой провинции, были бы уверены в их искренней симпатии и поддержке.]

И любому человеку или партии, рискнувшим разработать программу, идущую вразрез с политической ортодоксией, стоило бы заручиться сотрудничеством этого класса. Ведь недавняя история показала, что тщательная организация капитала, поощряемая государством, чтобы избавиться от утомительного бремени в мирное время и обеспечить себе поддержку в трудные времена, может стать, в зависимости от желания, оплотом или угрозой для правительства, которое ее создало. У этого полезного монстра начало формироваться собственное самосознание. У него были приятные, даже патристические моменты; но его активность могла сопровождаться мрачным требованием цены, которую его номинальный хозяин не был готов заплатить. Самые темные и самые светлые стороны коммерческого духа поочередно проявились во время Второй Пунической войны. С одной стороны, мы видим организованную банду мытарей, пытавшихся разогнать собрание, на котором должны были судить обманщика и разрушителя;[142] с другой стороны, мы видим, что они встретили потрясение Канн предложением большого займа в нищую казну, предоставленного без гарантий и под честное слово разорившегося правительства, что он будет выполнен, когда появятся деньги для его выполнения.[143] Другие компании приложили руку к общественным работам, даже самым необходимым, которые были приостановлены из-за бедствий войны, и заявили обанкротившемуся государству, что потребуют оплаты, когда борьба полностью завершится. 144] Благородное зрелище! И если бы положение работодателя и наемного работника менялось местами только в таких кризисных ситуациях и таким образом, никакой вред не мог бы остаться в памяти ни от обязательств, ни от службы. Но сила, проявленная в этом благодетелии, иногда проявлялась в неприятных формах и приводила к неприятным последствиям. Цензуры Катона и Гракха были ожесточенной борьбой консервативного чиновничества против растущего влияния и (как считали эти магистраты) нахальства общественных компаний; и в обоих случаях ассоциации искали и находили помощь либо у сочувствующей партии в сенате, либо у народа. Постановления Катона были отменены, а их энергичному автору угрожали трибунским преследованием в Комиции;[145] в то время как Гракх и его коллега были фактически подвергнуты импичменту в народном суде.[146] Безрассудное использование подневольного труда компаниями, которые обрабатывали государственную собственность, уже представляло опасность для общественной безопасности. Общество, купившее у цензоров право на сбор смолы в брутийском лесу Силы, наполнило окрестности бандами свирепых и бесконтрольных иждивенцев, в основном рабов, но частично и свободных

людей, возможно, из числа отчаянных бруттийцев, которых Рим изгнал из своих домов. Следствием этого стали акты насилия и убийства, которые потребовали вмешательства сената, и консулы были назначены специальной комиссией для расследования этих безобразий.[147] Жалобы не ограничивались Италией; злоупотребления в провинциях уже требовали радикальных мер. Доказательством тому служит тот поразительный факт, что при повторном заселении Македонии в 167 году было принято постановление об отказе от разработки рудников в этой стране, по крайней мере в таких широких масштабах, которые требовали бы системы контрактов. Поручать это туземным компаниям считалось опасным, а что касается римлян, то само их присутствие в стране означало бы отказ от всех гарантий верховенства общественного права или свободы провинциалов.[148] Государство по-прежнему предпочитало стеснения бедности стеснениям властного богатства; этот выбор доказывал его слабость; но даже элемент силы, проявившийся в капитуляции, вскоре мог быть утрачен, если бы капитал получил более широкое влияние и более определенное политическое признание. Пока же эти организации капитала только начинают осознавать свою силу и ни в коем случае не достигли даже расцвета. Открытие богатств Востока было необходимо для развития гигантской мужской силы, которая должна была затмить ничтожную фигуру сельскохозяйственного богатства Италии.

Если бы государственные подрядчики стояли особняком или не занимались разнообразными предприятиями, для которых их официальный статус был выгодной точкой опоры, численность и влияние лиц, вложивших свой капитал в коммерческое дело, были бы гораздо меньше, чем на самом деле. Но, помимо мытаря, мы должны учитывать делового человека (*переговорщика*), который ссужал деньги под проценты или занимался банковским делом. Такие люди имели денежные интересы, не знавшие географических границ, и во всех широких вопросах политики были склонны встать на сторону государства-договорника.[149] Ростовщик (*fenerator*) представлял собой одну из самых ранних, самых знакомых и самых обходительных форм римского предпринимательства - одну из тех, чья внутренняя привлекательность для пытливого римского ума противостояла всем усилиям законодательной власти, привлекая к своей поддержке как самого богатого землевладельца, так и самого мелкого ростовщика. Правда, к торговле прилипло какое-то пятно, которое было не просто продуктом ошибочного экономического представления о природе прибыли, получаемой ростовщиком, но и более непосредственным результатом социальных бедствий и преследований законодательной власти. Катон ссылается на то, что римский закон клеймил ростовщика как большее проклятие для общества, чем обычного вора, и делает нечестность ссуд под проценты достаточным основанием для отказа от безопасной и прибыльной формы инвестирования.[150] Ростовщичество, утверждал он, было формой убийства.[151] Но для большинства умов это чувство бесчестности всегда было чисто внешним и поверхностным. Действия не были противны тонкому чувству, если они не становились предметом профессии всей жизни и не выставлялись на всеобщее обозрение. К ростовщику, сидевшему в конторе на Форуме и выдававшему свои ссуды или получавшему проценты через прилавок, прилипало какое-то пятно;[152] его не чувствовал капиталист, стоявший за мелким торговцем, дворянин, чей агент ссужал зерно соседним дворянам, вкладчик в государственные контракты, который, возможно, едва ли осознавал, что его прибыль представляет собой лишь косвенную форму ростовщичества. Но какие бы ограничения ни накладывало общественное мнение на ростовщика, торгующего в Риме и с римлянами, эти ограничения вряд ли ощущались человеком, обладавшим капиталом и предприимчивостью, чтобы перенести свои финансовые операции за море. Он не только имел дело с провинциалами или иностранцами, но и вел дела в таких масштабах, что размах бизнеса почти скрывал его позор. Теперь получателями займов становились города и цари, а если заимодавец занимал политическую позицию, несовместимую с профессией

ростовщика, его личность можно было успешно скрыть под именем какого-нибудь местного агента, который получал достойное вознаграждение за недоброжелательность, которую он вызывал в глазах местного населения, и неловкие конфликты с римским правительством, которые иногда возникали из-за чрезмерного рвения. Катон изгнал из своей провинции Сардиния и принципатов, и агентов;[153] но он был человеком, склонным к враждебности, и жил до того времени, когда враждебность капитала стала несомненной гибелью для правителя и источником вероятной опасности для сената. В деятельности ростовщика мы находим самую универсальную связь между Форумом и провинциями. Не было такой бедной страны, которую нельзя было бы успешно эксплуатировать, и действительно, эксплуатация часто обуславливалась простотой характера, незнанием развитых финансовых систем и отсутствием бережливости, которая у народов с низкой культурой является источником их постоянной нужды. Использование капитала для этих целей всегда происходило далеко за пределами римского владычества. Протекторат мог оказаться в руках группы частных лиц задолго до того, как он был поглощен империей, расширение границ было обусловлено соображениями материальной, а не политической безопасности, и правительство в любой момент могло быть вынуждено вступить в войну, чтобы защитить интересы капиталистов, которых в своем коллективном качестве правительства оно рассматривало как величайших врагов своего господства.

Более благотворное использование капитала иллюстрировала профессия банкира, которая, как и большинство искусств, демонстрирующих высочайшую утонченность практического интеллекта, была дана римлянам греками.[154] Она проникла из Магна-Грации в Лаций, из Лация в Рим и полностью утвердилась в городе ко времени Второй Пунической войны.[Чужеземцы, привнесшие искусство, которое так облегчило ведение деловых операций, были радушно приняты правительством, и их поощряли заниматься своим делом в арендованных у государства лавках на северной и южной сторонах Форума. Эти *аргентариум* удовлетворяли две потребности: обмен иностранных денег и выдачу наличных на более легких условиях, чем у профессиональных или тайных ростовщиков, гражданам всех сословий[156], которые не хотели или затруднялись превратить свою недвижимость в золото. Аналогичные функции в несколько более поздний период были узурпированы испытателями денег (*nummularii*), которые, вероятно, появились в Риме вскоре после выпуска первой отечественной серебряной монеты и конкурировали с более ранними банкирами в большинстве отраслей их торговли.[157] В конечном итоге не было ни одного отдела бизнеса, связанного с переводом и обращением денег, который бы не охватывала совместная профессия. Ее представители занимались покупкой и продажей монеты, уравниванием отечественного и иностранного курсов обмена; они давали кредиты, обеспечивали чужие займы и принимали деньги на хранение; они выступали посредниками между кредиторами и должниками в самых отдаленных местах и давали своим путешествующим клиентам циркулярные ноты об ассоциированных домах в чужих странах; они были в равной степени готовы спустить с аукциона имущество, ставшее собственностью конгресса кредиторов или ряда наследников. Их тщательно ведущиеся книги улучшили даже методичные привычки римлян в отношении деловых записей и ввели форму "договора по бухгалтерской книге" (*litterarum obligatio*), которая значительно облегчила деловые операции в широком масштабе, заменив письменной записью обязательства вместо других облигаций, более трудных для заключения и более легких для уклонения.

Деловая жизнь Рима была во всех отношениях достойна его положения императорского города, а его деловой центр становился величайшей биржей тогдашнего коммерческого мира. Форум по-прежнему собирал самые большие толпы, чтобы послушать голос адвоката или оратора; но эти развлечения были эпизодическими, а постоянная толпа, которую можно

было наблюдать в любой день, была привлечена сюда духом приключений, жаждой новостей и напряжением деловой жизни. Поэт-комик нарисовал для нас картину переменчивой толпы и ее главных элементов, хороших и плохих, честных и бесчестных. Он показал нам человека, который смешивает удовольствие с бизнесом, задерживаясь под Базиликой в крайне сомнительной компании; здесь также есть определенный класс деловых людей, дающих или принимающих словесные обязательства. В нижней части Форума прогуливаются хозяева биржи, богатые и с высокой репутацией; под старыми магазинами на севере сидят банкиры, дающие и получающие ссуды под проценты[158].

Форум стал в обиходе символом всех взлетов и падений деловой жизни,[159] и моралист более поздних времен мог бы направить всех студентов, желающих овладеть премудростями поиска и вложения денег, к прекрасным людям, занимающим свой пост у храма Януса.[160] Аспект рыночной площади сильно изменился, чтобы соответствовать растущим потребностям. В последнее время были возведены великие базилики - укрытые набережные, которые, вероятно, получили свое название от королевских дворов эллинского Востока. Две из самых ранних, Порцианская и Семпронианская, были возведены на месте выкупленных для этой цели деловых помещений[161] и должны были служить целям рынка и биржи.[162] Их крыши вскоре были использованы для размещения судебных инстанций, но именно деловая, а не юридическая жизнь Рима вызвала к жизни эти грандиозные сооружения.

Финансовая деятельность, сосредоточенная на Форуме, была следствием не только системы контрактов, поощряемой государством, и бизнеса банкиров и ростовщиков, но и большой внешней торговли, которая обеспечивала потребности и роскошь Италии и Рима. Это была импортная торговля, связанная отчасти с поставками кукурузы для нации, которая больше не могла прокормить себя, отчасти с поставками предметов роскоши с Востока и более необходимых товаров, включая орудия производства, с Запада. Восточная торговля касалась Эвксинского моря в Диоскурах, Малой Азии - в основном в Эфесе и Апамее, а Египта - в Александрии. Она привозила понтийскую рыбу, эллинские вина, пряности и лекарства из Азии и с восточного побережья Африки, а также бесчисленное множество других товаров, главным образом тех, которые создавали потребность, которую она удовлетворяла. Более прочные товары поставлялись с Запада по торговым путям, которые спускались в Гадес, Геную и Аквилею. Сюда привозили рабов, крупный рогатый скот, лошадей и собак; лен, холст и шерсть; древесину для кораблей и домов; необработанный металл для изготовления орудий труда и произведений искусства. Ни на Востоке, ни на Западе товар не доставлялся от производителя к потребителю. В соответствии с более поздними тенденциями эллинистической торговли вырастали большие империи, в которых хранились товары, пока их не вывозили местные торговцы или за ними не обращался оптовый купец из итальянского порта. Поскольку Тирренское море стало радиусом мировой торговли, ПUTEОЛЫ превратились в величайший центр этой торговли; оттуда товары, предназначенные для Рима, доставлялись в Остию по воде или по суше и доставлялись в город на кораблях, не имевших глубины воды, по Тибру.[163] Но не следует думать, что эта торговля впервые стала контролироваться римлянами и итальянцами, когда она коснулась берегов Италии. Группы граждан и союзников можно было найти в великих основных странах мира, которые получали продукты, когда их привозили из внутренних районов, и обеспечивали перевозки, с помощью которых они доставлялись в Рим.[164] Это были не производители, а посредники, которые получали от торговли большую прибыль, чем можно было получить от любой формы производства в их родной стране. Римский и итальянский торговец должен был уступать только ростовщику в качестве стимула и камня преткновения для императорского правительства; он, как и последний, должен был стать причиной

аннексий и огнем войны и служит почти такой же иллюстрацией той истины, что правительство, не контролирующее операции капитала, может стать его орудием[165].

Если мы спустимся от торговой аристократии к ее более бедным представителям, то обнаружим, что время внесло большие изменения в судьбу мелкого производителя и ремесленника. Правда, старые торговые гильдии Рима, традиции которых восходят к временам Нумы, все еще сохраняли свое существование. Ювелиры, медники, строители, красильщики, кожевники, гончары[166] все еще проводили свои регулярные собрания и праздновали свои регулярные игры. Но сомнительно, что даже в этот период их коллегиальная жизнь не была скорее связана с церемониями, чем с делами, не собирались ли они чаще для обсуждения перспектив своих социальных и религиозных функций, чем для обсуждения правил и методов своих ремесел. Вскоре мы увидим, что эти гильдии ремесленников были большой политической силой в государстве - такой, которая часто тревожила правительство и иногда парализовывала его контроль над улицами Рима. Но их политическая деятельность была связана скорее с церемониями, чем с торговлей; именно как религиозные объединения они поддерживали демагога момента и нарушали покой города. Они вели войну против любых аристократических злоупотреблений, которые на мгновение оказывались перед их глазами; но они не проводили последовательной кампании против господства капитала. Их деятельность была деятельностью радикальной фракции, а не профсоюза. Но если бы даже их промышленный характер был полностью сохранен и интересы торговли занимали бы их внимание больше, чем уличные шествия и политическая агитация, они никогда не смогли бы позиционировать себя как представителей интересов свободнорожденных сынов Рима. Класс вольноотпущенников был свободно принят в их ряды, а вольноотпущенник с экономической точки зрения был величайшим врагом чистокровного итальянца. Мы также увидим, что вольноотпущенник, как правило, не был независимым агентом в ведении того ремесла, которое он исповедовал. Он был обязан своему покровителю, что ограничивало его производственную активность и делало невозможным искреннее сотрудничество с братьями-рабочими. Сомнительно, что какая-либо гильдейская организация смогла бы выдержать шок от огромного развития промышленной деятельности, плоды которой теперь пожинали более удачливые классы Рима. Профессии, представленные в колледжах Нумы, в лучшем случае стали бы лишь каркасом для лабиринта инструментов, которые образовали бы сложный механизм, необходимый для удовлетворения прожорливых потребностей нового общества. Золотых дел мастерство ранних времен теперь было осложнено искусством чеканки и гравировки на драгоценных камнях; первобытный строитель, если он все еще хотел заниматься своим ремеслом с прибылью, должен был ассоциировать его с мастерством людей, которые делали лепные потолки, мозаичные мостовые, расписные стены. Кожевник должен был научиться делать множество видов модной обуви, а красильщик - работать с фиолетовым, алым или шафрановым цветом, с любым оттенком или цветом, которому мода придавала временную актуальность. Пошив одежды превратился в изящное искусство, а подвижные украшения домов требовали целого штата квалифицированных мастеров, каждый из которых посвящал себя той специальности, которую исповедовал. Казалось бы, сами слабости общества могли пойти на пользу низшему среднему классу, а просеивание урожая, собранного с трофеев империи, могло с лихвой обеспечить потребности паразитирующего пролетариата. Неоспоримый факт, что растущая роскошь того времени принесла пользу торговле с той сомнительной выгодой, которая сопровождает отвлечение капитала от целей постоянной пользы на объекты эстетического восхищения или временной демонстрации; но столь же неоспоримый факт, что эта нездоровая подпитка не укрепила в сколько-нибудь заметной степени те низшие классы, которые могли похвастаться чистой римской кровью. Военная повинность, которой подвергались более преуспевающие представители этих

классов, препятствовала постоянному стремлению к техническому мастерству, которое только и могло позволить его обладателю удержаться на рынке в борьбе с более свободными конкурентами. Те из вольноотпущенников и рабов, которые были обучены этим занятиям - люди, которые не были бы обучены, если бы не обладали более высоким художественным восприятием и большей ловкостью в исполнении, чем их собратья, - были полностью освобождены от военного бремени, которое поглощало большую часть досуга и притупляло большую часть мастерства, которым обладали их свободнорожденные соперники. Конкуренция рабов, должно быть, была еще более жестокой в сельских районах и вблизи небольших провинциальных городов, чем в самой столице. В Риме ограниченное пространство препятствовало развитию домашнего производства в домах знати, и, хотя вполне вероятно, что многое из того, что производилось рабами в сельских поместьях, регулярно поставлялось на городскую виллу, все же для покупки предметов немедленного использования или товаров, демонстрирующих высочайшее качество изготовления, аристократический владелец должен был зависеть от конкуренции римского рынка. Но деревенская вилла могла быть вполне самодостаточной, и деревенский ремесленник должен был тщетно искать заказы в просторном особняке, который, будучи когда-то жилым домом или фермой, стал также и фабрикой. Как в городе, так и в деревне практика манумиссии парализовывала энергию свободнорожденного, пытавшегося получить доходную профессию. Частота дарования свободы рабам - один из самых ярких аспектов системы рабства, практиковавшейся римлянами; но сама эта благотворность является иллюстрацией презрения аристократа к пролетариату; ведь там, где идеал гражданственности высок, манумиссия - по крайней мере такая, которая дает политические права или какие-либо торговые привилегии, эквивалентные правам свободного гражданина, - встречается редко. Однако в Риме этого периода освобождение раба свидетельствовало о чем-то большем, чем простое негативное пренебрежение интересами гражданина. Дарованная свобода часто дарилась хозяином в заинтересованном, если не в полностью эгоистичном, духе. Он освобождался от обязанности содержать своего раба, в то время как тот продолжал оказывать ему услуги в качестве вольноотпущенника. Выполнение этих услуг, правда, не было юридическим условием манумиссии; но это было результатом соглашения между хозяином и рабом, на основании которого последний обретал свободу. Дворянин, предоставивший свободу воспитателю своего сына, собственному врачу или цирюльнику, мог по-прежнему требовать, чтобы его лечили, брили или бесплатно обучали его детей. Сделка была справедливой, поскольку хозяин терял услуги, за которые изначально платил, и еще более справедливой, когда вольноотпущенник открывал бизнес на *пекулий*, который хозяин позволил ему приобрести за время рабства. Однако стороны договора находились в неравных условиях, и бремя, налагаемое манумиттором, порой было настолько невыносимым, что к концу II века претор был вынужден вмешаться и установить пределы личной службы, которую можно было ожидать от благодарности освобожденного раба.[167] Выполнение таких безвозмездных услуг неизбежно уменьшало спрос на труд свободного человека, который пытался заниматься искусством, требующим мастерства и зависящим от обычаев богатых классов; и даже те потребности, которые не могли быть удовлетворены безвозмездными услугами свободных людей или купленным трудом рабов, часто удовлетворялись не трудом свободнорожденного римлянина, а трудом *иммигранта-пегринуса*. Иностранец, естественно, воспроизводил искусства своей страны в более совершенной форме, чем та, которой мог овладеть римлянин или итальянец, а поскольку Рим приобрел иностранные потребности, было неизбежно, что они должны были в основном удовлетворяться иностранными руками. Нельзя сказать, что большинство новых достижений в торговле и производстве ускользнуло из рук свободных граждан; вернее было бы утверждать, что они вообще не были ими восприняты. И, что еще хуже, мы должны признать,

что усилий для их достижения было мало. Причину и следствие монополии вольноотпущенников и иностранцев на торговлю и производство мелких изделий следует искать в презрении, которое испытывал свободнорожденный римлянин к "гнусным и нелиберальным источникам средств к существованию". [168] Это предубеждение нашло отражение в публичном праве, поскольку любой, кто занимался ремеслом или профессией, был лишен права занимать должности в Риме. [169] Поскольку магистратура стала монополией одного класса, это предубеждение могло быть не более чем одним из рабочих принципов аристократического правительства, если бы искусства, обеспечивающие удобства жизни, не имели тенденции перетекать в руки неграждан или людей с неполным гражданством. Самый жалкий римлянин мог в своих страданиях утешать себя мыслью, что руки, которые должны были касаться только плуга и меча, никогда не были запятнаны торговлей. Его идеал был идеалом дворянина в его дворце. Он отличался по степени, но не по виду. В центре его внимания были Форум, поле боя и ферма.

Ибо даже самый возвышенный аристократ освободил бы сельское хозяйство от запрета на труд; [170] и, если бы человек свободного происхождения все же мог продуктивно трудиться в своем поместье, его презрение к сброду, обеспечивающему потребности его более богатых сограждан в городах, было бы оправдано на материальных, если не на моральных, основаниях. Он держал бы в своих руках реальные источники богатства, которые сделали империю возможной и сохранили фактически правителей этой империи. Итальянское сельское хозяйство по-прежнему было основой блестящей жизни Рима. Если бы это было не так, эпоха революции не могла бы начаться благодаря аграрному закону. Если бы интерес к земле был невелик, не было бы ни яростных атак, ни упорного сопротивления посягательствам. Мы находимся в начале эпохи господства торговли, но еще не ушли от эпохи господства земельного интереса.

Жизненно важный вопрос, связанный с сельским хозяйством, касался не его неудач или успехов, а людей, которые выполняли работу и делили прибыль. Рабочий, почва и рынок находятся в такой тесной взаимосвязи друг с другом, что старые типы земледелия и землевладения могут оказаться неудачными, а новые - блестяще успешными. Но экономический успех может обернуться социальным провалом. Так было с большей частью тогдашней итальянской земли, перешедшей в руки римлян. Эффективность обеспечивалась накоплением, а мелкие владения приходили в упадок.

Столь сложная проблема, как изменение формы владения и типа производственной деятельности на земле, вряд ли поддастся анализу современного историка, занимающегося событиями древнего мира. Он часто не уверен, описывает ли он причины или симптомы, было ли первичное зло чисто экономическим или в основном социальным, было ли снижение активности результатом бедности и сокращения численности населения, или же нищенство и сокращение населения были следствием ослабленного нерва к труду и столь лихорадочно высокого уровня комфорта, что он снизил тяжелую жизнь в поле и побудил его обладателей отказаться от распространения своего рода. Но социальное и экономическое зло так постоянно влияют друг на друга, что вопрос о приоритете одного над другим не всегда имеет первостепенное значение. Легкие зарисовки древних историков и более продолжительные стенания древних писателей о сельском хозяйстве создают картину, которая дает нам широкие очертания, которые мы должны принять как истинные, хотя мы можем отказаться присоединиться к убеждению, что эти очертания представляют собой неизменное и почти неизлечимое зло. Эти авторы даже пытаются назвать причины, которые убеждают своей вероятностью, хотя часто возникает подозрение, что конечная и неуловимая истина так и не была постигнута.

Два главных симптома, которые сразу же поражают наше воображение, - это реальное или кажущееся сокращение численности свободного населения Рима и внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, которые повлекли за собой уменьшение числа свободных собственников, владевших небольшими или умеренными поместьями. Доказательства фактического сокращения населения следует искать исключительно в римских переписных листах.[171] На первый взгляд, они рассказывают удивительную историю. На момент начала Первой Пунической войны (265 г. до н. э.) число римских граждан составляло 382 284 человека,[172] а во время переписи, проведенной всего за три года до трибуната Тиберия Гракха (136 г. до н. э.), их число составляло 307 833 человека.[173] За 129 лет число бюргеров сократилось почти на 75 000 голов населения. Это сокращение не всегда было неуклонно прогрессивным; иногда происходило внезапное падение, свидетельствующее о страшных разрушениях, причиненных войной. Но возвращение мира не принесло движения вверх, которое сохранялось бы долго. В период сравнительного покоя, последовавшего за Третьей Македонской войной, переписные листы показали сокращение численности на 13 000 человек за десять лет.[174] Семь лет спустя исчезли еще 2000 человек,[175] а за небольшим увеличением в следующем *люструме* последовало очередное сокращение на 14 000 человек.[176] Потребности Рима росли, а средства для их удовлетворения сокращались год от года. Это следует признать, как бы мы ни интерпретировали значение этих доходов. Поспешное обобщение может привести нас к выводу, что население Рима и Италии резко сократилось. Эти данные могут дополнить другие свидетельства, указывающие на это; но сами по себе они не дают оснований для такого вывода. Переписные листы касались не только чисто римских граждан, но и римских граждан определенного типа. Практически несомненно, что они воспроизводят только эффективную боевую силу Рима,[177] и не учитывают тех граждан, чье имущество не давало им права быть причисленными к тому или иному *классу*. [178] Но если не следует полагать, что эти цифры свидетельствуют о фактическом сокращении населения, то вывод, который они демонстрируют, едва ли менее серьезен с экономической и политической точки зрения. Они показывают, что часть зажиточных классов переставала обладать имуществом, дававшим им право на поступление в регулярную армию, и что ряды бедного пролетариата пополнялись за счет их обнищания. Не исключено, что такое обнищание могло быть воспринято усталыми ветеранами Рима и их потомками как благо. Оно означало освобождение от более тяжелого бремени военной службы, а если пойти еще дальше, то подразумевало иммунитет от дани до тех пор, пока с римских граждан собирались прямые налоги.[179] Пока служба оставалась бременем для богатства, пусть даже умеренного, у человека с небольшим достатком было мало стимулов бороться за повышение уровня материального комфорта, который, конечно, был бы омрачен и мог быть потерян из-за личных неудобств, связанных с повинностями.

Уменьшение численности зажиточных слоев населения подтверждается данными переписи. Но можно также привести признаки, которые дают небольшую вероятность того, что свободное население Рима и, возможно, всей Италии уменьшилось. Резня Ганнибаловой войны может быть легко переоценена как источник положительного сокращения. Такие потери быстро компенсируются, когда за войной следуют нормальные промышленные условия, которые может принести успех или даже неудача. Но поскольку вскоре мы увидим основания полагать, что эти промышленные условия не были полностью восстановлены в Италии, Вторую Пуническую войну можно рассматривать как разрыв в численности населения, который так и не был полностью восполнен. Мы находим свидетельства о том, что участки страны, которые не были присоединены богатыми, не могли быть повторно заселены бедными. Политика, проводимая распадающейся империей по расселению иностранных колонистов на итальянских землях, уже приходила в голову государственным деятелям Рима

в самом начале его имперской экспансии. В 180 году до н. э. 40 000 лигурийцев, принадлежавших к народу апуанцев, были согнаны с насиженных мест вместе с женами и детьми и поселены на некоторых государственных землях Рима, которые находились на территории самнитов. Консулам было поручено разделить землю на участки, а колонистам были выделены деньги для покрытия расходов на комплектование их новых хозяйств.[180] Хотя главным мотивом этого переселения было сохранение мира между лигурийскими племенами, вряд ли сенат предпочел бы чужаков своим сородичам, если бы раздался крик безземельного пролетариата с требованием разрешить ему занять и сохранить опустошенную собственность государства.

Но моральные мотивы сильнее, чем физические силы, сдерживают численный прогресс расы. Среди отсталых народов необычные поблажки и последующие болезни могут привести к уменьшению или даже вымиранию поголовья; среди цивилизованных народов мотивы, которые достигают этого результата, скорее благоразумны и связаны с идеалом жизни, который, возможно, повышает эффективность отдельного человека, но создает ему здоровую и приятную среду за счет сохранения рода. О том, что римское и итальянское телосложение не вырождалось, убедительно свидетельствует военная история последних ста лет Республики. Это один из величайших периодов завоеваний в мировой истории. Италия, которую мы часто склонны считать истощенной, все еще могла излить мириады своих доблестных сыновей на границы, обозначенные Рейном, Евфратом и Сахарой; и борьба гражданских войн, последовавшая за этой экспансией, была столкновением гигантов. Но эта энергичность сопровождалась идеалом, то ли безответственности, то ли комфорта, который породил растущую привычку к безбрачию - привычку, которая должна была взбудоражить красноречие многих патриотических государственных деятелей и в конце концов привести к вмешательству закона. Когда цензор 131-го года произнес памятное увещание: "Раз уж природа распорядилась так, что мы не можем ни комфортно жить с женой, ни вообще жить без нее, вам должна быть дороже вечная безопасность государства, чем ваше собственное кратковременное удовольствие", [181] вряд ли он предавался сознательному цинизму, хотя, возможно, в его словах и был след сознательного юмора. Он просто склонялся к идеалу людей, которых он видел или представлял перед собой. Этот идеал не обязательно был плохим, поскольку касался индивидуальной жизни. Он предполагал бережливость, предусмотрительность, комфорт - даже некую эффективность, ведь неженатый мужчина был более вероятным рекрутом, чем отец семейства. Но она жертвовала слишком многим - будущим ради настоящего; она игнорировала неоспоримый долг, который человек должен выполнять перед постоянной идеей государства, работая на будущее, которого он никогда не увидит. Отчасти она опиралась на уверенность в безопасности; но это чувство безопасности было самым опасным признаком из всех.

Практика безбрачия обычно приводит к нерегулярным связям между полами. В обществе, не знающем рабства, от таких связей, как от порождающих социальные неудобства, гораздо большие, чем от брака, обычно отказываются по соображениям благоразумия, даже если моральные мотивы не имеют никакого значения. Но существование в Италии многочисленного класса женщин-иждивенцев, совершенно не вписывающихся в социальный круг горожан, делало привязанность господина к рабыне или вольноотпущеннице фатально легкой и не вызывающей опасений. К сожалению, она была столь же привлекательной, сколь и легкой. Среди массы подневольного человечества, которое стекалось в Италию из большинства стран мира, едва ли можно было найти тип, который не воспроизводил бы какую-то странную и удивительную красоту. И очарование манер можно было получить так же легко, как и очарование лица и форм. Эллинский Восток,

должно быть, часто демонстрировал в своих женщинах тот союз остроумия, грации и гибкого такта, который делал даже его мужчин столь неотразимыми для их римских хозяев. Столичные куртизанки, как высокого, так и низкого сословия,[182] с рассматриваемой нами точки зрения не столь важны, как постоянная любовница или "наложница" мужчины, который мог жить в любой части Италии. Именно последняя, а не первая, была истинной заменой жены. Есть основания полагать, что именно в этот период "наложничество" стало институтом, более чем терпимым в обществе.[183] Отношения, которые оно подразумевало между мужчиной и его спутницей, которая обычно была одной из его вольноотпущенниц, были достаточно почетными. Она исключала возможность союза с любой другой женщиной, будь то брак или временная связь; она могла быть более долговечной, чем фактический брак, поскольку возможности развода быстро разрушали постоянство последних уз; она могла удовлетворять юридическому условию "супружеской привязанности" в той же мере, что и тот тип союза, на который закон или религия давали свое благословение. Но он отличался от брака в одном пункте, имеющем жизненно важное значение для благосостояния государства. Дети могли быть результатом *concubinatus*, но они не рассматривались как его цель. Такие союзы не образовывались *liberûm quaerendorum causâ*.

Таким образом, можно показать, что сокращение или, по крайней мере, неподвижный характер населения отчасти является результатом причин одновременно социальных и экономических; ведь это конкретное социальное зло было результатом экономического эксперимента по расширению использования рабства в качестве средства производства. Это расширение само по себе было отчасти результатом случайностей войны и завоевания, и, в сущности, во всей этой картине перемен, происходивших в Италии, мы никогда не сможем освободиться от призраков милитаризма и гегемонии. Но исследование более чисто экономических аспектов промышленной жизни того периода позволяет ясно увидеть, что последствия войны и завоеваний были лишь основой, случайно представленной, нового метода производства, который был результатом преднамеренной разработки и в некоторой степени сознательного подражания системам, которые в свою очередь создали колоссальное богатство и способствовали политическому упадку более древних цивилизаций, с которыми Рим теперь вступил в контакт. Новым идеалом стала большая плантация или *латифундия* под надзором опытных надсмотрщиков, на которой работали бригады рабов с тщательно дифференцированными обязанностями, руководствуясь научными правилами, которые были разработаны древним опытом Азии и Карфагена, но в неумелых римских руках, Возможно, направили безрассудную энергию, которая, учитывая огромные и быстрые доходы, которые могли дать только более богатые почвы, чем в Италии, была настолько же исчерпывающей для возможностей земли, насколько и расточительной для человеческой энергии, которая была так дешево приобретена и так расточительно использована. Восток, Карфаген и Сицилия были последовательной родиной этой системы, и пунический идеал достиг Рима как раз в тот момент, когда тенденция свободного крестьянства бросать свои наделы как невыгодные или продавать их, чтобы заплатить долги, открыла путь для организации земледелия по великой карфагенской модели.[Люди, чьи потребности росли, чьи доходы должны были идти в ногу с этими потребностями, и чье богатство неизбежно должно было зависеть в основном от продукции земли, естественно, воспользовались этой возможностью с величайшим рвением. И все же у нас нет оснований обвинять представителей римской знати в том, что у них был продуманный план кампании, стимулируемый сознательной жадностью и эгоизмом. Какое-то время они могли не ведать, что творят. Земля пустовала, и они скупали ее; принадлежащие государству владения были настолько необработанными, что превращались в джунгли и мор. Они расчищали и улучшали эти земли с целью собственной выгоды и выгоды государства. Свободный труд был недостижим, а если и достигался, то с трудом. Поэтому они покупали рабочую силу на самом

дешевом рынке, который был продуктом войн и рабовладельческих набегов того времени. В сущности, они действовали так, как в подобных обстоятельствах поступил бы любой просвещенный капиталист. Это была эпоха возрождения сельского хозяйства, а не его упадка. Чиновничий класс был полон энтузиазма в отношении новых и усовершенствованных методов ведения сельского хозяйства. Великий труд карфагенянина Маго был переведен по приказу сената.[185] Мало кто из членов этого органа почел бы за труд последовать начальной максиме великого знатока, что если человек намерен поселиться в деревне, он должен начать с продажи своего дома в городе;[186] люди дела не собирались становиться джентльменами-фермерами, и их души привлекала надежда на выгодные инвестиции для поддержания своего достоинства в столице, а не деревенский идеал первобытного римлянина. Но они могли надеяться, что большинство золотых наставлений двадцати восьми книг, раскрывающих все аспекты науки управления землей, будут усвоены разумным бейлифом, и, возможно, даже руководствовались патриотическим желанием открыть мелкому землевладельцу научные методы обработки земли, которые могли бы предотвратить разорение, которое они осуждали как государственные деятели и эксплуатировали как частные лица. Но эти уроки были отброшены мелким земледельцем; они, вероятно, предполагали наличие капитала и труда, которые были ему недоступны; и наука, возможно, не играла особой роли даже в накоплениях богачей, хотя замечательное зрелище, когда мелкие хозяйства под личным надзором крестьян-собственников не могли противостоять плантациям и ранчо, управляемым судебными приставами и обрабатываемым рабами, позволяет предположить, что некоторые улучшенные методы обработки были приняты в крупных поместьях. Быстрота распространения плантационной системы, должно быть, вызвала удивление даже у ее сторонников. Этрурия, несмотря на то, что в ее пределах недавно были основаны три колонии римских граждан,[187] вскоре стала представлять собой непрерывную череду больших владений, тянущихся от города к городу, и едва ли найдется деревня, нарушающая монотонный простор ее самообрабатывающихся равнин. Прошло немногим более сорока лет с момента окончательного заселения последней римской колонии Луны, когда молодой римский аристократ, путешествуя по этрусским дорогам, тщетно напрягал глаза, чтобы найти свободного работника, будь то земледелец или пастух.[188] В этой части Италии, вероятно, римское предпринимательство не было единственной или даже главной причиной разорения сельского населения. Территория всегда была подвержена местным влияниям аристократического толка; но этрусские вельможи держались в стороне, пока свободный народ мог помочь им восстановить свою независимость.[189] Теперь же подчинение подавило все другие амбиции, кроме стремления к наживе и личному блеску, а опустошения Ганнибаловой войны сделали крестьянство легкой жертвой оптового скупщика. Дальше к югу, в Бруттии и Апулии, рука Рима в сочетании с бедствиями войны привела к аналогичным результатам. Конфискации, произведенные в первом округе в наказание за изменнические отношения с Ганнибалом, пригодность последнего для пастбищных целей, благодаря которым он рано стал самым большим участком земли в Италии, патрулируемым рабами-пастухами,[190] вывели деревни и земледельцев, оставив на расстоянии целого дня пути лишь обширные пастбища между приходящими в упадок городами.

Бесплодие и запустение часто становились результатом новой и усовершенствованной системы хозяйствования. Были участки, которые не могли производить зерновые в таком количестве и такого качества, чтобы конкурировать с кукурузой, импортируемой из провинций; но даже на тех территориях, где можно было выращивать урожай, было соблазнительно заменить тяжелый процесс сева и жатвы более дешевым и легким занятием

- выпасом стад. Мы не знаем, в какой степени пахотные земли в хорошем состоянии сознательно превращались в пастбища; но мы можем представить себе множество случаев, когда земля, недавно приобретенная капиталистами, будь то у государства или у более мелких владельцев, находилась в таком состоянии, либо от первоначального отсутствия обработки, либо от запустения, либо от разрушений войны, что новый собственник вполне мог уклониться от сомнительного предприятия по вложению своего капитала в почву, чтобы проверить ее продуктивные качества. В таких случаях было заманчиво рассматривать большой участок как пастбище для овец или скота. Первоначальные расходы на подготовку были невелики, трудозатраты сводились к минимуму, а прибыль в пропорции к затратам была, вероятно, гораздо больше, чем от кукурузы, даже выращенной в самых благоприятных условиях. В прежние времена большой трудностью при разведении крупного рогатого скота было обращение со стадами и поголовьем в зимние месяцы. Необходимость обеспечить стойла и корма на этот период должна была заставить владельца ограничить количество голов скота, которое он хотел иметь. Но это ограничение сразу же исчезало, когда находился участок теплого побережья, на котором стада могли пастись, не испытывая суровости зимнего сезона. И наоборот, скотовод, обладающий преимуществом такой береговой линии, с наступлением летних месяцев начинал испытывать трудности. Равнины Кампаний и Апулии не могли быть пригодны ни для человека, ни для животного в сезон дождей. Полным условием, которое освобождало пастуха от всех трудностей и позволяло ему не заботиться об ограничении размера своих стад, было совместное владение пастбищами у моря для зимнего использования и полянами на холмах для пастбы летом.[Ни жители холмов, ни жители равнин, пока они составляли независимые общины, не могли заниматься скотоводством в широких масштабах, и было отмечено, что даже греческое поселение масштаба Сибариса было вынуждено импортировать свою шерсть из Черного моря через Милет.[192] Но когда Рим завоевал Апеннины и распространил свое влияние на побережье, скотоводство не имело границ. 193] Оно стало, пожалуй, самым гигантским предприятием, связанным с землей Италии. Его дешевизна и эффективность привлекали каждый практичный ум. Катон, питавший сентиментальную привязанность к сельскому хозяйству, был обязан честно ответить на вопрос "Каков наилучший способ инвестирования?" словами "Хороший выпас скота". На вопрос о втором лучшем способе он ответил: "Сносным выпасом". Когда его попросили назвать третье средство, он ответил: "Плохое пастбище". Пахоте он отвел бы только четвертое место в шкале убывания.[194] Бруттии и Апулия были главными местами обитания ранчо и склада. Луканское завоевание первой страны, должно быть, даже в период, предшествовавший римскому господству, установило связь между горами и равнинами, и пастбища в больших масштабах на горных полянах Бруттийской территории могли быть скорее наследством, чем созданием римлян; Но разорение, вызванное Второй Пунической войной, присоединение к государству больших участков мятежных земель[195] и низведение значительной части населения до жалкого крепостного состояния *дедитициев*[196], должно быть, предоставило капиталистам возможности, которые они не смогли бы получить иным способом; и здесь, и в Апулии тенденция к расширению системы выпаса до ее крайних пределов должна была развиваться с ужасающей быстротой после окончания Ганнибалической войны. Именно восточное побережье Южной Италии было в основном отдано этой новой форме промышленности, и мы можем заметить несколько резкое различие между пастушеской деятельностью этих регионов и сельскохозяйственной жизнью, которая все еще продолжалась, хотя и в уменьшенном масштабе, в западных районах[197].

Мы уже неоднократно упоминали о несчастных случаях, на которых были намеренно основаны новые промышленные методы, создавшие *латифундии*. Теперь необходимо рассмотреть эти происшествия более подробно, хотя бы для того, чтобы подготовить почву

для будущей оценки эффективности средств, предлагаемых государственными деятелями для исправления положения вещей, которое, как бы естественно и даже честно оно ни возникло, было плачевным как с социальной, так и с политической точки зрения. Причины, которые привели к переходу от одной формы владения и обработки земли к другой, сильно отличающейся от нее, должны быть тщательно изучены, если мы пытаемся решить сложную задачу возврата к прежней системе. Люди, взявшиеся за эту задачу, несомненно, обладали более глубокими знаниями о причинах изменений, чем те, которыми может обладать современный студент; Но критиковать легче, чем действовать, и для того, чтобы не стать бессовестно поверхностным, каждый сдерживающий элемент в сложной проблеме, который вообще можно извлечь (все те элементы, которые так ясно видели твердолобые и честные римские реформаторы, но знали, что они обладают неуязвимостью, о которой мы забыли), должен быть рассмотрен историком в том ошибочном анализе, который только и допускается его несовершенной информацией и еще более несовершенным осознанием временных сил, которые являются жерновами плана реформ.

Разрушения, вызванные ганнибаловым нашествием[198], нанесли земле еще больший ущерб, чем людям. Последние были прорежены, а первые растащены, причем в некоторых случаях, как показали события, почти безвозвратно. Особенно велики были разрушения в Южной Италии, народы которой до конца держались за пунийского захватчика. Но такие результаты войны в высшей степени преходящи, если численность и энергия людей, вернувшихся в свои разрушенные дома, не истощены и если условия производства и продажи после бедствия столь же благоприятны, как и до него. Количество богатств, которое может повредить враг, лежит на поверхности земли и составляет незначительную часть того, что хранится в недрах земли или гарантируется благоприятным торговым положением и выходом к морю. Карфаген мог выплатить репарации за войну и в течение полувека поражать Катона своим богатством и плодородием. Ее люди вернулись к своим старым привычкам, всей душой предались единственной жизни, которую любили, и в результате получили переполненную гавань и лопнувшие амбары. Если нация не оправилась от такого удара, значит, в ее экономической жизни есть какой-то необратимый дефект или фатальный недостаток в ее административной системе. Опустошение, вызванное войной, лишь ускоряет процесс распада, создавая временное обнищание, которое выявляет тяжесть предшествующей борьбы за существование и делает безнадежным ее возобновление. Безусловно, великая война, театром которой была Италия, ознаменовала собой такую эпоху в истории ее сельскохозяйственной жизни. Стал проявляться недостаток производительности, за который, однако, в основном отвечали последующие экономические причины. Отсутствие интенсивности, характерное для рабского труда, снижало отдачу, а второстепенное значение, придаваемое удобрению полей, было порочным принципом, заложенным в сельскохозяйственных заповедях того времени.[199] Но вполне вероятно, что с этой эпохи существовали большие участки земли, возобновить обработку которых никто не пытался; и вскоре они увеличились за счет участков, которые не приносили достаточной прибыли и постепенно были заброшены. Итальянский крестьянин всегда вел тяжелую борьбу с неустойчивостью своей почвы. Лихорадка всегда была страшной богиней окрестностей Рима. Но постоянный труд и эффективное осушение сдерживали этот бич, пока не наступил момент, когда время крестьянина было поглощено, а его энергия растратчена в тяготах постоянной войны, когда его земля была поглощена огромными поместьями, целью которых была быстрая прибыль и беспечные рабы-земледельцы. Затем влажные поля размножили свою родную чуму, и малярия бесконтрольно воцарилась на самых красивых участках итальянской равнины[200].

Одной из главных экономических причин, приведших к краху определенного класса итальянских крестьян-собственников, была конкуренция, которой они подвергались со стороны провинций. Сам Рим начал полагаться для пропитания своего растущего населения на кукурузу, импортируемую из-за границы, и многие крупные прибрежные города, возможно, были вынуждены последовать ее примеру. Производящие кукурузу страны Средиземноморья теперь определенно переместились из восточных и северных регионов в южные.[201] Греция, которая едва могла прокормить себя в самый цветущий период своей истории, ни при каких обстоятельствах не могла иметь значения как экспортная страна для Италии; но экономические беды, обрушившиеся на эту несчастную страну, достойны внимания, поскольку дают представление о судьбе, которая ожидала Рим. Сокращение населения, которое нельзя было объяснить ни войной, ни мором, растущим безбрачием и бездетностью его немногочисленных жителей,[202] должно было быть вызвано сельскохозяйственной революцией, подобной той, что постепенно происходила на итальянской земле. Плантационная система и массовое использование рабского труда, должно быть, проникли на Эгейское море из Малой Азии. Здесь их существование достаточно подтверждается восстанием рабов, которое вскоре после трибунала Тиберия Гракха должно было принять притворную форму династической войны; а неприятности, которые всегда сопровождали сбор азиатской десятины в те дни, когда в этих регионах была создана римская провинция, не дают благоприятного впечатления о сельскохозяйственном процветании стран, лежащих между Тавром и морем. На юге, вплоть до Сицилии, наблюдалось истощение земель и неестественные условия производства, исключавшие участие массы свободных жителей как в труде, так и в прибылях. Но даже Сицилия усвоила от Карфагена тот дурной урок, который Греция получила от Азии; плантационная система достигла на острове огромных успехов, и положение *араторов*, будь то свободные владельцы или арендаторы, было не таким, как во времена Диокла и Тимолеона. Растущая экономическая зависимость Рима от Сицилии отнюдь не была полностью обусловлена какими-то исключительными производственными возможностями последней, но в основном являлась результатом близости и административных отношений, которые позволяли правительству и спекулянтам кукурузой получать определенные и определенные поставки зерна от сицилийских земледельцев. Это же, хотя и в меньшей степени, относилось и к Сардинии. Но Сицилия и Сардиния знаменуют собой начало южной зоны земель, способных заполнить рынки западного мира. Именно северное побережье Африки стало главным производителем зерна в то время. На карфагенской территории естественное отсутствие земледельческого крестьянства среди торгового люда и развитие определенной науки о сельском хозяйстве нейтрализовали плохие последствия, которые сопровождали плантационную систему у других народов, менее деловых и научных; земледельцы не проявляли признаков беспокойства, а почва не имела следов истощения. С определенной долей вероятности можно предположить, что враждебность Катона, друга сельского хозяйства и итальянского йомена, к процветающему Пуническому государству была в определенной степени вызвана страхом, что зерно Африки может однажды вытеснить с рынка продукцию итальянских полей;[203] и, если эта точка зрения участвовала в расчетах, которые привели к финалу Пунической войны, то недальновидность политики, которая разрушила государство только для того, чтобы отдать его земли африканским городам и пентатам или римским спекулянтам, которые могли бы продолжить методы исчезнувшего сообщества, слишком характерна для того типа экономической ревности, которая уничтожает случайный продукт и оставляет истинную причину обиды незатронутой. Разрушение Карфагена, по сути, усугубило опасность; ведь первое, что сделал Масинисса из Нумидии, используя огромную власть, которую ему доверил Рим, - это попытался цивилизовать свой народ, превратив его в земледельцев[204], и девственная почва

огромной страны, простиравшейся от новых границ Карфагена до границ мавров, вскоре была отнесена к числу конкурирующих элементов, которых римский земледелец должен был опасаться.

Но в силу обстоятельств сицилийский и сардинский земледелец оказался самым грозным из своих ближайших конкурентов. Удобство транспортировки из Сицилии в Рим делало этот остров как зернохранилище лучше даже самых урожайных частей материковой Италии. Сицилия никогда не могла похвастаться чудесным плодородием долины По, где полтора бушеля пшеницы можно было купить за пять пенсов с половиной пенни, а такое же количество ячменя продавалось за половину этой цены;[205] но сицилийскую кукурузу было легче доставить в Рим по морю, чем галльскую по суше; а система налогообложения и реквизиций, выросшая из провинциальной организации острова, позволяла с особой легкостью выставлять на римский рынок огромные массы кукурузы в кратчайшие сроки. Иногда римское правительство заставляло продавать кукурузу из провинции (*frumentum emptum*),[206] платя разумную цену за зерно, которое требовалось для города или армии; но это был почти единственный случай, когда правительство вмешивалось в регулирование поставок. В обычном порядке право на сбор десятины в провинции покупалось государственными компаниями, которые вносили в римскую казну деньги, а не зерно, и эти компании размещали свою кукурузу на рынке, как могли. Операции спекулянтов зерном, несомненно, иногда нарушали цену. Но уверенность, изобилие и возможности транспортировки этих поставок были таковы, что практически исключали конкуренцию на римском рынке для всех, кроме наиболее выгодно расположенных районов Италии. Их шансы на конкуренцию зависели в основном от случайного наличия хорошей дороги, соседства с морем или судоходной рекой.[207] Крупные владельцы в любой части Италии должны были обладать большими возможностями для транспортировки зерна на хороший рынок, чем те, которыми пользовались мелкие владельцы. Хлодианский закон о торговле разрешал сенаторам владеть морскими судами определенного тоннажа; таким образом, они могли экспортировать свою продукцию, не завися от посредников, в то время как мелкие земледельцы должны были платить фрахт или могли избежать его, лишь создав между собой судоходные компании. Но такой комбинации не следовало ожидать среди крестьянства, едва осознававшего даже внешние симптомы великой революции, влекущей их к разорению, и, возможно, почти полностью забывавшего о ее причинах.

Чтобы понять вторую из великих причин накопления земельной собственности в руках немногих, требовалось не так уж много проникновения; эта причина была перед глазами римского мира и излагалась устами римских государственных деятелей на протяжении многих поколений или, если верить некоторым традициям,[208] даже столетий. Причиной растущей монополии немногих на землю была система владения, которую государство поощряло, чтобы обеспечить использование и возделывание своих общественных владений. Политика государства, по-видимому, время от времени менялась в отношении этой части его собственности, которую оно ценило как самую надежную из своих активов и которая, помимо финансовой цели, служила еще и желательной цели - помогала ему поддерживать влияние Рима почти во всех частях Италии. Когда завоеванные владения впервые были объявлены "государственными", правительство было равнодушно к тому, какие оккупанты служили ему, заселяя эту территорию и отвоевывая земли, которые не были разделены или проданы, главным образом потому, что их состояние было слишком непривлекательным, чтобы пригласить к этому процессу.[209] Оно, вероятно, распространяло свое приглашение даже на латинских союзников,[210] и с одобрением смотрело на любого члена бюргерского корпуса, который проявлял свою предприимчивость и патриотизм, выполняя эту великую государственную службу. Если государство и проявляло

пристрастие, то, скорее всего, к более богатым и влиятельным слоям своих граждан. Они могли охватить большее количество земли и избавить себя от проблем, связанных с оценкой доходности множества мелких владений; они обладали более эффективными средствами восстановления пустующих или опустошенных земель, поскольку имели больший контроль над капиталом и рабочей силой; Наконец, благодаря многочисленным группам клиентов и рабов они могли эффективно защищать занятые ими земли, а это, должно быть, было важным соображением в то время, когда большие участки *ager publicus* лежали среди чужих территорий, которые были едва умиротворены, и принадлежали общинам, которые часто колебались в своей верности Риму. Но каковы бы ни были взгляды правительства, совершенно ясно, что первоначальные оккупанты должны были в основном представлять людей этого типа. Это были времена, когда городские и деревенские племена были резко разделены, как содержащие соответственно городских и деревенских людей, и когда среди последних было сравнительно мало тех, кто не владел каким-либо собственным хозяйством. Маловероятно, чтобы горожанин часто решался на незнакомую задачу по освоению пустующих земель; почти так же маловероятно, чтобы мелкий йомен нашел досуг добавить к неоплачиваемому труду на своей собственной земле труд по обработке новой и неперспективной почвы, за исключением тех случаев, когда в непосредственной близости от его владений находилась какая-нибудь неостребованная часть общественных владений.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что с самых ранних времен богатые классы утверждали себя в качестве главных владельцев общественных владений. И это положение вещей оставалось неоспоримым до тех пор, пока не наступило время, когда мелкие собственники, уступая давлению долгов и банкротства, не стали искать своих защитников среди трибунов плебса. Абсолютный контроль государства над общественными владениями, абсолютная незащищенность их обитателей давали прекрасную возможность противостоять схемам конфискации и перераспределения частной собственности, которые часто сотрясали греческие общины, и даже отказываться от вмешательства в существующий закон о должниках и кредиторах.[212] Воображали, что разорившиеся йомены могут получить облегчение, если им разрешат поселиться в общественных владениях, или что возвращение или удержание государством части этих владений может дать возможность основать новые колонии, и был принят закон, ограничивающий количество *ager publicus*, которым может владеть любой человек. Этот закон, каковы бы ни были его непосредственные результаты, оказался неэффективным средством борьбы с ростом крупных владений. Не было назначено специальной комиссии, которая бы следила за соблюдением его условий, а обычные магистраты пренебрегали их исполнением. Положения закона, правда, никогда не забывались, но, как правило, о них вспоминали только для того, чтобы от них уклониться. Применялись хитроумные методы владения общественными землями через лиц, которые казались *добросовестными* собственниками, а на самом деле были просто агентами какого-нибудь плантатора, уже владевшего землей до разрешенного предела.[213] Затем наступил сельскохозяйственный кризис, последовавший за Пуническими войнами. Мелкие фригольды, заложенные, заброшенные или проданные за бесценок, стали попадать в сети, раскинувшиеся над общественным достоянием. Говорят, что в некоторых случаях соседские тираны применяли к мелким йоменам настоящее насилие,[214] и мы можем легко представить себе, что, когда владение на какое-то время оказывалось заброшенным из-за военных действий или военной службы, было трудно возобновить владение перед лицом фактической оккупации судебным приставом какого-нибудь могущественного соседа. *Латифундия* - *приобретенная*, как считалось, во многих случаях силой, мошенничеством и бесстыдным нарушением закона - становилась стандартной единицей обработки земли по всей Италии.[215] Если учесть общие социальные и экономические обстоятельства того времени, можно представить, что в

Италии, как и в Греции, росли бы крупные владения, если бы Рим не обладал ни дюймо́м общественных земель; но захват *ager publicus* богатыми людьми очень важен с двух точек зрения. С одной стороны, оно, несомненно, ускоряло процесс формирования обширных поместий; в последнее время этот процесс получил новый импульс благодаря огромным конфискациям на юге Италии и, возможно, завоеванию Цизальпинской Галлии, так как вряд ли достояние, которым владело государство в этой плодородной стране, было полностью разделено между колониями северной границы.[Но, с другой стороны, тот факт, что ядро этих поместий составляли общественные земли, превышающие установленный предел, как представляется, делал возможным их возвращение государству и перераспределение в пользу бедных на законных основаниях. Таким образом, *ager publicus* стал основой для будущей агитации и точкой опоры для сторонников и противников предлагаемых методов аграрной реформы.

Но не только небрежность государства привела к подавлению малого человека большим; положительные обременения, которые правительство было вынуждено наложить в силу необходимости карьеры завоевания и гегемонии, в которую втянулся Рим, сделали первый почти беспомощным конкурентом в неравной борьбе. С самого начала воинская повинность была источником обнищания для общинников и возможностей для богатых. Первый мог подчиниться призыву государства только под угрозой залога своего кредита или, по крайней мере, того, что его усадьба перейдет в состояние запустения, которое неизбежно приведет к тому дню, когда ее можно будет восстановить только с помощью семян или денег. Участь воина со средним достатком иллюстрирует легенда о Регуле. Считается, что он написал домой консулам письмо с просьбой освободить его от командования в Африке. Пристав, которого он оставил в своем поместье в семь *югеров*, умер, наемный работник украл сельскохозяйственные орудия и сбежал; ферма лежала в запустении, и, если бы хозяину не разрешили вернуться, его жена и дети остались бы без самого необходимого.[217] Борьба за содержание семьи в отсутствие ее главы становилась все острее теперь, когда кукурузные земли перестали приносить доход, за исключением самых благоприятных условий, и когда спрос на призывников был иногда более тяжелым и всегда более постоянным, чем когда-либо прежде. Возможно, десятая часть взрослого мужского населения Рима постоянно находилась в поле;[218] отряды приходили и уходили, но на долю мужчин, которые несли основную тяжесть долгих кампаний и гарнизонной службы в провинциях, приходились те, для кого досуг означал жизнь - *йомены*, которые поддерживали свое место в переписных листах упорным трудом и рисковали всем своим пропитанием, неся службу, которая доставалась им в награду за трудовую карьеру. Когда они перестали быть владельцами своей земли, им было трудно устроиться даже в качестве рабочих на участке какого-нибудь богача. Землевладелец предпочитал услуги рабов, которые не могли быть прерваны призывом на военную службу[219].

Экономические беды, вызванные призывом, должны были ощущаться с не меньшей силой теми итальянскими союзниками, которые жили в регионах, где росли *латифундии*. К ним добавилось денежное бремя, которое Рим был вынужден возложить на себя во время Второй Пунической войны. Эти тяготы были по большей части косвенными, поскольку Рим не облагал налогом свои итальянские *социумы*, но от этого не менее тяжелыми. Каждый контингент, поставляемый из союзного сообщества, оплачивал свои расходы, за исключением продовольствия во время службы, из казны собственного государства,[220] и десять лет непрерывной воинской повинности и реквизиций окончательно истощили лояльность даже латинских родственников Рима.[221] Правда, итальянцы были частично,

хотя и не полностью, свободны от экономической борьбы между владельцами государственных земель и мелкими землевладельцами; но нет никаких оснований полагать, что жители Западной Италии были свободны от последствий снижения цен, последовавшего за импортом кукурузы из-за границы, а истощение их доходов и услуг, вызванное войной, вряд ли могло помочь им выдержать это неожиданное испытание. Жесткие меры, принятые Римом в отношении изменнического Юга, хотя и были продиктованы политическими соображениями, почти несомненно, были политической ошибкой. Она конфисковала опустошенные земли и тем самым увековечила их разорение. Она оставила разрушенные гавани и города в упадке. Она искалечила свои собственные ресурсы, чтобы пополнить пастбищные богатства горстки своих граждан. На востоке Италии сельское хозяйство старого типа было гораздо более жизнеспособным, чем в других местах. Самниты в горах, Пелины, Марручини, Френтани и Вестини между Апеннинскими горами и морем все еще придерживались системы мелкого землевладения. Их крестьянство, возможно, всегда занималось земледелием для потребления, а не для продажи; их жители находились за пределами досягаемости обильных поставок с юга, и по этим причинам конкуренция сицилийской и африканской кукурузы не заставила их покинуть свои поля. Кроме того, они были менее подвержены, чем римляне и латины, агрессии великого *собственника*; поскольку они не имели *коммерции* с Римом, аннексия их собственности законным путем была недоступна даже для изобретательного коварства того времени.[222] Доказательством существования йомена в этих регионах является опасность, которую он представлял для Рима. Дух, поддерживавший его экономическую независимость, должен был устремиться к более высокой цели, а борьба за равенство политических прав должна была доказать исключительному городу доблесть того класса крестьян-собственников, которым она пожертвовала в своих владениях.

Но, хотя эта жертва была велика, мы не должны верить, что для земледельца со средним достатком нет надежды ни в настоящем, ни в будущем. Даже в настоящем есть явные признаки того, что поместья умеренного размера могут при тщательной обработке удерживать свои позиции. Поместье Луция Манлия, о котором рассказывает Катон в своем труде о сельском хозяйстве,[223] было далеко от того, чтобы соперничать с большими поместьями князей земли. Он состоял из 240 *кувшинов*, отведенных под оливковое дерево, и 100 *кувшинов*, предназначенных для виноградной лозы. Было предусмотрено умеренное количество кукурузы и пастбищ для скота, который работал на полях. Но в целом ферма была представителем нового духа, который видел в виноградной лозе и оливе достойную замену упадочнической культуре зерна. Даже в поместье такого размера мы отмечаем, что постоянный и даже высший персонал хозяйства (последний был представлен *villici* и *villicae*) состоял из рабов; однако для сбора урожая требовались наемные работники, а кукурузу выращивали дачники, владевшие своей землей *на условиях материального владения*. Но такое поместье требовало не только необычного капитала, но и необычного ухода. На крошечных участках, которые были всем, что могли позволить себе самые бедные, скудный доход можно было получить за счет труда на чужих полях, поскольку небольшой надел не требовал от владельца безраздельной энергии.[224] Кроме того, существовал класс *политоров*[225], подобный тому, что обрабатывал Корнланд в поместье Манлия, которые получали натурой жалованье, на которое могли хотя бы существовать. Номинально они были арендаторами-меценатами, которых хозяин снабжал земледельческими орудиями; но количество зерна, которое они могли оставить для собственного пользования, было столь незначительным, варьируясь от девятой до пятой части всего собранного урожая[226], что их положение было немногим лучше положения самого бедного поденного рабочего.[227] Самый скромный класс свободных людей мог еще зарабатывать на жизнь в районах, где не господствовало пастбище. Но это была жизнь, которая предполагала жертву независимости и подчинение

низменным потребностям, недостойным идеала римского гражданства. Кроме того, такая жизнь приносила мало пользы государству; ведь поденщики и *политоры* вряд ли могли занимать в переписном листе положение, которое делало их подлежащими воинской повинности.

Если бы удалось уменьшить тяжесть военной службы и обеспечить лишенцев землей и небольшим капиталом, перспективы на будущее были бы отнюдь не безнадежны. Малая культура, особенно выращивание виноградной лозы и оливок, - это то, для чего часть Италии подходит как нельзя лучше. Особенно это касается большой вулканической равнины Запада, простирающейся от севера Этрурии до юга Кампании и включающей, помимо этих территорий, страны латинов, сабинов, вольсков и эрников. Легкость и богатство аллювия этой вулканической почвы почти так же подходят для выращивания зерновых, как и для выращивания виноградной лозы и оливок или овощей.[228] Но даже если предположить, что выращивание кукурузы не будет окупаться, ничто не мешало и все способствовало развитию оливковых плантаций, виноградников и рыночных садов во всем этом регионе. Это была страна, засеянная городами, и только огромная глотка Рима могла бы оплачивать продукты бесконечного труда. Даже Катон может поставить виноградную лозу и оливу выше пастбищ и лесных деревьев в порядке продуктивности,[229] и еще до конца Республики правительство усвоило урок, что спасение итальянского крестьянства зависит выращивания таких продуктов, как эти. Это убеждение подтверждается защитным эдиктом, согласно которому в Трансальпийской Галлии не должна была распространяться культура ни виноградной лозы, ни оливы.[230] Рыночное садоводство также должно было иметь большое будущее, где соседство с крупными городами создавало спрос на такие продукты.[231] Новый способ владения землей также давал возможности тем, чей капитал или обстоятельства не позволяли им приобрести достаточное количество собственной земли. Аренда стала более распространенной, и созданные таким образом *coloni*[232] начали принимать активное участие в сельскохозяйственной жизни Италии. Как и *villici*, они были продуктом тенденции жить вдали от поместья; но они завоевали позиции за счет подневольных приставов, вероятно, в результате их большей благонадежности и более острого интереса к земле.

Но для осуществления этих изменений требовалось время. Пока же господство капиталиста было верховным, а плантационная система господствовала на большей части территории Италии. Самым важным компонентом этой системы был раб - чужеземец и скот, индивидуально малозначимая вещь, но считавшийся в своих мириадах самым мощным фактором в экономической, а значит, и в политической жизни времени, самой серьезной из проблем, волновавших реформаторов. Почва Италии теперь была заселена самыми разными народами, и со всех сторон доносились отголоски странных языков Запада и Востока. Италия казалась новооткрытой страной, на которую свалили отбросы всех земель, чтобы создать народ, который никогда не сможет стать нацией. Домашние поставки рабов, настолько привычные, что казались продуктом земли, становились просто мелочью по сравнению с огромными массами, которые вбрасывались в крестьянство в результате войн и пиратства. К моменту протеста Тиберия Гракха против господства рабского труда на полях прошло не более двух поколений с начала великого притока. Вторая Пуническая война охватила все районы Запада; Сицилия, Сардиния, Цизальпинская Галлия и Испания - все они отдавали свою дань в виде человеческих душ, которые переходили от победителя к торговцу, от торговца - в страну и город. Прошло всего одно поколение с тех пор, как из Эпира и Северной Греции на берега Италии хлынула великая волна. Только в Эпире было продано сто пятьдесят тысяч пленников.[233] Позже разрушение Карфагена, должно быть, выбросило на рынок огромное количество сельскохозяйственных рабов.[234] Азия тоже отдавала своих пленников в результате римских побед; но восточные лица, которые можно

было увидеть на улицах Рима или на равнинах Сицилии, реже были даром обычной войны, чем пиратства и систематической охоты за рабами в Восточном Средиземноморье. Рим, сокрушивший соперничающие морские державы, которые пытались, пусть и несовершенно, контролировать море, довольствовался работой по разрушению и, казалось, не заботился о предприимчивых буканьерах, безнаказанно плававших на запад до Сицилии. Пираты также были полезны восточным державам, которые все еще сохраняли свою независимость; их терпели, если не нанимали, Кипр и Египет, когда эти государства боролись с империей Селевкидов.[235] Но еще одной причиной их неприкосновенности было распространенное в древнем мире мнение, что охота на рабов сама по себе была законной формой предпринимательства.[236] Пирата можно было легко рассматривать как простого торговца человеческим товаром. В этом качестве он, возможно, был полезен Карфагену;[237] и, пока он воздерживался от нападений на порты или национальности, находящиеся под протекторатом Рима, не было причин, по которым власть имущие капиталисты должны были осуждать торговлю, благодаря которой они процветали. Ведь пираты, вероятно, могли поставлять на невольничий рынок лучший материал, чем тот, что обычно добывается в войне.[238] В беспомощных жертвах, на которых они набрасывались, часто можно было найти превосходную элегантность и культуру; красота и образование были качествами, имевшими высокую рыночную стоимость, и, захватывая людей лучшего класса, они были уверены в одном из двух преимуществ - либо в выкупе, предоставленном друзьями пленников, либо в лучшей цене, которую платил торговец. Вряд ли можно было притвориться, что торговцы - это просто посредники, которые покупают на дешевом рынке и продают на дорогом. Известно, что они были и налетчиками, и многие из пленников, выставленных на рынке в Сиде в Памфилии, были свободными до момента аукциона.[239] Возможность захвата и близость Делоса, величайшего из невольничьих рынков, соединявших Восток с Западом, делали предложение огромным; но оно было равно спросу, и мириады невольников, как говорят, доставлялись на остров и покидали его за один день. Легкость и быстрота ведения дел хозяином невольничьего корабля стали пословицей,[240] а честные торговые предприятия с их медленной прибылью должны были казаться презренными по сравнению с этим легким источником богатства.

Обильное предложение и быстрая прибыль подразумевают разумные цены; а дешевизна рабочей силы, поставляемой работорговлей, будь то в результате войны или пиратства, была одновременно необходимым условием жизнеспособности плантаторской системы и причиной безрассудства и небрежности, с которыми можно было использовать легко заменяемые инструменты. Катон, проницательный деловой человек, никогда не заботился о том, чтобы заплатить за своих рабов больше пятнадцати сотен денариев. 241] Это, должно быть, была цена лучшего типа работника, человека, вероятно, одаренного не только силой, но и умом. Обычный неквалифицированный труд, должно быть, стоил гораздо меньше; ведь цены, которые предлагает комическая поэзия того времени - цены, которые, как правило, обусловлены стоимостью личных услуг или качеств определенного рода, привлекательностью секса и борьбой за благосклонность - в среднем не намного превышают предел, установленный Катоном.[242] Для обычных работ предпочитали недавно привезенных рабов, и покупатели сторонились *ветеринара*, который видел долгую службу.[243] Работа в модных кругах города, несомненно, повышала ценность раба, если было известно, что он обладал каким-то особым даром, будь то кулинария, медицина или литература; но деревенские труды можно было легко впихнуть в новейший импорт, и цены снижались, а не росли с увеличением возраста и опыта деревенского раба[244].

Удешевленная рабочая сила, которая теперь была распространена по всей Италии, представляла столько же разновидностей морального, сколько и физического типа, и они

должны были быть хорошо известны потенциальному владельцу, не потому что он стремился оказывать моральное влияние, а потому что он возражал против того, чтобы его беспокоили капризы эксцентричного типа. Сардинцы всегда продавались, но не потому, что их было особенно много, а потому, что они проявляли безразличие, которое делало их жалким достоянием.[Пассивный восточный человек, свирепый и гордый испанец требовали разных методов управления и внушали разные меры предосторожности; однако опыт вскоре доказал, что эллинизированные сыны Востока обладают большей способностью к организации восстаний, чем их собратья с севера и запада, и во многом суровость римского рабства была вызвана паникой, которая является заклятым врагом человека, торгующего человеческими жизнями. Но в большей степени это было вызвано безразличием, которое проистекает из знакомства, и холодным практическим духом, в котором римлянин всегда был склонен играть с пешками своей деловой игры, даже если они были свободными людьми и согражданами. Такой человек, как Катон, у которого хватало ума и честности заботиться о собственном бизнесе, разработал машиноподобную систему управления своим хозяйством, целью которой была максимальная прибыль при минимальной доле гуманности, соответствующей достижению этой цели. Однако элемент гуманности носит случайный характер. Сознательного обращения к такому чувству нет. На рабов смотрят скорее как на автоматы, выполняющие определенные умственные и физические процессы, аналогичные человеческим. Слуги Катона никогда не входили в другой дом, кроме как по его приказу или по приказу его жены, и должны были выражать полное незнание его домашней истории всем дознавателям; их жизнь должна была чередоваться между работой и сном, и тяжелый сон ценился как предположительно мирный характер; Поощрялись мелкие препирательства между слугами, ибо единодушие вызывало подозрения и страх; смертный приговор, вынесенный кому-либо из них законом, приводился в исполнение в присутствии всех собравшихся домочадцев, чтобы вселить здоровый ужас в остальных. Если рабы хотели размножаться, они должны были платить за эту привилегию, и с раба, желавшего найти себе пару среди своих сослуживцев, требовалась определенная сумма.[246] Пайки были фиксированными и повышались только на народных праздниках Сатурналий и Компиталий;[247] предполагалось, что больному рабу нужно меньше, чем его обычной порции[248] - возможно, это отличная гигиеническая максима, но вряд ли она была принята по чисто гигиеническим соображениям. Такая жизнь была резким протестом против потакания городу, против свободного и беспечного общения, которое часто меняло положение хозяина и раба и составляло часть торговли комедианта. И все же, даже когда связь между модным человеком и его искусными слугами сводилась к удовольствиям и озорству, такие отношения, по крайней мере, поднимали нас в человеческую сферу, и весьма сомнительно, что искаженная человечность города была столь же низкой, как и огрубевшая жизнь поместья, на которое распространялся воспитательный гений Катона. Если немного развить методы Катона, если допустить чуть больше строгости и чуть меньше дискриминации, то мы получим унылую барачную систему больших плантаций - барак или, возможно, тюрьму, номинально управляемую губернатором, который мог жить за сотню миль, а на самом деле под контролем беспокойного и запуганного раба, который делил свои страхи между хозяином, жаждущим денег, и слугами, жаждущими свободы. Когда-то *виллис* был простым интендантом поместья, в котором жил его хозяин; теперь он был единственным управляющим огромного владения своего отсутствующего господина,[249] единственным хранителем огромного *эргастула*, который заключал на ночь орудия труда и выводил их на рассвете на поля. Мрачное здание, в которое их загоняли для отдыха и сна, возвышалось над землей лишь крышей и небольшой частью стен; большая часть его лежала под землей, а узкие окна были так высоки, что до них не могли дотянуться руки заключенных. 250 Ни правительство, ни хозяева не проверяли его. 251 Некому было раскрыть секреты этих нор, и

если неосторожный путник попадал в ловушку и скрывался за их стенами, все следы его могли быть навсегда потеряны.[252] Когда рабов выгоняли в поле, безопасность их погонщиков обеспечивали цепи, сковывавшие их конечности, но так, чтобы не мешать движениям, необходимым для работы. 253] Некоторых, чей дух был сломлен, можно было не связывать, но для большинства узы были единственной защитой от побега или мести. 254]

Был, однако, один тип отчаянных людей, которым разрешалось бродить на свободе. Это был страж стад, который безудержно бродил по горам в летние месяцы и по прериям в зимнее время. Эти пастухи объединялись в небольшие группы. Считалось, что на каждые восемьдесят или сто овец должен приходиться один, а на каждый отряд из пятидесяти лошадей - два.[255] Иногда считалось удобным, чтобы их сопровождали женщины, которые готовили им еду, - женщины крепкого телосложения, как иллирийские дамы, для которых рождение ребенка было простым происшествием в ежедневном труде.[256] Такая свободная жизнь имела свои привлекательные стороны для раба, но у нее были и недостатки. Землевладелец, предпочитавший пастбу земледелию, экономил свой капитал не только за счет небольшого количества рабочих рук, которых требовала эта работа, но и за счет скудости расходов, которые он тратил на этих нерадивых крепостных. Не было необходимости снабжать их предметами первой необходимости, когда они могли взять их сами. Когда Дамофил из Энны попросил своих рабов дать им что-то лучшее, чем те лохмотья, в которые они были одеты, его ответ был таким: "Разве путешественники ходят по земле нагими? Неужели у них нет ничего для того, кому нужен плащ?" [257] Бригадный подряд, по сути, был устоявшимся пунктом в экономическом кредо того времени.

Запустение Италии становилось опасным, и хозяин одинокой виллы по ночам закрывал за собой дверь, как будто у его ворот находился враг. Однажды Сципиона Африканского в его уединении в Литернуме потревожил отряд разбойников. Он разместил своих вооруженных слуг на крыше и сделал все возможное для отражения нападения. Но гости оказались миролюбивыми. Они были самой *элитой* разбойничьего братства и пришли лишь для того, чтобы оказать честь великому человеку. Они отослали свои войска, бросили оружие, положили подарки перед его дверью и удалились в радостном настроении. 258]

Неприкосновенность таких банд доказывала, что восстание рабов может в любой момент поставить под угрозу каждую жизнь и каждое жилище в каком-нибудь незащищенном кантоне. Именно мирная эпоха, когда римские и финикийские армии больше не держали поле боя в Италии, впервые дала рабам надежду на освобождение. Если бы Ганнибал поощрял восстание рабов, он бы пошатнул свой характер защитника итальянских городов, даже если бы финикиец не уклонился от прецедента, столь рокового для его родной земли. Но одним из неожиданных результатов Второй Пунической войны стало восстание в самом сердце Лациума, и именно африканский раб, а не африканский свободный человек, всколыхнул последние отголоски войны в Италии. В Сетии охранялись знатные карфагеняне, которые были залогом верности своего государства. Этим заложникам, сыновьям купеческих князей, было позволено сохранить достоинство своих великолепных домов, а огромная свита рабов из Африки заботилась об их нуждах. Их число пополнилось пленными представителями тех же национальностей, которые жители Сетии приобрели в ходе недавней войны.[259] Среди людей, понимавших язык друг друга и приобретших ту ложную национальность, которая возникает в результате рабства на одной земле, возник дух товарищества. Их численность была очевидной, нехватка местных сетян - столь же очевидной, а военной силы поблизости не было. Они планировали увеличить свои ряды, посеяв недовольство среди подневольного населения соседних городов, и послали эмиссаров в Норбу на севере и Цирцею на юге. Их план состоял в том, чтобы дожидаться приближающихся игр сетян и броситься на безоружных жителей, когда они будут смотреть

на зрелище; когда Сетия будет захвачена, они намеревались захватить Норбу и Цирцею. Но в их рядах произошла измена. Городской претор был разбужен перед рассветом двумя рабами, которые выложили ему на ухо всю историю о предстоящей резне. После спешного совещания с сенатом он поспешил в угрожаемый район, собирая новобранцев, проезжая со своими легатами по сельской местности, скрепляя их военной присягой, приказывая вооружиться и следовать за ним со всей скоростью. Вскоре был собран поспешный отряд численностью около двух тысяч человек; никто не знал его назначения, пока он не достиг ворот Сетии. Главы заговора были схвачены, а те из их сторонников, кто узнал об этом, бесславно бежали из города. С этого момента отслеживать беженцев стали только патрули, разосланные по округе. Южный Лаций был избавлен от ужаса, но вскоре выяснилось, что зло распространилось почти до самых ворот Рима. Распространился слух, что Праенеста будет захвачена рабами, и этого оказалось достаточно, чтобы побудить претора казнить около пятисот предполагаемых преступников[260].

Два года спустя восстание, едва не переросшее в войну, потрясло большие плантаторские земли Этрурии.[261] Для его подавления потребовались легион и битва. Вожди были распяты, другие рабы, избежавшие резни, были возвращены своим хозяевам. Но эти волнения, которые могли показаться лишь спорадическими пережитками хаоса и истощения, оставленных Ганнибалической войной, были подавлены лишь на время. Вскоре выяснилось, что семена неуверенности глубоко заросли в поселении, которое называлось миром. В 185 году пастухи Апулии создали большое общество грабителей, и на пастбищах и дорогах постоянно происходили грабежи с применением насилия. Претор, командовавший в Тарентуме, открыл комиссию, которая осудила семь тысяч человек. Многие были казнены, хотя большое количество преступников бежало в другие регионы[262].

Эти движения в Италии были лишь симптомами духа, который распространялся по средиземноморским землям. Восстание крепостных лишь немного предшествовало великому пробуждению масс свободных людей.[263] Оба класса были притеснены капиталом; оба пытались сбросить это бремя со своих плеч; и, что касается методов отстаивания, не имеет особого значения, принимали ли они форму национального восстания против правительства или протектората, кровопролитной борьбы на Форуме против господства одного класса или атаки скота, еще не огрубевшего от крепостного права, но полного традиций и духа свободных людей, против жестокости и безразличия своих владельцев. В каком-то смысле движения подневольных были более универсальными и, возможно, лучше организованными, чем движения людей, которым свободное рождение давало номинальное превосходство. Сочувствие к страданиям друг друга пронизывало разбросанные по дальним странам части этого класса. Иногда это было сочувствие, основанное на чувстве национальности, и сириец и киликиец в Азии чувствовал радость и надежду в своем сердце при виде дел своих братьев, которые были высланы на далекий Запад. Серия организованных восстаний в римских провинциях и протекторате, начавшаяся вскоре после падения Карфагена и завершившаяся войной сопротивления римлянам в Азии, образует единую взаимосвязанную цепь. Опасные восстания пришлось подавлять в городах Минтурны и Синуэссы на итальянском побережье; в первом было распято четыреста пятьдесят рабов, во втором четыре тысячи были раздавлены военной силой; рудники Афин, рынок рабов на Делосе были свидетелями подобных вспышек[264], и мы обнаружим, что подобная волна недовольства прокатилась по крепостному населению стран Средиземноморья незадолго до второй великой вспышки на Сицилии, омрачившей конец II века. Злая судьба, сделавшая этот остров театром двух величайших подневольных войн, объяснима по многим причинам. Возможности, предоставляемые чувством превосходства в численности, здесь были гораздо шире, чем в любой другой равной по размеру области

Италии. Ведь Сицилия была страной, где выращивали пшеницу, а возделанные равнины требовали массы труда, который не был нужен в более гористых или менее плодородных землях, где выпас скота приносил больше прибыли, чем обработка земли. Пастбищные угодья Сицилии действительно были велики, но они еще не затмили сельское хозяйство острова. Труд на полях находился в руках огромной орды азиатов, большое количество которых, возможно, было доставлено из Карфагена через узкое море, когда этот великий центр плантационной системы был низложен, а честные поместья пунийской знати были захвачены и разорены завоевателями.[265] В истории великих сицилийских вспышек сирийцы и киликийцы встречаются нам на каждом шагу. Эти азиатские рабы были разных национальностей, и они или их отцы были гражданами далеко отстоящих друг от друга городов. Но кроме общего страдания их связывали и другие узы, породившие в сердцах всех острое чувство национального единения и, как следствие, чувство идеального патриотизма. Они были продуктами общего эллинизма Востока; они или их отцы могли заявить, что были подданными великой монархии Селевкидов; многие, возможно, большинство из них, могли утверждать свободу по праву рождения и признавали рабство только как следствие случайностей войны или пиратства. Мистицизм Востока и политический идеал эллина переплетались в их нравственной природе - возможно, извращенной жестокостью рабства суевериям в одну сторону, принуждениям - в другую, но не менее способной к великим замыслам и доблестным поступкам. Момент для обоих наступит, когда появится пророк, а пророк непременно явится, когда чаша страданий переполнится[266].

Властители, управлявшие этим человеческим механизмом, приводили его в движение с такой скоростью, которая, должно быть, казалась опасной любому человеку, менее жадному, тщеславному и самоуверенному, чем они сами. Богатство этих властителей было колоссальным, но оно не уступало их социальному соперничеству и, как следствие, потребности в деньгах. Состязание в элегантности шло между сицелиотом и итальянцем.[267] Последний был глашатаем моды, а первый пытался соперничать, сначала с его привычками в домашней жизни и, как следствие, с экономическими методами, которые делали эти привычки возможными. Здесь, как и в Италии, целые банды рабов покупались, как скот или овцы; одних отягощали кандалами, других заставляли подчиняться жестокой суровостью заданий. Всех без исключения клеймили, и люди, бывшие свободными гражданами в своих родных городах, ощущали прикосновение раскаленного железа и уносили клеймо рабства в могилу.[268] Еду выдавали в жалких количествах,[269] ведь разбитый инструмент можно было так легко заменить. На полях можно было увидеть лишь жалкую беспомощность, страдания, которые ослабляли и мучили душу. Но в некоторых районах Сицилии телесная нужда сочеталась с дикой дерзостью, которую поощряли безрассудные хозяева, чья жадность превозмогала всякое чувство собственной безопасности или безопасности своих сограждан. Обращение с пастушескими рабами, принятое римскими скотоводами, было точно подражано итальянцами и сицелиотами острова. Этих рабов отпустили вместе с их стадами, чтобы они добывали себе пищу и одежду где и как могли. Для этой тяжелой, дикой жизни выбирали самых молодых и крепких: их физическая сила еще более возрастала от того, что они подвергались воздействию любой погоды, редко находили кров и не нуждались в нем, а также от молока и мяса, которые составляли их основную пищу. Группа этих людей выглядела устрашающе, напоминая разрозненное вторжение какого-нибудь воинственного варварского племени. Их тела были одеты в шкуры волков и кабанов; по бокам или в руках они держали дубины, копья и длинные пастушьи посохи. За каждым отрядом следовала свора крупных и мощных гончих. Сила, досуг, нужда - все это говорило о том, что разбойничество является неотъемлемой частью их профессии. Сначала они убивали путников, которые шли в одиночку или с одним спутником. Затем их смелость возросла, и они стали совершать ночные нападения на виллы более

слабых жителей. Они штурмовали и грабили их, убивая всех, кто пытался преградить им путь. По мере того как их безнаказанность росла, Сицилия становилась все более недоступной для ночных путешественников, а проживание в сельских районах - искушением провидения. Повсюду царили насилие, разбой и убийства. Губернаторы Сицилии иногда вмешивались, но они были почти бессильны остановить бедствия. Влияние рабовладельцев было таково, что налагать адекватное наказание было опасно[270].

Действия этих воинственных пастухов должны были открыть глаза массе рабов на возможности положения. Стали проводиться тайные собрания, на которых произносилось слово "восстание". Пока что не хватало повода, лидера, божественной санкции. За первым условием должны были последовать два других, и вскоре они были найдены в лице Евна. Этот человек был сирийцем по происхождению, уроженцем Апаimei, и служил Антигену из Энны. Он не просто верил в силу богов овладевать людьми и делать их проводниками своей воли - он был живым свидетелем этого в своей собственной персоне. Сначала он видел тени сверхчеловеческой формы и слышал их голоса в своих снах. Затем наступали моменты, когда его охватывал транс; он погружался в созерцание какого-то божественного существа. Тогда приходили слова пророчества; это были не его слова, а веление великой сирийской богини. Иногда словам предшествовало странное проявление сверхъестественной силы: дым, искры или пламя вырывались из его открытого рта.[271] Ясновидение могло быть подлинным психическим переживанием, а тауматургия - выдумкой, которой могут соблазниться лучшие СМИ; но и то и другое вызывало веру у его товарищей, жаждавших любого света во тьме, и смех у его хозяина, радовавшегося новинке, которая могла развлечь его досуг. Собственно говоря, предсказания Эвнуса иногда сбывались. Люди забывали (как и положено людям) случаи их фальсификации, но от души аплодировали, когда они сбывались. Юнус был достаточно хорошим медиумом, чтобы выступать на модных *спиритических сеансах*. Его последней профессией было обещание царства самому себе; золотую перспективу открывала сирийская богиня. Об этом обещании он смело заявил своему хозяину, зная, возможно, в каком духе будет воспринято послание. Антиген был в восторге от своего царя-пророка. Он показывал его за собственным столом и брал с собой на пиры, которые устраивали его друзья. Там Евнуха расспрашивали о его царстве, и каждый из гостей просил его о покровительстве и милости. Его ответы о дальнейшем поведении были даны без утайки. Он обещал политику милосердия, и причудливая искренность этого самозванства растворяла компанию в смехе. Порции еды передавались ему с борта, и дарители просили, чтобы он вспомнил об их доброте, когда прибудет в свое королевство. Это были просьбы, которые Евнус не забывал.

С таким влиянием в центре города Энне, казалось, суждено было стать источником восстания. Но была и другая причина, которая делала его подходящим театром для дерзкого поступка. Широкое плато, на котором располагался город, в зимнее время было заполнено пастухами,[272] и некоторые из крупных пастухов Энны владели стадами этих смелых и беззаконных людей. Среди этих пастухов выделялся своим богатством, роскошью и жестокостью некий Дамофил, человек, который сформулировал теорию о том, что раб-пастух должен содержать себя за счет грабежа других. Дамофил был сицелиотом, но ни один из римских магнатов острова не мог похвастаться более роскошным состоянием, чем то, которое он поддерживал. Его прекрасно выезженные лошади, четырехколесные повозки, телохранители-рабы, красивые мальчики, толпы паразитов были известны на всех обширных акрах и огромных пастбищах, которые он контролировал. Его городской дом и виллы украшали чеканное серебро, богатые ковры пурпурного цвета и стол королевской элегантности. Он превосходил римскую роскошь пышностью своих расходов, римскую гордость - чувством полной независимости от обстоятельств, а римскую черствость и

жестокость - обращением с рабами. Сытость породила хроническую черствость и даже дикость, которая проявлялась не только в привычном теперь использовании *эргастула* и клейма, но и в произвольных и жестоких наказаниях, которые были частью программы почти каждого дня. Его жена Мегаллис, ожесточившаяся под тем же влиянием, была мучительницей своих служанок и тех домашних, которые находились в ее непосредственном подчинении. Всех слуг этого дома объединяло одно убеждение: ничто не может быть хуже их нынешней участи.

Именно такое убеждение вдохновляет на безумные поступки; но безумие этих рабов было упорядоченным, систематическим и потому опасным. Они не стали бы действовать, не получив божественной санкции на реализацию своих планов. Некоторые из них подошли к Эвну и спросили его, разрешено ли их предприятие богами. Пророк сначала продемонстрировал обычные проявления, подтверждающие его вдохновение, а затем ответил, что боги согласны, если план будет осуществлен немедленно. Энна была предназначена для этого; она была естественным оплотом всего острова; ей суждено было стать столицей новой расы, которая будет править Сицилией.[273] Убежденные в том, что Небо помогает их усилиям, вожди приступили к работе. Они тайно освободили тех из домохозяев Дамофила, кто был в узах; собрали других, и вскоре группа численностью около четырехсот человек была собрана на поле в окрестностях Энны. Там ранней ночью они принесли жертву и дали торжественную клятву. Они собрали все, что могло послужить оружием, и, когда наступила полночь, были готовы к первой попытке. Они быстрым маршем направились к спящему городу и нарушили его тишину своими призывными криками. Во главе их шел Эвнус, из его уст вырывался огонь на фоне ночной тьмы. На улицах и в домах сразу же началась безжалостная резня. Обезумевшие рабы не щадили даже грудных детей; они вырывали их из рук матерей и бросали на землю. Женщины стали жертвами невыразимых оскорблений и бесчинств.[274] Каждый раб должен был отомстить за свои обиды, ведь к первоначальным нападавшим теперь присоединилось большое число городских прислужниц. Каждый из них отомстил по-своему, а затем повернулся, чтобы принять участие в общей резне.

Тем временем Евн и его приближенные узнали новости о заклятом враге Дамофиле, который, как известно, остановился в своем поместье неподалеку от города. Оттуда его и его жену схватили со всеми знаками позора, и несчастную пару со связанными за спиной руками потащили в город. Хозяева города собрались в театре для свершения правосудия, но Дамофил не растерялся, даже когда увидел море враждебных лиц и обвиняющих глаз. Он попытался защищаться, и его выслушали молча, но с одобрением, так как многие из слушателей были заметно взволнованы его словами. Но некоторые более смелые духи устали от этого представления или боялись его исхода. Гермей и Зевксис, два его злейших врага, закричали, что он самозванец[275], и бросились на него. Один из них пронзил его мечом в бок, другой отсек ему голову топором. Затем настала очередь женщин. Женщины-рабыни Мегаллиса получили право поступать с ней так, как им заблагорассудится. Сначала они подвергли ее пыткам, а затем подняли на возвышенность и сбросили на землю. Эвн отомстил за свои личные обиды смертью своих же хозяев, Антигена и Пифона. Сцена в театре, возможно, выявила нечто большее, чем желание систематизированной мести. Возможно, она показала, что в дикой толпе есть какое-то чувство справедливости, порядка. И действительно, месть не была беспорядочной. Евн скрывал и тайно отсылал людей, которые давали ему мясо со своих столов.[276] Даже весь дом Дамофила не погиб. Была еще дочь, странный продукт такого дома, дева с чистым простым характером и сердцем, которое таяло при виде боли. Ее использовали, чтобы смягчать страдания тех, кого бичевали ее родители, и облегчать нужды тех, кто был заключен в узы. Отсюда та любовь, которую

испытывали к ней рабы, та жалость, которая охватила их, когда ее дом был обречен. Был выбран эскорт, чтобы доставить ее в целости и сохранности к родственникам в Катану. Самым преданным его членом был Гермейас,[277] возможно, тот самый человек, чьи руки были запятнаны кровью ее отца.

Следующим шагом в развитии восстания было создание политической и военной организации, которая могла бы завоевать уважение бесчисленных рабов, которые вскоре должны были разорвать свои узы в других районах Сицилии. Царем был избран Евн. Его звали Антиох, его подданные были "сирийцами". [Это был не первый случай, когда раб принял на себя диадему; не носил ли ее в это время Диодот по имени Трифон, опекун и предполагаемый убийца Александра Сирийского?][279] Возведение Евна на трон не было вызвано верой в его храбрость или полководческие способности. Но он был пророком движения, причиной его зарождения, и само его имя считалось добрым предзнаменованием для гармонии его подданных. Повязав на чело диадему и приняв царский сан, он возвел в ранг царицы женщину, которая была его спутницей (сирийку и апамейку, как и он сам). Он сформировал совет из тех своих сторонников, которые, как считалось, обладали умом выше среднего, и решил сделать Энну центром затяжной войны. Он предал смерти всех пленников в Энне, которые не умели делать оружие; остальных он заключил в узы и поручил ковать оружие.

Эвн не был воином, но обладал царским даром распознавать заслуги. Душой военного движения, распространившегося из Энны, был Ахай,[280] человек, выдающийся как в советах, так и в действиях,[281] не позволявший разуму овладеть страстями и гневавшийся главным образом на глупые злодеяния некоторых своих последователей.[282] Под руководством такого лидера дело быстро продвигалось вперед. Первоначальные четыреста человек за три дня выросли до шести тысяч; вскоре их стало десять тысяч. По мере продвижения Ахея *эргастулы* были вскрыты, и каждая из этих тюрем давала новое множество новобранцев[283]. Вскоре в другой части острова произошло пополнение сил. На территории Агригентума некий Клеон Киликийский внезапно выступил во главе своих товарищей. Он был родом из районов, расположенных вблизи горы Тавр, и с юности привык к разбойничьей жизни. В Сицилии его считали пастухом лошадей. Он также был разбойником, который командовал на дорогах и, как полагают, совершал разнообразные убийства. Узнав об успехе Эвнуса, он решил, что настал момент поднять восстание. Он собрал отряд последователей, разгромил город Агригентум и опустошил прилегающие территории[284].

Перепуганные сицелиоты, а возможно, и некоторые из самих рабов, считали, что это двойное движение может погубить дело рабства. Ежедневно возникали надежды на то, что армии Эвна и Клеона встретятся в конфликте. Но эти надежды и опасения не оправдались. Клеон полностью подчинился Эвну и выполнял функции генерала при царе. Стычка войск произошла примерно через тридцать дней после начала войны в Энне, и киликиец привел под царские знамена пять тысяч человек. Полный состав рабов, когда они впервые вступили в бой с римской державой, составлял двадцать тысяч человек; к концу войны их армия насчитывала более шестидесяти тысяч[285].

Римское правительство проявило обычную медлительность в осознании серьезности ситуации; однако его можно оправдать, если оно полагало, что ему придется иметь дело лишь с локальными беспорядками, подобными тем, которые были так легко подавлены в Италии. Восьмитысячное войско, выведенное на поле под командованием претора Луция Гипсея, могло показаться более чем достаточным. Однако оно было разбито повстанческой армией, насчитывавшей теперь двадцать тысяч человек, а в последовавших за этим стычках

перевес в силах склонился на сторону мятежников. Непосредственный ход борьбы невозможно проследить в деталях, но есть общие сведения о штурме римских лагерей и бегстве римских генералов[286].

Театр военных действий, безусловно, расширялся с угрожающей скоростью. Сначала повстанцы контролировали центр и часть юго-западной части острова, область между Энной и Агригентумом; теперь они продвинули свои завоевания на восток, достигли побережья и овладели Катаной и Тауромениумом.[287] Опустошение завоеванных районов, как говорят, было более ужасным, чем то, которое последовало за Пунической войной.[288] Но рабы не были полностью, возможно, даже в основном, ответственны за это. Повстанческие армии, рассчитывая на будущее, когда они смогут насладиться плодами своих побед, оставляли виллы на месте, мебель и магазины нетронутыми и не причиняли вреда орудиям земледелия. Именно свободное крестьянство Сицилии теперь проявляло дикое негодование по поводу неравенства судьбы и жизни, которое отделяло их от крупных землевладельцев. Под предлогом подневольной войны[289] они выходили на улицы и не только грабили имущество побежденных, но даже поджигали их виллы.

Слова Эвна, когда в начале восстания он провозгласил Энну метрополией нового государства, и поведение его последователей, не щадивших роскоши и комфорта, которые попали в их руки, являются достаточными доказательствами того, что восставшие рабы, несмотря на обладание морскими портами Катаной и Тауромениумом, не собирались бежать из Сицилии. Возможно, даже если бы они этого захотели, такой путь был бы невозможен. У них не было своего флота; киликийские пираты у побережья могли отказаться принимать столь опасных пассажиров и подрывать свою репутацию честных участников работорговли. А если беглецы и пересекут море, то куда они смогут вернуться? Для своих городов они были мертвы, а длинная рука Рима простиралась над ее протекторатами на Востоке[290].

Поэтому римскому правительству пришлось иметь дело с державой, которая намеревалась навсегда обосноваться на Сицилии. Понимание серьезности ситуации проявилось в отправке консульских армий. Первая под командованием Кая Фульвия Флакка, по-видимому, мало что дала.[291] Вторая под командованием Луция Кальпурния Пизона, консула следующего года, осадила Энну[292] и захватила опорный пункт мятежников. Восемь тысяч рабов были убиты мечом, а всех, кого удалось схватить, пригвоздили к кресту. [293] Венцом побед и номинального умиротворения острова стал преемник Пизона, Публий Рупилий. Он загнал мятежников в Тауромений и сидел перед городом до тех пор, пока голод не привел их в невыразимое состояние. В конце концов, город был сдан из-за предательства; сириец Сарапион предал акрополь, и римский полководец нашел множество голодающих людей в своем распоряжении. Пленников сначала пытали, затем поднимали на возвышенность и сбрасывали на землю. Затем консул двинулся на Энну. Повстанцы защищали свой последний оплот с величайшим мужеством и упорством. Ахея, похоже, уже пал, но храбрые киликийские вожди все еще держались со всей доблестью, присущей их роду. Клеон сделал вылазку из города и героически сражался до тех пор, пока не упал, покрытый ранами. Брат Клеона Кома[294] был схвачен во время осады и доставлен к Рупилию, который расспросил его о силах и планах оставшихся беглецов. Он попросил минуту, чтобы собраться с мыслями, накрыл голову плащом и умер от удушья в руках своей охраны и на глазах у генерала, прежде чем из его уст вырвалось компрометирующее слово. Царь Эвн не был столь суров. Когда неприступная от природы Энна была захвачена вероломством, он бежал со своей тысячной гвардией в еще более обрывистые районы. Его спутники, зная, что избежать своей участи невозможно (ведь Рупилий уже двигался), обрушили мечи друг на друга. Но Эвн не мог смириться с этой смертью. Он укрылся в пещере, откуда его вытащили вместе с последними

жалкими остатками его великолепного двора - поваром, пекарем, банщиком и шутом. Римляне почему-то пощадили его жизнь или, по крайней мере, не обрекли на немедленную смерть. Его держали в плену в Моргантии, где он вскоре умер от болезни.

Говорят, что к моменту падения Энны погибло более двадцати тысяч рабов.[295] Даже без этой резни захвата морского порта и оружейного склада было бы достаточно, чтобы сломить хребет восстанию.[296] Оставалось только прочесать страну отрядами солдат, чтобы организованное сопротивление было сломлено и даже на некоторое время искоренилось проклятие разбойничества. Смерть больше не настигала мятежников без разбора. Оставшиеся в живых рабовладельцы, вероятно, протестовали бы против массового распятия, а уничтожение всех беглецов нанесло бы ущерб ресурсам Сицилии. Поэтому многие были избавлены от креста и возвращены в свои узы.[297] О том, насколько необходима была реорганизация, чтобы провинция могла вернуться к нормальной жизни, говорит тот факт, что сенат счел нужным дать Сицилии новую провинциальную хартию. В помощь Рупилию были посланы десять комиссаров, которые отныне носили имя проконсула.[298] Работа, как мы знаем, носила консервативный характер; но возможно, что до этого не существовало ни одного полного устава, а война выявила недостатки в устройстве Сицилии, о которых до этого никто не подозревал.

Кульминационный момент, подобный войне за рабство в Сицилии, был необходим, чтобы донести социальную проблему до думающих людей в Риме. Не то чтобы она была достаточной для всех, кто размышлял об общественном благосостоянии или занимался государственными делами. Люди, измерявшие счастье богатством и империей, возможно, все еще сохраняли непоколебимую уверенность в удаче Рима. Если бы нашелся Капис из этого класса, он мог бы дать захватывающую картину ближайшего будущего своего города, мрачного, но мрачно национального в своем восхождении от испытаний к триумфу. Он мог бы увидеть, как ее завоевательные руки расширяются Евфрата и Рейна, а невиданные источники богатства вливаются в казну или сундуки великих. Если на картине и была кровь, то когда ее не было в анналах Рима? Даже гражданские распри и новая итальянская война могут стать тяжелой, но необходимой платой за сильное правительство и великую миссию. Если в ходе этой славной экспансии исчезнет древняя конституция, то где же потеря?

Но в Риме были люди, которые измеряли человеческую жизнь по другим канонам: они верили, что государство существует для человека не меньше, чем человек для государства: они, даже будучи империалистами, с ужасом видели гнилой фундамент, на котором покоилась империя, и с негодованием - жалкие доходы, которые были получены людьми, купившими ее своей кровью. Блестящее настоящее и славное будущее были для них завесой, за которой виднелись жуткие призраки коммерческого империализма. На нем были видны роскошь, буйствовавшая среди дворянства, уже обедневшего и все более склонного к воровству, колоссальный капитализм, вцепившийся в землю и протянувший свои щупальца к любому источнику прибыльной торговли, средний класс, бежавший из сельских районов и вытесненный из городов, и прекрасный остров, который был почти частью их итальянского дома, его садом и житницей, в муках великой рабовладельческой войны.

ГЛАВА II

У дела никогда не бывает недостатка в защитнике, а у великого дела - в том, кого оно может сделать великим. Неудача сама по себе не является признаком недостатка духа и способностей, а когда масштабная реформа является результатом деятельности ничтожной

личности, человек становится прославленным благодаря причастности к своему делу. С этой точки зрения не имело значения, кто возьмет на себя задачу экономического возрождения римского мира. Любой сенатор с достойным происхождением и умеренными способностями, имевший стабильную поддержку среди правящих классов, мог преуспеть там, где Тиберий Гракх потерпел неудачу; это была задача, в которой авторитет имел большее значение, чем способности, а чувство, что более многочисленные или влиятельные элементы общества объединились в требовании реформ, имело большую ценность, чем индивидуальный гений или честность цели. Именно это обстоятельство предвещало неудачу, так как люди с широкими связями и известностью уклонялись от предприятия, которому они в той или иной степени сочувствовали. В ближайшей истории Республики было три человека, которые проявили непоколебимую веру в итальянского фермера и благословения сельского хозяйства. Это были М. Порций Катон, П. Корнелий Сципион и Тий. Семпроний Гракх. Но влияние дома Катона угасло вместе с его первым основателем. Старший сын, приятный человек и опытный юрист, не пережил своего отца; второй еще оставался в живых, но, похоже, мало унаследовал боевые качества грозного цензора. Традиции римского дома должны были поддерживаться усилиями его представителя, и "новизна" Порциев могла потребовать нескольких поколений энергичных лидеров, чтобы сделать их силой в стране. Сципионовские традиции теперь представлял Аэмилиан, и сияние этого светила отражалось в более бледных лучах, которые получали свой блеск от движения по этой очарованной орбите. Один из них, неутомимый приспешник Лаэлий, возвысился до звания консула и, стимулируемый энергичными теоретизированиями своего эллинизированного окружения, на мгновение задумался о разработке плана, который должен был справиться с некоторыми из худших зол аграрного вопроса. Но он взглянул на проблему только для того, чтобы в ужасе отступить назад. Сила и хитрость корыстных интересов, с которыми ему пришлось бы иметь дело, были слишком велики для человека, чьи нервы были ослаблены философией и опытом, и Лаэлий своим отступлением оправдал, если не получил, субрикет, провозглашавший его "разумным".[299] Но почему же сам Сципион был бездейственным? Ответ следует искать как в его характере, так и в обстоятельствах. При всей своей стремительности и энергии он был в некотором роде здоровым гедонистом. Как погоня радовала его в юности, так и война - в зрелые годы. Ненавидя ее жестокость, он превозносил ее возбуждение, и дисциплина лагеря была ему по душе больше, чем буйство собраний. Его ум также принадлежал к тому классу, который считает почти невозможным освободиться от традиционной политики. Его обширные познания в истории других цивилизаций могли научить его, как научили Полибия, что Рим был успешен потому, что был уникален.[300] Здесь не должно было быть никакого разрыва с прошлым, никакого законодателя, выдающего себя за полубога, никакого повиновения крикам масс, которые, освободившись, могли бы повернуть и растерзать просвещенных немногих, и воспроизвести на итальянской земле шокирующие сцены греческого социалистического предприятия. Как бы то ни было, быть реформатором означало быть партизаном, и Сципиону так же мало нравилась перспектива его вероятных сторонников, как и вероятных противников. Факт существования Империи, должно быть, тоже сильно тяготил человека, который не был слепым империалистом. Даже если экономическая реформа могла бы повысить эффективность армии, Сципион должен был знать, как, несомненно, знал и Полибий, что солдаты - лишь пешки в большой игре, а управляющими силами являются мудрость консервативного сенатора, амбиции богатого дворянина и капитал предприимчивого рыцаря. Мудрость нарушить их влияние и пробудить их недовольство вряд ли могла прийти в голову столь уравновешенному и практичному уму, как у Сципиона. Обстоятельства, должно быть, тоже сыграли свою роль в его бездействии. Сципионы были силой в Риме вопреки знати. Их использовали, потому что они были нужны, а не потому, что

их любили, а нужный человек никогда не был в большом фаворе у сената. Хотя между Аэмилианом и старшим Сципионом не было кровных уз, они были очень похожи и по судьбе, и по темпераменту. Им обоим приходилось спасать военные ситуации, которые считались безвыходными; их репутация была заработана успешными войнами; и хотя ни один из них не был простым солдатом, им не хватало вкуса и терпения для сложной политической игры, которая только и делает человека влиятельным среди знатных кругов и их ближайшего окружения в Риме.

Но в лице Тиберия Гракха последнее поколение увидело человека, чье политическое влияние было огромным, благородного, не слишком уважавшего неоспоримые права знати и столь же сурового, как Катон, в своих обличениях пороков своего ордена, человека, чьи величайшие успехи за границей были скорее дипломатическими, чем военными, человека, установившего прочные связи и живую память о себе на Западе и Востоке, чье имя знали и любили в Испании, Сардинии, Азии и Египте. Было бы слишком надеяться, что этот честный старый аристократ попытается справиться со злом, которое впервые проявилось во время его собственной долгой жизни; но не было ничего противоестественного в том, что люди обратились за помощью к его сыну, тем более что этот сын представлял кровь Сципионов, а также Гракхов. Брак престарелого Гракха с юной Корнелией положил конец вражде, скорее личной, чем политической, которая долгое время разделяла его со старшим Сципионом; впоследствии еще одна связь между двумя семьями была установлена браком Семпронии, дочери Корнелии, со Сципионом Аэмилианом. Юный Тиберий Гракх, возможно, родился во время одного из частых отлучек отца на службу государству. [301] Конечно, старший Гракх мог мало видеть своего сына в годы его младенчества. Но последние годы жизни старика, по-видимому, прошли в Италии, и Тиберий, должно быть, испытал глубокое влияние того гениального и величественного присутствия, которое Рим любил и боялся. Но он был еще совсем мальчиком, когда умер его отец, и раннее влияние, которое сформировало его будущую карьеру, кажется, было в основном связано с его матерью. Корнелия была бы типичной римской матроной, если бы жила на сто лет раньше; тогда она готовила сыновей для поля боя, а не для Форума. Однако смягчающее влияние греческой культуры закалило, не ослабляя, силу ее характера, заменило рациональные санкции чисто сверхъестественными, а широкий политический кругозор - грубым чувством гражданского долга. Сама являясь продуктом такого образования, каким древние цивилизации редко одаривали своих женщин, она писала и говорила с чистотой и изяществом, которые заставляли верить, что ее сыновья получили из ее уст и из ее пера первые уроки красноречия, которое поколебало массы и изменило судьбы Рима. [302] Но ее дары не ослабили ее нежности. Ее сыновья были ее "драгоценностями", и последовательная потеря девяти детей, которых она родила Гракху, должна была сделать троих оставшихся вдвойне дорогими. Двум мальчикам не удалось стать восточными принцами: руки вдовы Корнелии добивался царь Египта. [303] Такой союз с представителем двух домов - Гракхов и Сципионов - вполне мог показаться желанным для покровительствуемого царя, хотя привлекательность Корнелии также могла повлиять на его выбор. Она, однако, не стремилась разделить трон Лагидов, а эллинизм Тиберия и его младшего брата Кая, хотя и был глубоким и далеко идущим, был менее бурным, чем можно было бы получить, отправившись в Александрию. Риторике их обучал Диофан, изгнанник из Митилены, а философии - Блоссий из Кумэ, стоик школы Антипатра Тарсского. [304] Многие считают, что Тиберия подтолкнуло к политическим действиям прямое увещевание этих учителей; но даже если их влияние не было столь однозначным, можно не сомневаться, что учение двух греков оказало сильное влияние на политический склад его ума. Идеалы греческой свободы, речи греческих государственных деятелей, выступавших в качестве защитников угнетенных, рассказы о социальных разрушениях, предотвращенных голосом и рукой законодателя, посланного небесами,

картины самопожертвования и покорного подчинения стандарту долга - вот уроки, которые могли преподавать как риторы, так и философы. Не отличалось и преподавание истории. В литературной среде, в которой жили Гракхи, давались готовые ответы на самые насущные вопросы политики и социальной науки. Каждый должен был чувствовать, что надвигающаяся борьба имеет двойной аспект, что она носит как политический, так и социальный характер. Ведь социальный консерватизм был укрыт за политическим валом: и если реформа, которой пренебрегал сенат, должна была исходить от народа, то сначала нужно было задать вопрос: имеет ли народ законное право инициировать реформу? Историки того и предыдущего поколения ответили бы на этот вопрос безоговорочно утвердительно. *Фактический* суверенитет сената не получил даже одобрения в современной литературе, а для литературы ближайшего прошлого он был и вовсе неизвестен. Римские анналисты со времен Второй Пунической войны указывали на суверенитет народа как на основу римской конституции,[305] а история долгой борьбы плебса за свободу делала защиту общин единственным оправданием трибуната. Из уст самого Полибия Тиберий мог узнать, какое впечатление римская полития произвела на ум образованного грека: тот факт, что это была греческая картина, не уменьшал ее достоверности, ведь грек создавал ортодоксальную историю Рима, а жертвами его гения стали лучшие римские интеллектуалы того времени. Он мог узнать, как в этой смешанной конституции народ сохранял свои неотъемлемые права, как он избирал, ратифицировал и, прежде всего, как наказывал.[Он мог понять, что отождествление трибуната с интересами знати было извращением его истинной и жизненно важной функции: что трибун существует только для того, чтобы помогать общинам, и не может подчиняться никакой власти, кроме воли народа, выраженной им непосредственно или косвенно через своих коллег. 307]

История Пунических войн действительно показала на примере судьбы Варро или Минуция, как может быть наказано народное неповиновение, если его конец был неправильным. Сам Полибий возвысил голос в пророческом предупреждении против возможной демагогии будущего.[308] Но эта история показывала здоровую дисциплину здорового народа - народа, который победил гения через подчинение, крестьянского класса, чья преданность и стойкость были столь же велики, как у его лидеров, и без которых эти лидеры были бы беспомощны. Где теперь найти такой класс? Смените тему или переверните страницу, и греческий государственный деятель и историк мог бы указать на ужасающую обратную сторону этой картины.[309] Он мог бы показать греческую нацию, одаренную политическим гением, но обреченную на политический упадок - нацию, сыновья которой накапливали деньги, жили в роскоши, мало задумываясь о будущем, и отказывались рожать детей для государства: нацию с богатым и культурным высшим классом, но буквально погибающую из-за отсутствия мужчин.[310] Неужели такая судьба ожидала Рим? На темперамент, который был просто энергичным и острым, подобные размышления могли не повлиять.

Созерцательный человек мог бы рассматривать их лишь как предмет для любопытного изучения. Но ум Тиберия не впадал ни в одну из этих двух крайностей. Он был вдумчивым и чувствительным человеком действия. Сдержанный в нравах, степенный в поведении, мягкий в выражениях, он вызывал у своих подчиненных преданность, не знавшую границ, а у друзей - преданность, не боявшуюся даже смерти за него. Даже в его чистом и отточенном ораторском искусстве страсть проявлялась главным образом в призывах к жалости, а не в более грубых формах инвективы или презрения. Его образ жизни был прост и сдержан, но, по-видимому, без педантичной строгости стоика. В эпоху, которая становилась беспутной и легкомысленной, он был нравственным и в какой-то степени серьезным. 311]

Но его карьера не похожа на карьеру человека, который обременяет общество впечатлением, что у него есть торжественная миссия, которую он должен выполнить. Таких людей редко воспринимают так же серьезно, как они сами себя воспринимают; они не привлекают опытных людей в

поддержку своего дела; их поведение, которое утомляет их друзей, даже толпа может счесть раздражающим.

Римское общество, должно быть, увидело многообещающие перспективы в его юности, потому что почести пришли рано. Место в совете авгуров рассматривалось как дань заслугам, а не рождению;[312] и действительно, римские аристократы, раздававшие такие милости, были слишком умны, чтобы быть рабами имени, когда речь шла о политических манипуляциях и талант мог быть направлен на истинное дело. Брак стал более важным фактором в его карьере. Невеста, которую ему предложили, была дочерью Аппия Клавдия Пульхера, человека консульского и цензорского ранга, а теперь принцепса сената,[313] умного представителя того блестящего и эксцентричного дома, который всегда поддерживал либерализм в Риме. Аппий уже проявлял некоторую неугомонную индивидуальность своих предков. Когда сенат отказал ему в триумфе после войны с салассами, он отпраздновал торжество за свой счет, а его дочь, весталка, шла рядом с машиной, чтобы удержать на расстоянии назойливого трибуна, пытавшегося оттащить его.[314] Подобная нестандартность проявилась и в нынешней помолвке. Рассказывают, что Аппий обратился к Тиберию с этим вопросом на августейшем пиру. Предложение было с готовностью принято, и Аппий на радостях выкрикнул жене новость, когда входил в собственную парадную дверь. Госпожа была скорее удивлена, чем раздосадована. "К чему вся эта спешка, - сказала она, - если ты действительно не нашел Тиберия Гракха для нашей девушки?" [315] Аппий, как ни спешил он, в данном случае, вероятно, не был жертвой внезапного вдохновения. Беспокойный старик, несомненно, жаждал реформ; но он был обременен годами, почестями и знакомством с сенатом. Он не мог стать главным героем предстоящей борьбы, но в Тиберии он видел человека будущего.

Шансы того времени благоприятствовали военной карьере даже больше, чем политической; главными сферами влияния были провинция и лагерь, и именно в них Тиберий получил самые ранние отличия. Пятнадцатилетним юношей он последовал за своим шурином Сципионом в Африку и первым вступил на стены Карфагена во время тщетного штурма крепости Мегара.[316] Своей дисциплиной и храбростью он завоевал одобрение полководца и вызвал всеобщее сожаление в армии, когда покинул лагерь до окончания кампании. Но не менее сильным опытом для будущего, чем первый вкус войны, должны были стать часы досуга, проведенные в палатке Сципиона.[317] Если общение с великим полководцем вызывало подражание, то беседы на политические темы Сципиона и его окружения должны были вдохновлять на глубокие размышления. Здесь он мог найти достаточно устремлений; не хватало только лидера, который воплотил бы их в дела. Квесторство, первая ступень высшей чиновничьей лестницы, прикрепило его к консулу Манцину и направило в вечно беспокойную провинцию Испанию. Это был счастливый случай, ведь здесь находилась сцена военных и дипломатических триумфов его отца. Но продолжение было неожиданным. Он отправился исполнять обязанности подчиненного, а неожиданно оказался в роли главнокомандующего или аккредитованного представителя римского народа. Нумантинцы соглашались только с Гракхом, и договор, спасший жизни римлян, но не их честь, считался действительно его делом. В одно мгновение он оказался вовлечен в политический вопрос, который взволновал весь Рим. Нумантинский договор был темой дня. Должен ли он быть принят или, в случае отказа, авторы катастрофы, причины нарушения веры, должны быть выданы врагу в качестве искупления за нарушенное обещание? По первому вопросу колебаний было мало; сенат принял решение о недействительности договора, и, вероятно, это мнение было бы принято народом, если бы меры против чиновников-ратификаторов не были слишком строгими. По этому вопросу мнения разделились. Более бедные слои населения, чьи сыновья и братья были спасены договором от смерти или плена, винили

Манцина как причину катастрофы, но были благодарны Тиберию как автору соглашения. Другие, которым было нечего терять и которые поэтому могли позволить себе отстаивать свои принципы, поступили бы по всей строгости древних правил и выдали бы квестора и трибуна вместе с генералом-неудачником.[318] Считалось, что влияние Сципиона, всегда имевшего большой вес среди сельскохозяйственных избирателей, могло бы спасти даже Манцина, более того, если бы он захотел, то смог бы добиться подтверждения мира.[319] Но его усилия, как полагали, были направлены в пользу Тиберия. Дело закончилось нелогичным компромиссом. Договор был расторгнут, но было постановлено, что сдаться должен только генерал.[320] Нарушение древней нормы религиозного права было сделано в пользу Тиберия.

Но, несмотря на этот знак народной благосклонности, опыт был удручающим, а его последствия - тревожными. Хотя нельзя согласиться с мнением более поздних авторов, которые, рассматривая дело с консервативной и, следовательно, неблагоприятной стороны, видели в этой ранней проверке ключ к будущим действиям Тиберия,[321] тем не менее гнев и страх оставляют свой след даже в самых уравновешенных умах. Сенат разорвал его договор и на данный момент поставил его в опасное положение. Своим спасением он был обязан народу. Если обстоятельствам было угодно создать в Риме оппозиционную партию, его все больше и больше толкали в ее ряды. И, похоже, в это время между ним и человеком, который был его великим *примером*, возникла прохлада. Тиберий не советовался со Сципионом, прежде чем приступить к осуществлению своего великого предприятия; поддержку и совет он искал в другом месте. Возможно, он уже проверил отсутствие симпатии Сципиона активной пропагандой; возможно, стыд сдерживал намеки на план, который мог бы, казалось, подразумевать претензии на лидерство. Но не исключено, что в нем жило какое-то чувство обиды на воина, стоявшего сейчас перед Нумантией, который не сделал ничего, чтобы спасти последний нумантинский договор и честь имени Гракха.

Его сдержанность вряд ли могла быть вызвана незнанием собственных замыслов, ведь его брат Кай записал, что именно во время путешествия на север от Рима по пути в Нумантию у Тиберия впервые открылись глаза на масштабы болезни, которая вопила о лечении[322]. Именно в Этрурии, рае капиталистов, он повсюду видел завезенных рабов и варваров, которые заменили свободных людей. Именно это зрелище впервые подсказало ему нечто похожее на определенную схему. Дальнейший стимул вскоре был найден в обрывках анонимных надписей, которые появлялись на крыльцах, стенах и памятниках, моля его о помощи и умоляя вернуть общественные земли для бедных.[323] Безголосый римский народ искал свой единственный способ выражения, трибуна, который должен быть тем же, чем был трибун в древности, - слугой многих, а не созданием немногих. Для матери Гракха его планы вряд ли могли быть завуалированы. Говорят, она даже стимулировала смутную тягу к действию шутливым замечанием, что ее по-прежнему называют тещей Сципиона, а не матерью Гракхов[324].

Но требовался серьезный совет. Гракх не собирался быть простым демагогом, выступающим перед народом с полусформированным планом и возбуждающим ажиотаж, который может закончиться лишь каким-нибудь пустым решением. Было мало тех, к кому он мог обратиться за советом, но эти немногие были из лучших. Три почтенных человека, чьи дела и положение были даже больше, чем их имена, были готовы поддержать его. Это был главный понтифик П. Лициний Красс Муциан, человек, о котором говорили, что он в высшей степени сочетает в себе четыре великих блага - богатство, родовитость, красноречие и юридические познания;[325] это был брат Красса П. Муций Сцевола,[326] величайший юрист своей эпохи, уже предназначенный для консулата на следующий год; наконец, тесть Тиберия,

неугомонный Аппий, с нетерпением ожидавший исполнения заветного замысла человеком, которого он сам выбрал[327].

Укрепившись таким образом, Тиберий Гракх вступил в свою трибуну и сформулировал меры, которые должны были оставить большую часть государственных владений открытыми для раздачи бедным. На народных собраниях, которыми он открыл свою кампанию, он подробно остановился на природе зла, которое он предлагал исправить. На карту были поставлены интересы Италии, а не только римского пролетариата[328]. Он указывал на то, как сократилась численность итальянского крестьянства и как та его часть, которая еще сохранилась, доведена до нищеты, непоправимой собственными усилиями. Он показал, что банды рабов, которые работали в огромных поместьях, были угрозой, а не помощью Риму. Их нельзя было призвать на службу в легионы, их недовольство своими хозяевами было общеизвестно, их опасность доказывалась даже сейчас ужасным состоянием Сицилии, судьбой ее рабовладельцев, долгой, трудной и богатой событиями войной, которая еще не была завершена.[329] Иногда язык страсти сменялся языком разума в его речах к толпам, теснившимся вокруг Ростры. "У зверей, которые бродят по Италии, есть норы и укромные места, где они могут устраивать свои постели. Вы, сражающиеся и умирающие за Италию, наслаждаетесь лишь благословением воздуха и света. Только они являются вашим наследием. Бездомные, неустроенные, вы скитаетесь туда-сюда со своими женами и детьми. Наши генералы имеют привычку вдохновлять своих солдат на бой, призывая их отразить врага, защищая свои могилы и святыни предков. Призыв этот пустой и ложный. Вы не можете указать на отцовский алтарь, у вас нет гробницы предков. Нет! Вы сражаетесь и умираете, чтобы дать богатство и роскошь другим. Вас называют хозяевами мира, но нет ни одного клочка земли, который вы могли бы назвать своим". [330]

Предложение, вызванное этими волнующими призывами, на первый взгляд казалось умеренным и несколько консервативным. Оно претендовало на возобновление старого закона, который ограничивал количество домениальной земли, которой мог владеть человек, пятьюстами *джугерами*:[331] оно претендовало, таким образом, на укрепление запрета, который упорно не соблюдался, поскольку этот закон, ограничивающий владение, никогда не был отменен. Степень, в которой предложение такого рода является повторным, как по духу, так и по букве, полностью зависит от продолжительности времени, прошедшего с тех пор, как первоначальное предложение начало нарушаться. Политическое общество, признающее обычай в качестве одного из оснований права, должно признать и его неисполнение в равной степени. Закон, который не исполнялся в течение столетий, по общему согласию судов тех стран, которые поддерживают прогрессивное законодательство, будет рассматриваться как отсутствие закона. Опять же, возраст постановления определяет его пригодность к современным условиям. Может быть оправданным возрождение закона, которому уже много веков; но возрождение не обязательно должно носить такое название. Оно должно рассматриваться как новый шаг, если только не будет доказано, что обстоятельства принятия старого и нового закона примерно одинаковы. Наши попытки судить о законе Гракха по этим соображениям затруднены незнанием реальной даты принятия предыдущего закона, строгость мер которого он хотел возобновить. Если это был закон Лициния середины IV века[332], то он должен был быть возобновлен или все еще продолжал соблюдаться в период, не очень долго предшествовавший предложению Гракхов; ведь Катон мог привести свои аргументы против объявления войны с Родосом, ссылаясь на положение, приписываемое этой мере[333], - апелляция, которая была бы бессмысленной, если бы положение не было предано забвению, которое упорное игнорирование закона должно принести всем, кроме исповедующих право. Мы можем, по крайней мере, утверждать, что обвинение Гракха в возрождении закона, настолько

устаревшего, что это абсурд, не является одним из обвинений, которые можно найти даже в тех литературных источниках, которые были наиболее недружелюбны к его законодательству[334].

Общий принцип этой меры заключался, таким образом, в ограничении до пятисот *джугеров* количества общественной земли, которой мог "владеть" отдельный человек. Само определение владения сразу же освобождало от действия этого правила значительную часть государственных владений.[Кампанские земли были сданы государством в аренду частным лицам, а не просто находились в их владении в результате разрешенной правительством оккупации; следовательно, они не попадали под действие этой меры;[336] но, поскольку технически это была государственная земля и право собственности на нее принадлежало государству, было бы опасно предполагать ее освобождение; поэтому, как представляется, она была специально исключена из действия законопроекта, и аналогичное исключение, вероятно, было сделано в отношении многих других участков территории, находящихся в аналогичном владении.[337] Либо Гракх отказался трогать любые интересы, которые могли бы правильно называться "наделенными", даже если они имели форму аренды, либо он ценил надежный и обильный доход, который поступал в казну государства от этих владений. Были и другие земли, строго "общественные", где притязания владельцев были еще сильнее, и где отчуждение без полной компенсации должно было рассматриваться как простой грабеж. Из более поздних законодательных актов мы знаем, что с уважением относились к таким землям, как *Trientabula*, поместья, которые были предоставлены римским правительством за бесценок своим кредиторам в качестве обеспечения той части государственного долга, которая так и не была погашена. Менее определенно можно сказать, что происходило в случае с землями, которые только на правах узуфрукта были предоставлены общинам римских граждан или латинских колонистов. В этом случае право собственности по-прежнему принадлежало римскому народу, и если право узуфрукта было предоставлено по закону, то оно могло быть отменено по закону. Однако в случае с латинскими общинами оно, вероятно, гарантировалось договором, которого не мог коснуться ни один закон: и настолько схожи были условия римских и латинских общин в этом отношении, что вполне вероятно, что земля, пользование которой предоставлялось целым общинам по этим древним пожалованиям, была полностью исключена из законодательства Гракхов. Что касается тех общин, которыми владели группы сельских жителей для выпаса скота (*ager compascuus*),[338] то вряд ли группа рассматривалась как единое целое, и поэтому даже в случае, когда такая совокупность владела более чем пятьюстами *югерами*, их занятие, вероятно, оставалось ненарушенным.

Все остальные владельцы должны были освободить землю, превышающую установленный предел. Такое постановление было бы суровым, если бы не полагалась компенсация, и Гракх предложил несколько вариантов компенсации за понесенные убытки. Во-первых, пятьсот *югеров*, сохраняемых за каждым владельцем, должны были быть увеличены на половину этой суммы за каждого сына, которым он мог владеть: хотя, кажется, сумма, сохраняемая за каждым владельцем, не должна была превышать тысячу *югеров*. [339] Во-вторых, земля, закрепленная за существующими владельцами, не должна была находиться в простом временном владении и не должна была быть обременена уплатой государственных пошлин; даже если право собственности не переходило к владельцам, им гарантировалось безвозмездное беспрепятственное владение на вечные времена.[340] В-третьих, в первоначальном варианте законопроекта даже предлагалась некоторая денежная компенсация за сданные земли.[341] Эта компенсация, вероятно, основывалась на оценке запасов, зданий и недавних постоянных улучшений, которые должны были находиться на территории, возвращаемой государству. Она должна была применяться по большей части

только к пахотным землям и практически представляла собой покупку государством объектов, на которые оно не могло претендовать по закону; ведь только почва, а не постройки на ней, были тем, на что оно могло претендовать по праву.

Целью возвращения государственных земель было их будущее распределение среди нуждающихся граждан. Это распределение могло принимать одну из двух форм. Могли быть основаны новые колонии, или же приобретенные земли могли быть просто распределены между поселенцами, которые должны были принадлежать к существующим политическим организациям. Гракх выбрал именно последний способ простого распределения. Считалось, что особой необходимости в создании новых политических образований нет, так как умиротворение Италии было завершено, и новый земледельческий класс выполнял свой долг перед государством одинаково хорошо как на территории Рима, так и на территории существующих муниципий и колоний римских граждан. Есть некоторые свидетельства того, что новые собственники не все должны были быть приписаны к самому Риму, но многие, возможно, большинство, должны были быть приписаны к существующим колониям и муниципиям, по соседству с которыми находились их наделы.[342] Размер новых наделов, которые планировал Гракх, неизвестен; вероятно, он зависел от потребностей и статуса земледельца, возможно, от качества земли, и есть некоторые указания на то, что максимальный размер был установлен в тридцать *югеров*. [343] Это сумма, которая выгодно отличается от двух, трех, семи или десяти *хугера* аналогичных наделов в прежние времена, и одновременно свидетельствует о снижении стоимости земли - снижении, которое способствовало образованию крупных поместий, - и о значительной территории, которую предполагалось отвоевать благодаря положениям новой меры. Однако выделенные таким образом наделы не должны были стать свободной собственностью их получателей. Они, конечно, передавались по наследству и должны были находиться в совершенно надежном владении у получателей и их потомков; но за их использование государству должен был выплачиваться доход, и они должны были быть неотчуждаемыми - последнее положение было отчаянной мерой, призванной сдержать земельный голод капиталистов и избавить новых поселенцев от необходимости подчиняться экономическим тенденциям времени[344].

Сомнительно, что социальная цель Гракха могла быть полностью достигнута, если бы он ограничился только существующими гражданами Рима. Область экономического бедствия была шире, чем круг граждан, и Гракх имел в виду спасение Италии в целом.[345] Есть много оснований предполагать, что некоторые из итальянских союзников должны были получить выгоды от этой меры.[346] В предыдущих ассигнациях латины не исключались, и вполне вероятно, что по крайней мере они, будь то члены старых общин или колоний, должны были получить некоторую долю в распределении. Юридических препятствий для такого участия быть не могло. Что касается прав на землю, то латины уже находились на одном уровне с римскими гражданами, и их исключение из новых наделов было бы вызвано простыми политическими предрассудками, которые не характерны ни для Гракха, ни для его планов.

Неэффективность законов в Риме объяснялась главным образом апатией исполнительной власти. Гракх ясно видел, что его мера, как и другие социальные усилия прошлого, превратится в простое благочестивое постановление, если ее исполнение будет поручено обычным чиновникам государства.[347] Но специальная комиссия, которая должна была эффективно задуманную им работу, должна быть очень необычного рода. Масштабность задачи и невозможность установить точные сроки ее выполнения обусловили необходимость того, чтобы созданный им триумвират имел вид обычной, но чрезвычайной государственной магистратуры. Три комиссара, учрежденные законопроектом, должны были ежегодно избираться Комицией племен.[348] Повторное избрание тех же лиц было

возможно, и новая магистратура должна была прекратить свое существование только с завершением своей работы. Ее обитатели, возможно, обладали Imperium с момента первого учреждения этой должности; они, несомненно, осуществляли ее с того момента, когда, как мы увидим, их функции назначения были дополнены судебными полномочиями. Несомненно, Гракха подтолкнули к этому новому созданию исключительно потребности его меры; но он показал более поздним политикам возможность создания новой и могущественной магистратуры под прикрытием аграрного закона.

Именно такая мера казалась ее автору разумным и справедливым средством исправить вопиющую несправедливость и восстановить, а не предоставить права беднякам. Он мог бы, если бы захотел, настаивать на простой реституции. Если бы он настаивал на букве закона, ни один атом общественного достояния не остался бы за его нынешними владельцами. Владелец не имел никаких прав против государства; он владел имуществом на условиях терпимости, и технически можно было предположить, что он всегда ожидает вызова на изгнание. Предоставить таким людям нечто сверх того, что так долго предписывали законы, дать им еще и гарантии владения сохраняемой землей, которые почти равнялись полному владению - разве это не неожиданные уступки, которые следует принимать с благодарностью? И даже накануне голосования ропот оппозиции иногда встречался апелляцией к ее более благородным чувствам. Богачи, говорил Гракх, если они заботятся об интересах Италии, ее будущих надеждах и нерожденных поколениях, должны сделать эту землю бесплатным даром государству; они терзают себя мелкими вопросами и отказываются решать более серьезные проблемы дня[349].

Но личные интересы никогда не могут казаться мелкими, а обычного человека больше волнует настоящее, чем будущее. С каждым днем оппозиция становилась все многочисленнее, а ропот переходил в крики. Класс, которому непосредственно угрожала опасность, был, должно быть, немногочисленным; но они восполняли своим объединением и влиянием то, чего им не хватало в численности. Солидный коммерческий мир Рима всегда было легко взбудоражить криком "конфискация". Движение в этом направлении могло не иметь границ; социалистический прием "передела земли", который так часто приводил греческие содружества в состояние брожения, был импортирован в римскую политику. Все силы респектабельности должны были объединиться против этого зловещего нововведения. Вероятно, многие, кто пропагандировал эти взгляды, искренне верили, что они точно соответствуют фактам. Владельцы действительно знали, что они не являются собственниками. Им напоминали об этом всякий раз, когда они покупали право на занятие у предыдущего владельца, поскольку такой титул не мог перейти по манципации; или когда они подавали иск о возвращении имущества, из которого их изгнали, поскольку они не могли заявить претору, что земля принадлежит им "по праву квиритов", а могли рассчитывать только на справедливую помощь магистрата, оказываемую с помощью владельческих интердиктов; Или, что еще чаще, когда они платили свои взносы мытарю, этому незаинтересованному посреднику, который не имел никакого желания идти на компромисс с собственниками и редко мог позволить, чтобы акр земли ускользнул от его бдительного ока. Но, несмотря на эти напоминания, создавалось впечатление, что владение землей совершенно надежно и что государство никогда больше не будет вновь утверждать свою власть в крайней форме, полностью отказываясь от своих клиентов. Гракх мог говорить о компенсации, но была ли гарантия, что она будет адекватной, и, даже если предположить, что материальная компенсация возможна, какое это утешение для оскорбленных чувств? Родовые дома и даже родовые гробницы не были сгруппированы в одной части домена, чтобы их мог сохранить владелец, сохранив свои пятьсот *джугеров*; они были разбросаны по всем обширным акрам. Поместья, которые формально принадлежали одному человеку и

поэтому подлежали действию закона, практически перестали приносить пользу владельцу и были заложены для других целей. Они были разделены как *пекулий* его сыновей, они были обещаны как приданое его дочерей. Возможно, прежние законы справедливо запрещали занимать более определенной доли земли; но большая часть земли, которой сейчас владеют, не была занята нынешним жителем; он купил право находиться там за твердые деньги у прежнего арендатора. И подумайте о вложенном капитале! Приданое было поглощено землей, а закон Гракхана конфисковывал как личное, так и недвижимое имущество, отбирая состояние жены и мужа. А если проследить историю общественной земли, разве не окажется, что такую ценность, какой она обладает сейчас, ей придали ее обитатели или их предки? В ранние времена землю не присваивали, просто потому, что она не стоила того, чтобы ее присваивать. Это была земля, которая была отвоєвана для использования, и этого использования авторы ее стоимости теперь должны были лишиться[350].

Такова была претензия землевладельцев, не лишенная справедливости и потому вызвавшая отклик в умах робких и трезвомыслящих деловых людей, которых пока еще не коснулась опасность. Но некоторые из них обнаружили, что на карту поставлены их личные интересы. Владения казались настолько хорошими, что их принимали в качестве обеспечения долга,[351] и нападение Гракхов разом объединило обычно враждебные ряды залогодержателей и залогодателей. Тревога распространилась из Рима по окрестным муниципиям. [352] Даже в самом городе пролетариат, вероятно, имел весьма несовершенно представление о масштабах законопроекта. Мы можем представить себе, в каком искаженном виде он дошел до ушей жителей провинциальных городов. "Правда ли, что земля, переданная им в узуфрукт, должна быть отнята?" - такой вопрос задавали в муниципалитетах и колониях, будь то римских или латинских. Более нуждающиеся жители этих городов восприняли новость с совершенно иными чувствами. У них были все шансы поучаствовать в местном разделе добычи, и их голоса влились в хор одобрения, с которым беднейшие слои населения повсеместно приняли закон Гракхана. Среди этого пролетариата некоторые слова - хорошо запомнившиеся фрагменты речей Гракха - стали привычной валютой дня. "Бесчисленные походы, в которых была завоевана эта земля", "Беззаконие отчуждения того, что действительно является собственностью государства", "Позор использования вероломного раба вместо свободнорожденного гражданина" - такими были замечания, которыми римский рабочий или бездельник теперь развлекал своих товарищей. Вся римская Италия пылала, и даже в тех союзных городах, чьи интересы в римских владениях были далеки, должно быть, ощущалась неуверенность и тревога. Разве государственные интересы не могут быть так же легко нарушены, как и личные, суверенным народом: и разве пример Рима не был почти так же опасен, как и его действия?

Противники Гракха не питали иллюзий относительно численного состава, который он мог призвать себе на помощь. Если бы битва завершилась в Комиции, не было бы никаких сомнений в его триумфальной победе. Открытое противостояние не могло служить никакой цели, кроме демонстрации того, что это был остаток, противостоящий желаниям народа. Но было средство хотя бы отсрочить опасность, отложить нападение, пока Гракх оставался трибуном, и, возможно, дать народу возможность полностью оправиться от бреда. Когда коллегия трибунов действовала как единое целое, ее сила была неодолимой; но сейчас, как и часто раньше, в ее рядах наблюдался некоторый раскол. Вряд ли десять человек, набранных из знати, одинаково благосклонно отнесутся к такому радикальному предложению, как предложение Тиберия Гракха. Но народное чувство было настолько сильным, что какое-то время даже несимпатичные члены совета не решались протестовать, и известно, что ни один из коллег Тиберия не выступил против движения на его начальном

этапе. Даже тот, кто впоследствии склонился на сторону капиталистических интересов, долго колебался, прежде чем решиться на этот грозный шаг: Считалось, однако, что нерешительность Марка Октавия объяснялась скорее его личным отношением к Тиберию, чем уважением к желаниям народа.[353] Трибун, которому предстояло зарубить на корню неприятную меру, был прекрасным инструментом для достойной оппозиции. Он был серьезным и сдержанным, личным другом и приближенным Тиберия.[354] Правда, он был крупным собственником общественного достояния и должен был пострадать от действия нового аграрного закона. Но было вполне уместно, чтобы класс землевладельцев представлял землевладелец, и, если бы существовало хоть малейшее подозрение в подлых мотивах, оно было бы устранено отказом Октавия принять частную компенсацию для себя из скудных средств Тиберия Гракха. 355] Само предложение читается как оскорбление, но, вероятно, оно было сделано в момент страстного и неосознанного пыла. Ни предлагающий, ни отказывающийся не могли рассматривать его в свете взятки. Даже когда вето было наложено, ежедневные поединки между двумя трибунами на Форуме никогда не становились ареной непристойных обвинений. Словесная война разворачивалась вокруг принципиального вопроса. Оба спорящих раскались добела, но ни один из них не сказал ни слова, которое могло бы отразиться на характере или мотивах[356].

Эти дебаты последовали за первым несостоявшимся заседанием Собрания. Когда приближался решающий момент, в Рим хлынули потоки деревенского люда, чтобы отдать свой голос в пользу этой меры.[357] Contio уступил место Comitia, народ был готов разделить, и Гракх приказал своему писцу зачитать вслух слова законопроекта. Октавий велел писцу замолчать;[358] огромное собрание рассосалось, и все труды реформатора казались напрасными. Смириться с временным поражением при таких обстоятельствах было вполне в духе конституции того времени. Вето было способом побудить к размышлениям; оно могло уступить длительной кампании, но рассматривалось как барьер против поспешного народного порыва, который, если его не сдержать, мог оказаться губительным для некоторой части общества. Гракх, однако, прекрасно понимал, что сейчас она используется в интересах небольшого меньшинства, а права, которые она защищает, он считал несуществующими; он полагал, что вопрос аграрной реформы связан с его собственной личностью, и ее отсрочка равносильна ее исчезновению; он не собирался допустить, чтобы его собственная политическая жизнь была неудачной, и, вместо того чтобы отказаться от своего оружия нападения, он сделал его более грозным, чем прежде. Возможно, повинуясь народным крикам, он переработал свой законопроект в форму, которая сделала его более радикальным и менее справедливым.[359] Не исключено, что некоторые из дучеров, предоставленных собственникам в его первоначальном предложении, на самом деле не соответствовали его собственным суждениям. Они были призваны обезоружить оппозицию. Теперь, когда оппозиция не была обезоружена, их можно было удалить без всякой опасности. Более строгая мера имела те же шансы на успех или провал, что и менее строгая. Нам неизвестен характер изменений, которые теперь были внесены; но возможно, что денежная компенсация, предлагаемая за улучшения на возвращаемой земле, была либо отменена, либо стала менее адекватной, чем раньше.

Но даже форма закона была неважна по сравнению с вопросом о методе, которым должна была быть встречена новая оппозиция. Вето, наложенное Октавием, приостановило бы аграрные меры на весь год правления Тиберия. Противостоять ему можно было только таким способом, который сделал бы управление страной настолько невозможным, что оппозиция была бы вынуждена пойти на соглашение. Средство было найдено в запретительной власти

трибунов - праве, которое вытекало из их *major potestas*, запрещать под угрозой наказания действия всех других магистратов. Теперь оно использовалось редко, только по требованию сената и для определенных целей. По сути, он стал не более чем средством принуждения к повиновению временному приостановлению деловой жизни, предписанному правительством. Но недавние события наводили на ассоциации, которые заставляли вспомнить о великой политической борьбе прошлого, и напоминали о том, как Лициний и Секстий в течение пяти лет поддерживали свой анархический эдикт, направленный на освобождение плебса. Разница между условиями жизни в первобытном Риме и в космополитической столице наших дней не привлекала Тиберия. *Justitium* был таким же законным методом политической войны, как и *Intercessio*. Он издал эдикт, запрещавший всем другим магистратурам выполнять свои официальные функции до тех пор, пока не будет проведено голосование по аграрному закону; он наложил собственные печати на двери храма Сатурна, чтобы квесторы не могли вносить платежи в казну или изымать из нее деньги; он запретил преторам заседать в судебных инстанциях и объявил, что будет взыскивать штраф с тех, кто ослушается. Магистраты подчинились эдикту, и большая часть активной жизни государства оказалась в подвешенном состоянии.[360] Факт их повиновения свидетельствовал о подавляющей силе, которую Тиберий теперь имел за собой; ведь плохо поддерживаемый трибун, принявший столь устаревший метод ведения войны, был бы не в состоянии обеспечить исполнение своих указов и выглядел бы просто смешным. Противники закона теперь были по-настоящему встревожены. Те, кто должен был стать главными страдальцами, надели траурные одежды и ходили по безмолвному Форуму с мрачным и отчаянием на лице, как будто они были невинными жертвами великого зла. Но в то время как они использовали эти открытые средства, чтобы вызвать сочувствие толпы, шепотом говорили, что сейчас пробуют последний коварный прием для предотвращения опасности. Дело погибнет вместе с демагогом, и Тиберия можно будет тайно устранить. Уверенность в этом укреплялась, когда стало известно, что трибун носит при себе кинжал[361].

Теперь была предпринята попытка выяснить, было ли давление достаточным и повторится ли вето. Гракх снова созвал собрание, чтение законопроекта было начато и снова остановлено по указанию Октавия.[362] Это второе разочарование едва не привело к открытому бунту. Огромная толпа не сразу разошлась; она чувствовала свою огромную физическую силу и полную слабость регулярных органов власти. Появились зловещие признаки обращения к силе, когда два человека консульского ранга, Манлий и Фульвий,[363] выступили в роли миротворцев. Они бросились к ногам Тиберия, сжимали его руки, слезно умоляли остановиться, прежде чем решиться на акт насилия. Тиберий не остался равнодушным к их призыву. Ближайшее будущее было достаточно мрачным, и мольбы этих почитаемых людей спасли его от неловкой ситуации. Он спросил их, что, по их мнению, он должен сделать. Они ответили, что не могут дать совет по такому важному вопросу, но есть Сенат. Почему бы не предоставить все дело на суд великого государственного совета? На отношение самого Тиберия к этому предложению, возможно, повлиял тот факт, что оно было адресовано не только ему, но и его коллегам[364], и что они, очевидно, сочли его разумным средством облегчения сложившейся ситуации. Трудно поверить, что человек, который никогда не входил в доверие к сенату по такому жизненно важному вопросу, как аграрный закон, мог надеяться на его сочувствие сейчас. Но его убежденность в разумности своего предложения,[365] в собственной способности убедительно изложить суть дела и знание того, что сенат обычно уступает в кризисных ситуациях, что его управление возможно только потому, что он постоянно держит руку на пульсе народного мнения, могли побудить его принять совет. Сразу же пришлось прибегнуть к помощи курии. Дела палаты должны были быть немедленно прерваны, чтобы выслушать изложение достоинств аграрной меры и

описание политической ситуации, которую она создала. Когда начались дебаты, стало очевидно, что лидеров народного движения ждет только унижение. Капиталистический класс был представлен подавляющим большинством; со всех сторон слышались язвительные протесты и едкая критика, и Тиберию, наверное, никогда в жизни не говорили столько домашних истин. Затягивать дискуссию было бесполезно, и Тиберий был рад снова оказаться на открытом воздухе Форума. Он принял решение и теперь внес предложение, которое, если его осуществить, могло бы вывести из тупика с помощью средств, которые можно было бы считать законными. Новым средством было не что иное, как отстранение от должности его коллеги Октавия. Он объявил, что на следующем заседании собрания перед плебсом будут поставлены два вопроса: о принятии закона и о продолжении Октавием своего пребывания в трибунате[366] Последний вопрос должен был быть поставлен в связи с общим вопросом, должен ли трибун, действующий вопреки интересам народа, оставаться на своем посту. В назначенное время[367] постоянство Октавия снова подверглось испытанию, и он снова остался тверд. Тиберий разразился одной из своих эмоциональных вспышек, схватил своего коллегу за руки, умоляя его оказать народу эту великую услугу, напоминая, что его требования справедливы, ничтожны по сравнению с его трудами и опасностями. Когда этот призыв был отвергнут, Тиберий подвел итог невозможности ситуации в выражениях, которые содержали осуждение всего роста и структуры римской конституции. Не в человеческих силах, сказал он, предотвратить открытую войну между равными магистратами, которые расходились во мнениях по самым серьезным государственным вопросам;[368] единственный способ, который он видел для обеспечения мира, - это отстранение одного из них от должности. В данном случае ему было безразлично, кто из них окажется на посту. Арбитром будет народ. Пусть Октавий предложит сместить его самого; он спокойно уйдет в частный участок, если такова будет воля граждан. Человек, говоривший так, более полно освободился от римских формул, чем любой римлянин прошлого. Октавию это, должно быть, показалось просто вспышкой греческого демагогизма. К тому же в сложившихся обстоятельствах это предложение было совершенно безопасным. Ни на каких основаниях оно не могло быть принято. На этом заседание было прервано, чтобы дать Октавию время на размышление.

На следующий день Гракх объявил, что сначала будет рассмотрен вопрос об отстранении от должности, и была предпринята новая и столь же тщетная апелляция к чувствам непоколебимого Октавия.[369] Затем был поставлен вопрос, но не как неопределенное и общее решение, а как решительное предложение о том, чтобы Октавий был лишен трибуната. Тридцать пять триб проголосовали, и когда голоса семнадцати были переданы и провозглашены,[370] а голоса одного не хватило, чтобы сделать Октавия частным гражданином, Тиберий как председательствующий трибун на мгновение остановил механизм выборов. Он снова проявил себя как революционер, к сожалению, обладающий политической и личной совестью. Народ был свидетелем как никогда страстной сцены, которая могла показаться последней попыткой примирения между двумя социальными силами, которым предстояло встретиться в ужасном конфликте. Руки Гракха обвились вокруг шеи его противника; с его уст срывались призывы: старый - не разбивать сердце народа; новый - не приводить к собственной деградации и не оставлять горьких воспоминаний в памяти автора своего падения. Наблюдатели видели, что сердце Октавия было тронуто; его глаза наполнились слезами, и некоторое время он хранил тревожное молчание. Но вскоре он вспомнил о своем долге и обещании. Тиберий мог делать с ним все, что пожелает. Гракх призвал богов в свидетели того, что он охотно спас бы своего коллегу от бесчестия, и приказал возобновить оглашение голосов. Законопроект стал законом, а Октавий был лишен должности. Возможно, именно потому, что он отказался признать законность этого акта, он все еще оставался в Ростре. Одному из трибунов, вольноотпущеннику Гракха, было

приказано спустить его вниз. Когда он спустился на землю, толпа бросилась на него, но его сторонники сплотились вокруг него, а сам Тиберий поспешил с Ростры, чтобы предотвратить акт насилия. Вскоре он затерялся в толпе и поспешил незамеченным покинуть толпу.[371] Его место в коллегии трибунов было немедленно занято Квинтом Муммием.[372]

Члены собрания, свергнувшего Октавия, возможно, были зрителями и авторами нового прецедента в римской истории, которому часто следовали в последние годы Республики, но который, возможно, не получал прямой санкции из записей прошлого. Отмена *imperium* проконсула действительно была известна,[373] но низложение городского магистрата в год его пребывания в должности, похоже, было доселе неопробованным экспериментом. Мы не можем на этом основании признать его незаконным; ведь акт, который никогда ранее не пытались осуществить, может иметь полную юридическую силу как первый случай, когда из признанных принципов конституции были сделаны законные выводы. Всегда допускалось, что при определенных обстоятельствах (главным образом при пренебрежении надлежащими формальностями избрания) магистрату может быть предложено отречься от своей должности; но сам факт такого приглашения свидетельствует об отсутствии законной власти отстранения. Традиция, однако, часто дополняла недостатки исторических свидетельств, и в одном, возможно, самом древнем рассказе о смещении первого консула Коллатина говорилось, что это произошло благодаря народной мере, введенной его коллегой.[374] Этот рассказ был фрагментом той традиции народного суверенитета, которая оживляла историческую литературу эпохи Гракхов: и один вывод из этой теории вполне мог показаться таким, что суверенный народ мог менять своих министров по своему усмотрению. Этот вывод, однако, не был сделан даже в лучший период демократических Афин; он полностью противоречил римской концепции магистратуры как власти, согласованной с народом и если не назначенной богом, то, по крайней мере, получившей нечто священное от факта наделения должностью. Даже преследование магистрата за тяжчайшее преступление, хотя технически и допустимое в течение года его пребывания в должности, как правило, откладывалось до того момента, когда он снова становился частным гражданином; коллегия трибунов, в частности, обычно защищала своих обидчиков и тем самым поддерживала свое собственное достоинство и достоинство народа. Но даже если допустить, что государь мог в любой момент и без всяких формальностей объявить себя компетентным судом, и даже если отстранение от должности могло быть неправомерно представлено как наказание, оставался вопрос о преступлении, который необходимо было рассмотреть. Против Октавия не было выдвинуто никакого преступления, известного закону. Осуществляя свое признанное право или, как он мог бы выразиться, свой священный долг, он пошел против воли большинства. С этой точки зрения аналогия с уголовным законом была безнадежна, и поэтому на нее не стали настаивать в данном случае. С другой точки зрения, все было не так уж и плохо. Бурные народные собрания, которые по требованию обвинительного трибуна часто осуждали полководцев за туманные преступления, едва ли сформулированные в каком-либо конкретном законе, мало чем отличались от собрания, свергнувшего Октавия, за исключением того, что не было проведено предварительного магистратского расследования. Пропась, лежащая между разбирательством в парламенте и разбирательством в суде, была в Риме гораздо меньше, чем в тех эллинских сообществах, которые обладали развитой системой уголовного судопроизводства.

Если уголовные аналогии оказывались несостоятельными, приходилось прибегать к чисто политическим основаниям для защиты. Оно вряд ли могло быть основано на соображениях абстрактной справедливости, хотя, как мы увидим, Тиберий Гракх предпринял попытку подвести под него хотя бы такую основу. Могло ли оно быть основано на удобстве? Очевидно, что, как считал Гракх, его акт был единственным эффективным средством выхода

из тупика, созданного конституцией, которая знала только магистратов и народ и фактически искалечила обоих. Пока что его можно было оправдать временной необходимостью. Но подобный акт не мог умереть. К каким последствиям может привести его повторение? Представьте себе менее серьезный вопрос, менее представительное собрание. Подумайте о возможности того, что несколько сотен отчаявшихся членов пролетариата соберутся на Капитолийском холме и свергнут трибуна, который представлял интересы огромного населения Рима. Это последствие, правда, не было реализовано в будущем. Но это произошло лишь потому, что трибунал был больше, чем представлял себе Гракх, и был слишком силен традициями и ассоциациями святости, чтобы его можно было сломить даже его нападениями. Больше всего его беспокоило подозрение, что от низложения Октавия может пострадать сама священная должность, и именно опровержению этого мнения он впоследствии посвятил большую часть своей систематической защиты своих действий.

На том же собрании, на котором был низложен Октавий, аграрный законопроект был впервые без перерыва зачитан народу и сразу же стал законом. Вскоре после этого были проведены выборы комиссаров, в результате которых ими стали сам Тиберий Гракх, его тесть Аппий Клавдий и младший брат Гракха Кай.[375] Возможно, было естественно, что народ возлагал свои надежды на семью своего защитника; но вряд ли можно было укрепить уверенность всего общества в мудрости, с которой будет выполнена эта деликатная задача, узнав, что она была поручена семейной партии, один из которых был совсем мальчишкой; И это недоверие, должно быть, усилилось, когда несколько позже в течение года сложные вопросы, которые непосредственно касались задачи распределения, привели к введению Тиберием другого закона, который давал судебную власть триумвирам для цели определения того, что является общественной землей, а что - частной.[376] Теперь судьбы богатых классов, казалось, были доверены одному человеку, который объединил в своем лице власть трибуна и *imperium*, чья юрисдикция, должно быть, серьезно нарушала юрисдикцию регулярных судов, и которому помогали издавать его, вероятно, неправомочные указы тесть и младший брат. Но, хотя эффективный протест был невозможен, сенат выказал свое негодование действиями, которые могли бы показаться мелкими и злобными, если бы мы не помнили, что они были единственным доступным для этого органа средством вынести порицание недавним событиям. Сенат контролировал каждую статью расходов; когда комиссары обратились к нему с просьбой о возмещении расходов, он отказал в палатке и установил лимит поставок в полтора динария в день. Инициатором этого постановления был экс-консул Сципион Насика, сильно проигравший по аграрному закону, человек сильного и вспыльчивого нрава, который с каждым днем становился все более яростным противником Тиберия Гракха[377].

Тем временем последний праздновал мирный триумф, который намного затмил военные представления императоров прошлого. Сельские жители, прежде чем вернуться к своим фермам, проводили его до дома; они приветствовали его как более великого, чем Ромул, как основателя не города, не нации, а всех народов Италии. 378] Правда, его эскорт составляла лишь бедная, грубая толпа. В процессии не было видно ни статных вельмож, ни громогласных солдат. Но лучше бы их не было. Это был истинный апофеоз настоящего демагога. И подозрительность масс разгоралась с такой же готовностью, как и их энтузиазм. Один из друзей Тиберия внезапно умер, и на теле были замечены уродливые следы. Раздался крик о яде; тело подхватили на плечи толпы и понесли к месту сожжения. Огромная толпа стояла, чтобы увидеть, как труп будет сожжен, и неэффективность пламени стала убедительным подтверждением истинности их подозрений.[379] Оставалось выяснить, насколько эта защитная энергия спасет их любимца, когда наступит день расплаты.

Тиберий вряд ли мог разделить всеобщее ликование. Давать обещания - это одно, а выполнять их - совсем другое. Все зависело от эффективности реализации аграрного плана; и хотя механизм распределения был превосходным, некоторых материалов, необходимых для его успешного выполнения, катастрофически не хватало. Кандидатов на землю было достаточно, и земли для кандидатов хватало. Но откуда взять средства для того, чтобы начать новый путь этих людей без гроша в кармане к добродетели и процветанию? Дать пылкому поселенцу тридцать *джугеров* земли и лишить его возможности посеять первый урожай или сделать первую попытку превратить пастбище в пашню было и бесполезно, и жестоко; можно представить, что выселенные владельцы оставили свои отторгнутые владения не в самом завидном состоянии. Двери "Аэрария" были закрыты, поскольку ключ от него находился в руках сената, и Гракху пришлось с тревогой искать средства для удовлетворения потребностей своих клиентов.

Такая возможность представилась, когда римский народ неожиданно получил наследство Аттала Третьего, царя Пергама. Завещание было доставлено в Рим Евдемом Пергамским, чьим первым делом был сенат. Но когда Евдем прибыл в город, он увидел положение дел, которое, должно быть, заставило его усомниться в том, что сенат больше не является истинным руководителем государства. Он сидел пассивный и угрюмый, в то время как энергичный *простат* греческого типа делал с землями Италии все, что хотел. Ни один здравомыслящий посол не мог отказаться пренебречь Гракхом, и практически несомненно, что Евдем обратился к нему. Этому факту можно верить, даже если не принимать версию о том, что посланник предусмотрительно взял с собой в багаже пурпурную мантию и диадему, как символы, необходимые для достойного признания будущего положения Тиберия.[Не исключено также, что подозрения в отношении правления сенаторов и капиталистов побудили грека попытаться выяснить, нельзя ли добиться более терпимого для его страны урегулирования через лидера народной партии.[381] Мы не можем сказать, задумывался ли Гракх о политике в отношении провинции в целом. Вероятно, его мысли были заняты насущными потребностями. Он видел в сокровищах Аттала более чем эквивалент доходов, вложенных в запертый *Aerarium*, и объявил о своем намерении провести плебисцит, чтобы деньги, оставленные царем, были распределены между поселенцами, предусмотренными его аграрным законом.[382] Возможно, он предполагал использовать будущие доходы Пергамского царства для этой или другой подобной цели; и, возможно, отчасти по этой причине, отчасти в ответ на возражение, что сокровища не могут быть присвоены без сенатского декрета, он объявил новую доктрину, что не дело сената решать судьбу городов, принадлежавших монархии Атталидов, и что он сам подготовит для народа меры, касающиеся этого вопроса[383].

Это был самый яростный вызов, который он бросил сенату. Можно расходиться во мнениях относительно права магистрата ставить вопрос перед народом без указания сенатского декрета; наделение земель, несомненно, было народным правом в той мере, в какой оно требовало ратификации общин; даже низложение Октавия было делом народа и он отомстил бы за себя. Но были два сенаторских права - одно узурпированное, другое созданное, - законность которых никогда не подвергалась сомнению. Это были контроль над финансами и руководство провинциальной администрацией. Если бы была допущена возможность, что ими можно заниматься в Комиции, магистраты перестали бы быть министрами сената; ведь именно благодаря системе разумных премий сенат обеспечивал себе лояльность чиновничьего сословия. Возможно, страх перед тем, что может сделать сам Гракх, был меньше, чем перед призраком, который он создавал для будущего. Ведь в римской истории события прошлого определяли события будущего; в ее развитии было мало изолированных явлений.

С этого времени нападки отдельных сенаторов на Гракха стали более яростными и прямыми. Они исходили от людей самого высокого ранга. Некий Помпей, в котором мы, вероятно, видим бывшего консула и будущего цензора, не постеснялся вызвать призрак грядущей монархии, ссылаясь на историю о скипетре и пурпурной мантии, и, как говорят, поклялся подвергнуть Гракха импичменту, как только истечет год его магистратуры;[384] бывший консул Квинт Цецилий Метелл, известный македонец, упрекал Тиберия в том, что он сопровождает сброд. Он сравнивал поведение отца и сына. Во время цензуры первого граждане гасили по ночам огни, когда видели, как он проходит по улице к своему дому, чтобы внушить цензорскому сознанию мысли о раннем часе и упорядоченном поведении; теперь же сына этого человека можно было видеть возвращающимся домой среди пламени факелов, держащихся в крепких руках вызывающего телохранителя, набранного из самых нуждающихся классов.[385] Эти стрелы, возможно, не попали в цель; та, что попала, была выпущена престарелым сенатором Титом Аннием Луском, который занимал пост консула двадцать лет назад. Говорят, что его остроумие было лучше, чем его характер. Он преуспел в той форме готовой перепалки, когда можно было усадить противника на рога дилеммы с помощью какого-нибудь невинного вопроса, что как в судах, так и в сенате часто оказывалось более эффективным, чем сила непрерывного ораторского искусства. Теперь он вызвал Тиберия на спор (*sponsio*), который в общественной жизни Рима часто использовался для решения спорных вопросов чести или фактов, чтобы выяснить, не обесчестил ли он коллегу, который был святым в силу своей должности и священного закона. Это предложение было встречено сенаторами громкими возгласами одобрения. Взглянув на Тиберия, можно было бы сказать, что Анний нашел слабое место не только в его защитных доспехах, но и в самой его душе. Низложение Октавия оказалось очень неприятным; это был демократический акт, который в высшей степени был недемократическим, утверждение и в то же время грубое нарушение народной свободы.[386] Суеверные массы имели привычку мыть руки и очищать тело, прежде чем войти в присутствие трибуна.[387] Разве не должен был возникнуть трепет и раскаяние, когда до них дошла мысль, что этот священный храм был нарушен, и разве за этим не последовало бы чувство отвращения к человеку, который побудил их к этому недостойному поступку? Тиберий вскочил на ноги, вышел из здания сената и созвал народ. Величие трибуната в его лице было оскорблено Аннием. Он должен ответить за свои слова. Престарелый сенатор предстал перед толпой; он знал, что окажется в невыгодном положении, если прибегнет к обычному оружию комитатских разборок. По силе слова и авторитету в массах он сильно уступал Тиберию. Но присутствие духа не покидало его. Может ли он задать несколько вопросов, прежде чем начнется обычная процедура? Просьба была разрешена, и воцарилась мертвая тишина. "Предположим, - сказал Анний, - что ты, Тиберий, захочешь покрыть меня позором и оскорбить, и предположим, что я обращаюсь за помощью к одному из твоих коллег, и он придет сюда, чтобы предложить мне свою помощь, и предположим далее, что это вызовет твое неудовольствие, лишишь ли ты этого своего коллегу его должности?" Ответить на этот вопрос утвердительно означало признать, что трибунская власть умерла; ответить отрицательно означало ответить, что *auxilium* был лишь одной из форм *intercessio*. Быстро соображающая южная толпа, должно быть, сразу поняла, в чем дело, а сам Тиберий, обычно столь готовый и смелый в речах, не смог справиться с дилеммой. Он промолчал и распустил собрание[388].

Но ситуация не могла оставаться такой, какой она была. Об этом новом аспекте низложения Октавия говорили во всем городе, и среди членов его собственного окружения было много людей, которых мучила совесть. Нужно было что-то сделать, чтобы успокоить их; он должен был сам поднять этот вопрос. Ситуация действительно быстро менялась. Тиберий Гракх встал на защиту. Никогда еще его способность к особому выступлению не проявлялась с

большой пользой, чем в последующей речи. Он обладал даром, который делает могущественным радикала, - докопаться до какой-нибудь фундаментальной истины политической науки, а затем использовать ее с беспощадной логикой для иллюстрации или опровержения существующей практики. Центральной идеей здесь была идея, почерпнутая из политической науки греков. Благо общества - единственный критерий правильности того или иного института. Оно оправдано, если обеспечивает эту цель, и неоправданно, если не обеспечивает: или, говоря языком религии, свято в одном случае, лишено святости в другом. И институт - это не просто абстракция; мы должны судить о нем по его использованию. Поэтому мы должны сказать, что, когда оно подчиняется общим интересам, оно правильно: когда оно перестает им подчиняться, оно неправильно. Но правильное должно быть сохранено, а неправильное вырвано с корнем". Итак, Гракх утверждал, что трибун свят и неприкосновенен, потому что он был освящен для служения народу и является его главой. Если же он изменит свой характер и поступит с народом дурно, урезав его силу и заглушив его голос, выраженный через избирательное право, то он лишится своей должности, ибо перестанет соответствовать условиям, на которых он ее получил. Должны ли мы оставить в покое трибуна, который сносил Капитолий или сжигал доки? И все же трибун, совершавший такие поступки, оставался бы трибуном, хотя и плохим. Только когда трибун уничтожает власть народа, он перестает быть трибуном. Законы дают трибуну право арестовывать консула. Это право дано против человека, избранного народом; ведь консул и трибун в равной степени являются мандатариями народа. Так не должен ли народ иметь право лишить трибуна его власти, если он использует ее во вред интересам дарителя? Чему учит нас история прошлого? Могло ли что-то быть более могущественным или более священным, чем древняя монархия Рима? Империи царя были неограничены, высшие жреческие должности принадлежали ему. И все же город изгнал Тарквина за его преступления. Тирании одного человека оказалось достаточно, чтобы положить конец правительству, уходящему корнями в далекое прошлое, руководившему самым рождением города. И если только святость должна быть основанием для неприкосновенности, то что мы должны думать о наказании девственницы? Есть ли в Риме что-то более святое и благоговейное, чем девы, которые ухаживают за вечным огнем и охраняют его? Однако их грех карается самой ужасной смертью. Они обрели свой священный характер благодаря богам; поэтому они теряют его, когда грешат против богов. Разве не так же должно быть и с трибунами? Именно благодаря народу он священен; он не может сохранять этот божественный характер, когда причиняет вред народу; он - человек, занятый разрушением той самой власти, которая является источником его силы. Если трибуна может быть справедливо получен при благоприятном голосовании большинства племен, то не может ли он быть с большей справедливостью отнят при неблагоприятном голосовании всех племен? Опять же, каковы должны быть границы наших действий при обращении со священными вещами? Означает ли святость неподвижность? Ни в коем случае. Что может быть более святым и неприкосновенным, чем вещи, посвященные богам? Однако этот характер не мешает народу обращаться с ними, перемещать, переносить по своему усмотрению. В случае с трибунатом неприкосновенной является должность, а не человек; с ней можно обращаться как с объектом посвящения и передавать другому. Практика нашего государства доказывает, что должность не является неприкосновенной в смысле неотчуждаемой, поскольку ее обладатели часто отказывались от нее и просили избавить их от нее"[389].

Самой сильной частью этого высказывания была та, в которой говорилось о священном характере должности; она была просто эманацией от выполнения определенных функций; защитой, а не реальностью вещи. Гракх мог бы добавить, что даже договор при определенных обстоятельствах может быть нарушен на законных основаниях. Самым слабым, с римской точки зрения, да и с точки зрения любого стабильного политического

общества, было отождествление постоянного и временного характера института, предположение, что собрание народа - это народ, что трибун - это трибун. Насколько убедительной была эта речь, мы не знаем; она, конечно, не избавила Тиберия от смущения, которое теперь сгущалось вокруг него.

Тиберий добился успеха в основном благодаря сельским избирателям. Правда, в городе у него было много сторонников, но они численно уступали массе городских жителей, отношение которых было либо безразличным, либо враждебным. Они были безразличны в той мере, в какой не хотели аграрных ассигнаций, и враждебны в той мере, в какой были клиентами знатных домов, выступавших против политики Тиберия. Эта городская партия сейчас была на подъеме, поскольку сельские избиратели разбежались по домам. [390] Ситуация требовала, чтобы он неустанно работал ради двух целей - переизбрания в трибунат и поддержки городских избирателей. Если бы в дополнение к этой поддержке он мог питать надежды, которые привлекли бы на его сторону крупных капиталистов, его положение было бы неприступным. Поэтому в своих речах он начал бросать намеки на новую и широкую программу законодательства. [391] Прежде всего, речь шла о военном недовольстве. Недавние постановления, значительно уменьшив имущественный ценз, необходимый для службы, [392] увеличили обязательную воинскую повинность для мануфактурных и торговых классов Рима. Гракх предложил сократить срок службы - вероятно, не в том смысле, что годы службы (с семнадцатого по сорок шестой) должны быть сокращены, а в том, что в течение этих лет должно быть согласовано ограниченное число кампаний, которые должны составлять максимальный объем активной службы для каждого гражданина. [393] Два других предложения касались вопроса об уголовной юрисдикции. Первое допускало апелляцию к народу на решения *судей*. Форма, в которой это предложение излагается нашим авторитетом, заставляет нас предположить, что апелляционными судами должны были стать те, которые были созданы на основании постоянных законов. Главным из этих *quaestiones* или *judicia publica* был суд, рассматривавший дела о вымогательстве, учрежденный в первую очередь Lex Calpurnia, и, возможно, восстановленный до этой эпохи юнианским законом. [394] Постоянный суд для рассмотрения дел об убийстве также мог существовать в это время. [Судьи этих постоянных комиций набирались из сенаторского сословия; поэтому Гракх, предлагая апеллировать их решения к народу, нападал на сенаторскую монополию на важнейшую юрисдикцию и, возможно, размышлял о поведении сенаторских *судей*, особенно в отношении жалоб страдающих провинциалов. Но вполне вероятно, что он также хотел нанести удар по более экстраординарной прерогативе, на которую претендовал сенат, и отрицать право этого органа учреждать специальные комиссии, которые могли без апелляции принимать решения о жизни и судьбе римских граждан. [396] Пока что его предложения, независимо от того, основывались они на убеждении в их общей полезности или нет, были заявкой на поддержку рядовых граждан. Но когда он заявил, что квалификацию *судей* по уголовным делам того времени нельзя оставить в силе и что эти судьи должны быть взяты либо из объединенной коллегии сенаторов и рыцарей, либо из сената, расширенного за счет добавления членов конного ордена, равного его нынешней численности, он протянул приманку богатому среднему классу, который, возможно, уже начал чувствовать сенатскую юрисдикцию в провинциальных делах раздражающей и невыгодной для своих интересов. Один из авторитетов сообщает, что взоры Гракха простирались даже за пределы граждан и что он подумывал о возможности дарования гражданства всей Италии. [397] Само по себе это не было мерой, способной помочь ему в спасении народа; если это не было бескорыстным усилием дальновидного гения, то, возможно, это было связано с надвигающейся бурей, которую, как ему показывал опыт, вскоре должна была встретить аграрная комиссия. [398] Конечно, если все эти планы

справедливо приписывать Тиберию Гракху, то именно он, как никто другой, разработал великую программу реформ, которую ожидало будущее.

К сожалению, у Гракха было мало времени для того, чтобы выхаживать новый электорат или распространять новые идеалы. Приближалось время выборов трибунов, кандидаты вели активную агитацию, а обиженные землевладельцы бросали на противоположные чаши весов всю силу своего влияния.[399] Распространялись дикие слухи о его планах. Семейная клика, заполнившая аграрную комиссию, должна была захватить и другие должности; брат Гракха, юноша, еще не имевший права даже на квесторство,[400] должен был попасть в трибунат, а его тесть Аппий - в консульство.[401] Римом должна была править династия, а тирания комиссии распространиться на все департаменты государства. Гракх почувствовал, что городская группировка против него слишком сильна, и послал убедительный призыв своим сторонникам в стране. Но практические нужды были сильнее благодарности; крестьяне были заняты сбором урожая, и было очевидно, что в данном случае решающий голос должен был принадлежать человеку с улицы. Результат показал, что даже его не оставили равнодушным заслуги Гракха и его последний призыв к тому, чтобы жизнь, которой он рисковал ради народа, была защищена повторной инвеститурой в трибунат[402].

Наступил день выборов, и голоса были поданы. Когда их зачитали, оказалось, что два первых колена отдали свои голоса за Гракха. Затем начались волнения. Голоса шли против землевладельцев; необходимо было заявить законный протест. В собрании поднялись люди и закричали, что немедленное переизбрание в трибунат запрещено законом. Вероятно, они были одновременно правы и неправы в своем протесте, как это часто бывает с людьми, которые осмеливаются делать определенные утверждения относительно изменчивого публичного права Рима. По всей видимости, никакого постановления, запрещающего итерацию этой должности, не существовало, и назначение в трибунат должно было регулироваться обычаем. Но обычай, судя по всему, был категорически против немедленного переизбрания, и апелляция была обоснована общественной практикой.[403] Она, вероятно, была бы проигнорирована, если бы сторонники Гракха были в подавляющем большинстве или коллеги Гракха единодушно поддерживали их. Но народ был расколот, а президент не был настолько увлечен делом, чтобы рисковать своим будущим импичментом. Рубриус, которому жребий поручил ведение процесса в этот день, колебался, какого курса ему следует придерживаться. Более смелый духом Муммий, человек, ставший таковым после низложения Октавия, попросил передать ему руководство собранием. Рубриус, радуясь возможности избежать трудностей, охотно уступил свое место; но теперь вмешались другие члены коллегии. Формы Комиции были нарушены; президент не мог быть выбран без использования жребия. За отставкой Рубриуса должно последовать еще одно обращение к сортировке. Вопрос о порядке вызвал, как обычно, бурное обсуждение; трибуны собрались на Ростре, чтобы поспорить. Ничего нельзя было добиться, оставив народ в качестве зрителей такой сцены, и Гракх добился переноса заседания на следующий день[404].

Ситуация становилась все более отчаянной, ведь каждая задержка была триумфом оппозиции и могла только укрепить веру в незаконность притязаний Гракха. Теперь он прибег к последнему средству римлянина: он перестал быть защитником и стал просителем. Хотя он все еще был магистратом, он принял траурное одеяние и со смиренным и слезливым видом просил помощи у отдельных людей на рынке[405].

Он вел за руку своего сына; его дети и их мать должны были быть стражами народа, так как он отчаялся в собственной жизни. Многие были тронуты; некоторым трибунат Гракха казался

разрывом в темной туче угнетения, которая сомкнется вокруг них после его падения, и их сердца замирали при мысли о новом триумфе знати. Другими двигателями, прежде всего, были страхи и страдания Гракха. В ответ на его слезы раздались крики сочувствия и неповиновения, и большая толпа проводила его до дома в сумерках, чтобы он был уверен в своей поддержке на следующий день. Во время своих призывов он намекал, что опасается ночного нападения своих врагов, и это заставило многих образовать лагерь вокруг его дома и оставаться бдительными защитниками в течение всей ночи[406].

Перед рассветом он встал и начал торопливый разговор со своими друзьями. Страх перед силой, несомненно, присутствовал, и, возможно, сейчас разрабатывались конкретные планы по ее отражению. Некоторые даже полагали, что сигнал к битве был согласован с Гракхом, если дело дойдет до крайности.[407] Со свойственной римлянам щепетильностью он прислушался к предзнаменованиям, прежде чем покинуть свой дом. Они предвещали недоброе. Смотритель священных кур, с которыми *Imperium* Гракха теперь разрешил ему советоваться, ничего не смог добиться от птиц, хотя и тряс клетку. Только одна из птиц продвинулась вперед, да и та не притронулась к еде. А неожиданные предзнаменования оказались не менее дурными, чем приглашенные. Оказалось, что в его шлеме вылупился выводок змей, его нога споткнулась о порог с такой силой, что из сандалии потекла кровь; едва он двинулся в путь, как увидел слева от себя дерущихся ворон, а на истинный объект знамения указал камень, сорванный одним из них с крыши, упавший к его собственным ногам. Такое стечение несчастий испугало самых смелых его товарищей, но его старый учитель, Блоссий из Кумэ, решительно настаивал на продолжении дела. Разве сын Гракхов, внук Африкана, главного министра римского народа, должен был из-за вороны не прислушаться к призыву граждан? Если позор его отсутствия забавлял его врагов, они держали бы свой смех при себе. Они использовали бы это отсутствие всерьез, чтобы обличить его перед народом как царя, который уже подражает роскоши тирана. Пока Блоссий говорил, со стороны Капитолия показались бегущие люди; они подходили, уговаривали его продолжать, так как все шло хорошо. И в самом деле, казалось, что все может закончиться благополучно. Капитолийский храм и ровная площадка перед ним, где должно было состояться голосование, были заполнены его сторонниками. При его появлении раздались радостные возгласы, а вокруг него сомкнулась фаланга, чтобы предотвратить приближение враждебных элементов. Вскоре после начала голосования консул созвал сенат в храм Фидеса.[409] Несколько ярдов по склону - вот и все, что разделяло два враждебных лагеря[410].

Перерыв на размышления укрепил некоторых трибунов в убеждении, что кандидатура Гракха незаконна, и они были готовы поддержать новые протесты богачей. Выборы, однако, начались, ибо председательствовал теперь верный Муммий, который призвал трибы к голосованию. Но дело с распределением по отделениям, которое всегда было сложным, теперь оказалось невозможным. Край толпы был в непрерывном волнении; из его пределов пробивались противники меры. Когда его сторонники расправляли плечи, вся масса раскачивалась и колыхалась. Не было никакой надежды добиться решения от этой толкающейся толпы. С каждым мгновением собрание приближалось к открытому бунту. Вдруг на некотором расстоянии от Тиберия заметили человека, жестикулирующего рукой, словно он хотел что-то сказать. В нем узнали Фульвия Флакка, сенатора, человека, возможно, уже известного как сторонника реформ. Гракх попросил толпу, собравшуюся вокруг него, немного расступиться, и Фульвий пробился к трибуну. Он сообщил, что на заседании сената богатые собственники попросили консула применить силу, тот отказался, и теперь они по собственной инициативе готовятся убить Тиберия. Для этого они собрали большой отряд вооруженных рабов и прислужников.[411] Тиберий немедленно передал эту

новость своим друзьям. В спешном порядке были сделаны приготовления к обороне: сформирована импровизированная гвардия, подпоясаны тоги, а шесты ликторов разбиты на куски, чтобы служить дубинками. Гракхи, находившиеся в отдалении от центра событий, тем временем удивлялись странным приготовлениям, которые они видели лишь мельком, и задавали вопросы о их смысле. Обратиться к этим далеким сторонникам голосом было невозможно; Тиберий мог лишь коснуться рукой своего лба в знак того, что его жизнь в опасности. С противоположной стороны тотчас же раздался крик: "Тиберий просит диадему", и нетерпеливые гонцы помчались с этой вестью в сенат.[412] Вероятно, там знали, что физическая поддержка их дела будет найдена, и бегству этих возбужденных капиталистов, очевидно, способствовал натиск толпы. Начались очередные беспорядки, и трибуны, вместо того чтобы попытаться сохранить порядок или встать на защиту своих священных лиц между разъяренными бойцами, бесцеремонно бежали с места. Их страх был естественным, ведь, оставаясь на месте, они могли оказаться причастными к делу, которое было либо проиграно, либо незаконно. Вместе с трибунами исчезли и последние следы законности. Жрецы закрыли храм, чтобы оградить его территорию от толпы. Более робкие из толпы бежали в диком беспорядке, распространяя еще более дикие слухи. Тиберий отстранял от должности оставшихся трибунов; он назначал себя в новый трибунал без всяких формальностей избрания[413].

Тем временем сенат совещался в храме Фидеса. В прежние времена их обсуждения могли закончиться назначением диктатора, и один из историков, передавших запись этих фактов, удивляется, что этого не произошло сейчас.[414] Но диктатура была ослаблена подчинением апелляции и задолго до своего исчезновения утратила свое значение как средство подавления беспорядков в городе. Римская конституция теперь не имела механизма для объявления осадного или военного положения. С одной стороны, об исчезновении диктатуры можно было только сожалеть. Назначение этого магистрата потребовало бы по меньшей мере однодневной задержки;[415] еще некоторое время потребовалось бы, чтобы собрать вокруг себя достаточную силу в городе, где не было ни полиции, ни солдат. Если бы было решено назначить диктатора, то бесчинства, произошедшие в следующий час, никогда бы не случились. В сложившейся ситуации казалось, что сенату придется выбирать между бессилием и убийством. На самом деле был и другой выход. Сенаторский орден пользовался таким уважением, что депутация от него во главе с консулом, вероятно, привела бы к рассеиванию толпы. Но страсти были накалены, и сейчас было не время для мирных советов. Сторонником жестких мер стал порывистый Насика. Он призывал консула спасти город и усмирить тирана. Он требовал, чтобы все члены палаты высказали свое мнение о том, нужны ли сейчас крайние меры. Уже в то время, возможно, существовала традиция, что магическая формула, с помощью которой сенат советовал магистратам "следить за тем, чтобы государство не пострадало", [416] могла оправдать любой акт насилия в чрезвычайной ситуации. Мнение палаты было на стороне Насики, но резолюция не могла быть выработана, пока консул не поставил вопрос. Ответ Скаэвола был ответом юриста. Он не прибегнет к насилию, не предаст смерти ни одного гражданина без порицания. Если же народ, по убеждению или принуждению Тиберия, придет к какому-либо незаконному решению, он проследит, чтобы такое постановление не было соблюдено. Насика вскочил на ноги. "Консул предаст город; те, кто желает спасения законов, следуйте за мной". [417] С этими словами он задрал подол своей тоги на голову, [418] и бросился от дверей в сторону Капитолийского храма. За ним следовала толпа сенаторов, все они обернули складки своих тог вокруг левых рук. За дверью к ним присоединились их помощники, вооруженные дубинами и шестами[419].

Тем временем события в Капитолии становились все менее бурными. Беспорядки утихли после того, как из оппозиции были исключены наиболее буйные члены. Гракх созвал Contio, чтобы, как говорили, ободрить своих сторонников и заявить о своем постоянстве и неповиновении сенаторской власти. Собрание превратилось в обычный массовый митинг, какие часто случались в текущем году, и глашатай уже кричал "Тишина!"[420], как вдруг люди на окраинах толпы попятись вправо и влево. На холме показалась длинная вереница сенаторов. Прибыла депутация отцов. Должно быть, это было первое впечатление: и толпа отступила перед своими хозяевами. Но через мгновение стало ясно, что хозяева пришли не умолять, а карать. С напряженными лицами и пылающими глазами Насика и его приближенные бросились на поддающуюся массу. Безоружные сенаторы хватались за первое попавшееся под руку оружие, обломки разгромленной мебели собрания, отрезанные доски и ножки скамей, а их свита наседали с дубинками и палками. Вся колонна направилась прямо на Тиберия и его импровизированную охрану. Соппротивление было безнадежным, и трибун со своими друзьями обратился в бегство. Но мысль о восстановлении порядка занимала лишь незначительное место в умах обезумевших сенаторов. Накопившаяся за год горечь нашла выход в одном моменте славной мести. Отцы вели себя как греческая уличная толпа самого низкого типа, ополчившаяся против деспотичной олигархии. Они забивали Гракхов до смерти. Тиберий обратился в бегство, когда кто-то схватил его тогу. Он сорвал ее с себя и бежал, одетый только в тунику, когда споткнулся о распростертое тело и упал. Когда он поднялся, на его голову обрушился дождь ударов.[421] Говорят, что первым ударом был нанесен Публий Сатурий, один из его соратников. Слава его смерти вызывала ожесточенные споры; некий Руфус, поскольку он не мог претендовать на первый удар, как говорят, хвастался тем, что был автором второго. Говорят, что Тиберий упал у самых дверей Капитолийского храма, недалеко от статуй царей.[422] Число погибших его сторонников превышало триста человек, и было отмечено, что ни один из них не был убит мечом.[423] Их тела были брошены в Тибр - не толпой, а магистратами; рука эдила предала Тиберия течению.[424]

Убийство молодого человека, которому на момент смерти не исполнилось и тридцати,[425] и истребление нескольких сотен его сторонников может показаться не слишком значимым событием в истории могущественной империи. Однако древние историки рассматривали это событие как эпохальное, как поворотный пункт в истории Рима, как начало периода гражданских войн.[426] Для обоснования этого вывода недостаточно указать на то, что это была первая кровь, пролитая в гражданском раздоре с эпохи царей;[427] ведь она могла быть и последней. Хотя вендетта и является естественным порождением итальянской почвы, однако массы людей, как и отдельные личности, редко руководствуются исключительно духом мести. Кровь невинных - хороший боевой клич в политике, но не более того; она далеко не всегда является простым предлогом, но столь же далеко не всегда является истинной причиной будущей революции. Знакомство с применением силы в гражданских распрях также является фатальной причиной их увековечения; но знакомство предполагает ее повторное применение: вряд ли это может быть результатом первого эксперимента с убийством. Повторение этого ужасного явления в римской политике может быть объяснено только убеждением, что Гракх по своей природе был событием, которое нельзя изолировать: Гракх был первопроходцем во враждебной стране, а его противники сохранили всю присущую им слабость после первого неудачного проявления их притворной силы. Плохое правительство может надежно укрепиться. Сенат, будь он хорош или плох, не имел никакой защиты. В былые времена его слабость была его гордостью. Он правил, влияя на мнение. Теперь, когда он перестал влиять, он правил, иницируя беспорядки на улицах. У него не было никакой военной поддержки, кроме той, которую ему оказывали дружественные магистраты, а это было опасное оружие, которое он не решался использовать. Игнорировать

милитаризм означало оказаться во власти уличного демагога, а признать его, как выяснилось впоследствии, означало оказаться во власти демагога лагерного. В любом случае власть должна быть сохранена ценой гражданской войны. Но материальная беспомощность сената была лишь одним из факторов проблемы. Более фатальными недостатками были отсутствие проницательности, чтобы понять, что существуют новые проблемы, с которыми нужно столкнуться, и отсутствие мужества в их решении. Эта моральная беспомощность отчасти объяснялась эгоизмом отдельных людей, а отчасти - закостенелостью политических традиций. Несмотря на блеск и культуру некоторых своих членов, сенат в своем корпоративном качестве демонстрировал узость сердца и невосприимчивость ума. Его симпатии были ограничены одним классом; он медленно усваивал новые уроки и не видел их влияния на исследования будущего. Империализм за границей и социальное довольство дома могли быть сохранены старыми методами, которые так хорошо работали в прошлом. Но для сознания масс прошлое не существовало, а для сознания реформатора оно похоронило своих мертвецов. Карьера Тиберия Гракха была первым признаком великого пробуждения; и если мы считаем нелогичным, да и невозможным, останавливаться здесь и оценивать характер его реформ, то только потому, что более законченная работа его брата была завершением его усилий и следовала за ними так же неумолимо, как дневной свет следует за рассветом.

ГЛАВА III

Позиция сената после падения Гракха не была позицией бойца, вышедшего невредимым из мук великого кризиса. Менее опытный победитель стал бы подчеркивать размах движения и был бы виновен в попытке его внезапного разворота. Но правительство сделало вид, что никакой революции не было, а была лишь *эмейт*. Нечестивые авторы мятежа должны быть наказаны, но законодательство Гракхана может остаться нетронутым. Вероятно, в основе этой точки зрения лежали несколько мотивов. Во-первых, традиционная политика Рима рассматривала реакцию как эквивалент революции. Необдуманный шаг должен быть остановлен в самом начале; но, если он прошел небольшой путь и принес плоды в виде какой-то постоянной организации, было бы хорошо принять и, если возможно, ослабить этот продукт; было бы верхом безрассудства пытаться его уничтожить. Признание *свершившегося факта* позволило создать Римскую империю, и страшные последствия не наступили. Почему бы то же самое не сделать и с новым поворотом во внутренней политике? Во-вторых, противодействие сената реформам Гракха было обусловлено скорее политическими, чем экономическими причинами. Бешенство, охватившее отцов в последний период жизни трибуна, было вызвано его всеобъемлющим натиском на монополию провинциального, фискального и судебного управления. Его попытка присоединить их земли вызвала негодование отдельных людей, но не ненависть корпорации. Индивидуум всегда терялся в сенате, а обиды землевладельца можно было игнорировать до поры до времени и не исправлять, если политическое благоразумие подсказывало средний курс. Опять же, размышления могли натолкнуть на мысль, так ли уж велики и непоправимы эти обиды. Пастбищных богатств в Италии было много, но они были незначительны по сравнению с возможностями предпринимательства в провинциях. Не может ли приманка аграрного закона, шансы на успех которого были сомнительны и действие которого со временем могло быть затруднено хитроумными законодательными актами, ублажать народ и заставить его согласиться на сенатский контроль над внешним миром, которым так скандально угрожал Гракх? Опасность заключалась в самой постановке этого вопроса; еще большая опасность заключалась в его возобновлении. Партийный клич редко угасает, но для его успешного возрождения требуется ощущение какой-то осязаемой обиды. Устранить недовольство - значит заставить демагога замолчать; народу нужен был

комфорт, а не власть. И наконец, сенат не состоял целиком из эгоистичных или обиженных землевладельцев. Среди самых суровых приверженцев его традиций, вероятно, было немало тех, кто испытывал огромное облегчение от того, что проблемный земельный вопрос получил хоть какое-то приближение к решению. Всегда найдутся люди, скованные условностями и не желающие пошевелить ни рукой, ни ногой в поддержку мер по исправлению положения, которые, тем не менее, глубоко признательны агитатору, которого они поносят, и глубоко благодарны за то, что выходки, которые они считают гротескными, спасли их самих от ответственности, а их страну - от опасности.

Именно с такими смешанными чувствами сенат смотрел на *дебош* Гракхана. Однако принять ситуацию целиком было невозможно, ведь признать всю карьеру Гракха законной означало создать опасный прецедент на будущее. Большая армия уважаемых людей, оплот сенаторской власти, не была достаточно встревожена. Необходимо было подчеркнуть факт возмутительной смуты среди низших классов. С этой целью сенат распорядился, чтобы новые консулы Попилий и Рупилий заседали в качестве уголовной комиссии для расследования обстоятельств вспышки.[428] Комиссия имела право вынести любой приговор, и практически не вызывает сомнений, что она судила без апелляции. Консулы, как обычно, пользовались собственным усмотрением при выборе заседателей. Крайняя партия была представлена Насикой. Лаэлий, который также занимал место на судейской скамье, мог считаться умеренным;[429] хотя, поскольку на суде рассматривались народные волнения, а не аграрный вопрос, нет оснований полагать, что член кружка Сципионов был бы менее суров, чем любой из его коллег, в своих обличениях жалких приспешников движения Гракхов, которых он был обязан уличить в преступлении. На самом деле это была уличная когорта Тиберия, люди, чьи голоса, факелы и палки так долго оскорбляли чувства уважаемых граждан, что теперь, похоже, были наказаны за государственную измену; ведь среди жертв комиссии не нашлось ни одного прославленного имени. На одних был наложен запрет, другие были приговорены к смертной казни. Среди убитых был ритор Диофан, а некий Кай Виллий, в результате таинственной попытки толкования, которая не поддается нашему анализу, был обречен на отцеубийственную смерть от змеи и мешка.[430] Блоссий из Кумэ также был привлечен к суду, и его ответ комиссии был впоследствии оценен как выражающий глубочайшее злодейство и самую возвышенную преданность. Единственной его защитой была привязанность к Гракху, благодаря которой слово трибуна стало для него законом. "Но что, - спросил Лаэлий, - если бы он пожелал, чтобы ты обстрелял Капитолий?" "Это никогда не было бы волей Гракха, - ответил тот, - но если бы он так пожелал, я бы послушался".[431] Блоссий избежал непосредственной опасности, но его страхи вскоре заставили его покинуть Рим, и теперь, будучи изгнанником как из своего приемного, так и из родительского государства, он не мог найти никакой надежды, кроме как на судьбу Аристоники, который храбро сражался с римлянами в Азии. Когда власть этого князя рухнула, он покончил с собой[432].

Правительство, возможно, преуспело в своей непосредственной цели - показать себя эффективным полицейским. Чувство порядка, возможно, было удовлетворено, а дух буйства, если он и существовал, был на время подавлен. Но память о центральном акте ужасной трагедии на Капитолийском холме не могла быть так легко стерта, и главного актера повсюду встречали с опущенными бровями и недобрыми возгласами.[433] Именно суеверие, а также ненависть обострили народное чувство против Насики. По улицам Рима ходил человек, чьи руки были запятнаны кровью трибуна. Он осквернял город, в котором жил, и присутствие всех, кто встречался с ним. Удобная версия о том, что был подавлен обычный уличный бунт, могла бы быть принята, если бы не тот неловкий факт, что святость трибуната была поправа ногами его потенциальных мстителей. Над Насиком нависла угроза судебного

преследования, и в таком случае не могли ли аргументы, оправдавшие Октавия, стать гибелью для обвиняемого? Народная ненависть находит удобный фокус в одном человеке; легче ненавидеть отдельного человека, чем группу людей. Но именно по этой причине устранение личности может смягчить негодование, которое заслуживает группа. Насика смущал сенат, и он мог оказаться удобным козлом отпущения. Желательно было, чтобы его сразу наградили и удалили, и возможность для почетного изгнания была легко найдена. Надвигающаяся война с Аристиком потребовала отправки комиссии в Азию, и Насика был включен в число пяти членов этого посольства.[434] Обладание такой должностью было почетно, а пребывание на ней - выгодно; но аристократии в конечном итоге пришлось заплатить еще более высокую цену за то, что Насика оставался за пределами Италии. Когда главный понтифик освободился после падения Красса в 130 г. до н. э., беженец получил должность, которой так страстно добивались римские вельможи.[435] Он был вынужден довольствоваться этой тенью великолепного приза, поскольку ему было суждено никогда не исполнять высокие функции своего поста в городе. Похоже, он так и не покинул Азию и, беспокоя место жительства, умер близ города Пергамон[436].

Постоянство земельной комиссии было важнейшим результатом решимости сената отделить политические последствия движения Гракхов от экономических[437], но они скорее терпели, чем принимали его. Если бы они захотели сделать ее своей, то напрягли бы все нервы, чтобы обеспечить три места на ежегодных выборах для людей, представляющих истинный дух дворянства. Но были все основания позволить народным представителям продолжить народное дело. Комиссия была экспериментом, и правительство не хотело участвовать в возможном провале; в любой момент могла представиться возможность приостановить или нейтрализовать ее деятельность, и сенат не хотел сворачивать свою работу; независимо от того, успех или неудача сопутствовали ее деятельности, задача комиссаров должна была вызвать опасения и одиозность, особенно среди итальянских союзников; а дворяне были менее склонны возбуждать подобные настроения, чем обращать их на пользу. Поэтому народ из года в год позволял увековечивать клику Гракхов и заменять ее членов явными сторонниками программ реформ. Место Тиберия занял Красс, чья дочь Лициния была выдана замуж за Кая Гракха.[438] Два места вскоре освободились в результате падения Красса в Азии и смерти Аппия Клавдия. Их заняли Марк Фульвий Флакк и Гай Папирий Карбо.[439] Первый уже доказал свою симпатию к Гракху, а второй только что положил конец будоражащему трибунату, который произвел успешный закон о голосовании и неудачную попытку сделать трибуна вновь избранным. Поэтому состав комиссии был гарантией ее добросовестности. Ее энергия была на одном уровне с ее серьезностью. Задача по присоединению и распределению домениальных земель была выполнена с усердием, и другие должностные лица, на которых лежала чисто рутинная функция по обеспечению соблюдения новых границ оккупации, похоже, были столь же добросовестны в своей работе. Даже консул Попиллий, один из председателей комиссии, судившей гракханских бунтовщиков, оставил о своей деятельности запись, в которой говорится, что он "первым изгнал пастухов из их владений и поставил вместо них земледельцев".[440] Межевые камни, установленные уполномоченными, до сих пор сохранились, чтобы отметить тщательность, с которой они определяли границы занятых земель и новых наделов; а значительное увеличение числа переписчиков между 131 и 125 годами до н. э. находит свое лучшее объяснение в постоянном увеличении числа мелких землевладельцев, вызванном аграрным законом. В первом году в реестре значилось менее 319 000 граждан, а во втором их число возросло до 394 000.[441] Если бы это увеличение почти на 76 000 человек относилось ко всему населению, то его трудно было бы связать с работой комиссии, разве что на основании гипотезы, что многочисленные бродяги, которые, как правило, не появлялись при переписи, теперь явились для оценки; Но если вспомнить, что опубликованные переписные

листы Рима содержали лишь данные о численности действующей армии, а она состояла только из *assidui*, становится ясно, что мера, которая возвысила значительную часть *capite censi* до положения йоменов-земледельцев, должна была привести к увеличению числа зарегистрированных; и этот внезапный скачок в переписных листах может быть объяснен успешной работой новой аграрной схемы.[442] Подобный результат не мог быть преходящим; прослеживая аграрное законодательство постгракханского периода, мы действительно обнаружим эксперименты, доказывающие, что окончательное решение земельного вопроса не было достигнуто; мы увидим возобновление процесса поглощения земли, который снова привел к образованию гигантских поместий; Но эти тенденции, возможно, означают лишь неизбежное отсеивание слабых колонистов Гракхана; они не доказывают, что более крепкие люди не смогли оправдать задуманное, обработать свои новые владения с прибылью и передать их потомкам. Правда, безземельный пролетариат города продолжал неуклонно расти; но причины, приводящие к изобилию в имперской столице, слишком многочисленны, чтобы мы могли объяснить этот рост единственной гипотезой о возобновлении депопуляции сельских районов.

Однако распределение участков представляло собой лишь простейший элемент схемы. По-настоящему сложной задачей было определить в каждом конкретном случае, какая земля может быть справедливо распределена. Судебные полномочия триумвиров были предельно напряжены, чтобы определить, какая земля является государственной, а какая - частной. Владельцы порой не давали точных сведений о своем владении землей, а те, что были сделаны, вероятно, во многих случаях вызвали недоверие. Информацию запрашивали у третьих лиц, и сразу же земельные суды становились аренной тяжелых тяжб.[443] Иногда можно было смутно установить, что, в то время как часть какого-то большого владения находилась в оккупации у государства, другая часть была приобретена путем покупки; но какая именно часть владения находилась в том или ином владении, выяснить было невозможно, поскольку титулы были утрачены или, будучи сохранены, не служили убедительным доказательством справедливости первоначальной передачи. Даже установление того факта, что участок земли когда-то принадлежал государству, не являлось убедительным доказательством того, что государство все еще может претендовать на право собственности; ведь в ранние времена часть земли была выделена в надел, и не сохранилось исторических записей, подтверждающих, где заканчивалось выделение и начиналось разрешение на владение. Владельцы частных поместий для удобства обрабатывали общественные земли, непосредственно примыкающие к их собственным участкам, первоначальные ориентиры были сметены, и, хотя они заплатили свои взносы за владение столькими акрами, невозможно точно сказать, что это были за акры. Нынешнее состояние земли не было показателем; ведь некоторые владельцы подняли свою часть общественного достояния до такого же высокого уровня возделывания, как и их первоначальные владения; и, поскольку комиссары, естественно, стремились обеспечить пахотные земли в хорошем состоянии для новых поселенцев, первоначальные владельцы иногда оказывались в распоряжении болот, топей или бесплодных земель,[444] которые оставались единственными реликвиями их великолепных владений. Судебные решения разрушали родовые узы, уничтожали усадьбы и заставляли домашних богов переселяться в далекие жилища. Таковы неизбежные результаты попыток докопаться до древних титулов и расследовать претензии, основания которых лежат даже в нескольких десятилетиях от эпохи инквизиции.

Но, хотя эти последствия и были печальными, они вряд ли могли привести к политическим осложнениям, пока жалобы касались только членов гражданского органа. Корыстные интересы, которые были проигнорированы при принятии меры, могут быть отброшены при ее

исполнении. Если бы территория Италии принадлежала Риму, было бы много недовольства, но не было бы сопротивления; ведь для эффективного сопротивления требовалась тень законного права. Но за пределами гражданства находились группы государств, в той или иной степени заинтересованных в проведении аграрной меры, и их недовольство, законное или нет, поднимало неудобные вопросы публичного права. Муниципалитеты, состоявшие из римских граждан или полубургов, как мы видели, были встревожены введением этой меры, возможно, из-за непонимания ее значения и подозрения, что земля, переданная им в узифрукт, должна быть возвращена. Возможно, работа комиссии оправдала эти опасения, ведь границы земли, которой владели корпорации, с годами, вероятно, стали очень плохо определены. Но, хотя корпоративный интерес был сильнее индивидуального и опирался на некую общественную гарантию, жалобы этих волостей, состоявших из бюргерств, были лишь частью гражданского вопроса и, должно быть, ничтожны по сравнению с протестами городов-федератов Италии и Латинской Америки. Мы не можем определить, какие основания были у итальянских социумов для страха или протеста. Нет уверенности в том, что земля была передана им в узифрукт,[445] а те части завоеванных ими территорий, которые были возвращены им Римским государством, являлись их собственностью. Но независимо от того, находились ли территории, которым, по их мнению, угрожала опасность, в собственности или владении этих общин, такая собственность или владение были гарантированы им клятвенным договором, и невозможно представить себе, чтобы законодательство Гракхов, сильной и слабой стороной которого была его строгая законность, открыто нарушало права федератов. Однако если учесть, каким образом государственные земли Рима входили и выходили за пределы территорий этих союзных общин, то неудивительно, что возникли сомнения относительно линии разграничения между государственными территориями и римским доменом. Повсюду могут возникнуть наиболее острые вопросы о границах, и правительство итальянской общины, вероятно, столкнется с не меньшими трудностями, чем частный владелец, при предоставлении документальных доказательств права собственности. Опасения латинских общин гораздо более понятны, и, вероятно, именно в этих центрах в основном и зародилось итальянское восстание против действий комиссии. Интересы латинян в этом вопросе почти полностью совпадали с интересами римлян, и эта идентичность взглядов проистекала из сходства статуса. Территории латинских колоний были выделены римскими комиссарами, и вполне вероятно, хотя это и не может быть доказано, что возникли сомнения относительно законного размера этих наделов по отношению к соседним государственным землям. Многие из этих территорий могли таинственным образом вырасти за счет Рима в отдаленных от столицы районах: особенно в Галлии можно было заподозрить посягательства на римские владения со стороны муниципалитетов или отдельных лиц из недавно основанных латинских колоний. Но у латинской общины был и другой интерес в этом вопросе, который еще больше напоминал тот, что проявляли римские бюргеры. Как отдельный латинянин мог пользоваться благосклонностью комиссаров, так и он мог стать жертвой их юридических претензий. Тот факт, что он разделял с Римом право торговли и мог приобретать и отсуживать землю по римским формам, делает практически несомненным, что он мог быть владельцем римского домена. Правительство в ранние времена так стремилось к тому, чтобы пустующие земли были восстановлены и защищены, что вряд ли могло не приветствовать предприимчивых латинов, которые пересекали его границы, бросали свои силы на возделывание общественных земель и платили необходимые взносы. Многие из наиболее состоятельных членов латинских общин могли, таким образом, подвергнуться участи изгнанных из Рима собственников; но даже те из них, чьи владения не превышали установленного предела в пятьсот *югеров*, могли считать, что их претензии получают или уже получили слишком мало внимания со стороны римской комиссии, в то время как трудности, возникающие в

результате слияния общественных и частных земель в одних и тех же владениях, могли быть столь же велики в этих общинах, как и на территории Рима. Подобные претензии не представляли собой ничего особенного; они были общими для Италии, и можно было подумать, что протест латинян был бы слабее, чем протест римлян. Но между ними было одно существенное различие. Римлянин мог апеллировать только как частное лицо, а латинянин - как член федеративного государства. Он не задумывался о том, что его недовольство вызвано тем, что он наполовину римлянин и пользуется римскими правами. Истина о том, что сюзерен не может относиться к своим подданным так же плохо, как к своим гражданам, может быть моральным, но не юридическим парадоксом. Подданные имеют коллективный голос, граждане перестали его иметь, когда их собственное правительство обратилось против них. Позиция латинян, как бы нелогична она ни была, укреплялась тем, что Рим довел до крайности свой принцип невмешательства в дела союзников-федератов. Римская комиция не принимала законов для таких государств, ни один римский магистрат не имел юрисдикции в их внутренних делах. По ложной аналогии можно было легко утверждать, что ни одной римской комиции не следует позволять нарушать мирные сельскохозяйственные отношения и производить социальную революцию в их пределах. Теперь союзники искали защитника своего дела, поскольку конституция не предусматривала механизма для прямого выражения недовольства итальянцев. Жалобы отдельных городов и раньше доставлялись в сенат и озвучивались римскими покровителями этих городов. Теперь, когда потребовался защитник конфедерации, нужно было создать общего покровителя. Его сразу же нашли в лице Сципиона Аэмилиана[446].

Выбор был неизбежен и продиктован тремя весомыми соображениями. Это были достоинства этого человека, недавно вознесенные на высочайшую высоту взятием Нуманции; известная отстраненность от недавней политики Гракхов и резко выраженная неприязнь к средствам, с помощью которых она проводилась; еще одно убеждение, основанное на его недавних высказываниях, что он не питает особой симпатии к римскому пролетариату. Весть о падении Гракха была принесена Сципиону в лагере перед Нумантией; его эпитафией убитому трибуну была та, которую суровая эллинская богиня справедливости и правды произносит над убитым Эгистом: "Так погибни же, кто подобен тебе!

Так погибнут все, кто повторит подобное"[447].

Затея Сципиона Гракха должна была показаться ему актом дерзкого безрассудства, а его действия - чем-то худшим, чем безумие. По всей вероятности, его праведный ужас вызывало не аграрное движение, а грубое нарушение конституции, которое, как ему казалось, было связано с замыслом и его последствиями. Из всех политических темпераментов Умеренный наименее снисходителен, просто потому, что он наиболее робок. Он видит пропасть, которая зияет у его собственных ног, ему не хватает смелости сделать прыжок, и он выставляет свою заторможенную позицию, которой он втайне стыдится, как правильное поведение для всех здравомыслящих и патриотичных людей. Консерватор может оценить усилия радикала, ибо каждого из них облагораживает стремление к невозможному; но человек половинчатых мер и неопределенных целей, осуждая обоих, сочтет реакцию на бурные перемены более сильным чувством, чем отвращение к продажной неподвижности. Вероятно, Сципион никогда не испытывал такого уважения к римской конституции, как в те напряженные дни в лагере, когда происшествия блокады сменялись сообщениями, описывающими дикие действия его шурина в Риме. Однако Сципион должен был понимать, что нереформированное правительство не сможет дать ему ничего, что соответствовало бы его полустертым идеалам счастливого крестьянства, дисциплинированной и эффективной армии, некоррупцированной администрации, которая честно и мягко обращалась бы с

провинциалами. Его собственная позиция сама по себе была сильным осуждением власти в Риме. Они полагались в вопросах военной эффективности на одного человека. Почему бы им не положиться в вопросах политической эффективности на другого? Но последний вопрос не привлекал Сципиона. Идти по проторенной дорожке - не тот путь, которым создается армия; но для политики он был достаточно хорош.

Сципион не пренебрегал почестями триумфа, и за победой при Нумантии последовали обычные представления на улицах.[448] Он был бесспорно главным человеком Рима, и сенат и общины прислушивались к его устам, чтобы уловить какое-то определенное выражение его отношения к недавним событиям или к тем, которые будоражили умы людей в настоящем. Ждать пришлось недолго, так как вскоре была представлена проверка. Когда в 131 году Карбо представил свой законопроект, разрешающий переизбрание в трибуны, в распоряжении сената оказались все ресурсы достойного ораторского искусства Сципиона, а коалиция его поклонников с избирателями, которыми мог распоряжаться сенат, оказалась фатальной для шансов законопроекта.[449] Такая позиция не должна была ослабить его популярность; ведь в интересах народного правительства можно было привести прекрасные доводы против того, чтобы позволить любой магистратуре стать непрерывной, но его политические враги были начеку, и в одном из дебатов по этой мере позаботились о том, чтобы задать вопрос, ответ на который должен был либо идентифицировать, либо скомпрометировать его с новым радикализмом. Карбо спросил его, что он думает о смерти Тиберия Гракха. Ответ Сципиона был осторожным, но точным: "Если у Гракха было намерение захватить управление государством, то он был справедливо убит". Это было всего лишь подтверждение старой конституционной теории, согласно которой тот, кто покушается на монархию, сам по себе является преступником. Но ответ, как бы гипотетически он ни был сформулирован, подразумевал подозрение в отношении целей Гракха. Это не понравилось толпе; раздался рев несогласных. Тогда Сципион вышел из себя. Презрение солдата к гражданскому, римлянина к иностранцу, чистокровного человека к человеку смешанной крови - презрение, доведенное до страсти мыслью о том, что такие люди, как он, часто оказываются во власти этих несчастных, - прорвалось сквозь все сдерживание. "Меня никогда не пугали крики врагов, - кричал он, - неужели же меня будут пугать ваши крики, вы, пасынки Италии?" Это размышление о родословной его аудитории, естественно, вызвало другой протест. На него последовал резкий ответ: "Я привел вас в цепях в Рим; теперь вы свободны, но от этого не более ужасны!" [450] Это было унижительное зрелище. Самый уважаемый человек в Риме использовал вульгарные уличные оскорбления по отношению к суверенному народу; и тот, кто использовал этот язык, был настолько ослеплен предрассудками, что не видел, что кровь, которую он поносил, давала обещание новой расы, что толпа, стоявшая перед ним, не была толпой итальянских крестьян, добровольных жертв мартинета, что азиаты и греки, с их грязной одеждой и сомнительными занятиями, обладали большим умом, чем римские члены кружка Сципионов, и могли в один прекрасный день стать правителями Рима. Новая раса обладала безграничными возможностями. Она нуждалась в руководстве, а не в злоупотреблениях. Карбо и его друзья, должно быть, были в восторге от результатов своего эксперимента. Сципион заплатил первый взнос в сокровищницу ненависти, которая вскоре должна была стать его гибелью и оставить в прошлом его прееменность.

Таково было положение Сципиона, когда к нему обратились итальянцы. Его интерес к их судьбе был двояким. Во-первых, он смотрел на них глазами солдата.[451] Они все больше и больше стремились стать цветком римской армии за границей: и хотя, повинувшись гражданским чувствам, он применил к спинам вспомогательных войск более тяжелый бич, чем к спинам римских войск перед Нумантией,[452] это наказание, которому он,

несомненно, хотел бы подвергнуть всех, было лишь выражением его заинтересованности в их благополучии. Далее он восхищался типом ради него самого. Крепкий крестьянский класс был представлен здесь в значительной степени, и он, вероятно, больше верил в его постоянство среди городов-федератов, чем среди нуждающихся бюргеров, которых комиссары пытались вернуть к сельскому хозяйству. Он не мог предвидеть, к каким страшным последствиям приведет выступление итальянских союзников против интересов городского пролетариата; что такой дуализм интересов приведет к усилению требований со стороны одних, к вялому сопротивлению со стороны других; что в этой простой попытке остановить предполагаемые беззакония слишком ретивой комиссии заложены зародыши движения за франшизу и социальной войны. Его защита была вопросом справедливости и интереса. Союзники заслужили все, и их нельзя было обкрадывать; они были истинными защитниками Рима, и их верность не должна была быть поколеблена. Поэтому Сципион передал их протест в сенат. Он уважал восприимчивость народа и не высказал ни одного прямого слова отрицательной критики в адрес меры Гракхов; но он остановился на трудностях, связанных с ее исполнением, и высказал предположение, что комитам пришлось решать спорные вопросы, связанные с землями, которые они присоединили, и что они были обременены неблагоприятной задачей. По характеру дела их решения легко могут показаться тяжущимся сторонам предвзятыми. Было бы лучше, предложил он, если бы функции юрисдикции были отделены от функций распределения, а первые были бы переданы какому-нибудь другому органу власти.[453] Сенат принял это предложение, и его разумность, должно быть, понравилась даже народу, поскольку мера, воплощающая его, должна была пройти через комиции, которые одни могли отменить закон Гракхов.[454] Возможно, некоторые недавние решения комитов вызвали чувство беспокойства среди большого числа граждан, и, возможно, возникло ощущение, что для всех сторон будет выгодно, если причина скандала будет устранена. Возможно, никто, кроме окружения государственных деятелей, не мог предугадать последствия этих перемен. Решение аграрных споров теперь поручалось консулам, которые были обычными проводниками административной юрисдикции. История прошлого неоднократно доказывала полную бесполезность поручения управления чрезвычайным и обременительным ведомством обычным магистратам. Они были слишком заняты, чтобы заниматься этим, даже если бы у них было желание. Но в данном случае не хватало даже желания. Из двух консулов Маний Аквиллий был отправлен на войну в Азию, а его коллега Кай Семпроний Тудитан не успел приложить руку к новой работе, как увидел, что трудности с вынесением решений были созданы отнюдь не комиссарами. Он с готовностью откликнулся на призыв удобной иллирийской войны и покинул судейское кресло ради менее утомительных забот в лагере.[455] Функции уполномоченных были парализованы; похоже, что теперь они достигли предела, когда каждая частица земли для распределения была предметом спора, и, поскольку не существовало власти, которая могла бы разрешить спорные претензии, работа по распределению была внезапно прекращена. Массы жаждущих претендентов, которые все еще оставались неудовлетворенными, почувствовали, что их предали; это чувство распространилось среди городского населения, и имя Сципиона стало словом, которое теперь вызывало подозрение и даже презрение.[456] Не только чувство предательства вызывало эти враждебные настроения; народ обвинял его в неблагодарности. Людские массы, как и отдельные люди, любят *протеже* больше, чем благодетеля. Они испытывают гордость, глядя на колоссальную фигуру, которую они помогли создать. А разве не они в каком-то смысле создали Сципиона? Их любовь подогревалась чувством опасности; они отважились на гнев знати, чтобы передать власть в его руки; они дважды возводили его в консулы в нарушение конституции. И какова же теперь их награда? Он сознательно решил выступить на стороне союзников и против интересов римского электората. У врагов

Сципиона был хороший материал для работы. Случайный уличный ропот был усовершенствован и сформулирован в открыто выраженной уверенности в том, что его истинным намерением является отмена закона Семпрония, и в более надуманные подозрения, что он собирается обрушить на римскую толпу военную силу с сопутствующими ужасами уличной резни или едва ли менее кровавого преследования[457].

Нападки на Сципиона не ограничивались неформальным языком частных бесед. Враждебно настроенные магистраты представляли его врагов в Ростре, а такие люди, как Фульвий Флакк, горько осуждали его.[458] В день, когда было совершено одно из таких нападений, Сципион отстаивал свою позицию перед народом; его уязвило обвинение в неблагодарности, и он ответил на него своим обвинителем; он жаловался, что ему плохо платят за его многочисленные заслуги перед государством. Вечером Сципиона провожали из сената в его дом толпы сочувствующих. Кроме сенаторов и других римлян, в эскorte были представители его новых клиентов, латинян и италийских союзников.[459] Его мысли были заняты речью, которую он собирался произнести перед народом на следующий день. Он рано удалился в свои спальные покои и положил рядом с кроватью свою скрижаль для письма, чтобы зафиксировать внезапные вдохновения в часы бодрствования. Когда наступило утро, его нашли лежащим на своем диване, но с исчезнувшими следами жизни. Семейное расследование в отношении рабов было проведено как само собой разумеющееся. Их показания так и не были опубликованы, но считалось, что под пытками они признались в том, что видели, как ночью некие люди незаметно пробрались в заднюю часть дома и, по их мнению, задушили своего хозяина.[460] Причиной их молчания был страх перед народом; они знали, что смерть Сципиона не утихомирила народную ярость, что новость была встречена с радостью, и не хотели своими недобрыми откровениями стать жертвой народной ненависти. Опасения рабов впоследствии нашли отражение в умах тех, кто хотел бы продвинуть расследование дальше. Основания для подозрений были, ведь Сципион, хотя некоторые и считали его больным,[461] не проявлял никаких признаков недавней болезни. Говорят, что при осмотре тела был обнаружен синюшный след возле горла. 462 Расследование, которое следовало за внезапной смертью в стенах римского дома, если оно выявляло подозрение в нечестной игре, обычно было предварительным для публичного расследования. Долг мести был священен; он взывал к семье даже больше, чем к общественной совести. Но некому было поднять крик о возмездии. У него не было сыновей, и его семью представляла только лишенная любви жена Семпрония. Его многочисленные друзья, должно быть, заговорили о том, чтобы предать дело огласке, и, возможно, сразу же начали давать волю тем мрачным подозрениям, которые до глубокой старости омрачали имена многих современников покойного. Но против этого проекта, как говорят, сразу же выступили представители народной партии;[463] преступление, если оно было, не было вульгарным убийством; подозрение в применении насилия было оскорблением для людей, которые честно боролись с ним на политическом поле; *quaestio*, учрежденное сенатом, могло быть простым предлогом для судебного убийства; это могло быть уловкой, с помощью которой вельможи пытались спровоцировать смерть нового любимца народа и восходящей надежды Кая Гракха. В конце концов те, кто верил в убийство и жаждал отомстить за него, были вынуждены признать, что разумнее избежать позорных политических разборок из-за тела своего погибшего героя. Но для того, чтобы отступление было прикрыто, необходимо, чтобы те, кто имел на это право, публично объявили, что Сципион умер естественной смертью. Именно такой линии придерживался Лаэлий, когда писал похоронную речь, которую Квинт Фабий Максим произнес над телом своего дяди;[464] "Мы не можем в достаточной мере оплакать эту смерть от болезни" - слова, специально произнесенные для того, чтобы отразить официальную версию кончины. Страх перед политическими волнениями, скрывавший подробности трагедии, также диктовал, что человек, которого и

друзья, и враги считали величайшим представителем своего века, не должен иметь публичных похорон[465].

Правительство вполне могло опасаться скандальной сцены - Форума с его улицами и портиками, заполненными рычащей праздничной толпой, славословий ораторов, прерывающихся криками и воем, вольной драки, которая, вероятно, последовала бы за исполнением обряда погребения.

Но подавление означает слухи. Тайна была глубоко любима этой и последующими эпохами. Со смертью Сципиона связывали все имена, которые только могли предложить политические или бытовые обстоятельства. Кай Гракх,[466] Фульвий Флакк,[467] Кай Папирий Карбо[468] - все они упоминались вскользь. Подозрение дольше всего держалось на Карбо, вероятно, как на человеке, который недавно вступил в самый прямой конфликт со своей предполагаемой жертвой; даже последующее обращение Карбо к консерватизму не смогло очистить его имя, и его вина, похоже, стала почти предметом веры среди оптиматов цицероновского периода. Но были и другие версии, намекающие на бытовое преступление. Разве Корнелия не была заинтересована в устранении человека, который разрушал работу ее сына, и разве у нее не было добровольной сообщницы в лице жены Сципиона Семпронии?[469] Считалось, что этот брак по расчету никогда не был санкционирован любовью; Семпрония была простой и бездетной, и отсутствие привязанности мужа могло заставить ее думать только о своих обязанностях дочери и сестры. [Люди, слишком здравомыслящие для подобных экстравагантностей, но все же не желающие принять прозаическое решение о естественной смерти и отказаться от приятного занятия догадками, предположили, что Сципион нашел смерть от собственной руки. В качестве мотива приводилось чувство неспособности выполнить данные им обещания.[471] Эти обещания могли рассматриваться как определенные предложения по улучшению положения латинских и италийских союзников.

Но не нужно было строить догадок и подозрений, чтобы подчеркнуть трагичность смерти Сципиона. Ему было всего пятьдесят шесть лет; он был величайшим полководцем, которым мог командовать Рим, чемпионом, способным вступить в бой, когда казалось, что все потеряно, создать армию из сброда и добиться победы из поражения; он был великой моральной силой, бичом новых пороков, врагом провинциального угнетателя; Он был величайшим интеллектуальным влиянием в аристократическом Риме, украшая строгую суровость древнего римлянина гуманизмом грека; Ксенофонт был автором, наиболее сильно отвечавшим его простым и мужественным вкусам, а чистота его души и ясность интеллекта нашли достойное выражение в целомудрии и элегантности его латинского стиля. Современному историку не нужно напрягать фантазию, чтобы обнаружить в Сципионе великие качества; ум каждого непредвзятого современника, должно быть, вторит мысли Лаэлия, когда он пишет в своей погребальной речи: "Мы не можем достаточно благодарить богов, что они дали Риму в предпочтение другим государствам человека с таким сердцем и умом".[472] Но среди мыслящих людей, которые хоть немного уважали империю и конституцию, преобладало чувство паники из-за потери. Квинт Метелл Македонский был его политическим противником; но когда ему принесли весть о смерти, он был как в бреду. "Граждане, - причитал он, - стены нашего города лежат в руинах". [473] И то, что в политической и военной обороне Рима была проделана огромная брешь, снова стало причиной жалобы Лаэлия: "Он погиб в то время, когда могущественный человек нужен вам и всем, кто желает безопасности этому сообществу". Эти слова были не просто оплакиванием великого воина, а скорбью по человеку, который мог бы удержать равновесие между классами и спасти ситуацию, которая становилась невыносимой. Мы не можем сказать,

было ли в голове Сципиона какое-то определенное средство спасения от надвигающейся бури, или, если он разработал план, был ли он мастером средств, чтобы обеспечить ему хотя бы временный успех. Возможно, он слишком мало занимался политикой, чтобы приобрести ловкость, необходимую для примирителя. Возможно, его гордость и вера в то, что аристократия - это единое целое, помешали бы ему. Но он был человеком умеренных взглядов, возглавлявшим среднюю партию, и привлекал к себе пристальное внимание людей, веривших, что спасение не придет ни от одной из крайностей. Когда-то он был любимцем толпы и мог стать им снова, он пользовался отдаленным уважением знати, и на его стороне была вся Италия. Мог ли найтись человек, чье положение лучше подходило бы для примирения войны противоречивых интересов? Возможно, и нет; но к моменту его смерти первые шаги, которые он предпринял, лишь расширили горизонт войны. Он обнаружил борьбу между коммунами и дворянами; он подчеркнул, хотя и не создал, новую борьбу между коммунами и Италией. Его следующий шаг должен был стать решающим, но ему не суждено было его сделать.

Когда мы переходим от истории аграрного движения и его неожиданных последствий к другим моментам внутренней судьбы Рима в этот период, мы обнаруживаем, что Тиберий Гракх оставил государству еще одно наследство. Это была идея магистратуры, которая, освободившись от необходимости советоваться с сенатом, должна была заняться политической реформой, по собственной инициативе устранить препятствия, которые конституция ставила на пути ее развития, и осуществить возрождение Рима и даже Италии с помощью указов, принятых народом. Социальный вопрос был здесь, как и в других местах, действенной причиной; но он оставил результаты, которые казались странно несоразмерными их источнику. Карьера Гракха показала, что руководство народом было обременено двумя слабостями. Это комплектование собраний зависимыми от богатей людьми, чьи голоса были известны, а значит, подконтрольны, и невозможность переизбрания на должность, что делало невозможной преемственность политики демагога. Трибун Карбо должен был устранить оба этих препятствия для народной власти. Первым его предложением было введение голосования по бюллетеням в законодательных собраниях;[474] этому предложению было нелегко противостоять, поскольку принцип голосования уже был признан на выборах и во всех судебных процессах, за исключением процессов по обвинению в государственной измене. Эти меры, по-видимому, были поддержаны партией умеренных реформ, а Сципион и его друзья, вероятно, не оказали никакого сопротивления новому применению этого принципа. Без их поддержки и без аргументов, которые могли бы возбудить страх или ревность народа, аристократия была бессильна, и законопроект, таким образом, легко стал законом. Внесенные таким образом изменения были, несомненно, велики. До сих пор сельские избиратели были самыми независимыми; теперь же члены городского пролетариата были столь же свободны, и с этого момента голос города мог найти выражение, не подверженное влиянию улыбок или хмурых взглядов богатых покровителей. Избирательный бюллетень давал желаемый эффект в большей степени в законодательстве, чем на выборах; его внедрение в последнюю сферу привело к тому, что дворяне стали покупателями, а не директорами; но редко какой закон затрагивал индивидуальные интересы настолько непосредственно, чтобы сделать желательной сделку за голоса. Главный подкуп в законодательных собраниях заключался в предложении, которое вносил демагог.

Второе предложение Карбо - разрешить немедленное и бессрочное переизбрание в трибуны - не было рекомендовано по тем же соображениям прецедента или разума. Против него

выступали аналогии римской конституции, а правила против бессрочного пребывания в должности, ограничивавшие патрицианские магистратуры и делавшие незаконным даже однократное переизбрание в консулы,[475] хотя и были сформулированы в поддержку аристократического правления, в качестве предложения имели безопасность Республики, а значит, якобы народной свободы и контроля. Опять же, народу можно было напомнить, что трибунат не всегда является властью, дружественной его интересам, и что вето, блокирующее выражение его воли, может быть сохранено на второй год благодаря упрямому упорству меньшинства избирателей. Против этого предложения могли быть выдвинуты и, вероятно, были выдвинуты прекрасные аргументы популярного толка. Безусловно, настроения, которые действительно одушевляли оппозицию, не могли найти поддержки у масс, которые в итоге проголосовали за отклонение законопроекта. Все приверженцы сенатского правления должны были видеть в успехе этой меры угрозу постоянной оппозиции, возможность прихода к власти официальных демагогов греческого типа, монархов в действительности, но не по имени, близость движения Гракхов, не сдерживаемого слабостью, которая привела к падению Гракхов. Электорату легче поддерживать принцип путем сохранения личности, чем демонстрировать свою горячую приверженность вероучению, подвергая новых и непроверенных выразителей жесткому исповеданию веры. Сенат знал, что причины меняются вместе с людьми, которые их сформулировали, и всегда больше боялся личностей, чем масс. Взгляд Сципиона на движение Гракхов и его принятие кардинальных максим существующего государственного устройства подготавливают нас к позиции, которую он занял по этому случаю. Считается, что его выступление против этой меры стало решающим для перелома чаши весов. Его поддержали его приспешники, а верный Лаэлий также озвучил протесты умеренных против нежелательного нововведения. Эта победа, если бы она была решающей, сделала бы невозможной карьеру Кая Гракха - карьеру, которая, хотя и полностью оправдывала позицию оппозиции, более чем отвечала замыслам сторонников перемен. Но триумф оказался мимолетным. В течение следующих восьми лет переизбрание в трибуны стало возможным при определенных обстоятельствах. Успешное предложение, как говорят, приняло форму разрешения выбирать любого, если число кандидатов не достигало десяти мест, которые должны были быть заполнены.[476] Это соглашение, вероятно, было представлено как следствие древнего религиозного предписания, запрещавшего уходящим трибунам оставлять плебс без опекунов; и такое представление дела, вероятно, ослабило аргументы оппозиции. Аристократическая партия вряд ли могла неправильно понять значение этого изменения. Предполагалось, что партия, добивавшаяся переизбрания трибуна, должна была, сняв в последний момент некоторых своих кандидатов,[477] дать им право на повторное получение магистратуры.

Партия реформ поступила правильно, попытавшись обеспечить адекватный механизм для реализации демократической программы, прежде чем воплощать свои желания в жизнь. То, что они были менее удачливы в предложениях, которые они сформулировали, объясняется тем, что эти предложения были, по крайней мере, в равной степени результатом необходимости, чем сознательного выбора. Аграрный вопрос все еще творил свою злую волю. Он, как инкуб, висел на шее демократов и заставлял их идти самыми недемократическими путями. Наследие, оставленное Сципионом, стало обременительным наследством его врагов. Притязания италиков стали тупиком, остановившим нынешнее распределение и будущее приобретение земли. В умах многих возник вопрос, нельзя ли заключить сделку с союзниками, и таким образом началось то злонамеренное сотрудничество между партией в Риме и защищенными городами Италии, которое породило надежды, не оправдавшиеся, привело к открытому восстанию в результате разочарования, вызванного неудачей, и могло быть легко истолковано как завуалированный предательский

замысел против Римского государства, Франциск должен был быть предложен итальяским городам при условии отказа от своих прав на государственные земли.[478] Детали сделки, вероятно, были неизвестны даже современникам, поскольку переговоры требовали секретности; но ясно, что договоренности должны были быть одновременно общими и сложными; ведь, скорее всего, не существовало организации, которая могла бы связать каждую итальянскую волость соглашением, и ни один город не мог взять на себя обязательство ущемить все разнообразные права своих отдельных граждан. Когда итальянцы с готовностью приняли это предложение, их ведущие деятели должны были получить обещание, что местные правительства не будут выдвигать свои претензии на спорные земли в качестве международного вопроса; ведь именно в этом аспекте спор представлял собой серьезнейшую трудность. Общинников этих государств можно было успокоить, заверив, что, став римскими гражданами, они сами получают право на долю в ассигнациях. Эти переговоры, длившиеся, возможно, два или три года, закончились тем, что толпы италиков прибыли в Рим. У них не было голосов, но моральное влияние их присутствия было очень велико. Они могли аплодировать или шипеть ораторам на неофициальных собраниях Контио; не исключено, что в крайнем случае они могли оказать физическую помощь той части демократов, которая выступала за их дело. Возможно, за некоторых из этих иммигрантов можно было даже получить голоса. Латинянин, проживавший в Риме, всегда имел ограниченное право голоса в Комиции, а для временного жителя можно было легко придумать притворное место жительства. Не было уверенности и в том, что совершенно неквалифицированный иностранец не подаст голос тайком; ведь президент собрания был человеком, заинтересованным в принятии законопроекта, и его подчиненные могли получить указание не подвергать квалификацию избирателей слишком строгой проверке. Именно в этих обстоятельствах сенат прибег к редкому, но не беспрецедентному приему - принятию чужого акта. Следуя своим инструкциям, трибун Марк Юний Пенн внес предложение о том, что иностранцы должны быть исключены из города.[479] Мы ничего не знаем о формулировке этого закона. Возможно, в нем не было конкретного упоминания об италийцах, а его действие, предположительно, ограничивалось чужеземцами, не проживавшими в городе до определенной даты. Но, как и все подобные положения, он должен был содержать дополнительные ограничения, поскольку невозможно представить себе, чтобы иностранного торговца, занимающегося законным бизнесом, просто выдворили из города. Но как бы ни была ограничена сфера его действия, его цель была ясна: и тот факт, что он прошел через Комицию, показывает, что движение за франшизу отнюдь не было полностью народным. Толпу не так легко обратить в свою веру, как отдельного человека. Недавние события должны были вызвать у большого числа городского пролетариата ненависть к самому имени италиков, а идея разделить привилегии империи с иностранцем уже должна была быть неприятна для среднего римского ума. Напрасно Кай Гракх, для которого предложение брата уже становилось заповедью, пытался подчеркнуть политическое разорение, которое дух исключительности принес городам прошлого[480]. Впрочем, не исключено, что личность оратора могла бы оказаться полезной, если бы его умело поддержали и если бы народ увидел, что все его лидеры объединились в решении актуального вопроса. Но есть основания полагать, что среди этих лидеров существовали серьезные разногласия по поводу мудрости этого шага. Возможно, кто-то считал, что партия реформ просто дрейфовала в этом направлении, что предложение о лишении гражданских прав никогда не рассматривалось по существу и что у них не было мандата от народа на покупку земли по такой дорогой цене. Возможно, именно в это время Карбо впервые продемонстрировал свое недовольство партией, признанным лидером которой он почти стал. Если он отказался сопровождать своих коллег на этом новом и неиспытанном пути, то первый шаг в его обращении к партии оптиматов не обнаруживает никакого несоответствия

с его прежней позицией; ведь он мог справедливо утверждать, что предложение о предоставлении Италии гражданских прав не было народной мерой ни по духу, ни по сути.

Поэтому Фульвий Флакк, который был консулом в следующем году, попытался решить этот вопрос, предложив союзникам гражданство с более чем сомнительными шансами на успех. Детали его схемы предоставления гражданства сохранились очень плохо. [Нам неизвестно, предлагал ли он, как и Кай Гракх тремя годами позже, наделить латинов более высокими привилегиями, чем других союзников: и хотя он учитывал непринятие римского гражданства некоторыми союзными общинами, поскольку предлагал этим городам право обращения к народу в качестве замены статуса, от которого они отказались, мы не знаем, предоставлял ли его законопроект гражданство сразу всем принимающим государствам или просто открывал путь для обращения отдельных городов к римскому народу с просьбой об этом праве. Но вполне вероятно, что в законопроекте каким-то образом утверждалась готовность народа предоставить право гражданства, и что если в способе предоставления гражданства и были какие-то другие шаги, то они были не более чем формальными. Тот факт, что *provocatio* рассматривалась как замена гражданства, сразу же доказывает, что старый дух государственной жизни, который рассматривал поглощение как истребление, как известно, все еще был силен в некоторых итальянских коммунах, и что многие отдельные итальянцы, как полагают, ценили гражданство в основном как средство защиты своей личности от римского чиновничества. О том, что демократическая партия была сильна в тот момент, когда это предложение было представлено миру, свидетельствует тот факт, что Флакк занял пост консула; о том, что она мало сочувствовала его схеме, свидетельствует изоляция автора предложения и то, как сенату было позволено вмешаться. Было доказано, что предоставление права голоса является, по сути, народной прерогативой; [482] консультация с сенатом по такому вопросу могла быть целесообразной, но ни в коем случае не необходимой; поскольку, несмотря на господствующую теорию, согласно которой власть сената должна уважаться во всех вопросах законодательства, сложная римская конституция признавала различия, определяемые качеством конкретного предложения, в отношении соблюдения этого правила. Позиция Флакка с юридической точки зрения была сильнее, чем у Тиберия Гракха. Если бы его поддержали влиятельные люди или народные массы, решение сената можно было бы свести на нет. Но народ был холоден, Карбо, вероятно, отвернулся, а Кай Гракх отправился квестором в Сардинию. Сенат решился занять твердую позицию. Они предложили консулу взять их под свою ответственность. После долгих проволочек он вошел в дом сената, но на увещевания и уговоры отцов отказаться от своего намерения ответил лишь упрямым молчанием. [483] Флакк знал, что бесполезно спорить с людьми, принявшими предрешенное решение; он даже не соизволил принять изящное отступление от невозможного положения. Дело должно быть прекращено, но отказ от него по призыву сената, хотя и похвальный для его коллег и, возможно, не неприятный даже для народа в его нынешнем настроении, нанес бы ущерб шансам на будущее. В ожидании лучших времен было мудрее отложить, чем отказаться от этой меры. Возможно, на его отношение повлияли и обещания, данные союзникам; им, каким бы беспомощным он ни был, он все же должен был быть лично верен. Его верность подверглась бы суровому испытанию, если бы он остался в Италии; но у верховного магистрата в Риме всегда было убежище от сложной ситуации. Голос долга звал его за границу, [484] и Флакк отправился укрывать Массилию от Саллувиев и укреплять римскую власть в Трансальпийской Галлии. [485] Возможно, лишь немногие из ведущих демократов обладали достаточными знаниями, чтобы подозревать, к каким ужасным последствиям может привести провал предложения о предоставлении избирательного права. У сената и всего римского мира они, должно быть, вызвали не только изумление, но и тревогу. Невозможно было и мечтать, что сплоченная конфедерация, не знавшая стихийных восстаний со времен восстания Фалерия в середине III века, может вновь

быть потревожена внутренней войной. Теперь в самом центре конфедерации, в том верном ядре, которое осталось непоколебимым после побед Ганнибала, должно было вспыхнуть восстание, ставшее результатом надежд, долго откладывавшихся, ожиданий, недавно подогретых неоправданными обещаниями, обиды на успех Пенны и неудачу Флакка. Фрегеллы, город, который взял на себя инициативу в движении и то ли из-за поспешности, то ли из-за неверной информации сам сделал роковой шаг,[486] были латинской колонией, которую Рим основал на территории вольсков в 328 году до н. э.[487] Положение города обеспечило ему процветание еще до того, как он попал в руки Рима. Он лежал на Лирисе, в богатой виноградниками стране, и входил в тот круг латинских и кампанских государств, который теперь стал промышленным центром Италии. Он был центром группы латинских колоний, которые служили оплотом Рима между Аппиевой и Латинской дорогами, а во время Ганнибаловой войны был избран глашатаем восемнадцати верных городов, когда двенадцать латинских государств устали от бремени и отказались от верности. 488]

Значение города было очевидным и давним, его самолюбие, несомненно, было велико, и он, возможно, считал, что его заслуги не были должным образом вознаграждены Римом. Но неизвестны ни его особые претензии, ни конкретные причины, придававшие римскому гражданству такую чрезмерную ценность в его глазах. Возможно, процветающий класс фермеров был возмущен аграрной комиссией и неоправданными требованиями военной службы, и, несмотря на торговое равенство с римлянами, которым они пользовались в силу своих латинских прав, они могли неблагоприятно сравнивать свое положение с положением соседних общин, которые получили римское гражданство в полном объеме. Такие города, как Арпинум, Фунди и Формий, были приняты в ряды граждан без потери самоуправления. Теперь вступление в гражданство не влекло за собой почти уголовных последствий, связанных с отменой конституции, а обладание гражданством обеспечивало право на апелляцию и полноценное участие в религиозных праздниках и столичных развлечениях. Не исключено, что в случае с процветающей промышленной и сельскохозяйственной общиной, расположенной фактически в пределах Лациума, желание активно участвовать в решениях суверенного народа могло сыграть свою роль. Но чувства, вероятно, играли в советах такую же роль, как и разум: и тот факт, что эти чувства привели к преждевременным действиям, а падение государства было вызвано изменой, позволяет предположить, что римлянам пришлось иметь дело с разделенным народом и что одна часть общества, возможно, представленная высшим или чиновничьим классом, хотя и сочувствовала общему желанию получить право голоса, ни в коем случае не была готова поставить большое состояние города на карту сомнительного шанса на успешное восстание. Длительное сопротивление горожан в своих стенах могло послужить толчком к всеобщему восстанию латинян. Если бы Фрегеллы сыграли роль второй Нумантии, Социальная война могла бы быть предвосхищена на тридцать пять лет. Но преимущество, которое можно было получить со временем, было сорвано изменой. Некий Нумиторий Пуллус предал государство претору Луцию Опилию, который был послан с войском из Рима. Если бы Фрегеллы стояли особняком, их можно было бы спасти; но чувствовалось, что необходимы какие-то крайние меры либо уступки, либо террор, чтобы недовольство не приняло такую же пламенную форму в других общинах. В последующей войне с союзниками более серьезная опасность была устранена уступками. Но там болезнь прошла свой путь, здесь же она была встречена на самой ранней стадии, и привычный метод иссечения был признан верным средством. Принцип "страшного предупреждения", который Александр применил к Фивам, а Рим - к Коринфу, обрек величайший из латинских городов на разрушение. Невзирая на прошлые заслуги Фрегелл и на то, что страсть к франшизе была самым верным признаком лояльности города, правительство приказало сровнять стены сдавшегося города и превратить его в простую открытую деревню, не отличающуюся никакими гражданскими привилегиями.[489] Часть

его территории в следующем году была использована для основания колонии граждан Фабратерия.[490] Новое поселение представляло собой типичный римский гарнизон в недовольной стране. Но это доказывало слабость нынешнего режима, что в сердце Лациума пришлось применить столь грубый и устаревший метод. Однако безопасность, возможно, была не единственной целью создания фонда. Конфискованные земли Фрегеллы стали благом для правительства, которое очень нуждалось в популярности у себя дома.

Теперь представилась прекрасная возможность убедить народ в чудовищности преступления, совершенного некоторыми из его лидеров, и против людей, которые в первую очередь поддерживали движение за расширение избирательных прав, было начато судебное преследование. Утверждалось, что они не только разжигали надежды, но и вынашивали замыслы. Судьба более мелких сторонников италийского дела неизвестна; но Кай Гракх, против которого было выдвинуто обвинение, очистил свое имя от всякого соучастия в движении.[491] Эффект этих мер подавления не улучшил дела на будущее. Союзники были обременены новой горькой памятью; их друзья в Риме получили новый повод для недовольства. Если бы римский народ продолжал оставаться эгоистичным и апатичным, мог бы появиться лидер, который нашел бы в италийцах лучшую поддержку своей позиции, чем римская толпа. Если же он не появлялся или терпел поражение, единственным, но верным средством решения оставался меч.

Внешняя активность Рима в этот период не отражала беспокойного духа столицы. Не имело значения, что на Востоке и Западе велись мелкие войны и что в сводках иногда появлялись сообщения о поражении генерала. Рим привык к подобным вещам, и его усилия по-прежнему отличались привычными чертами неуклонного развития и благопристойного успеха. Отнести неудачу в ее внешней деятельности к этому периоду - значит отнести ее ко всей ее истории, ибо никогда еще империя не завоевывалась так медленно и не сохранялась так мучительно. Правда, в начале этой эпохи империалист мог бы с полным основанием смотреть на ситуацию мрачно. В Испании Нумантия наносила больше вреда римскому престижу, чем римской власти, а долгая и изнурительная война с рабами опустошала Сицилию. Но в конце концов эти опасности были преодолены, а тем временем обстоятельства привели к первому распространению провинциального правления на богатый Восток.

Пергамское царство долгое время было главной опорой влияния Рима на Востоке. Ее контакты с другими покровительствуемыми княжествами были далекими и нерегулярными; но пока ее мандаты могли выдаваться через этого верного вассала, а он мог рассчитывать на ее искреннюю поддержку при совершении или отражении агрессии, баланс сил на Востоке был достаточно надежным. Нужно было заставить Евмена Второго понять, что он полностью находится во власти Рима, является его вассалом, а не союзником. Его наградили и укрепили, но не за его заслуги, а чтобы он стал полицейским Западной Азии, и успешно показали, что рука, которая дает, может и отнять. Урок был усвоен Пергамской державой, и, к счастью, династия просуществовала слишком недолго, чтобы появился царь, который забыл бы о сокрушительной демонстрации римской мощи, последовавшей за Третьей Македонской войной, или чтобы осознать более серьезную опасность протектората - борьбу за трон, которая должна была заставить одного из претендентов обратиться к национальным чувствам и вступить в национальную войну. После смерти Эвмена оставил прямого наследника в лице своего сына Аттала, рожденного от его жены Стратоники, дочери Ариарата, царя Каппадокии.[492] Но Аттал был еще мальчиком на момент смерти отца, и выбор опекуна имел жизненно важное значение для судьбы монархии. Все соображения указывали на дядю наследника, и в сильных руках Аттала Второго регентство стало

практически монархией.[493] Новый правитель был человеком более чем среднего возраста, трезвомыслящим и глубоко сведущим во всех тайнах царской власти, поскольку взаимное доверие, редкое среди царских братьев на Востоке, заставило Эвмена относиться к нему скорее как к коллеге, чем как к лейтенанту. У него не было безумного честолюбия, которое видит в диадеме благо, ради которого можно пожертвовать всеми остальными благами, и он не поддался на приглашение римского окружения сместить с трона своего подозреваемого брата и царствовать самому в качестве признанного фаворита Рима. В случае с Атталом знакомство с властью сюзерена не породило презрения. Он служил у Манлия в Галатии[494], у Павла в Македонии[495] и по меньшей мере пять раз был посланником в саму столицу[496]. Переход от частной должности к трону не изменил его убеждения, что интересам его страны будет служить неуклонная приверженность к власти, чье чудесное превращение в движущую силу восточной политики было чудом, которое он наблюдал собственными глазами. Он достаточно вник в суть римского характера, чтобы понять, что это не одна из временных волн завоеваний, которые так часто захлестывали неизменный Восток и тратили свои силы в самом насилии их течения, и не совершил ошибки, приняв самоограничение за слабость. Такие монархи, как он сам, были необходимой заменой господству, которое завоевательное государство было достаточно сильным, чтобы отвергнуть; и он с усердием взялся за осуществление замыслов Рима в династической борьбе соседних народов. Он помог вернуть Ариаратесу Пятому его Каппадокийское царство[497] и обратился к Риму против агрессии Прусия Второго из Вифинии. Его спасло решительное вмешательство сената, но только после того, как он дважды был загнан в стены своей столицы победоносным врагом. 498 Его собственный мир и интересы Рима теперь были обеспечены его поддержкой Никомеда, сына Прусия, который завоевал расположение римлян и был посажен на трон своего отца. Он даже вмешался в наследование царства Селевкидов, когда римляне решили поддержать притязания Александра Баласа на сирийский престол.[499] Наконец, он послал помощь римским войскам в конфликте, который закончился окончательным сокращением Греции.[500] Не было и речи о том, чтобы он отказался от своего регентства при жизни. Рим не мог найти лучшего инструмента, и, возможно, повинаясь желаниям сената и, несомненно, в соответствии с их волей, он удерживал верховную власть, пока его двадцатидесятилетнее правление не завершилось смертью.[501] Возможно, качества законного наследника не внушали доверия, ведь на троне Пергама нужен был не только верный, но и сильный друг. Новый правитель, Аттал Третий, угрожал лишь опасностью, проистекающей из слабости; но если бы его правление не закончилось ранней смертью, возможно, вмешательство Рима было бы призвано спасти монархию от отчаяния его подданных, передать ее какому-нибудь более достойному вассалу или, в отсутствие подходящего правителя, свести ее к форме провинции. Сдержанность, в которой Аттал жил во время опеки дяди, породила в нем чувство бессилия, которое выливается в ожесточение нравов и безрассудную подозрительность. Подозрительность переросла в манию, когда смерть матери и супруги создала в его жизни пустоту, которую он упорно считал следствием преступной деятельности человека. Родственники и друзья стали непосредственными жертвами его расстроенного сознания,[502] а за карнавалом резни последовало апатичное безразличие к вещам внешнего мира. Обрекая себя на гнусное уединение, король утешал свой мрачный досуг занятиями, которые, возможно, стали привычными за время его ранней отрешенности от дел. Он занимался декоративным садоводством, лепил из воска, отливал из бронзы и работал с металлом.[503] Последним делом его жизни было возведение величественной гробницы для его матери Стратонис. Именно в то время, когда он занимался этим благочестивым делом, воздействие солнца вызвало болезнь, от которой он и умер. Когда последний из законных Атталидов сошел в могилу, выяснилось, что освободившееся царство было отчуждено по завещанию, а

наследником назначен римский народ.[504] Подлинность этого документа впоследствии оспаривалась врагами Рима, и он был признан подделкой, совершенной римскими дипломатами.[Вполне возможно, что последний эксцентричный король был достаточно ревнив, чтобы завещать, что у него не будет преемника на троне, и достаточно циничен, чтобы понять, что не имеет значения, будет ли фактическая власть Рима прямой или косвенной. В равной степени возможно, что идея была предложена романизирующей партией при его дворе; хотя, если вспомнить крайнее нежелание, которое Рим когда-либо проявлял, чтобы принять позицию постоянной ответственности на Востоке, мы вряд ли можем представить, что план получил прямую санкцию сената. Однако можно предположить, что многие ведущие члены правительства все больше сомневались в успехе простого дипломатического вмешательства в беспокойную политику Востока; что они хотели иметь более близкую точку обзора, с которой можно было бы наблюдать за движениями его беспокойных правителей; и что, если бы с ними посоветовались о шансах на успех, которые сулило новое путешествие, они могли бы дать благоприятный ответ. По характеру дела невозможно было поставить под сомнение законность этого акта. Легаты были слишком могущественны, чтобы их живое имущество могло выразить эффективный протест, кроме как путем фактического восстания. Но с юридической точки зрения такое княжество, как Пергам, выросшее в результате успешного захвата царских владений управителем за сто пятьдесят лет до этого времени, вполне могло считаться собственностью своих царей;[507] и, конечно, если бы наследники вне царской семьи были допущены к завещанию, их, естественно, стали бы искать в державе, которая увеличила ее владения, укрепила ее положение и сделала одной из великих держав мира. Отвергнутое Римом княжество стало бы добычей соседних держав, а учреждение нового князя, избранного из какого-либо королевского дома, возбудило бы ревность и стимулировало бы хищничество других. Принятие завещанного было неизбежно, хотя этим согласием Рим отступал от проторенного пути тщательно выбранной политики. Есть намек на то, что Аттал в своем завещании или римляне, принимая его, оговаривали свободу владений. 508] Эта свобода может быть просто эвфемизмом для провинциального правления, когда оно противопоставляется абсолютному деспотизму; но мы можем вложить в этот термин и более верное значение. Рим часто гарантировал свободу азиатских городов, которые он отвоевывал у их повелителя, однажды он разделил Македонию на независимые республики, он все еще сохранял Ахею в состоянии, позволявшем многим из ее городов иметь большое самоуправление, и система римского протектората неощутимо переплавлялась в систему провинциального управления. Не исключено, что ее отношение к завещанным общинам могло бы отличаться большей либеральностью, чем было на самом деле, если бы доминион сразу же не был охвачен войной за независимость.

Появился претендент из дома Атталидов. Он не мог предъявить законный герб, но это было неважно. Если и была вероятность национальной вспышки, то ее лучше всего мог разжечь сын Эвмена. Считалось, что Аристоник родился от эфесской наложницы царя.[509] Мы ничего не знаем о его личности, но история его двухлетнего конфликта с римской властью доказывает, что он был не фигурой, а человеком способным, энергичным и изобретательным. В Пергамском королевстве невозможна была сугубо национальная борьба, поскольку между греческим побережьем и варварскими внутренними районами почти не было общности чувств. Но торговое процветание одного и сельскохозяйственные ужасы другого могли бы оправдать призыв к интересам, основанный на разных основаниях. Сначала Аристоник попробовал море. Не отважившись сразу войти ни в одну из великих империй, он поднял свой штандарт в Ликее, небольшом, но сильно защищенном морском

порту, лежащем почти посередине между Фокеей и Смирной и расположенном на мысе к югу от места впадения Гермуса в залив. Некоторые из ведущих городов, кажется, откликнулись на его призыв.[510] Но эфесцы, не удовлетворившись простым отречением, собрали флот, отплыли против него и нанесли тяжелое поражение его морским силам у Кима.[511] Очевидно, коммерческому духу не понравились его планы; он видел в римском протекторате обещание более широкой торговли и более широкой гражданской свободы. Аристоник двинулся в глубь страны, сначала, возможно, как беженец, но вскоре как освободитель. Здесь были люди, достаточно отчаянные, чтобы откликнуться на любой призыв, и достаточно несчастные, чтобы встретить любую опасность. Сицилия показала, что вождь рабов может стать царем; теперь Азия должна была доказать, что царь может стать своим, возглавив армию отверженных.[512] Призыв к свободе нашел горячий отклик, и пергамский принц вскоре отправился на побережье во главе "граждан Города Солнца", идеального государства, которое эти остатки народностей, не имевшие стран и домов, похоже, сделали своим.[513] Его успех был мгновенным. Сначала в его руки попали внутренние города Северной Лидии, Фиатира и Аполлонис.[514] Организованное сопротивление на данный момент было невозможно. В Азии не было римских войск, а цари-покровители, которым Рим послал срочный вызов, не смогли бы собрать свои силы с достаточной скоростью, чтобы предотвратить продвижение Аристоники на юг. Здесь он угрожал побережью Ионии и Кари; Колофон и Минд попали под его власть: он, должно быть, даже смог собрать что-то вроде флота, так как остров Самос вскоре был присоединен к его владениям.[515] Вероятно, сотрудничество рабского населения в этих различных городах значительно способствовало его успеху. Его завоевания могли быть несколько спорадическими, и нет оснований полагать, что он командовал всей страной, включенной в широкий круг захваченных им городов и простиравшейся от Фиатиры до побережья и от Гермесского залива до Ясса. Силы, которыми он мог распоряжаться, по-видимому, были достаточно заняты удержанием своих южных завоеваний; нет никаких следов того, что он контролировал страну к северу от Фокеи или даже пытался напасть на Пергам, столицу его царства. Его армия, однако, должна была увеличиваться как в размерах, так и в опыте. К его подневольным отрядам добавились фракийские наемники,[516] и движение приняло такие размеры, которые убедили римлян, что это не беспорядки, а война. Их прежние усилия, очевидно, основывались на вере в то, что местных сил будет достаточно, чтобы остановить восстание. Даже после того, как стало известно о восстании Аристоники, они упорно продолжали считать, что комиссия, которая, несомненно, в любом случае была бы отправлена для проверки новой зависимости, является адекватным средством для решения чрезвычайной ситуации. Эта комиссия из пяти человек,[517] в которую входил и Сципион Назика, отправилась в Азию и обнаружила, что они присутствуют на гражданской войне, а не на судебном споре, и что страна, которая должна была быть организована, должна быть завоевана. Цари Вифинии, Пафлагонии, Каппадокии и Понта, жаждавшие похвалы или награды, лояльно присоединились к Риму;[518] но вспомогательные силы, которые они привели, были совершенно неспособны умиротворить страну, находящуюся в муках подневольной войны, и им не хватало главнокомандующего, который мог бы руководить серией упорядоченных операций. Был отдан приказ о создании регулярной армии, и в соответствии с традициями государства командовать ею должен был консул.

Главами государства в этом году стали Луций Валерий Флакк и Публий Лициний Красс. Каждый из них жаждал получить привлекательное командование; ведь прошлые азиатские кампании были легкими, и не было причин полагать, что претендента, возглавляющего толпу рабов, будет труднее победить, чем такого царя, как Антиох, в распоряжении которого были все силы Азии. Шансы на триумф становились все меньше, а здесь они были почти в пределах досягаемости полководца. Но впереди были еще более значительные награды.

Счастливым завоевателем первым прикоснется к сокровищам Атталидов и закрепит за государством приз, который уже был источником политических распри; он соберет для себя и своей армии царский урожай с добычи, взятой в поле или при разграблении городов, и почти наверняка останется в завоеванной стране, чтобы организовать, возможно, управлять в течение многих лет самым богатым доменом, который достался Риму, и обращаться как царь с монархами окрестных покровительственных государств. Этих преимуществ было достаточно, чтобы преодолеть религиозные угрызения обоих кандидатов; так случилось, что и Красс, и Флакк по религиозным законам не могли принять командование за границей. Один из них был главным понтификом, а другой - пламенем Марса; и если бы возражения были ощутимы или настойчивы, то очевидным кандидатом для азиатской кампании был бы Сципион Эмилиан, единственный испытанный генерал того времени. Но шансы Сципиона были невелики. Характер борьбы не требовал выдающегося гения, и Сципиону, хотя он и был необходим в чрезвычайных обстоятельствах, нельзя было позволить отнять законные призы у должностных лиц.[519] Поэтому спор шел между понтификом и священником. Спор был неравным, поскольку, хотя понтифик был дисциплинарным главой государственной религии, Фламен в вопросах ритуала и правил, касающихся соблюдения религиозного закона, находился под его юрисдикцией. Красс сдержал пыл своего коллеги, объявив, что наложит штраф, если Фламен пренебрежет своими религиозными обязанностями и покинет берега Италии. Денежное наказание было лишь средством обозначить пробный случай, который, как уже дважды бывало, должен был быть передан на решение народа[520]. Флакк подал апелляцию против штрафа, и было предложено вынести решение комиции. Народ решил, что штраф следует отменить, но Фламен должен подчиниться понтифику.[521] Поскольку у Красса не было начальника в религиозном мире, было трудно, если не невозможно, выдвинуть возражения против его собственного пребывания в чужой стране.[522] Народ, возможно, благодарный за гракканские симпатии Красса, не испытывал никаких затруднений с отсылкой своего понтифика в чужую страну и с готовностью отдал ему право вести войну.

Рассказ о последующей кампании ограничивается несколькими личными анекдотами, связанными с замечательным человеком, возглавившим римские войска. Об образованности Красса свидетельствует тот факт, что, когда он проводил суд в Азии, он мог не только выносить решения на греческом языке, но и адаптировать свои речи к диалекту различных тяжущихся сторон.[523] Его дисциплина была суровой, но неизбирательной; она демонстрировала строгость эрудированного солдафона, а не проницательность прирожденного полководца. Однажды ему понадобился кусок дерева для тарана, и он написал архитектору одного из дружественных городов, чтобы тот прислал больший из двух кусков, которые он там видел. Наметанный глаз эксперта сразу же увидел, что меньший лучше подходит для этой цели; его и прислали. Сообразительность архитектора погубила его. Несчастный был раздет и подвергнут бичеванию на том основании, что суждения подчиненного полностью подрывают авторитет командира".[524] По другому мнению, полководческие способности, которыми он обладал, были отвлечены от истинной цели из-за рвения, с которым он, несмотря на свое огромное богатство, шел по следам военных трофеев. [525] Но его смерть, которая произошла в начале второго года его командования, [526] не была недостойной того, кто занимал пост консула. Он проводил операции на территории между Элладой и Смирной, вероятно, готовясь к осаде Ликия,[527] все еще остававшегося оплотом претендента. Здесь он был внезапно застигнут врасплох. Его наспех сформированные ряды были разбиты, и римляне вскоре уже всю отступали к какому-то дружественному городу на севере. Но их ряды были нарушены неровностями местности и жестокостью преследования. Генерал отделился от основной части своей армии и был настигнут отрядом фракийских лошадей. Его похитители, вероятно, не знали о ценности

своего трофея; но даже если бы они знали, что в их руках находится предводитель римского войска, то, возможно, Красс спас бы его от триумфа мятежного принца и позорного подвергания оскорблениям подневольной толпы. Он вонзил свой конный хлыст в глаз одному из своих похитителей. Обезумев от боли, тот вонзил свой кинжал в бок пленника[528].

Смерть Красса почти не внесла паузы в ход кампании, так как Марк Перперна, консул на этот год, вскоре был на месте и организовал энергичные меры против Аристоники. Подробности кампании не сохранились, но нам говорят, что первое серьезное столкновение закончилось решительной победой римского оружия. 529] Претендент бежал, и в конце концов его преследовали до южной части его владений. Его последняя битва произошла в Стратоникее в Карики. Город был блокирован и разрушен голодом, и Аристоник безоговорочно сдался римской власти. 530] Перперна сохранил пленника для своего триумфа, он посетил Пергам и поместил на корабль сокровища Аттала для перевозки в Рим;[531] этими решительными действиями он доказывал, что война окончена, так как третий консул напрягал все нервы, чтобы получить свою долю славы и выгоды. Маний Аквиллий спешил в Азию, чтобы принять командование, которое еще можно было истолковать как реальность;[532] чем дольше он позволял своему предшественнику оставаться, тем более незначительной становилась его собственная доля в предприятии. Триумф должен был стать наградой тому, кто закончил войну, и, возможно, даже пленение Аристоники не нужно было трактовать как ее завершение. Сцена гневного осуждения могла бы стать результатом встречи между соперничающими полководцами; но этого удалось избежать благодаря внезапной смерти Перперны в Пергаме.[Возможно, Аристоник был избавлен от позора римского триумфа, хотя одна традиция утверждает, что его оставили для представления, которое три года спустя устроили в честь успеха Аквиллия в Азии.[534] Но он не избежал гибели, которую государство возлагало на мятежных принцев, и был задушен в Туллиануме по приказу сената.[535]

Аквиллий нашел в своей провинции достаточно материала для затягивания войны. Хотя падение Аристоники, несомненно, повлекло за собой распад регулярных армий повстанцев, отдельные города, вероятно, терроризированные восставшими рабами, которые не могли ожидать пощады от завоевателя, все еще оказывали отчаянное сопротивление. Говорят, что в своем стремлении закончить борьбу римский полководец растерял последние остатки международной морали, а разрушение городов путем отравления ручьев, снабжавших их водой,[536] хотя и нанесло несмыслимое пятно на римскую честь, возможно, было защищено как неизбежное сопровождение нерегулярной подневольной войны. Работа по организации была начата еще до того, как завершилось умиротворение. Государство достаточно серьезно отнеслось к успеху Перперны, чтобы отправить с Аквиллием десять уполномоченных для регулирования дел новой провинции,[537] и они, похоже, приступили к выполнению своей задачи с момента прибытия.[538] Причины для промедления не было, поскольку Пергамское царство технически стало провинцией после смерти Аттала Третьего.[Эфесцы даже опередили это событие и приняли эру, которая начиналась с сентября 134 г.[540] Причиной такого опережения был обычный азиатский обычай начинать гражданский год с осеннего равноденствия. Реальной точкой отсчета новой эры Эфеса стала либо смерть Аттала, либо победа города над флотом Аристоники. Но, хотя к организационной работе можно было приступить сразу, ее завершение было делом долгим и трудоемким, и сам Аквиллий, похоже, провел в Азии три года.[541] Пределы провинции, которая, как и Африка, получила название континента, к которому принадлежала, должны были быть определены с учетом будущих возможностей и прав соседних царств; налогообложение страны должно было быть отрегулировано, а привилегии различных городов соразмерны их возможностям или заслугам. Закон Аквиллия по сути оставался

уставом провинции Азия вплоть до императорских времен, хотя впоследствии Сулла и Помпей внесли в него изменения. Новое наследство римлян включало в себя почти всю часть Малой Азии, лежащую к северу от Тавра и к западу от Вифинии, Галатии и Каппадокии. Даже Кария, которая была объявлена свободной после войны с Персеем, похоже, снова попала под власть царей Атталидов. В состав монархии также входили фракийский Херсонес и большая часть островов Эгейского моря.[542] Но вся эта территория не была включена в новую провинцию Азия. Херсонес был присоединен к провинции Македония,[543] небольшой район Карики, известный под названием Перая и расположенный напротив острова Родос, стал или остался собственностью последнего государства; в том же районе порт и город Телмисс, которые были отданы Эвмену после поражения Антиоха, были возвращены Ликийской конфедерации.[С характерной для Рима осторожностью он не стал сохранять прямое господство над восточными частями своих новых владений, некоторые из которых, такие как Исаврия, Писидия и, возможно, восточная часть Киликии, могли оказывать весьма номинальное повиновение трону Атталидов. Богатые, цивилизованные и легко управляемые эллинские земли она оставила себе, а варварские внутренние районы, как слишком большое и далекое бремя для домашнего правительства, были предназначены для обогащения ее лояльных государств-клиентов. Аквиллий и его уполномоченные, должно быть, получили четкие инструкции не претендовать на территории, лежащие к востоку от Мизии, Лидии и Карики, но, похоже, у них не было никаких указаний относительно того, как распорядиться отторгнутыми территориями. Следствием этого стало то, что цари Востока вскоре стали выпрашивать территории у римского полководца и его помощников. Ликаония стала наградой за доказанную службу; она была отдана сыновьям Ариаратеса Пятого, царя Каппадокии, который пал в войне.[545] Киликия, как говорят, также сопровождала этот дар, но эта ничейная земля, должно быть, рассматривалась и дарителем, и получателем лишь как номинальное благодеяние. На собственно Фригию, или Большую Фригию, как называли эту страну к югу от Вифинии и к западу от Галатии,[546] было два претендента.[547] Цари Понта и Вифинии боролись за приз, и каждый подкреплял свое прошение ссылкой на историю прошлого. Никомед из Вифинии мог настаивать на том, что его внук Прусий сохранял дружественный нейтралитет во время борьбы Рима с Антиохом. Понтийский царь Митрадат Эвргет выдвинул более сомнительный предлог - наследственное право. Фригия, утверждал он, была приданым его матери и досталась ей от ее брата, Селевка Каллиника, царя Сирии.[548] Мы не знаем, какие соображения повлияли на решение Аквиллия отдать предпочтение притязаниям Митрадата. Возможно, он считал, что Понтийское царство, как более отдаленное, менее опасно, и стремился заручиться лояльностью его монарха с помощью льгот, подобных тем, что уже были оказаны Никомеду Вифинийскому. Его политические враги и все, кто в последующие времена сопротивлялся притязаниям понтийских царей, утверждали, что он выставил Фригию на аукцион и что Митрадат заплатил более высокую цену; эта сделка, несомненно, фигурировала в обвинениях в коррупции, по которым он был обвинен и оправдан; и каким бы сомнительным ни казался современникам и преемникам вердикт, освобождающий его от ответственности, у нас нет доказательств, что желание наживы было единственной или даже главной причиной его решения. Если бы он посчитал, что инвеститура Никомеда была бы более приемлемой для правительства страны, царь Вифинии, вероятно, был бы готов заплатить адекватную сумму за его защиту. Возможно, он совершил преднамеренную ошибку, вообще отторгнув Фригию. Сенат вскоре обнаружил его и свою собственную ошибку. Спорная территория вскоре была признана достойной римской оккупации. В стратегическом отношении она имела огромное значение для безопасности азиатского побережья, поскольку занимала верховья речных долин, простиравшихся на запад до Эгейского моря, а густонаселенные города, открывавшие возможности для внутренней торговли, ставили ее в другую плоскость по сравнению с

пустынными Ликаонией и Киликией. Не исключено, что к протесту против ошибочной щедрости Аквилы присоединился и капиталистический класс, на поддержку которого теперь опирался сенат для поддержания политического равновесия в столице. Но, хотя правительство быстро решило отменить решение своих комиссаров, у него не хватило сил решить вопрос раз и навсегда, забрав Фригию себе. Постановление народа все еще технически превосходило постановление сената; несогласные всегда могли настаивать на том, что с народом нужно советоваться по таким важным международным вопросам; и Фригия, как и Пергам за некоторое время до этого, стала предметом партийной политики. Соперничающие цари перенесли свои претензии и, возможно, денежные предложения из провинции в столицу, и сеть интриг, которая вскоре окутала этот вопрос, была жестоко продемонстрирована Каем Гракхом, когда в своем первом или втором трибунате он призвал народ отвергнуть закон Ауфея, который касался этого спора. "Вы увидите, граждане, - призывал он, - что каждый из нас имеет свою цену. Даже я не бескорыстен, хотя случается, что целью моих действий являются не деньги, а хорошая репутация и честь. Но сторонники с обеих сторон этого вопроса стремятся к чему-то другому. Те, кто призывает вас отклонить этот законопроект, ожидают от Никомеда твердых денег; те, кто настаивает на его принятии, ищут цену, которую Митрадат заплатит за то, что он называет своим; это и будет их наградой. А что касается членов правительства, которые хранят благоразумную тайну в этом вопросе, то они - самые ловкие торгаши из всех; их молчание просто означает, что им платят все и они обманывают всех". Это циничное описание политической ситуации было подкреплено цитатой из ответа Демадеса успешному трагику: "Ты так гордишься тем, что у тебя есть талант говорить? Почему же, я получил от царя десять талантов за то, что молчал?"[549] Эта зарисовка, вероятно, была скорее остроумной, чем правдивой; осуждение, когда оно становится всеобщим, перестает быть убедительным, а цинизм, когда он превышает определенную степень, является всего лишь проявлением больного или пораженного психического настроения. Гракх был слишком хорошим адвокатом, чтобы быть честным наблюдателем. Но подозрения, которые были выявлены в этой диатрибе, могли быть основаны на фактах; посланники царей могли принести что-то более весомое, чем слова или документы, только чтобы обнаружить, что баланс их позолоченных аргументов был настолько совершенным, что первоначальное возражение против передачи Фригии любому восточному правителю было единственным вопросом, который все еще можно было поддержать с убеждением. Тем не менее правительство все равно отказалось от аннексии. Его нерешительность, вероятно, объяснялась нежеланием видеть новую восточную провинцию, переданную конным налогоплательщикам, которым Кай Гракх только что передал провинцию Азия. Падение Гракха сделало невозможным независимое решение народа, и даже если бы Комиции было возможно принять решение, их суждения должны были быть настолько запутаны соперничающими интересами и аргументами, что они, вероятно, согласились бы с двусмысленным решением сената. Фригия должна была быть свободной. 550] Она должна была быть открыта для римского капиталиста как торговца, но не как коллекционера; она не должна была быть ареной коррупции или царского возвеличивания. Она должна была представлять собой совокупность защищенных государств, не имевших собственного центрального правительства. Однако центральный контроль был необходим, и, возможно, его обеспечили, присоединив Фригию к провинции Азия в той же свободной зависимости, в которой Ахейя была присоединена к Македонии. Еще в одном вопросе решение Аквилы не было окончательным. Мы увидим, что мотивы морской безопасности вскоре заставили Рим создать провинцию Киликию, и, похоже, что для этой цели часть дара, только что сделанного царям Каппадокии, была впоследствии возвращена Риму. Старые пергамские владения в Западной Киликии, вероятно, были присоединены к некоторым городам Памфилии, чтобы составить ядро новой провинции. Когда Рим

избавился от ненужных аксессуаров своего завещания, остался благородный остаток. Мисия, Лидия и Кария с их великолепными прибрежными городами, богатыми искусством и неисчерпаемыми богатствами, вместе с большинством островов у побережья,[551] образовали ту "развращающую" провинцию, которая стала излюбленным курортом изысканных людей и отчаянным средством для нуждающихся. Ее сокровища должны были добавить новое слово в римский словарь богатства;[552] ее роскошь должна была дать новый стимул искусству жить и добавить пару новых желаний к ненасытному аппетиту к наслаждениям; в то время как раболепие ее населения должно было создать новый тип римского правителя в лице человека, который в течение одного славного года обладал властью пергамского деспота, без сдерживания царских традиций или постоянства, вызванного гарантированным сроком правления.

Западный мир стал свидетелем начала столь же поразительных перемен. По обе стороны Италии случайности закладывали основу для неуклонного продвижения на север и вынуждали римлян вступать в контакт с народами, подчинения которых они никогда не добивались бы иначе, как из чисто оборонительных побуждений. Иапуды и гистры у берегов Адриатики стали объектом кампании консула Тудитана,[553] а четыре года спустя Фульвий Флакк начал операции среди галлов и лигурийцев за Альпами,[554] которые должны были найти свое завершение семьдесят пять лет спустя в завоеваниях Цезаря. Но ни одно из этих предприятий не может быть разумно рассмотрено в отдельности; их значение заключается в необходимости их возобновления, и даже ближайшие результаты, к которым они привели, выведут нас далеко за пределы рассматриваемого нами периода. События, полностью заключенные в эти рамки, имеют второстепенное значение. Это война в Сардинии и завоевание Балеарских островов. Первое привлекло внимание Луция Аврелия Ореста как консула в 126 г. и как проконсула в следующем году. [555] Возможно, только тот факт, что консул был необходим для управления островом и что он добился триумфа за свои деяния,[556] оправдывает то, что мы называем это сардинское предприятие войной. Это была карательная экспедиция, предпринятая против некоторых беспокойных племен, но она была тяжелой из-за нездорового климата и трудностей с обеспечением достаточного количества провианта для страдающих римских войск.[557] Присоединение Балеарских островов с их тридцатью тысячами жителей[558] могло рассматриваться как географическая необходимость, и, несомненно, привело к военному преимуществу. Хотя карфагеняне часто общались с этими островами, а порт на меньшем из них до сих пор носит пунийское название,[559] они мало что сделали для цивилизации местных жителей. Возможно, ценность военных даров островитян способствовала сохранению их в естественном состоянии; ведь культура могла ослабить то чудесное умение владеть пращей,[560] которое когда-то было на вооружении карфагенской, а затем римской армий. Но, несмотря на свою доблесть, балиары не были свирепым народом. Они не ввозили в свою страну ни золота, ни серебра,[561] вероятно, для того, чтобы не искушать пиратов и алчных торговцев.[562] Их цивилизация представляла собой матриархальную стадию; их брачные обычаи выражали сохранение полиандрического союза; они берегли жизнь своих женщин и даже вкладывали деньги, полученные на военной службе, в покупку пленниц.[Из них получались отличные наемники, но они избегали войны или торговли с соседними народами, и единственным оправданием римской агрессии было то, что небольшая часть мирных жителей занималась пиратством.[564] Экспедицию возглавил консул Квинт Цецилий Метелл, и она завершилась легким завоеванием. Корабли захватчиков были защищены шкурами, натянутыми над палубами, чтобы защититься от тучи метких снарядов,[565] но, как только была высажена десантная группа, туземцы, одетые только в шкуры, с маленькими щитами и легкими копьями в качестве единственного оборонительного оружия, не могли оказать эффективного сопротивления на близкой дистанции и были легко разгромлены. Для обеспечения

безопасности новых владений Метелл применил редкий для трансмаринных зависимостей прием - основал на завоеванных землях колонии. На большом острове были основаны города Пальма и Поллентия, в которых проживали римские граждане; новые поселенцы были набраны из римлян, которые были вынуждены покинуть свои дома на юге Испании.[566] Эти необычные усилия в направлении романизации были необходимы из-за совершенно варварского характера страны; а введение на Балеарских островах латинского языка и культуры было лучшим оправданием, чем легкая победа Метелла и принятие им фамилии "Baliaricus".[567] Острова процветали под римским владычеством. Они производили вино и пшеницу в изобилии и славились превосходными мулами. Но главная ценность островов для Рима, должно быть, заключалась в их превосходных гаванях и в том, что их воинственные жители были желанным дополнением к легковооруженным силам империи.

ГЛАВА IV

Девять лет Рим жил в лихорадочной атмосфере предполагаемых реформ, но ни один вопрос, поднятый его смелыми духами, не получил окончательного ответа. Аграрное законодательство действительно прошло успешно; но само препятствие, помешавшее его действию в критический момент, в глазах недовольных превратило успех в неудачу и оставило после себя горькое чувство обиды на вероломную ловкость правительства. Люди, в чьих мнимых интересах народ лишился желанной земли, по необычной иронии судьбы были бесславно изгнаны из Рима и теперь стали жертвами более серьезных подозрений со стороны правительства, чем со стороны римской толпы. В результате поздней сенатской дипломатии вместо одного враждебного класса образовалось два. Из обоих этих классов аристократы черпали солдат для постоянных кампаний, которые требовала империя: и те и другие были одинаково недовольны тяготами и злоупотреблениями военной службы, от которых никто официально не мог предложить лекарство. Беднейшие слои населения получали право голоса, когда им нужна была пища, и жаждали менее шаткого пропитания, чем то, которое давала капризная благосклонность богачей. Трения между сенаторским правительством и верхушкой среднего класса, вероятно, усиливались. Конники, должно быть, бросали голодные взгляды на новую провинцию Азию и спрашивали себя, всегда ли коммерческие интересы должны находиться во власти знати, представленной сенатом, провинциальными администраторами и судебными инстанциями. Считалось, что губернаторы, комиссары и сенаторы покупаются за золото королей, а рудники богатства теряются для честного капиталиста из-за крайней коррумпированности правящих кругов. Последние угрозы Тиберия Гракха еще витали в воздухе, и огромный необработанный материал лежал наготове в руках начинающего агитатора. В древней монархии или аристократии феодального типа, где злоупотребления освящены традицией, или в современной нации или государстве с его великолепной способностью к инерции из-за привычной сонливости большинства избирателей, такие вопросы могут туманно возникать в течение полувека, так и не получив ответа. Но Рим мог избежать революции, только отбросив свою конституцию. Суверенитет народа был тезисом, на который сенат не смел покушаться; и этот суверенитет впервые в римской истории стал суровой реальностью. Город в своих просторах теперь доминировал над сельскими округами, а государь, то большой, то маленький, то дикий, то трезвый, но всегда государь, несмотря на свои калейдоскопические изменения, мог быть в любой момент вызван на Форум. Демократическая агитация становилась привычной. Правда, она становилась и небезопасной. Но человек, способный держать волка за уши в течение года или двух, мог совершить революцию в Риме и, возможно, стать ее виртуальным хозяином.

Найти такого человека было нетрудно, ибо нашелся тот, кого рождение, традиции, темперамент и гений выделили как наиболее подходящего выразителя дела, которое, несмотря на его запутанные сложности, не поддающиеся анализу обычного ума, все же в основных чертах можно было назвать делом народа. Действительно, необычно, что в политической цивилизации, столь недоброжелательной к заслугам молодости, как римская, надежды пробуждал и внушал страх такой молодой и неопытный человек, как Кайус Гракх. Но народное воображение часто улавливает незрелость, еще не сдержанную осторожностью и не омраченную разочарованием, и свежий молодой голос, еще не настроенный на убогую полуправду, которой торгуют мирские мудрецы. И те, кто был рядом с Гракхом, должны были вскоре убедиться, что следы молодости можно найти только в его страстности, откровенности, стремительной энергичности; ни один проницательный глаз не мог не заметить холодного, расчетливого интеллекта, который бессознательно использовал эмоции как маску, ума, который мог наметить и спланировать политическую кампанию в полной уверенности в себе, увидеть страну в целом и при этом овладеть каждой деталью, а затем оставить решение вопроса борьбы для горячих слов и страстных призывов. Это высшее сочетание эмоциональных и художественных даров, которое сделало Гракха столь неотразимым лидером, поразительно проявилось в его ораторском искусстве. Нам рассказывают о напряженности его взгляда, жестокости жестов, беспокойстве, заставлявшем его вышагивать по Ростру и срывать тогу с плеча, о языке, который доводил слушателей до почти непереносимого напряжения жалости или негодования.[568] Природа сделала его самым возвышенным, потому что самым бессознательным актером; глаза, тон, жест - все отвечало велению волшебных слов.[569] Иногда эмоции были слишком сильны; слова становились грубее, голос резче, безупречные предложения путались, пока мягкий звук флейты, которую дул сопровождающий раб, не возвращал его разум к рассудку, а голос - к привычной тональности.[Люди противопоставляли его мягкому и статному брату Тиберию, наделенному всем спокойным достоинством римского оратора и отклонявшемуся от чистого и отточенного изложения своего дела лишь для того, чтобы пробудить чувство сострадания к несправедливости, которую он раскрывал[571]. Тиберий играл на одном аккорде, Кай - на многих. Тиберий взывал к благородным инстинктам, Кайус - ко всем, и его прометеевские проявления были символом более сложного вероучения, более широкого знания человечества, большей безрассудности в отношении средств и того жгучего сознания, которого не было у Тиберия, что есть личные обиды, за которые нужно отомстить, а также политические идеи, которые нужно реализовать. Для узкого ума вендетта - это просто акт справедливости; для такого интеллектуала, как Гракх, это еще и работа разума. Глупость преступления лишь преувеличивает его мерзость, а ненависть к преступнику сливается с возвышающим и вдохновляющим презрением. И все же человек, настроенный на страсти, был, как и положено каждому великому оратору, мучительным учеником самого тонкого из искусств. Язык успешного демагога редко становится предметом изучения в школах, но так было с Гракхом. Ораторы более позднего времени, чья критическая оценка была чище, чем их практика, не могли найти лучшего руководства для претендента на судебную славу, чем речи бурного трибуна. Цицерон отмечает полноту и богатство его словесного потока, величие и достоинство выражения, остроту мысли.[572] Некоторым кажется, что им не хватает завершающего штриха;[573] это равносильно тому, чтобы сказать, что при нем ораторское искусство не выродилось в риторику. Те немногие фрагменты, которые сохранились, вызывают наше удивление, во-первых, своей удивительной простотой и ясностью, а во-вторых, ловким совершенством формы. Равновесие ритмических клаузул никогда не затуманивает и не перегружает смысл. Гракх мог рассказать историю, например, о жестоких злодеяниях, причиненных союзникам, которая вызывала трепет ужаса, но в то же время заставляла задуматься о том, что оратор - человек очень чувствительный и прекрасно

владеет терминологией. Он мог спросить толпу, куда ему лететь - на Капитолий, залитый кровью брата, или в дом, где в страданиях и слезах сидит овдовевшая мать;[574] и никто не думал, что это просто фигура речи. Все это казалось реальным, потому что Гракх был настоящим художником, как и настоящим человеком, и безошибочным чутьем знал, когда нужно сделать паузу. Этот тип объективного ораторского искусства, с его простыми и яркими картинками, блестящим, но не избитым остроумием, способностью создавать иллюзию, что человек раскрывается в высказывании, внушением чего-то более глубокого, чем то, что передается простыми словами, - внушением, которое чувствуют все, но понимают только ученые, - одинаково приятен и для тренированного, и для непросвещенного ума. Отполированное оружие, ослеплявшее взоры толпы, вызывало уважение даже у культурных дворян, против которых оно было направлено.

Качества Кая были проверены в течение нескольких лет, прежде чем он достиг трибуната, и обещание, данное его именем, поведением и красноречием, усиливалось тем фактом, что у него не было соперника в народной благосклонности. Карбо, вероятно, был на пути в оптиматы, а неудача Флакка была слишком недавней, чтобы сделать его ценным в каком-либо другом качестве, кроме помощника. Но Каюс поднялся благодаря возможностям, предоставленным волнением, которое поддерживали эти люди, хотя его продвижение к главному месту казалось скорее делом судьбы, чем замыслом. В возрасте двадцати одного года он был возведен в ранг земельного комиссара;[575] но за этим случайным приобщением к политике Тиберия не последовало сразу же никаких действий, выдававших его стремление к активной политической карьере. Говорят, что он избегал Форума, этой школы и рекламной арены, где честолубивая римская молодежь упражнялась в судебном красноречии, и вел спокойную жизнь в отставке, которую одни объясняли страхом, а другие - обидой. Некоторые даже считали, что он сомневался в мудрости карьеры своего брата.[576] Но вскоре выяснилось, что досуг, который он культивировал, не был легким наслаждением и не обещал длительного отдыха. Он постигал тайны языка и терпеливо учился искусству находить слова, которые придавали бы мыслям форму и крылья. Мысль тоже, должно быть, обретала более четкие очертания: ведь Тиберий оставил в наследство грубые идеи, и люди пытались внедрить некоторые из них в область практической политики. Первым призывом к оружию стало предложение Карбо о легализации переизбрания в трибунат. В его поддержку Гракх произнес речь, содержащую горький упрек тем, кто стал причиной "человеческого жертвоприношения", совершенного при убийстве его брата.[577] Пять лет спустя он был одним из главных противников закона Пенны об иностранцах и показал опасную глупость ревнивой политики исключения. Но, как говорят, именно в суде он впервые получил возможность продемонстрировать миру свои необыкновенные способности. Выступая в качестве адвоката друга по имени Веттий, он произнес речь, которая, казалось, подняла его на уровень, недостижимый для других ораторов того времени. Зрелище толпы, почти беснующейся от радости и неистово аплодирующей новообретенному герою, показало, что появился человек, способный по-настоящему тронуть сердца людей, и, как говорят, натолкнуло людей дела на мысль, что необходимо использовать все средства, чтобы помешать вступлению Гракха в трибунат.[578] Случайный жребий послал его в качестве квестора вместе с консулом Орестом на Сардинию. Враги с радостным сердцем встречали его отъезд в этот нездоровый климат[579], да и самому Каю перемена к активной жизни в лагере не была неприятна. Говорят, он все еще боялся погрузиться в бурное море политики, а в Сардинии он был в безопасности от призывов народа и уговоров друзей[580], но уже получил предупреждение, что спасения нет. Пока он размышлял, стоит ли ему добиваться квесторства, его лихорадочный ум посетило видение. Призрак брата явился и обратился к нему с такими словами: "Почему ты медлишь, Кайус? Тебе не дано отступать. Нам обоим, защитникам прав народа, суждена одна жизнь и одна смерть". Его вера в реальность этого

предостережения убедительно подтверждается;[581] но ощущение того, что он предопределен и предначертан, хотя и придавало его жизни дополнительную серьезность, оставляло его таким же спокойным и энергичным, как и прежде. Как и Тиберий, он находился в сфере влияния своего отца, и эта память, должно быть, стимулировала его преданность военным и провинциальным обязанностям. Он отличился на поле боя и завоевал репутацию справедливого человека в отношениях с подвластными племенами, а его простота жизни и способность к труду наводили на мысль о ветеране кампании, а не о тирольце из самого роскошного города.[582] Масштабы заслуг Сардинии и соседних земель, которые его имя и характер позволили ему оказать государству, возможно, преувеличены или, по крайней мере, неверно изложены нашими авторитетами; но, учитывая бесприкословное доверие, оказанное нумантинцами его брату, когда он был еще молодым человеком, нет причин сомневаться в их реальности. Рассказывают, что, когда коварная сардинская зима сковала войска ознобом, полководец разослал по городам просьбы о снабжении одеждой. Эти города, которые, вероятно, были федеративными общинами и по договору освобождались от требований Рима, обратились к сенату. Они, несомненно, опасались, что акт доброты легко превратится в бремя, установленное прецедентом. Сенат, по долгу службы, поддержал их требование; и страдания и болезни царили бы в римском лагере, если бы Гракх лично не посетил города и не убедил их прислать необходимую помощь.[583] В другой раз посланцы Миципса из Нумидии, как говорят, явились в Рим и предложили поставить кукурузу для сардинской армии. Возможно, эта просьба исходила от Гракха. Для нумидийского царя он был просто внуком старшего Африкана: И посланники в своей простоте упомянули его имя как посредника в получении царских щедрот. Сенат, как нам сообщают, отверг предложенную помощь. Любопытный параллелизм между нынешней карьерой Кая и ранней деятельностью его брата, должно быть, поразил многих; для сената эти доказательства энергии и преданности казались лишь прелюдией к таким же изобретательным попыткам завоевать расположение публики на родине: и их опасения, как говорят, помогли им принять решение оставить Ореста еще на один год в качестве проконсула в Сардинии.[584] Возможно, что это решение отчасти было вызвано военными обстоятельствами; тот факт, что войска были освобождены, был естественным, учитывая страдания, которые они перенесли, но сохранение генерала для завершения пустынной кампании, которая в основном требовала знания страны, было мудрым и необычным действием. Однако преимущество заключалось в том, что, согласно обычаю, квестор должен был оставаться в обществе своего командира. Повторное появление Гракха в Риме было отложено на год. Это была небольшая поблжка, но за это время могло многое произойти.

Именно в этом смысле квестор истолковал свой поступок. Пустяковый промах разжег порывистую и обидчивую натуру, которую не смогли сдвинуть с места ожидания и уговоры. Уязвленный мыслью о том, что он стал жертвой позорного ухищрения, Гракх немедленно отправился на корабле в Рим. Его появление в столице стало шоком даже для его друзей.[585] Общественные настроения рассматривали квестора как человека, находящегося почти в родственных отношениях со своим начальником; связи, порожденные их совместной деятельностью, считались неразрывными,[586] и добровольный отъезд подчиненного рассматривался как нарушение служебного долга. Прوماхи в поведении граждан, занятых на государственной службе, которые не были преступными, могли быть с разной степенью бесчестия наказаны цензурой: и случилось так, что этот суд нравов существовал в лице цензоров Сп. Сервилий Цепион и Л. Кассий Лонгин, которые вступили в должность в предыдущем году. Цензорские приговоры, хотя и произвольные и, как правило, спонтанные, иногда вызывали обвинение: нашелся обвинитель, который официально довел до сведения магистратов поведение Гракха. Если бы смотр рыцарей проходил после его прибытия, его дело рассматривалось бы во время этой церемонии; ведь он был еще только

членом конного ордена, и малейшее нарушение, вынесенное против него, если бы его признали виновным, приняло бы форму лишения его общественного коня и исключения из восемнадцати веков. Но возможно, что на этом этапе истории цензуры наказания могли налагаться на представителей всех сословий в любой момент, предшествующий люстральному жертвоприношению, что обычное обследование граждан было завершено, и что Гракх предстал перед трибуналом цензоров один. Его защита стала знаменитой;[587] ее результат неизвестен. Суд, вероятно, закончился его оправданием,[588] хотя осуждение не оказало бы большого влияния на его дальнейшую карьеру, поскольку бесчестье, объявленное цензорами, не влекло за собой лишения возможности занимать магистратуру. Но, как бы там ни было, Гракх улучшил ситуацию, обратившись к народу с речью,[589] в которой он защищал свое поведение в качестве одного из его представителей в Сардинии. Речь была важна своими едкими описаниями привычек знати, освободившейся от моральной атмосферы Рима. С необычайной изобретательностью он вписал в описание привычек своей собственной официальной жизни язвительное обвинение, выраженное в самых откровенных выражениях, в корыстолюбии, роскоши, противоестественных пороках, безудержном грабеже среднего провинциального деспота. Его слушатели узнали подробности обстановки полководца - сложную кухонную утварь, толпу красивых фавориток, кувшины с вином, которые, опустошив, возвращались в Рим как вместилища таинственно приобретенного золота и серебра. Гракх, должно быть, порадовал свою публику темой, на которой так любят останавливаться массы, - пороками своих начальников. Яркость картины, должно быть, придавала ей ложную видимость всеобщей истины. Она казалась обвинением какого-то класса и наводила на мысль, что оратор стоит в стороне от своего собственного порядка и смотрит только на чистый суд народа. Его враги испробовали новый прием. Они знали, что одним из изъянов в его броне было сочувствие к требованиям союзников. Если бы он был скомпрометирован как агент в этом темном заговоре, который побудил дерзкие итальянские требования и закончился открытым восстанием, его кредит доверия был бы потерян, даже если бы его карьера не была завершена изгнанием. Поэтому ему пригрозили импичментом за соучастие в движении, которое вылилось во вспышку в Фрегеллах. Неизвестно, был ли он вынужден подчиниться решению суда; но нам говорят, что он рассеял все подозрения и преодолел последнее и самое опасное из препятствий, которыми был завален его путь.[590] Сразу же он предложил себя в трибуны, и по мере приближения дня выборов аристократия приложила все усилия, чтобы добиться его поражения. Старые разногласия были забыты; общая паника породила гармонию среди клики; кажется даже, что его противники согласились, чтобы против него не выдвигался человек крайних взглядов, ведь Гракху в его трибунате не приходилось сталкиваться с таким враждебным коллегой, как Октавий. Кандидатура экстремиста могла означать голоса для Гракха, и предпочтительнее было сосредоточить поддержку на нейтральных людях или даже на людях либеральных взглядов, которые, как известно, пользовались популярностью у толпы. Большая *клиентура* сельских районов, несомненно, была отбита; и мы знаем, что, с другой стороны, надежды нуждающегося земледельца и благодарность новоиспеченного крестьянина привели к Гракху многих сторонников из далеких итальянских усадеб. Город был так наводнен наплывом сельских жителей, что многие избиратели оказались без крыши над головой, а место для голосования могло вместить лишь часть толпы. Остальные забирались на крыши и черепицу и наполняли воздух нестройными партийными криками, пока не освобождалось место для спуска в помещения для голосования. Когда объявили результаты голосования, оказалось, что предвыборные маневры знати оказались настолько успешными, что Гракх занял лишь четвертое место в списке. 591] Но с момента его вступления в должность его преобладание было гарантировано. Мы ничего не слышим о коллегах, которых он затмил. Некоторые, возможно, попали в поток красноречия Гракха;

другие сочли бесполезным или опасным противостоять энтузиазму, который вызвали его предложения, и грозной комбинации, которую он создал благодаря заманчивым перспективам, открывавшимся перед членами конного ордена. Коллегиальный характер магистратуры практически канул в Лету, а его правление стало правлением одного человека. Сначала он дал волю страстям толпы, затронув, как никто до сих пор не осмеливался, мрачную трагедию падения его брата и последовавшие за этим жестокие преследования. Кровь убитого трибуна была совершенно неприемлема в государстве, которое однажды развязало войну с Фалериями в наказание за простое оскорбление священного сана и приговорило к смерти гражданина за то, что тот не встал со своего места, когда трибун проходил по Форуму. "На ваших глазах, - говорил он, - они избили Тиберия до смерти дубинами; они протащили его мертвое тело от Капитолия через весь город, чтобы бросить его в реку; тех его друзей, которых они схватили, они предали смерти без суда и следствия. И все же подумайте, как ваша конституция охраняет жизнь гражданина! Если человек обвиняется в смертной казни и не подчиняется немедленно повестке, предписывается, чтобы на рассвете к его дверям пришел трубач и вызвал его звуком трубы; пока это не будет сделано, против него не может быть подан голос". Так тщательно и бдительно наши предки регулировали ход правосудия". [592] Здесь крик о мести слился с великим конституционным принципом; и эти слова проложили путь для немедленно сформулированной меры, согласно которой ни один суд не должен учреждаться для рассмотрения дела гражданина по обвинению в смертной казни, если такой суд не получил санкции народа.[593] Здесь подтверждается право Комиции передавать свою юрисдикцию без апелляции; здесь отрицается право Сената учреждать инквизицию без апелляции. Эта мера стала развитием предложения Тиберия Гракха, который, вероятно, сам обратил внимание на то, что учреждение сенатом столичных комиций является нарушением принципа *провокации* Кай Гракх, однако, не пытался предписать возможность обжалования решений постоянных комиций (*quaestiones perpetuae*); Ибо, хотя инициатива создания этих судов принадлежала сенату, они уже давно получили санкцию закона, а их самостоятельность, возможно, объяснялась принципом, согласно которому народ, создавая комиссию, отказывался от своих собственных полномочий по окончательной юрисдикции. Но были и другие технические, а также практические недостатки в возбуждении апелляции в этих комиссиях. *Провокация* всегда заключалась в оспаривании решения магистрата; но в этих постоянных судах действия председателя и *заседавших* с ним *судей* были практически неразличимы, а вынесенный приговор ни в коей мере не являлся решением магистрата. Кроме того, суды были учреждены, чтобы избежать неуклюжести народной юрисдикции; но эта неуклюжесть была бы восстановлена, если бы их решение было поколеблено дальнейшей апелляцией к *Comitia*. На самом деле Гракх, предлагая этот закон, вовсе не думал об обычном порядке юрисдикции. В его голове были суммарные меры, которые сенат принимал для борьбы с такими эпидемиями преступлений, которые, как считалось, были не под силу обычным судам, и особенно то, как этот орган в последнее время рассматривал предполагаемые дела о мятеже или измене. Расследование, направленное против сторонников его брата, было решающим случаем, который он вынес на суд народа, и возможно, что еще позже расследование, последовавшее за падением Фрегеллы, было начато исключительно по решению сената и нашло некоторое количество жертв среди граждан. Практически, таким образом, Гракх в этом законе полностью отрицал, либо в результате опыта, либо предвидя, законность суммарной юрисдикции, которая следовала за объявлением военного положения.

При создании этих чрезвычайных комиссий сенат никогда не брал на себя должность судьи, да и сама комиссия не состояла из сенаторов, назначенных палатой. Юрисдикция осуществлялась магистратом по указанию сената, и созданный таким образом суд выбирал

своих ассессоров, которые составляли простой совет для консультаций, по своему усмотрению. Было очевидно, что для того, чтобы закон был эффективным, его главная санкция должна быть направлена не против корпорации, которая его назначила, а против судьи. Ответственность отдельного человека легче всего обеспечить, и никакие меры предосторожности против военного положения не могут быть эффективными, если разделение власти или даже повиновение власти однажды будет допущено. Поэтому Гракх заявил, что уголовное преследование должно быть возможно против магистрата, который осуществлял юрисдикцию, объявленную теперь незаконной.[594] Общее право Рима пошло еще дальше и объявило каждого человека ответственным за незаконные действия, совершенные по приказу магистрата. Преступление, которое совершил магистрат в результате осуществления этой запрещенной юрисдикции, вероятно, было объявлено государственной изменой: поскольку в Риме не было постоянного суда, который бы рассматривал это преступление, была установлена юрисдикция комиции. Наказание за это преступление, несомненно, было смертным, и по древнему предписанию такое наказание требовало суда перед Собранием веков. Однако возможно, что Гракх наделил плебейское собрание триб полномочиями выносить смертный приговор магистрату, нарушившему предписания его закона. Но, хотя магистрат и был главным, он, по-видимому, не был единственным преступником в соответствии с положениями этого законопроекта. Несмотря на то, что сенат в целом не мог быть наказан за совет, побудивший магистрата к незаконным действиям, похоже, что отдельный сенатор, принявший или, возможно, поддержавший постановление, которое привело к запрещенной юрисдикции, был подвергнут наказанию, предусмотренному законом.[595] Действие этого закона было ретроспективным, или, возможно, по своей природе он был задуман так, чтобы покрыть прошлые злоупотребления, которые вызвали его появление; ведь в некотором смысле он не создавал нового преступления, а просто переформулировал принцип апелляции в форме, подходящей для процедур, от которых он хотел защитить. Можно было бы возразить, что обычное право защищало консула, руководившего процессом суда, который обрек на гибель сторонников Тиберия Гракха; но этот аргумент, если бы он и был использован, оказался бесполезным. Попиллий должен был стать для всех свидетелем реальности этого восстановления палладиума римской свободы. Против него был выдвинут импичмент, и либо до, либо после его отъезда из Рима сам Кай Гракх сформулировал и провел через плебс законопроект о запрете, обрекавший его на изгнание.[596] Напрасно юные сыновья и многочисленные родственники Попилия молили народ о пощаде.[597] Память о возмущении была слишком свежа, радостное ощущение силы возмездия слишком ново и сильно. Все, что было возможно, - это встречная демонстрация, которая должна была подчеркнуть симпатию лоялистов к прославленной жертве, и Попилия проводили до ворот плачущей толпой.[598] Мы знаем, что осуждение настигло и его коллегу Рупилия,[599] и вполне вероятно, что он тоже пал жертвой чувства мести или справедливости, пробужденного законом Гракхов.

Менее оправданный дух возмездия демонстрирует другой закон, которым Гракх открыл свой трибунат, хотя в нем, как и во всех других его актах, удар, нанесенный врагам, не был лишен глубокого политического значения. Он внес предложение о том, что магистрат, свергнутый народом, не должен занимать больше никаких должностей. Октавий был очевидной жертвой, и простое личное значение этой меры не обязательно означает, что Гракх пылал гневом против человека, чья оппозиция его брату быстро забылась в деградации, которую он испытал от рук этого брата. Ненависть к обиженному может быть чувством, естественным для обидчика, но вряд ли может быть присуща даже самому яростному стороннику автора злодеяния. Лучше было бы забыть Октавия, если бы Октавий позволил себя забыть; но крепкий защитник сената, все еще находящийся в середине своей карьеры, мог представлять собой будущую опасность и настоящее бельмо на глазу у народа: Язвительные речи Гракха,

вероятно, завели его и его слушателей дальше, чем он намеревался, и восстановление трибуната его брата в его целостности, возможно, казалось, требовало такого решительного утверждения справедливости его поступка. Но законность низложения народом была еще более важным моментом. Просто утверждать это означало бы подразумевать, что Тиберий был неправ. Как можно было более решительно заявить об этом, чем сделав последствия вечными и придав им характер наказания? Но личный аспект этой меры оказался слишком оскорбительным даже для ее автора. Голос, вызывавший уважение, прозвучал против: Гракх, отзывая законопроект, признал, что Октавий был спасен благодаря заступничеству Корнелии[601].

Пока что его законодательство давало лишь выход обоснованному недовольству народа и гарантию защиты его самых примитивных прав. За этим должны были последовать апелляция к их интересам и меры по обеспечению их постоянного комфорта. Удивительная солидарность Гракха и его сторонников, венчающая триумф демагога, который должен заставить каждого человека почувствовать, что он является агентом своего собственного спасения, были связаны с этим конструктивным законодательством в интересах классов, которое древние авторы, писавшие под влиянием аристократических наклонностей, называли уродливым именем взятки.[602] Бедняки Рима, если мы включим в это понятие тех, кто жил на краю, а также тех, кто погрузился в глубины нищеты, вероятно, составляли большинство жителей города. В городе практически не было организованной промышленности. Розничные торговцы и поставщики предметов роскоши, несомненно, процветали; но в тех скудных производствах, которые все еще обеспечивал капитал, армия свободных рабочих, должно быть, всегда терпела поражение в жестокой конкуренции с более дешевыми и умелыми рабами или вольноотпущенниками. Но бедняки Рима не были тем трусливым и дрожащим классом, который можно увидеть на улицах северной столицы. Это были веселые и жизнерадостные лаццарони с мостовых и портиков, составные продукты многих климатов, со всей живой выносливостью южанина и интеллектом, отточенным хитроумными приспособлениями, необходимыми для получения минимального жизненного пропитания. Если бы они могли обеспечить себе это только за счет безысходного труда, который был предусмотрен экономическими условиями Рима, их участь была бы далеко не такой несчастной. Как и в большинстве древних цивилизаций, бедняки были лучше обеспечены удобствами, чем самым необходимым для существования. Хотя огромных средств для народных развлечений, с помощью которых цезари поддерживали свою популярность, все же не хватало, и даже возведение постоянного театра не одобрялось сенатом,[603] тем не менее столица давала бесконечные поводы для восторженных умов и наблюдательных глаз. Именно для их блага богачи устраивали гладиаторские представления, а государство - великолепные триумфы; но именно выходки знати в судах и на избирательных участках были более постоянным и приятным зрелищем. Посещение Contiones и Comitia не только радовало глаз и слух, но и наполняло сердце гордостью, а иногда и кошелек деньгами. Ведь здесь отряды, незначительные сами по себе, превращались в коллективную силу; они могли перекричать самых высокопоставленных сенаторов, возвысить сиюминутного фаворита, вознаградить за услугу или отомстить за оскорбление в условиях полной безопасности, которую обеспечивала тайна голосования. Большое количество бедных слоев населения было связано с великими домами узами предков; потомки вольноотпущенников, хотя и не могли предъявить законных требований к дому, который представлял покровителя их предков, были слишком ценными избирателями, чтобы представители этого дома пренебрегали ими, даже когда чувство ответственности за богатство, которое было одной из лучших черт римской цивилизации, не могло обеспечить случайное облегчение страданий иждивенцев. С политической точки зрения, такая зависимость была абсолютно деморализующей, поскольку делала получателей благ либо

слепами сторонниками, либо предателями личного дела, которое они исповедовали. В целом было предпочтительнее, чтобы, если покровительство было необходимо, государство взяло на себя эту обязанность; большая часть непривилегированного пролетариата была бы поставлена в один ряд со своими более удачливыми собратьями, и последние были бы освобождены от зависимости, которая просто служила частным и эгоистичным интересам. С полунищим пролетариатом можно справиться только тремя способами. Их можно заставить работать, поощрить к эмиграции или частично поддержать государством. Первый способ был невозможен, так как Рим должен был иметь дело не с погруженной в воду частью населения, а с большей частью резидентов; второй, хотя и дискредитированный сенатом, в одной форме был опробован Тиберием Гракхом и должен был быть опробован в другой форме Каем; но это средство никогда не может быть совершенным, так как оно не затрагивает класс, более высокоразвитый, более умный и в то же время более способный к деградации, который очаровывает столичная роскошь. Последнее средство еще не было испробовано. Оставалось, чтобы его опробовал Гракх. У нас нет анализа его мотивов, но можно предположить множество провокаций к его скромной попытке государственного социализма. Во-первых, эллинский идеал обеспеченного и независимого гражданина, примером которого служили государственные выплаты и "распределения", которые великие вожди старого мира считали необходимыми для осуществления демократии. Во-вторых, был очевиден тот факт, что правительство собирало золотой урожай с провинций и лишь разбрасывало несколько шальных зерен среди своих подданных. В-третьих, было соображение, что многое было сделано для помещичьего класса и ничего для городского пролетариата. Несомненно, присутствовали и другие соображения более сиюминутного и экономического характера. Территория, на которой производилась кукуруза, была теперь невелика. Сицилия все еще была, возможно, истощена подневольной войной, а житница Рима практически находилась в Африке. Импорт кукурузы из этого региона, зависящий от погоды и управляемый исключительно соображениями денежного рынка, вероятно, был нерегулярным, а цена, должно быть, подвергалась большим колебаниям. Но в это конкретное время предложение должно было сократиться до угрожающей степени, а цена пропорционально подняться из-за стаи саранчи, которая недавно опустошила урожай в Африке.[604] Наконец, чисто личное преимущество обеспечения субсидированного класса для политической поддержки демагога в данный момент - соображение, которое является лишь более низким толкованием эллинского идеала - должно было привлекать практического политика в Гракхе, как более безличный взгляд привлекал государственного деятеля. Он обеспечил бы себе постоянный и стабильный электорат и защитился бы от опасности, которая оказалась роковой для его брата, - отсутствия в Риме большинства его сторонников в какой-то критический момент.

Из несовершенных записей о предложении Гракха мы узнаем, что определенное количество кукурузы должно было продаваться ежемесячно по сниженной цене любому гражданину, который предложит себя в качестве покупателя.[605] Ставка была установлена на уровне 6-1/3 ассов за модий, что, по расчетам, составляло около половины рыночной цены.[606] Ежемесячная раздача практически исключала всех, кроме городского пролетариата, и таким образом ограничивала действие помощи бедным города и способствовала увеличению их числа. Но детали этой меры, которые были бы решающими для определения ее экономического характера, нам неизвестны. Мы не знаем, какую долю составляло ежемесячное количество зерна, продаваемое по дешевой цене, в общей сумме, необходимой для содержания семьи; предоставлялась ли помощь только главе дома или также его взрослым сыновьям; мог ли любой человек, претендующий на права гражданства, явиться на ежемесячную распродажу или только те, кто зарегистрировал свое имя в определенное время. Факт регистрации, если он существовал, мог рассматриваться как

клеймо и, таким образом, мог ограничить число получателей. Некоторые экономические возражения против его схемы не были неизвестны Гракху; более того, они активно выдвигались его противниками. Указывалось, что он изнуряет трудящихся и истощает казну. Обоснованность первого возражения в значительной степени зависит от неизвестных "данных", о которых мы только что упоминали. Возможно, Гракх утверждал, что за тот же объем работы можно обеспечить больший уровень комфорта. Второе возражение он был настолько далек от того, чтобы признать, что утверждал, что его предложение действительно облегчит бремя Aerarium.[607] Возможно, он считал, что умеренные, постоянные и исчисляемые потери на кукурузе, закупаемой в больших количествах и, следовательно, предположительно по сниженной цене, в конечном итоге обойдутся дешевле, чем расходы, связанные со спазматическими попытками, которые государство вынуждено было предпринимать во время кризиса, чтобы выставить зерно на рынок; и, возможно, была некоторая правда в идее, что, когда государство впервые станет постоянным покупателем, конкуренция между мытарями Сицилии или владельцами Африки может значительно снизить нормальную рыночную цену. Похоже, его не беспокоило соображение, что продажа кукурузы по цене ниже рыночной в Риме вряд ли была лучшим способом помочь итальянскому фермеру. Государство, конечно, будет покупать на самом дешевом рынке, а такого в Италии не было. Но вполне вероятно, что ни при каких обстоятельствах Рим не мог стать обычным рынком для продукции недавно созданных собственников, и что, за исключением периодов необычной нехватки в трансмаринских провинциях, импортная кукуруза всегда могла стоить дешевле той, что выращивалась в Италии. По новой системе итальянский крестьянин мог найти покупателя в государстве, если бы Сицилия и Африка пострадали от неурожая. Уязвимое место в системе продажи Гракхана проявлялось в том, что не проводилось расследование относительно средств претендентов. Этот недостаток был решительно доведен до сведения законодателя, когда престарелый аристократ Кальпурний Пизон по прозвищу "Бережливый", автор первого закона, дававшего возмещение провинциалам, и решительный противник схемы Гракха, серьезно выступил по случаю первой раздачи и потребовал свою долю.[608] Этот урок будет напрасным для тех, кто считает, что почетное принятие помощи подразумевает универсальность дара: что сдерживающие влияния, если они существуют, должны быть моральными, а не результатом инквизиции. Но ни возможность, ни необходимость дискриминации, вероятно, не были бы допущены Гракхом. Это вызвало бы возмущение народа и не соответствовало широко распространенному в греческом и небезызвестному в римском мире государственному мышлению, которое считало одной из обязанностей государства обеспечивать своих граждан дешевой пищей. Причитания последующих дней по поводу нищающего пролетариата и истощенной казны[609] не могут быть отнесены на счет первоначальной схемы, за исключением того, что она послужила прецедентом; они были следствием действий последующих демагогов, которые, проинструктированные Гракхом о способах обеспечения легкой популярности, ввели законы, санкционировавшие почти безвозмездную раздачу зерна. Закон Гракха содержал положение о строительстве дополнительных хранилищ для накопления большого запаса кукурузы, которого требовала новая система регулярных публичных продаж, и созданные таким образом семпрониевские зернохранилища остались свидетельством оригинальности и завершенности работы трибуна[610].

Римского гражданина по-прежнему часто отвлекали от работы или пробуждали от вялости призывы на военную службу; практика призыва порождала ряд недовольств, одно из которых уже привлекло внимание Тиберия Гракха. Кайус был обязан разобраться с этим

вопросом, и два положения его закона, которые нам известны, свидетельствуют о духе умеренности, который не оправдывает убеждение, что демагог играл в армии, и не подтверждает мнение, что его вмешательство ослабило узы дисциплины в легионах.[611] Самой скандальной аномалией в системе римской армии были жалкие гроши, получаемые призывником, когда из его номинальной зарплаты были сделаны законные вычеты. Его дневное жалованье составляло лишь треть денария, или пять и одна треть асса в день, как это осталось неизменным со времен Второй Пунической войны, несмотря на то, что условия службы теперь были совершенно иными и гарнизонная служба в провинциях на долгие годы заменила временный призыв к оружию, которого требовала только средняя италийская кампания; из этой квоты вычиталась стоимость одежды, которую он носил, и, как есть все основания полагать, весь рацион, который он потреблял. Мы должны были ожидать, что радикальный реформатор повысит ему жалованье или, по крайней мере, даст ему бесплатную еду. Но Гракх довольствовался тем, что ввел закон о том, что одежда солдата должна выдаваться ему государством бесплатно.[612] Еще одно военное злоупотребление было связано с трудностями, которые испытывали командиры в поиске эффективных рекрутов. Молодые и авантурные люди были лучшим и более охотным материалом, чем те, кто уже привык к беспечной уличной жизни или занимался каким-то оседлым делом: и хотя едва ли можно поверить, что мальчиков до восемнадцати лет заставляли поступать на службу, им определенно разрешали и, возможно, поощряли вступать в ряды. Закон Гракха запрещал призывать новобранцев в возрасте, не достигшем семнадцати лет.[613] Эти военные меры, незначительные сами по себе, имели большое значение как начало движения, благодаря которому весь вопрос о реформе армии, совершенно игнорируемый правительством, был взят на вооружение и осуществлен независимыми представителями народа. Но римская армия в значительной степени была творением исполнительной власти, и для радикальных изменений, которые только и могли сделать это могучее орудие, завоевавшее империю, способным ее защищать, требовался полководец, а не трибун.

Последним благом Гракха для граждан в целом стал новый аграрный закон.[614] Необходимость такой меры была вызвана главным образом приостановкой работы аграрной комиссии, которая оказалась препятствием для дальнейшего осуществления плана его брата; и есть все основания полагать, что новый семпроновский закон вернул комиссарам их судебные полномочия. Но опыт мог показать, что суть закона Тиберия требовала дополнения или изменения, и Кай принял процедуру, которой обычно следовал римский законодатель, когда возобновлял уже действующую меру. Его закон был не кратким рядом поправок, а всеобъемлющим законодательным актом, настолько полно охватывавшим все предыдущее семпроновское законодательство, что последующее законодательство ссылается на закон Кая, а не Тиберия Гракха, как на авторитет постановлений, которые произвели революцию во владении общественной землей.[615] Новые положения, похоже, касались скорее деталей, чем принципов, и нет никаких признаков того, что они были направлены на приобретение территории, которая была освобождена от действия предыдущей меры, или даже касались опасного вопроса о правах Рима на земли, на которые претендовали итальянские союзники. Мы не можем попытаться определить, в какой степени исполнительная власть, предоставленная новым аграрным законом, была необходима или эффективна. Конечно, результаты переписи населения в течение следующих десяти лет не показали увеличения числа зарегистрированных граждан;[616] но это обстоятельство может быть связано с шагами, которые вскоре должны были предпринять противники Гракхов, чтобы аннулировать результаты их законодательства. Не исключено, однако, что новый закон о кукурузе мог несколько умерить пыл пролетариата в отношении сельскохозяйственной жизни, которая лишила бы их всех ее преимуществ.

Первый трибунал Кая Гракха, несомненно, стал свидетелем завершения этих четырех законодательных актов, которыми были щедро оплачены долги его сторонников и задействована их помощь в делах, которые лишь косвенно могли быть истолкованы как их собственные. Но в этом же году, вероятно, были обнародованы акты, которые должны были найти свое воплощение во втором трибунале.[617] Главным среди них был тот, который касался передачи судебной власти, осуществляемой не магистратом, а коллегиями присяжных, толковавших закон и факты в постоянных комиссиях, которые были недавно созданы в соответствии с законом. Интерес масс к этому вопросу был отдаленным. Постоянный суд по делам об убийствах, кажется, действительно имел свое место среди комиций; но, даже если коррупция его председателя в одном случае была четко доказана,[618] вряд ли сенаторские судьи стали бы беспокоиться о том, чтобы подвергать себя неправомерному влиянию при вынесении решения по делу гражданина из низшего класса. Тот факт, что это правосудие осуществлялось аристократией, мог вызвать определенный интерес у населения; но вопрос о передаче судов из рук сенаторских *судей*, вероятно, никогда не был бы услышан, если бы самый большой пункт в этой судебной компетенции не имел решающего политического значения. Римское государство, как и другие государства древнего мира, не смогло оградить свой судебный аппарат от партийных влияний. Одним из самых верных признаков народного суверенитета считалось то, что только народ мог выносить приговор по самым тяжким преступлениям и назначать смертную казнь,[619] а политическая мысль последнего времени, возможно, полностью приспособилась к эллинскому мнению, что правительство государства должно быть подвластно органу людей, обеспечивающему уголовную ответственность в политических делах. Эта жизненно важная власть все еще сохранялась за комицией, когда уголовное правосудие касалось тех элементарных фактов, которые являются условием существования государства. Народ по-прежнему признавал измену во всех ее проявлениях - понятие, которое для римского ума охватывало почти все возможные формы чиновничьего злоупотребления, - и мрачная летопись судебных процессов в *Comitia*, начиная с этого времени и вплоть до конца Республики, показывает, что это оружие использовалось как самое сильное средство политического наказания. Но недавно случай предоставил возможность провести интересный эксперимент по приравнению уголовной юрисдикции в некоторых ее отраслях к гражданским судам. Председатель и присяжные одного из недавно созданных *квесторов* представляли собой столь же изолированную группу, как и *судья* гражданского правосудия со своими заседателями или более крупные коллегии центумвиров и децемвиров. Они не обладали никакой властью, кроме юрисдикции в рамках своего специального департамента; казалось, не было причин, по которым на них должны были влиять соображения, возникающие по вопросам законодательного или административного характера. Но эта видимость обособленности была совершенно иллюзорной, и благонамеренный эксперимент оказался таким же тщетным, как и эксперимент Солона, когда он тщательно разделил административные и судебные коллегии в афинском сообществе и составил оба органа из практически одинаковых лиц. Новый суд по делам о вымогательстве, учрежденный Кальпурнием и обновленный позже юнианским законом, контролировался частью правящего органа, которая видела в каждом импичменте клевету на свою собственную систему управления, а в каждом осуждении - новый прецедент, препятствующий бесконтрольной власти, осуществляемой в прошлом или желанной в будущем отдельным присяжным. Этот классовый дух, возможно, был более сильным, чем подкуп, в производстве подозрительных оправдательных приговоров; и тот факт, что обвинение было откровенно признано самым распространенным партийным оружием, и что речи обвинения и защиты изобиловали неуместными политическими аллюзиями, свел вопрос о виновности обвиняемого к второстепенным пропорциям в глазах всех участников

этой судебной войны. Обвинения в коррупции так опрометчиво бросались на Рим, что мы редко можем оценить их обоснованность; но сильное подозрение во взяточничестве почти так же плохо для правительства, как и доказанное преступление; и, конечно, сенаторские судьи не уступали доказательствам, которые могли бы обеспечить осуждение для обычного человека. Некоторые недавние оправдательные приговоры послужили отличным материалом для реформаторов. Л. Аврелий Котта успешно вышел из процесса, который был простым поединком между Сципионом Эмилианом, выступавшим в качестве обвинителя, и Метеллом Македонским, выступавшим в качестве защитника. Судьи продемонстрировали свое недовольство влиянием Сципиона, оправдав Котту; и мало кто из зрителей поединка, похоже, даже притворялся, что верит в невиновность обвиняемого.[620] Все урегулирование в Азии было настолько запятнано подозрениями в денежном влиянии, что, когда Маний Аквиллий успешно справился с судами,[621] трудно было поверить, что сокровища Востока не сотрудничали в достижении этого результата, тем более что сам сенат отнюдь не одобрял некоторые особенности организации провинции Аквиллия. Легаты некоторых разграбленных зависимых территорий все еще находились в Риме, оплакивая приговор и вызывая к сочувствию своих беспомощных подданных[622] Обстоятельства благоприятствовали реформаторам; можно было привести конкретное дело и представить народу реальных страдальцев; в то время как сенат, возможно, из-за позиции некоторых честных несогласных, был не в состоянии оказать действенное сопротивление скандалу и его последствиям.

Если бы Гракх решил вернуть эту юрисдикцию комициям, он сделал бы шаг, теоретически оправданный тем, что из всех властей в Риме народ был меньше всего заинтересован в неправильном управлении провинцией. Но это было бы ретроградным движением с точки зрения процедуры; оно не обязательно упразднило бы сенаторское влияние и не достигло бы цели - удержать правительство в постоянном узде путем политического признания класса, который соперничал с сенатом в определенности своей организации и превосходил его в однородности своих интересов. Свод капиталистов, принявших титул рыцарей, давно уже терзался полным подчинением своих коммерческих интересов капризу провинциального губернатора и произволу домашнего правительства. Тиберий Гракх, указывая путь к земле обетованной, скорее всего, отразил, чем предположил, стремление крупных предпринимателей занять более определенное место в управлении, которое им отводилось. Его призыв прозвучал слишком поздно или казался слишком безнадежным, чтобы заручиться их поддержкой реформатора, который оскорбил их чувства как капиталистов; но после его смерти прошло десять лет для размышлений, и это были годы, которые свидетельствовали об огромном расширении их потенциальной активности и вызывали мучительное чувство беспомощности от той подчиненной роли, которую они играли и перед сенатом, и перед народом, когда речь шла о распоряжении королевствами. Предложений о том, чтобы дать им возможность участвовать в управлении провинциальным миром, было множество, и их разнообразие отражено в различных планах, которые выдвигал сам Кай Гракх. Система, на которую намекал его брат, представляла собой объединенный совет, состоящий из существующих сенаторов с добавлением равного количества эквитов; и мы уже предположили, что эта Палата шестисот должна была стать сенатом будущего, эффективным для всех целей и не занимающимся исключительно уголовной юрисдикцией. Такое же значение может иметь и схема, которая, по-видимому, была предложена Каем Гракхом во время, а возможно, и до его первого пребывания в трибунате, и периодически появляется в предложениях реформаторов вплоть до времени Суллы. Говорят, что Гракх предложил увеличить сенат за счет добавления трех или, как утверждает один из авторитетов, шестисот членов конного ордена.[623] Это предложение, если оно касалось увеличения сената, а не создания объединенной судебной коллегии, в которой меняющийся

состав конников выступал бы в качестве контроля над постоянными сенаторскими присяжными, вскоре должно было быть признано совершенно несоответствующим своей цели. Эта схема характерна для аристократа, который выдает себя за друга меркантильного класса и надеется обмануть бдительность этого проницательного братства. Постоянное вливание новой крови в сенат означало бы лишь укрепление его власти, при этом полностью обрывая связи, которые связывали новых членов с их первоначальным классом. Даже наводнение существующего органа большинством в две трети голосов новых членов имело бы преходящий эффект. Новый член курии вскоре отбросил бы свои прежние конные взгляды и перешел бы к взглядам своих старших коллег. Возможно, и в самом деле можно было бы придумать систему, по которой сенат в периодические периоды *люстры* пополнялся бы в равных пропорциях из бывших магистратов и рыцарей: таким образом можно было бы обеспечить постоянный приток настроений среднего класса в правящий орган. Но даже такая схема обеспечила бы избранным пожизненное пребывание у власти, а это было фатальным препятствием как для намерений реформаторов, так и для устремлений конного ордена. Если первые желали равновесия власти, то вторые хотели, чтобы интересы их класса обеспечивали его подлинные представители. И те, и другие понимали, что участие в исполнительной власти несущественно и что все, что нужно, можно получить, обладая только судебной властью. Поэтому окончательное решение Гракха заключалось в создании совершенно новой *судебной* коллегии, которая должна была состоять исключительно из членов титулованного рыцарского сословия[624].

Не было необходимости или желания, чтобы в судебном законе упоминалось какое-либо сословие или использовался титул вежливости *equites* для обозначения новых судей. Этого можно было бы добиться, предъявляя требования, которые практически совпадали с социальными условиями, необходимыми для обладания титулом рыцаря. Одним из определяющих факторов был имущественный ценз, который, возможно, составлял скромную сумму в четыреста тысяч сестерций.[625] Это была сумма капитала, которая, как кажется, в этот период давала ее обладателю право служить верхом в армии и, следовательно, претендовать на титул *eques*, но это была сумма, которая не вызывала тревожных предположений о правлении миллионеров, а скорее указывала на высший средний класс как на наиболее подходящих хранителей судебной власти. В коллегию не только не допускались магистраты и бывшие магистраты, но дисквалификация распространялась на отцов, братьев и сыновей магистратов, а также бывших и настоящих сенаторов. Видимая цель этих положений, несомненно, заключалась в том, чтобы гарантировать, что избранные присяжные не будут связаны родственными узами с теми, кто предстанет перед их судебским креслом; но они должны были привести к исключению из новой коллегии многих истинных рыцарей восемнадцатого века; ведь этот отборный корпус состоял в основном из членов знатных семей. Аналогичный эффект произвел бы и возрастной ценз. Присяжные Гракхов должны были быть старше тридцати и моложе шестидесяти лет, в то время как многие военные *эквиты* были моложе прежнего возраста, что объяснялось практикой выхода в отставку после получения квестора или избрания в сенат. Таким образом, аристократический элемент в конном ордене, если использовать это выражение в самом широком смысле, чтобы включить в него как военных, так и гражданских рыцарей, был строго исключен: остались только люди, чьи деловые интересы ни в коей мере не были осложнены уважением к сенаторским традициям. Официальный список новых присяжных (*album iudicum*), вероятно, составлялся ежегодно; и есть все основания предполагать, что при каждом пересмотре состав значительно менялся, поскольку одно из условий членства в коллегии - проживание в радиусе одной мили от Рима - вряд ли могло

соблюдаться деловыми людьми с мировыми интересами в течение сколько-нибудь длительного периода. Только господствовавшее до сих пор представление о том, что судебная служба - это бремя (*munus*), могло побудить ревизионную власть освободить присяжных от этой службы: и эта практика должна была быть желанной для самих капиталистов, многие из которых вполне могли желать получить долю власти и, возможно, прибыли, которую давала юрисдикция над их начальством. Нам сообщают, что отбор первой коллегии был поручен самому законодателю;[626] на будущее иностранный претор должен был ежегодно составлять список из четырехсот пятидесяти человек, имеющих право рассматривать дела о вымогательстве.[627] Неизвестно, было ли это полное число новых присяжных, или же существовали дополнительные члены, отобранные другим органом для рассмотрения других преступлений. Маловероятно, что судебный закон Гракха навязал новый класс *судей* непосредственно гражданским судам. *Судья* частного права по-прежнему сохранял свой характер арбитра, назначаемого по согласию сторон, и было бы неправильно ограничивать этот выбор классом, определенным статутом. Но практическая монополия на юрисдикцию в важных делах, которую, как кажется, приобрели сенаторы, отныне была нарушена, и *judex* в гражданских исках иногда брался из конного ордена[628].

Поверхностный аспект этой великой перемены казался полным надежд на будущее. Достаток новых присяжных можно было рассматривать как гарантию их чистоты; их избрание из среднего класса - как гарантию обоснованности и бескорыстности их суждений. Возможно, Гракх и сам был жертвой этой надежды и верил, что бич знати, который он передал в руки рыцарей, будет, по крайней мере, достойно применен. Суждения загробного мира различались в зависимости от того, каким образом они осуществляли свою власть. Цицерон, отстаивая притязания ордена на возобновление власти, мог утверждать, что за почти пятьдесят лет владения судами их решения никогда не были запятнаны ни малейшим подозрением в коррупции[629] Это было безопасное утверждение, если подозрение оправдывается только доказательством; ведь присяжные Гракхов, похоже, с самого начала были освобождены от любого преследования за взяточничество.[630] Это юридическое освобождение тем более примечательно, что Гракх сам был автором закона, допускавшего уголовное преследование за продажность приговора.[631] Трудно понять значение этого постановления, поскольку магистраты, против которых оно было направлено, в редких случаях были судьями фактов, за исключением военных областей. Он не мог относиться к председателю постоянной комиссии, который был простым проводником решения присяжных; но Гракх, вероятно, предполагал периодическое возрождение специальных комиссий, санкционированных народом, и возможно, что даже два претора, председательствовавшие в гражданских судах, подпадали под действие этого закона, который, возможно, не был направлен только против коррупционных приговоров по уголовным делам, как это произошло впоследствии, когда закон был возобновлен Суллой. Возможно даже, что закон относится к периоду, предшествовавшему созданию конных судов; но даже при таком предположении исключение последних из сферы его действия было чем-то вроде аномалии; ведь даже гражданские суды Рима, по аналогии с которыми были созданы присяжные постоянных комиций, в ранние времена несли уголовную, а в более поздний период, по крайней мере, материальную ответственность за несправедливый приговор.[632] В другом месте у нас будет повод остановиться на том, какое значение придавал конный орден этому иммунитету, и мы увидим, что его облегчение от избавления от досадных преследований само по себе не является признаком коррупции. Один из наших авторитетов действительно решительно утверждает, что в конных судах в конечном счете преобладало взяточничество,[633] и можно легко представить себе обстоятельства, которые сделали бы это обращение естественным, если не неизбежным. Группа капиталистов, стремящаяся добиться вынесения приговора по уголовному делу, имевшему чисто

коммерческое значение, вряд ли стала бы медлить с использованием коммерческих методов в отношении своих менее состоятельных представителей в судейской коллегии, и голоса могли быть куплены путем сделок, в которых денежные платежи не играли никакой роли. Но коррумпированность отдельных лиц имела гораздо меньшее значение, чем солидарность интересов и коллективное корыстолюбие меркантильного порядка в целом. Приговоры судов отражали решение биржи. Можно было даже создать обвинение^[634] только для того, чтобы проклясть человека, который, пользуясь своей властью, проявил тенденции, истолкованные как враждебные капитализму.

Будущая война между сенатом и эквитами не велась бы так яростно, если бы Гракх не дал своему любимому классу шанс утвердить позитивный контроль, в силу почти официального положения, над самыми богатыми владениями римского мира. Роковое завещание Аттала все еще оставалось игрой партий; но приз, который Тиберий предназначил народу, был использован Каем, чтобы скрепить свой договор с рыцарями. Уступка, о которой нельзя было открыто заявить, была достигнута столь косвенными средствами, что ее смысл, должно быть, ускользнул от большинства избирателей, одоббивших ее, а ее последствия, возможно, не были полностью осознаны самим законодателем. Массы, аплодировавшие новому закону о провинции Азия, возможно, видели в нем лишь обещание увеличить свои доходы; В то время как желание увеличить государственные финансы, которые он так сильно обременял, покончить с аномальным положением округа, который не был ни свободным, ни управляемым, ни протекторатом, ни провинцией, возможно, даже удовлетворить желания некоторых азиатских провинциалов, которые предпочитали регулярные поборы нерегулярным, могло сочетаться в сознании Гракха с желанием увидеть, как эквиты противостоят сенату в еще одной сфере. Изменения, которые он предлагал, касались налогообложения провинции. Невозможно определить, насколько он был ответственен за возложение новых тягот на азиатских подданных Рима. Увеличение государственных доходов, которым он хвастался в одной из своих речей к народу,^[635] новые портовые сборы, которые ему приписывают,^[636] могут указывать на некоторые его собственные творения; но цель, к которой он стремился, похоже, заключалась в основном в возрождении системы налогообложения, существовавшей в царстве Атталидов, сопровождаемой новой и, как он, возможно, считал, лучшей системой сбора. Не исключено, что именно он впервые обременял налогоплательщиков выплатой десятины, ведь этот способ получения доходов был чрезвычайно древним во всех эллинизированных землях и вряд ли был неизвестен пергамским царям. Этот метод, благодаря своей эластичной природе, менее обременителен для сельхозпроизводителя, чем прямой налог; ведь выплата обусловлена размером урожая и не зависит от изменения стоимости денег. Главным возражением против этого налога, если рассматривать его сам по себе и вне зависимости от сопутствующих обстоятельств, была огромность доходов, которые он приносил; суммы, которые требовал восточный деспот, были излишни для экономного управления Римом; а римская администрация полувеком ранее могла бы сократить десятину до двадцатой части, как она фактически сократила налоги Македонии до половины их первоначальной суммы. Сицилия, правда, служила примером десятины; но расходы правительства уменьшаются пропорционально площади управления, и Сицилия не могла обеспечить достаточные портовые сборы и другие денежные платежи, которые должны были облегчить бремя торгового богатства Азии для землевладельцев. Рейтинг новой провинции был, по сути, признанием изменений в теории имперского налогообложения. Азия должна была не просто обеспечивать себя; ее доходы должны были приносить излишки, которые должны были дополнять дефицит других земель или помогать поддерживать столичный пролетариат.

Реализация этого принципа, возможно, и не налагала более тяжелого бремени, чем то, которое Азия знала во времена своих королей. Но вымысел о том, что новая зависимость должна поддерживаться в состоянии "свободы", который даже после падения Аристоники, по-видимому, оказывал определенное влияние на римскую политику, привел к приостановке регулярного налогообложения для целей центрального правительства, из-за чего предложения Гракхов рассматривались в определенных политических кругах Рима в свете новизны и, возможно, тягот.[637] Вряд ли они могли носить тот же характер для самих азиатских провинциалов. Военные репарации и поборы, последовавшие за великой борьбой, должны были стать более тяжким бременем, чем система налогообложения, к которой они привыкли: и невероятно, чтобы за шесть лет, прошедших после подавления восстания, или даже за три года, прошедших после завершения организации Аквилы, Рим не собирал доходов со своих новых подданных для административных целей. Точнее, они, возможно, и поступали, но в раздражающем порядке и нерегулярно. Нужна была методичная система, которая должна была разом отменить фикцию "свободы" и реальность поборов, взимаемых по капризу правителя в данный момент. Такая система была предложена Гракхом, и она, несомненно, была достигнута благодаря применению характерного для римлян метода сохранения, к добру или к худу, принципов организации, которые уже существовали в новой зависимости.

Новизна системы Гракхов заключалась не в способе обложения, а в методе, принятом для получения доходов. Самым большим препятствием для системы десятины является сложность внедрения эффективного метода сбора. Сбирать налоги, которые выплачиваются в натуральной форме, и распоряжаться ими с максимальной выгодой - тяжелое бремя для муниципалитета. Непременно возникнет желание создать систему подряда, а в империи эффективный подрядчик скорее всего найдется в центральном штате, чем в какой-либо из его зависимых территорий. Именно этим чувством воспользовался Гракх, приняв закон о том, что налоги Азии должны выставляться на аукцион в Риме,[638] а вся провинция должна рассматриваться как единая область налогообложения на большом аукционе, который цензор проводил в столице. Было совершенно очевидно, что никакая иностранная конкуренция не сможет одержать верх в этой распродаже доходов царства. Право на сбор десятины могла приобрести только могущественная компания римских капиталистов. Декуманы Азии стали бы сердцем и мозгом этого меркантильного организма; они образовали бы сенат и принципат среди *Publicani*. [639] Они наводнили бы провинцию своими местными директорами, агентами и вольноотпущенниками; каждая станция стала бы центром банковского дела, вовлекающего отдельных людей и города в долг, из которого десятина была бы лишь частью. Их деятельность не должна была ограничиваться владениями Рима; они распространялись по Фригии, ставшей беспомощной благодаря дару свободы, и проникали в царства соседних царей-покровителей, будучи уверенными, что магическое имя "гражданин Рима" служит прикрытием для самых сомнительных сделок и защитой от малейшего наказания. Сборщики не несли никаких наказаний за вымогательство, поскольку это преступление мог совершить только римский магистрат, а владение судами позволяло им поднимать призрак осуждения по этому обвинению перед глазами любого правителя, который мог бы попытаться остановить опустошительное шествие торговых батальонов.

Как купцы и банкиры рыцари были бы достаточно защищены судебными полномочиями своего сословия; но их операции как спекулянтов десятиной нуждались в другой защите. Контракты с цензором заключались на пять лет, а пыл конкурирующих компаний обычно обеспечивал государству обещание огромной суммы за привилегию заниматься сельским хозяйством. Однако стоимость десятины может снизиться из-за неурожая или военных

действий, а успешная компания может перестараться в своем стремлении получить контракт. Право пересматривать такие сделки когда-то обеспечивало сенату надежную власть над меркантильным классом. 640] Теперь эту полную зависимость предстояло устранить, и Гракх, не отнимая у сената права принимать решения, сформулировал в своем законе определенные принципы отмены налогов, которые тот должен был соблюдать. 641]

Этими косвенными и, казалось бы, невинными изменениями в отношениях меркантилистов к сенату был создан новый баланс сил в государстве. Республика, по мнению одного из поздних авторов, получила две головы,[642] и этот новый Янус, более зловещий, чем прежний, считался предвестником смертельного конфликта между соперничающими державами. В минуты спокойствия Гракх, возможно, верил, что его реформы были лишь новой иллюстрацией того гения компромисса, из которого выросла римская конституция, и что он лишь создал новые и необходимые средства защиты от недавно развившегося абсолютизма; Но в пылу конфликта, в который он вскоре был втянут, его мстительное воображение увидело лишь более мрачный аспект его нового творения, и он похвастался, что борьба за суды - это кинжал, который он бросил в Форум, инструмент, которым обладатель будет калечить тело своего противника".[643]

Но даже эти ограничения сенаторской прерогативы не были сочтены достаточными. Было выдвинуто гениальное предложение - ограничить контроль сената над более важными провинциями в пользу магистратов, конного ордена и народа. Одним из самых ценных видов покровительства, которым обладал сенат, было назначение консульских провинций. Они претендовали на право решать, какие из ежегодных команд за стенами должны быть зарезервированы для консулов года, и своим распоряжением в этом вопросе могли наградить фаворита богатством или властью, а политического противника обречь на бессилие или бесплодное изгнание. Эта власть уже давно использовалась как средство принуждения двух главных магистратов к повиновению воле сената, и конный орден, должно быть, с некоторой тревогой воспринимал возможность того, что Азия станет призом кандидатов, которым благоволила знать. Если бы Гракх объявил, что прямые выборы провинциальных командиров отныне должны быть в руках народа, это изменение было бы лишь небольшим отступлением от признанного конституционного прецедента; ведь существует не более чем техническая разница между избранием человека для уже установленной сферы деятельности, как это было сделано в случае Теренция Варро и двух Сципионов во время Пунических войн, и закреплением особого командования за уже избранным человеком. Но Гракх предпочел традиционный и непрямой метод. Он не оспаривал право сената решать, какие провинции должны быть назначены консулами, но постановил, что это решение должно быть принято до избрания этих магистратов на должность.[644] Таким образом, народ, ежегодно выбирая высших магистратов, избирал бы не только сферу управления внутри страны, но и определенные иностранные команды; приз, который до сих пор давал сенат, косвенно переходил бы в дар народу, а кандидаты комиций получали бы в свое распоряжение ведомства, которые, предположительно, были самыми важными из тех, что находились в распоряжении сената. Чтобы обеспечить окончательность соглашения, заключенного сенатом, и не допустить, чтобы этот орган впоследствии отменил неудобное назначение, к которому он невольно прибегнул, Гракх постановил, что трибунское вето не должно применяться против решения сената о том, какие провинции должны быть зарезервированы для будущих консулов;[645] ибо он знал, что трибун часто был орудием правительства и что приостанавливающее вето этого магистрата могло привести к тому, что вопрос о назначении затянулся бы до избрания консулов, и таким образом вернуть сенату его древнее право патронажа. Это изменение, хотя и привело к желаемым результатам: освободило магистратов от подчинения, меркантильные порядки - от обоснованных

опасений, а народ - от боли при виде того, что его любимый выдвиженец оказался бесполезным для целей, ради которых он был назначен, нельзя сказать, что оно что-то добавило к эффективности провинциального управления. Его даже можно рассматривать как ретроградный шаг, как начало той системы рутины в провинциальных назначениях, которая рассматривала доказанную способность к управлению и защите подданных Рима как последнюю квалификацию, необходимую для иностранного командования. Сенат в своих решениях, возможно, часто руководствовался недостойными мотивами; но иногда им двигали патриотические опасения. Из двух консулов он мог послать в провинцию, которой угрожала война, одного, обладающего проверенными военными способностями, и отправить в мирный район простого политика. Но теперь, не принимая во внимание ни настоящих условий, ни будущих случайностей, он был вынужден поручать управление людям, чьи имена были неизвестны. Народ, осуществляя свою выборную власть, действовал почти так же слепо, как и сенат; ведь вопросы римских выборов часто были настолько неопределенными, а их перекрестные течения, обусловленные личным влиянием и силой агитации, настолько сильными и запутанными, что редко можно было предсказать результат голосования. С другой стороны, если кандидат был настолько выдающимся, что его возвращение можно было предсказать с уверенностью, сенат мог назначить некоторые незначительные сферы управления провинциями будущих консулов; и таким образом, в единственном случае, когда на решение могли повлиять знание и разум, закон Гракхов был способен нанести ущерб своим собственным целям. Еще одним недостатком закона с точки зрения эффективности было то, что он не пытался изменить способ, которым назначенные провинции должны были занимать их претенденты. Если консулы не могли прийти к соглашению о том, какая *провинция* должна достаться каждому из них, случайность жребия все равно решала вопрос, от которого могла зависеть будущая судьба империи.

С облегчением переходим от этой работы по разрушению, которая, несмотря на многочисленные оправдания, пронизана мстительной подозрительностью, к некоторым большим конструктивным усилиям, которыми Гракх проявил себя как просвещенный и бескорыстный социальный реформатор. Он не рассматривал аграрную ассигнацию как альтернативу колонизации, но признавал, что промышленный дух может быть пробужден новыми поселениями на местах, благоприятных для торговли, так же как сельскохозяйственный интерес был пробужден высадкой поселенцев на опустевшие земли. Гракх был не первым государственным деятелем, использовавшим колонизацию в качестве средства борьбы с социальными бедствиями; экономические трудности и земельный голод с древнейших времен играли свою роль в военных поселениях, которые Рим разбросал по всей Италии. Но до его времени стратегические мотивы преобладали над промышленными, и он первым предположил, что колонизация может стать средством облегчения жизни лучших слоев городского пролетариата, чья деятельность была стеснена, а энергия подавлена многолюдной жизнью и накаленной атмосферой города. Поселенцы должны были быть тщательно отобраны. Это должны были быть люди, способные выдержать испытание характером.[646] Кажется очевидным, что новые возможности предлагались людям из нижней части среднего класса, торговцам с ограниченными средствами или разбитыми судьбами. О других его протеех заботились другими способами; городские массы, живущие на грани нищеты, получали помощь от кукурузного закона, а крепкий сын труда мог обратиться за помощью к аграрной комиссии. Из многих поселений, которые он проектировал для Италии,[647] два, которые были фактически основаны во время его второго трибуната[648], занимали приморские позиции, благоприятные для торговли. Сцилациум, расположенный в заливе, который находится к югу от Иапигийского мыса, должен был возродить пришедшее в упадок греческое поселение и оживить промышленность на опустевшем бруттийском побережье; Нептуния, по-видимому, была названием нового

города, который он основал в начале Тарентинского залива. Он был основан на земле, которую Рим отвоевал у Тарентума, и, возможно, изначально был отдельным городом, отличным от этого греческого города, некогда великого морского порта Калабрии, но сохранившего мало от своего бывшего величия после частичного разрушения во время Пунических войн.[649] Его эллинизм был на исходе, и этот упадок родной цивилизации может объяснить тот факт, что новая и старая основы, похоже, в конце концов слились в одну, и что Тарентум смог получить чисто латинскую конституцию после окончания Социальной войны.[650] Его пурпурные рыбные промыслы и богатая винодельческая территория были достойными объектами для предприятия Гракха. Капуя была еще большим позором для римской администрации, чем Тарентум. Ее плодородные земли действительно обрабатывались арендаторами Рима и приносили государству большой ежегодный доход. Но неухоженное место, на котором стояла гордость Южной Италии, все еще оставалось печальным свидетельством ревности завоевателя. Здесь Гракх предлагал разместить поселение[651], которое своими торговыми перспективами могло бы в значительной степени компенсировать потерю части государственных владений. Ни он, ни его брат никогда не угрожали распределением территории Капуи, поэтому вполне вероятно, что в данном случае он не предполагал создать крупное сельскохозяйственное поселение, а скорее такое, которое могло бы лучше, чем существующая деревня, служить для сосредоточения торговли Кампанской равнины. Но доходы от владений и ревность к старому и могущественному сопернику Рима, которая могла пробудиться во всех классах, были сильным оружием в руках его противников, и обновлению Капуи суждено было стать делом более позднего и более удачливого лидера партии реформ. Колонизаторские усилия Гракха, несомненно, были направлены на возрождение Италии, а также на удовлетворение бедствующих бюргеров; ни одно из трех мест, на которых он предлагал основать свои коммуны граждан, не имело в то время городского центра, способного использовать огромные возможности территории, на которой оно располагалось. Но эта двуединая цель не должна была ограничиваться Италией. Он мечтал о том, чтобы трансмаринское предпринимательство приняло более прочную и более общепользную форму, чем та, которую предлагает бродячий торговец или местный агент капиталиста.[652] Идея и практика колонизации за морем действительно были не новы; отдельные основания для военных целей, такие как Пальма и Поллентия на Балеарских островах, закладывались по указанию правительства. Но это были небольшие поселения, призванные служить узкой цели; они, несомненно, распространяли римские обычаи и служили основой для римской торговли; но если бы эти мотивы лежали в основе их создания, эксперимент был бы опробован в гораздо больших масштабах. На самом деле идея постоянного поселения за морями не отвечала ни римскому характеру, ни политическим теориям правящих классов. Сомнительно, что имперский народ, составляющий лишь ничтожное меньшинство среди своих подданных и легко пожинаящий плоды своих завоеваний, когда-нибудь с пониманием отнесется к приключениям, первоначальным трудностям и длительному исключению из ослепительной столичной жизни, которые подразумеваются при постоянном проживании за границей. Римлянин в погоне за выгодой был беспокойным духом, он отправлялся в путешествие в любую страну, которая находилась или могла оказаться под императорским контролем, основывал свой банкирский дом и виллу в любом климате и довольствовался тем, что проводил самые активные годы своей жизни в эксплуатации чужаков; но для него было живой истиной, что все дороги ведут в Рим. Город был ядром предпринимательства, сердцем торговли; и все чувства, которыми обладал торговец, были сосредоточены на коммерческой жизни Форума и политических механизмах, которыми она питалась. Такой дух не способствует истинной колонизации, которая предполагает отстранение от дел родного города; и в конечном итоге романизации мира способствовало не это, а спонтанное развитие естественных центров для

многочисленных итальянских иммигрантов, уже обосновавшихся в провинциях. Поэтому на правительство никогда не оказывалось сильного давления, чтобы побудить его ослабить принципы, которые заставляли его смотреть с безразличием или пренебрежением на основание римских поселений за границей. Вероятно, существовало опасение, что создание общин римских граждан в провинциях может пробудить в подвластных государствах желание участвовать в римских правах. Считалось, что высшей целью честолюбия провинциала должна быть свобода его государства и что он никогда не должен мечтать о том поглощении в правящий орган, к которому разрешалось стремиться только италику. К этой государственной максиме добавилось одно из тех любопытных суеверий, которые играют столь большую роль в имперской политике и приобретают видимость истины при поверхностном чтении истории. Мудрые люди отмечали, что колонии часто оказывались более могущественными, чем их родительские государства, что Карфаген превзошел Тир, Массилия - Фокею, Сиракузы - Коринф, а Кизик - Милет. Точно так же дочь Рима может стать сильнее своей матери, а город, управляющий Италией, может оказаться бессильным справиться с мятежной зависимостью в провинциях.[653] В ранние дни завоеваний это было не совсем праздное опасение, ведь в любой период до войны с Пирром трансмаринский город итальянской крови и обычаев мог оказаться грозным соперником. Да и на том этапе, которого империя достигла ко времени Гракхов, он не был оправдан, ведь Рим отнюдь не был удобным центром для правительства, властвовавшего как в Азии, так и в Европе. Скорее всего, страх перед соперничеством был связан с необычными недостатками облика и обстановки Рима, которые остро осознавали его граждане, а не с неудобством его географического положения; но, если бы последний недостаток был осознан, было бы несправедливо критиковать узость взглядов, не позволяющую понять, что смена столицы не обязательно влечет за собой отказ от правительства. Но независимо от того, были ли возражения, заложенные в этом суеверии, тeneвыми или четко сформулированными, они не могли быть ослаблены выбором, который сделали Гракх и его друзья в качестве места для своего нового трансмаринового поселения. Это был не кто иной, как Карфаген, город, который был разрушен, потому что благословения природы насмеялись над завоеваниями, город, который, если бы он возродился, стал бы центром житницы Рима. Предложение о возрождении Карфагена под названием Юнония было сформулировано Рубрием, одним из коллег Гракха в его первом трибунате.[654] Число колонистов, составлявшее менее шести тысяч, было указано в законе, а соотношение эмигрантов и огромной территории, находившейся в его распоряжении, позволяло законодателю выделять необычайно большие участки земли. По всей видимости, были выделены лучший и низший класс поселенцев, первые из которых должны были владеть не менее чем двумя сотнями *югеров* каждый.[655] Получатели всех наделов должны были сохранить их в абсолютном владении; система владения, которая до сих пор существовала только в Италии, была распространена на провинциальные земли.[656] Кай Гракх и Фульвий Флакк были названы в числе триумвиров, которые должны были основать новую колонию.[657] Вероятно, только римские граждане считались подходящими для колоний как в Италии, так и за ее пределами, когда эти основания были впервые предложены, и только после того, как Гракх приступил к своему предприятию по наделению латинян правами, он позволил им участвовать в выгодах своих колониальных планов и таким образом косвенно получить полное римское гражданство.

Но торговую жизнь Италии можно было оживить и другими способами, кроме создания колоний, как у себя дома, так и за границей. Гракх видел, что вопрос быстрого и удобного сообщения между существующими городами был очень важен. Великие дороги Рима выдавали свои военные намерения непоколебимой гибкостью своего курса. Позиции, которые они огибали, имели стратегическое, но не обязательно промышленное значение. Чтобы соединить деревню с городом, а город - со столицей, требовался ряд хороших

перекрестков; вероятно, именно на это был направлен закон Гракха[658]. Но удобство сообщения может служить как политическим, так и торговым целям. Представительный характер комиций усилился бы благодаря предоставлению удобств для поездки в Рим; и, возможно, когда Гракх обнародовал свою меру, он уже представлял себе возможность распространения избирательного права на латинов, что значительно увеличило бы численность сельского электората. В любом случае, эта мера была направлена на политическую централизацию, и Гракх должен был знать, что достижение этой цели необходимо для единства и стабильности народного правительства.

Великое предприятие было осуществлено с необычайной быстротой во время его второго трибуната. Но поспешность строительства не нарушила красоты работы. Нам рассказывают, что дороги шли прямо и честно через сельские районы, представляя собой ровную поверхность из добытого камня и плотно утрамбованной земли. Лощины были засыпаны, овраги и русла рек перекрыты, а по обеим сторонам ровной трассы на небольшом и легком расстоянии друг от друга располагались площадки для всадников.[659] Хотя первоначальные расходы на строительство, возможно, и легли тяжелым бременем на финансы государства, вполне вероятно, что дальнейшее содержание дорог обеспечивалось другими способами. Торговля, которой они способствовали, могла платить пошлины через платные ворота, возведенные для этой цели:[660] и древнеримское устройство создания класса поселенцев на линии общественной дороги, для поддержания ее в порядке,[661] вероятно, было распространено. Прокладка дорог часто была дополнением к аграрным ассигнациям,[662] и, возможно, Гракх использовал их одновременно. Было принято выделять поселенцам общественные земли на границах шоссе, владение которыми закреплялось за ними и их наследниками при условии поддержания дороги в надлежащем состоянии. Иногда их собственный труд и труд их рабов считался эквивалентом обычных пошлин; в других случаях сами пошлины использовались государственными властями для этой цели. Таким образом, Гракх, возможно, направил свой аграрный закон на достижение цели, которая не была предусмотрена законом Тиберия.

Исполнение закона должно было стать тяжелым ударом по власти и престижу сената. Его контроль над кошельком был нарушен, и он перестал быть единственным работодателем общественного труда. Ибо Гракх, вопреки принципу, согласно которому автор меры не должен быть ее исполнителем,[663] сам стал дорожным мастером, как его брат Тиберий был земельным комиссаром. Он был покровителем подрядчика и благодетелем итальянского ремесленника. Щедроты, которые он теперь раздавал, были вознаграждением за труд и не подвергались критике, которой подвергались его прежние усилия по облегчению бедности в Риме; но некоторые притворялись, что придерживаются зловещего мнения, что группы рабочих, которыми он был окружен, могут быть использованы для менее невинных целей, чем строительство дорог[664].

Деятельность Гракха в течение первого года его правления сделала неизбежным его второе пребывание в трибунате. Было сделано достаточно, чтобы заручиться его горячей поддержкой масс; было обещано достаточно, чтобы сделать его возвращение на пост желанным не только для народа, но и для ожидающих капиталистов. Юридические препятствия для переизбрания были устранены или могли быть обойдены, и преемственность власти, которая была необходима для реализации адекватной программы реформ, теперь впервые могла быть обеспечена. При нынешнем состоянии общественных настроений вероятность применения вето кем-либо из его будущих коллег была невелика, хотя некоторые из них неизбежно оказались бы умеренными или членами сенатской партии. Но Гракх очень хотел, чтобы его дело было представлено в другом ведомстве государства,

которое могло как помочь, так и навредить, и чтобы, по возможности, предотвратить зрелище трибуната как единственного средоточия демократических настроений, возвышающегося над высшими народными магистратурами. В одном из своих обращений к общинам он сказал, что вынужден просить их об одолжении. Если она будет оказана, он будет ценить ее превыше всего; если же они сочтут нужным отказать, он не будет на них в обиде. Здесь он сделал паузу; услуга осталась нераскрытой, и он предоставил народному воображению упиваться возможностями его притязаний. Это был счастливый удар; ведь он наполнил умы своих слушателей приятным ощущением собственной безграничной власти и подозрениями в незаконных амбициях, с которыми хорошо бы им познакомиться, но которые один драматический момент на время развеет. Его слова были истолкованы как просьба о консульстве, и, как говорят, преобладало мнение, что он хотел занять этот пост в сочетании с трибуналом. Приближалось время консульских выборов, и ожидания достигли своего апогея, когда Гракх увидел, как Гай Фанний проводит его на Форум и при содействии своих друзей обращается к избирателям от его имени.[665] Кандидат был человеком, чей политический темперамент Кайус имел полную возможность изучить. Будучи трибуном, он находился под большим влиянием Сципиона Аэмилиана,[666] и, медленно поднимаясь по ступеням курульного ранга,[667] он, должно быть, сохранил свой умеренный характер. Поэтому он был предпочтительнее любого кандидата, выдвинутого оптиматами, и влияние Гракха обеспечило Фаннию консульство почти в тот момент, когда он сам, не утруждая себя ни агитацией, ни даже выдвижением официальной кандидатуры, добился своего второго срока. Его позиции еще больше укрепило возвращение экс-консула Фульвия Флакка в качестве одного из его коллег по трибунату.

Именно сейчас, когда грандиозная программа фактически осуществлялась, а исполнение самых разнообразных мер подкреплялось единой рукой, в Риме впервые раскрылись возможности личного правления. Пламенного оратора боялись меньше, чем неутомимого человека действия, чья неугомонная энергия контролировалась ясностью суждений и концентрацией цели, который мог выделить каждый пункт своей обширной сферы управления и относиться к задаче момента так, как будто она была самой близкой его сердцу. Даже те, кто ненавидел и боялся Гракха, были поражены его практическим гением, а вид вождя посреди его бесчисленных дел, в окружении пестрой свиты, которой он занимался, вызывал удивленное восхищение масс.[668] В один момент с ним беседовал подрядчик общественных работ, в другой - посланник какого-то государства, жаждавший заручиться его посредничеством; магистрат, ремесленник, солдат и литератор осаждали его присутственные покои, и каждый был принят с подобающим словом и любезным достоинством, которые короли могут приобрести в результате обучения, но люди королевской природы получают с небес как печать своей пригодности к правлению. Впечатление властной жестокости, которое производили его речи, сразу же рассеивалось при общении с этим человеком. Время бури и стресса прошло, и в расцвете временной власти открылся истинный характер Гракха. Чистое интеллектуальное наслаждение, проистекающее из чувства эффективности и эффективного выполнения давно поставленной задачи, не будет поколеблено неудобными сиюминутными препятствиями. Все человеческие инструменты, которых требует работа, отражают ценность объекта, которому они способствуют: и Гракх был спасен от наглой гордыни патрицианского правителя и беспомощной раздражительности простого агитатора, которого обстоятельства привели к власти, тем, что его эмоциональной природой овладел интеллект, переживший предрассудки и никогда не знавший чувства неспособности. В силу обстоятельств царственная натура была вынуждена вести образ жизни, напоминающий и предвещающий грядущую монархию. Доступность для друзей и клиентов любого ранга была гордостью римского аристократа, и, несомненно, Гракх охотно устроил бы свои приемы по

неформальному образцу, который устраивал самый гордый патриций во главе самой большой *клиенты*. Но круг посетителей Гракха не ограничивался Римом; они прибывали из Италии и провинций, и было необходимо принять некоторые правила старшинства, которые обеспечили бы методичный подход к его присутствию и гарантировали бы каждому из его посетителей адекватное слушание. Он был первым римлянином, который, как нам говорят, соблюдал определенные правила аудиенции. Некоторые члены толпы, заполонившей его преддверие, принимались поодиночке, другие - меньшими или большими группами. [Маловероятно, что способ приема полностью зависел от должностного или социального положения принятых; характер бизнеса клиента также должен был диктовать секретность или публичность беседы; Но эта система, должно быть, казалась его врагам желанным подтверждением их реальных или притворных опасений - симптомом грядущего, если не действительного, низвержения республиканизма, подозрение о котором могло однажды втемяшиться даже в густые головы зияющих толп, стоявших у порталов, чтобы смотреть на постоянно меняющуюся толпу желающих и удивляться силе и популярности своего лидера. Если бы Гракх жил настоящим и считал свою задачу выполненной, вполне возможно, что разнообразные интересы, которые он так ловко объединил, позволили бы ему обеспечить не столько преемственность власти (ведь этому так же упорно сопротивлялись бы представители среднего и высшего классов), сколько непосредственную безопасность от собирающегося заговора, сохранение своей жизни и вероятность последующей политической карьеры. Трудно, однако, представить, что положение, которое занимал Гракх, могло быть оставлено или прощено; и хотя мы не можем приписать ему сознательного желания занимать положение, не допускаемое законами, все же его гений бессознательно привел его к отождествлению содружества с собой, а его ум, столь же восприимчивый, сколь и прогрессивный, не согласился бы с мнением, что политическое творение в любой момент может быть названо законченным. Бескорыстный государственный деятель будет цепляться за власть так же упорно, как и тот, кого гложет самое подлое честолюбие: и даже на самой низкой ступени личной безопасности обладание властью, пожалуй, более необходимо для одного из них, чем для другого. Так неразрывно связаны власть и проекты вождя, что не имеет смысла задаваться вопросом, играли ли личные мотивы какую-либо роль в проекте, которым Гракх собирался порадовать своих врагов и оттолкнуть друзей. Он вновь взялся за решение вопроса о лишении италийцев гражданских прав - вопроса, который, как мог бы сказать ему самый простой политический тиролец, обрекает на гибель государственного деятеля, произнесшего хоть слово в его пользу. Но положение Кая не было обычным, и он мог считать, что его нынешнее влияние достаточно для того, чтобы склонить народ к принятию неприятной меры, успех которой мог бы обеспечить ему и его преемникам более широкий круг избирателей и более стабильную поддержку. Ошибка в суждениях прощительна для того, кто никогда не скрывал своего сочувствия итальянскому делу и до сих пор не считал его помехой своей популярности; но такой дальновидный человек, как Гракх, должен был временами чувствовать, что он ставит не только свою карьеру, но и судьбу программы и партии, которую он создал, на карту шанса добиться цели, которая перестала рассматриваться как простое устранение препятствия и стала рассматриваться как связующее звено в работе настоящего реформатора.

Его предложение[670] было более умеренным, чем то, которое выдвинул Флакк. Он предложил предоставить латинянам полные права гражданства, а другим союзникам Италии - латинские права.[671] Таким образом, Италия с точки зрения частного права должна была быть романизирована почти до Альп;[672] а города, уже пользовавшиеся некоторыми или всеми частными привилегиями римлян, должны были избавиться от одной аномалии, которая создавала недопустимое различие между ними и бюргерскими городами, затрудняла их торговлю и ставила под угрозу их земельные владения. Преимущество этого

предложения заключалось еще и в том, что оно учитывало возможное нежелание многих городов-федератов принять римскую франшизу; такой отказ вряд ли был бы принят в ответ на предложение латинских прав: ведь латинская община сама была городом-федератом со своими законами, магистратами и судами, и чувство автономии было бы удовлетворено, а многие положительные преимущества римского гражданства были бы получены. В Италии все еще будут существовать привилегии, и со временем может возникнуть здоровое недовольство, которое приведет к тому, что все итальянские общины будут стремиться к поглощению великого города. Прошлые методы инкорпорации могут служить прецедентом; схема, предложенная Гракхом, вряд ли была более революционной, чем та, которая в III и в начале II века привела к присвоению полного гражданства муниципалитетам полубургов. Он отличался от него только тем, что распространял этот принцип на города-федераты; но права членов латинских городов были очень похожи на права старых *муниципиев*, и их вполне можно было рассматривать как уже имевших частичное гражданство Рима. Присвоение этого частичного гражданства остальным итальянцам, ни в коем случае не разрушая местных институтов и не ущемляя местных привилегий, привело бы к возможности создания общего права для всей Италии, позволило бы каждому итальянцу участвовать в благах римской деловой жизни и предстать перед судом городского претора для защиты тех прав, которые он приобрел, пользуясь формами римского права. Нерешительный характер предложения Гракха, хотя он и рекомендовал его как соответствующее осторожному духу римского развития, который привел к великим переменам прошлого, возможно, был продиктован также чувством, что более умеренная схема имеет больше шансов на принятие толпой Рима. Все, чего он просил, - это устранить недовольство, которое привело к восстанию Фрегеллаев, и устранить опасности, выявленные этим восстанием. Число добавленных граждан не было бы огромным; для большинства итальянцев все, о чем просили, - это обладание некоторыми частными правами, которые так бесцеремонно предоставлялись общинам в прошлом. На протяжении всей кампании он, вероятно, делал больший акцент на обязанности защищать личность, чем на праве личности на власть. А тот факт, что защита требовалась не от римского государства, а от деспотичной знати, которая позорила его злоупотреблением своими полномочиями, придавал требованию демократическую окраску и предполагал общность страданий, а значит, и симпатий, между дарителями и получателями дара. Еще до того, как его закон о франшизе предстал перед миром, он, по-видимому, занимался воспитанием своих слушателей в духе такого взгляда на дело; вероятно, именно в речах, которыми он представлял свой закон о лучшей защите жизни римского гражданина, он иллюстрировал жестокий каприз знати мрачными историями о страданиях итальянцев. Он рассказывал о молодом легате, который до смерти забил бичами корову из Венузии в ответ на шуточный вопрос деревенского жителя, не несут ли носильщики трупов, и о консуле, который забил бичами квестора Теанума Сидицинума, человека самого знатного рода в своем государстве, потому что мужская баня, в которой решила искупаться жена консула, не была достаточно подготовлена для ее приема.[673] Поскольку возражения населения против расширения избирательного права были скорее результатом предрассудков, чем разума, их можно было бы ослабить, если бы чувство ревности и недоверия можно было переключить с возможных соперников народа на общих угнетателей Рима и Италии.

Апелляция к чувствам могла бы иметь успех, если бы самые низменные страсти толпы не были немедленно разгорячены ораторским искусством противников этой меры. Самый грозный из этих противников был взят из рядов сторонников самого Гракха, поскольку вопрос о франшизе вновь оказался скалой, способной разрушить единство демократической партии. Его *ставленник*, консул Фанний, не постеснялся обратиться к самым эгоистичным инстинктам населения. "Неужели вы полагаете, - говорил он, - что, когда вы дадите гражданство латинянам, для вас останется место на общественных собраниях, или

что вы найдете место на играх и праздниках? Не заполонят ли они все своим количеством?" [674]

Фанний, будучи умеренным, был прекрасным выразителем сенаторских взглядов, и считалось, что многие благородные руки сотрудничали в этой сокрушительной речи, которая нанесла один из смертельных ударов по предложению Гракхов[675].

Наконец-то появилась возможность для активного противодействия, и сенат был полон решимости повторить меру, которая четырем годами ранее вытеснила пришельцев из Рима. Возможно, в силу полномочий, предоставленных законом Пенна, консул Фанний был уполномочен издать эдикт о том, что ни один италик, не имеющий права голоса в римских собраниях, не должен быть допущен в пределы пяти миль от Рима в то время, когда предложение о франшизе должно было быть представлено на рассмотрение комиции.[676] Кай ответил на это объявление собственным пламенным эдиктом, в котором он возмущался против консула и обещал свою трибунскую помощь любому из союзников, решивших остаться в городе.[677] Власть, которой он угрожал, была, вероятно, законной, поскольку нет оснований полагать, что трибун мог вмешиваться исключительно для помощи членам гражданского корпуса;[678] но он должен был знать, что исполнение этого обещания неосуществимо, поскольку пострадавшая сторона могла получить помощь только при личном вмешательстве трибуна, и было ясно, что один магистрат, обремененный множеством забот и ведущий самую разнообразную и напряженную жизнь, не может присутствовать во всех кварталах Рима и на значительной части прилегающей территории. Даже содействие его пылкого коллеги Флакка не могло обеспечить защиту многих его италийских друзей, а ход событий так скоро научил его тщетности этого средства борьбы за италийские права, что, когда несколько позже в том же году один из его италийских друзей был захвачен на его глазах существом Фанния, он прошел мимо, не попытавшись оказать помощь. Его враги, как он знал, в то время жаждали борьбы, в которой, когда они изолируют его от его итальянских сторонников, все решит физическое насилие: и он заметил, что не хотел давать им предлог для рукопашной схватки, которой они желали.[679] Одним из мотивов недобросовестного эдикта, изданного консулом, по-видимому, было желание оставить Гракха без внешней помощи в новом положении, которое создало его последнее предложение; но поскольку внешняя помощь, если бы она была успешной, могла бы принять только форму физического насилия, есть разумные основания считать, что эдикт об исключении италиков был единственным средством предотвращения серьезных беспорядков или даже гражданской войны. Сенат вряд ли мог опасаться морального влияния италийцев на голосующее население Рима, и он знал, что при нынешнем состоянии общественных настроений конституционные средства сопротивления, не сработавшие против Тиберия Гракха, могут быть успешно применены против его брата. Вся история первого трибуната Кая Гракха свидетельствует об откровенном признании того факта, что трибунское вето уже не могло быть использовано против мер, которые пользовались бы хоть чем-то похожим на единую поддержку народа; но, как и все другие средства приостановления законодательства, его использование все еще было возможно для противников и приветствовалось даже для вялых сторонников, когда политическое тело разделялось по поводу важной меры и даже союзники ее защитника чувствовали свою благодарность и преданность, подвергаясь нежелательному напряжению. Сопротивление посредством заступничества теперь не требовало твердого мужества Октавия, и когда Ливий Друз пригрозил вето,[680] вопрос о его низложении не стоял. Возможно, ему потребовались бы определенные нервы, если бы он сделал это заявление посреди возбужденной толпы италийских претендентов на право голоса; но от такого опыта его спасла мера предосторожности, принятая сенатом. Вероятно, заявление Друза привело к полной

остановке юридического механизма, связанного с законопроектом о франшизе, и его автор так и не решился вынести его на голосование.

Не исключено, что к этому этапу карьеры Гракха относится предложение об изменении порядка голосования в *Comitia Centuriata*, которое он обнародовал. Изменение структуры этого собрания, произошедшее примерно в середине III века, действительно сделало многое для того, чтобы уравнивать право голоса высших и низших классов; но первое сословие и рыцари восемнадцати веков все еще были призваны отдавать свое право голоса первыми, а другие классы, несомненно, голосовали в порядке, определяемом имущественным цензом, по которому они были оценены. Поскольку голоса каждого столетия принимались и оглашались отдельно, абсолютное большинство, необходимое для принятия решений собрания, могло быть достигнуто без того, чтобы низшие ордена были призваны выразить свое мнение, и было известно, что на мнение последующих избирателей оказывали глубокое влияние уже объявленные результаты. Гракх предложил, чтобы голоса всех сословий подавались в порядке, определяемом исключительно жребием.[681] Его интерес к *Comitia Centuriata*, вероятно, объяснялся тем, что она контролировала консульские выборы, и демократический консулат, которого он тщетно пытался добиться, поддерживая Фанния, мог стать более достижимым в результате принятия изменений, за которые он выступал. Большой опасностью предстоящего года было избрание консула, сильно связанного с сенаторскими интересами, - такого человека, как Попиллий, который был бы не прочь воспользоваться моментом реакции и попытаться погубить лидеров движения за реформы, даже если бы он не мог отменить их работу. Практически точно, что это предложение Гракха так и не было принято в качестве закона, сомнительно, что оно вообще когда-либо выносилось на рассмотрение Комиции. Реформатор сразу же оказался втянут в борьбу за сохранение некоторых из уже принятых им законов и за сохранение благосклонности населения перед лицом коварных попыток подорвать его доверие к себе.

Сенат начал новую линию оппозиции, и они нашли добровольный, а то и убежденный инструмент для осуществления своих планов. Невозможно представить себе, чтобы в совете, объединявшем представителей всех знатнейших домов Рима, не было значительного числа членов, находившихся под влиянием политических взглядов Катона или Сципиона или уроков гуманизма, который вывел Гракхов за рамки римской осторожности, но который мог бы напитать более консервативный ум достаточным просвещением, чтобы увидеть, что многое было неправильно и что умеренные меры не выходили за рамки практической целесообразности. Но эта часть сенаторского мнения не могла найти своего голоса и предпринять никаких самостоятельных действий. Она была подавлена реакционным духом большинства пэров и напугана результатами, к которым, казалось бы, должны были привести ее теории, когда их осторожные квалификации, которые никогда не могли найти признания у масс, были сметены более основательными сторонниками. Но голос, который сенат заглушал во время своего правления, мог оказаться ценным в кризисной ситуации. Умеренный мог быть выдвинут, чтобы перебить экстремиста; ведь его умеренность, несомненно, заставит его уважать предрассудки толпы, в то время как любые эксцессы, к которым его поощряли или инструктировали, не должны были касаться моментов, существенных для политического спасения, и могли быть исправлены или оставлены для естественного распада, когда кризис был пройден и демагог был свергнут. Инструментом, выбранным сенатом, стал Марк Ливий Друз,[682] трибун, который угрожал наложить свое вето на законопроект о франшизе. Нет причин, по которым историк не должен относиться к политической позиции этого соперника Гракхов так же серьезно, как, по-видимому, относился к ней прославленный сын Друза, который воспроизвел, а возможно, и позаимствовал из карьеры своего отца, сочетание демократической пропаганды,

бросавшей народу умозрительные несущественные идеи, с целью сохранения и укрепления власти аристократии. Младший Друз, правда, обратился к итальяским требованиям, которым сопротивлялся его отец; но даже это отстаивание свидетельствует скорее о развитии, чем об изменении, поскольку партия, которую представлял старший Друз, отнюдь не была слепа к необходимости более надежного обеспечения итальянских прав. Разница между отцом и сыном заключалась в том, что один был инструментом, а другой - агентом. Но человек, сознательно использующий себя в качестве инструмента, может быть не только абсолютно честным, но и пожинать урожай морального и душевного удовлетворения от возможностей самореализации, которые случай подбрасывает ему на пути. Такая позиция может предполагать определенный недостаток чувства юмора, но не обязательно сопровождается сознательным жертвованием достоинством. Разумеется, римская публика не была в курсе разыгрываемой комедии. Она видела только человека высокого происхождения и аристократической культуры, одаренного всем авторитетом, который может дать большое богатство и владение достойным ораторским искусством,[683] обращающегося к ним с щедротами, превосходящими те, которые Гракх был готов предоставить в последнее время, не ставя никаких условий и, хотя и говоря от имени сената, не намекая на лишение каких-либо привилегий, которые были недавно завоеваны. Новая щедрость предназначалась только римскому народу; она не обесценивалась от осознания того, что блага, которые она давала или к которым добавлялась, будут разделены соперниками из всех частей Италии.

Претендент на благосклонность, желающий вступить в соревнование с недавним типом народного лидера, неизбежно должен был подумать об обеспечении бедных; но простое копирование или расширение предложений Гракхов было невозможно. Ни одна мера, против которой яростно выступал сенат, не могла быть достойно защищена представителем и, как впоследствии стали называть Друза, "адвокатом" этого органа.[684] Такая схема, как расширение системы распределения кукурузы, к тому же шокировала бы политическое чувство как патрона, так и его клиентов, и не служила бы политическим целям последних, поскольку такую уступку было бы нелегко отменить. Система аграрных ассигнаций, в той форме, в которой она была осуществлена руками Гракхов, имела на данный момент полный механизм для своего исполнения, и не было никаких правдоподобных оснований для расширения этой меры благодеяния. Более старая система колонизации была тем средством, которое естественно пришло в голову Друзусу и его советникам, и этот выбор был тем более привлекательным, что его можно было использовать таким образом, чтобы подчеркнуть некоторые элементы в схеме расселения Гракхов, которые не пользовались благосклонностью общественности. Массы Рима желали получить монополию на любой приз, который мог дать фаворит момента; но колонии Гракха предназначались для среднего класса, а не для бедняков, и предварительным условием для вступления в поселение было неудобное изучение средств, привычек и характера.[685] Массы желали комфорта. Капуя могла их удовлетворить, но путешествие через море на место опустевшего Карфагена им не нравилось. Сама скромность плана Гракха, проявившаяся в количестве планируемых поселений и колонистов, которые должны были найти себе дом в каждом из них, доказывала, что он не был задуман как благо для пролетариата в целом. Друз выступил с предложением о создании двенадцати колоний, все из которых, вероятно, должны были быть основаны на итальянской и сицилийской земле;[686] каждая из этих основ должна была обеспечить три тысячи поселенцев, причем эмигранты не исключались по причине бедности. О бескорыстии Гракха свидетельствует и пункт, в котором были определены уполномоченные по основанию новых колоний: имя Друза не фигурировало в списке. Он ничего не просил для себя и не прикасался к большим суммам денег, которые должны были пройти через руки комиссаров для осуществления столь масштабной затеи.[Подозрения в

корысти или коррупции легко возникали в Риме, как, должно быть, и в любом государстве, где исполнительная власть обладала такими большими полномочиями и где народ никогда не контролировал детали исполнения или расходования средств; и всеобъемлющая энергия Гракха привела его к положению, которое было принято в момент энтузиазма, но которое, будучи запрещенным существующими настроениями и, возможно, законом, легко могло быть поколеблено первым же намеком на недоверие. План Друза, хотя и оказался призрачным и, возможно, уже обладал этим неуловимым характером, когда сенат пообещал свое доверие создателю меры, был ценен как начало нового витка в истории римской колонизации. Даже Гракх не предлагал таким образом обеспечивать отбросы города, и первое предложение о создании новых оснований только для того, чтобы истощить богатство Рима - цель, которую преследовали или исповедовали многие более поздние сторонники колонизации, - было воспринято сенатом как случайность в политической игре, а Друзом, возможно, как результат зрелых размышлений. Поскольку его предложение, которое на самом деле представляло собой аграрную ассигнацию в огромных масштабах, должно было конкурировать с планом Гракха по основанию колоний, было сочтено невозможным обременять новых поселенцев уплатой податей за пользование их землей. Колонисты Гракха должны были иметь полную собственность на выделенную им землю, а колонисты Друза не могли быть поставлены в более низкое положение. Но наличие тридцати шести тысяч поселенцев, получивших бесплатные наделы, сразу же вызвало бы недовольство тех граждан, которые по схеме Гракха получили свои участки при условии уплаты ежегодных взносов в пользу государства. Если новые наделы должны были быть объявлены свободными, то с уже розданных должно было быть снято бремя.[688] Таким образом, Друз и сенат получили логическое основание для шага, который, похоже, был предпринят, - освободить от уплаты *вектигала* все земли, розданные со времен трибуната старшего Гракха. Это был популярный шаг, но странно, что сенат, который по большей части играл обещаниями, решился на определенный шаг, принятие которого должно было серьезно повредить доходам государства. Но, возможно, они считали, что даже эта уступка не подлежит пересмотру, и уже прокручивали в голове те извилистые схемы земельного законодательства, которые в недалеком будущем должны были свести на нет работу реформаторов.

Сенат также разрешил Друзусу предложить закон для защиты латинов, который должен был доказать, что худшие злоупотребления, на которых остановился Гракх, могут быть устранены без дарования права голоса. Этот закон предусматривал, что ни один латин не должен подвергаться бичеванию со стороны римского магистрата, даже на военной службе.[689] Такое суммарное наказание всегда должно было быть незаконным, если оно применялось к латину, который не служил в качестве солдата под римским командованием и находился в пределах юрисдикции своего государства; единственный возможный случай, когда он мог законно подвергнуться наказанию от рук римских чиновников в мирное время, - это совершение им преступления, когда он жил или проживал в Риме. При таких обстоятельствах наказание могло быть вынесено в упрощенном порядке, поскольку латины в целом не обладали правом апелляции к римской комиции.[690] Распространение магистратского права принуждения на жителей латинских городов и его применение в форме, от которой римский гражданин мог отказаться, было простым злоупотреблением обычаем, нарушавшим договоры латинских государств и не запрещенным в первую очередь Ливийским законом. Но заявление о том, что латинянин не может быть подвергнут бичеванию римским полководцем даже на военной службе, было новшеством, и, должно быть, казалось несколько поразительной уступкой в то время, когда римский гражданин сам подвергался всей строгости военного положения. Тем не менее, она вполне могла понравиться правовому сознанию Рима, ведь для римлянина было совсем другое дело -

подчиняться военному закону своего государства, а для члена федеративного сообщества - кодексу иностранной державы. Предполагалось, что отныне латинянин должен подвергаться по меньшей мере унижительному наказанию в виде бичевания только под юрисдикцией и по приказу своего родного командира; но невозможно определить, был ли он полностью освобожден от военной юрисдикции римского главнокомандующего - освобождение, которое при многих обстоятельствах могло оказаться фатальным для военной дисциплины и эффективности. Есть все основания предполагать, что этот закон Друза был принят, и есть основания полагать, что он продолжал действовать до тех пор, пока окончание социальной войны не уничтожило различия между правами латинян и римлян. Его принятие было одним из самых умных политических ходов Друза и сената; ведь он, должно быть, удовлетворил многих латинов, которые жаждали защиты, но не инкорпорации, и в то же время продемонстрировал слабость и, как многим могло показаться, нечестность кажущегося утверждения Гракха, что злоупотребления могут быть исправлены только предоставлением полных политических прав. Все предприятие Друза полностью достигло того эффекта, которого желал сенат. Народ слишком привык к правлению знати, чтобы помнить об обидах, когда к нему обращаются как к другу; авансы сената были приняты с добрыми намерениями, и Друз мог поздравить себя с тем, что представитель умеренных выполнил надлежащую задачу посредника между враждующими фракциями[691].

Можно было ожидать, что Гракх перед лицом столь грозного соперничества будет стоять на своем в Риме и исчерпает все силы своего ораторского искусства, чтобы показать нечестность своих противников и вернуть себе преданность народа. Но, возможно, он решил, что эффективное осуществление другого великого замысла станет лучшим примером его могущества как благодетеля и более надежным доказательством реальности его намерений, в отличие от теневых обещаний Друза. Он воспользовался своим положением триумвира для основания колонии Юнония - должность, которую сенат с радостью позволил ему принять, - и отплыл в Африку, чтобы лично руководить первыми шагами в создании своего великого трансмаринского поселения.[692] Его первоначальный план был вскоре изменен из-за противодействия, с которым он столкнулся; обещанное количество участков было увеличено до шести тысяч, и теперь италийцев приглашали принять участие в основании. [693] Оба эти шага, несомненно, были результатом увлечения сената колониальными планами и латинянами, но последний может быть также интерпретирован как отчаянная попытка любой ценой добиться весомости колонии. Фульвий Флакк, который также был одним из колониальных комиссаров, либо оставался в Риме в течение всего периода отсутствия своего коллеги, либо совершил лишь самый короткий визит в Африку; ведь он упоминается как представитель интересов партии в Риме во время пребывания Гракха в провинции. Выбор делегата был неудачным. Флакк не только был ненавистен сенату, но и вызывал подозрения у народа. Избрав его в трибуны, они простили ему италийские пристрастия, когда италийское дело считалось угасшим; но теперь одиоз франкского движения вновь прилип к нему, и возникли подозрения, что тайные сделки с союзниками, которые, как считалось, привели к вспышке во Фрегеллах, никогда не прерывались или были возобновлены в последнее время. Трудности его положения усугублялись недостатками манеры поведения. Он обладал огромной храбростью и был отличным бойцом, но, как и многие люди с боевым характером, был бестактен и буйен. Его необдуманные высказывания усилили недоверие, с которым к нему относились, и популярность Гракха неизбежно пошла на убыль вместе с популярностью его лейтенанта[694].

Тем временем предпринимались попытки возродить Карфаген и бросить вызов проклятию, в котором Сципион объявил, что по земле павшего города должны ступать только ноги зверей.

Раздел окрестных земель не вызывал никаких сомнений; под запретом оставалось только место, где стоял Карфаген,[695] и если бы Гракх довольствовался простым аграрным наделом или основал Юнию в каком-нибудь соседнем месте, его противники были бы лишены мощного оружия, которое суеверие неизменно поставляло в Рим. Как бы то ни было, вскоре стали распространяться тревожные слухи о страшных знамениях, сопровождавших открытие колонии.[696] Когда колонисты, согласно древнему обычаю, шли к месту своего назначения в военном строю с развевающимися штандартами, прапорщик, возглавлявший колонну, был подхвачен яростным ветром, вырван из рук сопротивлявшегося носителя и разбился вдребезги о землю. Когда алтари были подняты и на них возложены жертвы, внезапный штормовой ветер подхватил подношения и швырнул их за пределы проектируемого города, которые недавно были рассечены долей. К самым межевым камням приходили волки, которые хватили их в зубы и уносили в стремительном бегстве. Реальность последнего тревожного явления, а возможно, и всех этих предзнаменований, Гракх и Флакк решительно отрицали;[697] но даже если сообщения, разлетевшиеся по Риму, имели под собой какую-то основу, обстоятельства основания не остановили вождя и не отпугнули его колонистов. Гракх продолжал работу организованно и методично, а когда посчитал, что его личный надзор больше не нужен, вернулся в Рим после семидесятидневного отсутствия. Его напомнило известие о неравном поединке, который разгорелся между вспыльчивым Фульвием и ловким Друзом. Очевидно, что обстоятельства требовали более холодной головы, чем та, которой обладал Флакк; кроме того, существовала угроза еще большей опасности, которая делала присутствие Гракха необходимым. Консульский пост на следующий год мог получить один из самых стойких поборников ультрааристократических взглядов. Луций Опимий потерпел поражение, добиваясь этой должности в предыдущем году, в основном благодаря поддержке, которую Гракх оказал Фаннию. Теперь же у него были все шансы на успех;[698] ведь главным притязанием Опимия на выдающееся положение были быстрые действия, которые он проявил при завоевании Фрегелл, а большое количество населения, отвергавшего италийское дело, могло помочь его сенаторским сторонникам в возведении его в консулы. Консульские выборы могли оказать реакционное влияние на трибуна; если же кандидатура Гракха окажется неудачной, он может оказаться во власти решительного противника, который будет рассматривать его уничтожение как оправданный поступок спасителя общества.

Когда Кайус вернулся, народ в целом выглядел скорее апатичным, чем враждебным. Они холодно выслушивали и призывы, и обещания, и эта холодность объяснялась скорее пресыщением, чем подозрительностью. За последние несколько месяцев им было обещано так много, что демагогия казалась нормальной чертой существования, и никакие новые обращения к их тщеславию или интересам не вызывали у них острых эмоций. Такая апатия, хотя она и может благоприятствовать военному претенденту, более страшна, чем фактическое недовольство человека, который правит только силой характера и красноречия. Критику можно встретить и выдержать, и чем острее она будет, тем больше она покажет заинтересованность критиков в своем лидере. В один момент Перикла ненавидели, в другой - обожествляли; но никто не мог признаться, что равнодушен к его личности и замыслам. Гракх принял этот урок близко к сердцу и сосредоточил свое внимание на том классе своих бывших сторонников, чья повседневная жизнь напоминала об оказанном им благодеянии, классе, который мог быть движим благодарностью за прошлое и надеждой на будущее. Одним из первых его действий после возвращения было изменение своей резиденции с Палатина на место, расположенное под Форумом.[699] Здесь его соседями были очень бедные люди, настоящий городской пролетариат, который никогда не мечтал воспользоваться аграрными ассигнациями или колониальными планами, но придавал очень большое значение кукурузным раздачам и, возможно, считал, что их продолжение окажется

под угрозой после падения власти Гракха. Вероятно, однако, что даже без этого мотива характерная ненависть, которую испытывают частично обездоленные к среднему классу, могла усилить привязанность, с которой Гракх воспринимался беднейшими из его последователей, когда они видели, как его покидают более респектабельные из его сторонников. Нынешнее положение Гракха ясно показывало, что мощная коалиция, на которой он основывал свое влияние, распалась. Из лидера государства он превратился всего лишь в вождя фракции, причем такой, которая до сих пор оказывалась бессильной противостоять внезапному нападению со стороны правительства.

Из этого демократического оплота он издал другие законы, суть которых неизвестна, а свою симпатию к низшим слоям населения он проявил на практике, чем вызвал негодование своих коллег-магистратов. [В определенный день на Форуме должно было состояться гладиаторское представление, и большинство магистратов возвели трибуны, вероятно, в виде грубого деревянного амфитеатра, который они собирались сдавать в аренду. 701] Гракх решил рассматривать эту процедуру как ущемление прав народа. Возможно, не только платный вход, но и мнение о том, что ограждение чрезмерно сужало пространство для наблюдения и отрезало всякий обзор представления от окружающей толпы, [702] вызвало протест Гракха, и он приказал магистратам снести сооружение, чтобы более бедные слои населения могли свободно смотреть на зрелище. Его просьба была проигнорирована, и Гракх приготовил сюрприз для упрямых организаторов. В ночь перед представлением он вышел на сцену с рабочими, которые по служебным обязанностям все еще находились в его распоряжении; ярусы сидений были полностью снесены, и когда рассвело, люди увидели свободную площадку, на которой они могли разместиться по своему усмотрению. Для низших слоев населения это выглядело как поступок мужественного защитника, для чиновников - как необузданная выходка демагога. Это не могло улучшить шансы Гракха в отношениях с денежными классами любого уровня; он слил их шансы на удовольствие с шансами толпы и нарушил их чувство прерогативы богатства.

Но, хотя Гракх, возможно, и действовал жестоко, он не действовал вслепую. Он должен был знать, что его дело почти проиграно, но он также должен был понимать, что единственный шанс на успех заключался в создании солидарности чувств в бедных классах, которая могла быть достигнута только с помощью действий ярко выраженного и энергичного типа. Насколько ему удалось возродить сторонников, которые по численности превосходили или даже превосходили классы, отторгнутые его поведением или завоеванные интригами его противников, - это факт, о котором у нас нет точных сведений. Сохранилось только одно упоминание о его кандидатуре на третий трибунат: и это повествование, хотя и утверждает, что Гракх был близок к победе, признает неопределенность передаваемых сведений о выборах. Рассказ гласил, что он действительно набрал большинство голосов, но председательствовавший трибун при попустительстве некоторых своих коллег подло сфальсифицировал результаты выборов [703]. Это история, которую невозможно проверить из-за нашего незнания о мерах предосторожности и, следовательно, о возможностях мошенничества, которые могли быть продемонстрированы на выборах этого периода. В более поздний период велись реальные записи голосования на случай сомнений в решении; [704] и если бы апелляция к проверке была возможна в это время, Гракх был не тем человеком, который позволил бы сомнительному результату остаться неоспоренным. Но эта история, даже если рассматривать ее как выражение простого подозрения, свидетельствует о глубоком разочаровании значительного класса, который оказал своему фавориту единую поддержку и воспринял известие о его поражении с удивлением и негодованием. Она дышит подозрением бедняков в сутяжничестве богачей и может служить показателем того, что Гракх до конца сохранил доверие своих более скромных сторонников.

Поражение, хотя и было страшным ударом, не сломило дух Гракха; оно лишь сделало его более ожесточенным и вызывающим. Теперь он открыто ликовал по поводу разрушительного характера своей деятельности и, как говорят, отвечал на насмешки своих врагов, говоря им, что их смех имеет болезненный оттенок и что они еще не знают, какое огромное облако мрака окутало их жизнь из-за его политической деятельности.[705] Страшная опасность избрания Опимия вскоре была осознана, и члены вновь назначенной коллегии трибунов были готовы отдать себя в распоряжение сената. Самым верным доказательством того, что Гракх пал, была бы немедленная отмена одного из его законов, а больше всего нападок вызывал закон, который, хотя и был принят под чужим именем, воплощал в себе его проект по восстановлению Карфагена. Этот рубрианский закон мог быть атакован на том основании, что он противоречил нормам религиозного права, нарушение которых могло сделать недействительным любой государственный акт;[706] а распространявшиеся рассказы о дурных предзнаменованиях, сопутствовавших основанию Юнии, могли заставить сенат поддержать суеверие народа. Гракх по-прежнему занимал официальную должность комиссара по делам колоний, а также по распределению земель и строительству дорог, но ни одна из этих должностей не давала ему права обращаться к народу и не позволяла оказать эффективное юридическое сопротивление угрожающим мерам; Любое дальнейшее сопротивление могло легко принять форму нарушения мира частным лицом и дать его врагам возможность, за которой они следили; поэтому Гракх не без оснований сначала решил занять пассивную позицию перед лицом предложения трибуна Минуция Руфа об отмене рубрианского закона.[707] Даже Корнелия, кажется, советовала быть благоразумной, и, возможно, именно этот кризис в карьере ее сына вызвал у нее страстное письмо, в котором мать торжествует над патриотом и видит гибель Республики и безумие своего дома в потере, которая омрачит ее уходящие годы. 708] Этот протест более чем согласуется с рассказом о том, что она послала деревенских жителей[709] для пополнения рядов и защиты личности своего сына, когда увидела, что он не сдастся без новых усилий для поддержания своего дела. Говорят, что изменить позицию Гракха заставили увещевания его друзей и особенно порывистого Фульвия. Организация такой группы, как собрал вокруг себя Гракх, хотя сама по себе и не была незаконной, но провоцировала беспорядки; вскоре произошел катастрофический инцидент, который дал его противникам ручку, к которой они долго стремились. На рассвете того дня, когда должно было состояться собрание для обсуждения и, возможно, голосования по поводу отмены грозившего ему закона, Гракх и его сторонники поднялись на Капитолий, где также собирались силы противоположной партии. Похоже, что сам консул Опимий, хотя и не мог председательствовать на последнем заседании собрания, которое было чисто плебейским, собирався провести Contio[710] или выступить на нем, созванном трибунами. Сам Гракх не сразу вошел в помещение, где должно было состояться собрание, а расхаживал по портику храма, погруженный в свои мысли.[711] О том, что последовало за этим, рассказывают по-разному, но основные факты во всех версиях одинаковы.[Некий Антулл или Антуллий, о котором одни говорят как о простой единице в народе, другие - как о слуге или глашатае Опимия, произнес несколько слов - гракхане говорили о дерзости, их противники - о патриотическом протесте - в адрес Гракха или Фульвия, одновременно протягивая руку оратору, к которому он обращался. Жест был неверно истолкован, и несчастный упал, пронзенный железными ручками - единственным оружием, которым располагала безоружная толпа. Не могло быть никаких сомнений в том, что первый акт насилия исходил от сторонников Гракха, и конец, которого ждал Опимий, был достигнут. Даже то, с какой готовностью вождь откестился от поспешных действий своих сторонников, можно было истолковать как повторное нарушение закона. Он поспешил с Капитолия на Форум, чтобы объяснить всем, кто его слушал, непреднамеренность поступка и свою непричастность к убийству; но само это действие

было грубым нарушением публичного права, подразумевая оскорбление величия трибуна, созвавшего часть народа, перед которой он был готов выступить[713].

Собрание на Капитолии вскоре прекратилось из-за ливня,[714] и трибуны отложили дела на другой день, а Гракх и Фульвий Флакк, чьи наполовину сформировавшиеся планы были разрушены, поспешили разойтись по домам. Слабость их позиции заключалась в том, что они отказывались рассматривать себя в истинном свете как лидеров революции против правительства. Каковы бы ни были их собственные намерения, маловероятно, что их сторонники последовали за ними на Капитолий только с целью мирно проголосовать против предложенной меры: и если бы Антуллий не пал, собрание на Капитолии могло бы быть разогнано гракханцами, как некогда собрание Тиберия было разгромлено отрядом сенаторов. Теперь успех и даже спасение могли быть достигнуты исключительно с помощью силы; вопрос личной безопасности, должно быть, волновал как рядовых, так и лидеров, ведь кто может забыть судебную расправу, последовавшую за падением Тиберия? Но безопасность собственной жизни, вероятно, была не единственным мотивом, побудившим многих их сторонников последовать за двумя лидерами в свои дома.[715] Лояльность и острая активность партийного духа, побуждающая фракцию к войне, должны были также побудить их предпринять последнюю попытку защитить своих покровителей и свое дело. Весь город находился в беспокойном ожидании наступающего дня; мало кто мог спать, и с полуночи Форум стал заполняться толпой, возбужденной, но подавленной ощущением какого-то великого надвигающегося зла[716].

На рассвете консул Опимий отправил небольшой отряд вооруженных людей на Капитолий, очевидно, для того, чтобы враждебные демократы не захватили выгодную позицию, а затем объявил о собрании сената. Пока же он оставался в храме Кастора и Поллукса, чтобы наблюдать за событиями. Когда отцы повиновались его призыву, он пересек Форум и встретил их в курии. Вскоре после начала совещания на Форуме разыгралась сцена, которая, как полагают, была тщательно подготовлена.[717] Через многолюдную рыночную площадь медленно пробиралась группа скорбящих; на тележке виднелось тело Антуллия, раздетого так, что рана, ставшая ценой его верности, была видна всем. Носильщики пошли по дороге, которая вела их мимо здания сената, рыдая на ходу и издавая траурные вопли. Консул был напуган, а любопытные сенаторы поспешили к дверям. После этого тело положили на землю, и охваченные ужасом аристократы выразили свое презрение к ужасному преступлению, свидетелем которого оно было. Их негодование, возможно, подействовало на некоторых членов толпы; другие были склонны высмеивать этот всплеск олигархического пафоса и удивляться тому, что люди, убившие Тиберия Гракха и бросившие его тело в Тибр, могут так внезапно распалить свои сердца смертью несчастного, но ничем не примечательного слуги. Мотив трепета был слишком очевиден, и многие умы перешли от воспоминаний о смерти Тиберия к мысли об участии, которую эта маленькая драма должна была предвещать его брату.

Сенаторы вернулись в курию, и было принято окончательное решение. Опимий решился на шаг, от которого отказался Скаэвола, и новый принцип конституционного права был предварительно принят. Было объявлено осадное положение с условием, что "консул должен следить за тем, чтобы государство не пострадало" [718], и были приняты активные меры по подготовке сил, которые предвещал этот декрет. Опимий велел сенаторам позаботиться о своем оружии и обязал каждого из членов конного столетия привести с собой двух рабов в полном снаряжении на рассвете следующего дня.[719] Но была предпринята попытка предотвратить немедленное применение силы, направив Гракху и

Флакку вызов в сенат и защищая там свое поведение.[720] Повестка была совершенно законной, поскольку консул имел право требовать присутствия любого гражданина или даже низшего магистрата; но двух лидеров вполне можно простить за то, что они проявили несдержанность, не подчинившись приказу. Они понимали, что просто отдают себя в руки враждебной силы в качестве пленников; в свете прошлых событий не было вероятности, что их сдача и наказание спасут их последователей от гибели. Подготовка к обороне или контрдемонстрация, которая подтвердила бы численность и решимость их сторонников, могла бы навести сенат на мысль о переговорах. У его членов был стимул принять такую точку зрения. Их правовая позиция в отношении шага, который они сейчас обдумывали, была несостоятельной; и хотя они могли утверждать, что на их стороне правительство в лице его главы, и что их недавняя политика вызвала поддержку большинства граждан, все же не было неоспоримого прецедента законности ведения войны против фракции в Риме; У них не было мандата на выполнение этой миссии, и ее исполнение, которое недавно было признано незаконным по закону, впоследствии могло быть отвергнуто даже многими из тех, кого они теперь считали своими сторонниками. Тем не менее мы не можем удивляться бескомпромиссной позиции сената. Они считали себя законным правительством государства; они усвоили урок, что правительство должно опираться либо на свои достоинства, либо на силу; они не хотели повторять скандальную сцену, которая по случаю смерти Тиберия Гракха доказала их слабость, и, возможно, не могли прибегнуть к таким необдуманным мерам перед лицом более многочисленных сторонников Кая; они могли привлечь на свою сторону некоторых представителей высшего среднего класса, которые разделили бы с ними вину, если бы она существовала: и, наконец, в их распоряжении были два человека, один из которых дважды пошатнул содружество, а другой прославлял перспективу его самоуничтожения в будущем.

Мудрость и справедливость сопротивления сразу же пришлись по душе Флакку, чьи бойцовские инстинкты находили свое естественное удовлетворение в перспективе обмена ударами. Более тонкий и сложный дух Гракха проявился в более неопределенном настроении. На него надвигалась беда мыслителя и патриота. Неужели человек, возглавивший государство, должен был бороться против него, а правила разума должны были быть заменены на низменный произвол меча? Никто не знал, с какими чувствами он повернулся к Форуму, чтобы долго и пристально смотреть на статую своего отца и со стоном удалиться;[721] но вид его горя вызвал сочувствие, которое, возможно, не вызвал бы и призыв к оружию. Многие из прохожих были вынуждены из своего безразличия проклинать себя за то, что так подло бросили человека, пожертвовавшего столь многим, идти за ним в его дом и бдеть у его дверей. Ночь прошла в мрачном бодрствовании, духи наблюдателей были наполнены страхом перед общей жертвой, которую мог потребовать грядущий день, и тишина нарушалась только тогда, когда добровольная стража время от времени пополнялась теми, кто уже задремал. Тем временем соседи Флакка были напуганы звуками бурного веселья, доносившимися из его залов. Хозяин проявлял почти мальчишеский пыл, а его товарищи кричали и хлопали в ладоши, когда вино и шутки шли по кругу. На рассвете Фульвия вытащили из тяжелой дремы, и он вместе со своими товарищами вооружился трофеями своего консульства, галльским оружием, висевшим в качестве трофеев на его стенах.[722] С громкими угрозами они отправились овладеть Авентином. Дом, который Ицилий отвоевал для плебса, должен был стать ареной еще одной борьбы за свободу. В более поздние времена утверждалось, что Фульвий предпринял шаг, от которого уклонился даже Катилина, - призвал рабов к оружию под обещание свободы.[723] У нас нет возможности опровергнуть это утверждение, которое, похоже, с подозрительной частотой встречалось в записях, оставленных аристократическими писателями о народных движениях, которые они помогали подавлять. Но легко понять, что преданность рабов своим

хозяевам во время таких боев и обнаружение их тел среди убитых было бы достаточным доказательством для правительства, которое стремилось подчеркнуть свои заслуги как спасителя общества, что общие призывы были обращены к подневольному классу. Такой вывод можно было бы сделать, взглянув на войска, собранные под командованием Опия; ведь в них число рабов, возможно, превышало число граждан[724].

Мысли Гракха все еще раздваивались между сопротивлением и покорностью. Он согласился сопровождать своего безрассудного друга на Авентин как единственное убежище, но отказался облачиться в доспехи, лишь закрепив под тогой маленький кинжал[725] как средство защиты в крайнем случае, а может быть, и спасения, если все остальные меры окажутся безуспешными. Предчувствие его гибели разделила и его жена Лициния, которая прижалась к нему у дверей, а когда он осторожно высвободился из ее объятий, сделала еще одно усилие, чтобы схватить его за мантию, и без чувств опустилась на порог. Когда Гракх со своими друзьями добрался до Авентина, он обнаружил, что Флакк со своим отрядом захватил храм Дианы и спешно готовится к его укреплению. Но Гракх, проникнувшись беспомощностью или ужасом ситуации, убедил его сделать попытку примирения, и младший сын Флакка, юноша необыкновенной красоты, был отправлен в курию с миссией мира.[726] Со скромной миной и слезами на глазах он передал свое послание консулу. Многие - возможно, большинство слушателей - были не прочь принять компромисс, который снял бы невыносимое напряжение и предотвратил бы гражданскую войну. Но Опиций был непреклонен: к сенату, по его словам, нельзя обращаться через заместителей; главные действующие лица должны спуститься с Авентина, сложить оружие, предаться правосудию как граждане, подчиняющиеся законам, и тогда они смогут взывать к милости сената; в заключение он запретил юноше возвращаться, если он не сможет принести с собой согласие на эти окончательные условия. Более миролюбивые члены сената не смогли ничего возразить, так как было ясно, что консул действует в рамках своих законных прав. Принуждение непокорного гражданина было делом исполнительной власти, и, хотя Опиций выступал от имени сената, власть и ответственность принадлежали ему. Единственным способом протеста для них была отставка, но это было бы нарушением дисциплины, которая связывала Совет с его главой, и свидетельствовало бы о подозрительном безразличии к делу, которое считалось делом конституции. Говорят, что по возвращении гонца Гракх выразил готовность принять условия консула и был готов войти в сенат и там отстаивать свое дело и дело своих сторонников.[727] Но никто из его товарищей не согласился, и Флакк снова послал своего сына с предложениями, подобными тем, которые были отвергнуты. Опиций выполнил его предписание, задержав мальчика, и, жажда сражения, чтобы осуществить задуманное, выдвинул свои вооруженные силы против позиции, занимаемой Флакком. Он не полностью зависел от импровизированных сборов предыдущего дня. В Риме в тот момент находилось несколько отрядов критских лучников,[728] которые либо только что вернулись со службы в легионах, либо должны были принять участие в какой-то ближайшей кампании. Именно их усилиям в основном и был обязан успех атаки. Баррикада у храма могла бы устоять под натиском тяжеловооруженных солдат, но ее защитники были пронзены стрелами, участок усеян ранеными, а ряды были в полном беспорядке, когда был предпринят последний штурм. Среди них были и выдающиеся имена, придававшие достоинство последовавшей за этим резне. Такие люди, как Публий Лентул, почтенный глава сената, придавали вечный оттенок респектабельности действиям Опия, появляясь в своих паноплиях среди войск, которыми он руководил[729].

Когда разгром был завершен и вся толпа обратилась в бегство, Флакк попытался скрыться в мастерской, принадлежавшей одному из его знакомых; но ход его бегства был замечен, и узкий двор, ведущий к дому, вскоре был переполнен преследователями, которые, обезумев

от незнания того, какое именно жилище скрывает личность Флакка, поклялись, что сожгут весь переулок дотла, если его убежище не будет обнаружено.[Дрожащий ремесленник, подружившийся с ним, не решился предать своего поданного, но облегчил свои страхи, шепнув тайну другому. Тайник был немедленно раскрыт, и великий экс-консул, заложивший основы римского владычества в дальней Галлии, человек упорный и просвещенный, пылкий и верный, но, возможно, не слишком благоразумный, был разрублен на куски своими же гражданами в укромном уголке римских трущоб. Его старший сын пал, сражаясь рядом с ним. Младшему, тогдашнему посланнику, а ныне пленнику консула, была предоставлена возможность самому выбрать способ смерти. Ранний Рим отверг принцип возложения грехов отцов на детей;[731] но хладнокровные ужасы восточного и эллинского мира теперь становились общепринятыми государственными нормами для правительства, дрожащего за свою безопасность и непримиримого в своей мести.

Тем временем Гракх был спасен как от позора гражданской войны, так и от унижения в плену у своих врагов. За все время поединка никто не видел, чтобы он нанес хоть один удар. В полном отвращении от ужасной сцены он удалился в святилище Дианы и там приготовился к собственной смерти.[732] Его руку остановили два верных друга, Помпоний и Лаэторий,[733] которые убеждали его бежать. Гракх повиновался, но некоторые считают, что перед тем, как покинуть храм, он протянул руку к богине и взмолился, чтобы римский народ никогда не выходил из рабства в награду за свою неблагодарность и предательство.[734] Эта вспышка гнева, вполне естественное следствие его унижительного положения, как говорят, была вызвана знанием того, что большая часть толпы уже послушала обещание амнистии и присоединилась к войскам Опия. В отличие от большинства проклятий, проклятию Гракха суждено было исполниться.

Бегство Гракха привело его по склону Авентина к воротам Тригемина, стоявшим у берега Тибра. Спеша спуститься с холма, он подвернул лодыжку, и время для бегства удалось выиграть только благодаря самоотверженности Помпония,[735] который повернулся и в одиночку сдерживал преследующего врага, пока, топча его распростертое тело, они не бросились в сторону деревянного моста, перекинутого через реку. Здесь Лаэториус подражал героизму своего товарища. Стоя с обнаженным мечом у моста, он отбрасывал назад всех, кто пытался пройти, пока Гракх не перебрался на другой берег. Тогда и он упал, пронзенный ранами. Теперь у беглеца был всего один раб, который составлял ему компанию в бегстве; он вел их по оживленным улицам, где прохожие останавливались по пути, подбадривали их, словно наблюдая за состязанием в скорости, но не подавали никаких знаков помощи и глухо внимали мольбам Гракха о лошади; ведь преследователи были близко позади, и оцепеневшая толпа не думала только о себе. Роща Фуррины[736] приняла их как раз перед тем, как их настигла преследующая группа; в священном месте был совершен последний акт. Было известно только, что хозяина и раба нашли лежащими бок о бок. Одни считали, что верный раб убил Гракха, а затем пронзил себе грудь; другие утверждали, что оба они были живы, когда враг настиг их, но раб с такой неистовой преданностью цеплялся за своего господина, что тело Гракха не могли достать, пока живой щит не был пронзен и разорван.[737] Активность преследователей была стимулирована жадностью, поскольку Опимий назначил цену за головы обоих лидеров фракции на Авентине. Носители этих победных трофеев должны были получить их на вес золота. Говорят, что скромные граждане, принесшие голову Флакка, были лишены награды; но поступок человека, который вырвал голову Гракха у первого обладателя приза и принес ее на острие копья Опимию, долгое время служил текстом для моралистов, рассуждающих о безумии жадности и жажде золота. Его неестественный вес, как говорят, показал, что мозг был извлечен и полость заполнена расплавленным свинцом.[738] Тела убитых по большей части

бросали в Тибр, но в одном из отчетов говорится, что тело Гракха было передано его матери для погребения.[739] Число жертв осады, преследования и последующего судебного расследования, по некоторым данным, составило три тысячи человек. 740] Соппротивление власти, которое только и можно было предъявить последователям Гракха, рассматривалось не как бунт, а как восстание. В Туллиянум ежедневно приносили жертвы, которых душил палач; имущество приговоренных конфисковывалось государством и продавалось с публичного аукциона. Их женам были запрещены все публичные знаки траура;[741] а по мнению Сказволы, крупнейшего правоведа того времени, часть имущества его племянницы Лицинии, погибшей во время всеобщих беспорядков, могла быть возвращена только за счет имущества ее мужа, которому приписывалась смута.[742] Позиция правительства, по сути, основывалась на том, что члены побежденной партии, будь то убитые или казненные, были объявлены врагами государства. Их действия выводили их за рамки закона, а декрет сената, поддержавший Олимпия в его крайних действиях, свидетельствовал о том, что опасность, которую он нечетко обозначил, была направлена против фактического существования содружества и подрывала самые основы общества. Такова была теория военного положения, которую смелый поступок Олимпия передал его преемникам. Ее слабость заключалась в том, что она была неизвестна ни уставам, ни судам; ее правдоподобность объяснялась отчасти тем, что со времени отпадения диктатуры в Риме фактически не существовало власти, которая могла бы законно применить силу для подавления даже самого опасного народного восстания, а отчасти - особенностями движения, ставшего свидетелем первого применения этой власти. Убийство Кая Гракха и его сторонников, каким бы бесполезным и злонамеренным ни было это деяние, имело ту напускную законность, которой никакая изобретательность не смогла бы наделить убийство Тиберия и его сторонников. Павшие вожди не обладали никакой властью, которая могла бы оправдать их первоначальный поступок или последующее неповиновение; они укрепили позиции в городе и, несомненно, взяли в руки оружие, предположительно для того, чтобы нанести тяжкий вред верным согражданам. Поскольку их противниками, безусловно, было правительство, кем же они могли быть, как не объявленными врагами, пойманными с поличным на измене, столь открытой и столь жестокой, что к их делу можно было применить только старое определение "предатели" и "враги"? Таким образом, юридическая теория сама провозгласила существование гражданской войны и передала будущим поколениям партийных лидеров инструмент резни и истребления, который достиг своей кульминации в проскрипционном списке Суллы.

Олимпий, после того как он перестал председательствовать в своей комиссии по смертной казни, выразил мнение, что он избавил государство от бешенства раздора, основав храм Гармонии. Горькая строка, нацарапанная на двери какой-то невидимой рукой,[743] выражала сомнение, которое, должно быть, вскоре закралось во многие умы, не был ли врач безумнее пациента, и мнение, которому вскоре суждено было стать общепринятым, что авторами раздора, который был якобы исцелен, учителями, воспитывавшими Рим в духе высшего идеала гражданской вражды, были те самые люди, которые теперь находились у власти.[744] В дальнейшем мы увидим, с какой скоростью Время свершило свою политическую месть. В сердцах людей Гракхи были отомщены еще быстрее. Римский народ часто чередовал вспышки страстных чувств и состояния трусливого довольства; но во всех этих фазах чувств память о двух реформаторах росла и процветала. Согласие с Гракхами было для самого гордого аристократа и самого фанатичного оптимата статьей веры, которую внушала ему шумная толпа, к которой он обращался. Человека, который подражал им, могли объявить самозванцем или предателем; люди, которым он подражал, принадлежали почти к далекому миру полубожественных существ. Их статуи возвышались в общественных местах, места, где они встретили свою смерть, считались священной землей и были усыпаны

скромными подношениями из плодов сезона. Многие даже приносили их изображениям ежедневные жертвы и опускались перед ними на колени, как перед богами.[Спокойное уважение или экстатическое почитание, с которым относились к именам и памяти Гракхов, отчасти объяснялось смутным ощущением простого человека, что они были авторами более счастливых сторон системы, при которой он жил, более ярких отблесков, которые иногда пробивались сквозь тучи угнетения и дискомфорта; оно также объяснялось убеждением государственного деятеля, которому часто сопротивлялись, но которое всегда повторялось, что их работа была непреложной. Отменить ее - значит погрузиться в темные века, попытаться изменить - значит сразу же убедиться в необходимости ее обновления. На каждом повороте политической жизни государственный деятель сталкивался с двумя фигурами, страх или восхищение перед которыми возвышали его до гигантских размеров. Ортодоксальный историк гневно заявил бы, что это всего лишь фигуры двух молодых людей, чьи необузданные действия привели Рим в смятение и которые встретили свою незаслуженную, но достойную сожаления судьбу: один - во время уличных беспорядков, другой - возглавляя вооруженное восстание. Но критика содержала элементы собственного опровержения. Молодость, братство, мученичество этих людей были теми самыми элементами, которые придали смягчающее сияние жестким очертаниям их жизни. Гракхи были суровой и вечно присутствующей реальностью; они также были светлой и благодатной памятью. В любом из этих образов они должны были жить; но сочетание обоих представлений обеспечило им бессмертие, за которое часто тщетно боролись возраст, мудрость, опыт и успех. Странное чувство, которое часто внушает великая и прекрасная жизнь, что она принадлежит скорее вечности, чем ближайшему прошлому, и что у нее мало точек соприкосновения с прозаическим кругом нынешнего существования, почти изгнало из сознания Корнелии эгоистические инстинкты ее потери и, возможно, даже притупило нежные воспоминания, которые скопляются вокруг более хрупких, чем сильных элементов в характерах тех, кого мы любим. Те, кто навещал ее на вилле в Мизенуме, где она держала свой интеллектуальный двор, окруженная всем лучшим, что было в письмах, и обменивалась приветствиями или подарками с властителями земли, были поражены тем спокойствием, с которым она говорила о жизни и поступках своих сыновей.[746] Воспоминания не проливали слез, ее голос не передавал интонаций печали или сожаления. Она говорила о них так, словно они были историческими фигурами прошлого, людьми слишком далекими и великими, чтобы вызывать слабые эмоции, которые омрачают созерцание. Некоторые думали, что ее ум пошатнулся из-за возраста или что ее чувствительность притупилась из-за несчастья. "Этим они доказывали свое полное отсутствие чувствительности", - говорит любящий биограф Гракхов: Они не знали, добавляет он, ни признаков того благородства души, которое иногда дается от рождения и всегда совершенствуется культурой, ни разумной стойкости духа, которую дают умственные и нравственные совершенства. Спокойствие Корнелии доказывает, что она была едина со своими детьми и после их смерти, а их идентичность с таким чистым разумом - такая же большая дань уважения их мотивам, как восхищение или страх римлян - их уму и делам. Корнелия заслуживала памятника в Риме по своей внутренней ценности; но поведение ее последних дней оправдывает легенду, выгравированную на статуе, которую можно было увидеть в портике Метеллуса: "Корнелии, матери Гракхов"[747].

Теперь мы можем дать некоторую оценку политическим изменениям, которые произошли в Риме за последние двенадцать лет. Революционное законодательство этого периода было, строго говоря, не самим изменением, а лишь формулой, обозначавшей уже сложившийся рост; и нельзя извлечь никакой пользы из того, что мы проведем заметный контраст между целями и методами двух людей, ответственных за самые решительные из этих реформ. При поверхностном взгляде на факты можно предположить, что Тиберий Гракх направил свои

силы исключительно на улучшение социального положения, а его брат Кайус должен был внести значительные изменения в работу, но не в структуру конституции. Но даже хронологический обзор действий этих двух государственных деятелей показывает обширный союз интересов, которые внезапно выступили вперед, причем с такой силой, которая требовала либо такого сопротивления, какого не оказывает ни одно политическое общество, достаточно однородное, чтобы его поддерживать, либо таких уступок, на которые может милостиво пойти правительство, которое после предоставления гранта все еще может сохранить большинство форм и большую часть содержания своей прежней власти. Так тесно переплетались социальные и политические вопросы, так необходимо было, чтобы попытка удовлетворить интересы одного класса сразу же порождала требование признания или компенсации другого, что Тиберий Гракх не успел сформулировать свои аграрные предложения, как его стали посещать мысли о принятии законов для армии, передаче части судебной власти конному ордену и предоставлении права голоса союзникам. Даже уверенность в том, что эти проекты были лишь приемом для обеспечения его собственного возвышения, не доказывает, что их обнародование было вызвано блестящим открытием их создателя или что он создал потребности, которые затем предложил удовлетворить. Отчаянный государственный деятель ухватывается за ближайшую обиду; правда, он может усилить нужду, дав первое громкое и ясное выражение низкому и смущенному ропоту недовольства; но обида, которая живет и подает яростные признаки своего присутствия, как это было с итальянскими союзниками во время восстания Фрегеллана, должна быть реальной, а не выдуманной: И когда она находит средство, как это произошло с нуждами бедняков и политическими претензиями рыцарей при Кая Гракхе, следует предположить, что болезнь была давней, и что долгое время ей не хватало не признания, а возможности и ума, необходимых для ее устранения. Кай Гракх был таким же политическим исследователем, как и его брат; не нужно было обладать интуицией гения, чтобы увидеть факты, которые составляли нормальное окружение каждого выдающегося политика эпохи. Его притязания на величие основываются отчасти на умственной и моральной силе, которую он разделял с Тиберием и которая давала ему возможность противостоять силе инерции и трансформировать смутные мысли сначала в пылкие слова, а затем в энергичные действия; отчасти на необычайной изобретательности, с которой он уравнивал интересы и притязания классов, чтобы сформировать коалицию, которая на время была несокрушимой: и отчасти от той законченности, с которой он убрал ревность времени с праздной арены ежедневных политических разборок и отвел ей место в постоянном механизме конституции, чтобы она оставалась необходимым условием шаткого мира или междоусобной войны, которые дрожащие элементы баланса сил поочередно приносят его обладателям.

Поскольку реальность проблем, которыми занимались Гракхи, неоспорима, и поскольку мало кто склонен признать, что наиболее эффективное лечение проблемы, будь то социальной или политической, заключается в отказе от ее решения, любая разумная критика их реформ должна основываться исключительно на рассмотрении их целей и методов. В первую очередь наше внимание привлекает земельный вопрос, которым занимались оба законодателя. Целью возобновления и перераспределения общественного достояния было возрождение класса крестьян, которые, как утверждает легенда, возможно, с определенной долей правды, составляли цветок гражданского населения в те годы, когда Рим боролся за место среди окружающих народов, и в последующий период его экспансии в Италии. На такую цель можно смотреть с двух точек зрения. Ее можно рассматривать как самоцель, не обращая внимания на политические результаты, или же как попытку увеличить мощь и безопасность государства без особого внимания к комфорту и благополучию его отдельных членов. Схема Гракхана, рассматриваемая с первой точки зрения, может быть подвергнута неблагоприятной критике в отношении ее цели и методов только теми, кто

считает, что городская жизнь при любых обстоятельствах дает моральные, умственные и физические преимущества, которых лишают условия проживания в загородных районах. Правда, возражающий может в свою очередь указать, что вопрос о стандарте комфорта, который должен быть достигнут в той или иной сфере, имеет здесь первостепенное значение; но такой вопрос сразу же приводит нас в область средств, а не целей, и идеал человеческой жизни не может оцениваться только с учетом практической осуществимости его реализации. Именно вторая точка зрения, с которой можно рассматривать цель этого земельного законодательства, в первую очередь дает критику возможность отрицать обоснованность цели и эффективность средств. Если новый земледелец должен был стать элементом силы римского государства, спасти его от эгоизма узкой олигархии, нестабильности городской толпы и коррупции обоих, защитить завоевания, которые город завоевал, или продвинуть свою империю дальше, необходимо было доказать, что он может быть полезен и как избиратель, и как солдат в легионах. Его способность эффективно выполнять первую функцию была, по меньшей мере, крайне сомнительной. Реальность голоса крестьянина, очевидно, зависела от близости его проживания к столице, поскольку ни в этот, ни в какой-либо другой период истории Республики нет ни малейших признаков формирования какого-либо замысла по изменению жестко первичного характера народных собраний Рима. Права избирателя на расстоянии всегда считались чисто потенциальными, поэтому внутренние и северные поселения, которые Рим основал в Италии, обычно наделялись латинскими правами, в то время как колонии римских граждан теснее сжимались вокруг матери; и всегда находились люди, готовые пожертвовать активными правами римского гражданства из-за никчемности их обладания в отдаленной колонии. Даже трудно было примирить пассивные права римского гражданства с проживанием вдали от столицы; ведь вся высшая юрисдикция находилась в Риме, и жителям отдаленных поселений было нелегко ее искать.[748] Но даже если исключить вопрос об относительной удаленности от центра событий, все равно было маловероятно, что житель страны будет хорошим гражданином в эллинском понимании этого слова. Когда Аристотель одобряет сельскую демократию, просто потому, что она, в сущности, не является демократией вообще,[749] он думает не только об отсутствии у крестьянина интереса к городской политике, но и о несовместимости постоянных требований, которые сельские занятия предъявляют к времени и энергии, с участием в общественных делах в центре города. Сын земли быстро усваивает, что он обязан безраздельной преданностью своей матери: и его редко будут будоражить политические эмоции, достаточно сильные, чтобы преодолеть практические призывы, которые звучат во время посевной и сбора урожая. Но возможностей для отказа от гражданских обязательств в Риме было гораздо больше, чем в греческих общинах. Римские собрания не имели установленных дней для заседаний, законы могли провозглашаться и приниматься в любое время года, их суть разъяснялась на публичных собраниях, которые часто объявлялись утром того дня, на который они были созваны, и на них могли присутствовать только те, кого случай, досуг или привычное стремление к политическому азарту приводили на Капитолий или Форум. В этот период не было установленной даты даже для выборов высших магистратов. Возможно, была сделана попытка назначить их на лето, когда дороги были проходимы, труды весны закончились, а работы по сбору урожая еще не начались.[750] Но создание магистратур при Imperium во многом зависело от удобства консулов, один из которых иногда должен был возвращаться из похода, чтобы председательствовать в комициях, которые должны были избрать его преемников; даже дата выборов трибунов могла быть обусловлена политическими соображениями. Заключительные события жизни Тиберия Гракха доказывают, как трудно было обеспечить явку сельского избирателя, даже когда предстояли выборы известного политического значения; Каий же понимал, что лучшая гарантия для народного лидера, будь

то законодатель или кандидат, - это привязать к себе городского жителя узами благодарности и интереса. Вряд ли перед лицом подобных фактов можно признать, что сельхозпроизводитель, созданный в результате реформ Гракхов, мог оказать какую-либо значительную политическую помощь своему городу. Правда, существование практически бесправного пролетариата может оказывать модифицирующее влияние на политику. В Риме он не мог служить той цели, которую он иногда выполняет в современном мире, - формировать мнение избирателя; но даже в Риме он предполагал наличие резерва, который можно было бы задействовать в чрезвычайных ситуациях. Государство, однако, живет не чрезвычайными обстоятельствами, а постоянной и бдительной активностью своих членов. В Риме такую активность мог проявить только легитимированный сенатор или лидеры городской мафии. Силы, которые в прошлом работали на олигархию, в изменившихся условиях могли породить узкий тип городской демократии; но они не давали надежды на реализацию истинно народного правительства.

Однако можно было надеяться, что вновь созданные фермеры смогут укрепить военную, если не политическую, мощь государства. Эта надежда, в той мере, в какой она возлагалась на самого земледельца, превращалась в анахронизм из-за нынешних условий службы. Даже в прежние времена кампания, затянувшаяся дольше обычного шестимесячного срока, часто приводила к разорению крестьянина-собственника; а теперь, когда осторожная политика протектората была в значительной степени отброшена и военные усилия Рима, уже не ограничивавшиеся оборонительными или агрессивными войнами, были направлены на обеспечение его господства в далеких зависимых странах с помощью постоянных гарнизонов, служба в легионах стала еще более фатальным препятствием для развития промышленности. Рим еще не усвоил урок, что империя не может быть гарнизонована армией призывников; но он все больше осознавал неадекватность своей собственной военной системы, и это осознание заставило его сделать легкий, но роковой шаг - переложить гораздо большее бремя внешней службы на латинян и итальянских союзников. Любое увеличение численности и эффективности ее собственных вооруженных сил устранило бы таким образом опасную проблему, одновременно увеличив силу, которая, в крайнем случае, могла бы обеспечить постоянство ее господства даже в Италии. Такое увеличение было достигнуто единственно возможным способом - принятием системы добровольного зачисления в армию и дальнейшим пренебрежением к старинным условиям богатства и статуса, которые были частью теории о том, что служба - это бремя, и совершенно не соответствовали новому требованию о том, что она должна стать профессией. Хотя следует признать, что законодательство Гракхана оказало мало помощи в этом направлении, следует помнить, что, даже если исключить из рассмотрения небольшие усилия, предпринятые Кайусом, чтобы сделать военную службу более привлекательным призванием, увеличение класса фермеров само по себе могло бы многое сделать для решения проблемы. Хотя одинокий владелец фермы был явно неспособен участвовать в экспедициях за моря без серьезного ущерба для собственных интересов, сыновья такого человека могли пройти значительный срок военной службы без катастрофических последствий для поместья, а если наследство оставалось неразделенным и несколько братьев владели землей совместно, обязанности солдата и фермера могли чередоваться, не оставляя усадьбу без главы. Признание военной жизни как профессии должно было еще больше выиграть от политики, поощрявшей рост сельского населения; ведь энергия лишних членов семьи, чьи услуги не были нужны или не могли быть должным образом вознаграждены на ферме, находила более благотворный выход в бурной жизни лагеря, чем в усыпляющем влиянии города. Деревенская местность могла бы и дальше обеспечивать лучшее телосложение и лучшую мораль, чем те, что можно было бы найти в бедных кварталах Рима.

Цели, поставленные в схеме земельной реформы Гракхов, хотя в некоторых отношениях и труднореализуемые, вызвали меньше враждебной критики, чем методы, которые были приняты для их реализации. Можно утверждать, что схема практической конфискации, которая, отстаиваемая Тиберием Гракхом, сразу же ввергла его в ожесточенную политическую борьбу и встретила сопротивление, которое можно было преодолеть только неконституционными средствами, могла быть предотвращена, если бы реформатор увидел, что экономическое средство должно быть окончательным, чтобы быть успешным, и что экономической тенденции можно противостоять только путем уничтожения условий, которые придают ей ложную видимость закона. Два условия, которые в то время были фатальными для усилий умеренного землевладельца, по общему мнению, заключались в дешевизне и, при бесчеловечных обстоятельствах использования, даже эффективности рабского труда, а также в конкуренции дешевой кукурузой из провинций. Меры по исправлению ситуации, которые могли бы сразу же прийти в голову современному экономисту, не скованному верой в свободную торговлю или в законность использования самой дешевой рабочей силы, - это запрет или ограничения на ввоз рабов и введение пошлин на иностранную кукурузу. Первый способ в своей крайней форме может оказаться неосуществимым, поскольку было бы трудно обеспечить такой контроль за рынком рабов, который позволил бы провести различие между продажей рабов для сельскохозяйственных или пастушеских работ и их приобретением для домашних целей. Налог на подневольный труд, занятый на земле, или умеренное постановление, которое впоследствии ввел Цезарь, о том, что определенная доля пастухов, занятых на пастбищах, должна быть свободного происхождения,[751] были бы более практичными мерами, и, возможно, если бы они были представлены как альтернатива конфискации, не встретили бы непреодолимого сопротивления со стороны капиталистов, хотя сама их умеренность могла бы снискать им лишь вялую поддержку народа и обеспечить неудачу, которая сопутствует полумерам, не несущим в себе смысла и лишенным смелости, возбуждающей энтузиазм. Но реальное возражение, которое Гракхи и их окружение должны были бы иметь против законодательства этого типа, независимо от того, было ли оно предложено им в его крайнем виде или в какой-то измененной форме, заключалось бы в том, что оно не могло бы обеспечить достижение цели, на которую они нацелились. Такие меры просто возродили бы свободного рабочего, в то время как их мечтой было восстановление крестьянина-собственника или, по крайней мере, арендатора, владеющего своей землей на совершенно гарантированном государством праве. И даже возрождение свободного рабочего было бы представлено лишь в самых скромных масштабах; ведь такое законодательство ничего не дало бы для восстановления пахотных земель, превратившихся в пастбища, и для возрождения жизни на огромных пустынных участках, одиночество которых нарушалось лишь редким присутствием хижины пастуха. Если бы законодатель поднял крик о восстановлении свободного труда в таких широких масштабах, он мог бы подвергнуться разочарованию, если не насмешкам, со стороны своих друзей и вызвать критику, эффективную, потому что популярную, со стороны всех своих тайных врагов. Хозяева мира вряд ли с энтузиазмом поддержали бы лидера, выставившего в качестве цели одинокую, бесплодную и зачастую опасную жизнь погонщика овец для жадного капиталиста и предложившего им не службу, а общение с рабами, которых завоевали их победоносные руки.

Альтернатива в виде защитного законодательства для защиты итальянского зерна может быть отвергнута с еще большей легкостью. Прежде всего, она была невозможна с точки зрения политической целесообразности. Гракхи, как и любые другие законодатели-реформаторы, должны были опираться в своей основной поддержке на голосующее население города Рима: а такой электорат ни на минуту не подумал бы одобрить меру, которая привела бы к удорожанию кукурузы на римском рынке, даже если бы возражения

капиталистов, поставлявших иностранное зерно на этот рынок, были успешно преодолены. Каий Гракх был вынужден разрешить продажу кукурузы в Риме по цене ниже текущей рыночной. Но даже если бы защита была возможна, она должна была стать последней, а не первой из конструктивных мер, необходимых для решения аграрного вопроса. Она могла бы что-то сделать для сохранения мелких ферм, но эти фермы должны были быть созданы до того, как было обеспечено их содержание; и если бы она была принята, помимо какой-либо схемы, направленной на передел земли, такая защитная мера просто принесла бы пользу тем существующим владельцам крупных поместий, которые все еще продолжали посвящать часть своих владений сельскому хозяйству. Однако тот факт, который можно считать несомненным, что иностранная кукуруза могла уступать итальянской на римском рынке и, вероятно, на рынке всех крупных городов, расположенных в непосредственной близости от моря, может показаться фатальным недостатком аграрных проектов Гракхов. Какие были основания полагать, что тенденции, которые в прошлом способствовали росту крупных хозяйств и замене земледелия пастбищами, останутся недейственными в будущем? Собственное постановление Тиберия Гракха о неотчуждаемости выделенных им земель, казалось, свидетельствовало о подозрении, что тенденции к накоплению еще не исчерпаны и что владельцы вновь созданных хозяйств не сочтут занятие сельским хозяйством настолько выгодным, чтобы цепляться за него, презирая соблазны наступающего капиталиста. Несомненно, запрет на продажу выявил слабое место в аграрной системе того времени; но, вероятно, это постановление было принято не от отчаяния, что мелкий крестьянин сможет получить содержание, а в качестве защиты от ростовщика, этого проклятия крестьянина-собственника, который теперь мог быть менее охотным к крестьянину, когда полученное им обеспечение ни при каких обстоятельствах не могло привести к приобретению им конечной собственности. Что касается будущего, то существовала обоснованная надежда на то, что крестьянин, если его оградить от стратегических устремлений более богатых соседей, сможет удержать свои позиции. В современном государстве с многочисленным населением и сложной промышленной организацией, где прибыль от широко распространенной коммерческой жизни повысила уровень комфорта и создала множество разнообразных потребностей, можно с полным основанием считать, что, прежде чем сельское хозяйство сможет объявить себя успешным, оно должно быть в состоянии указать на какой-то центральный рынок, где оно получит адекватное вознаграждение за свой труд. Но эта точка зрения отнюдь не была столь распространена в более простых обществах древности. Трудности коммуникации, из-за которых Рим, с точки зрения транспорта, должен был казаться ближе к Африке, чем к Умбрии, а во многих крупных городах побережья наблюдалась такая же тенденция к зависимости от иностранного импорта, сами по себе были достаточны, чтобы ослабить зависимость фермера от потребления его продукции большими городами. Вера в то, что домашняя усадьба может быть почти самодостаточной, вероятно, сохранялась в отдаленных сельских районах даже во времена Гракхов; или, если абсолютное самообеспечение было недостижимо, жизненно необходимые вещи, которые не мог произвести дом, можно было получить без усилий, периодически посещая рынок или ярмарку, которая была промышленным центром группы деревень. Кажущийся достаточным размер наделов Гракхана, некоторые из которых в три раза превышали большие колониальные наделы прежних времен,[752] указывал на возможность содержать большую семью, если принимать во внимание только простые жизненные потребности. Душа фермера не должна была страдать от конкуренции, если он довольствовался тем, что живет, а не торгует, и можно было надеяться, что преданность земле, которую внушает владение, могла подействовать даже на земли, оставшиеся бесплодными из-за небрежения. У земледельца, нацеленного на рынки больших городов, даже могла появиться надежда; ведь если кукуруза не приносила прибыли, то масло и вино еще не были недопроданы, и оба они

были товарами, которые принесут больший доход, чем зерно, при той мелочной и скрупулезной заботе, которой мелкий земледелец превосходит владельца большого поместья. Неудача с выращиванием кукурузы как продуктивной отрасли, а возможно, и само законодательство Гракхов, должны были дать большой толчок к выращиванию виноградной лозы и оливок, значение которых в последние годы Республики, как мы видели, подтверждается тем фактом, что распространение этих продуктов было запрещено в Трансальпийских областях, чтобы защитить интересы римского производителя.

Возрождение сельского хозяйства, таким образом, было возможно; но для его успеха требовался дух, который с готовностью включился бы в работу и без ропота подчинился бы условиям жизни, которые предписывала суровая задача. Именно здесь аграрное законодательство Гракхов встретило свое препятствие. В той мере, в какой оно оказалось неудачным, то есть недостаточным, чтобы предотвратить повторное скопление людей в городах и дальнейшее обезлюдение сельских районов, оно потерпело неудачу, потому что было направлено против социальных идеалов, а не против экономических тенденций. Многие из поселенцев, которых она высаживала на участки, должно быть, уже были деморализованы лихорадочной атмосферой Рима; другие же, более здравомыслящие и энергичные, возможно, вскоре оглянулись на столицу не как на место отдыха бездельников, а как на биржу мира, или обратили свои мысли к провинциям как к сфере, где энергия вознаграждалась наилучшим образом, а капитал давал самую быструю отдачу. Из других социальных мер этого периода колонизация, в той мере, в какой она имела чисто сельскохозяйственную цель, подчиняется критериям, которые применялись к аграрным движениям того времени; хотя возможно, что формирование новых или перестройка старых политических обществ, которые должны были следовать схеме Друза, если бы она была когда-либо реализована, вдохнули бы более энергичную жизнь в сельскохозяйственные поселения этого типа, чем та, которая могла бы пробудиться в тех, которые составляли просто окраинную часть Рима или какого-либо существующего муниципалитета. Мы видели, как колониальный план Друза отличался по своим намерениям от плана Кая Гракха; но последний государственный деятель в поселении, которое он проектировал в Юнии, планировал основание, которое должно было жить скорее за счет богатства своей территории, чем за счет торговли, и всегда должно было быть, подобно древнему Карфагену, в равной степени как сельскохозяйственным, так и торговым государством. Против такого аграрного проекта не могло быть никаких экономических возражений, и, если бы схема трансмаринной колонизации была полностью реализована, сами провинции могли бы принести пользу земледельческому классу Италии, чьими экономическими врагами они стали. Кроме того, удаленность таких поселений от Рима ослабила бы тягу к столичной жизни, которая овладевала умами и парализовала энергию обитателей итальянских земель.

Но в целом план колонизации Гракхов был, как мы видели, скорее торговым, чем сельскохозяйственным, и, вероятно, предназначался для того, чтобы принести пользу классу, который не был приспособлен к сельским занятиям ни по ассоциации, ни по образованию. Этим предприятием Кайус Гракх показал, что он с совершенной ясностью видит истинную причину и окончательное доказательство застоя среднего класса. Нация, забросившая сельское хозяйство и позволяющая кормить себя из чужих рук, даже из рук своих собственных подданных, подвергается военным опасностям, которые очевидны, и политическим опасностям, несколько более туманным, но время от времени приносящим свои плоды; но такая измена земле не является признаком национального упадка, если легионы рабочих просто перенесли свою верность из деревни в город, из сельского хозяйства в производство и торговлю. В Италии это утешительное объяснение было невозможно. За исключением, пожалуй, Лациума и Кампании, здесь было мало

промышленных центров; многие из тех, что существовали, находились в руках греков, еще большее их количество затонуло под тяжестью войны и никогда не возрождалось. Великие синдикаты, в которые вкладывался римский капитал, использовали рабов и вольноотпущенников в качестве своих агентов; деятельность этих великих домов была направлена в основном на провинции, а итальянские морские порты использовались лишь как каналы для бизнеса, который был спекулятивным и финансовым и, насколько это касалось Италии, лишь в очень незначительной степени, если вообще в какой-то степени, продуктивным. Восстановление производителя или торговца с умеренными средствами означало возрождение стабильного элемента в населении, существование которого могло бы смягчить грубую суровость, с которой капитал противостоял силе, с одной стороны, и бедности - с другой. Но возрождение этого элемента в Риме потребовало бы искусственных мер, которые, ущемляя монополии, принадлежавшие эквитам, нанесли бы ущерб непосредственной цели законодателя и, вероятно, оказались бы неосуществимыми. Кроме того, такое возрождение усилило бы централизацию, которая может быть полезна для политика, но вызывает сожаление у социального реформатора. Однако ослабленный класс мог восстановить свою эластичность, если его поместить в благоприятную среду и пригласить в места, которые когда-то привлекали предприимчивость греческих торговцев; и поселения Кая Гракха на юге Италии были средством для достижения этой цели. У нас нет оснований считать этот эксперимент полностью неудачным. Некоторые из этих колоний продолжали существовать, хотя в каком обличье - неизвестно. Но даже умеренный успех потребовал бы преемственности в схеме, которая была грубо прервана падением ее инициатора, и не стоит думать, что крупные капиталисты, чью власть реформатор сам же и увеличил, смотрели с дружелюбием на этих мелких конкурентов. Задуманная Гракхом схема социальных реформ нашла свое завершение в его законе о продаже кукурузы. После того как он предусмотрел для прирожденных земледельцев и прирожденных торговцев, все еще оставался остаток более бедных граждан, чьи склонности и привычки побуждали их к тому или иному призванию. Именно для них предназначалась ежемесячная дотация удешевленного зерна. Их хлеб добывался трудом, но трудом настолько непостоянным и ненадежным, что его часто оказывалось недостаточно для обеспечения минимальных средств к существованию, если только государство не оказывало некоторую помощь. Более здоровая форма государственной помощи - использование труда - несомненно, практиковалась Каем Гракхом, и, возможно, обширные общественные работы, которые он инициировал и контролировал, были направлены на благо ремесленников, которые трудились над их строительством, а также торговцев, которые могли бы получить прибыль от их завершения.

Какими бы ни были наши суждения о достоинствах и результатах этой социальной программы, важность политического характера, который она должна была принять с момента завершения карьеры Кая Гракха и до падения Республики, трудно преувеличить. Пункты реформ, воплощенные в его законодательстве, стали постоянными факторами всех демократических программ, которые должны были появиться в будущем. В них мы видим постоянно повторяющийся спрос на землю, на колониальные ассигнации, на трансмаринные поселения, на обновление или расширение закона о кукурузе. Правда, это повторение может быть отчасти обусловлено самой силой личности первого реформатора и магией памяти, которую он оставил после себя. Партийные клички имеют тенденцию превращаться в шибболеты, и трудно распутать паутину, сплетенную рукой мастера. Даже ненавистный крик об итальянской франшизе, ставший гибельным для Кая Гракха, стал приемлемым для партийных лидеров и все более широкой части их последователей во многом потому, что был вплетен в его программу реформ. Но энергичная жизнь его великого манифеста не может быть объяснена только на этом основании. Более возвышенным

представляется мнение его автора о том, что его жизнь была обусловлена его внутренней полезностью и что Гракх указал на реальные потребности, которые, оставаясь неудовлетворенными вплоть до рождения принципата, постоянно служили поводом для возобновления предложений, столь близко схожих с его собственными.

Когда мы переходим от социальных к политическим изменениям этого периода, мы оказываемся на гораздо менее спорной почве. Хотя могут быть некоторые сомнения относительно намерений, с которыми Кай Гракх проводил каждую реформу, ее характер, проиллюстрированный ее местом в экономике содружества, настолько четко запечатлен на ней и так мощно проявился в последующие годы, что всестороннее обсуждение характера его отдельных мер было бы просто невыгодной попыткой вспомнить прошлое или предвидеть будущее. Однако коллективный эффект его отдельных усилий подвергался весьма различным интерпретациям, и вопрос еще более усложнялся опасными, а иногда и слишком самоуверенными попытками определить, насколько намерения законодателя оправдались в фактическом результате его реформ. Поскольку можно доказать, что изменения, внесенные Гракхом, или, если быть более точным, симптомы, вызвавшие эти изменения, в конечном итоге привели к монархическому правлению, Гракха иногда рассматривают как сознательного автора и обладателя личного верховенства, которое, по его намерениям, должно было заменить сложный и несколько громоздкий механизм, управлявший конституционным правительством Рима; Поскольку он посеял семена раздора, столь ужасного, что он был невыносим даже в государстве, которое никогда не знало отсутствия раздоров и конфликтов и сохраняло свои свободы благодаря тщательно регулируемым распрям, его работа считалась работой ангела-мстителя, который пришел не обновить, а уничтожить. В обеих этих картинах есть своя правда; но Гракх, которого они изображают как силу, уничтожившую века искусной работы, как первого предвестника грядущей монархии, - это Гракх, который по праву живет в историческом воображении, которое, не ограниченное условиями пространства или времени, предпочитает созерцание вечности работы, а не среды обитания работника; Это представление, которое было бы применимо к любому человеку, столь же способному и решительному, как Гракх, который пытался справиться со злом, порожденным слабой и безответственной администрацией, отчасти путем восстановления старых форм, отчасти путем признания новых и настоятельных требований. Есть момент, когда реформа, если только она не заходит так далеко, что уничтожает конституцию и заменяет ее другой, должна действовать как ослабляющая и распадающаяся сила. Этот момент наступает, когда существующее правительство фактически лишается возможности осуществлять прерогативы суверенитета, а никакая другая власть не укрепляется настолько, чтобы выступать в качестве его бесспорной замены. Распад будет легче, если реформа будет носить нередкий аспект консерватизма, а номинальный суверен, чья сила, никогда не бывшая очень большой, истощилась в результате неупотребления и привычки к механическому повиновению, будет поставлен в условия конкуренции с несколько устаревшим узурпатором. Однако несправедливо считать Гракха радикальным реакционером, который первым вытащил на свет дня заключенного и недееспособного государя. Если бы он сделал это, то стал бы автором революции и создателем новой конституции. Но он никогда не пытался стать таковым, и такой взгляд на его работу основывается на ошибочном впечатлении, что во время его реформ сенат был признан истинным правительством Рима. Такая претензия никогда не публиковалась и не принималась. Нас не интересует его реальность как факт; но ни один здравый анализ, будь то юрист или историк, не признал бы его теоретической истинности. Литературная атмосфера изобиловала теориями народного суверенитета ограниченного типа, и Гракх, признавая этот суверенитет, мало что сделал для устранения его ограничений. Правда, как и его брат, он принимал законы, не обращаясь за обычной санкцией сената; но

первоначальные реформы никогда не были бы проведены, если бы законодатель дождался этой санкции; а будущая свобода Комиции от сенатского контроля в лучшем случае гарантировалась силой примера Гракхов, а не новыми правовыми постановлениями, которые они издали. Прецедентов подобного рода не было и ранее, и только всеобъемлющий характер законодательства Гракхов, казалось, придал новый импульс мнению, что во всех фундаментальных вопросах, требующих регулирования актом парламента, народ является единым и неподконтрольным сувереном. Таким образом, была развита идея о возможности нового периода роста, который должен был перестроить детали структуры государства в соответствии с изменившимися условиями времени. Поскольку предыдущий процесс перемен привел к власти сенат, последний документ можно истолковать как обещание, что римскому миру будет дан новый хозяин. Однако крайне маловероятно, что Гракху или кому-либо из его современников была открыта истинная природа пророчества. На данный момент установилось равновесие сил, и денежный класс занял промежуточное положение между противоборствующими фракциями сената и народа. Его новые полномочия были призваны скорее сдерживать эффективность сената, чем сводить его к бессилию, и для создания этих полномочий Гракх наделил конный орден тем правом ревизии, которое в ранней теории конституции считалось одной из самых надежных гарантий власти народа. Гракх предсказал раздоры, которые должны были последовать за этими трениями между правительством и судами; но это предсказание, хотя оно, возможно, и показывает надежду на то, что в вопросах будущего меркантильный класс, как правило, будет на стороне народа, еще более ясно выдает веру в то, что народ и его покровитель в данный момент совершенно неспособны стоять в одиночку, и что никакое истинное демократическое правительство невозможно для Рима. Несмотря на свой эллинизм, Гракх проявлял две черты истинного римлянина. Он верил в целесообразность создания политического тупика, из которого усталые и израненные бойцы в конце концов придумают какой-нибудь выход; и он твердо придерживался мнения, что народ, рассматриваемый строго сам по себе, не имеет органического существования; что он никогда не был и не мог быть самостоятельной силой. Он не предпринял никаких усилий, чтобы придать римской комиции такую организацию, которая поставила бы ее на уровень независимой греческой еkkлeсии. Возможно, такое упущение было скорее результатом небрежности, чем размышлений; но именно это упущение доказывает, что Гракх ни в коей мере не освободился от типично римской идеи, что народ может найти свое выражение только через голос магистрата. Эта идея, несомненно, делала лидера момента практически главой государства во время любого кризиса, который требовал постоянного вмешательства со стороны комиции; но нет никаких оснований предполагать, что Гракх верил в то, что такое вмешательство будет требоваться постоянно, станет такой же неотъемлемой частью повседневного механизма управления, как управление провинциями со стороны сената или контроль суда со стороны рыцаря. Но даже если бы он придерживался этой точки зрения, ситуация, которую она порождала, не должна была иметь близкого сходства с монархией. Естественным средством выражения народной воли был бы трибунат - должность, которая по самой своей природе создавала такие очевидные препятствия для личного правления, как наличие коллег, вооруженных правом вето, короткий срок пребывания на посту и осуществление полномочий, которые носили в основном негативный характер. Правда, сами Гракхи показали, как можно преодолеть некоторые из этих трудностей. Попытка переизбрания, накопление должностей, игнорирование права вето - все это были нововведения, к которым их вынудило знание, полученное на горьком опыте, что реформа может исходить только от власти, которая в какой-то степени выходит за рамки конституции, и что для эффективного осуществления задуманных мер необходимо сосредоточить различные виды власти в одних руках. Возможно, Кайус смотрел на ситуацию более

откровенно, чем его брат; но его сознание необходимости такой случайной власти в государстве сопровождалось убеждением, что она станет гибелью для того, кто за нее ухватится, что работа может быть сделана, но работник будет обречен. Эти мрачные предчувствия были не результатом расстроенных нервов, а естественным плодом холодно-расчетливого интеллекта, который видел, что верховенство народа или через народ - это иллюзия, что власти знати должно противостоять более острое и прочное оружие, чем комиции и их временные лидеры, что власть сената может уступить в медленном процессе истощения, но никогда не будет поглощена катаклизмическим всплеском народной враждебности. В задачи государственного деятеля не входило заглядывать в будущее и мучиться вопросом, нельзя ли создать новую, постоянную главу государства, чтобы сыграть ту всепроникающую роль, которую судьба отвела сенату. Власть сената не исчезла, она даже не исчезала. Это был твердый факт, полностью признанный теми самыми массами, которые вопили против него. Его упадок будет делом времени, а все великие римские реформаторы прошлого многое оставили на волю времени и судьбы. Материалы, с которыми работали Гракхи, были слишком составными, чтобы они могли предсказать форму структуры, фундамент которой они закладывали. Существенный факт будущей монархии, рост военной мощи, должен был быть почти полностью скрыт от их глаз. Правда, в отношении падения Республики и роста монархической идеи Гракхи были не просто подготовительной или разрушительной силой. Они дали слабые образцы того, каким должен быть конституционный монарх, которые были с радостью восприняты последующими претендентами. Но всегда опасно отождествлять разрушителя с творцом или тип с пророком.

ГЛАВА V

Общая судьба, сопутствовавшая Гракхам, проявилась даже в последствиях их падения. В обоих кризисах исчез блестящий, но мешающий элемент, работа реформатора осталась, потому что это было высказывание народа, перед священным именем которого аристократия продолжала склоняться, политическая атмосфера очистилась, законные органы власти вернулись к своему признанному господству. Говорить о восстановлении власти знати после падения Кая Гракха - значит опровергать как исторические факты, так и впечатления того времени. Маловероятно, что и нобилитет, и коммуны считали, что два года успешной агитации равносильны смене правительства, или что сенат вообще отказался от убеждения, что реформатор, как бы ни были неудобны его действия из-за очевидной необходимости их принятия, должен был поддаться на уловки, которые давно составляли основу успешной сенатской кампании; Переход от руководства Гракха к руководству аккредитованных представителей знати облегчался тем, что авторитет трибуна давно ослабевал и что за несколько месяцев до его смерти большая часть народа с жадностью взирала на привлекательную программу, представленную от имени сената. Подавление последнего движения, правда, отличалось беспримерной суровостью; но эти суровые меры последовали за фактическим призывом к оружию, который вызвал отклик у пассивной или дрожащей толпы и сделал ее в некотором смысле участницей бойни. Если было страшно думать о том, что три тысячи граждан были убиты на улицах или в Туллиануме, то утешало воспоминание о том, что они были официально объявлены сенатом врагами народа. Не было ощущения нерушимого зла, причиненного трибунату, ведь Кай Гракх не был трибуном, когда пал; не было воспоминаний, наполовину горьких, наполовину гротескных, о беспорядочной резне, учиненной толпой разъяренных сенаторов, ведь этот последний и более значительный случай был подавлен регулярными силами государства во главе с его высшим магистратом. Положение правительства было более безопасным, а совесть народа - более спокойной, чем после расправы над Тиберием Гракхом и его сторонниками. Ощущение

безопасности со стороны правительства и покорности со стороны народа вскоре подверглось испытанию в ходе судебного преследования экс-консула Луция Опия. Его импичмент перед народом трибуном Децием[753] поставил жизненно важный вопрос о том, можно ли оправдать те новые полномочия, которые он использовал для разгрома Гракха и его сторонников, на том основании, что они были необходимым и фактически единственным средством поддержания общественной безопасности. Практически речь шла о том, должна ли новая форма военного положения быть признана высшим органом государства - голосом самого суверенного народа; дискуссия приобрела еще большую остроту из-за того, что этому самому суверену напомнили, что он недавно санкционировал постановление, запрещающее выносить смертный приговор римскому гражданину иначе как с согласия народа.[754] В ответ на возражения Деция о том, что действия Опия явно противоречили статутному праву и что самая беспринципная преступность не оправдывает смерти без суда, сторонники обвиняемого выдвинули мнение, которое никогда не было нежелательным для римского ума, что существует более высокая справедливость, чем закон. Утверждалось, что право на самооборону в конечном итоге необходимо как государству, так и отдельному человеку. Человек, пытающийся опрокинуть устои общества, - враг общества, находящийся вне закона; человек, противостоящий его попыткам всеми доступными средствами, просто выполняет долг перед своей страной, который лежит на гражданине и судье. Если принять эту точку зрения, то сложный вопрос права сводился к простому вопросу факта. Показали ли лидер и разгромленная партия своими действиями, что они являются открытыми врагами государства? Большинство, оправдавшее Опия, практически решило, что Гракх и его сторонники своими действиями стали вне закона. Настроения момента были ловко подогреты характером поставленного перед ними вопроса. Если бы избиратели в душе были гракханами, они, вероятно, не обратили бы особого внимания на эти необычные апелляции к фундаментальным принципам политической жизни и проявили бы себя сторонниками как духа, так и буквы закона, автора которого они только что объявили вне закона. Ведь никто не мог сомневаться, что закон Гракхов, который никто не осмеливался оспаривать, был предназначен как раз для того, чтобы покрыть те самые деяния, в которых был виновен Опиий после того, как закончилась резня гракхов на улицах. Право убивать в могло быть спорным; но право учреждать военный суд для суда над захваченными преступниками было заведомо незаконным и мало чем могло быть оправдано даже в силу необходимости. Решение народа также, казалось, давало своего рода признание высказываниям сената, которые предшествовали демонстрации силы Опием. Совершенно верно, что никакая успешная защита насилия не может опираться на саму формулу. Это "окончательное постановление сената" ценилось как весомое и категоричное заявление о существовании ситуации, требующей крайних мер, а не как юридическое разрешение, оправдывающее пренебрежение обычными правами гражданина. Но формулы часто имеют силу, намного превышающую их истинное значение; они навязываются невеждам и служат одновременно щитом и оружием для их хитрых создателей. Вооружение сената или любого революционера, которому посчастливилось одержать верх над сенатом, было значительно усилено народным решением в пользу Опия.[755] Благоприятная ситуация была немедленно использована для отзыва Публия Попилия Лаэнаса. Его восстановление было предложено народу трибуном Луцием Бестией;[756] и народ, только что одобрявший суровость суда Опия, не проявил непоследовательности, продолжая возмущаться гораздо более ограниченными преследованиями Попилия. Тем не менее, этот шаг был более удачным, чем их предыдущие действия; ведь теперь они фактически отменяли собственное правовое решение и одобряли действия суда, который был учрежден сенатом по его собственному распоряжению без предварительного объявления жертв вне закона, - суда, чьи действия,

как известно, определялись положениями закона Кая Гракха, действительность которого все еще не подвергалась сомнению.

Но даже на волне этого антигракханского прилива дворянство все еще должно было проводить свой курс осторожно и осмотрительно. Личные предрассудки были для масс сильнее принципов. Они могли одобрять бесчинства, которые уже получили благословение людей, представлявших, по крайней мере внешне, более респектабельную часть римского общества; но они продолжали ненавидеть людей, чьи характеры, казалось, стали чернее, а не чище в результате участия или даже оправдания недавних актов насилия. Один из наших авторитетов хочет заставить нас поверить, что даже престарелый Публий Лентул, некогда глава сената, был принесен своими сверстниками в жертву судьбе, постигшей Сципиона Насика. Он взошел на Авентин вместе с войсками Опимия и был тяжело ранен в последовавшей за этим схватке.[757] Но ни его возраст, ни раны не смогли преодолеть странных предрассудков толпы. Клевета и оскорбления преследовали его по пятам, пока в конце концов он не был вынужден, в интересах собственного спокойствия и безопасности, просить у сената одно из тех почетных посольств, которые покрывают отставку сенатора либо по частным делам, либо для отдыха, и искать дом в Сицилии.[758] Его последним публичным выступлением была страстная молитва о том, чтобы он никогда не возвращался в свою неблагодарную страну: и боги исполнили его просьбу. Если эта история правдива, она доказывает, что общественное мнение было сильнее, чем голос комиции. Лентула, если бы он предстал перед судом, вероятно, оправдали бы; но возмущенное меньшинство, бессильное в собрании, могло быть достаточно сильным, чтобы своим поведением на публичных собраниях и на улицах сделать жизнь избранной жертвы невыносимой. Но даже у комиции были пределы ее выносливости. В течение года, последовавшего за оправданием Опимия, перед ними появился проситель их благосклонности, имевший примерно равные права на признательность и ненависть обеих частей народа. Это были саморазрушительные или подтверждающие претензии государственного деятеля, которого друзья называют новообращенным, а враги - отступником. Ни один человек той эпохи не представал в более выгодном политическом свете, чем Карбо. Активный помощник Тиберия Гракха и столь яростный противник Сципиона Аэмилиана, что его считали автором его смерти, он порвал связь с партией реформ, вероятно, из-за того, что расширение избирательных прав, которое стало частью их программы, было либо неосуществимым, либо нежелательным. Он, должно быть, оказался желанным союзником для знати в их борьбе с Каем Гракхом, а о том, что они оценили его значение, свидетельствует тот факт, что он был избран в консулы в год падения трибуна, когда влияние сената, а значит, и его власть контролировать выборы, были полностью восстановлены. Долг был оплачен энергичной поддержкой дела Опимия, которая прозвучала во время консульства Карбо.[759] Главный магистрат горячо выступил в защиту своего обвиненного предшественника на посту и заявил, что действия Опимия по оказанию помощи своей стране были актом, обязательным для консула как признанного хранителя государства.[760] Ни у кого не было больше оснований чувствовать себя в безопасности, чем у Карбо, который так недавно испытал на себе влияние народа в качестве выборщика и судьи; однако ни один человек не был в большей опасности. Похоже, что, подвергаясь со стороны своих прежних соратников бессильной ярости, которую возбуждает успех новообращенного, считающегося вознагражденным за свое предательство, он не завоевал доверия или, по крайней мере, не смог вызвать искренней поддержки своих новых соратников и их сторонников в собрании. Возможно, землевладельцы не простили аграрного комиссара, а умеренные - ярого противника Сципиона; для сената он служил своей цели, и, возможно, они не считали его достаточно полезным, чтобы заслужить усилия, спасшие Опимия. Карбо, по сути, был привлекательным объектом для нападения любого молодого политического авантюриста, который хотел начать свою карьеру со свержения

выдающейся политической жертвы и прозвучать в ноте либерализма, которая не должна была слишком сильно бить по ушам людей умеренных взглядов. Нападавшим был Луций Красс,[761] которому суждено было стать величайшим оратором своего времени, и юноша, жаждущий испытать свое красноречие на величайшем поприще, предоставляемом общественной жизнью Рима, но достаточно щепетильный, чтобы не использовать объект своего нападения нечестно.[762] Нам неизвестен характер обвинения, по которому был обвинен Карбо. Вероятно, оно подпадало под широкое понятие государственной измены и, возможно, было связано с теми самыми процессами, в результате которых Опимий был обвинен и оправдан.[763] О том, что обвинение носило характер, связанный с недавними политическими событиями, или, по крайней мере, что обвинитель считал себя обязанным поддерживать какие-то четкие политические принципы либерального толка, свидетельствует сожаление, которое Красс выразил в зрелые годы, что порыв молодости заставил его сделать шаг, ограничивший его свободу действий на будущее.[764] Некоторое сожаление могло быть вызвано и неожиданными последствиями его нападения; ведь Карбо, возможно, осознавая враждебность своих судей и слабость или холодность своих друзей, как говорят, покончил с жизнью с помощью яда.[765] Добровольное изгнание всегда было открыто для римлянина, не осмелившегося вынести окончательный приговор; и самоубийство Карбо нельзя считать единственным прибежищем отчаяния; оно скорее свидетельствует о горечи, большей, чем смерть, которая может обрушиться на душу человека, который не может обратиться за сочувствием ни к кому, который знает, что его бросили, и верит, что его предали. Враждебность соотечественников преследовала его и после смерти; аристократический историк не мог забыть подстрекателя трибуна, а современные хроники, сформировавшие и передавшие концепцию жизни Карбо, показали обычную для подобных сочинений неспособность оценить возможность честного душевного отстранения от подозреваемого дела, которое часто приводит, через растущий разлад с прежними коллегами и все большее сотрудничество с новыми, к более яростному отстаиванию новой веры, чем часто демонстрируют ее привычные обладатели.

Записей о политических спорах, занимавших два года после падения Кая Гракха, достаточно, чтобы доказать, что политическая мысль не была подавлена, что практически любые политические взгляды, за исключением, возможно, тех, которые выражали активное сочувствие последним усилиям Кая Гракха и его друзей, могли быть высказаны, и что аристократия могла сохранить свое влияние, лишь прислушиваясь к уличной болтовне и используя свои лучшие инструменты для формирования мнения форума с помощью разумной смеси почтения и увещевания. Сенат знал, что он так же слаб, как в материальных ресурсах; правительство нельзя было поддерживать вечно с помощью серии *государственных переворотов*, и единственным методом обеспечения интересов правителей было поддерживать доверие большинства и время от времени полагаться на его апатию или слепоту. Именно такая позиция была принята в отношении предложений, которые в последнее время были представлены на рассмотрение народа. Схема колонизации Друза не была отменена, но ее реализация была отложена на неопределенный срок,[766] и такое же отношение было к аналогичным предложениям Кая Гракха. Две из его италийских колоний, Нептуния близ Тарентума и Сцилациум, похоже, действительно уцелели; но это, возможно, объясняется тем, что в этих местах уже начались работы по заселению, и правительство не решилось отменить уже принятые меры. Действительно, поселение в Карфагене можно было затормозить, поскольку здесь суеверие народа поддерживало возражения сената, а вопрос об упразднении этой колонии был поднят до такой степени обстоятельствами падения Гракха, что отступить было бы признаком слабости. Но даже это достойное возражений поселение в Африке стало доказательством того, что сенат проявляет щепетильность в отношении уже свершившегося факта. Когда закон

Рубриана был отменен, было решено не отбирать у *колонов* уже выделенные им земли; для их возмущения нельзя было найти религиозного предлога, так как на карфагенскую землю не распространялся запрет, обрекавший город на запустение; колонисты оставались во владении выделенными им участками, которые были свободны от дани, находились в частной собственности и представляли собой один из самых ранних примеров римского землевладения на провинциальной земле.[767] По характеру дела надел превратился из колониального в чисто аграрный; поселенцы были членами только Рима и не имели местного гражданства, хотя вполне вероятно, что за разрушенными стенами Карфагена выросло несколько скромных городских поселений, удовлетворявших самые необходимые потребности окрестных жителей.

Льготы, предоставленные Гракхами более бедным членам пролетариата, также соблюдались. Закон о кукурузе, возможно, пока оставался нетронутым[768] - естественная уступка, поскольку сенат мог надеяться править только благодаря своему влиянию на городскую толпу, а в случае столь простого института любое изменение было бы столь явным нарушением прав получателей, что сразу же вызвало бы подозрение и гнев. С аграрным законом все было иначе. Его отмена действительно была невозможна; но земельный голод лишенных собственности капиталистов мог быть до некоторой степени успокоен мерой, которая была не только терпимой, но и желанной; а изменения, настолько постепенные и тонкие, что их смысл был бы непонятен массам, могли быть впоследствии введены для устранения замеченных недостатков, успокоения опасений союзников и, возможно, для обеспечения продолжения существования крупных владений, если экономические причины приведут к их возрождению. Аграрное законодательство десяти лет, последовавших за падением Кая Гракха, похоже, руководствовалось пожеланиями сената; но большая его часть не несет на своей поверхности признаков, которые мы могли бы ожидать от капиталистического влияния или олигархического пренебрежения к бедным. Большая его часть, скорее, свидетельствует о желании навсегда изгнать мучительный вопрос, который был возможностью для демагога; а особую смесь благоразумия, либеральности и эгоизма, которую демонстрирует это законодательство, можно оценить только при рассмотрении отдельных его этапов.

Вскоре после смерти Кая Гракха - возможно, в самый год его падения - был принят закон, разрешающий отчуждение земельных участков.[769] Эта мера, должно быть, была столь же желанной для недавно созданных владельцев, как и для крупных собственников; она снимала с первых тягостное ограничение, которое, как и все подобные законодательные запреты, было скорее сентиментальным, чем фактическим, но от этого не менее остро ощущаемым; а вторым предоставляла возможность удовлетворить те ожидания, которые во многих случаях вызвала первоначальная борьба вновь созданных фермеров. Естественным следствием этого закона было то, что поддельный элемент среди крестьян, представленный теми, чьи вкусы и способности совершенно не подходили для сельского хозяйства, расстался со своими наделами, которые снова пошли на пополнение больших владений их более богатых соседей.[770] Мы не знаем ни масштабов, ни скорости этих изменений, ни стадии, которой они достигли, когда правительство сочло нужным ввести новый аграрный закон, который, возможно, был принят на два или три года позже закона, разрешавшего отчуждение.[771] Новая мера содержала три важных положения.[772] Во-первых, она запрещала дальнейшее распределение общественных земель и тем самым положила конец аграрной комиссии, которая никогда не прекращала своего существования и продолжала если не осуществлять, то пользоваться всеми своими полномочиями с момента

восстановления судебных функций Каем Гракхом. Мы не можем сказать, в какой степени комиссия все еще сталкивалась с претензиями на свою юрисдикцию и полномочия по распределению на момент своего исчезновения; но четырнадцать лет - это большой срок полномочий для такого чрезвычайного ведомства, работа которого неизбежно была связана с вечными неурядицами; и исчезновение триумвиров должно было быть желанным не только для существующих римских оккупантов земли, которая все еще оставалась государственной, но и для тех италиков, для которых комиссия всегда была источником опасений. Исчезновение этой должности должно было быть воспринято с безразличием теми, кого комиции уже обеспечивали, и значительной массой городского пролетариата, который не желал такого рода обеспечения. Можно предположить, что остаток граждан, которые все еще жаждали земли, был невелик, поскольку желание стать земледельцем предполагало более раннее предъявление претензий; и уход комиссии, вероятно, не вызвал сожаления у значительной части общества. Затем закон перешел к установлению прав всех владельцев земли в Италии, которая когда-то была общественной и была рассмотрена комиссией. Всем существующим жильцам выделенных земель была предоставлена полная гарантия владения, и эта гарантия могла быть распространена теперь, как она, несомненно, была распространена позднее, на многих жильцов, которые все еще оставались на государственных землях, не подвергшихся распределению. Что касается земли, которая была выделена, то этот закон не мог внести никаких уточнений относительно размера надела, поскольку закон, разрешающий отчуждение, сделал ее практически частной собственностью и предоставил ее покупателю совершенно надежный титул. Таким образом, накопления, которые последовали за разрешением на отчуждение, были закреплены за их существующими владельцами, и было дано юридическое признание образованию таких крупных поместий, которые появились в течение последних трех лет. Однако гарантии владения были обусловлены восстановлением пошлин, которые должны были выплачиваться государству и которые были отменены Друзом. Мы не знаем, должны ли были отныне платить эти пошлины только те, кто получил наделы от земельной комиссии, или все, в чьих руках в данный момент находились такие наделы; возможно, предполагалось обложить ими все земли, которые были государственными до трибуната Тиберия Гракха; хотя многие из крупных собственников, недавно пополнивших свои владения, могли в свою защиту утверждать, что они приобрели землю в частную собственность и что она не была обременена никакими пошлинами в момент ее приобретения. Но даже если это бремя падало в основном на класс мелких собственников, его едва ли можно было считать недовольством, поскольку оно было частью схемы Гракхана, и не было законной причины, по которой вновь созданный класс земледельцев должен быть поставлен в более выгодное положение, чем старые владельцы общественных владений, которые все еще платили пошлины как за пахотную землю, так и за привилегию пастись свои стада. Временные мотивы, которые привели к их отмене, теперь перестали существовать, поскольку сельскохозяйственные колонии Друза, обещавшего землю, свободную от всех налогов, не были основаны, а главный, почти единственный пример недавнего назначения на таких либеральных принципах находился в далекой Африке. Но даже если земледельцы и роптали, их жалобы не были опасны для правительства. Они не нашли бы отклика в Риме, где городской пролетариат довольствовался более легким положением, которое было сделано для его поддержки; а новые доходы от общественных земель стали еще более приемлемыми для глаз масс благодаря содержащемуся в этом аграрном законе положению о том, что они должны быть использованы исключительно в интересах более нуждающихся граждан. Точный характер обещанного использования, к сожалению, неизвестен, наши власти лишь сообщают нам, что "они должны были быть использованы для целей распределения". Мы не можем понимать под этими словами бесплатные подарки деньгами или зерном; ведь такие

крайние меры никогда не входили даже в общественные идеалы Кая Гракха, а сенат, к его чести, никогда не решался покупать популярность с помощью нищенских институтов, с помощью которых цезари поддерживали безопасность своего правления в Риме. Эти слова могли бы означать расширение системы продажи дешевой кукурузы или удешевление тарифов, по которым она поставлялась; но система Гракхов вряд ли допускала расширение, если говорить о количестве получателей, и более дешевые продажи вряд ли поощрялись правительством, которое, стремясь обеспечить популярность, отвечало за финансовое управление государством и с тревогой смотрело на существующий дефицит средств в казне. [Возможно, новые доходы были представлены народу как гарантия того, что продажа дешевой кукурузы будет продолжена, и общественное доверие возросло, когда было указано на наличие специального фонда для этой цели. Если мы откажемся от мнения, что обещанное использование доходов в интересах народа относилось к распределению кукурузы, остается возможность, что оно относилось к приобретению новых земель для ассигнаций. Это обещание действительно сделало бы возможной частичную реализацию теневых планов Друза, которые так и не были официально отменены; но сомнительно, чтобы оно сильно укрепило власть над городским избирателем; ведь вся схема этого нового земельного закона, похоже, доказывает, что аграрный вопрос рассматривался с безразличием, и на правительство не было оказано никакого давления, чтобы претворить в жизнь свои прежние обещания.

Помимо радостной перспективы, связанной с упразднением аграрной комиссии, латиноамериканцам и итальянцам не было дано никаких гарантий от беспорядков. Она была официально предоставлена, в неизвестных нам выражениях, соответствующими руками Марка Ливия Друза во время его пребывания на посту консула. [774] Сенат, теперь, когда он удовлетворил крупных собственников и городской пролетариат и мог похвастаться тем, что, по крайней мере, не обидел мелких земледельцев, завершил свою работу по умиротворению, протянув руку дружбы союзникам. По молчаливому согласию, новый друг не должен был просить большего, но его можно было склонить к тому, что сенат - это его убежище в борьбе с хищничеством толпы и безрассудством ее вождей.

Вскоре после этого трибун Спурий Торий [775] провел закон, который снова отменил *вектигаль* на земельных участках. Если рассматривать эту меру как самостоятельное начинание трибуна, то она могла быть ответом на протесты мелких земледельцев, все еще боровшихся за существование; если же она была продиктована сенатом, то это могло быть вызвано поглощением наделов крупными собственниками и их нежеланием платить подати за землю, которую они присоединили к своей частной собственности. Но к какой бы стороне мы его ни отнесли, в нем можно усмотреть и желание окончательно решить аграрный вопрос, отменив все недопустимые различия между разными формами владения землей, которая когда-то была частью общественного достояния. Она устраняла несправедливость обременения мелкого землевладения рентой, которая не взималась с поместий, частично образованных за счет таких наделов; а отмена всех повинностей [776] выводила всю выделенную землю из сомнительной категории владений, к которой она до сих пор относилась, хотя в смысле частная, но все же признавала господство государства, и возрождала во всей своей прежней остроте простое различие между государственной и частной землей. Эта тенденция делает вероятным, что закон Тория идентичен тому, от которого мы располагаем значительными фрагментами; ведь этот частично сохранившийся закон, несомненно, представляет собой настолько масштабную меру, какую только мог придумать тот, кто стремился к тому, чтобы аграрный вопрос, в той мере, в какой он затрагивал итальянскую землю, был окончательно удален из области политических распри.

Внутренние свидетельства позволяют предположить, что этот закон был принят в 111 году до н. э.[777] и, следовательно, в конце того периода сравнительного затишья, за которым сразу же последовала политическая буря, вызванная войной в Нумидии. Поэтому его можно рассматривать как продукт сенатского просвещения, хотя его положения вполне соответствовали бы взглядам вполне трезвого демократа. Основная цель закона - придать характер абсолютной частной собственности, не обремененной никакими ограничениями, такими как уплата государственных пошлин, почти всем землям, которые были государственными на момент принятия аграрного закона Тиберия Гракха. Первые положения касаются земель, которые не были обработаны аграрными комиссарами. Любой арендатор общественного достояния, которому было разрешено сохранить свой надел в неприкосновенности, поскольку он не превышал предела, установленного прежними законами, а также тот, кто получил от государства общественную землю в обмен на фригольд, который он сдал для основания колонии, отныне должен владеть этими участками общественного достояния как своей частной собственностью. Аналогичное положение действует в отношении всех земель, которые были присвоены колониальными или аграрными комиссарами. К первому классу уступок относятся те, что были связаны с одной или двумя колониями Кая Гракха и, возможно, Друза, которые действительно были основаны в Италии. Уже во время поселения такая земля должна была стать частной собственностью ее владельцев; поэтому данный закон лишь подтверждает право владения и подразумевает законность акта колонизации. Такие земли упоминаются как "переданные и назначенные в соответствии с решением народа и плебса", и все случаи, когда недавние колониальные законы были отменены или отменены - в том числе и угрожающий раздел территории Кампании Каем Гракхом - молчаливо исключаются. Ко второму классу отчислений относятся те, которые были сделаны земельными комиссарами в течение всего периода их переменчивого существования, и земли, чей частный характер подтверждается таким образом, должны были охватывать большую часть того, что когда-то было государственным доменом в Италии.

Однако определенная часть этих земель все еще остается собственностью государства и не превращается в частную землю. Вся земля, которая была передана в узуфрукт колониям и муниципальным городам, сохраняется в существующем состоянии; владельцы, будь то латинские колонисты или римские граждане, подтверждаются в своих владениях; но, поскольку земля остается государственной, от них, несомненно, ожидается, что они будут продолжать выплачивать государству свою квитанцию. Аналогичное положение предусмотрено для особого класса земель, которые были переданы Римом в качестве обеспечения государственного долга. Долг так и не был погашен, вероятно, потому, что кредиторы предпочли землю. Теперь они должны были оставить ее за собой при условии постоянной уплаты квитанции, что свидетельствовало о том, что государство по-прежнему являлось ее номинальным владельцем. Общественный характер сохраняется и за землей, которая была выделена для содержания дорог. Здесь мы находим единственный случай фактического закрепления за комиссарами Гракхана, который не был преобразован в частную собственность; очевидная причина этого исключения заключается в том, что эти жильцы выполняли конкретную и необходимую обязанность, которая исчезла бы, если бы их владение было преобразовано в абсолютную собственность. Исключение из права собственности было сделано и для тех коммун, на которых владельцы окрестных ферм имели исключительное право пасти свои стада;[778] поскольку превращение таких пастбищных земель в частные участки нанесло бы ущерб коллективным интересам и принесло бы мало пользы отдельным лицам из группы. [779] Остальные классы земель, которые все еще остаются в собственности государства, - это дороги Италии, те общественные земли, которые были специально освобождены от распределения законодательством Гракхов, и те,

которые оставались общественными по другим причинам. Единственным известным примером первого класса является территория Кампании, которая продолжала сдаваться государством в аренду и приносила казне уверенный и значительный доход; второй класс, вероятно, был представлен землями, которые не обрабатывались и по этой причине избежали распределения. Закон предусматривает, что эти земли не должны быть заняты, а должны служить для пастбищ, и устанавливает предельное количество крупного рогатого скота и овец, принадлежащих одному владельцу, которому они должны предоставлять бесплатный выпас. За пользование пастбищами сверх этого предела необходимо платить пошлины подрядчикам, которые приобрели право сбора у государства.

Затем закон переходит от государственных владений Италии к владениям Африки и Коринфа, отчасти для того, чтобы точно определить права различных оккупантов и арендаторов, которые были поселены на этих территориях, но главным образом для того, чтобы продать часть государственных владений в провинции Африка и зависимой Ахайе. Это намерение отчуждения, возможно, является главной причиной того, что великие разновидности владения африканской землей представлены нам с такими подробностями и точностью; ведь в связи с предполагаемой продажей было необходимо вновь подтвердить стабильность прав, которые должны быть надежными по своей природе или были гарантированы торжественным договором. Но повод для всеобъемлющего урегулирования аграрного вопроса в Италии, несомненно, был воспринят с радостью, поскольку предоставлял подходящую возможность для изучения, пересмотра и установления претензий тех, кто пользовался тем, что было или было провинциальным владением Рима за морем. Права римских граждан и подданных рассматриваются безразлично, а среди первых полностью признаются права поселенцев, отправившихся в Африку в соответствии с обещаниями рубрианского закона. Из нашего текста невозможно определить степень постоянства разнообразных видов владения, о которых идет речь; но даже когда все претензии, заслуживающие постоянного признания, были вычтены, все равно оставался остаток земли, арендованный цензорами с периодичностью раз в пять лет, который мог быть отчужден без ущерба для установленных прав. Мы не знаем, в какой степени эта продажа, механизм которой был детально прописан в законе, была осуществлена в Африке; ее применение к домениальным землям Коринфа было либо отменено, либо, если и осуществлено, то незначительно и временно; ведь коринфским землям по-прежнему угрожало последующее аграрное законодательство. Нелегко предположить мотив этой продажи; ведь, казалось бы, это недальновидная политика - расстаться в широких масштабах и, следовательно, предположительно по дешевой цене с одними из самых продуктивных земель в мире, какими были африканские владения того периода, чтобы возместить казне тот непосредственный материальный ущерб, который она понесла из-за потери доходов от государственных земель Италии. Возможно, правительство стало с подозрением относиться к деятельности посредников и, поскольку оно ограничило их деятельность, ограничив количество государственных земель в Италии, сочло целесообразным провести аналогичную политику в отношении некоторых из своих иностранных владений.

То, как подробно мы остановились на этом законе, пропорционально его значению в политической истории того времени, и если бы мы обладали более полными знаниями о его последствиях, то, несомненно, смогли бы добавить, что и в социальной истории. Однако его экономические результаты крайне туманны, и, возможно, он не привел ни к одному из них, заслуживающему серьезного рассмотрения; ведь искусственная стабильность, которую он, казалось, придавал существующему землевладению, никак не могла сдержать игру

экономических сил. Если эти тенденции по-прежнему были в пользу крупных владений,[780] процесс накопления должен был продолжаться, и, как мы уже отмечали, накопитель находился в более безопасном положении при покупке земли, которая, по общему признанию, была частной собственностью владельца, чем при покупке наделов, которые могли быть признаны по-прежнему подлежащими обложению государственными пошлинами. С другой стороны, отмена налога должна была облегчить труд мелких собственников, а чувство частной собственности вдохновить их; и сохранение значительной части поселенцев Гракхана вполне вероятно на общих основаниях. Причина, по которой трудно привести конкретные основания для такого убеждения, заключается в том, что в то время, когда мы начинаем знакомиться с состоянием итальянского крестьянства, была проведена великая реформа, в результате которой народы Италии были присоединены к Риму. Существование многочисленных мелких собственников в период Цицерона подтверждается, но многие из них могли быть гражданами, недавно переданными Риму итальянскими колодами, среди которых сельское хозяйство в небольших масштабах никогда не исчезало.

Но политическое значение этой меры весьма велико. Ограничив узкими рамками всю землю Италии, на которую государство могло претендовать, она изменила характер аграрной агитации на будущее. Она, правда, не достигла своей возможной цели - предотвратить подобные меры; но она обеспечила защиту интересов всех итальянских земледельцев, за исключением арендаторов арендованного домена, которые, возможно, не имели права на постоянное владение землей. Этот домен был представлен главным образом кампанскими землями: и реформатор, который сделал бы эту территорию своей добычей, больше вредил финансам государства, чем интересам отдельного человека. Если он желал большего, то должен был искать его либо в зарубежных владениях Рима, либо приняв какую-то схему покупки земли. Присвоение земель в отдельных районах Италии или в провинциях, естественно, принимало форму колонизации, и именно эту форму избрали аграрные планы будущего. Риму еще предстояло стать свидетелем ожесточенных споров о достоинствах политики колониальной экспансии и о том, насколько разумно использовать для этого государственную собственность и государственные доходы; Права завоевателя на земли его побежденных сограждан также жестоко отстаивались, а гражданские войны приводили к разновидности разбойничьих нападений с целью получения владения, которые слишком часто заменяли решения судов; но никогда больше мы не найдем регулярной политической войны между богатыми и бедными за обладание территориями, на которые претендовал каждый из спорщиков. Буря, обрушившаяся на римский мир с принятием земельного закона Тиберия Гракха, теперь исчерпала свою силу. Он, несомненно, произвел большие перемены в облике Италии; но они, пожалуй, были более разительны внешне, чем на самом деле; ни разрушения, ни возможности обновления не достигли той полноты, о которой мечтали реформаторы.

Но мир граждан был не единственным благословением, которое, как считалось, было обеспечено этим устранением соблазна посягательств на итальянские земли. Тревоги латинян и итальянцев также были успокоены, хотя можно сомневаться, что память о прошлых обидах, которые теперь стали невозвратимыми благодаря прогрессу недавних аграрных экспериментов, не участвовала в агитации за предоставление франшизы, которую они все еще продолжали поддерживать. Последний великий закон, следуя духу закона Друза, который предшествовал ему примерно на год, действительно демонстрирует следы стремления уважать итальянские претензии. Помимо уже упомянутого нами факта, что все земли, которые были предоставлены в узуфрукт колониистам, все еще оставались государственными и, следовательно, в случае латинских колоний, должны были находиться

в распоряжении общин, которым они были предоставлены по договору, закон содержит специальное положение о поддержании прав латинов и итальянцев, насколько они согласуются с правами, предоставленными римским гражданам в соответствии с этим законом.[Поэтому гарантии, утвержденные Друзом, были соблюдены, но их соблюдение было обусловлено правилом, согласно которому все запреты, установленные теперь для римлян, должны быть распространены на союзников. Поскольку мы не знаем ни сути мер Друза, ни практики, существовавшей в римских владениях, занятых латинами, мы не можем сказать, привело ли это положение к какому-либо ущемлению их прав; но оно должно было ограничить право свободного выпаса скота на общественных участках, если они обладали им в большей степени, чем это было разрешено теперь, и право занимать общественные земли также запрещалось им в будущем. Но именно с негативной точки зрения закон может быть истолкован как создающий или увековечивающий обиду; ведь некоторые из положительных преимуществ, которые он предоставлял, похоже, были ограничены римлянами. Земля, которую он делает частной собственностью, - это земля, выделенная колониальными или аграрными комиссарами, или земля, которая была занята до определенного предела. Если колониальные земли действительно были выделены латинам Каем Гракхом, их права сохраняются по этому закону, если они стали римскими гражданами во время поселения; но если они были приняты как участники аграрного распределения по всей Италии, их права как собственников не подтверждаются правами римских граждан; и латину, который просто занимал землю, не предоставлялась привилегия римского владельца стать собственником земли, если его занятие было ограничено определенным пределом.[782] Он по-прежнему оставался лишь ненадежным владельцем, за что с него, вероятно, взимались пошлины в пользу государства. Было приятно получить подтверждение своих прав, но они, вероятно, казались менее ценными, когда права других были расширены. Более щедрого обращения вряд ли можно было ожидать от римского закона, касающегося ее собственных владений, в первую очередь в интересах ее собственных граждан; но итальянцы были склонны забывать о своей гражданской независимости и предпочитали сравнивать свои личные права с правами римских бюргеров. Такое сравнение, примененное к окончательному аграрному урегулированию, должно было подчеркнуть их убежденность в неполноценности своего положения.

Этот обзор законодательства по социальным вопросам, инициированного или принятого сенатом, показывает, насколько нерешительно аристократия вела себя в отношениях с народом, и доказывает либо государственное видение потребностей ситуации, либо полное отсутствие гордого сознания собственной неприкосновенности. Даже если бы они обладали властью диктовать Комиции, они были зажаты с другой стороны; ведь они не осмеливались протестовать против закона Гракха, который передавал уголовную юрисдикцию над членами их собственного ордена рыцарям. Конные суды выносили приговоры самым благородным представителям аристократии, ведь политические или личные мотивы, побуждавшие к преследованию, были сильнее даже товарищества ордена, а правители провинций по-прежнему находились под угрозой обвинения со стороны своих пэров. В течение двух лет после передачи судов Квинт Муций Скаэвола, известный впоследствии как "Авгур" и прославившийся своими познаниями в гражданском праве, вернулся из своей провинции Азия, чтобы ответить на обвинение Тита Альбуция.[783] Рыцари начали свою деятельность не с мстительного использования своей власти. Хотя Азия была наиболее благоприятной сферой их деятельности, Скаэвола был оправдан. Семь лет спустя они дали суровый и, возможно, праведный пример своей строгости, осудив Кая Порция Катона[784]. Обвиняемый, будучи консулом, получил Македонию в качестве своей провинции и вел пограничную войну со Скордисками, которая закончилась уничтожением его войск и его собственным неудачным побегом с поля боя. Его неудачи, возможно, усилили впечатление

от его поборов в Македонии, и он был приговорен к уплате штрафа. Ни в случае оправдания, ни в случае осуждения политическая предвзятость, похоже, не повлияла на решение суда, и конным присяжным могло показаться, что на какое-то время они воплотили в жизнь лучшие надежды, вдохновившие их на создание.

Внимание ведущих представителей аристократии, вероятно, было слишком поглощено проблемой адаптации сенатского правления к изменившимся обстоятельствам, чтобы у них хватило досуга или желания приступить к реализации собственных законодательных проектов. Наши записи об этих годах настолько несовершенны, что было бы опрометчиво заключать, что скудные предложения по новым темам, которые они раскрывают, исчерпывают законодательную деятельность сената; но если бы они это сделали, обстоятельство было бы понятным; ведь работа, которая привлекала внимание сената в его собственных интересах, была скорее консолидацией, чем реформой; Политические настроения того времени ставили меры явно реакционного характера, которые могли бы приветствовать более консервативные члены ордена, совершенно вне обсуждения; и правительство вряд ли могло, кроме как по принуждению, принять законодательство прогрессивного типа. Единственным важным законом этого периода, безусловно, исходившим из правительственных кругов и касавшимся вопроса, который был новым в том смысле, что о нем не было слышно в течение значительного количества лет и он не играл никакой роли в движениях Гракхов, был закон, принятый консулом Марком Аэмилием Скауром. Он касался избирательного права вольноотпущенников[785] и, вероятно, подтверждал его ограничение четырьмя городскими племенами. Трудно определить политический смысл этого закона, поскольку мы не знаем, какая практика преобладала во время вмешательства Скавра; но вполне вероятно, что ограничение, наложенное цензорами 169 года, которые ограничили вольноотпущенников одним племенем[786], не соблюдалось, что в порядке их регистрации царила большая нерегулярность, и что мера Скавра, которая была возвратом к договоренности, достигнутой в конце IV века, была направлена на ограничение избирательных прав этого класса. Такая интерпретация его намерений, по-видимому, показывает, что растущая либеральность римского хозяина создала класс, большая часть которого не зависела от более богатой и консервативной части граждан, или, по крайней мере, могла утверждать свою свободу от контроля благодаря тайне голосования. Интересы этого класса были почти идентичны интересам свободного пролетариата, в который влились потомки вольноотпущенников, и закон Скавра, который усилил сельское голосование, предотвратив распространение этого городского влияния на все племена, может служить доказательством того, что сенат не доверял нынешней пассивности городского населения и с опасением ожидал того времени, когда ему придется полагаться на более стабильный элемент, который обеспечивали сельские районы. В дальнейшем мы увидим, что такое ожидание отношения вольноотпущенников было небезосновательным и что увеличение их избирательного права по-прежнему оставалось эффективным боевым кличем для демагога, стремящегося увеличить свои позиции в городе.

Скаурус был также автором закона о роскоши.[787] Он исходил от человека, прошедшего школу бедности, и показывает готовность аристократии подчиниться, по крайней мере внешне, дисциплине, которая представит ее миру как самоотверженную администрацию, не получающую корыстного вознаграждения за свой напряженный труд и согласную на равенство жизни с рядовыми гражданами, которое является лучшей демократической уступкой, которую может сделать могущественная олигархия. Деятельность цензуры проявлялась в том же направлении. Иностранные и дорогие блюда были запрещены блюстителями общественной морали, так же как они были запрещены законом Скавра о роскоши:[788] а цензоры 115 года, Метелл и Домиций, предприняли проверку сцены,

которая привела к полному исключению из Рима всех сложных форм театрального искусства и сведению его к простому латинскому типу музыки и песни.[789] Их энергия была также проявлена в разрушительной проверке морали их собственного ордена, и в результате этой проверки тридцать два сенатора были изгнаны из курии.[790] Охрана сената от скандалов была действительно необходимой политикой аристократии, которая знала, что ее шаткая власть зависит от мнения улиц; и усилия цензоров, направленные, как и усилия их предшественников, на возрождение, целью которого был национальный тип, показывают, что это мнение еще не могло считаться полностью космополитическим или коррумпированным. Частая пышность триумфальных шествий, таких как те, что праздновали победы Домиция и Фабия над аллоброгами, Метелла над далматинцами и Скавра над лигурийцами,[791] создавала благоприятное впечатление об эффективности правительства в расширении или сохранении границ империи; сам триумф был символом успеха, и мало кто мог усомниться в масштабах и пользе достигнутого. Удовлетворенные убеждением, что они являются свидетелями среднего типа успешного управления, избиратели продолжали курс, от которого они так редко отклонялись, оказывая безоговорочное доверие древним домам; И эта эпоха стала свидетелем яркого примера наследственного влияния, если не наследственного таланта, когда Метелла Македонского свели в могилу сыновья, из которых четверо занимали должность курула, трое - консула, а один, кроме того, исполнял высокие функции цензора и пользовался честью триумфа.[792]

Однако отличия без определенной степени соответствия были сейчас, как и в любое другое время, невозможны в Риме. Дворянство, хотя и не любило оригинальности, протягивало руку помощи тем способностям, которые были готовы поддержать его дело и показать вероятность достойного управления; карьера все еще была открыта для таланта и адреса, если они были разумно направлены; И человек того времени, который больше всего заслуживает звания лидера государства, был тем, кто даже не происходил из второго слоя римского общества, а боролся с бедностью, которая обрекла бы обычного человека посвящать досуг, который он мог бы выделить для политики, разбужению шума на Форуме и улицах. Правда, Марк Аэмилий Скавр носил патрицианское имя и был одним из тех потенциальных королей, которые, попав в сенат, могли бы принять царское облачение и продолжить святое дело, которое они выполняли со времен Ромула, - охранять и передавать покровительство римского народа. Но блеск этого имени давно померк. Даже в истории великих войн начала века фигурирует лишь один Аэмилий Скаурус, да и тот занимает лишь подчиненное положение офицера римского флота. Отец будущего главы сената был вынужден искать средства к существованию в скромном ремесле поставщика древесного угля.[793] Сын, решительный, честолюбивый и обладающий большими возможностями, долго обсуждал с самим собой вопрос о своем дальнейшем жизненном пути.[794] Он мог бы остаться в рядах делового мира, поставлять клиентам деньги вместо угля и воспользоваться золотыми возможностями, которые открывались в связи с распространением банковского дела в провинциальном мире. Выбрав этот путь, Скаурус мог бы стать вождем рыцарей и самым решительным защитником конных претензий к правительству. Но его путь определила мысль о том, что сила слова больше, чем сила золота, и что красноречие может обеспечить не только богатство, но и влияние, которого одним богатством не добиться. Слава, которую он приобрел на Форуме, неизбежно привела его к службе в поле. Он отличился в испанских походах и служил под началом Ореста в Сардинии. Возможно, его ограниченные средства, а не принципы, стали причиной того, что его эдильство не отличалось щедростью, к которой привык народ и которой обычно покупалось его расположение; при Скавре на этом посту пышность была заменена строгим исполнением судебных обязанностей;[795] но то, что такой эквивалент мог служить его цели, что он даже не стал препятствием для его карьеры, доказывает уважение, которое его упорный характер

завоевал у народа, и предвкушение, сформированное правительством относительно ценности его будущих услуг. Теперь, когда он приближался к пятидесяти годам, он добился должности консула, которая была началом успешной карьеры, но не стала последней или самой большой наградой для человека, чье величественное присутствие, непреклонное достоинство и очевидная простота целей, как правило, могли вызывать уважение у народа, а острота зрения и талант к интригам внушали сенаторскому уму ощущение его силы спасти, когда требования были настойчивыми, а трудности острыми.[796] Его консульство, хотя и не отличалось блеском, добавило к уже достигнутым лаврам респектабельности. Успешный набег на некоторые иллирийские племена[797] показал, что он сохранил физическую выносливость своей молодости; а его законодательство по вопросам сумутария и голосования вольноотпущенников продемонстрировало дух более мягкого Катона и умеренный консерватизм, не противный римлянам чистой крови, который сохранил бы перевес в политической власти за гражданином, не запятнанным пятном рабства. Одно из бурных событий периода его правления дало толпе возможность увидеть, с какой жестокостью магистрат старой школы может отомстить за оскорбление достоинства своей должности. Публий Деций, которого считали сознательным подражателем Фульвия Флакка в преувеличенном ораторском искусстве и который уже доказал своим обвинением Опия, что готов защищать некоторые черты дела Гракхов даже тогда, когда такое первенство было чревато опасностью, занимал городское преторство в то время, когда Скавр был консулом. Однажды консул проходил мимо открытого суда, когда претор выносил приговор с курульного кресла. Деций остался сидеть, то ли в притворном беспамятстве, то ли демонстративно игнорируя присутствие своего начальника. Политический гнев Скавра разгорелся: враг был отдан в его руки, а народ мог получить наглядный урок того, как самый ярый защитник народных прав, даже прикрываясь достоинством магистратуры, становится лишь соломинкой в железной хватке высшего Императора. Консул приказал поднять Деция, разорвать его официальную мантию, разбить вдребезги кресло правосудия и опубликовал предупреждение о том, чтобы никто из будущих тяжущихся сторон не обращался в суд сговорчивого претора.[798] На вульгарный ум такие сцены насилия производят впечатление, если не возмущают его. Репутация суровости - лучшая маскировка для гибкости, которая, будучи открытой, возбудила бы подозрения. Скаурус в народном сознании был воплощением жесткого патрицианского достоинства, возможно, к счастью, лишённого того оттенка наглости, который часто является признаком карьеры, достигнутой без борьбы; самодовольного достоинства, спокойно осознающего свои заслуги и требующего за них должного вознаграждения, спокойствия души, которая вне подозрений и отказывается даже в своем внутреннем убежище допускать мысль, что ее мотивы могут быть подвергнуты сомнению. Тем временем некоторые непочтительные зрители выражали удивление по поводу его таинственно растущего богатства и гадали об его источнике. Но как бы они ни удивлялись, они так и не довели Скавра до необходимости объяснений. Мы видим его уже стариком, который отражает все нападки, неотразимо взывая к своим заслугам и карьере. Для консерватора осуждение Скавра выглядело как удар, нанесенный по достоинству самого государства; для человека более открытого это было по меньшей мере разрушением восхитительной иллюзии.

Период, ставший венцом усилий бедного и борющегося патриция, был также достаточно либеральным или достаточно бедным на аристократические таланты, чтобы допустить первые шаги в официальной карьере подлинного сына народа. Именно сейчас Кай Марий упорно поднимался по ступеням курульного ранга и проявлял в стремлении добиться политического влияния на родине ту суровую решимость, которая уже отличала его на поле боя. Вольскиан по происхождению, он принадлежал к Риму по случайности рождения в старой муниципии Арпинум, которая с начала II века имела полное римское гражданство и

поэтому давала своим гражданам право голоса и почестей в столице. Он родился в деревне Цереатае на территории Арпината из хорошей семьи,[799] и прошел детство, которое не было приукрашено ни утонченностью, ни развращенностью городской жизни. В его случае не было загадочного несоответствия между внешним и внутренним человеком. Его телосложение и облик служили верным показателем ума, несколько неотесанного и неотесанного, но обладавшего огромным запасом прочности, упорством, а не слепым упрямством, терпением, способным измотать самые блестящие усилия его соперников и оппонентов. Он не заискивал перед врагом, а просто упорно шел вперед, поощряемый лучшими духами Рима, которые видели в нем отличного офицера с качествами, способными сделать будущего генерала, и привлекательный для людей, когда они постепенно знакомились с его присутствием, как тип этого почтенного мифа, деревенского государственного деятеля прошлого. Бедность его ранней жизни, возможно, была преувеличена историками[800], которые хотели подчеркнуть контраст между его скромным происхождением и последующей славой, а также найти подходящую колыбель для его грубой натуры; даже начальные этапы его карьеры не свидетельствуют о борьбе с крайней нуждой, и нет никаких доказательств того, что его поддерживала щедрость его влиятельных друзей. Даже если бы он поступил в армию простым пешим солдатом, он просто разделил бы участь многих зажиточных йоменов, подчинившихся призыву. Однако для Мариуса военная служба была не случайностью, а профессией. Потребности расширяющейся империи требовали особых способностей, которые никогда не были востребованы в прошлом. Карьера Скавра показала, как успешный ходатай преодолевает препятствие бедности; даже более высокий барьер рождения мог быть преодолен под демократизирующим влиянием лагеря. Дворянство было не настолько эгоцентричным, чтобы быть полностью слепым к своим собственным интересам; и легче было покровительствовать солдату, чем плебею. В последнем случае необходимо проверить политическое вероисповедание претендента; в первом же случае последний вопрос, который задавался, - это наличие у офицера какого-либо политического вероисповедания вообще. Возможно, в будущем это будет важным вопросом при выдвижении кандидата на те должности, которые только и давали право на высокое военное командование, хотя пока еще не было и мечты о том, чтобы меч стал арбитром политической жизни; но настоящий полководец, занятый трудной задачей перестройки армии, не обращал внимания ни на осанку, ни на качества солдата и не побрезгует отбросить свои патрицианские предрассудки в отчаянной попытке найти наиболее подходящие инструменты для осуществления своего великого замысла. Мариусу выпал счастливый жребий попасть на поле боя в период испытаний и пройти свою первую кампанию под командованием генерала, который боролся с неблагоприятными силами влияния, лицензий и некомпетентности в чиновничьем аппарате, поставляемом правительством и представленном молодыми отпрысками аристократии. В лагерь перед Нумантией, где Сципион бичевал своих людей, заставляя их повиноваться, искореняя удобства жизни и поражая своих офицеров новыми представлениями о смысле кампании, Марий принес те самые качества, на которые генерал положил свое сердце. Непокоримая храбрость, проявленная однажды в одиночном бою, когда он поверг чемпиона противника, сила физической выносливости, способная подчиниться любым изменениям температуры и пищи, точность в выполнении подробных обязанностей в лагере, вскоре привели к его быстрому продвижению по службе и выбору в качестве члена интимного круга, окружавшего главнокомандующего. Каждый великий специалист имеет небольшую претензию на дар пророчества; ведь он обладает инстинктом, который открывает больше, чем позволяет ему доказать разум; и нам не приходится удивляться рассказу о том, что, когда однажды за столом Сципиона разгорелись споры о том, кто сменит его на посту избранного полководца

римской армии, он слегка коснулся плеча Мария и ответил: "Возможно, мы найдем его здесь"[801].

Высших команд в армии можно было добиться только через политическую карьеру; и Марий, воодушевленный высочайшими надеждами благодаря похвале Сципиона, был вынужден вдыхать некомфортную атмосферу города и пробивать себе путь наверх, к должности курула. Нет никаких доказательств того, что он воспользовался током демократических чувств, который сопровождал движения Гракхов. Возможно, это и к лучшему, что он этого не сделал; ведь такая связь могла бы надолго отсрочить его высшую политическую карьеру. Вельможи, позиционировавшие себя как демократы, вероятно, придавали большее значение судебному мастерству, чем военным заслугам; и поддержку, которой пользовался Марий, он искал и находил среди представителей противоположной партии. Смерть Сципиона лишила его человека, который мог бы стать мощным защитником его интересов; смутные отношения, в которых семья Мария состояла с кланом Геренниев[802] - отношения, обычные для римских семей и членов италийских поселений, и в данном случае, вероятно, восходящие ко времени, когда Арпинум еще не получил полных римских прав, - похоже, никогда не приводили к активному вмешательству в его дела со стороны представителей этого древнего самнитского дома. Возможно, Гереннии были слишком слабы, чтобы содействовать судьбе своего клиента; они, конечно, не упоминаются в "Фасти" этого периода. Не исключено также, что гордого воина мучили воспоминания о наследственном иге, и он искал помощи там, где ее оказывали просто в знак заслуг, а не как долг, обусловленный требованием неприятных взаимных обязательств. Всесильная семья Цецилиев Метелли, в это время энергично исполнявшая предначертанную небесами служебную судьбу, протянула руку помощи отличившемуся воину;[803] семья, рожденная для военного командования, могла бы соблюдать свои интересы и одновременно удовлетворять свои симпатии, присоединив к своей *клиентуре* воина, получившего лучшую подготовку в школе Африкана. После военного трибуната и квесторства[804] Марий при содействии Луция Цецилия Метелла получил трибунат плебса.[805] Ему шел тридцать девятый год, когда он вступил в первый пост, дававший ему возможность привлечь внимание народа, иницируя законодательные меры. Медленное продвижение по службе, возможно, заставило его поверить, что он может ускорить свою карьеру, взяв состояние в свои руки; конечно, если закон, носящий его имя, не был нежелателен для лучшей части знати, то методы, которыми он его протаскил, не понравились даже его покровителю. Его предложение было направлено на ограничение неправомомерного влияния в комициях, и хотя закон, несомненно, касался законодательных собраний, созываемых с любой целью, он был направлен главным образом на обеспечение независимости избирателя в таких публичных процессах, которые все еще проходили перед народом,[806] и, возможно, был вдохновлен сценами, которые можно было наблюдать во время оправдания Опимия за год до этого. Один из пунктов законопроекта предусматривал, что выходы на галереи, через которые избиратели проходили, чтобы отдать свои голоса счетчикам, должны быть сужены,[807] чтобы исключить политических агентов, которые имели обыкновение занимать боковые стороны проходов и влиять или запугивать своим присутствием, если не словами, голосующих граждан в критический момент, когда они должны были записать свой вердикт. Такие методы, вероятно, были эффективны даже там, где использовался избирательный бюллетень, но их успех, должно быть, был еще более значительным на процессах по обвинению в государственной измене, где все еще использовалось голосование из уст в уста. Правительству, принявшему голосование, было трудно оказать достойное сопротивление подобной мере. Предложение безразлично относилось к политическим методам, которые могли быть и, вероятно, использовались обеими партиями; и, хотя его успех, несомненно, нанес бы большой ущерб правительству, чем оппозиции, сенат не мог отказаться от него на том основании, что оно было запятнано

агрессивно "народным" характером. Оппозиция, с которой он фактически столкнулся, была, по-видимому, основана на формальном основании, что с главами администрации не было проведено достаточных консультаций. Закон не был результатом какого-либо сенатского постановления, и мнение сената о полезности этой меры не спрашивалось сознательно. Консул Котта убедил палату принять резолюцию, выражающую недовольство предложением в его нынешнем виде, и вызвать Мария для объяснений. Повестка была немедленно исполнена, но ожидаемая сцена унижения неопытного парвеню была грубо прервана в самом начале дебатов. Марий знал, что на его стороне народ и коллегия трибунов и что даже самая извращенная изобретательность не сможет истолковать эту меру как фактическое противодействие интересам государства. Подчиниться сенату в данном случае означало бы пожертвовать репутацией политического честного и смелого человека; лучше было бы сжечь свои корабли и в будущем уповать на щедрость народа в отношении даров, которые так нехотя дарила ему знать. Он решил рассматривать этот спор как один из тех случаев безнадежного конфликта между членами магистратуры, для разрешения которого закон предусмотрел обычные, хотя и исключительные средства. Он сослался на величие трибунской власти и пригрозил Котте тюремным заключением, если тот не отзовет свое постановление.[808] Вероятно, до этого момента не было принято ни одного декрета, выражающего полное осуждение законопроекта, и поэтому сенат мог быть принужден через магистрат, не пренебрегая его авторитетом. Котта обратился к своему коллеге Метеллу, который, как известно, был другом упрямого трибуна, и Метелл, поднявшись, оказал консулу поддержку. Марий, не успокоенный позицией своего покровителя, поспешил закончить дело. Он вызвал в курию своего помощника, велел ему взять под стражу самого Метелла и отвести его в место заключения. Метелл обратился к другим трибунам, но ни один из них не предложил своей помощи, и сенат был вынужден спасти положение, пожертвовав своим вотумом порицания. Столь быстрая и полная победа, даже в не самом важном вопросе, восхитила народ. Сенат был тогда в хорошем расположении в Риме; но шанс осознать свое превосходство над величайшим из своих слуг всегда был желанным для народа. Они также любили те демонстрации физической силы, с помощью которых гений Рима решал трудности своей конституции: и жестокость трибуна сейчас впечатляла не меньше, чем консула четыре года спустя. Марий приобрел характер твердой независимости и непоколебимого постоянства, который должен был дать неожиданные результаты в политическом мире в будущем, и был немедленно испытан таким образом, который, должно быть, оказался глубоко разочаровывающим для многих, кто его превозносил. Похоже, что эта победа над резолюцией сената могла подтолкнуть некоторых потенциальных реформаторов к мысли о том, что меры гракханского типа могут завоевать расположение народа и заручиться поддержкой трибунской коллегии, которая, как казалось, была не в ладах с правительством. Было выдвинуто некое предложение, касающееся распределения кукурузы,[809] возможно, являющееся продолжением существующей схемы. Оно не нашло более решительного противника, чем Марий, и его сопротивление помогло обеспечить его полное поражение. В этом сопротивлении мы, возможно, видим истинно нейтральный характер человека; ведь приписывание заинтересованных мотивов, хотя и является излюбленной мезой историка за трудности его задачи, наделяет его персонажей предвидением, которое столь же ненормально, как и отсутствие принципа; хотя сомнительно, что Марий выиграл бы, отождествив себя с делом, которое еще не вышло из руин своего провала.

Отсутствие официальной поддержки и отчуждение части народа, возможно, можно проследить в последовательных поражениях его кандидатуры в курульных и плебейских эдилах,[810] хотя при выборах на эти должности внимание народа было так остро направлено на денежные средства кандидата как гарантию их удовлетворения блестящими

выступлениями, что эдильство, должно быть, было самым трудным из всех магистратур, достигаемых заслугами, не подкрепленными богатством. Даже если отвергнутый кандидат завоевывал расположение по другим причинам, избиратели могли успокоить свою совесть размышлениями о том, что эдильство не является обязательной ступенью в карьере чиновника, и что, если речь идет о заслугах, а не о деньгах, они могут продемонстрировать свою оценку личных качеств на выборах в преторы. Через год после поражения Марий выдвинул свою кандидатуру на этот пост, который давал первую возможность получить независимое военное командование. Его вернули в самом низу списка, и даже тогда ему пришлось бороться за сохранение места в преторианской коллегии.[811] Против человека, успешно боровшегося за чистоту Комиции, было выдвинуто обвинение в неправомерном влиянии, и утверждалось, что раб одного из его ближайших политических соратников был замечен за барьерами, смешиваясь с избирателями. О том, что это обвинение поддерживалось сильным влиянием или в целом считалось верным, свидетельствует поведение цензоров следующего года, изгнавших этого соратника из сената.[812] Присяжные[813], перед которыми рассматривалось дело - представители, как мы должны полагать, конного ордена и, следовательно, предположительно не подверженные влиянию сенатской враждебности, - долго были озадачены конфликтом доказательств. В первые дни процесса казалось, что судьба Мариа предрешена, и его неожиданное оправдание было обеспечено только тем, что при проверке табличек было обнаружено равенство голосов, что, согласно правилам римского процесса, требовало положительного вердикта.

Его преторство, в соответствии с правилами, которые теперь регулировали эту магистратуру в связи с увеличением числа судебных инстанций, ограничивалось Римом. Мы не знаем, каким отделом этой должности он управлял; но поскольку ни один отдел не мог стать эпохой в карьере никого, кроме юриста, одаренного оригинальными идеями, мы не удивлены, что пребывание Мариуса в этой магистратуре, хотя и заслуживает уважения, не вызвало заметного внимания.[814] После преторства он получил свое первое независимое военное командование в Дальней Испании. В такой провинции у энергичного полководца всегда были свои небольшие проблемы, связанные с умиротворением, и военные таланты Мариа умеренно проявились при подавлении привычного разбоя ее жителей.[815] Получение им иностранного командования могло увеличить его богатство, поскольку провинциальное управление могло способствовать увеличению средств самого честного администратора. Но еще важнее было то, что пребывание в преторской должности ввело его в ряды официальной знати. Его рождение теперь не было препятствием любого социального отличия, к которому его простая и решительная душа могла бы счесть выгодным стремиться: и семья патриция Юлия не постеснялась отдать одну из своих дочерей за авантюриста из Арпинума.[816] Так Марий некоторое время оставался для римского общества интересным образцом самодура, отличавшегося прямоотой и непосредственностью, соответствующими его типу и вызывавшими веселые взгляды; для исповедующего политику - человеком с довольно успешной, но запутанной политической карьерой, которую, возможно, не стоило рассматривать слишком серьезно. Ведь всем, кто понимал существующие условия римской общественной жизни, его достижение консулата и доминирующего положения в государственных советах должно было казаться невозможным. Было только одно обстоятельство, которое могло сделать Мариа необходимым человеком. Это была масштабная война. Но эта возможность была отдаленной, и даже если бы она возникла, правительство могло бы использовать его умение, сохраняя за ним подчиненное положение.

Карьера Мариуса - не единственное доказательство того, что традиция успешной оппозиции сенату может быть легко возрождена. В год после его трибуната была предпринята новая успешная попытка трансмаринской колонизации.[817] Предлогом для этой меры послужила

необходимость сохранить контроль над территорией, завоеванной в результате великих побед Домиция и Фабия по ту сторону Альп; стратегическая ценность основания была неоспорима, и противодействие правительства, вероятно, было направлено формой, которую предлагалось придать новому поселению. Это должен был быть не просто форт в стране врага, как уже основанный *Aquae Sextiae*, [818] а настоящая *колония* римских граждан, [819] создание которой наверняка привело бы к чрезмерным осложнениям во внешней политике, связанной с границами севера. Такая колония стала бы центром активной торговли с окружающими племенами; хотя она и была основана в интересах народа, она быстро превратилась бы в простое средство для расширения операций великого меркантильного класса; рост римских торговых интересов неизбежно повлек бы за собой политику обороны и, возможно, расширения, что сильно отразилось бы на ресурсах государства. Успех правительства зависел от ограничения его усилий, и нет ничего удивительного в том, что оно оказало искреннее сопротивление проектируемой колонии Нарбо Мартиус. Даже после того, как первоначальная мера, санкционировавшая поселение, прошла через комиции, влияние сенаторов привело к обнародованию нового предложения, в котором народу предлагалось пересмотреть свое решение. [820] Но проект нашел горячего сторонника в лице молодого Луция Красса, который укрепил позиции, завоеванные им в предыдущем году, речью, весомой по сравнению с обещаниями его возраста. [В своем успешном выступлении в защиту национального начинания он не побоялся опровергнуть авторитет сената и сразу же получил награду, будучи выбранным, несмотря на свою молодость, одним из комиссаров по созданию поселения] [822].

Вполне вероятно, что без поддержки конного ордена проект основания Нарбо Мартиуса мог бы провалиться. Человек с народными симпатиями, чьи меры привлекли их поддержку, был вполне уверен в успехе, а тот, кто позиционировал себя как защитник ордена, занимал еще более прочную позицию. Последнее положение в течение значительного времени занимал Кай Сервилий Глауций, чей трибунат, вероятно, относится к концу описываемого нами периода. [823] Сам Глауций, вероятно, один из тех отпрысков знати, которых оригинальный склад ума отдал от узких интересов своего ордена, был человеком, который, не обладая даром страстной, но непоколебимой серьезности, которая делает великого реформатора, обладал способностями, замечательно приспособленными для того, чтобы держать ухо народа и внушать своим слушателям своего рода твердую уверенность в себе. Готовый, острый и остроумный, [824] он обладал счастливой способностью вводить в свое доверие Комицию под видом простого и честного человека. Само невежество его слушателей становилось респектабельным атрибутом, когда его принимали за бесхитростную простоту, нуждающуюся в защите от извилистых козней законодателя и официального рисовальщика. Однажды он заявил своей аудитории, что суть закона заключается в его преамбуле. Если в ней, по прочтении, обнаруживались слова "диктатор, консул, претор или *magister equitum*", то законопроект их не касался. Но если они улавливали слова "и кто бы то ни было после этого постановления", то они должны были проснуться, так как выковывались новые пути закона, чтобы сковать их конечности. [825] Человек такого нетрадиционного типа вряд ли был популярен в сенате, и отвратительное имя, которое он впоследствии носил в курии, [826] свидетельствует о живости, которую он приносил в дебаты.

Во время трибуната Глауция, по-видимому, происходило какое-то хитрое движение, направленное на отмену судебного закона Кая Гракха и вытеснение рыцарей из владения судом, в котором чаще всего выступали сенаторы. Закон, касавшийся преступлений, связанных с вымогательством со стороны римских чиновников, часто обновлялся, и всякий раз, когда поступало предложение о пересмотре этого закона с целью улучшения процедуры, конное владение судом оказывалось под угрозой; ведь новый закон мог

установить требования к присяжным, отличавшиеся от тех, которые передавали эту юрисдикцию рыцарям. Поэтому орден испытал огромное облегчение, когда за необходимую работу по пересмотру взялся тот, кто показал себя ярким защитником прав конников.[827] Изменения в процедуре, внесенные Глауцием, были основательными и постоянными. Он ввел систему "второго слушания" - обязательного возобновления процесса, что позволило адвокатам обсудить уже приведенные доказательства, а присяжным - разобраться в массе разрозненных данных, которые были представлены их вниманию[828], а также сделал возможным взыскание ущерба не только с главного злоумышленника, но и со всех, кто нечестно разделил его добычу.[Эти принципы продолжали соблюдаться в процессах о вымогательстве вплоть до конца Республики и, возможно, были единственным неизгладимым следом лихорадочной политической карьеры Глауция. Но на данный момент пункты его закона, касающиеся квалификации присяжных, были теми, которых ждали с наибольшим нетерпением и которые получили наибольшее одобрение. Он остановил реакцию и закрепил, без надежды на изменение в течение долгих лет, систему двойного контроля, созданную Каем Гракхом.

Карьера и успехи Мария, Красса и Глауция свидетельствуют о духе волнения, который периодически прорывался сквозь апатичную терпимость, проявляемую народом к правлению знати. Эти чередования уверенности и недоверия нашли свой аналог в религиозной истории того времени; но панику, вызванную верой в гнев богов, было еще труднее контролировать, чем тревогу, вызванную отношением правительства. Такая паника не знала различий по должности, полу или возрасту; она охватывала граждан, которым не было никакого дела до проблем управления, была сильна пропорционально слабости своих жертв и собирала из мрачных мыслей и диких слов имбецила яд, который заражал трезвый ум и принимал, в силу универсальности болезни, облик здорового усилия по искоренению какого-то глубоко укоренившегося загрязнения в государстве. Мрачная летопись религиозных гонений прошлого еще больше затрудняла правительству, гордившемуся сохранением древнего контроля над нравственностью, превозносившему монополию на историческое священство, которое не раз прикладывало руку к истреблению, подавить подобный крик. Требование искупления было голосом хранителя нравственной жизни Рима, патриота, искренне стремящегося вернуть себе ослабевающую благосклонность богов-покровителей. Если к тому же считалось, что очаг разврата находится в семьях знати, последний барьер для сопротивления был разрушен, ибо даже видимость прикрытия нечестивой вещи делала ее тайное место объектом ужаса и презрения.

Сначала нервы людей были взбудоражены различными чудесами; подтверждением их опасений могло послужить полное уничтожение армии Порция Катона во Фракии;[830] а вскоре странное бедствие указало на характер преступления, вызвавшего гнев богов. Когда Гельвий, римский рыцарь, путешествовал с женой и дочерью из Рима в Апулию, их накрыла внезапная буря. Тревога девушки заставила отца срочно искать убежище. Лошадей отвязали от машины, девушку усадили на одну из них, и все поспешили по дороге, как вдруг произошла ослепительная вспышка, а когда она миновала, юная Гельвия и ее лошадь лежали на земле. Сила молнии сорвала с ее тела все одежды и украшения, а мертвый конь лежал в нескольких шагах от нее с разорванной и разбросанной вокруг амуницией.[831] Смерть от удара молнии всегда имеет значение, которое иногда трудно найти; но здесь боги не оставили пытливого верующего в полном сомнении. Нагота пораженной девы была загадкой, которую жрецы могли прочесть. Это был явный знак того, что обет девственности был нарушен и что некоторые из хранителей вечного огня были запятнаны грехом безбрачия. Уничтожение коня, казалось, предвещало, что рыцарь будет уличен в соучастии в преступлении.[832] Были приглашены доказательства, которые вскоре были получены. Раб некоего Барруса

выступил вперед и заявил, что развратил трех весталок, Аэмилию, Лицинию и Марсию.[833] Он притворился, что кровосмесительный акт был давним, и назвал своего хозяина среди многих других людей, которых он объявил авторами святотатства. Считалось, что девы добавляли себе любовников, чтобы скрыть свое первое преступление; жертвование своей честью стало ценой молчания, а их первые развратители были вынуждены замолчать, когда ревность была побеждена страхом. Считается, что сведения о преступлении широко распространялись в кругах лучшего класса, пока заговор молчания не был разрушен действием раба,[834] и все, кто не считался соучастником, были вынуждены добавить свою долю к весу обвинительных показаний.

Скандал такого масштаба требовал официального разбирательства в высшем религиозном трибунале, и под конец года[835] Луций Метелл, главный понтифик, вызвал инкриминируемых весталок в коллегия. Аэмилия была осуждена, но Лициния и Марсия были оправданы. Немедленно поднялся шум; снисходительность понтифика была сурово осуждена; гнев и страх народа подтолкнули трибуна Секста Педукея впервые предложить, чтобы светская власть отняла у папской коллегии духовную юрисдикцию, которой та злоупотребляла. Он провел резолюцию о создании народом специальной комиссии для продолжения расследования.[836] Судьями, вероятно, были римские рыцари по образцу гракханских присяжных; председателем - ужасный Луций Кассий Лонгин, уже известный своей суровостью как цензор и прославившийся своей пронизательностью как судья по уголовным делам. Эта роковая пронизательность, благодаря которой его трибунал получил прозвище "риф обвиняемого", [837] теперь приветствовалась как гарантия того, что расследование будет тщательным и что невиновность, которая сохранится после него, будет настолько хорошо установлена, что все сомнения и страхи будут устранены. Эта комиссия осудила не только двух весталок, которых оправдали понтифики, но и многих их посредниц[838]. Некоторые из их предполагаемых любовников также должны были быть осуждены; среди обвиняемых был Марк Антоний, которому в будущем предстояло разделить ораторское искусство с Луцием Крассом. Он был накануне отъезда в Азию, где должен был исполнять обязанности квестора, когда его вызвали в суд, где председательствовал Кассий. Он мог бы сослаться на то, что обязан продолжать выполнять свои официальные обязанности:[839] но он предпочел отказаться от своего требования и предстать перед судьями. Считается, что его побег был обусловлен главным образом героическим поведением молодого раба, который, по собственной воле отданный на пытку, перенес муки дыбы, бича и огня, не произнеся ни слова, которое могло бы уличить его хозяина.[840] Свободное использование таких методов в процессах по делам об инцесте ставит под сомнение ценность приговора, который они вынесли; а когда суд учреждается с целью успокоить народную совесть, то, по крайней мере, часть его поведения легко заподозрить в предначертанности. Строгость Кассия в этом деле считалась чрезмерной:[841] но, даже если бы он и присяжные заседатели вершили только самое строгое правосудие, память об их приговоре еще долго хранилась бы в памяти влиятельных семей, членов которых они осудили, и тем самым увековечила бы традицию их ненужной суровости. Можно, однако, сомневаться в том, что светский суд был компетентен применять ужасные наказания папской юрисдикции, обрекая весталку на живую могилу, а ее спутника - на смерть от бича:[842] запрет, а возможно, в более серьезных случаях и смерть от удушения, обычно предусмотренная для изменников, могли быть применены к мужчинам, а женщины могли быть переданы для казни их родственникам. Но даже такое показательное наказание пороков, таившихся в сердце государства, не считалось достаточным, чтобы умиротворить богов или успокоить народную совесть. Наказать виновных означало лишь удовлетворить небеса и совесть; требовалось более полное искупление, и сивиллины оракулы, когда с ними советовались по этому поводу, были поняты как предписание культивировать неких странных

божеств с помощью живой жертвы четырех чужеземцев, двух эллинских и двух галльских.[843] Выполнение этого акта должно было стать серьезным испытанием для разума и совести правительства, которое шестнадцать лет спустя полностью запретило человеческие жертвоприношения[844] и вскоре предприняло усилия по искоренению варварского ритуала даже в своих иностранных владениях.[845] Даже эта уступка панике времени не могла рассматриваться как чреватая большим мирским успехом. Боги, казалось, все еще сохраняли недобрые чувства как к городу, так и к правительству. Через два года снова начались страшные проделки, и большая часть Рима была уничтожена страшным пожаром. Прошло еще несколько месяцев, и из Африки пришло известие, которое до основания потрясло основы сенаторского правления[846].

ГЛАВА VI

Земля, на которую вскоре устремились взоры всего мира, была заброшенным протекторатом, созданным для временной цели - свержения Карфагена, и с тех пор остававшимся в ненарушенном владении мирных потомков Масиниссы. Судьбы Нумидийского царства, в той мере, в какой они затрагивали само царство, заслуживали пренебрежения со стороны его сюзерена; ведь власти, которую Масинисса завоевал оружием и дипломатией, было более чем достаточно для защиты его собственных интересов. Нумидия того времени по своим территориальным размерам была одним из самых могущественных царств мира и занимала лишь второе место после Египта среди держав-клиентов Рима.[Она простиралась от Мавритании до Киренаики,[848] от реки Мулукча до Большого Сиртиса, таким образом, на западе соприкасаясь с империей мавров, в то время ограниченной Тингитаной, на востоке почти проникая в Египет и занимая лучшую часть плодородного региона, граничащего с побережьем Средиземного моря.[849] О марокканской границе королевства - реке Мулукча или Молокат - см. Göbel *Die Westküste Afrikas im Altertum* pp. 79,80. Из этой огромной территории Рим выделил для себя небольшой участок на северо-востоке. При создании провинции Африка ее умеренность и терпение должны были удивить ее нумидийского клиента; и если Масинисса проявлял признаки нерешительности, готовясь к разрушению Карфагена, то страхи его сыновей должны были сразу же рассеяться, когда они увидели, какую небольшую прибыль Рим намеревался извлечь из подавления их общего соперника. Нумидийским царям даже позволили сохранить территорию, отвоеванную у Карфагена в период между Второй и Третьей Пуническими войнами. Сюда входила область около Туски, в которой насчитывалось не менее пятидесяти городов, район, известный как Великие равнины,[850] который отождествляется с большим бассейном Дахлы в Улад-бон-Салеме, и, вероятно, плато Вага (Беджа), которое доминирует над этим бассейном.[851] Римские границы простирались лишь от Туски (Вэд эль-Кебир) на севере, где эта река впадает в Средиземное море напротив острова Табрака (Табарка), до Тена (Хеншир Тина) на юго-востоке.[852] Но даже верхние воды Туски принадлежали Нумидии, как и города Вага, Сикка Венерия и Зама Регия. Следовательно, римская граница должна была изгибаться на восток, пока не достигала места, где скалистый район отделяет бассейн Баградаса (Меджерда) от равнин Сахеля; далее она шла к окрестностям *Aquae Regiae*, а затем, вероятно, по линии рва, проведенного между двумя большими впадинами Кайруан и Эль-Гарра, к своему конечному рубежу в Тенее.[853] Ясно, что римляне не смотрели на свою провинцию как на самоцель. Они оставили в руках своих нумидийских друзей одни из самых плодородных земель, одни из самых богатых торговых городов, расположенных в районе, на который они могли бы легко претендовать. Против такого присоединения Масинисса не мог произнести ни слова законного протеста. Его царство уже почти удвоилось за счет приобретения земель его соперника Сифакса, а его сыновья благодаря помощи Рима видели себя обладателями

искусственно созданного царства, которое настолько не соответствовало традициям нумидийской жизни, что вряд ли могло прийти в голову какому-либо князю этой расы. Но город-завоеватель верил в благодарность и еще больше верил в свою привычную политику осторожности. Провинция, которую он создал, была просто политической и стратегической необходимостью. Она была призвана обеспечить негативную цель - предотвратить восстановление павшего великого политического и торгового центра.[854] Если Карфагену никогда не суждено было подняться вновь, фрагмент береговой линии должен был остаться в руках владельцев его опустошенного участка. Возможно, для мира в Африке было бы лучше, если бы римляне были чуть более хваткими и если бы позиции римлян были сильнее, чем они были. Финикийцы, рассеянные по побережью, стали привычными объектами для берберов и их королей; для просвещенного монарха они были ценным дополнением к населению любого из его городов - тем более ценным теперь, когда они были политически бессильны. Но с римским чиновником и римским торговцем все было иначе. Здесь была чужая и (несмотря на сдержанность правительства) наступающая цивилизация, совершенно незнакомая местным жителям, но оправдывающая свою безопасность тем туманным фоном власти, который прилип к имени главного города Запада. Римские владения были уродливым зрелищем для человека, который считал, что Африка должна быть для африканцев. Мудрый Масинисса мог терпеть это зрелище, довольствуясь (как, собственно, и должен был) властью и безопасностью, которые дружба Рима принесла его союзнику. Но еще предстояло выяснить, будут ли его взгляды всегда поддерживаться его собственными подданными или каким-нибудь менее осторожным или менее удачно расположенным преемником его собственной линии.

Вполне возможно, что враждебное чувство национальности могло пробудиться даже за пределами великого царства Нумидия. Обозначения, которые римляне используют для уроженцев Северной Африки, затушевывают факт единства великого берберского народа, признанный в более поздние времена арабскими завоевателями.[855] Римские историки и географы говорят о нумидийцах и мавретанцах так, как будто это отдельные народы; но вряд ли можно сомневаться, что тогда, как и сегодня, они были двумя частями одной великой расы, и что даже дикие гетульцы на юге - лишь представители материнской части этого коренного народа. Как и в случае почти со всеми расами, которые в отсутствие исторических данных мы вынуждены называть коренными, в этой расе можно выделить два отдельных элемента, более ранний и более поздний, и во многих районах Северной Африки отчетливо видны сохранившиеся первоначальные различия между этими элементами; Но поскольку слияние этих элементов произошло в доисторические времена, можно считать, что общая берберская национальность простиралась от Атлантики почти до Египта, в то время, когда к семитам и грекам-иммигрантам, которые уже стремились поселиться среди ее границ, добавились римляне. Считается, что основой этой национальности стали аборигены Сахары, которые постепенно продвигались из пустыни к нынешнему побережью. Там к ним присоединилась раса другого типа, которая пробиралась с территории нынешнего европейского континента. Человек из Сахары был темно-коричневого цвета, но без следов негроидного типа. Его европейский товарищ был человеком со светлым цветом лица и светлыми волосами; и эти дикие смешанные расы продолжали жить бок о бок и составлять единый народ, сохраняя, возможно, каждый свои собственные психические особенности, но говоря на общем языке более древнего сахарского народа.[856] Но обе расы не были равномерно распределены по различным территориям Северной Африки. Белая раса, возможно, была более заметна в Мавритании, как и в современном Марокко;[857] темная раса, вероятно, была наиболее сильно представлена среди гетулийцев на юге. Короче говоря, в Северной Африке существовали две зоны, отмеченные различиями в цивилизации и этническом происхождении, которые были четко разграничены в

древности. Первая представлена африканерами, нумидийцами и маврами, населявшими побережье с востока на запад. Они рано подверглись чужеродному влиянию, самым сильным из которых до прихода римлян было пришествие семитов. О втором свидетельствует огромная совокупность племен, которые образуют кривую вдоль юга от океана до Киренаики. Эти племена, называемые общим именем гаетули, были почти свободны от европейского влияния в исторические, а возможно, и в доисторические времена. Некоторые из них смешались с аэтиопийцами Сахары,[858] но в целом, как полагают, они представляют первобытную расу коричневых жителей Сахары во всей ее чистоте.

Если бы к южным расам применялся термин "кочевники" или "нумидийцы", это обозначение можно было бы оправдать миграционным характером их жизни. Но более чем сомнительно, что это обозначение оправдано применительно к людям, к которым оно обычно применяется. Нумидийцы, похоже, не обладали ни характером, ни привычками истинно кочевого народа, такого как арабы.[859] Они жили в хижинах, а не в палатках. Эти хижины (*mapalia*), имевшие форму перевернутой лодки, могли показаться финикийцам, грекам и римлянам плохим жилищем; но как жилища они должны были быть постоянными; они служили показателем обладания собственностью, прочной привязанности к земле. Деревня, образованная группой этих маленьких домов, сгруппированных вокруг крутой высоты, была еще одним показателем политического и военного общества, которое намеревалось поддерживать и защищать территорию, на которой оно обосновалось. Страницы Саллюстия дают множество свидетельств активной деревенской жизни, поглощенной трудом земледелия, и масса населения региона Телль, должно быть, надолго прикована к земле, которая давала ей средства к существованию. В других местах действительно существовала необходимость в чем-то похожем на периодическую миграцию. На высоких плато пастушеская жизнь делала необходимой обычную смену летних станций на зимние. Но это регулируемое движение не соответствует в полной мере беспорядочной жизни истинно кочевого народа. Однако легко понять, что в отличие от регулярной и часто оседлой меркантильной жизни финикийцев и греков, жизнь нумидийцев можно считать дикой и кочевой. На самом деле он был скорее "путешественником", чем кочевником, и обладал бесценными военными качествами человека, не скованного городами и привыкшего к дальним странствиям по суровой и крепкой стране. Умение владеть лошастью, которое было чудом света, зоркий глаз на быстро пройденную страну, память на однажды увиденное место, способность быстро мобилизоваться и так же быстро исчезнуть, дар быть рыцарем в один день, пастухом или крестьянином в другой - вот те качества, которые сделали завоевание Нумидии римлянами так долго невозможным и привели к необходимости использовать дипломатию в качестве дополнения к войне.

Не так легко восстановить моральные и политические качества этого народа на основе данных, которыми мы располагаем в настоящее время, или примирить опыт сегодняшнего дня с впечатлениями древних историков. Но так постоянна была основная масса населения Северной Африки, что возникает соблазн интерпретировать древних нумидийцев в свете современных кабылов. Тот, кто имел опыт общения с последним, наделяет его умной головой, откровенной и открытой физиономией и живым взглядом, описывает его как активного и предприимчивого, живого и возбудимого, обладающего нравственной гордостью, чрезвычайно правдивого, строго держащего данное им слово и уважающего женщин - уважение, проявляющееся во всеобщем соблюдении моногамии.[Даже когда его побуждают к войне, он, как говорят, не склонен к излишней жестокости][861]. Активность,

живость и возбудимость этого народа можно проследить в античных источниках; но римские записи добавляют впечатление двуличия, вероломства и жестокости как характерных черт расы. Однако, поскольку эти черты проявляются в ходе великой национальной войны против ненавистного захватчика, и в основном их иллюстрируют личности царя или его министров - людей, испорченных властью или обезумевших от страха, - мы, возможно, не должны придавать слишком большого значения расхождению между свидетельствами древнего и современного мира.

Многое в истории Нумидии, особенно в эпоху войны римлян с Югуртой, прояснилось бы, если бы мы могли интерпретировать политические тенденции ее древних жителей по тенденциям современных кабылов. Последний, как говорят, является убежденным демократом, основывающим свое общество на идеях равенства и индивидуальности. Каждый член этого общества пользуется одинаковыми правами и связан одинаковыми обязанностями. Здесь нет военной или религиозной знати, нет наследственных вождей. Дела общества, о которых все могут говорить или голосовать, управляются простыми делегатами.[862] В истории войны с Югуртой нет ничего, что могло бы опровергнуть эти характеристики, но есть многое, что их подтверждает. В повествовании о той войне нет ни одного упоминания о знати. Влиятельные люди, о которых рассказывается, - это просто те, кто возвысился благодаря богатству или знакомству с королем. Монархия сама по себе является великой силой, когда король присутствует, но жизнь общества не нарушается, когда король бежит; и преданность короне сосредоточена вокруг великой личности, которая, как ожидается, загонит ненавистных захватчиков в море, а не просто вокруг имени законной династии.

Монархия в Нумидии, по сути, выглядит неким искусственным продуктом; но, какой бы искусственной она ни была, она хорошо поработала. Более чем пятидесятилетнее правление человека, соединившего абсолютизм дикаря с мудростью и опытом цивилизованного правителя, произвело в Нумидии эффект, который никогда не умрет. Масинисса доказал, каким может стать нумидийское сельское хозяйство под руководством научных правил, создав образцовые фермы, плодородные акры которых показали, что культурные растения всех видов можно выращивать на родной земле;[863] а при нем и его сыне Миципсе жизнь города демонстрировала тот же прогресс, что и в стране. Нумидия не могла стать одной из житниц мира, если бы ее столица не поднялась до ранга великого торгового города. Цирту, расположенную в сорока восьми римских милях от моря,[864] вскоре стали искать греки, эти вездесущие банкиры средиземноморского мира,[865] а римские и итальянские капиталисты охотно вели свои дела в этой новой и привлекательной сфере, которую открыли их усилиям завоевания Рима и цивилизаторская энергия его местных правителей.

Нумидийское царство страдало от слабости, характерной для монархий, где сильные духи подданных и местных вождей могут контролироваться только еще более сильной рукой центрального властителя и где практика многоженства и наложничества в царском доме иногда порождала множество претендентов, но не было наследника с неоспоримыми правами на власть. Не существовало устоявшегося принципа престолонаследия, и смерть государя на время ставила под угрозу мир или единство королевства, а также накладывала серьезные обязательства на его номинального защитника. Сам Масинисса был отстранен от престола дядей,[866] и, если бы не его энергичность и энергия, мог бы остаться предметом притязаний последующих претендентов.

Кризис грозил разразиться после его собственной кончины, но был счастливо предотвращен благоразумием умирающего монарха. Не желая, вероятно, признавать главенство Рима, он возложил на нее неблагоприятную задачу решения вопроса о

престолонаследии. Он считал, что римская власть будет более действенной, чем отцовские пожелания; возможно, он видел, что среди его сыновей нет ни одного, кому можно было бы доверить в одиночку и без посторонней помощи продолжать наращивать состояние государства и требовать от братьев признания их бесспорным повелителем, а демонстрация покорности Риму могла бы ослабить бдительность и обезоружить ревность защищающей державы. Сципион был призван на смертном одре, чтобы распределить царство между оставшимися в живых законными сыновьями - Миципсой, Гулуссой и Мастанабалом.[867] Миципса получил столицу Цирту, царский дворец и общее управление царством, воинственный Гулусса был назначен главнокомандующим, а Мастанабалу, самому младшему, было поручено вести судебные дела владений.[868] Это разделение власти было вскоре нарушено смертью двух младших братьев, и Миципса остался один, чтобы предаваться своим мирным наклонностям в течение долгого и спокойного царствования, длившегося почти тридцать лет. Падение Карфагена освободило его от всех раздражающих внешних связей; королю Нумидии больше не нужно было играть роль постоянного шпиона за действиями и случайного нарушителя границ территории величайшей из африканских держав. Ближайшей ареной беспорядков был противоположный континент - Испания, и здесь он оказал Риму добрую услугу, направив ей помощь против Вириафа и нумантинцев.[869] Раздосадованный неурядицами в своих границах, Миципса посвятил свою жизнь мирным искусствам. Он благоустроил Кирту и привлек в город греческих поселенцев, среди которых были люди искусства и образования, восхищавшие царя своими литературными и философскими беседами.[870] Период отдыха способствовал развитию ресурсов царства, и, несмотря на опустошительный мор, который, как говорят, уничтожил восемьсот тысяч подданных царя,[871] государство могло похвастаться после его смерти регулярной армией в десять тысяч конницы и двадцать тысяч пеших.[Это было лишь ядро армии, которую можно было собрать во внутренних районах и пополнить за счет пограничных племен Нумидии; и тот, кто мог завоевать доверие солдат и привязанность крестьянства, держал в своих руках судьбу Нумидии. Эти размышления, возможно, бросили тень на последние годы жизни Миципсы. Конечно, перспектива престолонаследия была для него столь же мрачной, как и для его отца, Масиниссы. Как и его предшественник, он верил, что династия сильнее отдельного человека, и сознательно подражал Сципиону, оставив своим преемникам коллегиальное правление. Однако один из этих преемников не был его собственным отпрыском. Его брат Мастанабал оставил после себя незаконнорожденного сына по имени Югурта. При жизни его деда, Масиниссы, мальчик был обделен вниманием; возможно, надежда на то, что Мастанабал еще сможет произвести на свет представителя, достойного престолонаследия, не придавала особого значения сыну наложницы, несмотря на то, что политика нумидийских монархов заключалась в том, чтобы держать в резерве столько наследников, сколько они могли обеспечить. Но когда Гауда, единственный законный сын Мастанабала, оказался слаб телом и умом,[873] большее внимание было уделено энергичному мальчику, который теперь был единственным эффективным представителем одной из ветвей поздней династии. Даже без этого мотива добрый характер Миципсы, вероятно, заставил бы его благосклонно отнестись к сироте своего брата; юный Югурта воспитывался во дворце и получал образование вместе с предполагаемыми наследниками, Адербалом и Хиempсалом, двумя сыновьями правящего царя. Вскоре стало ясно, что в стенах королевского двора родился и окреп лев. При рождении Югурты, похоже, присутствовали все достоинства, присущие рожденному от любви потомству. Могучая фигура, красивое лицо были одними из его меньших даров. Более примечательными были энергичность и острота его ума, моральная сила, не поддававшаяся никаким соблазнам легкости или праздности, острая жажда жизни, заставлявшая его бросаться в тяжелые виды спорта своих товарищей по молодости, бегать, ездить верхом, метать копье с мастерством, известным только

кочевникам, *добродушие* и светлый добрый нрав, которые привязывали его к товарищам, которых он побеждал своим мастерством. Большую часть своего досуга он проводил, выслеживая диких зверей в пустыне; его мастерство охотника было непревзойденным, а равнялось оно лишь его легкому безразличию к своим успехам[874].

Вид этих качеств радовал сердце Миципсы; ведь военный лидер, столь необходимый для безопасности нумидийской монархии, теперь, казалось, был обеспечен. Нам рассказывают, что тень беспокойства промелькнула в его голове, когда он сравнил юность собственных сыновей со славной зрелостью Югурты и подумал о соблазнах, которые перспектива неразделенной монархии может представить для ума, постепенно отучаемого от верности самим чувством собственного величия:[875] но нет оснований полагать, что старый добрый царь позволил своему воображению увидеть кинжал или отравленную чашу, и что таинственной смерти его племянника мешала лишь мысль о том, какое негодование она вызовет среди нумидийских вождей и их приближенных. Конечно, миссия, которую вскоре возложили на Югурту, - миссия, которая, возможно, должна была изменить весь тон его ума и сконцентрировать его энергию на незаконной цели, - была такой, которую любой нумидийский царь мог бы предназначить для самого благосклонного из своих сыновей. Югурта должен был быть отправлен в Нумантию, чтобы возглавить конные и пешие нумидийские отряды, стать членом очарованного круга, окружавшего Сципиона, увидеть, двигаясь среди молодой знати, обещание величия, которое ожидало Рим в области политики или войны, завязать, возможно, прочные дружеские отношения и накопить благодарность для будущего использования. Отстранив племянника, Миципса отдал вопрос в руки судьбы. Возможно, Югурта никогда не вернется; но если он и вернется, то с опытом и престижем, которые сделают его более чем когда-либо определенным вершителем судеб королевства.

Преимущество, которое Югурта извлек из этой чудесной возможности, было плодом его натуры и не доказывало никакого скрытого замысла. Будь он самым простым и преданным человеком, он был бы вынужден поступить так, как поступил. Как человек проницательный, он быстро выучил Сципиона наизусть, как прирожденный стратег и опытный охотник он быстро раскусил уловки врага, как человек, лишенный физического чувства страха, он был первым в каждом действии. Он сразу постиг секрет римской дисциплины, и его привычка беспрекословно подчиняться командному слову была столь же примечательна, как и готовность высказать правильное предложение, когда спрашивали его мнение. Интеллект не был яркой чертой в умственном оснащении персонала, окружавшего Сципиона; он был ухвачен генералом везде, где только можно, без различия звания или национальности; и в то время как Марий поднимался шаг за шагом благодаря своей доказанной эффективности, нумидийский принц, который мог бы быть просто декоративным дополнением к армии, был сделан лидером или участником почти каждого предприятия, которое требовало проницательной головы и твердого сердца. Благосклонность Сципиона росла день ото дня.[876] Ее нужно было завоевывать только заслугами и успехами. Богатство и социальные качества Югурты привели к аналогичному результату с римлянами более слабого склада. Он щедро развлекался, был умен, добродушен и весел. Он очаровывал римлян, которых превосходил, как в детстве очаровывал нумидийских мальчишек, которых обгонял.

В эти редкие промежутки отдыха от военных действий у него была возможность пообщаться с влиятельными и высокопоставленными людьми. Иногда обсуждалось положение Югурты и будущее Нумидии, и юные мудрецы, претендовавшие на его дружбу, с веселым цинизмом, проистекающим из неглубокого знакомства с имперскими интересами, говорили, что такие заслуги, как у него, могут найти свое применение, только если он будет единственным

обладателем нумидийского трона.[877] Эти слова, возможно, часто произносились в шутку или в качестве пустого комплимента; хотя некоторые из тех, кто их использовал, могли иметь в виду, что они являются выражением максимы о том, что протекторат лучше всего обслуживается сильным слугой, и что разделенное княжество содержит в себе семена беспорядков. Другие заходили так далеко, что предлагали не только цель, но и средства. Если возникнут трудности с Римом, разве нельзя будет купить согласие великих держав дорогой ценой? Сципион не был слеп к разговорам своего фаворита. Когда Нуманция была разрушена и армия сворачивала палатки, он устроил Югурту оvation и сделал ему частное напутствие. Перед трибуналом он наградил его военными наградами и горячо восхвалял его; затем он тайно пригласил его в свою палатку и дал ему слово предостережения. "Дружбу римского народа следует искать у самого римского народа; ничего хорошего не получится, если заручиться поддержкой отдельных лиц двусмысленными средствами; опасно покупать государственные интересы у горстки торговцев, которые утверждают, что имеют власть продавать; собственные качества Югурты - его лучшее достояние; они обеспечат ему славу и корону; если он попытается поторопить ход событий, материальные средства, на которые он полагается, сами могут привести его к гибели". [878]

Только в одном вопросе Сципион, похоже, был согласен со злыми советниками Югурты. Он, похоже, верил, что истинный хранитель Нумидии найден, и принц взял с собой великолепное свидетельство, которое должен был вручить своему дяде Миципсу. Сципион в восторженных выражениях писал о великих качествах, которые Югурта проявил на протяжении всей войны; он выражал свой собственный восторг от этих заслуг, свое намерение донести их до сената и римского народа, свое чувство радости, которую они должны были принести самому монарху. Его старая дружба с Миципсой оправдала слова поздравления; принц был достоин своего дяди и своего деда Масиниссы[879].

Каковы бы ни были дальнейшие намерения Миципсы, при обычных ли обстоятельствах его природная доброжелательность и даже патриотизм продолжали бы воевать с неопределенным чувством недоверия, это письмо развеяло его сомнения, хотя бы потому, что показало, что Югурта никогда не сможет занять место частного лица. Акт усыновления был немедленно совершен, и было составлено завещание, в котором Югурта был назван совместным наследником нумидийского престола с сыновьями самого Миципсы.[880] Через несколько лет престарелый царь лежал на смертном одре. Чувствуя приближение конца, он, как говорят, созвал своих друзей и родственников вместе с двумя сыновьями и в их присутствии обратился к Югурте с прощальным словом. Он напомнил ему о прошлых любезностях, но признал, что тот сполна отплатил ему; он сделал Югурту, а Югурта вновь прославил нумидийское имя среди римлян и в Испании. Он призвал его защищать молодых принцев, которые станут его коллегами на троне, и напомнил, что в поддержании согласия кроется будущая сила царства. Он обращался к Югурте как к опекуну, а не как к простому соправителю, ибо власть и имя зрелого и выдающегося правителя делали его главным ответственным за гармонию или раздор; и он просил своих сыновей уважать своего кузена, подражать его добродетелям, чтобы доказать миру, что их отец был столь же удачлив в детях, которых дала ему природа, как и в том, кто был объектом его усыновления.[881] На это обращение Югурта ответил с должным чувством и уважением, и через несколько дней старый король скончался. Час, завершивший его пышные похороны, стал последним, когда сохранялась хотя бы видимость согласия между плохо подобранной троицей, ставшей теперь правителями Нумидии. Положение Югурты было достаточно сложным, ведь править означало либо довести до бессилия своих кузенов, либо постоянно мешать его планам грубыми и подозрительными советами. А то, что они будут не только подозрительными, но и грубыми, выяснилось очень скоро: положение сразу же стало невыносимым из-за поведения

Гиёмпсала. Этот принц, младший из двух братьев, был упрямым мальчишкой, исполненным чувства обиды на возведение Югурты на трон и обиды на пренебрежение тем, что он считал законным притязанием на престол. Когда в тронном зале состоялось первое заседание совместных правителей, Гиёмпсал поспешил занять место справа от Адербала, чтобы Югурта не занял почетное место в центре; с трудом, но уговоры брата заставили его уступить требованиям возраста и пересесть на место с другой стороны. Эта борьба за первенство предвещала грядущую бурю. В ходе долгого обсуждения дел королевства Югурта высказал мысль, что, возможно, следует отменить постановления и указы последних пяти лет, поскольку за это время возраст ослабил способности Микипсы. Гиёмпсал сказал, что согласен с этим, поскольку именно в течение последних трех лет Югурта был утвержден на престоле. Объект этого замечания не проявил особых эмоций, но считалось, что обидное оскорбление послужило толчком к тревожной мысли, которая, как и следовало ожидать от решительного характера мыслителя, вскоре перешла в действие. Быть узурпатором было лучше, чем считать его таковым; первое положение влекло за собой власть, второе - только опасность. Гнев, несомненно, сыграл свою роль, но при таком темпераменте, как у Югурты, подобные эмоции скорее служили оправданием, чем причиной преступления. Говорят, что с того момента его мысли были направлены на то, чтобы заманить в ловушку стремительного Гиёмпсала. Но коварство действует медленно, и Югурта не стал ждать[882].

Первая встреча царей дала столь убедительное доказательство невозможности единого правления, что вскоре было принято решение о разделе сокровищ и территорий монархии. Было назначено время для раздела владений и еще более ранняя дата для раздела накопленных богатств. Тем временем короли покинули столицу, чтобы жить в непосредственной близости от своих заветных сокровищ. Временным пристанищем Гиёмпсала стал укрепленный город Тирмида,[883] и, по воле случая, он занял дом, принадлежавший человеку, который когда-то был доверенным лицом Югурты.[884] Внутренняя история последующих событий никогда не могла быть известна с достоверностью; но считалось, что Югурта побудил этого человека под каким-то предлогом посетить дом и привезти слепки ключей. Предполагалось, что безопасность личности и сокровищ Гиёмпсала будет гарантирована тем, что он регулярно будет получать в свои руки ключи от ворот после того, как они будут заперты; но наступила ночь, когда ворота бесшумно открылись, и в дом ворвался отряд солдат. Разделившись на отряды, они поочередно обшаривали каждую комнату, заглядывали в каждую щель, выламывали двери, преграждавшие им вход, кололи прислугу - одних во сне, других, когда те выбегали навстречу захватчикам. Наконец Гиёмпсала нашли скрючившимся в комнате слуг; его зарезали и обезглавили, а те, кто считал Югурту автором преступления, сообщили, что в залог совершенного деяния ему принесли голову убитого принца[885].

Весть о преступлении вскоре разнеслась по всей Северной Африке. Оно разделило Нумидию на два лагеря. Адербал был вынужден в панике вооружаться для собственной защиты, и большинство тех, кто остался верен памяти Миципса, встали на сторону законного наследника. Но слава Югурты среди боевых людей королевства была ему на руку. Его сторонников было меньше, но они были более эффективными воинами.[886] Он быстро собрал все имеющиеся силы и бросился из города в город, захватывая одни штурмом и получая добровольное подчинение других. Он смело ввязался в гражданскую войну и своими действиями объявил желанным призом не что иное, как обладание всем Нумидийским царством. Но смелость была его лучшей политикой; Рим мог с большей готовностью согласиться на завоевание, чем на восстание, и с большей готовностью признать царя, чем претендента.

Тем временем Адербал отправил посольство в государство-покровитель, чтобы сообщить сенату об убийстве брата и о своем бедственном положении. Но, как бы ни был он несдержан, он должен был почувствовать, что пассивное терпение оскорблений, нанесенных Югуртой, умаляет его престиж и ставит под угрозу его положение; он оказался во главе более многочисленной армии и, полагаясь на свое превосходство в численности, рискнул вступить в бой со своим опытным врагом. Первое столкновение было решающим; его войска были настолько разгромлены, что он отчаялся сохранить свои позиции в любой части королевства. С поля боя он бежал в провинцию Африка, а оттуда на корабле отправился в Рим[887].

Теперь Югурта был бесспорным хозяином всей Нумидии, и у него был досуг, чтобы обдумать ситуацию. Не нужно было долго размышлять, чтобы понять, что более безопасным курсом было бы обращение к Риму. В его планы не входило полное отделение Нумидии от императорского города; даже если бы такая цель была желательна, национальная война не могла бы успешно вестись народом, разделенным в верности, против государства, чья упорная политика и неисчерпаемые ресурсы были слишком хорошо известны Югурте. Но он также знал, что Рим, хотя и упорный, обладает терпимостью, которая проистекает из нежелания тратить кровь и сокровища на столь малозначительное дело, как изменение положения подвластного трона, что династическая ссора покажется многим *беспечным* сенаторам частью естественного порядка вещей в варварской монархии, что обычно в интересах защищающего государства признать фактического короля таким же, как и законного, и что у него самого было много влиятельных друзей в столице, и ему говорили, что королевские подарки, распределенные с умом, могут подтвердить или даже сформировать мнение. Через несколько дней после победы он отправил в Рим посольство, хорошо укомплектованное золотом и серебром. Его послы должны были подтвердить привязанность старых друзей, привлечь к своему делу новых и не жалеть усилий, чтобы заручиться любой толикой поддержки, которую можно было купить щедростью.[888] Вероятно, немногие, кто получал вежливые визиты или послания от этих посланников, признались бы, что их подкупили. У королей был обычай посылать подарки, и они лишь откликнулись на призыв старого знакомого и человека, оказавшего Риму значительные услуги. Весть о трагическом конце Гиемпсала, бегстве и прибытии его изгнанного брата вызвала болезненную сенсацию в римских кругах. Теперь же многие представители знати набрались смелости, чтобы заметить, что у этого вопроса может быть и другая сторона. Озолотившаяся молодежь толпилась у своих старших в сенате и умоляла не принимать необдуманных решений против Югурты. Посланники, как люди, сознающие свою добродетель, спокойно выразили готовность ждать удовольствия сената. Настал назначенный день, и явившийся лично Адербал рассказал о своих злоключениях[889].

Помимо чувства жалости и последующего сочувствия, которое, возможно, пробудил в некоторых сердцах рассказ о разоренном и изгнанном короле, его обращение - страстное, энергичное и красноречивое - не могло быть выслушано собравшимися отцами с большим удовольствием; ведь оно преподносило правительству защищающего государства самый неприятный из уроков - его долг перед защищаемым. С изобретательностью отчаяния Адербал преувеличил степень римского правления, чтобы подчеркнуть моральные и политические обязательства правителей перед зависимыми от них людьми. Если царь Нумидии был простым агентом императорского города, подчиняя свои желания ее целям, видя безопасность своих владений только в расширении ее влияния, привязываясь к ее дружбе с доверием, столь же твердым, как и кровные узы, то долг госпожи - защитить такого слугу и отомстить за оскорбление, которое отразилось и на ее благодарности, и на ее власти. Миципса не раз повторял, что клиенты Рима несут тяжелое бремя, но его с лихвой

компенсирует иммунитет от опасности, которым они пользуются. А если Рим не защищает, то к кому может обратиться за помощью царь-клиент? Сама служба Риму делала его врагом всех соседних держав. Правда, Адербал мало на что мог претендовать сам: он был поданным, прежде чем стать благодетелем, лишенным всякой возможности принести пользу своему великому покровителю, прежде чем его преданность могла быть подвергнута испытанию. И все же он мог претендовать на долг: ведь он был единственным представителем династии, отдавшей все свои силы Риму. Югурта уничтожал семью, чья верность выдержала все испытания, он совершал ужасные злодеяния против друзей Рима, его наглость и безнаказанность наносили столь же тяжкий урон римскому имени, как и несчастным жертвам его жестокости.

Таков был поток тонких и убедительных рассуждений, пронизывавших страстное обращение изгнанного царя, взывавшего к мести, но прежде всего к справедливости. Ответ посланников Югурты был кратким и точным. Им оставалось только изложить свое выдуманное дело. Все, что требовалось, - это правдоподобный довод; остальное сделают их защитники. Гиёмпсал, по их мнению, был предан нумидийцами смерти за жестокость своего правления. Адгербал был агрессором в последней войне. Он потерпел поражение и теперь просит о помощи, потому что оказался не в состоянии совершить задуманное. Югурта умолял сенат руководствоваться тем, что он узнал о нем в Нумантии, и ставить его собственные прошлые дела выше слов личного врага.[891] Затем обе стороны удалились, и сенат приступил к обсуждению.

Вполне вероятно, что даже если бы не было коррупции или подозрений в коррупции, мнения членов палаты разделились бы по вопросу, который был поставлен перед ними. Некоторые умы, по природе своей подозрительные, могли бы усомниться в фактах. Были ли смерть Хиёмпсала и бегство Адербала следствием народного недовольства или неспровоцированных амбиций Югурты? Если первое, то было ли восстановление царя перед безвольным народом с помощью вооруженной силы мерой, способствующей интересам государства-защитника? Но даже те, кто принял изложение Адгербала, могли усомниться в мудрости политики вооруженного вмешательства; ведь было очевидно, что придется применить значительную силу, чтобы заставить Югурту отказаться от своих притязаний и искоренить лояльность его сторонников. Сенат не мог быть настроен на еще одну африканскую войну; они считали свою политику в этой части света закрытой; они переложили бремя защиты границ на царей Нумидии и должны были с тревогой смотреть на перспективу чего-то гораздо худшего, чем пограничная война, возникшая в результате ссор этих царей. Поэтому вполне вероятно, что предложения о мирном урегулировании в любом случае привлекли бы уважительное внимание сената; если бы они были сделаны с демонстрацией приличий, с общим признанием претензий Адербала и некоторым порицанием властного поведения Югурты (ведь это должно было быть подтверждено лучше, чем его участие в смерти Гиёмпсала), то тон дебатов мог бы вызвать мало негативных комментариев. Но когда один за другим поднимались члены, превознося до небес заслуги Югурты и осыпая презрением высказывания Адербала,[892] возникало неприятное ощущение, что этот пыл не был вызван патриотическим интересом к безопасности империи. Сама шумность первенства вызвала более жесткую позицию тех, к кому посланцы Югурты не обращались или кто сопротивлялся их уговорам. Они утверждали, что Адербалу нужно помочь любой ценой и что за убийство Хиёмпсала следует строго наказать. Это меньшинство нашло горячего защитника в лице Скавра, хранителя совести сената, человека, который лучше других знал, что человек или правительство живут своей репутацией, с ужасом видел, что не используются никакие уловки, чтобы облечь политику, которую злопыхатели могут истолковать как политическое преступление, и что зловещие слухи, ходившие в Риме,

находят свое открытое подтверждение в сенате. Энергичная поддержка правого дела со стороны ведущего политика современности, возможно, не повлияла бы на решение палаты и уж точно не привела бы к квиксной политике вооруженной интервенции; но она могла бы доказать критикам правительства, что неизбежное решение не было принято полностью вопреки требованиям подателя и полностью в повиновении махинациям узурпатора. Решение, завершившее нереальные дебаты, признало Югурту и Адербала совместными правителями Нумидии. Оно умышленно игнорировало смерть Гиempсала, оно безрассудно выставляло ягненка перед волком, оно ничего не стоило как решение династического вопроса, если только сторонники Югурты не питали благочестивой надежды, что честолюбие их фаворита может быть удовлетворено увеличением его богатства и территории, и что его благоразумие может удержать его от повторного испытания терпения покровительствующей власти. Но те, кто обладал более острой проницательностью или лучше знал Югурту, должны были предвидеть вероятный результат предоставленной безнаказанности; они должны были с тревожным предчувствием или с терпеливым цинизмом предвидеть окончательное исчезновение Адербала со сцены и новую просьбу об урегулировании нумидийского вопроса, который стал бы менее сложным, когда на трон остался бы один кандидат. Декрет сената предписывал создать комиссию из десяти человек, которая должна была посетить Нумидию и разделить все царство, которым владел Миципса, между соперничающими вождями[893].

Главой комиссии стал Луций Опимий, чье влияние среди членов его ордена никогда не ослабевало с тех пор, как он осуществил и доказал свое право на спасение государства от угрожавшей ему опасности мятежа. Его выбор в данном случае придал комиссии беспристрастность, поскольку было известно, что он не был другом Югурты[894].

Однако этот принц не позволил своим прошлым отношениям стать препятствием для его нынешнего предприятия. Завоевание Опимия стало ближайшей целью, которой он посвятил все свои силы. Как только комиссары появились на африканской земле, они и их вождь были приняты королем с величайшим почтением. Частые и тайные беседы, происходившие между арбитрами и одной из сторон, заинтересованных в их решении, не были счастливым предзнаменованием для беспристрастного суда, и, если бы решение могло быть истолковано как несправедливое, оно, конечно, вызвало бы подозрение, а в случае передачи дела на рассмотрение враждебного суда - доказательство того, что честь комиссаров поддалась обычным вульгарным и общепризнанным методам коррупции. На первый взгляд награда казалась совершенно справедливой. Нумидия становилась торгово-земледельческим государством, а поскольку торговля и сельское хозяйство не процветают в одних и тех же областях, невозможно было наделить каждого из претендентов в равной степени обоими источниками богатства. Адгербалу была отдана та часть царства, которая по своим внешним признакам казалась более желанной; он должен был править восточной половиной Нумидии, граничившей с римской провинцией, той частью страны, которая имела более удобный выход к морю и могла похвастаться более полным развитием городской жизни. Столица Цирта входила в эту сферу, и Адербал мог продолжать вершить правосудие с трона своих отцов. Но те, кто считал, что сила страны зависит в основном от ее народа и почвы, полагали, что Югурта получил лучшую часть. Вверенные ему территории граничили с Мавританией, богатой продуктами земли и кишавшей здоровой человеческой жизнью.[895] С точки зрения военных ресурсов не могло быть сомнений в том, кто из двух царей был сильнее. Миротворительный характер Адербала, возможно, оправдывал его мирную сферу правления; но первоначальный агрессор оставался при своих обычных силах. Югурта

правил землями, в которых национальный дух, воплощением которого он сам являлся, находил свое самое полное и яростное выражение. Он ни на минуту не хотел соглашаться с решением комиссии. Не успела она выполнить свою задачу и вернуться домой, как он начал разрабатывать план, который должен был привести к войне между двумя княжествами и последующему уничтожению Адербала. Сначала он не хотел провоцировать сенат на необдуманное нападение на соседнее королевство, которое они только что создали; его целью было скорее втянуть Адхербал в военные действия, которые привели бы к битве, несомненной победе, исчезновению последнего представителя рода Миципса и объединению двух корон. С этой целью он собрал значительные силы на границе между двумя королевствами и внезапно пересек границу. Его конные налетчики захватывали пастухов с их стадами, опустошали крестьянские поля, грабили и сжигали их дома, а затем возвращались в свои пределы.[896] Но Адербал не был расположен к репрессиям. Обстоятельства не менее, чем его темперамент, диктовали ему мирные методы: если он не мог сохранить свою корону дипломатическим путем, он должен был считать ее потерянной. Римский народ был лучшей защитой, чем его нумидийские подданные, и необходимо было повременить с Югуртой до тех пор, пока сенат не будет вынужден обратиться к нему с решительным призывом. Ко двору агрессора были отправлены посланники с жалобой на недавнее возмущение; они привезли дерзкий ответ, но Адербал, непоколебимый в своих мирных решениях, все еще оставался спокойным; план Югурты провалился, и он не был настроен на дальнейшее промедление; теперь, как и раньше, он считал, что его цель может быть достигнута путем энергичных и решительных действий. Прошедшее время не могло улучшить его собственную позицию, но могло укрепить позицию Адгербала, и было целесообразно, чтобы новая римская комиссия стала свидетелем свершившегося факта и извлекла из него максимум пользы, а не снова занялась урегулированием спорных претензий. Теперь он собирал уже не хищный отряд, а большую регулярную армию; его целью была не вылазка, а война.[897] Он продвигался по территории своего соперника, опустошая его поля, преследуя его города и собирая добычу на своем пути. С каждым шагом уверенность его собственных сил, а также смятение врага возрастали.

Наконец Адербал убедился, что для защиты своей короны он должен обратиться к мечу. Второе бегство в Рим полностью дискредитировало бы его в глазах подданных, а возможно, и в глазах самого римского правительства; но поскольку главная его надежда все еще оставалась в Риме, он поспешно отправил посольство в город-сюзерен[898], а сам приготовился выйти на поле боя. С невольной энергией он собрал имеющиеся силы и выступил в поход, чтобы противостоять триумфальному продвижению Югурты. Вторгшиеся войска уже обошли Цирту с запада и, судя по всему, пытались прервать ее морские коммуникации. Катастрофические результаты, которые могли бы последовать за успехом этой попытки, возможно, стали последним мотивом, побудившим Адгербала обратиться к оружию; и где-то в пределах пятидесяти миль, отделявших столицу от порта Русикад, и в месте, расположенном ближе к морю, чем к Цирте,[899] противоборствующие армии встретились. Когда Адербал сошелся со своим противником, день уже далеко зашел: в сгущающемся мраке не было и мысли о битве, и обе стороны расположились на ночлег. Ближе к вечеру, в неясном свете ранней зари, воины Джугурты подкрались к заставам противника; по сигналу они бросились на лагерь и взяли его штурмом. Воины Адгербала, отяжелевшие от сна и нащупывающие свое оружие, были разбиты или убиты; сам принц вскочил на коня и с горсткой своих рыцарей помчался в безопасное место к стенам Цирты, а войска Югурты пустились в погоню. Они почти настигли беглеца, прежде чем достигли стен; но за гонкой наблюдали с крепостных стен, и, когда летящий Адербал миновал ворота, на стенах появились добровольцы из числа италийских купцов, которые сдерживали преследующих нумидийцев.[Именно купеческий класс больше всего опасался жестокости и

коварства кочевых орд, которые теперь бились о крепость, и во время последующей осады они контролировали ход событий гораздо эффективнее, чем несчастный король, которого они на мгновение спасли от гибели.

Планы Югурты были сорваны, Адербал сбежал, и перед ним открылась неприятная перспектива осады, вероятного вмешательства Рима и, возможно, необходимости открыто пренебречь приказами сената. Но отступать было уже поздно, и он решительно взялся за дело, чтобы сократить Цирту с помощью штурма или голода. Задача, должно быть, была не из легких. Город представлял собой одну из самых сильных оборонительных позиций, какие только можно было найти в древнем мире. Он был построен на изолированном кубе скалы, который возвышался над обширными возделанными участками окружающей равнины. На восточной оконечности скала обрывалась вниз на шестьсот футов, и с этой стороны была, пожалуй, совершенно неприступна, хотя и отбрасывала отроги, естественные или искусственные, которые образовывали труднодоступное и легко обороняемое сообщение с окружающими низменными землями. Его естественные бастионы дополнялись естественным рвом, так как река Ампчага (Вэд Ремель) почти опоясывала город, и с восточной стороны ее глубокие и стремительные воды можно было пересечь только по выступу скалы, через который она прорыла подземный канал и через который, вероятно, был переброшен какой-то мост или дамба.[901] Естественный и легкий путь к городу находился на юго-западе, где к главным воротам вела полоса земли шириной в полфурлонга.

Несмотря на грозные трудности задачи, Югурта предпринял попытку штурма, поскольку ему было крайне важно овладеть личностью Адербала до того, как из Рима последует вмешательство. Мантлеты, башни и все орудия осадной войны энергично использовались для штурма города;[902] но крепкие стены препятствовали всем усилиям, и Югурта был вынужден изо всех сил противостоять другому римскому посольству, которое протесты Адербала привели на африканскую землю. Сенат, узнав о возобновлении войны, как никогда не желал вмешиваться в трехсторонний конфликт в качестве третьего партнера. Играть роль полицейского и судьи не входило в римскую политику; суть протектората заключалась в том, что он должен сам о себе позаботиться; если вмешательство необходимо, оно должно быть решительным, а собрать и доставить в Африку силы, достаточные для победы над Югуртой, было бы долгой задачей и тяжелым испытанием. Поэтому было принято простое решение о создании новой комиссии. Если бы ее предложения выполнялись, все было бы хорошо; если бы ими пренебрегали, дела могли бы обстоять не намного хуже, чем сейчас. Поскольку новые комиссары должны были лишь принимать послания и не обладали никакими дискреционными полномочиями, было решено не обременять высших магнатов государства этой незавидной задачей и не ставить их в недостойное положение, когда их представления будут игнорироваться мятежником, которого, возможно, в конце концов придется признать королем. Шанс был предоставлен более молодым представителям сенаторского сословия, и трое из них, высадившихся в Африке, были заклеены враждебной критикой, которая вскоре должна была найти свое выражение и в нищете своих обвинений ухватиться за любую соломинку, как не обладающие возрастом и достоинством, требуемыми миссией, - качествами, которые, будь они на месте, вероятно, не произвели бы ни малейшего впечатления на непоколебимую решимость Югурты. Уполномоченные должны были обратиться к обоим царям и довести до их сведения волю и решение римского сената и народа, согласно которым военные действия должны быть приостановлены, а спорные вопросы между соперниками должны быть переданы на мирный арбитраж. Такое поведение сенат рекомендовал как единственно достойное своих царственных клиентов и самого себя[903].

Поспешность посланников была ускорена впечатлением, что адресатом их послания может стать только один король. Накануне их отъезда до них дошли вести о решающей битве и осаде Цирты. Если они хотели сохранить свое положение посланников, необходимо было спешить, поскольку следующая депеша могла принести известие о смерти Адербала. Полученные новости не соответствовали действительности[904] и, возможно, были еще более смягчены для всеобщего обозрения; сам факт отплытия посланников официально свидетельствовал о том, что все надежды еще не потеряны. Если они сами лелеяли подобную иллюзию, то она должна была почти исчезнуть перед зрелищем, которое предстало их глазам в Нумидии. Они увидели тесно осажденный город, в котором один из царей, который должен был стать адресатом их послания, был так тесно зажат, что доступ к нему был невозможен.[905] Другой, не ослабив ни на йоту своих военных приготовлений, встретил их ответом столь же бескомпромиссным, сколь и вежливым. Для Югурты не было ничего дороже авторитета сената; с юности он стремился заслужить одобрение благих; именно заслугами, а не хитростью, он снискал расположение Сципиона; именно пустыня обеспечила ему место среди детей Миципса и долю в нумидийской короне. Но качества накладывают свою ответственность; само отличие его заслуг еще больше обязывало его отомстить за обиду. Адербал вероломно замышлял против его жизни; преступление было раскрыто, и он лишь предпринял шаги, чтобы предотвратить его; римский народ поступил бы несправедливо и нечестно, если бы помешал ему предпринять такие шаги в свою защиту, которые были общим правом всех людей[906].

Вскоре он отправит посланников в Рим, чтобы они решили весь спорный вопрос.

Этот ответ показал римским комиссарам всю беспомощность их положения. Их присутствие в лагере Югурты, вблизи города, в котором находились в заточении царь-клиент и несколько их собственных граждан, само по себе было клеймом на имени Рима. Если бы они молили о встрече с Адербалом, им бы отказали; затягивать переговоры означало навлечь на себя еще большее оскорбление, и они вновь направились в Рим, добросовестно выполнив важную миссию - с точностью до слова повторить послание сената. Югурта оказал им любезность и не возобновлял активных действий до тех пор, пока не решил, что они покинули Африку. Затем, отчаявшись взять город штурмом, он перешел к регулярной осаде. Природа местности должна была сделать невозможной полную инвестиру; но она также делала ее ненужной. Скалы и русло реки затрудняли бегство, как и атаку. С одних сторон нужно было лишь вести напряженное наблюдение за каждым возможным выходом; с других - линии окружения с валами и рвами удерживали осажденных в своих стенах. Осадные башни возводились для того, чтобы сравняться с высотой укреплений, которым они угрожали, и укомплектовывались гарнизонами для преследования города и отражения всех попыток его жителей спастись. Блокада сменялась целым рядом сюрпризов, внезапных нападений днем и ночью; ни один метод силы или мошенничества не оставался неопробованным; верность защитников, появлявшихся на стенах, оспаривалась угрозами или обещаниями; нападавших настойчиво убеждали в необходимости скорейшего вступления.

Похоже, что Цирта была плохо снабжена припасами.[907] Адербал, который сделал ее основой своего нападения и должен был предвидеть вероятность своего поражения, должен был позаботиться о том, чтобы она была хорошо снабжена; а огромные цистерны и зернохранилища, вырубленные в твердой скале, которые в более поздние времена были найдены в городе, должны были обеспечить водой и продовольствием, достаточным для продления осады до такой степени, которая могла бы испытать терпение сената так же сильно, как терпение Югурты. Но ни царь, ни его советники не были адептами военного искусства; должно быть, было трудно регулировать распределение провизии среди торговых

классов, неустроенных привычек и смешанных национальностей, которые толпились в стенах; недовольство не могло быть сдержано дисциплиной и в любой момент могло стать мотивом для сдачи. Заключенный в тюрьму король не видел никаких перспектив затянуть войну, которые могли бы обеспечить даже его личную безопасность; помощи извне ждать было неоткуда, безжалостный враг рвался к его воротам. Его единственная и слабая надежда заключалась в последнем обращении к Риму; но войска захватчиков были расположены так близко, что даже возможность связаться с городом-защитником казалась лишенной шансов. В конце концов, взывая к жалости и скупости, он уговорил двух товарищей, которые присоединились к его бегству с поля боя, рискнуть проникнуть в ряды врага и добраться до моря.[908] Эта затея, предпринятая ночью, удалась; два смелых гонца пробрались через укрепления, быстро добрались до ближайшего порта и оттуда на корабле отправились в Рим. Через несколько дней они оказались в присутствии сената,[909] и отчаянный крик Адербала был зачитан собранию, которому он не мог сообщить ничего нового и на которого не мог возложить дополнительного бремени недоумения. Но эмоции, хотя они и не могут научить, могут сфокусировать мысль и прояснить побуждения интереса. Для многих свободомыслящих людей послание Адербала могло стать первым откровением не только о постыдности, но и о возможной опасности ситуации. Факты были слишком хорошо известны, чтобы требовать подробного рассмотрения. Достаточно было напомнить сенату, что друг и союзник римского народа уже пять месяцев находится в блокаде в собственной столице; выбор был лишь между смертью от меча и смертью от голода. Адербал больше не просил о своем царстве; нет, он едва осмеливался просить о своей жизни; но он отвергал смерть от пыток - участь, которая наверняка постигнет его, если он попадет в руки своего непримиримого врага. Призыв к интересу переплетался с призывом к жалости и чести. Каковы же были конечные мотивы Югурты? Совершив свои преступления и поглотив всю Нумидию, собирался ли он оставаться мирным царем-клиентом, верным вассалом Рима? О его верности и послушании можно судить по тому, как он уже отнесся к мандату и посланникам сената. На карту была поставлена власть Рима в его африканских владениях, и к величию империи апеллировали не меньше, чем к чувствам дружбы, верности и благодарности, как к основанию для немедленной помощи, которая еще может спасти подателя от ужасного и унижительного конца.

Впечатление, произведенное этим призывом, проявилось в более смелой позиции, занятой той частью сената, которая с самого начала считала Югурту преступником на свободе и никогда не одобряла политику предоставления Нумидии самой решать свои дела. Раздавались голоса в пользу немедленной отправки армии в Африку, скорейшей помощи Адгербалу, рассмотрения возможности адекватного наказания Югурты за то, что он не подчинился прямому приказу Рима.[С другой стороны раздались обычные протесты, которые были истолкованы как доказательство полной испорченности тех, кто их произнес,[911] но которые, несомненно, были завуалированы в приличном языке и, возможно, в некоторых случаях были продиктованы искренним духом осторожного империалиста, который предпочитает преступление ошибке. Конфликт мнений привел к обычному компромиссу. Новая комиссия должна была быть отправлена с более решительным посланием от сената; но, поскольку слухи, очевидно, были заняты приключениями "трех молодых людей", которых Югурта повернул назад, было сочтено целесообразным выбрать нынешних посланников из людей, чей возраст, рождение и большие почести могли бы придать вес миссии, которая должна была предотвратить войну.[912] О торжественности этого события свидетельствовал тот факт, что среди уполномоченных был не кто иной, как глава сената Марк Аэмилиус Скавр, бесспорно, самый выдающийся человек Рима,[913] высшее воплощение патрицианского достоинства и пронизательной дипломатии, и, возможно, это создавало определенную уверенность.

Настойчивый призыв посланников Адербала, отвратительные слухи, ходившие в Риме, побудили комиссаров к неожиданной активности. В течение трех дней они были на борту корабля и после короткого перерыва высадились в Утике в Африканской провинции. Опыт предыдущей миссии научил их, что их достоинство может быть полностью утрачено, если они покинут территорию римских владений. Они не решились ступить на землю Нумидии, а отправили Югурту с посланием, в котором сообщали, что у них есть мандат от сената, и приказывали ему со всей скоростью прибыть в римскую провинцию.

На данный момент Югурта разрывался между противоречивыми решениями. Дерзость его поступков сдерживалась и отчасти направлялась тайным страхом перед Римом. Мечтал ли он в минуты честолюбивого воображения сбросить протекторат и утвердить неограниченную независимость Нумидийского царства, остается неясным; но в любом случае это завершение должно относиться к концу, а не к промежуточному этапу его нынешнего предприятия. Его ближайший план заключался в том, чтобы выторговать или купить признание свершившегося факта у бездеятельного, осторожного или коррумпированного правительства; а здесь вмешательство принимало более грозную форму, пока факт был выполнен лишь наполовину, а сам он играл роль мятежника, а не царя. Достоинство уполномоченных и императивный характер их требований, казалось, показывали, что переговоры с Римом теряют характер обычной игры и приобретают более серьезный аспект. Возможно, Югурта не знал всей степени опасности, которой он подвергался; возможно, что, как и многие другие властители, имевшие отношения с императорским городом, он ошибся, вообразив, что сенат является в полном смысле правительством Рима, и не знал о тонких силах, равновесие которых выражалось в формальном контроле со стороны знати; Но даже того, что он увидел, было достаточно, чтобы встревожить его и заставить, в минуту паники или благоразумия, подумать о возможности повиниться приказу. В следующее мгновение новый человек, которого сознательная, но почти неистовая погоня за единственной целью сделала из Югурты, полностью утвердился.[914] Но его страсть не была слепой; его безрассудство все еще скрывало план; его единственным всепоглощающим желанием было увидеть Адербала в своих руках прежде, чем он сам будет вынужден встретиться с посланниками. Он приказал всем своим войскам окружить стены Цирты; одновременный штурм был направлен на каждое уязвимое место; внимание защитников должно было быть отвлечено вездесущим характером атаки; потеря бдительности в любой точке могла дать ему возможность проникнуть в город силой или обманом. Но из этого предприятия ничего не вышло; нападавшие были отбиты, и у Югурты появился еще один момент для спокойного размышления. Вскоре он решил, что дальнейшее промедление не укрепит его положение. Имя Скавра тяготило его.[915] Он был неискушенным в деталях нумидийского дела, но все, что Югурта знал о нем - его влияние в сенате, его бескомпромиссная респектабельность, его прежняя позиция по этому вопросу, - внушало чувство страха. Подчинение требованию комиссаров о его присутствии могло быть более мудрым решением; каков бы ни был результат беседы, такое подчинение могло продлить период переговоров и отсрочить вооруженное вмешательство до тех пор, пока его собственная великая цель не будет достигнута. С несколькими своими рыцарями Югурта переправился в римскую провинцию и предстал перед комиссарами. У нас нет записей о последовавшем обсуждении. Послание сената было почти ультиматумом; оно угрожало крайними мерами, если Югурта не прекратит осаду Цирты; но императивный характер послания не помешал тесному и длительному обсуждению между посланниками и царем. Убедительная личность Югурты, возможно, говорила в его пользу и позволяла надеяться на компромисс; ведь маловероятно, что он решился на резкий отказ от их приказов или советов. Но уполномоченные могли только угрожать или советовать; у них не было власти вырвать у короля обещания или удержать его на них, когда они были даны. Поэтому, когда по окончании дебатов Югурта вернулся в

Нумидию, а посланники отплыли в Утику, со всех сторон чувствовалось, что ничего не достигнуто.[916] Уполномоченные, возможно, считали, что заставили Югурту осознать свои истинные отношения с Римом; возможно, они угрожали открытой войной в случае неповиновения; но они не остановили его продвижение и не остановили его руку; и пятно, которым все дела с богатым монархом заражали его окружение, прилипло даже к этому избранному кругу знатных людей.

Непосредственным результатом бесплодных переговоров стала катастрофа, которую все предвидели. Цирта и ее король были полностью преданы своей покровительницей; и когда весть об отъезде посланников и возвращении Югурты проникла в стены, отчаяние от дальнейшего сопротивления уступило место надежде на возможность сдаться на сносных условиях. Эта надежда никогда не приходила в голову Адербалу: он слишком хорошо знал своего врага. Нумидийские советники и подданные царя также не могли воспринимать ее в очень живой форме. Но нумидийцы не были самым сильным элементом в Цирте. Там господствовало купеческое сословие. Защищая свою собственность и торговлю, организованный бизнес и дома, которые они создали в цивилизованном государстве, они возглавили отпор полчищам западных нумидийцев, которых вел Югурта; и среди купеческого сословия италийцы были наиболее активны и эффективны в отражении нападений осаждающих. Для этих людей выбор стоял не между голодом и мечом, а всего лишь между голодом и потерей имущества или комфорта. Ведь какой римлянин или италиец мог сомневаться в том, что под магическим именем Рима все еще подразумевается самая совершенная безопасность его жизни и личности? Уверенные в своей безопасности, они посоветовали Адербалу отдать город Югурте; единственным условием, которое он должен был поставить, было сохранение его собственной жизни и жизни осажденных; все остальное имело меньшее значение, поскольку их дальнейшая судьба зависела не от Югурты, а от сената.[Сомнительно, чтобы италийцы действительно были воодушевлены этой слепой уверенностью в том, что сенат способен как восстановить, так и спасти; даже их способность спасти была для Адербала более чем сомнительной; еще более бесполезным было обещание, данное его врагом. Несчастный король предпочел бы самое отчаянное сопротивление доверию к чести Югурты; но совет италийцев был равносителен приказу, и проблеск надежды, достаточный хотя бы для того, чтобы не лишиться его жизни, возможно, поддержал его, когда он уступил их желанию и сделал формальную капитуляцию. Надежда, если она и существовала, была немедленно развеяна. Адербал был предан смерти с помощью жестоких пыток.[918] Тогда италийцы получили доказательство того, насколько величественно имя Рима в настоящее время. Их расчеты были искажены одной роковой ошибкой. Они забыли, что впустили в свою крепость измученный народ из самых грубых районов Нумидии - народ, для которого имя Рима было ничто, для которого имя купца или иностранца было презренным и ненавистным. Когда толпа солдат Югурты пронеслась над обреченным городом, истребляя всех совершеннолетних нумидийцев, протестующие купцы не преминули заявить о своей национальности. Если даже нападавшие смогли различить их в безумии победы, они узнали в них людей, занимавших боевую линию, и одного этого факта было достаточно, чтобы обречь их на гибель. Возможно, Югурта также допустил ошибку. Если только не предположить, что его проницательный ум был внезапно затуманен бессмысленной яростью, которая побуждает полуживотное к сиюминутному акту демонического безрассудства, он никогда бы не смог дать волю на убийство римских и италийских купцов.[919] Если он хладнокровно дал волю, то он сознательно вел войну против Рима и провозглашал независимость Нумидии. Ведь даже при его ограниченном знании баланса интересов в столице он должен был видеть, что этот поступок не поддается объяснению. Его истинная политика сейчас, как и раньше, заключалась не в том, чтобы скрестить мечи с Римом, а в том, чтобы вырвать у него признание чисто национального преступления. Его

рассудок подвел его, если он приказал совершить поступок, в результате которого о безразличии и признании не могло быть и речи. Вероятно, он не рассчитал ярости своих войск; возможно, он перестал руководить и был лишь частью лавины, которая насыщала свой гнев на длительное сопротивление и мстила за реальные или выдуманные преступления, совершенные купеческим сословием.

Расправа над купцами полностью изменила отношение к нумидийским событиям в Риме. Торговые классы оказались в полной изоляции, и эта третья партия, определявшая политику Рима, начала сворачивать свои ряды. Равновесие сил, на которое опиралась аристократия после падения Кая Гракха, стало нарушаться. У народного лидера снова появилась возможность заявить о себе, но не потому, что он был лидером народа, а потому, что он возглавлял коалицию. Таким человеком стал Кай Меммий, избранный трибуном на следующий год. Он был оратором, скорее яростным, чем красноречивым, с язвительными высказываниями и славился в судах своей силой нападения[920] Его критический темперамент и острый взгляд на злоупотребления уже привели его в редкие ряды политиков, которые все еще пытались поддерживать здоровое пламя недовольства и время от времени высказывать протест против того, как знатные люди пользуются своим доверием.[921] Его влияние, должно быть, усилилось благодаря растущей подозрительности последних лет и скандалу, питавшемуся рассказами о взяточничестве в высших кругах; оно было подкреплено последними новостями, которые, благодаря нелогичному процессу рассуждений, из которого вырастают великие причины, казалось, делали слухи достоверными и оправдывали подозрения возросшей численностью и респектабельностью подозреваемых. Предлог к действию был найден в неясных и медлительных действиях сената. Даже последняя фаза нумидийского дела не была достаточно мощной и ужасной, чтобы сокрушить все попытки временной политики.[922] По-прежнему находились люди, которые прерывали ход дебатов, обещавших привести к какому-то сильному и быстрому решению, выдвигая контрвыступления, которые громкие имена движущих сил заставляли обратить на себя внимание палаты; использовались все приемы, которые могло применить влияние, чтобы притупить боль уязвленного самоуважения; а когда этот метод не срабатывал, на место аргументов приходили пустые упреки как средство оттянуть время для действий и пройти тот момент, когда гнев остыл бы в безразличие или по крайней мере в эмоцию, не более сильную, чем сожаление. Очевидно, что стимул должен быть получен извне; и Меммий дал его, обратившись прямо к народу и воплотив в бескомпромиссной форме все его подозрения. Он сказал им[923], что затянувшиеся слушания в сенате означают лишь то, что преступление Югурты может быть оправдано благодаря влиянию нескольких ярых приверженцев царя; и, вероятно, он откровенно и в истинно римской манере рассказал о мотивах этой приверженности. Давление было эффективным, чтобы положить конец обсуждениям в сенате. Совет в целом не нуждался в обращении по основному вопросу, поскольку большинство его членов, должно быть, чувствовали, что исчерпали ресурсы мирной дипломатии, и проявили характерное для них отвращение к провоцированию конституционного кризиса, который мог бы легко возникнуть, если бы народ решил объявить войну по предложению магистрата, не дожидаясь совета отцов; в то время как препятствующее меньшинство могло быть встревожено далеким видением суда перед собранием или перед следственной комиссией, состоящей из судей, взятых из разгневанных эквитов. Сенат взял на себя инициативу в официальном объявлении войны; Нумидия была названа одной из провинций, которые должны были быть назначены будущими консулами в соответствии с положениями закона Семпрония. Выбор народа пал на Публия Сципиона Насика и Луция Кальпурния Бестию в качестве консулов на следующий год.[924] Жребий передал Насику домашнее управление и опеку над Италией, а Бестия получил командование в предстоящей войне. Военные приготовления велись со всей

поспешностью; армия была собрана для службы в Африке; жалование и снабжение были утверждены на должном уровне.

Эти новости, как говорят, удивили Югурту.[925] Возможно, более радостные сообщения доходили до него из Рима в те дни, когда казалось, что успешная обструкция достигла своего конца, и притупили страх, который резня в Цирте могла вызвать даже в умах, столь хорошо знакомых с попустительской политикой сената. Однако и теперь он не пал духом, и его мужество не приняло распространенную среди низших типов ума форму простого упования на грубую силу, на ресурсы той Нумидии, бесспорным владыкой которой он теперь был. С упорством, порожденным успешным опытом, он все еще пытался использовать методы дипломатии - методы, которые доказывают отсутствие проницательности только в том смысле, что Рим был невозможной сферой для их применения. Царь не оценил ситуацию в столице, но последующие события доказали, что он все же правильно оценил истинные наклонности людей, которые несли главную ответственность за римскую политику. Нумидийский посланник был не кто иной, как собственный сын царя, и его поддерживали два надежных советника Югурты.[926] Как обычно бывало в случае прибытия дипломатической миссии из страны, которая не имела договорных отношений или фактически находилась в состоянии войны с Римом, посланникам не разрешалось проходить через ворота, пока не будет известна воля сената. Появилась прекрасная возможность доказать, что сенат обратился в свою веру. Когда консул Бестия задал вопрос: "Желает ли дом, чтобы посланники Югурты были приняты в стенах?", то получил твердый ответ: "Если эти посланники не прибыли, чтобы отдать Нумидию и ее царя на абсолютное усмотрение римского народа, они должны пересечь границы Италии в течение десяти дней".[927] Консул передал это сообщение принцу, и он со своими коллегами вернулся из своей бесплодной миссии.

Бестия тем временем был поглощен военным рвением. Его армия была готова, его штаб подобран, и он явно был настроен на серьезное ведение войны. Во многих отношениях он был настолько подходящим человеком, насколько можно было выбрать для этой задачи. Его физическая выносливость и сила интеллекта уже были проверены на войне; он обладал решительностью и прозорливостью настоящего генерала. Но предполагалось, что рак эпохи заразил Бестию и нейтрализовал его великолепные качества.[928] Доказательств того, что он позволил алчности доминировать в своем общественном поведении, действительно нет; но он сильно отклонился бы от духа своего времени, если бы не позволил мыслям о личной выгоде добавить свою долю к радости солдата, впервые оказавшегося в беспрепятственном ведении войны. Для полководцев той эпохи иностранная служба была само собой разумеющимся источником прибыли, а также сферой долга или славы. Для Бестии она должна была стать еще и сферой дипломатии, а дипломатия и прибыль - неловкое сочетание, дающее простор для неверного толкования. Хотя война была в некотором смысле уступкой внешним влияниям, консул не представлял дух, которому поддался сенат. Девятью годами ранее он послужил делу знати, вызвав из ссылки Попилия, а теперь был членом того внутреннего круга правительства, чьи осторожные манипуляции с иностранными делами были завуалированы тайной, которая легко могла вызвать подозрение, поскольку не взывала к интеллекту масс. Насколько важную роль дипломатия должна была сыграть в грядущей войне, показал подбор Бестией своего штаба. Это был практически комитет внутреннего кольца правящей знати,[929] а о том, какое значение придавалось чисто политическому аспекту африканской войны, свидетельствует тот факт, что сам Скаурус соизволил занять место среди легатов полководца. Перед Бестией и его помощниками стояла сложная задача. Они должны были выполнить поручение народа и преследовать Югурту как преступника; они должны были следовать своему собственному убеждению относительно наилучшего

способа избавить Рим от длительной и обременительной войны с целым народом - убеждению, которое могло заставить их признать Югурту царем. Отомстить за честь и в то же время обеспечить мир было, при нынешнем состоянии общественного сознания, почти невыполнимой задачей. Ее серьезность усиливалась еще и тем, что при выборе состава генерального совета определенная часть знати, и без того отмеченная подозрениями, должна была нести полную ответственность за его провал. Эта серьезность, вероятно, была недооценена руководителями экспедиции, которые вряд ли ожидали того дня, когда можно будет сказать, что Бестия выбрал своих легатов с целью скрыть проступки, которые он намеревался совершить под властью их имен[930].

Когда пришло время отправляться, легионы проследовали через Италию в Региум, оттуда были переправлены в Сицилию, а из Сицилии переведены в африканскую провинцию. Это должно было стать основой операций Бестии, и когда он собрал достаточное количество припасов и организовал свои линии связи, он вошел в Нумидию. С поверхностной точки зрения его поход был полностью успешным; было взято большое количество пленных, несколько городов были взяты штурмом.[931] Но характер войны, которую он вел, вскоре стал болезненно очевиден. Это была война с целым народом, а не просто охотничья экспедиция с целью выследить Югурту. Последняя цель могла быть успешно достигнута только при условии получения помощи от дружественных частей Нумидии или соседних держав. Но дружественной части Нумидии не было. Торговый класс был уничтожен, и хотя римляне, по-видимому, восстановили владение Циртой в ранний период войны,[932] маловероятно, что она когда-либо возобновила промышленную жизнь, которая могла бы поставлять деньги и провизию, если не людей; а положение города делало его бесполезным в качестве операционной базы для экспедиций в западную часть Нумидии, из которой черпались основные военные силы Югурты. В этих краях возможного союзника можно было найти в лице Бокха, царя Мавретании; но его недавние предложения Риму были намеренно отвергнуты сенатом. До сих пор римскому народу не было известно ничего, кроме имени этого великого мавританского царя, правившего на территории от Мулукчи до Тингиса; даже близость части его царства к побережью Испании не вступала в дружеские или враждебные отношения с императорским правительством[933].

Бокк обеспечил мир со своим восточным соседом, выдав свою дочь замуж за Югурту; но он никогда не позволял этой семейной связи нарушать его представления о политических интересах и, как только узнал, что Югурте объявлена война, отправил посольство в Рим с просьбой заключить договор с римским народом и признать его одним из друзей Республики.[934] Такое поведение могло быть вызвано убеждением, что победа римлян над Югуртой повлечет за собой уничтожение нумидийской монархии и низведение хотя бы части территории до состояния провинции. В этом случае Мавретания сама станет пограничным царством, играющим роль, которую сейчас занимает Нумидия; и Бокх, возможно, желал иметь какие-то претензии к Риму, прежде чем его восточная граница будет граничить, как и северная, с римской провинцией. Возможно, он даже надеялся извлечь выгоду из военных трофеев, как Масинисса когда-то извлек выгоду из тех, что выпали из Сифакса и Карфагена, и увеличить свои территории за счет своего зятя. Лучшего доказательства истинных намерений правительства в отношении Нумидии, даже после объявления войны, чем отказ сената от предложения Бокха, не найти. Его помощь была бы неоценима со стратегической точки зрения, если бы целью экспедиции было превращение Нумидии в провинцию или даже сокрушение Югурты. Но самой постоянной максимой senatorской политики было недопущение расширения границ, и этот принцип сопровождался решительным отказом вступать в тесные отношения с любой державой, не являвшейся пограничным государством. Такие отношения могли повлечь за собой неудобные обязательства и были несовместимы с

политикой, которая возлагала всю ответственность за оборону границ и пограничные отношения на дружественного принца-клиента. Вопрос о том, требовало ли сохранение традиционной схемы управления в Африке повторного признания Югурты королем Нумидии, был второстепенным; ответ на него полностью зависел от возможности склонить нумидийцев к принятию любого другого монарха.

Должно быть, потребовался лишь краткий опыт войны, чтобы убедить Бестию и его совет в том, что нумидийское царство без признания Югурты царем практически невыносимо, если только Рим не готов вступить в тяжелую и изнурительную войну для постепенного завоевания страны или (что не менее трудно) для обеспечения личности неуловимого монарха, который мог бы использовать все естественные трудности своей страны и найти убежище и готовую помощь в любой части своих владений. Поэтому предварительные подходы Югурты, который вел переговоры, пока сражался, были приняты как консулом, так и Скауром, который неизбежно стал доминировать в дипломатических отношениях войны. То, что Югурта посылал деньги, а также предложения от рук своих посланников, было фактом, впоследствии подтвержденным римским судом, и заслуживает такого доверия, какое можно придать приговору, который был заключительным этапом политической агитации. То, что Бестия был ослеплен алчностью и потерял всякое представление о чести своей и своей страны, что чувство респектабельности и недоверие Скавра к Югурте пали перед золотыми обещаниями царя,[935] было убеждением, широко распространенным и, возможно, универсальным, исповедуемым демократами, которые вскоре громили двери курии - людьми, то есть теми, кто не понимал или чья политика заставляла их исповедовать непонимание проблемы государственного устройства, позорной в некоторых своих аспектах, как обычно бывает с такими проблемами, перед которой стояли полководец и государственный деятель, проводившие узкую и традиционную, но очень внятную линию политики. Политика действительно была достаточно уродливой, даже если бы не было подозрений в личной коррупции; ее уродливость можно проверить тем, что даже сангвиник и циник Югурта с трудом мог поверить в масштабы удачи, открывшейся ему в ходе переговоров. Поначалу его дипломатические маневры были приняты просто как средство задержать ход военных действий, получить передышку, пока он возобновлял свои усилия по влиянию на мнение в императорском городе. Но когда он увидел, что сами агенты войны готовы стать миссионерами мира, что мстители, посланные обиженным народом, готовы к примирению еще до того, как они понесут наказание, он сосредоточил свои усилия на немедленном решении вопроса.[936] Враг римского народа должен был пройти через предварительную стадию унижения, прежде чем его признают другом; в данном случае это было тем более необходимо, что в Риме множество разгневанных людей требовали наказания Югурты. Кроме того, необходимо было разработать план, по которому унижение могло бы быть осуществлено с наименьшими неудобствами для обеих сторон. Перемирие уже было объявлено как необходимое предварительное условие для эффективных переговоров о капитуляции. Это условие мира позволило Югурте лично встретиться с ответственным представителем консула.[937] И царь, и консул находились в тесном контакте друг с другом в северо-западной части римской провинции, и Югурта фактически владел Вагой, городом, расположенным всего в шестидесяти милях к юго-западу от Утики. Город, несмотря на свое географическое положение, был уделом[938] Нумидийского царства, и предложением, под которым Бестия отправил туда своего квестора, было принятие поставок кукурузы, которые потребовал царь в качестве условия перемирия, заключенного консулом. Присутствие квестора в Ваге действительно должно было служить гарантией доброй воли, и, возможно, он рассматривался как заложник для личной безопасности Югурты.[939] Вскоре после этого царь въехал в римский лагерь и был представлен консулу и его совету. Он сказал несколько слов в оправдание враждебных чувств, с которыми его недавний образ действий был

воспринят в Риме, и после этих кратких извинений попросил принять его капитуляцию. Условия, как оказалось, не предназначались для полного состава совета; они предназначались только для личного слуха Бестии и Скавраса.[На следующий день царь снова предстал перед военным советом; консул сделал вид, что хочет узнать мнение своих советников, но ни один ясный вопрос для обсуждения не мог быть поставлен перед советом; ведь суть всего разбирательства, признание права Югурты на сохранение Нумидии, было результатом тайного понимания, а не определенного признания, которое можно было бы огласить на весь мир. Состоялось формальное и неспешное обсуждение, были выяснены мнения по вопросу о капитуляции без какого-либо разграничения многих вопросов, которые она могла бы повлечь за собой, и в конце концов консул смог объявить, что его совет санкционировал принятие покорности Югурты.[941] Совет, однако, счел необходимым дать какое-то видимое доказательство, пусть даже незначительное, того, что капитуляция состоялась; ведь нужно было донести до умов критиков на родине впечатление, что было завоевано какое-то материальное преимущество и что Югурта был унижен. С этой целью от царя потребовали передать что-то римским властям. Он сохранил свою армию, но торжественно передал тридцать слонов, несколько больших стад крупного рогатого скота и лошадей и небольшую сумму денег - имущество, которое, предположительно, было у него под рукой в городе Вага, - на хранение квестору римской армии.[942] Год тем временем подходил к концу, и консул, теперь уже восстановивший мир, отправился из своей провинции в Рим, чтобы председательствовать на выборах магистрата. 943] Армия все еще оставалась в римской провинции или в Нумидии, но прекращение военных действий привело ее в состояние бездействия, что не предвещало ничего хорошего для ее будущей дисциплины, если ее снова призовут на службу.

Само соглашение должно было казаться его авторам триумфом дипломатии. Они добились мира с незначительным ущербом для чести; они избавили Рим от долгой, трудной и дорогостоящей войны, а Югурта при некоторой изобретательности можно было наказать. Они, должно быть, были ошеломлены хором криков, с которым весть о договоре была встречена в Риме.[944] Нельзя назвать и какой-либо одной причины, адекватной самой по себе и не связанной с другими, для этого враждебного чувства. Во-первых, это были досужие сплетни в общественных местах и клубах, которые в нездоровой атмосфере того времени любили раскрывать заинтересованные мотивы, лежавшие, как предполагалось, в основе общественных действий всех людей, и которые выставляли умеренность по отношению к врагу в качестве убедительного доказательства своих подозрений. Во-вторых, это чувство, которое было возбуждено в пролетариате в Риме. Вопрос Югурты, как бы мало они ни понимали его достоинств, все еще оставался для них великим вопросом времени, вопросом, вызывавшим всеобщий интерес и ожидание. Их чувства были растревожены рассказами о его жестокостях, их страхи возбуждены слухами о его силе и намерениях. Они пробудили сенат от летаргии и заставили этот прославленный орган преследовать великого преступника; они видели, как огромная армия выходит из ворот Рима, чтобы исполнить правосудие; их родственники и друзья были подвергнуты неприятным обязанностям призыва. Повсюду пылало пламя патриотизма, и вот теперь это пламя превратилось в тончайший клубок дыма. Но для масс мнимый позор Югуртинской войны теперь стал лишь одним пунктом в обвинительном заключении. Истоки движения теперь были лишь его стимулом; как и в большинстве подобных народных пробуждений, агитация теперь носила совершенно неопределенный характер. Единственным ярким элементом в его составе были воспоминания о недавнем прошлом. Легко было вызвать в памяти ход мыслей, сосредоточенных вокруг двух движений Гракхов и ужасных моментов их катастрофы. Новое движение против сената было, по сути, старым движением в другой форме. Сенат предал интересы народа; теперь он предавал интересы империи; но представить себе, что форма

обвинения, обращенная к народному сознанию, была хоть сколько-нибудь определенной, значит наделить средний ум способностью к анализу, которой он не обладает и, вероятно, не хотел бы обладать. Не так легко оценить отношение коммерческих классов к этому кризису. Их возмущение безнаказанностью Югурты после расправы над купцами в Цирте легко понять; но в этом классе чувства обычно перевешивали соображения интереса, и сохранение мира в Нумидии, а следовательно, и возможностей для торговли, должно было быть целью, которой они больше всего желали. Но, возможно, они чувствовали, что единственный мир, который послужит их целям, будет основан на полном подтверждении римского престижа, и, возможно, они знали, что Югурта, пробудитель национального духа нумидийцев, не проявит дружбы к иностранному торговцу. Они также должны были понимать, что, какими бы ни были перспективы меркантильного класса под властью Югурты, только что заключенная конвенция не может быть долговечной. Их собственные предыдущие действия определили его преходящий характер. Своей поддержкой агитации, разбуженной Меммием, они создали такое состояние чувств, которое не могло удовлетвориться нынешним предполагаемым компромиссом. Но если удовлетворение было невозможно, то продолжение войны было неизбежно. Перед ними открывалась перспектива продолжения неустроенности и незащищенности в плодотворной сфере прибыли; и они намеревались поддерживать нынешнюю агитацию своим влиянием в Комиции и, если потребуется, своими решениями в судах, пока не будет утверждена твердая политика и достигнуто решительное урегулирование.

Еще до того, как буря критики вновь набрала силу, в сенате возникло большое беспокойство по поводу недавних действий в Нумидии. Этот орган, несомненно, мог читать между строк и видеть истинные мотивы политики, которые привели к заключению настоящего договора; они могли видеть, что соглашение было компромиссом между взглядами двух противоположных частей их собственного дома; и они должны были одобрить его в своем сердце в той мере, в какой оно выражало характерное возражение сената в целом против того, чтобы подрывать безопасность их имперской системы, возможно даже подвергать границы их северных владений, которым сейчас угрожают варварские орды, путем ведения ненужной войны в южном протекторате. Но тем не менее они ясно видели неблагоприятные элементы в недавнем ударе дипломатии, сочетание непоследовательности и нечестности, проявившееся в сравнении между великолепными приготовлениями и тщетным результатом - результатом, который, в интерпретации обычного ума, заставлял его авторов казаться коррумпированными, а сенат - смешным. Их беспокойство усиливалось еще и тем, что от них требовалось немедленное решение. Должны ли они были одобрить то, что было сделано, или отказаться ратифицировать решение консула?[945]

Последний вариант сам по себе был крайним шагом, но он еще более усложнялся тем, что все знали, что Бестия никогда бы не решился на такой шаг, если бы не пользовался поддержкой Скавра. 946] Принять решение, которое должно было быть истолковано как вотум недоверия Скавру, означало сместить главу администрации, отказаться от своего самого умелого защитника, возможно, пригласить к успешным атакам лидеров другого лагеря, которые ждали первого ложного шага мощного и хитрого организатора. Как и в случае с падением Цирты, дебаты в сенате затянулись, и возникла перспектива отложить вопрос на неопределенное время - результат, который, когда народное волнение утихло, означал бы согласие с существующим положением вещей. И снова стимул к более быстрому принятию решения был дан Меммием. Лидер агитации теперь был облечен трибунством, и его положение давало ему возможность беспрепятственно общаться с народом. Его

Contiones были главной темой дня,[947] а кульминацией этих популярных обращений стало увещание, с которым он обратился к толпе после возвращения несчастного Бестии. Его речь[948] показывает, что Меммий был одновременно и продуктом, и автором того общего характера, который теперь приобрела эта долго продолжавшаяся агитация по особому вопросу. Появилась прекрасная возможность заново подчеркнуть фундаментальные различия интересов знати и народа, проанализировать поведение правящего класса в его непрерывном развитии в течение последних двадцати лет,[949] указать на плачевные последствия бесконтрольной власти, безответственности и безнаказанности. Для того чтобы придать обращению достоинство и авторитет, которые проистекают из далеких исторических аллюзий, скрасить прозаическое настоящее блеском полумифического прошлого, даже польстить слушателям, внушив им, что они потомки и наследники людей, отделившихся на Авентине, народному оратору было необходимо затронуть великую эпоху борьбы между орденами. Но Меммий, удовлетворяя условиям своего искусства введением этой темы, использует ее только для того, чтобы показать контраст между эпохой, когда свобода была завоевана, и той, когда она была потеряна, или проиллюстрировать бесполезность таких героических методов, как старые сецессии, в качестве оружия против дворянства, подобного нынешнему, которое мчится сломя голову к своей собственной гибели. Более важными были воспоминания о тех последних годах, когда жизнь народа и его поборников стала игрушкой узкой олигархии. Судебные убийства, последовавшие за свержением Гракхов, дух презренного терпения, с которым они были приняты и перенесены, были символом абсолютной безнаказанности олигархии, источником их уверенности в том, что они могут использовать свою власть по своему усмотрению. И как же они ею пользовались? Общая классификация их преступлений была бы ошибочной; можно было бы представить шкалу вины по возрастающей. Они всегда охотились за содружеством; но их ранние преступления можно было переносить молча. Их прежними жертвами были союзники и зависимые от Рима люди; они отбирали доходы у королей и свободных народов, грабили государственную казну. Но они еще не начали выставлять на продажу безопасность империи и самого Рима. Теперь наступил этот последний и чудовищный этап. Власть сената, власть, которую народ делегировал своему магистрату, была предана опаснейшим врагам; не удовлетворившись тем, что союзники Рима считались его врагами, аристократы теперь считали его врагов союзниками.[950] В чем же секрет бесконтрольной власти, бесстыдного безразличия к мнению, сделавшего возможными такие злодеяния? Отчасти в терпимости народа - терпимости, которая была результатом самозванства, заставлявшего плохо добытые предметы грабежа - консульства, жречество, триумфы - казаться доказательством заслуг. Но главным образом в том, что сотрудничество в преступлении было возведено в достоинство системы, обеспечивающей безопасность преступника. Солидарность дворянства, его оторванность от народных интересов были главным источником его силы. Она перестала быть даже партией; она превратилась в клику - просто фракцию, чья общность надежд, интересов и страхов придала ей нынешнее положение непомерной силы.[951] Эта сила, проистекавшая из совершенного единства замыслов и действий, могла быть встречена и успешно сломлена только народом, охваченным общим энтузиазмом. Но какую форму должен принять этот энтузиазм? Должен ли советник народа выступать за насильственное восстановление его прав, за применение силы для наказания людей, предавших свою страну? Нет! Акты насилия действительно могут быть достойной наградой за их поведение, но они недостойные инструменты для справедливой мести возмущенного народа. Все, чего мы требуем, - это полного расследования и огласки. Тайны недавних переговоров должны быть раскрыты. Свидетелем должен выступить сам Джугурта. Если он сдался римскому народу, как нам говорят, то он немедленно подчинится вашим приказам; если же он презрит ваши приказы, то вы получите возможность узнать истинную природу

того мира и той покорности, которые принесли Югурте безнаказанность за его преступления, узкому кругу олигархов - значительное увеличение их богатства, государству - наследие потерь и позора".

Именно на этой счастливо выстроенной дилемме действовал Меммий, вынося на суд народа свое положительное предложение. Оно заключалось в том, чтобы послать к Югурте претора Луция Кассия Лонгина и привезти его в Рим под честное слово, данное государством; откровения Югурты должны были стать ключом, с помощью которого можно было бы открыть тайную комнату недавних переговоров и уличить Скавра и всех остальных, чьи контакты с нумидийским царем, будь то в ходе последних или прошлых сделок,[952] наводили на мысль об их порочности. Целью этой миссии было быстрое восстановление полного контроля над Нумидией, который на мгновение пошатнулся в результате римского вторжения.

Присутствие римской армии, часть которой все еще стояла в некоторых его владениях, не сдерживало его активности; отсутствие командующего, неспособность и нечестность делегатов, которых он оставил вместо себя, и деморализующая леность рядового состава привели войска в состояние ниже, чем просто неэффективность или отсутствие дисциплины.

Желание извлечь выгоду из сложившейся ситуации пронизывало все классы. Слоны, переданные Югуртой, были таинственным образом возвращены; нумидийцы, выступившие на стороне Рима и дезертировавшие из армии царя - лоялисты, которых, независимо от их мотивов и характера, Рим обязан был защищать, - были возвращены царю за определенную плату;[953] уже умиротворенные районы были разграблены деспотичными отрядами солдат. Римская власть в Нумидии была полностью сломлена, когда Кассий прибыл и открыл царю свою миссию. Странная просьба встревожила бы робкого или невежественного правителя; сам Югурта на мгновение засомневался, стоит ли ему безоговорочно отдавать себя во власть враждебного народа; Но у него было достаточно воображения и знакомства с римской жизнью, чтобы понять, что принципы международной чести, преобладавшие среди деспотических монархий, не были принципами великой Республики даже на ее нынешнем этапе, и он признался, что его ободрили слова любезного претора о том, что "раз уж он бросил себя на милость римского народа, ему лучше взывать к его жалости, чем бросать вызов его могуществу".[954] Его проводник добавил свое собственное слово чести к слову Республики, и такова была репутация Кассия, что это заверение помогло устранить минутные сомнения царя. Как только он убедился в личной безопасности, визит Югурты в Рим стал просто вопросом политики, и его быстрый ум должен был проанализировать все вопросы, зависящие от его согласия или отказа, прежде чем он решился на столь сомнительный шаг. Его реальный план действий, к сожалению, неизвестен; ведь мы располагаем лишь самыми скудными сведениями об этих событиях, и у нас нет информации о действительно важном моменте - дошли ли до него сообщения от его сторонников в столице, которые позволили ему предсказать, как будут развиваться события, если он подчинится вызову Кассия. Если бы такие сообщения дошли до него, он мог бы знать, что предполагаемое расследование окажется безрезультатным. Но неудача в том, ради чего он был вызван, не могла принести никакой пользы ни Югурте, ни его сторонникам; она лишь раззадорила бы народ и поставила бы и царя, и его друзей из числа знати в худшее положение, чем прежде.

Последовательность действий, поочередно угрюмая, взбалмошная и дерзкая, которой он придерживался в Риме, должна была быть обусловлена требованиями момента и неистовыми побуждениями его испуганных друзей; ведь вряд ли расчетливому уму могло прийти в голову, что эта процедура приведет к плодотворным результатам. Ее несомненным итогом была война, но ее можно было получить, не прибегая к путешествию в Рим. Ему оставалось только оставаться на месте и отклонить просьбу народа, и эта политика пассивного сопротивления имела бы еще одно достоинство - сохранить его достоинство как царя. Может показаться странным, что он так и не принял смелый, но простой план -

выступить в Риме и рассказать всю правду или хотя бы ту ее часть, которая могла бы удовлетворить народ. Такой план действий мог бы обеспечить ему корону. Несомненно, если бы его сделки с римскими чиновниками были невинными, в правду, если бы он ее придерживался, не поверили бы; но если бы его свидетельства были проклятыми, народ вполне мог бы отвлечься от незначительного вопроса "Кто должен стать царем Нумидии?" к высшей задаче - наказать предателей, которых он обличал. Но мы не имеем права читать характер Югурты в свете единственного мотива - корысти, не знавшей угрызений совести. У него могли быть свои представления о чести и защите, полагающейся благодетелю или доверенному лицу. Корысть также могла прийти на помощь чувствам; ведь, по крайней мере, было возможно, что народная буря могла израсходовать свою ярость и оставить дворянство на прежнем месте. Насколько мы можем судить по нашим несовершенным знаниям, у Югурты не могло быть определенного плана действий, когда он согласился отправиться в Рим. Но у него были широкие перспективы, если даже он не имел никакого плана. Его присутствие в столице было несомненным преимуществом, поскольку позволяло ему посоветоваться со своими ведущими сторонниками и заняться вопросом, затрагивающим его династические интересы, который, как мы вскоре увидим, возбуждал разрушительную энергию, становившуюся привычной для его ревнивого и нетерпеливого ума.

Когда Югурта появился в Риме под руководством Кассия, он отбросил все эмблемы суверенитета и принял жалкое одеяние, подобающее молящему о милости государя[955]. Он, казалось, прибыл не как свидетель обвинения, а как подозреваемый преступник, выступающий в свою защиту. Он все еще продолжал играть роль человека, которого военная судьба бросила в полную власть государства-завоевателя - роль, возможно, предложенную дружелюбным Кассием, но вполне согласующуюся с притязаниями Бестии и Скавра. Но сердце под этим жалким одеянием билось надеждой, и вскоре он был ободрен сообщениями из круга своих друзей в Риме и извещен о средствах, которые были приняты, чтобы помешать угрожающему расследованию[956]. Кай Баэбий - так звали человека, который был готов сыграть столь привычную для практики конституции роль защитника правительства от необоснованных посягательств на его власть и достоинство или от чрезмерных действий народных лидеров. У правительства, несомненно, были аргументы. Это противоречило всем представлениям о порядке и приличиях, что защищенный царь должен быть использован в качестве политического инструмента буйным трибуном. Меммий никого не обвинял и не предупреждал о публичном суде, однако он намеревался вывести Югурту перед собранием народа и попросить его очернить имена самых выдающихся людей Рима. Было весьма вероятно, что гротескное представление приведет к нарушению мира; чем скорее оно будет прекращено, тем лучше; и хотя, к сожалению, невозможно было помешать Меммию начать драму, выведя вперед своего главного героя, закон, к счастью, предусмотрел средства для прекращения представления до того, как достигнет кульминации. Считалось, что здравые конституционные взгляды Баэбия были подкреплены большой ценой, заплаченной Югуртой,[957] и, если верить еще одному из тех обвинений в коррупции, множество которых не утомляло даже легко утомленный ум живого римлянина, можно представить, что замешанные в этом члены сената, в интересах которых Баэбий действовал гораздо больше, чем в интересах Югурты, убедили царя, что ему выгодно сделать этот подарок.

Наступил долгожданный день, когда жаждущие скандалов уши народа должны были быть до отказа забиты беззакониями своих правителей, когда их давно вынашиваемые подозрения должны были смениться приятной ожидаемой уверенностью. Меммий созвал своего Контио и представил короля. Даже умиротворяющее одеяние Югурты не спасло его от вопля негодования. С трибуны, куда его привел трибун, он смотрел на море разгневанных лиц и

угрожающих рук, а уши его были оглушены ревом яростных голосов: одни кричали, что его следует заключить в узы, другие - что он должен подвергнуться смерти предателя, если не раскроет соучастников своих преступлений.[Меммий, опасаясь за достоинство своего необычного процесса, который был омрачен этой бешеной вспышкой, приложил все свои усилия, чтобы обеспечить порядок и терпеливое слушание, и в конце концов добился того, что толпа замолчала - молчание, которое, возможно, ознаменовало тот психологический момент, когда сдерживаемые чувства нашли свое полное выражение, а страсть уступила место любопытству. Трибун также решительно заявил о своем намерении сохранить в неприкосновенности безопасное поведение, которое было даровано государством. Затем он вывел короля вперед[959] и начал перечислять список его деяний. Он не пощадил его; его преступная деятельность в Риме и Нумидии, надругательства над его семьей - вся история этой карьеры, как она продолжала жить в умах демократов, была полностью пересказана. В завершение рассказа, который он принял за правду, он попросил сообщить важные детали, которым не хватало полного подтверждения. "Хотя римский народ понимал, с чьей помощью и по чьему указанию все это было сделано, он все же желал, чтобы его подозрения были окончательно подтверждены царем. Если он откроет правду, то сможет в изобилии надеяться на честь и милосердие римского народа; если же он откажется говорить, то ничем не поможет сообщникам своей вины, а своим молчанием погубит и себя, и свое будущее". Меммий остановился и попросил царя ответить; Баэбий выступил вперед и приказал царю молчать.[960] Голос Югурты мог обрести законную силу только по воле магистрата, который повелевал; он был заглушен запретом коллеги, который запрещал. Народ находился перед лицом одного из тех жестоких ограничений собственной свободы, к которым так часто приводила ревность магистратуры, выраженная в конституционных творениях их предков. Баэбий был немедленно подвергнут террору, которому когда-то противостоял Октавий, его предшественник в трибунском постоянстве. Разъяренная толпа хмурилась, кричала, рвалась к трибуналу и использовала все возможные способы, кроме личного нападения, чтобы сломить дух человека, воспротивившегося их воле. Но решимость - или, как говорили его враги, бесстыдство[961] - Баэбия взяла верх. Толпа, обманутая в своих надеждах, растаяла с Форума в мрачном недовольстве. Возможно, они слишком долго жили в безопасности, чтобы осознать опасность, грозящую разочарованной толпе, которая могла бы собраться с лучшей целью в другой день; которая получила от оскорбительной сцены подтверждение своих взглядов, без смягчающего влияния, которое оказывает полностью удовлетворенное любопытство; которая, будучи собранием суверенного народа, могла в любой момент отомстить за последнее оскорбление, нанесенное ее достоинству.

Югурта, возможно, не по своей вине, сильно испытывал терпение народа в том единственном случае, когда он, как исповедуемый проситель, вступил в контакт со своим государем. Теперь ему предстояло по собственной инициативе испытать его еще раз, причем испытать таким образом, который вызвал ужас и негодование многих, кто не разделял взглядов Меммия. Царь был не единственным представителем дома Масиниссы, которого можно было встретить в Риме. В городе проживал, как беглец от власти, его двоюродный брат Массива, сын Гулусса и внук Масиниссы. Неизвестно, почему этот отпрыск царского дома был обойден вниманием при регулировании престолонаследия, хотя легко понять, что Миципса, имея двух собственных сыновей, мог не пожелать увеличить число соправителей Нумидии, признав наследников своего брата, и не сделал бы этого, если бы обстоятельства не вынудили его усыновить Югурту. Во время ранней борьбы между тремя царями Массива примкнул к партии Гиёмпсала и Адербала, чем навлек на себя вражду Югурты; однако он продолжал жить в Нумидии до тех пор, пока оставалась надежда на сохранение двойного царствования. Падение Цирты и смерть Адербала заставили его найти убежище в Риме, где он продолжал жить в мире, пока судьба внезапно не сделала его пешкой в политической

игре. Наконец среди знати возникла определенная часть, которая сочла своим интересом оказать активное противодействие притязаниям Югурты. Консулами, сменившими Бестию и Насика, стали Спурий Альбин и Квинт Минуций Руф. Последний получил провинцию Македонию и защиту северо-восточной границы; первому досталась Нумидия и ведение дел в Африке. Тот факт, что сенат объявил Нумидию консульской провинцией еще до конца предыдущего года, был видимым доказательством того, что они уступили давлению Меммия и по крайней мере номинально отказались от умиротворения, достигнутого Бестией и Скауром. Но отказ от этого соглашения, похоже, так и не был официально объявлен; оставалась возможность признания претензий Югурты и возложения на наместника Нумидии бесславной обязанности проследить за восстановлением царя, а затем эвакуировать его территорию. Такая скромная роль совсем не соответствовала взглядам Альбина. Он желал настоящего командования и настоящей войны, но ее было нелегко вести, пока Югурта был единственным кандидатом на поле боя. Даже если бы его капитуляция считалась фиктивной и война возобновилась на этом основании, было бы трудно определить ее конечную цель, поскольку сенат не имел намерения сделать Нумидию провинцией. Но цель, которая сделала бы войну живой реальностью, могла быть обеспечена, если бы на нумидийскую корону был выдвинут претендент; и такого претендента Альбин искал в отпрыске рода Масиниссы, проживавшем сейчас в Риме, чье рождение давало ему больше наследственных прав, чем самому Югурте. Консул обратился к Массиве и призвал его сделать дело из одиозности и страхов, навеянных преступлениями Югурты, и обратиться к сенату с просьбой о получении Нумидийского царства.[963] Принц ухватился за это предложение, прошение было подготовлено, и это новое и неожиданное движение начало давать о себе знать. Страх и гнев Югурты усилились от внезапного открытия, что его друзья в Риме почти бессильны ему помочь. Они не могли решить принципиальный вопрос, когда речь шла о людях; царство в Нумидии было легче защитить, чем его царя; каждый акт помощи, который они оказывали, погружал их в трясину подозрений; это было время, когда нужно было идти осторожно, ибо те, у кого не было судьи в собственной совести, нашли его под пристальным вниманием враждебного мира. Но опасность была слишком велика, чтобы Югурта мог ослабить свои усилия из-за неудач своих друзей. Он обратился к своим собственным ресурсам, которые заключались в пассивном повиновении его ближайших помощников и силе его кошелька. Бомилькару, своему самому доверенному слуге, он поручил сделать последнее усилие с золотом, которое уже так много сделало. Можно нанять людей, которые будут поджидать Массиву. Если возможно, все должно было быть сделано тайно. Если же секретность невозможна, нумидийца все равно придется убить. Его смерть была достойна любого риска. Бомилькар быстро приступил к выполнению своей миссии. Группа наемных шпионов следила за каждым движением Массивы. Они узнавали, в какие часы он уходит и возвращается в свой дом, какие места посещает, в какое время наносит визиты. Когда наступил подходящий час, Бомилькар устроил засаду. Тщательно продуманные меры предосторожности оказались напрасными; убийца, нанеший роковой удар, не был искусен в тайных убийствах. Едва Массива упал, как была объявлена тревога и убийца схвачен.[964] Люди, заинтересованные в жизни Массивы, были слишком многочисленны и велики, чтобы это деяние могло опуститься до уровня обычных уличных безобразий или чтобы убийца, пойманный с поличным, считался единственным автором преступления. Консул Альбинус, в числе прочих, заставил убийцу раскрыть подстрекателя, а сенат, должно быть, пообещал иммунитет, который иногда давали преступнику, назвавшему своих сообщников. Этот человек назвал имя Бомилькара, после чего ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве, и он был передан в руки уголовного суда. Даже этот шаг был сделан с большими колебаниями, поскольку было признано, что конспиративная защита Югурты распространялась и на его свиту.[965] Король и его двор, строго говоря, были

экстерриториальны, и по строгой букве международного права Бомилькар должен был предстать перед судом своего государя. Но было сочтено, что отступление от обычаев - меньшее зло, чем позволить такому злодеянию остаться безнаказанным, и легче было удовлетворить народную совесть, признав Бомилькара виновным, чем возложить ответственность за преступление на человека, которого все называли его главным виновником. Сам Югурта некоторое время был склонен согласиться с этой точкой зрения; он считал суд над своим любимцем неизбежным и предоставил пятьдесят своих знакомых, готовых внести залог за явку обвиняемого. Но размышления убедили его, что жертва была излишней; его имя не могло быть спасено гибелью Бомилькара, и никакое влияние или богатство не могло создать даже притворной веры в его собственную невиновность. Его положение в Риме было подорвано, и это заставляло его с еще большим рвением рассматривать вопрос о своем положении короля Нумидии. Если Бомилькар будет принесен в жертву, его бессилие защитить главного члена своей свиты может поколебать верность его собственных подданных.[966] Поэтому он тайно вывез своего обвиняемого пажа из Рима и тайно доставил его в Нумидию. Это, пожалуй, самое мягкое и извинительное из всех вероломных деяний Югурты, несмотря на неловкое положение, в котором он оставил пятьдесят ценных бумаг, было последним из неприятных инцидентов, которые наложились на его короткое пребывание в Риме. Его присутствие, должно быть, раздражало всех. Он утомил своих друзей, не послужил целям лидера оппозиции и вызвал в сенате воспоминания и предчувствия, которые они хотели забыть. Когда этот орган приказал ему покинуть Италию, он, должно быть, выразил желание всех сословий. Уже через несколько дней после исчезновения Бомилькара король сам покидал ворота. Говорят, что он часто оборачивался и долго молча смотрел на далекий город, и наконец у него вырвались слова: "Город, выставленный на продажу и созревший для разорения, если только найдется покупатель!" [967]

Уход Югурты означал возобновление войны. Договор, заключенный с Бестией и Скауром, был молчаливо, если не формально, отменен сенатом, и выдумка о том, что Югурта сдался, хотя и сыграла свою роль в переговорах, которые привели его в Рим, исчезла вместе с договором. Однако, поскольку право Югурты на удержание Нумидии, которое являлось предосудительным элементом позднего соглашения, скорее подразумевалось, чем выражалось, могло показаться возможным принять мнение, что капитуляция Югурты была безоговорочной, и что война теперь была преследованием беглого пленника Рима. Такая концепция была абсолютно бесполезна с точки зрения большинства практических трудностей задачи; ведь независимо от того, был ли Югурта врагом или мятежником, обеспечить его безопасность было одинаково трудно; но она могла оказать значительное влияние на принципы, на которых теперь должна была вестись нумидийская война, и мы обнаружим со стороны Рима растущее нежелание предоставить Югурте преимущества тех правил цивилизованной войны, которые она обычно исповедовала, скрупулезно соблюдая букву, если не дух. Цель войны, в силу своей простоты, была необычайно труднодостижима. Она была ни больше, ни меньше, чем захват личности Югурты. В Нумидии не было ни общего правительства, ни единства, кроме тех, что олицетворял ее царь, и завоевание отдельных частей страны было бы почти бесполезным, пока царь не был бы обеспечен. Надежда на появление соперника, признание которого Римом могло бы позволить организации идти в ногу с завоеваниями, исчезла с убийством Массивы,[968] хотя весьма сомнительно, что даже имя сына воинственного Гулусса могло оттолкнуть военную силу Нумидии от монарха, который будоражил боевой дух нации и считался воплощением ее самых мужественных традиций. Перспективы консула Альбина, нового организатора войны с римской стороны, действительно были нерадужными, и они еще более ухудшались тем, что значительная часть года его пребывания в должности уже истекла, и события его кампании

должны были по необходимости уложиться в несколько оставшихся месяцев лета и начала осени. Если бы в римских полководцах присутствовал дух самопожертвования или преемственность в римской военной политике, Альбин мог бы поставить перед собой полезную задачу организовать победу для своих преемников; однако его нельзя полностью винить за надежду, дику и глупую, как кажется, нанести какой-то решающий удар в отведенное ему короткое время.[969] Военные действия войны на этом этапе становятся почти полностью подчинены политическим соображениям. Сенат и консулы были выбиты из колеи и вынуждены действовать с катастрофической быстротой или поверхностностью под влиянием растущего прилива негодования, оживлявшего и коммунистов, и капиталистов; к чувству, что для удовлетворения общественного мнения должно быть сделано что-то решительное, добавилось более низкое, но очень человеческое соображение, что генерал должен казаться достигшим какого-то успеха, если он надеется, что его командование будет продлено еще на год. Сенат, правда, мог иметь достаточно проницательности, чтобы понять, что успех в войне, подобной нумидийской, не может оцениваться по блеску достигнутых результатов; но как они могли отстаивать свой вердикт перед народом, если не могли указать на подвиги, которые ослепили бы народный глаз? Но хотя лихорадочная политика казалась самым надежным способом спастись от подозрений общественности или бесславной отставки, у нее был свой особый враг, о котором Альбинус, казалось, на данный момент даже не подозревал. Закончить войну в короткие сроки означало закончить ее любыми средствами, которые попадутся под руку. Но если разительная победа не отдаст Югурту в руки завоевателя - а даже самая блистательная победа не подразумевала в условиях войны пленения побежденного, - какие средства оставались, кроме переговоров и добровольной сдачи короля?[970] К таким средствам прибег Бестия, и теперь все знали, с каким результатом. Политика поспешности могла породить больше подозрений и горечи, чем самое неторопливое ведение кампании.

Альбин быстро, но в достаточном количестве подготовил припасы, деньги и военное снаряжение и поспешил к месту предполагаемых успехов. Армия, которую он нашел, должна была находиться в жалком состоянии, если судить по тому, в каком состоянии она была в последний раз; но его твердое намерение добиться чего-то, несмотря ни на что, должно было сделать невозможной адекватную реорганизацию, и он вышел на поле против Югурты с силами, чья полная деморализация вскоре должна была подвергнуться страшному испытанию. Война сразу же приняла тот характер неудачной охоты, сменяемой нерешительными схватками и бесплодными победами, который она должна была сохранить даже под руководством самых способных людей, которых мог предоставить Рим. Югурта придерживался неизбежного плана длительной и безрезультатной кампании на обширной территории; размеры и физический характер его королевства, необычайная подвижность его войск, доверчивость и беспокойное честолюбие его противника - все это были элементы силы, которые он использовал с непревзойденным мастерством. Он отступал перед угрожающей колонной; затем, чтобы его люди не падали духом, с поразительной внезапностью бросался на врага; иной раз он насмехался над консулом надеждами на мир, вступал в переговоры о капитуляции и, обезоружив противника надеждами, вдруг отступал в притворном доступа недоверия. Тщетность усилий Альбина была настолько очевидна - тщетность, еще более впечатляющая от интенсивности его приготовлений и чрезмерного стремления выйти на поле боя, - что люди, не знавшие условий кампании, снова начали шептаться о постоянном подозрении в сговоре с царем.[971] Этого подозрения не смог бы избежать даже полководец, отказавшийся от переговоров; но положение Альбина ухудшилось из-за его неудачных попыток играть с мастером ремесла, и именно с репутацией, сильно ослабленной с военной и слегка пострадавшей с моральной точки зрения, он завершил кампанию, отправил свою армию в зимние покои и отправился в Рим,

чтобы председательствовать на собрании народных избранников.[Комиции для назначения консулов и преторов в это время проводились во второй половине года, но не регулярно, время их созыва зависело от удобства председательствующего консула и его свободы от других, более неотложных дел.[973] Альбин мог прибыть в Рим поздней осенью. Если бы ему удалось закончить дела и вернуться в Африку на последний месяц или два года, его ведение войны можно было бы считать неэффективным, но не катастрофическим, а сенат был бы избавлен от проблемы, более страшной, чем любая другая, возникшая в результате отношений с Югуртой. Ведь Альбин, хотя и был сангвиником и непрактичным, кажется, был достаточно благоразумен, и он мог бы передать армию, неудачную, но не опозоренную, и набравшую сил после долгих зимних стоянок, на попечение более удачливого преемника. Но случилось так, что все государственные ведомства Рима ощущали напряжение, вызванное небольшим конституционным кризисом, возникшим среди магистратов плебса. Внезапное возрождение народных чаяний, несомненно, привело к тому, что некоторые из его лидеров стали проявлять не совсем обоснованные амбиции, и теперь трибунат стал центром волнения, которое было слабым аналогом заключительных сцен борьбы в Гракханах. Два человека, занимавшие этот пост, Публий Лукулл и Луций Анний, пытались добиться переизбрания еще на один год. Их коллеги сопротивлялись их попыткам, вероятно, на том основании, что условия, необходимые для переизбрания, отсутствовали, и этот конфликт не только помешал завершить назначение плебейских магистратов, но и затормозил ход других выборных комиций.[Трибуны, как те, кто стремился к перевыборам, так и те, кто пытался их предотвратить, либо объявляли *justitium*, либо угрожали наложить вето на каждую попытку народного магистрата провести избирательное собрание; следствием этой тупиковой ситуации стало то, что к концу года[975] не было создано ни одной новой магистратуры, а консул Альбин все еще отсутствовал в своей африканской команде.

К сожалению, отсутствие проконсула, поскольку Альбин теперь не назначил преемника, не мешало сдерживать предприимчивость армии. Теперь она находилась под властью Аула Альбина, которому его брат передал командование провинцией и войсками на время своего пребывания в Риме. Стимул, побудивший Аулуса к действию, неизвестен. Возможно, неожиданная продолжительность его временного командования приобщила его к власти, стимулировала его несомненную уверенность в себе и дала надежду на то, что одним из тех неожиданных ударов, которыми полны анналы стратегического гения, он сможет искупить репутацию своего брата и завоевать для себя вечную славу. Другие полагали, что в основе его предприятия лежал вечно подозреваемый мотив корысти, что у него не было определенного плана завоевания, но он намеревался с помощью ужаса военной демонстрации вымогать деньги у Югурты.[976] Если последнее мнение верно, то возможно, что Аулус считал, что действует в интересах как своей армии, так и себя самого. Долгие зимние каникулы могли свидетельствовать о недостатке жалованья и провианта, а если Югурта покупал безопасность округа, то его неприкосновенность была бы слишком публичным событием, чтобы командующий атакующими войсками мог прикарманить весь выкуп.

В январе, в самом сердце суровой зимы, Аулус созвал свои войска из безопасных кварталов в долгий и утомительный поход. Его целью был Сутол, сильно укрепленный пост на реке Убус, почти в сорока милях к югу от Гиппо Регия и моря, и на таком небольшом расстоянии от более крупного и известного города Калама, современной Гельмы, что последнее название иногда использовалось для описания места последующих инцидентов.[977] Нам не сообщают, где находились зимние кварталы, из которых начался поход; но неэффективность предыдущей кампании и осторожность Альбина, который не хотел, чтобы его легионы сражались во время его отсутствия, могут заставить нас предположить, что войска были расквартированы в

римской провинции или поблизости от нее; В этом случае Аулус мог двинуться по долине Баградаса, чтобы достичь намеченной цели, к которой, наконец, можно было подойти с юга через узкое пространство между двумя грядами холмов, самый западный из которых на северном конце венчали укрепления Сутула. По слухам, это был главный город-сокровищница Югурты; если бы Аулус смог захватить его или даже договориться с царем о его безопасности, он мог бы подорвать ресурсы нумидийского монарха и получить огромное богатство для себя и своей армии. Путем долгих и утомительных маршей он добрался до объекта своей атаки, чтобы с первого взгляда обнаружить, что он неприступен - даже, как мог бы заметить солдатский глаз, инвестиция в это место совершенно невозможна[978]. Сверху возвышались городские стены, стоящие на обрывистой скале; внизу лежала аллювиальная равнина, которую проливные дожди нумидийской зимы превратили в болото жидкой грязи. И все же Аулус, то ли ослепленный видением золота, скрытого в крепости, на достижение которой он затратил столько труда, то ли смутно представляя, что притворство в инвестициях может встревожить царя и заставить его пойти на условия защиты своих кладов, начал формальные приготовления к осаде, подносил мантии, намечал линии обхода,[979] чтобы обмануть врага, если он не мог обмануть себя, в убеждении, что условия делают возможным нападение на Сутул.

Нет нужды говорить, что Югурта знал возможности своего города-сокровища гораздо лучше, чем его нападавший. Но простое устройство Аулуса как нельзя лучше соответствовало его планам. Скромные послания вскоре достигли лагеря легата; депеши каждого следующего посланника усиливали его иллюзии и разжигали пустые надежды. Движения самого Югурты стали свидетельствовать о состоянии крайнего ужаса. Не желая идти на помощь своему городу, которому угрожала опасность, он уводил свои силы все дальше и дальше в самую труднодоступную местность, где только мог найти, повсюду покидая открытую местность ради укрытых мест и горных троп. Наконец издавек он начал питать определенные надежды на соглашение с Аулуcom. Но заключить его нужно было лично и наедине. Равнина вокруг Сутула была слишком людным местом; пусть легат последует за царем в пустыню, и все будет улажено. Легат продвигался вперед, пока царь отступал; но на каждом шагу трудного марша нумидийские шпионы вились вокруг римской колонны. Отвращение солдат к лишениям, которым они подвергались в погоне за этим призрачным золотом, последнее свидетельство которого исчезло, когда их командир отвернулся от стен Сутула, теперь привело к ужасающей деморализации. Низшие офицеры, центурионы и командиры конных эскадронов, украдкой покидали лагерь, чтобы пообщаться со шпионами Югурты; некоторые продали себя, чтобы дезертировать в нумидийскую армию, другие - чтобы покинуть свой пост по сигналу. Наконец сетка была подготовлена. В одну темную ночь, в час первого сна, когда меньше всего ожидаешь нападения, лагерь Аулуca был внезапно окружен нумидийцами. Неожданность была полной. Римские солдаты, потрясенные внезапным шумом, были совершенно ошеломлены. Одни хватались за оружие, другие трусились в своих палатках, третьи пытались навести порядок среди своих охваченных ужасом товарищей. Но нигде не было ни настоящей позиции, ни настоящей дисциплины. Чернота ночи и тяжелые тучи не позволяли разглядеть численность врага, а размеры нумидийского войска, большие сами по себе, возможно, были увеличены испуганным воображением. Трудно было сказать, на чьей стороне большая опасность. Что безопаснее - бежать в темноту и в неизвестную засаду или не сдаваться и встретить приближающегося врага? К неожиданности вскоре добавилось зло заранее подготовленного предательства. Больше всего дезертиров было среди вспомогательных войск. Когорта лигурийской пехоты и два эскадрона фракийской кавалерии дезертировали к королю. Их примеру последовала лишь горстка легионеров, но роковой акт измены совершил римский центурион первого ранга. Он пропустил нумидийцев через пост, который ему было поручено защищать, и через этот вход они хлынули во все

части лагеря. Паника была полной; большинство римлян побросали оружие и бежали от резни во временное убежище на соседнем холме. Ранний час, в который было совершено нападение, не позволил организовать эффективное преследование, ведь впереди была еще целая ночь; к тому же нумидийцы были заняты разграблением лагеря. Рассвет показал безнадежность положения римлян и заставил Аулуса пойти на любые условия, которые Югурта готов был предоставить. Последний перешел на язык гуманной снисходительности. Он заявил, что, хотя римская армия находится в его власти, став жертвой голода или меча, он не забывает об изменчивости человеческой судьбы и готов сохранить жизнь всем своим пленникам, если римский полководец заключит с ним договор[980] Армия должна была перейти под иго; римляне должны были эвакуироваться из Нумидии в течение десяти дней. Унизительные условия были приняты: армия, насчитывавшая до своего поражения сорок тысяч человек,[981] перешла под копье, символизировавшее их покорность и позор, и в Нумидии воцарился мир - мир, лишенный элемента стыда, продиктованный царем-клиентом государю, который указом наложил на него наказание.

Римская публика настолько свыклась с позором, что привыкла представлять его себе даже тогда, когда его не было; но унижение, проявившееся в реальном бедствии такого колоссального масштаба, было достаточно новым, чтобы вызвать у людей глубочайшую скорбь и страх.[Для людей, которые думали только об империи, ее слава казалась погашенной страшным ударом; но многие массы, которые ничего не знали о войне или об отношениях Рима с народами за морями, были охвачены слишком личным страхом, чтобы позволить своим мыслям остановиться только на потере чести. Для другого класса, чьи знания освобождали их от такого пустого ужаса, армия казалась больше, чем империя. Рим еще не научился воевать с наемниками, и люди, прошедшие службу, составляли значительный элемент римского пролетариата. Такие ветераны, особенно те, чья репутация на войне могла придать их словам дополнительный смысл, безмерно осуждали поведение Аулуса. У генерала в руках был меч, но единственным средством спасения он считал позорную капитуляцию. Ни с одной стороны не было слышно ни слова в защиту действий несчастного полководца. Благословения жен и детей тех, кого спас договор Аулуса, если и выдыхались, то под тяжестью патриотических поношений.

Чувство незащищенности, должно быть, усугублялось тем, что у государства по-прежнему не было официального главы, а в африканских зависимых территориях не было губернатора, которому можно было бы доверять. Год, должно быть, начался с *междоусобиц*, поскольку 1 января не было избрано ни одного консула, который бы принял на себя управление государством; Нумидия снова стала сенатским декретом консульской провинцией; но поскольку не было консула, который бы принял на себя управление, Альбин по-прежнему командовал африканской армией.[983] Бывший консул был вынужден поднять в сенате вопрос о ратификации договора своего брата. Даже он сам не смог бы попытаться отстоять его; его доминирующим чувством было непреодолимое ощущение груза незаслуженного бесчестья, под которым он находился, сдобренное опасением, что может последовать в русле всеобщей немилости, с которой относились к нему и его брату. Действия, которые он предпринял еще до того, как стало известно мнение сената, свидетельствовали о том, что он считал продолжение войны неизбежным. Он успокоил свой разум и попытался восстановить свой авторитет, с лихорадочной энергией продолжая военные приготовления; дополнительные призывы в африканскую армию были собраны с граждан; вспомогательные когорты были затребованы у латинян и итальянских союзников. Пока эти меры осуществлялись, миру было представлено решение сената. Это было решение, основанное на часто повторяемой максиме, что ни один законный договор не может быть заключен без согласия сената и народа.[984] Это было решение, напоминающее о временах Нумантии или

о более отдаленной истории Каудинских вил; но формальное жертвоприношение, которое последовало за этими знаменитыми случаями нарушения договора и, как считалось, оправдывало их, больше не считалось достойным соблюдения, и Аурус не был отдан на месть или милость врага, с которым он невольно нарушил веру. Это общее признание договора недействительным могло быть результатом вывода, сделанного из особых обстоятельств, предшествовавших возобновлению войны, - обстоятельств, которые, как мы видели, могли быть извращены, чтобы поддержать мнение, что Югурта не был независимым врагом Рима и, следовательно, не имел всех прав воюющей стороны.

Решение сената оставило Альбину свободу действий и возможность использовать новые военные силы, которые он так усердно готовил. Но неожиданное препятствие пришло с другой стороны. Некоторые трибуны высказали небезосновательное мнение, что полководцу с послужным списком Альбина нельзя позволять подвергать последние ресурсы Рима опасности уничтожения. Если бы они хотели, чтобы он оставался командиром, их позиция была бы неоправданной; но, запретив ему брать новобранцев в Африку,[985] они просто оставили их для более достойного преемника. Альбин, однако, намеревался извлечь максимум пользы из своего ограниченного пребывания в должности. Ему нужно было отомстить за свою честь и честь брата, и уже через несколько дней после постановления сената, разрешившего возобновить войну, он отплыл в Африку, где вся армия, выведенная из Нумидии в соответствии с договором, стояла на зимних стоянках. Некоторое время горячее желание очистить свое имя заставляло его не замечать недостатков своих сил; он думал только о преследовании Югурты, о каком-нибудь энергичном ударе, который мог бы стереть пятно с чести его семьи. Но суровые факты вскоре восстановили равновесие его благоразумной от природы души. Худшая черта армии заключалась не в том, что она была разбита, а в том, что ею не командовали. Дисциплина была настолько слабой, что вольности и поблажки истощили ее боевую мощь. Тирания обстоятельств требовала мирного пребывания в провинции, и Альбин смирился с неизбежным.

Тем временем в Риме движение за расследование, приостановленное на время сотрудничеством Югурты и его друзей-сенаторов, а также препятствиями со стороны Баэбия, возобновилось с большей интенсивностью и обещанием успеха. Для того чтобы возродить его к новой жизни, не понадобилась катастрофа Ауруса. Эта катастрофа, несомненно, ускорила его ход и придала ему беспринципную основательность, которой в противном случае могло бы не хватить; но само движение, возможно, приобрело определенную форму за месяц до того, как стал известен результат эксперимента Ауруса в Нумидии, и было естественным результатом чувства обиды, которое породил заговор молчания. Теперь оно приняло точную и законную форму требования о создании комиссии, которая должна была провести расследование, вынести решение и наказать виновных. Вожди народа задумали смелый и оригинальный план - вырвать из рук сената и направить против его персоны мощное оружие, с помощью которого этот орган так часто обрушивал на беспомощный пролетариат эпидемии преступлений или беспорядков. До этого времени специальные комиссии либо создавались при сотрудничестве сената и народа, либо, с сомнительной законностью, учреждались только сенатом. Комиции, которые иногда были консулами, иногда преторами, возможно, всегда, но точно в новейшей истории, судили без апелляции; и в судебных расследованиях, которые последовали за падением Гракхов, народ не имел права голоса ни при назначении судьи, ни при ратификации приговора, который он выносил. Теперь сенат в целом должен был остаться без голоса; Его не просили проявить инициативу в создании суда, наказания определялись без учета его мнения, и хотя председатели,

естественно, выбирались из членов сенатского ордена, если они вообще выбирались из известных людей, эти председатели должны были быть лишь формальными руководителями процесса, как претор, заседавший в суде, который рассматривал дела о вымогательстве, а приговор должен был выноситься судьями, вдохновленными преобладающим чувством враждебности к преступлениям чиновничьего класса.

Кай Мамиллий Лиметан, который предложил и, вероятно, помог составить этот законопроект, был трибуном, принадлежавшим к коллегии, которая, возможно, вступила в должность в конце декабря месяца, предшествовавшего недавнему бедствию в Нумидии. Законопроект, обнародование которого, вероятно, было одним из первых актов его трибуната, предлагал "провести расследование поведения всех тех лиц, чьи советы заставили Югурту пренебречь постановлениями сената, кто брал деньги у царя как члены комиций или как носители военных команд, кто передавал ему боевых слонов и дезертиров из его армии; наконец, всех, кто заключал соглашения с врагами государства по вопросам мира или войны".[986] Всеобъемлющий характер грозившего расследования посеял ужас в рядах подозреваемых. Паника не была признаком вины; партийная война должна была вестись самым неприкрытым партийным оружием, и простое членство в подозреваемой фракции вызывало страх, почти столь же острый, как и тот, который возбуждался сознанием вины. Возникла перспектива грубого и готового правосудия, где доказательства могли опираться на предвзятость, а приговоры считались заранее предрешенными. Горечь ситуации усиливалась невозможностью открытого сопротивления мерам; ведь такое сопротивление означало бы нежелание подчиниться следствию, а такой отказ, недобросовестный сам по себе, закрепил бы подозрения и был бы принят как признание в проступках, не выдерживающих света расследования. Когда против них выступал городской пролетариат, представители аристократии, которым грозила опасность, могли рассчитывать лишь на тайное противодействие своих сторонников и на ту умеренную помощь, которую обеспечивало дружеское отношение, вызванное их недавними аграрными мерами у латинян и итальянских союзников.[987] Но последняя поддержка была скорее моральной, чем материальной, а если и становилась действенной, то могла обеспечить ее лишь обманным путем. Союзников, которых сенат изгнал из Рима законом Пенния, очевидно, должны были пригласить наводнить *консистории* и поднять крики протеста против угрожающего обвинения. Но этот прием мог быть успешным только на предварительных этапах агитации. У латинян было мало голосов, у итальянцев - ни одного, и если бы они прибегли к персонификации, то вряд ли смогли бы укрыться от бдительности враждебно настроенных председателей трибунского собрания, а если бы их не заметили, то они были бы достаточно сильны, чтобы перевесить чашу весов в пользу аристократии. Ведь единодушная оппозиция, с которой дворяне теперь сталкивались в гражданском корпусе, была почти беспримерной. Различия интересов, которые иногда разделяли сельских и городских избирателей, теперь, кажется, были забыты. Трибунам не составляло труда поддерживать агитацию до лихорадочного накала, и ее постоянство было столь же заметно, как и интенсивность. Толпы, которые приветствовали предложение, были достаточно серьезны, чтобы остаться в Риме и проголосовать за него; акцент, с которым массы, собравшиеся на заключительном собрании, "приказали, постановили и завещали" меру, представленную на их одобрение, был истолкован (возможно, справедливо) как крик триумфального неповиновения знати, а не как пылкое выражение бескорыстной любви к государству.[988] Эти два чувства действительно смешались; но имперские чувства чаще всего возбуждаются опасностью; а люди, совершившие зло, являются конкретным элементом ситуации, реакция против которой вызвала экзальтацию, скрывающую месть и ненависть под именами патриотизма и справедливости.

Когда мера была принята, оставалось назначить комиссаров. Это также должно было быть сделано путем народного голосования, и никогда, пожалуй, влияние привычки на народное сознание не проявлялось более ярко, чем когда Скаурус, которого считали трепещущим преступником, был избран судьей.[989] Большое личное влияние, которым он, несомненно, обладал в народе, должно быть, осталось непоколебимым из-за скандалов против его имени; но размышления среди всех классов, что любое дело будет неполным, если не обеспечить сотрудничество главы государства, были, возможно, еще более мощным фактором в его избрании. Никогда не было более великолепного свидетельства, данного государственному деятелю, и оно сопровождало или готовило путь к величайшей из всех почестей, которые было в силах оказать Комиции, - контролю над нравами, который Скаурус должен был осуществлять в том же году в качестве цензора.[990] Присутствие почтенного государственного деятеля среди трех комиссаров, созданных по мамелианскому закону, не могло, однако, оказывать контролирующее влияние на решения специального трибунала. Такое влияние было предусмотрено самой структурой новых судов. Три комиссара должны были не судить, а только председательствовать; ведь при создании этой комиссии был сделан новый шаг - она была создана по образцу вновь учрежденных постоянных судов, и судьи, которые выносили бесконтрольный и окончательный вердикт, были людьми, отобранными по тем же критериям, что и присяжные Гракхана, и, возможно, взяты из списка, уже существовавшего для рассмотрения дел о вымогательстве. Таким образом, рыцари были выбраны в качестве проводника народного негодования, и результат оправдал этот выбор. Нетерпение затрудненной торговли, а возможно, и оскорбленное чувство респектабельности, без жалости обрушилось на преданные головы некоторых из самых гордых лидеров фракции, которая так долго управляла судьбами государства. Ускоренное вынесение решений, вероятно, было обеспечено разделением комиссаров на три суда, каждый из которых имел свою коллегию *судей* и все действовали одновременно. Еще более эффективно это было обеспечено способом, с помощью которого заслушивались, проверялись и принимались доказательства, а также скандальной быстротой, с которой выносились решения. На суды влияли все случайные слухи, их колебали необузданные капризы общественного мнения. Ни один здравомыслящий демократ не мог в будущем притворяться, что рассматривает Мамелиеву комиссию иначе, чем оскорбление имени правосудия; философскому уму казалось, что внезапный поворот колеса фортуны принес в массы то же опьянение чувством необузданной власти, которое еще мгновение назад было позором знати.[991] Старый счет был сведен, когда был осужден Луций Опимий, автор падения Кая Гракха. Еще три имени завершили историю жертв, прославившихся благодаря владению консульскими *фасками*. Луций Бестия был осужден за заключение мрачного договора с Югуртой, хотя его советник Скавр был возведен в коллегию. Спурий Альбин пал жертвой собственной осторожности и ошибки своего слишком предприимчивого брата; осторожность, как предполагается, была куплена золотом Югурты, а отсутствующий проконсул, возможно, был привлечен к ответственности за опрометчивость или коварство своего некомпетентного легата, который, похоже, сам не подвергался нападкам. Кай Порций Катон выходил из облаков недавнего осуждения за вымогательство, но почувствовал на себе тяжесть более сокрушительного приговора, который заставил его искать убежища на испанской земле. Кай Сульпиций Гальба, хотя и не занимал доминирующего положения в светской жизни государства, был выдающимся членом религиозной иерархии; но даже памятная речь, произнесенная им в свою защиту, не спасла его от того, чтобы стать первым священнослужителем, осужденным в уголовном суде Рима[992].

Нам неизвестно число преступников, раскрытых мамелианскими судами, и, возможно, сохранились лишь имена их наиболее выдающихся жертв. Однако мирское положение этих жертв могло спасти других, менее значимых, а достоинство жертвоприношения могло

рассматриваться в удачном свете компенсации за его ограниченность. Целью народа и его нынешних агентов, рыцарей, насколько можно судить о рациональной цели в таком карнавале ярости и мести, было преподать суровый урок правящему классу. Их цель была достигнута, когда урок был преподан. В их намерения, как и в намерения Кая Гракха, не входило узурпировать административные функции правительства или пытаться вырвать руководство внешней администрацией из рук сената. Возможно, время для такого шага наступит еще не скоро, но пока и низшие, и средние классы остановились как раз в той точке, где деструктивная энергия могла бы уступить место созидательной. Вожди народа, возможно, чувствовали полное отсутствие организации, необходимой для детального управления, а подходящий человек, который мог бы заменить аппарат, еще не был найден; в то время как на рыцарей, помимо этих убеждений, могло повлиять свойственное им нежелание доводить народное движение до крайности, которая вывела бы его из-под руководства среднего класса.

Сенат действительно усвоил урок, и с этого времени история нумидийской войны упрощается тем, что ее ход определялся стратегическими, а не политическими соображениями. Не было и мысли о временном сотрудничестве с врагом; единственная идея - привести его к состоянию абсолютного подчинения - подчинения, которое, как было известно, может быть обеспечено только за счет овладения его личностью. Правда, ведение кампании стало более чем когда-либо партийным вопросом; но партийная борьба почти полностью зависела от военных заслуг командира, отправленного на место действия, и хотя существовало подозрение, что война затягивается без необходимости для удовлетворения личных амбиций, не было и намека на тайное действие влияний, которые были полностью коррумпированы. Такие подозрения были исключены благодаря личности человека, который теперь взял на себя руководство кампанией. Запоздало избранными консулами на этот год стали Квинт Цецилий Метелл и Марк Юний Силан. Из них Метелл должен был держать Нумидию, а Силан - Галлию.[993] Возможно, что в советах предыдущего года соображения, связанные с нумидийской кампанией, в какой-то степени определили избрание Метелла; сенат мог приветствовать кандидатуру человека с хорошей репутацией, хотя и не с хорошими военными навыками, чтобы исключить возможность нового скандала; и народ, возможно, в том же духе теперь одобрил его избрание. Но если вспомнить почти механическую систему продвижения на высшие должности, которая преобладала в это время, то вполне возможно, что день Метелла уже настал, что сенат был скорее удачлив, чем прозорлив в выборе слуги, и что, хотя народ в своем нынешнем нраве, вероятно, отверг бы подозрительного персонажа, он скорее принял, чем выбрал Метелла. Существующая система не позволяла даже избрать человека, который бы непременно вел африканскую войну; и если предположить, что в данном конкретном случае раздел консульских провинций не зависел от безошибочного использования жребия, а был решен по соглашению или путем шуточной сортировки,[994] то выбор должен был определяться скорее честностью, чем гением Метелла, поскольку Силану была поручена задача гораздо более важная для благосостояния Рима и Италии.

Репутация Метелла основывалась на том, что, будучи аристократом и стойким защитником привилегий своего ордена, он был честен в своих побуждениях и, по крайней мере в том, что касалось гражданской политики, прямолинеен в своих методах. Рим достигал той стадии, когда драматическая честность эллинских летописей, примером которой служили имена Аристеиды или Ксенократа, могла использоваться как мера для возвышения одного члена правительства среди его собратьев; неподкупность, которая так недавно была общим достоянием всех,[995] стала монополией немногих, и Метелл был свидетелем глупости касты, не признававшей политики честности. О том, с какой полнотой может быть завоеван

приз за характер, свидетельствует отношение к нему присяжных, перед которыми он предстал по обвинению в вымогательстве. Даже ревнивые *экви́ты* не соизволили взглянуть на предъявленные книги счетов, а сразу же вынесли оправдательный приговор.[996] Но не только отрицательная добродетель - неподвластность грубому развращающему влиянию - могла быть единственным источником той благосклонной репутации, которой Метелл пользовался среди масс. Это был лишь один из признаков самодостаточной прямо́ты, спокойствия и любезности, которыми отличались лучшие представители новой знати, жизни, в которой было так много, что не нужно было хвататься за большее, защитного импульса и великодушия, которые в более чистых умах, зажатых консервативными предрассудками, являются результатом убеждения в том, что между классами лежит непреодолимая пропасть. Благородство Метелла было полностью в его пользу; оно оправдывало сенат и гипнотизировало народ. Человек, который сейчас был консулом и, возможно, через некоторое время присоединит к своему имени имя покоренной национальности, всего лишь выполнял уготованную его роду судьбу. Метелл мог указать отца, брата, дядю и четырех двоюродных братьев, все они занимали должность консула. С середины II века титулы, взятые от трех покоренных народов, стали нарицательными для ветвей его рода. Его дядя получил имя от Македонии, двоюродный брат - от балиаров, его собственный старший брат - от далматинцев. Оставалось выяснить, сможет ли самый любимый представитель этой благосклонной расы добавить к фамилии внушительный титул Нумидикус.

Метелл был человеком умным и энергичным, а также с характером,[997] и он показал себя достаточно свободным от предрассудков своей касты и достаточно осознающим серьезность предстоящей работы, чтобы выбрать в качестве своих лейтенантов настоящих солдат, а не дипломатов или декоративных воинов. Если сдержанность Мариуса и оставила после себя тревожные воспоминания, то они были благоразумно забыты консулом, который вытащил *протеже* своей семьи из некомфортной атмосферы города, чтобы оказать услуги в поле, и научить честолюбивого и несколько озлобленного человека, что каждый акт мастерства и галантности совершается во славу его начальника. Другим его легатом был Публий Рутилий Руф, который, как и Марий, занимал преторский пост и был не только человеком с известной честностью и твердостью характера, но и ученым тактиком с оригинальными идеями, которые вскоре пришлось испытать на практике при реорганизации армии, последовавшей за Нумидийской войной. На данный момент нужно было создавать, а не реорганизовывать армию, и у Метелла в его спешке не было времени на потворство оригинальным взглядам. Отчеты о войсках, расквартированных в Африканской провинции, не внушали оптимизма, и нужно было принять все меры, чтобы найти новых солдат и свежие припасы. Энергичный сбор был с радостью воспринят энтузиазмом общества; сенат продемонстрировал свою серьезность, проголосовав за выделение значительных сумм на покупку оружия, лошадей, осадных орудий и магазинов. Латиняне и италийские союзники обратились за новой помощью и добровольно ее оказали, а подвластные цари доказали свою лояльность, прислав вспомогательные войска по собственной воле.[998] Когда Метелл счел свои приготовления законченными, он отплыл в свою провинцию, преисполненный самых смелых надежд. Это были надежды, основанные на честности одного человека; ведь все еще преобладало впечатление, что римское оружие непобедимо и его победили только новые пороки римского характера. Такие надежды не всегда являются лучшим предзнаменованием для полководца; радуя в настоящем, они могут обернуться неприятностями в ближайшем будущем.

ГЛАВА VII

Задержка с назначением на должность консула и длительное время, необходимое для сбора дополнительных войск и их снабжения, лишили Метелла нескольких лучших месяцев в году, когда он ступал на африканскую землю; но его терпение должно было подвергнуться новому испытанию, поскольку самый беглый осмотр того, что было армией проконсула Альбина, показал невозможность выступить на поле в течение значительного времени.[999] То, что он слышал, не соответствовало тому, что он видел. Военный дух исчез вместе с дисциплиной, и единственными его остатками были склонность к грабежу мирных подданных провинции и привычка перебрасываться словами с вышестоящими офицерами. Лагерь, созданный Аулусом для своей избитой армии, почти никогда не перемещался, за исключением тех случаев, когда по санитарным соображениям или из-за нехватки фуража короткая миграция становилась неизбежной. Он приобрел характер крайне беспорядочного города, жителям которого ничего не оставалось делать, кроме как торговать в поисках мелких жизненных благ, наслаждаться ими, когда они были обеспечены, а в те времена, когда денег и благ не хватало, разбредаться группами по окрестностям, совершать хищнические набеги на окрестные поля и виллы и возвращаться с военными трофеями, будь то звери или рабы, согнанные в стада перед ними. Торговец, идущий по следам разбойника, был привычной фигурой в лагере; его можно было встретить повсюду, обменивая свое иностранное вино и другие товары, которыми он торговал, на добычу, вырванную у провинциалов. Поскольку дисциплина была мертва и не было врага, которого следовало бояться, даже самые обычные военные меры предосторожности перестали соблюдаться. Валы рушились, регулярное назначение и помощь дозорным были отменены, а простой солдат отлучался из роты так часто и так надолго, как ему вздумается.

Метеллу пришлось решать задачу, которая стояла перед Сципионом в Нумантии. Он выполнил ее столь же эффективно и, возможно, с большей мягкостью; ведь самой необычной чертой методов, с помощью которых он восстанавливал дисциплину, было то, что он избегал любых попыток терроризма.[1000] Умеренность и сдержанность, завоевавшие сердца граждан, действовали даже на дезорганизованный сброд, который он переделывал в армию. Привычки к повиновению с готовностью возобновлялись, когда звучал голос настоящего командира, и путь к их возобновлению был подготовлен правилами, отменявшими все стимулы к роскошной праздности, которые он находил распространенными в лагере. Продажа готовой пищи была запрещена, лагерные последователи были сметены, и ни одному рядовому солдату не разрешалось пользоваться рабами или тягловой скотиной, будь то в каюте или на марше. Затем последовали другие подобные указы, и началась работа по активному обучению. Каждый день лагерь разбивали и снова разбивали после марша по пересеченной местности; формировали валы и рвы, расставляли пикеты, как будто враг был совсем рядом, а генерал и штаб совершали обход, чтобы убедиться, что соблюдены все меры предосторожности настоящей войны. На маршевой линии Метелл был повсюду: то в фургоне, то в арьергарде, то в центральной колонне. Его глаз оценивал каждую диспозицию и выявлял каждое отступление от правил; он следил за тем, чтобы каждый солдат держался своей линии, чтобы он занимал подобающее ему место в шеренге, собравшейся вокруг штандарта, чтобы он нес соответствующее бремя пищи и оружия. Метелл предпочитал устранение возможностей для порока мстительному наказанию порочных; его мудрые и умеренные меры привели к здоровому состоянию души и тела без потери самоуважения, и через некоторое время у него была армия, сильная как физически, так и морально, которую он теперь мог смело двинуть против врага.

Югурта не проявлял склонности к активным действиям против разбитой римской армии даже после того, как узнал о расторжении договора с Аулуcom и узнал о возобновлении войны. Жалкое состояние войск в африканской провинции, о котором он, должно быть, прекрасно знал, представляло собой заманчивый объект для нападения, и внезапный рейд через границы мог позволить ему уничтожить последние остатки римской военной мощи в Африке. Но сейчас он, как и прежде, не хотел доводить дело до крайности, он отказывался выступать в роли агрессивного врага римской державы; а дать повод для войны, которая могла закончиться только его собственным исчезновением, означало бы отказаться от шансов на компромисс, которые ему все еще предоставляло его собственное положение царя-клиента и возможности, пусть и уменьшенные, работать на страхах или коварстве членов римской администрации. Его сила заключалась в оборонительных операциях неувимого типа, а не в нападении; менее культурные и доступные части его собственной страны представляли собой лучшее поле для неспешной и затяжной войны, и он, похоже, все еще рассчитывал на компромисс, к которому усталость от бесполезной борьбы могла со временем пригласить его врагов. Возможно, он даже знал о затруднениях Республики в других частях света и полагал, что и нежелание Рима вступать в борьбу, и ее нетерпение, когда она вступала, увидеть ее быстрое завершение, в какой-то степени объяснялись чувством, что африканская война отвлечет ресурсы, которые были так необходимы для защиты ее европейских владений.

Уверенность царя в слабости и половинчатости римской администрации, как говорят, была значительно поколеблена известием о том, что Метелл стал командующим.[1001] Во время своего пребывания в Риме он, возможно, слышал о нем как о будущем консуле; во всяком случае, он узнал о весьма необычных основах, на которых зиждилось влияние Метелла среди его коллег и народа, и, к своему огорчению, понял, что они были незыблемы. Позднее новости из провинции были не менее удручающими. Новый полководец был не только честен, но и эффективен, а разбитые силы Рима вновь обретали стабильность, которая так часто заменяла или изживала усилия гениев. Чтобы противостоять этому сочетанию невинности и силы, требовались деликатные меры, и Югурта начал разбрасывать щупальца дипломатии. Впечатление, которое он должен был произвести и действительно произвел на историка, оставившего нам самые полные сведения о войне, было искренним желанием добиться капитуляции, которая больше не должна была быть фиктивной, и почти безоговорочно броситься на милость римского народа.[1002] Но Югурта имел привычку в начале переговоров демонстрировать самое широкое доверие, основанное на чувстве собственной беспомощности, а затем, казалось, позволять своим страхам взять верх над уверенностью. Он был психологом-экспериментатором, который питал радужные надежды, полагая, что возбужденная жажда будет в конце концов удовлетворена меньшим, чем первоначальное предложение, а физическое и психическое отступление тем временем отвлечет жертву от военных приготовлений или подтолкнет ее к неосторожным действиям. Должно быть, именно в таком духе он атаковал Метелла предложениями, настолько экстремальными в своей скромности, что их добросовестность должна была вызвать подозрение у любого ума, где невинность не подразумевала простоту характера, как, возможно, надеялся Югурта в случае с этим новым типом римского чиновника. Нумидийские посланники обещали абсолютную покорность; даже корона должна была быть сдана, и они оговаривали только жизнь царя и его детей.[1003] Метелл, убедившись в несбыточности обещания, сопоставил свое собственное предательство с вероломством царя. Он без малейших колебаний последовал примеру сената и счел Югурту недостойным самых элементарных прав воюющей стороны. Полагая, что он достаточно насмотрелся на нумидийцев, чтобы убедиться, что в их поведении нет ни принципов чести, ни постоянства, и что их переменчивое воображение может попасть под влияние самого нового проекта, сулящего надежду на возбуждение или выгоду,[1004] он начал в тайных беседах с каждым

отдельным посланником подтасовывать его верность царю. Объекты его бесед не отвергали эти предположения и принимали готовность внимать, что располагало к дальнейшим доверительным беседам. Возможно, в этих тонких умах такая позиция означала непоколебимую преданность своему господину, но Метелл истолковал ее в свете своих собственных желаний и стал обнадеживать каждого из посланников, что Югурта будет передан в его руки; он предпочел бы получить царя живым, но, если это невозможно, будет вознагражден за выдачу его мертвого тела. Затем он публично изложил послание, которое, по его мнению, может быть приемлемым для их повелителя. Вполне вероятно, что частные диалоги, как и публичное послание, были донесены до слуха Югурты посланцами, у которых теперь были беспрецедентные возможности доказать свою верность, и каждый из которых мог попытаться показать, что его преданность выше, чем у его товарищей; стимулы к откровенности, конечно, были предоставлены Метеллом; но эта откровенность могла быть сама по себе ценной для римского полководца. Она должна была доказать Югурте, что перед ним решительный и беспринципный человек, который стремится только к его поимке и с которым дальнейшие переговоры были бы пустой тратой времени.

Через несколько дней Метелл вошел в Нумидию с армией, шедшей со всей бдительностью, которой требует враждебная территория, и подготовленной с отточенной тщательностью организации к неожиданностям, которые готовил враг. Сюрпризы, которые его ожидали, были необычного характера.[1005] Мрачно одетая колонна пробиралась по земле, которая производила впечатление мира, безопасности и комфорта. Уверенный в себе крестьянин находился в своей усадьбе или обрабатывал землю, скот пасся на лугах; когда достигали открытой деревни или укрепленного города, армию встречал староста или губернатор, представлявший короля. Этот услужливый чиновник был полностью в распоряжении римского полководца; он был готов снабжать армию кукурузой или накапливать припасы на любой базе, которую мог выбрать полководец; любой его приказ выполнялся неукоснительно. Но бдительность Метелла ни на минуту не ослабела после этого бескровного триумфа. Он воспринял демонстративное подчинение как первый этап засады и продолжал осторожно продвигаться вперед, как будто враг навис над его флангом. Линия его марша охранялась так же ревностно, как и раньше, разведчики по-прежнему скакали за границу, чтобы осмотреть и доложить о безопасности маршрута. Сам генерал возглавлял фургон, состоявший из когорт в легком походном порядке и отборного отряда пращников и лучников; Марий с основной массой конницы прикрывал тыл, а оба фланга защищали эскадроны вспомогательных лошадей, предоставленных в распоряжение трибунов, командовавших легионами, и префектов, командовавших подразделениями союзных контингентов. К этим эскадронам примешивались легковооруженные отряды, призванные отражать внезапные атаки мобильной нумидийской кавалерии. Каждый шаг вперед внушал новые опасения по поводу стратегической хитрости и знания местности Югуртой; где бы ни находился царь, его тонкое влияние угнетало нарушителя границ любой части его владений, и самая мирная сцена представлялась тревожному взору римского полководца чреватой самыми страшными опасностями войны.

Маршрут, по которому двинулся Метелл, возможно, был привычной линией продвижения из римской провинции, вниз по долине Баградаса. Но прежде чем следовать по верхнему течению этой реки в сердце Нумидии, он счел необходимым отклониться к северу и обезопасить свои коммуникации, захватив и гарнизонировав город Вага, самый важный из восточных городов Югурты. Благодаря своему расположению у границ римской провинции он был самым крупным из нумидийских рыночных городов, и когда-то здесь жили и промышляли многочисленные италийские торговцы.[1006] Можно предположить, что к этому времени купцы покинули небезопасное местоположение, и внешняя торговля города сошла

на нет; однако и местоположение города, и характер его жителей привлекли внимание Метелла. Последние, как и восточные нумидийцы в целом, были восприимчивым и трудолюбивым народом, который знал о выгодах, которые мир и контакты с Римом приносят торговле, и поэтому мог быть склонен отказаться от верности Югурте. Это место было подходящей базой для поставок и, если его должным образом защитить, могло снова привлечь торговцев. Поэтому Метелл разместил в городе гарнизон, приказал хранить в его стенах кукурузу и другие необходимые товары и увидел в скоплении купеческого сословия обещание постоянного снабжения своих войск и опору для поддержания римского влияния в Нумидии, когда работа по умиротворению будет завершена. Небольшая задержка была использована Югуртой в его характерной манере. Захват одного из важнейших городов дал повод или предлог для новых ужасов. К Метеллу с новыми мольбами потянулись посланники; мира добивались любой ценой, лишь бы не жизнью царя и его детей; все остальное должно было быть сдано. Консул по-прежнему придерживался своего заветного плана - подтасовать верность посланников и отправить их домой с туманными обещаниями. Он не хотел лишать Югурту всякой надежды на компромисс. Возможно, он считал, что парализует усилия царя, продолжая неуклонно наступать, и обращает любимое оружие врага против него самого. Возможно, он даже тешил себя надеждой, что посланники, оказавшиеся такими легкомысленными предателями, найдут способ искупить свои обещания.[1007] Но, если только он не совершил кардинальной ошибки, неверно истолковав или недооценив своего противника, эти надежды могли быть лишь второстепенными. Он должен был понимать, что проникнуть в Западную Нумидию без серьезного сражения или хотя бы без попыток Югурты затруднить его поход или перерезать коммуникации - событие, недостижимое для чисто человеческих устремлений.

Со своей стороны, Югурта разработал план сопротивления, продуманный до мельчайших деталей. Место, где должна была быть предпринята попытка, было посещено, и его военные особенности были оценены во всех отношениях; события, которые должны были сменять друг друга в течение нескольких коротких часов, можно было предсказать с такой же уверенностью, как можно предсказать регулярные движения машины; римский генерал шел в ловушку, из которой не должно было быть выхода, кроме смерти. Разработка плана Югурты неизбежно зависела от знания линии марша Метелла. Мы не знаем, как скоро появились необходимые данные, но нет оснований полагать, что его план был решением отчаяния или вынужденным последним средством, за исключением того, что он всегда предпочитал лечиться, а не воевать, и что причинение бедствия римской армии не было частью политики, которую он считал наиболее желательной. Но поскольку его идеальный план натолкнулся на темперамент Метелла, сдерживание вторгшейся армии стало настоятельной необходимостью.[1008] Жертвоприношение Ваги вряд ли могло сильно отяготить его разум, поскольку оно было неотъемлемым элементом любой рациональной схемы обороны; но, даже помимо очевидного соображения, что царь должен сражаться, если он не может договориться за свою корону, мысль о его собственном престиже могла теперь побудить его к сражению. Как бы ни была непоколебима вера его нумидийских подданных, она не везде могла пережить впечатление, произведенное беспрепятственным и победоносным маршем римских легионов.

Покинув Вагу, Метелл продолжал действовать в восточной части Нумидии. Театром его кампании, вероятно, должна была стать территория вокруг плато Вага и Великих равнин, а конечным призом - важные нумидийские города Сикка-Венерия и Зама-Регия на юге. Природа страны не позволяла ему проникнуть в дефиле Баграды с северо-запада, а прямой

поход из Ваги в Сикку был также невозможен, так как дорогу преграждали горы, расположенные с юго-восточной стороны. Чтобы достичь окрестностей Сикки, необходимо было повернуть на юго-запад и некоторое время следовать вверх по течению реки Мутхул (Вэд-Меллаг). Этим путем он достиг бы высоких плато, с которых на юго-востоке находятся равнины Сикка и Зама, на северо-западе - Нараггара и Тагасте, на юге - Тала и Тевесте.[1009] Марш Метелла привел его на горную высоту, которая находилась в нескольких милях от реки.[Западная сторона этой высоты, по которой должна была спускаться римская армия, хотя и имела некоторую крутизну в начале своего склона, не заканчивалась равниной, а продолжалась обширным и ровным подъемом, который находил свое восточное завершение на берегу реки. Большая часть этого холма, и особенно та его часть, которая ближе всего примыкала к горе, была покрыта скудной и низкой растительностью, такой как дикая олива и мирт, и это было все, что могла дать пересохшая и песчаная почва. Ближе к реке воды не было, и это превратило холм в пустыню с точки зрения человеческого жилья. Лишь на восточном склоне, который касался ручья, присутствие человека вновь проявилось в виде густых фруктовых садов и пасущегося на полях скота. [1011]

План Югурты основывался на необходимости преодоления римлянами этого засушливого склона, чтобы добраться до реки. Если бы он настиг их, когда они покидали горную цепь, и задержал в этой пустыне, природа могла бы сделать даже больше, чем нумидийское оружие, чтобы обеспечить победу; тем временем можно было бы принять меры, чтобы закрыть проход к реке и подтянуть свежие силы с востока, чтобы перекрыть желаемый путь, пока сидящая в засаде армия будет преследоваться атаками с фланга и тыла.

Сам Югурта занимал ту часть склона, которая находилась прямо под горой. Он держал под своим командованием всю конницу и отборный отряд пеших воинов, вероятно, легких и подвижных, которые могли бы помочь действиям коня. Их он расположил вытянутой линией на фланге маршрута, по которому должна была следовать армия, спускающаяся с горы. Эта линия была продолжена силами, которые он передал под командование Бомилькара. Они состояли из более тяжелых элементов нумидийской армии, боевых слонов и большей части пеших воинов. Однако вполне вероятно, что между концом линии Югурты и началом линии Бомилькара был значительный промежуток.[1012] Последняя с восточной стороны простиралась до точки на небольшом расстоянии от реки; согласно первоначальной схеме засады, Бомилькар должен был выполнить функцию поворота, который не позволил бы римским войскам овладеть потоком. Поскольку ожидалось, что удар тяжелых римских войск будет ощущаться главным образом в этом направлении, под командование Бомилькара были отданы более крепкие и менее подвижные части нумидийской армии.

Вскоре Метелла увидели спускающимся по склону горы,[1013] и поначалу казалось, что римская колонна может быть застигнута врасплох внезапным натиском коней Югурты на всем ее протяжении. Но бдительные меры предосторожности, которые Метелл соблюдал на протяжении всего марша, хотя и не смогли в данном случае предотвратить серьезную опасность, возможно, уменьшили опасность момента. Его разведчики, похоже, сделали свою работу и заметили полускрытых нумидийцев среди низких деревьев и кустарника. Превосходное положение римской армии в любом случае должно было вскоре сделать это знание общим достоянием всех, если только не считать, что какой-то гребень цепи скрывал засаду Югурты от глаз римской армии до тех пор, пока они не должны были почти покинуть гору и перейти на более низкий холм под ней. В любом случае Югурта должен был рассчитывать на то, что силы под его командованием вскоре станут видны врагу, так как идеальная маскировка была невозможна среди чахлах деревьев, которые были единственным прикрытием для его людей.[1014] Эффективность его плана не зависела от

полноты или внезапности сюрприза; она еще больше зависела от знания Югуртой потребностей римской армии и от того, в какое состояние недоумения повергнет командующего все, что было видно из засады. По тому немногому, что было видно, трудно было определить размеры, снаряжение и намерения ожидаемого войска. Лошадей и людей можно было разглядеть только на гребнях невысоких деревьев или между переплетающимися ветвями. И люди, и лошади были неподвижны, и взгляд, стремившийся разглядеть больше, упирался в кустарник, который скрывал больше, чем показывал, и в отсутствие военных штандартов, которые могли бы дать представление о характере и численности войска и были тщательно спрятаны Югуртой.

Но и того, что было видно, хватало, чтобы доказать намерение устроить засаду. Метелл сделал короткий привал и быстро перестроил свою походную колонну в боевой порядок, способный противостоять или атаковать. Его правый фланг находился под непосредственной угрозой. Соответственно, именно здесь он сформировал фронт своего боевого порядка, когда сменил походную колонну на боевую линию.[1015] Три шеренги были сформированы традиционным образом; промежутки между манипулами были заполнены пращниками и лучниками; вся конница была размещена на флангах. Возможно, что в этом месте линия спуска с горы заставила бы римскую армию расположиться косым фронтом к склону и далекой реке,[1016] а конница на левом фланге оказалась бы во главе походной колонны, если бы она спустилась на нижнюю землю.[1017] Такой спуск был немедленно решен Метеллом. Остановиться на высотах было невозможно, так как земля была безводной; упорядоченному отступлению, возможно, препятствовали трудности местности, по которой он только что прошел, и расстояние до последнего водопоя, который он оставил, а отступление при первом же виде долгожданного врага не внушило бы его только что перестроившейся армии особой уверенности ни в себе, ни в своем полководце.

Когда армия отошла от подножия горы, перед ее полководцем встала новая проблема. Нумидийцы оставались неподвижными,[1018] и стало ясно, что их вождь не собирался предпринимать стремительную атаку, которая могла бы быть так же внезапно отбита. Вместо этого Метелл видел перспективу серии изнурительных атак, которые задержат его продвижение, и он боялся свирепости сезона больше, чем оружия противника. День еще только начинался, поскольку Югурта намеревался призвать в союзники палящее солнце, и Метелл мысленно видел свою армию, измученную жаждой, зноем и семью милями изнурительного боя, все еще сражающуюся с нумидийской конницей, пока они пытались разбить лагерь у реки, через которую пролегал путь их желаний. Было очень важно, чтобы крайний конец склона, который касается реки, был захвачен сразу же, и лагерь был сформирован или находился в процессе формирования к тому времени, когда его усталая армия прибудет на место. С этой целью он отправил своего легата Рутилия с несколькими когортами пеших солдат в легком походном строю и частью кавалерии. Движение было хорошо спланировано, так как по характеру дела Югурта не мог ему помешать. Его целью было преследовать основную часть армии и особенно тяжелую пехоту, и его отказ выделить какую-либо часть своих сил для преследования быстро движущегося Рутилия легко понять, особенно если вспомнить, что Бомилькар находился неподалеку от места, которое должен был захватить римский легат. Атака на летящую колонну также привела бы к общему столкновению, которое Метелл хотел спровоцировать. О присутствии Бомилькара и его отряда римляне, вероятно, не знали. Он, в свою очередь, должен был быть удивлен и, возможно, несколько смущен наступлением Рутилия; но это движение не побудило его покинуть свою позицию. Выступить против Рутилия означало бы отказаться от роли, отведенной ему в намеченных операциях против основных римских сил; и если теперь эта роль была затруднена или невозможна из-за присутствия римлян в его тылу, он все же мог

разделить силы противника и помочь Югурте, сдерживая Рутилия и его ценные контингенты кавалерии. Поэтому он позволил легату проехать мимо него[1019] и стал ждать событий, которые должны были произойти в результате боя дальше по полю.

Метелл тем временем продолжал медленно продвигаться вперед, сохраняя походный порядок, который соблюдался при спуске с горы. Сам он возглавлял колонну, скача с конницей, прикрывавшей левое крыло, а Марий, командовавший всадниками справа, прикрывал тыл.[1020] Югурта дождался, пока последний человек римской колонны пересечет начало его линии, и внезапно бросил около двух тысяч своих пехотинцев на склон горы в том месте, где Метелл совершил свой спуск. Его идея заключалась в том, чтобы отрезать римлянам путь к отступлению и не дать им вновь занять самую выгодную позицию в поле. Затем он дал сигнал к общей атаке. Последовавшее за этим сражение имело все характерные черты, присущие всем подобным поединкам между легкой и активной кавалерией и армией, состоящей в основном из тяжелой пехоты, уступающей в мобильности, но непоколебимой в своей компактной силе. Нумидийцы не могли пробить римские ряды, но вероятность того, что они истощат силы каждого римского солдата еще до завершения изнурительного марша к реке, была более чем велика. Обороне римлян наверняка мешало отсутствие той части кавалерии, которая сопровождала Рутилия; еще сильнее ее подкосило ослепительное солнце, клубящаяся пыль и нестерпимая жара. Нумидийцы наседали с тыла и с обоих флангов, отсекая отставших и пытаясь нарушить порядок римских рядов со всех сторон. Сохранить этот порядок было крайне сложно, и более храбрые духи, предпочитавшие безопасность своих рядов безрассудному и беспорядочному нападению, сходили с ума от ударов, наносимых ракетами противника, на которые они были бессильны ответить. За отражением врага не последовало эффективного преследования. Югурта научил свою конницу рассеиваться при отступлении, когда ее преследует вражеский отряд; поэтому, не сумев удержаться в первой четверти, которую они выбрали для атаки, они таяли, чтобы затем, как тучи, собраться во фланг и тыл преследователей, которые теперь оторвались от защитного строя своих рядов. Даже трудности местности благоприятствовали мобильной тактике нападавших, ведь лошади нумидийцев, привыкшие к холмистым лесам, могли прокладывать себе путь через подлесок в таких местах, которые служили эффективной преградой для преследующих римлян.

Казалось, что план Югурты близок к осуществлению. Симметрия римской колонны сменилась разрозненной линией, в которой виднелись заметные бреши, через которые пробивался враг. Соппротивление становилось индивидуальным; небольшие роты преследовали или отступали, повинувшись велению непосредственной опасности; ни одна голова не могла разобраться в изменчивой ситуации и, если бы у нее были на то силы, не могла бы отдавать команды, способные придать единообразие спорадическим схваткам, в которых атака и сопротивление, казалось, направлялись слепой случайностью момента. Но каждая минута эффективного сопротивления была для римлян выигрышем. Непрерывный труд на жестокой жаре истощал силы даже туземцев; усилия последних, как атакующей силы, должны были быть намного больше, чем у массы римской пехоты; И особенно пешие нумидийцы, которые, вероятно, всегда уступали в качестве коннице и были вынуждены до предела напрягать свою физическую выносливость, подражая всадникам в их молниеносных методах атаки и отступления, были настолько истощены, что значительная их часть практически покинула поле боя. Они поднялись на возвышенность, возможно, чтобы присоединиться к силам, которые Югурта уже разместил у подножия горы, и отдыхали, вероятно, не для того, чтобы уклониться от тяжелой службы, а чтобы возобновить атаку, когда их силы восстановятся. Отход значительной части пехоты стал причиной или частью общего ослабления атаки нумидийцев, и именно образовавшаяся передышка дала Метеллу

отличный шанс. Постепенно он собрал свою разрозненную линию и восстановил порядок в рядах, а затем с инстинктом истинного полководца принял активные меры, чтобы атаковать самое слабое место противника. Это место представляла собой нумидийская пехота, расположившаяся на высоте. Некоторые из них были измотаны и, возможно, удручены, другие, правда, еще не тронуты тяготами битвы; но в целом Метелл считал их совершенно неспособными выдержать удар римской атаки. К такой уверенности его почти вынудило отчаяние от возможности иного выхода из невыносимой ситуации. Близился вечер, у его армии не было ни лагеря, ни укрытия; даже если бы удалось защититься от опасностей ночи, утро принесло бы лишь возобновление тех же жалких трудов для армии, измученной жаждой, бессонницей и тревогой. Поэтому он выставил против нумидийской пехоты четыре легионерские когорты[1021] и попытался возродить их пошатнувшуюся уверенность, взывая одновременно к их мужеству и отчаянию, указывая на отступающего врага и показывая, что их собственная безопасность целиком зависит от оружия в их руках. Некоторое время римские солдаты размышляли о своей опасной задаче и с надеждой смотрели на высоту, которую им предстояло штурмовать. Смутная надежда на то, что враг спустится, окончательно исчезла; наступающая темнота наполнила их решительным отчаянием, и, сомкнув ряды, они бросились на возвышенность. Через мгновение нумидийцы были рассеяны, и высота была взята. Враг исчез так быстро, что лишь немногие из них были убиты; легкость доспехов и знание местности спасли их от мечей преследующих легионеров.

Завоевание высоты стало решающим событием битвы, и это был очевидный успех, который, если рассматривать его сам по себе, был обусловлен в гораздо большей степени радикальными и постоянными военными качествами, чем тактическим мастерством. Это может показаться исключительно победой солдат, в которой генерал не играл никакой роли, пока мы не вспомним, что стратегические и тактические соображения зависят от знания таких постоянных условий, и что Метелл был настолько же прав, заставляя своих римлян подняться на высоту, насколько Югурта был неправ, полагая, что его нумидийцы смогут ее удержать. Что касается событий, происходивших на этом участке поля, то Метелл спас себя от стратегически невыгодного положения благодаря тактическому успеху; но даже стратегическая ситуация не может быть оценена только на основании только что произошедших событий или положения, в котором теперь находились обе армии. Если бы Бомилькар все еще мог преградить проход к реке и ночью соединиться с войсками Югурты, положение римлян все еще было бы крайне опасным. Но миссия Рутилия успешно отвлекла внимание генерала от того, что было главной целью первоначального плана. Теперь его главной идеей было просто разделить две дивизии римской армии, и мысль о блокировании прохода Метелла, хотя и не обязательно оставленная, должна была стать второстепенной по сравнению с мыслью о том, как остановить продвижение Рутилия, когда легат должен был встревожиться задержкой в продвижении своего командира. Бомилькар, пропустив римские войска, медленно покинул холм, на котором он расположился, и вывел своих людей на более ровную местность,[1022] в то время как Рутилий со всей скоростью устремился к реке. Он тихо перестроил свою колонну в боевую линию, растянувшуюся по склону, который в этом месте переходил в равнину, и в то же время постоянно разведывал каждое движение противника за холмом. В конце концов он услышал, что Рутилий достиг своей бухты и остановился, и в это же время до его слуха донесся шум битвы между Югуртой и Метеллом. Мысль о том, что внимание Рутилия отвлечено теперь, когда его главная цель достигнута, и страх, что он может попытаться принести помощь своему труждающемуся командиру, заставили Бомилькара принять более активные меры. Теперь его разум был поглощен проблемой предотвращения соединения римских войск. Недоверие к качеству пехоты под его командованием заставило его сформировать линию значительной глубины; теперь он

счел нужным расширить ее, чтобы обойти с фланга и отрезать врагу все шансы на отступление. Когда все было готово, он двинулся на лагерь Рутилия[1023].

Римляне вдруг заметили большое облако пыли, которое висело над плантациями с их стороны; но деревья скрывали все перспективы склона за ними, и некоторое время они смотрели на столб пыли как на одну из странных достопримечательностей пустыни, простое песчаное облако, гонимое ветром. Затем они подумали, что в его движении прослеживается особая устойчивость; вместо того чтобы нестись вниз в диком урагане, он двигался с быстротой и регулярностью армии на марше; и, несмотря на медленное продвижение, было видно, что он приближается все ближе и ближе. Истина ворвалась в их сознание; они схватили оружие и, повинаясь приказу своего командира, выстроились в боевой порядок перед лагерем. Когда войска Бомилькара приблизились, римляне закричали и бросились в атаку; нумидийцы подняли ответный крик и встретили нападение на полпути. Вряд ли был момент, когда исход боя вызывал сомнения. Римляне, сильные конницей, смяли перед собой необученную нумидийскую пехоту, а Бомилькар своим неосторожным наступлением лишил полезности то подразделение своей армии, на которое он и его люди возлагали главную надежду. Его слоны, способные маневрировать только на открытой местности, теперь были выдвинуты в середину лесных насаждений, и огромные животные вскоре смешались с деревьями, продираясь сквозь ветви и отделяясь от своих собратьев. 1024] Нумидийцы оказывали сопротивление до тех пор, пока не увидели, что линия слонов сломана и римские солдаты находятся в тылу защищающих их зверей; тогда они сбросили свои тяжелые доспехи и исчезли с места, большинство из них укрылось за холмами и почти все укрылись в убежище наступающей ночи. Главной жертвой римской погони стали слоны: четыре были захвачены, а сорок оставшихся убиты.

Это был тяжелый день для победоносной дивизии. За форсированным маршем последовал труд по формированию лагеря, а за ним - тяжкий бой. Но думать об отдыхе было невозможно. Задержка Метелла внушала им опасения, и они продвигались в темноте в поисках вестей о главной дивизии с осторожностью, которая свидетельствовала о том, что их недавняя победа не изгнала злые возможности нумидийского коварства.[1025] Метелл наступал с противоположного направления, и две армии встретились. Каждое подразделение внезапно осознало, что против него под покровом ночи движутся силы; нервы были так напряжены, что каждый из них мог схватиться за любой страх, воображая, что в другом есть враг. Раздался крик и лязг оружия, выхватывались мечи и распрямлялись щиты. К счастью, впереди обеих армий ехали конные разведчики. Вскоре они увидели долгожданную правду и сообщили ее своим товарищам. Паника сменилась радостью; когда объединенные силы двинулись в лагерь, языки солдат развязались, и накопившиеся чувства нашли выражение в удивительных историях о доблести отдельных людей.

Метелл, по долгу службы, назвал свое спасение от гибели именем победы. Он был прав в той мере, в какой можно считать побежденной армию, которая исчезла; и его комплименты своим солдатам были, конечно, вполне заслуженными; ведь триумф, каким он был, принадлежал в основном рядовым, а римские легионеры не просто продемонстрировали старые качества упорной стойкости, которые восстановила тренировка Метелла, но и доказали свое превосходство над всеми солдатами строя, которых Югурта мог вывести на поле боя. Похвалы и благодарности, которые генерал выразил в своем публичном обращении ко всей армии, индивидуальные отличия, которыми он награждал тех, чьи особые заслуги в недавних боях были подтверждены, были одновременно извинением за трудности, признанием пустыни и средством внушения самоуважения и будущей эффективности. Если верно, что Метелл добавил, что слава теперь удовлетворена, а грабеж должен стать их

наградой в будущем,[1026] он одновременно потворствовал простительной гиперболе и скрывал неприятную правду о том, что сражения с Югуртой были слишком дороги, чтобы привлечь его внимание в будущем. Его личное мнение о последних событиях, возможно, столь же тщательно скрывалось в его депешах в сенат. Было неизбежно, что население, привыкшее смотреть на новости из Нумидии как на свидетельство компромисса или катастрофы, должно было приветствовать и преувеличивать радостные вести; оно должно было не только превозносить неоспоримый факт нового превосходства своей армии, но и считать Югурту беглецом, а Метелла - хозяином своей земли.[1027] Столь же естественно, что сенат воспользовался возможностью стряхнуть последние остатки подозрений, которые цеплялись за его честь и компетенцию, превознося успехи своего полководца. Он вознес молитвы бессмертным богам и тем самым создал впечатление, что была одержана решающая победа. Повсюду государство демонстрировало простительную радость, смешанную с менее оправданным ожиданием, что это начало конца.

Человек, возлагающий на себя экстравагантные надежды, менее счастлив, чем тот, кто разбивает их в пух и прах. Дни, последовавшие за битвой при Мутуле, должны были стать тревожным временем для Метелла, ведь ему внушили, что необходимо изменить план кампании, который вряд ли обеспечит скорое окончание войны. В течение четырех дней он не покидал своего лагеря - задержка, которая, возможно, имела видимое оправдание в необходимости заботы о раненых солдатах,[1028] и даже была основана на надежде, что переговоры о сдаче могут дойти до него от царя, но также подтверждала его мнение, что преследование Югурты было совершенно неосуществимым, и что в случае нумидийской армии захват или уничтожение не были необходимым следствием поражения. Он довольствовался расспросами беглецов и других людей о нынешнем положении и действиях царя и получил ответы, которые, возможно, содержали некоторые элементы правды. Он узнал, что нумидийская армия, сражавшаяся при Мутуле, полностью распалась в соответствии с обычаями этой расы, что Югурта покинул поле боя со своим телохранителем в одиночку, что он бежал в дику и труднодоступную страну и собирает там вторую армию - армию, которая обещала быть больше первой, но, вероятно, была менее эффективной, так как состояла из пастухов и крестьян, не имевших достаточной военной подготовки.[Мы не можем сказать, принимал ли Метелл странную точку зрения, что исчезнувшая армия, которая теперь, вероятно, вернулась к мирным занятиям земледелием и пастбищами, не будет воспроизведена в новой; но, безусловно, новости о будущей слабости сил Югурты не казались ему оправданием для продвижения в Западную Нумидию, которая тогда, как и прежде, была оплотом царя и местом хранения сокровищ человеческой жизни, имевших большую ценность, чем золото и серебро. Признавая, что воинственный настрой царя делает возобновление войны неизбежным, римский полководец был полностью убежден, что сражения не помогут сломить нумидийскую стойкость. Преследование Югурты было невозможно без конфликтов, из которых побежденные выходили менее израненными, чем победители,[1030] и даже эта главная цель экспедиции была на время оставлена. Он был вынужден прибегнуть к обходному пути, чтобы привлечь внимание короля и ослабить лояльность его подданных серией простых грабительских набегов на самые богатые районы страны. Это был план, который в отсутствие действительно эффективной оккупации всей страны, особенно западной Нумидии, предполагал определенную долю самопротиворечивости и непоследовательности. Разграбление земель должно было обеспечить ту цель, которой Метелл хотел избежать - конфликт с царем; а мобильность, которой он так боялся, не могла найти более подходящего поля для своего применения, чем быстрые марши по стране, которые могли бы обезопасить город от нападения, свести на нет завоевание, только что совершенное в другой крепости, или затруднить путь римских войск, когда они двигались от пункта к пункту. Метелл превратился в прекрасную мишень для

самого эффективного вида партизанской войны, но вся история борьбы вплоть до ее завершения доказывает, что эта беспомощность была обусловлена скорее ситуацией, чем человеком. Римские силы были совершенно недостаточны для эффективной оккупации Нумидии, и полководцу, отчаявшемуся продолжать бесцельное и опасное преследование, приходилось довольствоваться шансами, которые могли возникнуть в результате захвата городов, разграбления территорий и тайных переговоров, которые могли привести к смерти или сдаче короля.

Не сохранились сведения ни о передвижениях, последовавших за битвой при Мутуле, ни о месте зимних стоянок, в которые Метелл привел своих людей. Кампания следующего года, по-видимому, все еще ограничивалась восточной частью Нумидии, ее целью была безопасность страны между Вагой и Замой. Эта богатая страна была жестоко опустошена, каждый захваченный укрепленный пункт был сожжен, все нумидийцы в боевом возрасте, оказавшие сопротивление, были преданы мечу. Эта террористическая политика принесла немедленные результаты. Армия была хорошо снабжена, напуганные туземцы в изобилии приносили кукурузу и другие необходимые вещи; города и районы давали заложников за свое хорошее поведение; сдавались сильные места, в которых оставались гарнизоны.[1031] Но присутствие Югурты вскоре дало о себе знать. Царь, если и собрал армию, то оставил большую ее часть позади. Теперь он стоял во главе отборного отряда легких конников и с этим мобильным отрядом шел по следам Метелла. Римляне чувствовали, что их преследует призрачный враг, который с невероятной быстротой переходил от пункта к пункту, скрытно продвигался под покровом темноты и по бескрайним пустошам, а о его приближении можно было узнать только по внезапному и страшному удару, нанесенному по отставшим от лагеря. Смерть или пленение тех, кто покидал строй, не могли ни помешать, ни отомстить, потому что не успевало подойти подкрепление, как нумидийцы исчезали в ближайшей гряде холмов. Самые обычные операции армии теперь были серьезно затруднены. Снабженцев и фуражиров должны были защищать когорты пехоты и вся кавалерия; грабежи были невозможны, а огонь оказался самым удобным средством для уничтожения деревни, которую больше нельзя было разорять ради людей. Считалось небезопасным для всей армии действовать двумя независимыми колоннами. Такие колонны действительно были сформированы: Метелл возглавлял одну, а Марий - другую; но им было необходимо поддерживать самую тесную связь. Хотя иногда они разделялись, чтобы расширить сферу своего террора и опустошения, часто они объединялись под давлением страха, и оба лагеря никогда не находились на большом расстоянии друг от друга.[1032] Царь тем временем следовал за ними по холмам, уничтожая фураж и разрушая запасы воды на линии марша; то он набрасывался на Метелла, то на Мария, преследовал тыл колонны и снова исчезал в своих укрытиях.

Мучительные переживания, испытанные в конце этого похода, убедили Метелла, что необходимо предпринять какое-то решительное усилие, которое увенчало бы его предыдущие успехи, дало бы ему хоть какое-то командование над линией страны, через которую он так опасно прошел, и, возможно, по важности попытки, вынудило бы Югурту к сражению. Холмистая местность, через которую он только что провел свои легионы, находилась между большими городами Сикка и Зама.[1033] Овладение обоими этими местами было совершенно необходимо, чтобы навсегда отбить у царя южный округ, который он напугал и гарнизонировал. Сикка уже принадлежала ему, так как она была первым из городов, отказавшимся от верности Югурте после того, как битва на Мутуле рассеяла нумидийскую армию.[1034] Теперь он обратил свое внимание на еще более важный город Зама, настоящую столицу и оплот этого южного округа, и приготовился овладеть им с помощью штурма или осады. Югурта вскоре узнал о его плане, долгим форсированным

маршем пересек линию Метелла и вошел в Заму.[1035] Он призвал горожан к энергичной обороне и пообещал, что в нужный момент придет им на помощь со всеми своими силами; он усилил гарнизон, набрав в него римских дезертиров, обстоятельства которых гарантировали их верность, и снова исчез из поля зрения друзей и врагов. Вскоре он узнал, что Марий ушел в Сикку, а с ним лишь несколько когорт, предназначенных для доставки в армию зерна, которое он надеялся приобрести в городе. Через мгновение Югурта во главе своей отборной конницы двигался под покровом ночи. Он надеялся, возможно, найти в городе дивизию, своим присутствием переломить настроение в Сикке и увидеть, что самый умелый из его противников заперт в стенах. Но когда он подошел к воротам, римляне уже выходили из них. Он тут же бросился на них и крикнул любопытным, наблюдавшим за уходом когорт, чтобы они взяли дивизию в тыл. Случайность, воскликнул он, дала им возможность совершить славный подвиг. Настало время им вернуть свободу, а ему - королевство. Магия присутствия национального героя едва не привела к обращению сикканцев в христианство и уничтожению римлян. Дружественный город превратился бы в осиное гнездо, если бы Марий не направил все свои усилия на то, чтобы пробить проход через людей Югурты и обойти опасные стены. На более открытой местности бой был острым, но коротким. Несколько нумидийцев пало, остальные исчезли с поля боя, и Марий благополучно добрался до Замы, где застал Метелла, обдумывавшего свое нападение.

Город лежал на равнине, и природа мало способствовала его обороне,[1036] но он был силен всеми средствами, которые могло предоставить искусство, и хорошо подготовлен к осаде. Метелл спланировал общий штурм и расположил свои силы по всей линии стены. Атака началась сразу на всех участках; в тылу находились легковооруженные войска, обстреливая защитников камнями и металлическими шарами и прикрывая усилия активных штурмующих, которые прижимались к стенам и пытались проникнуть внутрь по лестницам и с помощью мин. Обороняющиеся не подавали признаков ужаса или беспорядочной спешки. Они спокойно распределили свои обязанности, и каждый отряд внимательно следил за врагом, которого должен был отразить; в то время как одни сбивали тех, кто находился дальше от стены, копьями, брошенными рукой или выпущенными из мотора, другие наносили разрушения тем, кто непосредственно под ними, скатывая на их головы тяжелые камни и обрушивая на них заостренные колья, тяжелые снаряды и сосуды, наполненные пылающей сосной, напитанной смолой и серой[1037].

Битва, бушевавшая вокруг стен, возможно, поглотила мысли даже той части римской армии, которая была оставлена для охраны лагеря. Конечно, они и их дозорные были совершенно выбиты из колеи, когда Югурта с большим войском бросился на укрепления и, настолько полной была неожиданность, беспрепятственно пронесся через ворота.[1038] Последовала обычная сцена паники с бегством, поспешным вооружением, стоном раненых, молчаливым падением убитых. Но о необычной степени безрассудства гарнизона свидетельствовал тот факт, что не более сорока человек коллективно противостояли нумидийскому натиску. Маленький отряд занял возвышенность, и никакие усилия врага не могли сбить их с пути. Ракеты, направленные против них, они с ужасом отбрасывали назад в плотные массы вокруг; а когда нападавшие пытались вступить в более близкий бой, они сбивали их с ног или отбрасывали назад яростью своих ударов. Возможно, их сопротивление задержало Югурту в лагере дольше, чем он намеревался; но немедленное спасение от чрезвычайной ситуации было скорее заслугой трусов, чем храбрецов. Метелл был погружен в созерцание усилий своих людей перед стенами Замы, когда вдруг услышал рев битвы, донесшийся с другой стороны. Повернув коня, он увидел толпу беглецов, спешивших по равнине; поскольку они направлялись к нему, он решил, что это его собственные люди. Похоже, что кавалерия была подтянута к стенам, вероятно, из-за того, что Югурта, если он вообще нападет, попытается

взять осаждающих с тыла. Метелл поспешно направил все эти силы в лагерь и велел Марию следовать за ним со всей скоростью во главе нескольких когорт союзников. Его страх за поруганную честь своего войска был сильнее страха. Со слезами на глазах он умолял своего легата стереть пятно, запятнавшее недавнюю победу, и не позволить врагу уйти безнаказанным.

Югурта не собирался задерживаться в римском лагере, но выйти оттуда было не так просто, как войти. Некоторые из его людей были зажаты в выходах, другие бросились на валы; Марий воспользовался этим, и Югурта с большими потерями освободился от преследователей и отступил к своим укреплениям. Вскоре с наступлением ночи осадные работы были прекращены. Метелл снял своих людей и повел их обратно в лагерь после дня, который не оставил после себя приятных впечатлений. Предупрежденный о том, что конница должна быть размещена ближе к лагерю, он начал работу на следующий день, расположив все эти силы на той четверти земли, на которой появился царь;[1039] были также приняты более определенные меры для детальной обороны римских линий, и штурм предыдущего дня был возобновлен на стенах Замы. Однако, несмотря на все эти тщательно продуманные меры предосторожности, приход Югурты оказался неожиданным. Бесшумность и стремительность его наступления повергли первые встреченные им отряды римлян в кратковременную панику и замешательство, но вскоре к ним были подтянуты резервы, которые восстановили удачу этого дня. Они могли бы быстро и полностью переломить ситуацию, если бы не тактический прием, который Югурта применил, чтобы нейтрализовать превосходство римлян в устойчивости, и который позволил ему продемонстрировать настойчивость фронтальной атаки, необычную для нумидийцев. Он смешал легкую пехоту с кавалерией; последняя атаковала вместо того, чтобы просто перестреливаться, и прежде чем брешь, проделанные ею в рядах противника, успели заделать, пешие воины начали атаку на беспорядочные ряды[1040].

Цель Джугурты выполнялась до тех пор, пока он мог оставаться в поле, чтобы провести подобную диверсию и отвлечь значительные силы от стен Замы. Но его изобретательные усилия привлекли внимание как осажденных, так и осаждающих. Правда, когда штурм был наиболее ожесточенным, жители Замы не позволяли своим мыслям и глазам отвлекаться; но бывали моменты, когда после отражения какого-то большого усилия энергия нападавших ослабевала и наступало затишье в буре звуков, издаваемых человеческими голосами и лязгом оружия. Тогда люди на стенах с напряженным вниманием смотрели на сражение конницы на равнине, следили за судьбой царя, испытывая то радость, то страх, и выкрикивали советы или увещевания, словно их голоса могли донестись до далеких друзей.[1041] Марий, который вел штурм на том участке стены, с которого открывался такой захватывающий вид, задумал поощрить это отвлечение внимания приемом и воспользоваться мгновенным преимуществом, которое оно давало. Вскоре в действиях его людей стали заметны беспечность и неуверенность, а незатухающий интерес нумидийцев был быстро направлен на маневры их монарха на равнине. Внезапно нападение обрушилось на них со всей силой; не успели они опомниться от неожиданности, как передовые римляне уже были на полпути к лестницам. Но высота была слишком велика, а времени слишком мало. На головы нападавших снова посыпались камни и огонь. Прошло некоторое время, прежде чем их уверенность пошатнулась; но когда одна или две лестницы были разбиты вдребезги, а их обитатели сброшены вниз, остальные - большинство из них уже были покрыты ранами - соскочили на землю и поспешили покинуть стены. Это была последняя попытка. Вскоре наступила ночь, которая принесла с собой не только завершение дневной работы, но и конец осады Замы.

Метелл видел, что ни одна из его целей не может быть выполнена. Город не мог быть взят, и Югурта не позволил бы подвергнуть себя испытанию регулярным сражением.[1042] Боевой сезон подходил к концу, и он должен был подумать о зимних кварталах для своей армии. Он решил не только отказаться от осады, но и покинуть Нумидию и перезимовать в римской провинции. Единственным свидетельством того, что он провел армию через территорию между Вагой и Замой, были несколько гарнизонов, оставленных в тех из сдавшихся городов, которые казались способными к обороне. Депеши этой зимы не ободряли ни народ, ни сенат. Политика вторжения провалилась, и, если нужно было добиться успеха, его можно было достичь только интригами. Метелл, когда досуг зимних покоев дал ему время обдумать ситуацию, решил, что разрозненные переговоры с мелкими нумидийскими магнатами в будущем окажутся столь же иллюзорными, как и в прошлом. Для того чтобы поработить тело царя, необходимо овладеть его разумом; но этот разум можно было покорить только доверием, а чтобы добиться такого влияния, нужно было обратиться к правой руке монарха. Этим человеком был Бомилькар, самый доверенный полководец и советник Югурты - доверенный тем более, что даже нумидийский царь мог впасть в заблуждение, будто человек, обязанный своей жизнью другому, будет обязан ему и своей пожизненной службой. Более разумным основанием для привязанности Бомилькара могло быть то, что в глазах Рима он был так же глубоко скомпрометирован, как и сам Югурта, - с официальной точки зрения, правда, еще более глубоко скомпрометирован; ведь для римского закона он был беглым преступником, над головой которого все еще висело обвинение в убийстве.[1043] Но разве не этот факт мог побудить министра заключить свой собственный договор с Римом? Его жизнь зависела от успеха короля или от отказа короля выдать его в случае заключения мира с Римом; следовательно, она зависела от двойного элемента сомнения. Если сделать эту жизнь несомненной, то разве нумидиец станет более взвешивать сомнения против уверенности? Так думал Метелл, когда вступил в переписку с Бомилькаром. Министр пожелал узнать больше, и Метелл устроил тайную беседу. На ней он дал честное слово, что, если Бомилькар передаст ему Югурту живым или мертвым, сенат обеспечит ему безнаказанность и дальнейшее владение всем, что ему принадлежит. Нумидиец принял обещание и условие, с которым оно было связано; его разум поколебался главным образом из-за страха, что продолжение борьбы может привести к компромиссу с Римом, и что его собственная смерть от рук палача будет одним из условий этого компромисса.

Что произошло между Бомилькаром и Югуртой, так и осталось неизвестным. У царя не было причин сожалеть о подвигах этого года, и апелляция к отчаянности его положения была бы несколько неуместна. Но некоторые размышления Бомилькара, сохраненные или выдуманные традицией,[1044] которые указывали на слабость и опасность в будущем, вполне могли быть высказаны. Верно, что война растрчивает материальные силы королевства; возможно, верно, что она изнуряет постоянство самих нумидийцев и побуждает их ставить собственные интересы выше интересов своего царя. Такие аргументы никогда не могли бы повлиять на Югурту, если бы его недавний успех не заставил надеяться на компромисс; как избитому беглецу ему не на что было бы надеяться; как человек, который все еще держал себя в руках, он мог бы выиграть многое, заключив готовый договор с римским полководцем, находящимся в худшем положении, чем он сам. Кажется, Югурта впервые был основательно обманут. Его суждение, достаточно здоровое в оценке общей ситуации, должно быть, было сбито с пути представлением Бомилькара о позиции Метелла, хотя министр не мог и намекнуть на личное знание взглядов римлянина; и его доверие к советнику привело к этому редкому и показательному случаю полного заблуждения относительно характера и сил его противника.

Вероятно, между Югуртой и Метеллом состоялась предварительная переписка, прежде чем царь отправил свое последнее послание.[1045] В нем говорилось, что все требования будут выполнены, а царство и его монарх безоговорочно сдадутся представителю Рима. Метелл немедленно созвал совет, которому придавал настолько представительный характер, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Заключение деликатного дела группой друзей вызвало серьезные подозрения в отношении договора, заключенного Бестией, и было важно, чтобы свидетели того, что сделка с Югуртой не содержала никаких тайных положений или договоренностей, были как можно более многочисленными и весомыми. Этого можно было легко добиться, если генерал имел право созвать всех доступных людей; поэтому Метелл вызвал на совет не только всех членов сенатского ордена, которых смог найти, но и некоторое количество выдающихся людей, не принадлежавших к правящему классу.[Югурта должен был дать залог своей доброй воли, и, если он не будет выкуплен, Рим получит выигрыш, а он - проигрыш. Теперь царю было приказано выдать двести тысяч фунтов серебра, всех своих слонов, некоторое количество лошадей и оружия[1048], а также предоставить триста заложников.[1049] Требование, по крайней мере в том, что касается денег и военных материалов, было немедленно выполнено. Затем требования возросли. Необходимо было выдать дезертиров из римской армии. Некоторые из них бежали от Югурты при первых же признаках искреннего подчинения и нашли убежище у Бокха, царя Мавретании;[1050] но большая часть, числом в три тысячи человек,[1051] была сдана Метеллу. Большинство из них были вспомогательными войсками, фракийцами и лигурийцами, такими же, как те, что бросили Аулуса при Сутуле; и ощущение опасности, грозящей из-за предательства союзников, которые должны составлять жизненно важный элемент во всех римских армиях, возможно, послужило мотивом для ужасного примера наказания Рима за нарушение веры, который теперь был дан империи. Некоторым пленникам отрубили руки; других закопали в землю по пояс, затем сделали мишенью для стрел и дротиков и, наконец, сожгли в огне, прежде чем дыхание покинуло их тела.[1052] Последний приказ касался самого Югурты: ему предписывалось отправиться в место под названием Тисидий[1053] и там ждать распоряжений. Уверенность царя теперь начала колебаться. Возможно, он до последнего момента надеялся на какой-нибудь знак, что на его дело смотрят дружелюбно; но таковых не последовало. Сдача Риму была вполне мыслимой позицией, пока он был в состоянии торговаться. Было бы советом безумца, если бы он полностью отдал себя во власть своего врага. Он многим пожертвовал, но потери, кроме денег, не были невозполнимыми. Слоны были бесполезны в партизанской войне, а Нумидия, которая все еще принадлежала ему, имела лошадей и людей в изобилии. Он выждал еще несколько дней, вероятно, больше ожидая действий Метелла и готовясь к шагу, который он сам намеревался предпринять, чем сомневаясь в том, каким должен быть этот шаг; когда с римской стороны не последовало никаких изменений в требовании, он прервал переговоры и продолжил войну. Его противником по-прежнему должен был стать Метелл, так как в начале года проконсульство полководца было возобновлено[1054].

События лета и зимнего мира дали пищу для размышлений и другим, помимо Метелла. Вскоре мы увидим, что думали о ходе войны торговые круги Африки; еще более грозными были эмоции, которые в последнее время будоражили суровую грудь великого легата Мария. Наверное, мало найдется лейтенантов, которые не думали бы, что могут добиться большего, чем их командиры. Придерживался ли Марий такой точки зрения, неважно; вскоре он поверил, что да, и энергично выражал это убеждение. Действительно важным фактом было то, что человек, который за семь лет до этого был претором и, возможно, считал себя величайшим солдатом эпохи, выполнял приказы и исправлял ошибки генерала, который был обязан своим командованием аристократическим связям и безупречному послужному списку в гражданской жизни. В Нумидии подчинение в этой конкретной форме, по-

видимому, сохранилось надолго, поскольку Метелл вступал во второе проконсульство и на третий год своего правления; в других формах и во всех сферах оно, скорее всего, было вечным, поскольку аксиомой существующего режима было то, что "новый человек" не может достичь консульства.[1055] Стремление к этой должности было новым бедствием, обрушившимся на жизнь Мария; ведь именно законные амбиции оказывают самое болезненное влияние на сердце и мозг. Но более здоровая часть его души, которую можно было найти в старомодном благочестии, столь часто порицаемом под сомнительным названием суеверия, вскоре пришла на помощь мирскому порыву, который сильный человек мог бы усомниться и подавить. В один из насыщенных событиями дней в Утике Марий стал добиваться благосклонности богов с помощью жертвоприношений. Провидец, толковавший знамения, посмотрел и воскликнул, что предвещает великие и чудесные события. Пусть поклоняющийся делает все, что ему взбредет в голову; его поддерживают боги. Пусть он хоть раз испытает судьбу, желание его сердца исполнится[1056].

Боги дали чудесный ответ единственным способом, которым боги могли ответить. Они не предлагали, но могли подтвердить, и никогда еще подтверждение не было столь категоричным. Последние сомнения Мария развеялись, и он сразу же отправился к своему полководцу и попросил отпуск, чтобы в том же году выдвинуть свою кандидатуру на пост консула. Метелл был хорошим покровителем, но плохим другом. Аристократическая щетина поднялась на коже, казавшейся такой гладкой. Сначала он выразил мягкое удивление по поводу решения Мариуса - удивление, которое презрительнее, чем поклеп, - и увещевал его в словах, которые, должно быть, вызвали особое раздражение, не позволять искаженным амбициям брать верх над ним; каждый должен видеть, что его желания уместны, и ограничивать их, когда они перейдут эту стадию; у Мариуса есть основания быть довольным своим положением; он должен быть начеку, чтобы не просить римский народ о даре, который он будет вправе отклонить. В этих высказываниях не было подозрений в личной ревности; они отражали стандарты касты, а не человека. Но Марий оценил ситуацию, и его не остановило то, что она вновь предстала перед ним в назойливой, но не новой форме. На дальнейшую просьбу он легко ответил, что дело не настолько срочное, чтобы не терпеть отлагательств; как только государственные дела позволят Мариусу уехать, Метелл удовлетворит его просьбу. Говорят, что дальнейшие уговоры заставили нетерпеливого проконсула, чей добрый совет был потрачен впустую на хама, который не знал своего места и не понимал намеков, ответить, что Мариусу не нужно спешить; у него будет достаточно времени, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост консула, когда его коллегой станет собственный сын Метелла.[1057] Мальчику было около двадцати, Мариусу - сорок девять. Перспективный консул должен был достаться последнему, когда он достигнет зрелого возраста семидесяти двух лет. Шутка была благословением, ведь все, что оправдывало искренний отказ от покровительства, отказ от чувства долга, было путем к свободе. Теперь Марий был волен идти своим путем, и вскоре он показал, что в африканской провинции достаточно горячего материала, чтобы сжечь заслуги более великого полководца, чем Метелл.

Говорят, что дивизия армии, которой командовал Марий, вскоре оказалась в гораздо более легком положении, чем прежде;[1058] суровый легат стал покладистым, если не сказать забывчивым - обстоятельство, которое можно объяснить либо тем, что на его ум легла забота, превышающая заботу о военной дисциплине, либо тем, что новорожденная милость должна была составить приятный контраст с суровостью Метелла. Но в данном случае гражданский элемент в провинции имел большее значение, чем армия. Купеческие князья Утики, стонущие по поводу исчезнувшего капитала, который они вложили в нумидийские предприятия, слышали критику и хвастовство, которые сильно затронули их нетерпеливые

умы. Марий сказал, или ему поверили, что если бы ему доверили хотя бы половину армии, он бы за несколько дней заковал Югурту в цепи;[1059] что войну специально затягивают, чтобы удовлетворить пустоголовую гордость, которую полководец испытывает от своего положения. Купцы уже давно размышляли о причинах затягивания войны со всем невежеством и нетерпением, свойственными жадности; теперь эти причины, казалось, открылись в простом и убедительном свете.

Несчастный дом Масиниссы также был вынужден сыграть свою роль в этом движении. В римском лагере его представлял Гауда, сын Мастанабала, принц, слабый телом и духом, но законный наследник нумидийской короны, если она будет отнята у Югурты, а последние желания Миципсы будут исполнены. Ведь старый царь, составляя завещание, назвал Гауду наследником королевства, если два его сына и Югурта умрут без потомства. 1060] Близость престолонаследия, когда правящий царь Нумидии был врагом римского народа, побудила принца просить Метелла о почестях, которые он считал подобающими его званию: место рядом с местом главнокомандующего, охрана из римских рыцарей[1061] для его персоны. В обеих просьбах ему было отказано: в почетном месте - потому что оно принадлежало только тем, кого римский народ называл царями, а в охране - потому что для римских рыцарей было унижительно выступать в качестве эскорта нумидийца. Принц мог воспринять отказ не только как оскорбление, но и как намек на то, что Метелл не признает его вероятным преемником Югурты. Он был в тревожном и угрюмом состоянии духа, когда к нему подошел Марий и призвал опереться на него, чтобы получить удовлетворение за оскорбление полководца. Сияющие слова нового друга вселили в его слабый разум надежду почти с силой уверенности. Он был внуком Масиниссы, ближайшим обладателем нумидийского трона, если Югурта будет захвачен или убит; корона может достаться ему в недалеком будущем, если Марий станет консулом и будет отправлен на войну. Он должен обратиться к своим друзьям в Риме, чтобы получить средства, которые приведут к желаемой цели. Корабль, доставивший письмо принца в Рим, взял с собой множество других посланий от куда более важных людей - все они со странным единодушием дышали одним и тем же смыслом: "Метелл плохо управляет войной, Марий должен стать полководцем". Их писали рыцари из провинции - одни офицеры армии, другие главы торговых домов[1062] - своим друзьям и агентам в Риме. Все эти корреспонденты не получали прямых просьб от Мариуса, но каким-то таинственным образом надежда на мир в Африке стала неразрывно связана с его именем. Центральное бюро великой меркантильной системы скоро будет работать в его пользу. Кто сможет противостоять этому? Конечно, не сенат, все еще сотрясаемый Мамилиевым законом, и тем более не народ, которому нужно было лишь новое предложение, чтобы изменить характер нападения. Казалось, все работает на Мария.

Вскоре выяснилось, что, кем бы ни был будущий полководец Нумидии, ему предстоит настоящая война; борьба внезапно оживилась, и один из немногих постоянных успехов Рима был уничтожен в одно мгновение хитростью пробудившегося Югурты. О приготовлениях короля можно было догадаться по их результатам; их первый результат стал полной неожиданностью, ибо мало кто мог предположить, что личное влияние монарха, отдавшего так много за ускользающую надежду на безопасность и едва не ставшего пленником в римских рядах, проявится в самом сердце страны, которую считали умиротворенной и теперь удерживали римские гарнизоны. Город Вага, предполагаемый источник снабжения армии, наступающей на юг или запад, место активной торговли и обитания купцов из многих стран, торговавших под эгидой римского мира и римского гарнизона, расположившегося в цитадели, внезапно был взбужден посланием царя и ответил на призыв вспышкой искренней преданности - преданности, возможно, усиленной ненавистью местных жителей к путям иноземных торговцев. Самообладание патриотов-заговорщиков было столь же

достойно восхищения, как и их преданность делу, которое едва не было потеряно. Многие сотни людей, должно быть, знали об этом плане, но ни одно слово не достигло ушей тех, кто отвечал за безопасность города. Даже самый бедный заговорщик не мечтал о богатстве, которое можно было бы получить от продажи столь обширной тайны, а римлянин был так же невежественен в скрытом значении поведения местных жителей, как и в тонкостях родного языка. Во взгляде и жесте он не мог прочесть ничего, кроме дружеского расположения к себе, и с готовностью принял приглашение на светский прием, который должен был поставить его в зависимость от хозяина.[1063] Третий день с того дня, когда заговор был впервые задуман, предоставлял прекрасную возможность для нападения, которое должно было быть незамеченным и не встретить сопротивления. Это был день великого национального праздника, на котором праздное времяпрепровождение сменялось работой, и каждый старался на время прогнать побуждения тревоги и страха. Офицеры гарнизона были приглашены своими знакомыми в городе разделить с ними домашнее торжество. Они вместе со своим комендантом Титом Турпилием Сианом отдыхали на пиру в домах своих хозяев, когда прозвучал сигнал. Трибуны и центурионы были уничтожены до единого человека; пощадили только Турпилия; затем заговорщики обратились к рядовому составу римских войск. Положение их было плачевным. Разбросанные по улицам, без оружия и без предводителя, они видели, как праздничная толпа вокруг них внезапно превратилась в свирепую толпу. Даже те представители низших сословий, которые до сих пор не были замешаны в убийственном заговоре, вскоре стали наступать им на пятки; некоторых из них заговорщики преследовали, другие видели только, что начались беспорядки, и одно лишь радостное осознание этого факта подстегивало их к бессмысленному безумию нападения. Римские солдаты были всего лишь жертвами; не было ни единого шанса на борьбу, которая сделала бы жертву дорогой или даже трудной.[1064] Цитадель, в которой висели их щиты и штандарты, была занята врагами; когда они стремились к городским воротам, то находили их закрытыми; когда они поворачивали назад на улицы, линия ярости была глубже, чем прежде, потому что женщины и дети на крышах домов бросали камни или любые снаряды, которые попадались под руку, в ненавистных чужеземцев внизу. Сила и ловкость были бесполезны, они не могли даже продлить агонию; ветераны и новички, храбрые и трусливые были сражены или срублены с одинаковой легкостью и быстротой. Только одному человеку удалось проскользнуть через ворота. Это был сам комендант Турпилиус. Даже снисходительное мнение о том, что счастливый случай или жалость хозяина подарили ему свободу, не избавило его от пятна, которое тиранические традиции римского оружия накладывали на каждого командира, решившего выжить после расправы над вверенной ему дивизией[1065].

Когда весть об этом дошла до Метелла, убитый горем полководец зарылся в свою палатку. 1066] Но его первое горе вскоре прошло, и мысли обратились к плану мести вероломному городу. Быстро и тщательно разрабатывался этот план, и к заходу солнца были сделаны первые шаги к возвращению Ваги. В сумерках он покинул свой лагерь с легионом, расквартированным в его собственных кварталах, и таким большим отрядом нумидийской конницы, какой только смог собрать. И конные, и пешие были экипированы слабо, ведь он рассчитывал на сюрприз, и ему предстоял долгий и тяжелый ночной марш. Через три часа после восхода солнца на следующий день он все еще мчался вперед. Уставшие солдаты просили остановиться, но Метелл подбадривал их, указывая на близость цели (Вага, по его словам, находилась всего в миле от них, за линией холмов, закрывавших им обзор), на святость дела мести, на уверенность в богатой награде за грабеж. Он приостановился, чтобы переформировать своих людей. Кавалерия расположилась в открытом порядке в фургоне;

пехота следовала в колонне, настолько плотной, что издалека нельзя было различить ничего характерного в их снаряжении или организации, а штандарты были тщательно спрятаны.[1067] Когда жители Ваги увидели, что на их город надвигается войско, первое и правильное впечатление заставило их закрыть ворота; но два факта вскоре убедили их в ошибке. Предполагаемый враг не пытался опустошить их земли, а всадники, скакавшие у стен, были явно нумидийской крови. Это сам царь, кричали они, и с восторженной радостью высыпали из ворот навстречу ему. Римляне наблюдали за их приближением; затем по сигналу сомкнутые ряды разомкнулись, и каждое подразделение бросилось выполнять свою задачу. Одни атаковали и рубили на куски беспомощную толпу, выпавшую на равнину; другие захватывали ворота, третьи - теперь уже не защищаемые башни на стенах. Всякое чувство усталости внезапно исчезло из конечностей, возбужденных жаждой мести и грабежа. Резня была беспощадной, а поиски добычи - такими же тщательными, как и сама резня. Война еще не давала такого приза, как этот великий торговый город. Его разрушение было потерей для полководца, равно как и для солдат; но необходимость скорейшего возмездия победила все остальные чувства в голове Метелла. Римское наказание было столь же быстрым, сколь и верным, если между грехом и страданиями людей Ваги прошло всего два дня. Оставалась еще мрачная задача. Необходимо выяснить, каким образом коменданту Турпилию удалось спастись невредимым во время резни. Это расследование стало горьким испытанием для Метелла, ведь обвиняемый был связан с ним узами наследственной дружбы и получил от него командование над инженерным корпусом.[1068] Командование в Ваге было еще одним знаком благосклонности, и некоторые считали, что Турпилий слишком хорошо оправдал надежды своего командира и что именно его гуманность и забота о горожанах под его командованием предложили ему такие средства спасения, от которых отказались бы только самые решительные. [1069] Но скандал был слишком серьезным, чтобы допустить частное расследование, в котором честь армии могла быть принесена в жертву капризу дружеского суждения Метелла. Само его знакомство с обвиняемым обязывало к холодной беспристрастности, и Турпилий не нашел ни доверия, ни оправдания той истории, которую он поведал членам суда, решавшего его дело. Суровый взгляд на Мариуса особенно вспоминался в свете последующих событий. Факт или вымысел, что именно Марий сам вынес приговор и подтолкнул своих братьев-судей к вынесению отрицательного решения, был подхвачен собирателями сплетен, всегда готовыми обнаружить злобный мотив в действиях человека, который никогда не забывал, и вошла в прозаическую эпопею "Гнев Мариуса", которая впоследствии украсила мемуары великого, став историей о том, как неумолимый лейтенант, злобно пренебрегая собственными убеждениями, заставил Метелла совершить необъяснимую ошибку, обрекая друга-гостя на недостойную смерть.[1070] Смерть была применена со всем варварством римского военного права; Турпилия бичевали, а обезглавили,[1071] и благодаря этому окончательному искуплению эпизод с Вагой остался для многих умов еще более мрачным ужасом, чем прежде.

Однако восстановление восставшего города принесло много пользы. Правда, в своем нынешнем состоянии он был почти бесполезен для его владельцев; но его судьба должна была приостановить развитие восстания в других городах, а быстрота передвижения Метелла помешала ближайшим планам Югурты. Вероятно, царь рассчитывал, что Вага станет второй Замой и что римляне будут сдерживаться ее крепкими стенами, пока он сам будет нападать на их тылы или атаковать их лагерь. Теперь же место для успешной партизанской войны нужно было искать в другом месте. Ее выбор зависел от передвижений римской армии; но время начала новой борьбы было отложено дольше, чем могло бы быть, из-за внутренней опасности, которая, хотя и утвердила короля в его решимости бороться до победного конца, на время поглотила его внимание и затруднила его действия в поле. Переговоры Бомилькара с Римом приносили свои смертельные плоды.[1072] Министр стал

жертвой той муки ожидания, которая возникает после провала коварного замысла, когда причина его неизвестна. Почему король прервал переговоры? Подозревал ли он сам себя? Уменьшится ли опасность, если он останется спокойным? Возможно, она увеличится, ведь опасность со стороны Рима все еще существовала, и к ней добавился новый ужас перед местью повелителя, чьи подозрения, как казалось его испуганной душе, проявлялись в холодном пренебрежении. Бомилькар решил, что ему грозит только одна опасность, и пустился в интриги, куда более опасные, чем все, которые он до сих пор затевал. Он больше не действовал через подчиненных и не обращался к эмиссарам Рима. Он стремился к внутренней революции, к падению короля руками его слуг - удар, который он мог бы продемонстрировать сюзерену как свою заслугу, - и взял себе в доверенные лица человека своего ранга и в данный момент более влиятельного, чем он сам. Набдалса стал новым фаворитом Югурты. Он был человеком высокого происхождения, обладал огромным богатством, пользовался большой и доброй славой в районе Нумидии, которым он правил. Его слава и власть возросли благодаря тому, что его назначили командовать теми войсками, которые царь не мог возглавить лично, и теперь он действовал с армией на территории между штаб-квартирой Югурты и зимним лагерем римлян, а его задача состояла в том, чтобы не допустить безнаказанного захвата страны захватчиками. Причина, по которой он прислушался к предложениям Бомилькара, неизвестна; возможно, он слишком хорошо знал военную ситуацию, чтобы верить в конечный успех своего господина, и стремился обеспечить себе территориальную власть, вызывая к благодарности Рима. Но у него не было побуждений своего соратника к поспешному исполнению; и когда Бомилькар предупредил его, что время пришло, его разум был потрясен масштабами деяния, которое было лишь предreshено в двусмысленной и неопределенной форме. Время встречи пришло и прошло. Бомилькар был охвачен нетерпеливым страхом. Сомнительное отношение его соратника открывало новые возможности для опасности; к старому ужасу добавился новый, и побуждение к отпору удвоилось. Его тревога нашла выход в коротком, но яростном письме, в котором мрачные предсказания последствий промедления смешивались с яростными протестами и призывами. Югурта, убеждал он, обречен, обещания Метелла могут в любой момент погубить их обоих, а выбор Набдалсы лежал между наградой и пытками[1073].

Когда это послание было доставлено верной рукой, генерал, уставший душой и телом, растянулся на кушетке. Пламенные слова не пробудили его пыл; они еще глубже погрузили его в череду тревожных мыслей, пока крайняя усталость не уступила место сну. Письмо лежало на подушке. Вдруг дверь палатки бесшумно приподнялась. Его верный секретарь, считавший, что знает все секреты своего хозяина, услышал о прибытии курьера. Его помощь и умение будут необходимы, и он предвидел, что Набдалса потребует его присутствия. Письмо привлекло его внимание; он легко взял его в руки и прочел, как по долгу службы - ведь он не занимался всеми письмами, и разве могла быть какая-то тайна в столь небрежно положенной бумаге? Заговор впервые мелькнул в его глазах, и он выскользнул из шатра, чтобы поспешить с драгоценным письмом к королю. Когда Набдалса проснулся, его мысли обратились к письму, которое мучило его последние минуты сна. Его не было, и вскоре он обнаружил, что его секретарь тоже исчез. Бесплодные попытки преследовать беглеца убедили его, что единственная надежда - на милосердие, благоразумие или доверчивость Югурты. Поспешив к своему господину, он заверил его, что услуга, которую он собирался оказать, была предвосхищена предательством его иждивенца; пусть царь не забывает их тесной дружбы, его доказанной верности; это должно освободить его от подозрений в участии в столь ужасном преступлении.

Югурта ответил примирительным тоном.[1074] Ни тогда, ни впоследствии он не выдал никаких следов бурных эмоций. Бомилькар и многие его сообщники были преданы смерти

быстро и тайно; но было нехорошо, что слухи о широко распространенной измене распространились за границей. Притворство безопасности было средством обеспечения безопасности, и он слишком многого требовал от своих нумидийцев, чтобы проявить даже ту суровость, которую считал своей обязанностью. И все же считалось, что с этого момента жизнь Югурты изменилась. Шептались, что смелый воин и бесстрашный правитель искал глазами темные углы и вздрагивал от внезапных звуков, что ночью он менял свои спальные покои на какое-то странное и часто скромное место отдыха, что иногда в темноте он вскакивал со сна, выхватывал меч и громко кричал, словно обезумев от ужаса своих снов.

Известие о падении Бомилькара выбило из головы Метелла последнюю слабую надежду на то, что война может быть быстро завершена немедленной капитуляцией Югурты,[1075] и он начал серьезно готовиться к новой кампании. В новой борьбе он должен был лишиться услуг своего лучшего офицера, так как Марий наконец-то добился своего и получил от своего командира запоздалое разрешение отправиться в Рим за призом, который, несомненно, в неосведомленных кругах лагеря все еще считался совершенно недостижимым для него. Согласие, хоть и запоздалое, в конце концов было дано с доброй волей, поскольку Метелл начал сомневаться в целесообразности держать рядом с собой лейтенанта, чье беспокойное недовольство и растущая обида на своего начальника не поддавались никакому сокрытию. Марий, должно быть, жалел, что его полководец не впал в ярость раньше, ведь отпуск был отложен до того времени, которое отвратило бы менее напряженный ум от всяких мыслей о политической кампании в текущем году. Однако промедление могло оказаться роковым; война могла завершиться ослепительно, прежде чем снова состоятся консульские выборы; политическое равновесие в Риме могло измениться; необходимо было сразу же собрать урожай меркантильной жадности и народного недоверия, который был так тщательно подготовлен. Возможно, что обычная дата выборов уже прошла, и только отсрочка комиций дала Марию шанс на успех. 1076] Но и тогда он был ничтожным, так как в более поздние времена считалось, что он получил отпуск лишь за двенадцать дней до дня, назначенного для объявления консулов. 1077] За два дня и одну ночь он преодолел расстояние между лагерем и Утикой. Здесь он остановился, чтобы принести жертву перед отплытием в Италию. Ободряющие слова жреца, читавшего предзнаменования[1078], похоже, были подтверждены удачей его плавания. Благоприятный ветер перенес его за четыре дня через море, и он достиг Рима, где нашел людей, жаждущих его присутствия в качестве венца народного движения, восхитительного в своей новизне и принятого с неподдельным энтузиазмом массами, которые полностью осознавали, что существует некая ошибка неопределенного рода, которую нужно исправить, и в целом, возможно, были в блаженном неведении относительно интриг, которыми они были движимы. Однако у мыслящей части общества были основания для негодования и тревоги. Нумидийцы не просто наносили ущерб тем, кто был заинтересован в африканских финансах, но и задевали армию, которая была крайне необходима в других местах. Борьба на севере складывалась для Рима неудачно, и недавно депеши принесли известие о поражении консула Силана от огромной и странствующей орды, известной как кимвры,[1079] которая, подобно угрожающей туче, висела по ту сторону Альп и могла в недалеком будущем прорваться за пределы Италии. Сенаторское правительство, хотя его положение и не подвергалось официальному нападению, было достаточно поколеблено маммианской комиссией, чтобы не доверять своей способности остановить неблагоприятный прилив; а Скавр, его главный оплот, в последнее время поступил настолько неразумно, что пошел на конфликт с конституционной процедурой таким образом, который не мог быть одобрен классом людей, для которых малейший прецедент политической жизни, который когда-то был стереотипом, являлся жизненно важным элементом управления. Он испортил великолепное проявление энергии во время своего пребывания на посту цензора - энергии, которая вылилась в восстановление

Мульвийского моста[1080] и в продолжение великой прибрежной дороги[1081] из Этрурии мимо Генуи в Дертону в бассейне По, - неконституционной попыткой продолжить работу на своем посту после смерти коллеги. Некоторые трибуны принудили его к отставке;[1082] и великий человек, кажется, все еще находился под мимолетным облаком, порожденным его собственным упрямым честолюбием, когда интриги всегда страшной коалиции меркантильных классов и народных вождей были завершены прибытием Мариуса.

Этому новому главе демократии досталась сравнительно легкая роль. Если бы ему нужно было убеждать, он, вероятно, потерпел бы неудачу, так как ему не хватало дара оратора и гибкости интригана; но от него ожидали только подтверждения, и лучшее подтверждение можно было получить от его воинственной осанки и грубых манер, а не от его неловких слов. Говорить могли другие, более опытные в этом искусстве; несколько слов сурового подтверждения от этого живого образца добродетели народа - вот и все, что требовалось. За порицанием Метелла последовало обещание, что он возьмет Югурту живым или мертвым.[1083] Порицание и обещание послужили текстом для пламенного потока оппозиционных ораторских выступлений. Угрозы привлечь Метелла к уголовной ответственности смешивались со страстными заверениями в вере в настоящего солдата, способного защитить честь Рима. Волнение охватило даже более ленивый городской сброд. Честные ремесленники, которых обычно не трогали бредовые формы политики, и даже экономные крестьяне,[1084] для которых время в это напряженное время года означало деньги, были втянуты в толпу, которая смотрела на Мариа и слушала пламенные слова его сторонников. Против такого скопления людей аристократия и ее иждивенцы не могли ничего противопоставить. Люди, пришедшие послушать, остались, чтобы проголосовать, и вековое голосование дало "новому человеку" право стать коллегой Луция Кассия Лонгина. Но этот триумф был лишь прелюдией к другому. Трибун Тит Манлий Манцин спросил народ, собравшийся теперь в плебейском собрании триб, кого он желает видеть в войне против Югурты. Ответ "Марий" был получен подавляющим числом голосов, и решение, уже принятое сенатом, было отброшено. Этот орган, пользуясь своей законной властью, определил провинции, которыми должны были управлять консулы в следующем году.[1085] Нумидии среди них не было, так как она, несомненно, предназначалась Метеллу. Галлия же требовала присутствия консула и солдата, и сенат, хотя и не имел права назначить в эту провинцию определенного человека, возможно, предполагал, что Марию, в случае его избрания, будет поручена ее оборона. Если бы это решение было принято, пути Мариа и Метелла перестали бы пересекаться; нумидийская война, требовавшая терпения и дипломатии, но не гения, могла бы постепенно сойти на нет, а варвары Севера уступили бы своему будущему победителю еще до того, как завели мрачную летопись триумфов над оружием Рима. Но этому не суждено было случиться. Триумф партии был бы неполным, если бы выдвиженец сената не был отстранен от командования. Мы не можем сказать, разделяли Марий ту слепоту, которая видела в Нумидии более славное поле для военной энергии, чем в Галлии; личное соперничество и политические страсти, возможно, уже притупили инстинкты солдата. Но каковы бы ни были его мысли, его действия определялись превосходящей силой. Он был всего лишь пешкой в руках трибунов и капиталистов; он давал обещания, которые порождали надежды, определенные коммерческие и смутные политические. Эти надежды он должен был воплотить в жизнь. Перед отъездом из Рима он нашел слова[1086], которые выплеснули всю злобу классов, отгороженных от власти тесным кольцом знати. Банальности заслуг, проверенных честной службой и подтвержденных отличиями, полученными на войне, были выдвинуты против претензий рождения; роскошная жизнь знати была осуждена на том основании, что чувственность является препятствием для энергии и эффективности; даже элегантный и добросовестный вкус культурного командира, который восполнял недостатки опыта чтением греческих работ по военной тактике во время

своего путешествия к месту войны, был подвергнут критике как знак того, что тщеславный и невежественный любитель узурпировал задачи, принадлежащие испытанному и выносливому эксперту.[1087] К счастью, энергия Мариуса была лучше потрачена на дела, чем на слова. Вопрос о том, действительно ли африканская война требовала более энергичной армии, чем та, что служила под началом Метелла, остается открытым. Марий делал вид, что необходимость в ней очевидна, и проявлял величайшую энергию, избивая легионеров-ветеранов и привлекая на свою сторону тех латинских союзников, которые уже успели зарекомендовать себя на службе.[1088] Сенат протягивал ему руку помощи. Ничто не было так непопулярно, как резкие сборы, и фаворит мог потерпеть неудачу, когда призвал к исполнению храбрых речей, которые звучали со всех сторон. Но доверие к новому полководцу развеяло все надежды; новобранцы шли к славе, а не к опасности, и дополнительная армия, которая должна была предотвратить призрачную опасность и спасти воображаемое положение, вскоре была зачислена. Подобная демонстрация уже не раз происходила в Риме; энергия амбициозного полководца с прискорбной частотой порицала леность или самоуверенность его предшественника, и Марий лишь следовал по стопам Бестии и Альбина. Настоящие заслуги Мария заключались в том, что он освободился от странного суеверия, которое до сих пор владело умами даже лучших полководцев, созданных поздней Республикой. Они продолжали придерживаться теории, что эффективный солдат должен быть человеком со средствами, - убеждения, унаследованного от простых дней пограничной войны, когда каждый новобранец поставлял свое снаряжение, а безземельный человек мог служить только в качестве полувооруженного стрелка. Уже несколько веков этот принцип разрушался. Огромные силы, необходимые для внешних войн, требовали более широкой территории для призыва; но эта территория, определяемая старыми условиями службы, не только не увеличивалась, но и становилась все меньше. В эпоху Полибия минимальный ценз, необходимый для службы в легионах, опустился с одиннадцати тысяч до четырех тысяч ассов;[1089] позднее он был снижен до еще более низкого уровня;[1090] но, несмотря на эти уступки необходимости, сенат отказывался принять урок, преподанный военными потребностями государства и социальным состоянием Италии, что империя не может быть гарнизонирована армией призывников. Юридическая сила, позволяющая осуществить радикальное изменение, давно находилась в их руках; ведь бедный пролетариат Рима, который закон описывал как людей, оцениваемых "по головам", а не по их имуществу, вероятно, был обязан нести военную службу любого рода в случае необходимости.[Возможно, это был простой консерватизм, возможно, слабое восприятие истины о том, что вооруженный сброд любит людей, а не учреждения, и осознание того факта, что власть знати над столицей ослабнет, если их клиентам будет позволено облачиться в доспехи, которые делают их мужчинами, удерживали сенат в узких рамках устаревших правил. К счастью, методы формирования армии почти полностью зависели от усмотрения генерала, взявшегося за дело. Если он использовал призыв в манере, не оправданной конвенцией, он мог встретить сопротивление и призывы; но если он решил пригласить на службу, не было власти, которая могла бы предписать конкретные способы, в которых он должен использовать части, которые стекались под его знамена. Именно этот последний метод и был принят Мариусом. Он не стал напрягать свою популярность и вступать в конфликт с сенатскими трибунами, принуждая к иностранной службе оборванных вольноотпущенников, которые приветствовали его как спасителя государства; он пригласил их на помощь в славном деле и попросил быть его товарищами в триумфальном продвижении, которое лежало перед ним.[1092] Дух авантюризма, если не патриотизма, был затронут: на призыв охотно откликнулись, и крепкие конечности, которые бездельничали на улицах или тщетно пытались обеспечить пропитание любимому рабу, стали орудиями, с помощью которых государство должно было быть сначала защищено, а

затем и управляемо. Призыв в армию по-прежнему оставался вынужденным средством; но создание первой наемной армии Рима указало на способ, с помощью которого любой будущий полководец мог избежать трений и непопулярности, которые часто сопровождали принуждение к службе. Нововведение Мария было достаточно поразительным, чтобы вызвать комментарии и догадки. Некоторые полагали, что армия была демократизирована в угоду консулату, и что массы, видевшие в возвышении Мария реализацию смутных и отстраненных амбиций бедняков, будут и дальше обеспечивать надежную поддержку созданной ими власти.[Не исключено, что Марий, зная тон армии Метелла, хотел создать для себя обстановку, которая сформировала бы нрав его будущих офицеров; но те более дружелюбные критики, которые считали, что его непосредственной целью была эффективность и что "плохие" были выбраны только потому, что "хороших" было мало,[1094] предположили причину, которая, вероятно, была доминирующей в качестве мотива и, безусловно, адекватной в качестве защиты. Ни консулу, ни его критикам не приходила в голову мысль о конечной победе личности над государством с помощью преданных солдат. Республика все еще была священна, какими бы нездоровыми ни считались ее главные органы; и хотя Марий должен был дожить до зловещих плодов своей реформы, урожай должен был собрать соперник, а первыми плодами насладиться сенат, которому этот соперник служил.

Пока шло избрание Мария, его назначение в Нумидию и подготовка к кампании, война проходила через свои обычные фазы стычек и осад. Некоторое время о царе нельзя было получить никаких определенных известий; в один момент сообщалось, что он находится вблизи римских линий, в другой - что он похоронен в уединении пустыни;[1095] раздражение, вызванное его сбивчивыми изменениями планов, было отомщено толкованием, что это симптомы расстройства ума; Говорили, что его старые советники разбежались, а новым он не доверял; считалось, что он изо дня в день менял свой маршрут и своих офицеров, отступал или возвращался назад, когда ужасы подозрений и отчаяния чередовались со слабой надеждой на то, что еще можно выстоять. Лишь однажды он столкнулся с Метеллом.[1096] Место стычки неизвестно, а ее результат был нерешителен. Говорят, что нумидийская армия была удивлена и поспешно собралась для битвы. Дивизия, возглавляемая царем, оказала короткое сопротивление; остальные части сразу же уступили римскому натиску. Несколько штандартов и оружия, горстка пленных - вот и все, что досталось победителям в награду за их триумф. Проворный враг исчез за пределами всякой надежды на пленение или преследование.

Через некоторое время пришло известие, что царь с частью своих конных войск и римскими дезертирами, чье отчаяние обеспечило им верность, направился в южную пустыню. Он затворился в Тале,[1097] большом и богатом городе, куда уже были перевезены его сокровища и дети. Этот город лежал примерно в тринадцати милях к востоку от оазиса Капса, а между римлянами и убежищем царя простиралась мрачная и безводная пустыня. Ни одна римская армия ни в одной из частей кампании не пыталась проникнуть в такие бескрайние области, и двор в Тале, возможно, считал, что даже это предвкушение пустыни будет адекватной защитой от врага, который цеплялся за города и возделанные земли и полагался, в громоздкой манере цивилизованной войны, на организованные линии связи. Но известие о том, что Югурта наконец-то занял позицию, прочность которой, а также присутствие в ее стенах его семьи и сокровищ, может послужить мотивом для длительного пребывания в городе и даже побудить к решению удерживать его вопреки всем опасностям, вселило в Метелла надежду, которую неловкая политическая ситуация в Риме, должно быть,

сделала более реальной, чем она того заслуживала. Конец войны может быть уже близок, если только он сможет пересечь эту полосу горящих земель. Его план быстро сформировался. Бремя багажных животных было сведено к десятидневному запасу кукурузы; на их спины были положены шкуры для воды; с полей был согнан домашний скот, и они были нагружены всеми видами сосудов, которые можно было собрать в нумидийских усадьбах. Жителям деревень, расположенных поблизости от места недавней победы, которых бегство царя сделало на время покорными слугами Рима, было велено принести воду в определенное место, и был назначен день, в который это поручение должно было быть выполнено. Собственные сосуды Метелла были наполнены из реки, и начался быстрый марш к Тале. Место отдыха было достигнуто, и лагерь был разбит; вода оказалась в большем изобилии, чем можно было ожидать или просить, так как сильный ливень сделал плеторические шкуры, подаренные пунктуальными нумидийцами, почти ненужной роскошью и, как счастливое предзнаменование, взбодрил души солдат не меньше, чем освежил их тела.[1098] Преданные жители деревни также принесли неожиданно большой запас кукурузы, так хотелось им дать убедительное доказательство своей новообретенной лояльности. Но прошел еще один день, и стены Талы оказались в поле зрения. Жители были удивлены, но не встревожены; они стали готовиться к осаде, а их король исчез в пустыне вместе со своими детьми и большей частью накопленных богатств. Надеяться на то, что Югурта попадет в такую ловушку, было слишком сложно. Альтернативными перспективами для Талы были немедленный захват или осада, настолько длительная, насколько позволяла природа территории. В последнем случае вокруг города будет выставлено оцепление, а за голову мятежника, вероятно, назначат цену. Странно, что отчаянная группа дезертиров не сопровождала короля в его бегстве. Возможно, не было времени для отступления столь крупных сил, или же мощь и запустение места могли вселить в них уверенность в успехе. Но на худой конец, у них был сюрприз для своих бывших товарищей, которые теперь бились о стены.

Метелл, несмотря на то, что избавил своих животных от лишних вещей в лагере, должен был взять с собой осадный обоз; было бы безумием пытаться штурмовать укрепленный город без необходимых инструментов для атаки. Похоже, что в своих рядах вокруг Талы он имел все необходимое для блокады; даже доски для больших подвижных башен были наготове.[1099] Двигатели вскоре были установлены на искусственной насыпи, возведенной трудом войска, солдаты продвинулись вперед под прикрытием мантий, и тараны начали бить по стенам. В течение сорока дней мужество осажденных испытывало терпение нападавших, уже измотанных тяготами долгого форсированного марша. Если бы человеческая выносливость была решающим фактором, Метелл, возможно, был бы вынужден отступить. Но стена Талы оказалась слабее духа ее защитников; часть вала рухнула под ударами тарана, и победоносные римляне бросились внутрь, чтобы захватить грабеж города-сокровища. Но вместо этого они увидели сгоревшие богатства и человеческие жертвы. В царский дворец ворвались дезертиры из римской армии, которых оставил Югурта. Они принесли золото, серебро и драгоценные вещи, которые составляли славу города. Был устроен пир, который продолжался до тех пор, пока пирующие не наелись мяса и вина. Затем дворец был подожжен, и когда разбойничья толпа римлян добралась до средоточия городских богатств, они нашли лишь тлеющие следы неутоленной мести и разочарованной жадности.

Взятие Талы было одним из тех успехов, которые могли бы иметь большое значение, если бы удалось ограничить территорию войны или сдержать недовольство, охватившее теперь почти всю Северную Африку. Граница пустыни была еще только достигнута; царь бежал за нее; юг и запад вскоре должны были охватить пожары; вскоре мы увидим, как Метелл будет вынужден занять свою позицию на севере; а небольшой инцидент, произошедший во время

пребывания Метелла в Тале, показал, что даже города далекого востока, которые никогда не находились под непосредственной властью нумидийцев, колеблются в своей привязанности к Риму. Большой Лептис, расположенный на территории Трех городов между заливами, отделявшими римскую Африку от территории Киринеи, с самого начала войны искал дружбы и союза с Римом. Будучи сидонским поселением,[1100] он, как и большинство торговых городов, стремившихся к мирной жизни, предпочел протекторат Рима протекторату соседних династий и с готовностью откликнулся на призывы Бестии, Альбина и Метелла.[1101] Помощь, которую он оказывал, должна была поступать по морю, так как он находился более чем в четырехстах милях по суше от обычной сферы римских операций; но комиссариат римской армии был настолько серьезной проблемой, что корабли лептисцев, должно быть, всегда были желанным гостем в порту Утики. Теперь стабильность их конституции и служба Риму оказались под угрозой из-за амбиций могущественного вельможи. Этот Гамилькар пренебрегал властью законов и магистратов, и Лептис, писали они, будет потерян, если Метелл не пришлет своевременную помощь. Четыре когорты лигурийцев с префектом во главе были отправлены в верное государство, и римский полководец повернул навстречу более серьезным опасностям, грозившим на западе.

Югурта с горсткой своих людей пересек пустыню и теперь находился среди племен гаэтулов,[1102] которые простирались от пределов его собственных владений далеко за южную границу его брата, короля Мавретании. Теперь его взоры были обращены на запад; люди пустыни, король мавров, были бы безошибочным средством продления войны с Римом, если бы можно было заручиться их помощью. Ни одна римская армия еще не осмеливалась проникнуть даже в Западную Нумидию, и такое предприятие было бы еще более безнадежным, чем когда-либо, если бы кочевые племена пустынной границы и Бокк Мавретанский окружили этот район мириадами конных людей, которые могли бы в любой момент прочесать его от точки до точки и в мгновение ока уничтожить все трудовые усилия по оккупации, которые мог предпринять Рим. Гетульцы, хотя и были, возможно, кочевниками, не были варварским народом. Они торговали со средиземноморскими городами пурпурной краской, материал для которой собирали на атлантическом побережье; их купцов иногда можно было увидеть на рынке в Цирте;[1103] но как боевые люди они не обладали даже той организацией, которой достигли нумидийцы, и Югурта, пока искал или покупал их помощь, был вынужден учить их основам дисциплинированного ведения войны. Постепенно они научились держать строй, следовать стандартам, ждать команды, прежде чем броситься на врага;[1104] эти необученные воины, должно быть, были движимы главным образом любовью к приключениям, жалованью или грабежу, или были впечатлены величием беглеца, внезапно появившегося среди их племен; у них не было ненависти или прежнего страха перед силой Рима, поскольку большинство гетульских вождей не знали даже названия императорского города[1105].

Однако это название уже давно было на уме у царя, управлявшего северными соседями гетульцев, и именно к страхам или надеждам Бокха Мавретанского обратился теперь Югурта с целью получить вспомогательные силы, превосходящие те, которые он сам мог выставить на поле боя. У него были претензии к мавританскому царю, которые могли бы иметь силу в стране, где не преобладало многоженство, поскольку он был мужем дочери этого монарха; но рассеяние привязанности среди множества жен и их потомства не позволяло связи с зятем быть особенно крепкой.[1106] Однако были и другие мотивы, которые могли подтолкнуть царя к действию. Его ранние предложения Риму были отвергнуты, и это пренебрежение, должно быть, вызвало в его душе чувство тревоги, а также уязвленной гордости. Если Рим завоеует Нумидию, она может стать его соседом. Каково в таком случае будет положение Мавретании, не связанной никакими дружескими или союзными узами с

государством-завоевателем? Если бы Вакх присоединился к Югурте, он сразу же стал бы державой, с которой Риму пришлось бы иметь дело. Союзник, оторванный от врагов, часто становился самым верным другом; именно так была обеспечена власть Масиниссы и увеличено его царство. Если Югурта одержит победу, римляне будут держаться на расстоянии; если он проявит признаки неудачи, то отступничество Бокха можно будет купить дорогой ценой. Игра, в которую он вступил, была абсолютно безопасной; он мог оказаться проигравшим только в том случае, если в критический момент рыцарские или национальные чувства вмешаются в планы расчетливого благоразумия. В его положении было крайне необходимо навязать руку римскому полководцу и римскому сенату; а пока он сохранял непредвзятость и смотрел, не удастся ли надолго удержать в узде ту силу, которой он боялся.

Возможно, именно с такими мыслями Бокк подчинился наставлениям своих советников, когда те настояли на встрече с Югуртой.[1107] Это была встреча равных, а не просителя и его защитника. Нумидийский царь снова возглавил собственную армию и, после того как клятва союза была дана и принята, в своих собственных интересах увещевал тестя присоединиться к войне, которая была столь же необходимой, сколь и справедливой. Римляне, указывая на то, что из-за своей жажды завоеваний стали общими врагами человечества. Достаточно взглянуть на то, как они обращались с Персеем Македонским, с Карфагеном, с самим собой. Кем же был Бокх, что только он один должен быть защищен от такой опасности? Настроение царя откликнулось на слова Югурты, и, не медля ни секунды, они вместе вышли на поле боя. Югурта настаивал на оперативности, так как знал переменчивый нрав своего родственника и опасался, что даже небольшая задержка охладит его решимость к решительным действиям.

Сцена войны теперь с удивительной внезапностью смещается на север и впервые сосредотачивается вокруг стен Цирты.[1108] Метелл, очевидно, был привлечен с юга новостями об угрожающей коалиции; ведь если бы территории у побережья не были защищены, мавретанцы могли бы пронестись, как разрушительный ураган, над землями, которые могли бы с некоторой долей справедливости считаться владениями Рима. Цирта теперь находится на умиротворенной территории, и, хотя у нас нет сведений о том, когда она была потеряна Югуртой,[1109] ее обладание римлянами не должно вызывать удивления. Возможно, он был потерян в ранний период войны, поскольку нет никаких признаков того, что Югурта использовал его в качестве военной или политической столицы, и если, несмотря на резню, последовавшую за его захватом у Адербала, в городе оживилась многонациональная торговая жизнь, то привязанность города к Риму была бы гарантирована при известии об ослаблении удачи его царя. Сдача города была, безусловно, мирной, а сила, которая могла бы бросить вызов оружию Рима, сделала его неспособным к восстановлению прежним владельцем. В Цирту Метелл перевел своих пленников, добычу и багаж,[1110] и именно на Цирту оба царя двинулись со своими грозными силами. Югурта был движущей силой этого предприятия: по его замыслу, даже если город не удастся взять, римляне будут вынуждены прийти на его поддержку, и под его стенами произойдет сражение. Теперь битва была делом решенным, ведь никогда еще ему не приходилось сталкиваться с врагом, имеющим на своей стороне большее количество войск.

Метелл в полной мере осознавал изменение ситуации. В последнее время он наседали на Югурту по любому поводу; теперь же он сдерживался и ждал благоприятного случая. Прежде всего он хотел узнать что-нибудь о боевом духе и методах мавров;[1111] они были неопытным противником, а римский успех обычно был плодом знаний, а не экспериментов. Он ждал в своем укрепленном лагере под Циртой, наблюдая за событиями, когда из Рима пришли новости, которые доказали ему, что осторожное бездействие теперь не просто мудрая, а единственная политика. Новости, пришедшие в письме, были ошеломляющей силы. Метелл

уже узнал об избрании Мария консулом. Это известие должно было подготовить его к худшему; но гордый человек, осознающий свои заслуги, не станет предвкушать событие, которое, хотя и вероятно, но кажется невероятным. И все же оно предстало перед ним в черно-белом свете. Он был смещен со своего поста, и провинция Нумидия принадлежала Мариусу.[1112] Не было никакой претензии на сдержанность; слезы навернулись ему на глаза, горькие слова потекли с его губ. Спорили, была ли тайной его гнева природная гордость или чувство незаслуженной несправедливости, или же он считал (как думали многие), что уже одержанная победа вырывается из его рук. Но можно с уверенностью предположить, что его горе не было бы столь бурным, если бы его преемником стал кто-либо, кроме Мариуса.

Рисковать поражением в тот момент, когда командование ускользает из его рук, казалось Метеллу верхом безрассудства; но даже если бы у него не было этого дополнительного мотива для бездействия, ситуация, вероятно, заставила бы его повременить и попытаться распустить враждебную коалицию дипломатическим путем. Поэтому он отправил послание Бокху, призывая его серьезно обдумать принятый им образ действий.[1113] Перед ним все еще была открыта возможность стать другом и союзником Рима; почему он должен был занять эту безмотивную враждебную позицию? Дело Югурты было отчаянным; неужели король Мавретании хочет довести свою страну до такого же плачевного состояния? Это были первые слова, которые Бокк услышал о возможной конвенции с Римом; он набрал первое очко, но был слишком мудр, чтобы отдать партию. Прежде чем он снимет ужас своего присутствия, необходимо сделать конкретные предложения и дать надежные гарантии. Твердость и примирение должны были сочетаться в его ответе, который, когда он был произнесен, был одновременно милостивым и рыцарским. По его словам, он жаждал мира, но его мучила жалость к судьбе Югурты. Если бы последнему также дали возможность заключить соглашение с Римом, все можно было бы уладить. Метелл ответил другим посланием, составленным с учетом позиции, занятой царем; ответ Бокха был осторожной смесью согласия и протеста. Поскольку он не проявил нежелания продолжать дискуссию, Метелл провел оставшееся время своего пребывания на посту командующего в дальнейших переговорах. Посланники приезжали и уезжали, и война была практически приостановлена. Начались деликатные и многообещающие переговоры; оставалось только узнать, будут ли они терпеливо продолжены или грубо прерваны новым правителем Нумидии.

ГЛАВА VIII

Должно быть, уже наступило лето, когда Марий высадился в Утике со своими неопытными войсками. Ветераны были переданы ему легатом Рутилием[1114], так как Метелл скрылся от глаз этого человека, чей успех был основан на клеветническом нападении на его собственную репутацию. Должно быть, с тяжелым сердцем он совершил путешествие в Рим; ведь самый большой знаток настроений народа вряд ли смог бы предвидеть сюрприз, который ожидал его там. Народный пыл был растрочен, это была лихорадочная сила, которая перегорела; сельские избиратели, наконец, вспомнили о своей работе и вернулись на свои фермы; многие из самых активных и беспорядочных духов, беспокойных громкоголосых людей, которые являются мощным меньшинством в волнении, были удалены сбором Мария; в городской толпе покорность обычно чередовалась с революцией, и теперь она была склонна смотреть на приговор признанных глав государства. В этот момент реакции многие, должно быть, тоже были склонны задаваться вопросом, что, в конце концов, можно сказать против этого полководца, который никогда не проигрывал сражений, который завоевывал города и безжалостно мстил за единственную катастрофу, случившуюся не по его вине, который постоянно ставил перед собой беспомощным беглецом ужасного царя

Нумидии. Присутствие Метелла завершило работу, придав устойчивость этим полустертым взглядам. Простые люди - настоящие идеалисты. Они любят героя больше, чем жертву, хотя от поворота волоска часто зависит, какую роль сыграет объект их внимания. Теперь они последовали примеру сената; вернувшийся полководец был человеком дня[1115], он возвысил славу римского имени; и если не было вины, то могло быть только несчастье; но несчастье можно было компенсировать честью. Впереди маячила перспектива триумфа, этого смешанного источника чувственного удовлетворения и национального самодовольства. Так Метелл получил свои награды в Нумидийской войне: шествие по улицам Капитолия и добавление фамилии "Нумидикус" к и без того длинной номенклатуре его дома[1116].

Сама война под руководством Мария вскоре приняла тот характер, который она имела при всех его предшественниках. Оригинальность нового полководца, казалось, была израсходована на подбор войск; ни одной новой идеи не было внесено в ведение операций, которые возобновили свои старые формы предосторожностей от неожиданностей, изнурительных маршей из конца в конец Нумидии и осады крепостей, которые не успевали взять, как они оказывались вне зоны реальных боевых действий. Пожалуй, ни одна новая идея не была возможна, кроме той, что меняла оружие войны на дипломатию; но даже последняя попытка, предпринятая в этом направлении Метеллом, не была продолжена Марием. Бокк, не желая упускать представившийся шанс заключить определенный договор с Домой, неоднократно посылал ее новому представителю сообщения о том, что он желает дружбы римского народа и что не следует опасаться никаких враждебных действий с его стороны[1117], но его заявления были приняты с недоверием, и Марий, привыкший к двуличию африканского ума и отвергавший мнение, что царь действительно может колебаться между войной и миром, предпочел рассматривать их как коварное прикрытие для внезапного нападения. Последовавшая за этим пустынная кампания, похоже, была продиктована двумя мотивами. Первым из них было обучение сырых войск, только что привезенных из Рима; вторым - предполагаемая необходимость отрезать Югурту от опорных пунктов, которые он все еще удерживал на окраинах своего королевства. Поскольку этим границам теперь угрожали или командовали с юга гаэтулы, а с запада - мавретанцы, территория войны была не меньше, чем сама Нумидия; а поскольку занять такую территорию было невозможно, разрушение этих опорных пунктов, что было небольшой потерей для мобильного самообеспечивающегося войска, каким командовал Югурта, было предельной целью, которую можно было обеспечить.

Практика необученных римских левитов была облегчена тем, что Югурта возобновил наступление. Ему больше не помогали его мавретанские помощники, так как Бокк удалился в свое царство, и поэтому он потерял желание сражаться на поле боя; но стаи гатулийских лошадей позволили ему возобновить свой старый стиль партизанской борьбы, и он воспользовался практической приостановкой военных действий, которая сопровождала смену римского командования, чтобы начать серию набегов на друзей Рима и даже проникнуть в пределы самой римской провинции.[1118] Некоторое время внимание Мария было поглощено следованием по сложным следам, попытками предугадать его быстро меняющиеся планы, формированием у своих людей привычки к выносливости, подвижности и напряженному вниманию, которые даже краткий период такой погони быстро зародит в самых неопытных новобранцах. Постепенно преследование сместилось на запад, и серия острых столкновений на дороге закончилась разгромом короля в окрестностях Цирты. Приучив войска к долгим маршам и обдуманным атакам, Марий перешел к более определенному, если не более эффективному, предприятию - осаде укрепленных позиций, которые еще крепко держались и своим положением давали стратегическое преимущество

противнику. Его целью было либо лишить Югурту этих последних гарнизонов, либо принудить его к сражению, если он встанет на их защиту. Сначала он ограничил свои действия узкой областью; лучшая часть летних месяцев, по-видимому, была проведена на территории, лежащей к востоку и югу от Цирты, и в пределах этой области несколько крепостей и замков, все еще остававшихся на стороне короля, были уменьшены путем убеждения или силой.[1119] Однако Югурта не предпринимал никаких действий, и Марий в полной мере ощутил беспомощное раздражение полководца, который слышит, что его враг далеко, не обращает внимания на его усилия и полностью поглощен каким-то глубоко продуманным планом, зачатки которого недоступны для предположений. Судя по всему, его действия привели его в точку, расположенную где-то по соседству с Сиккой, и эта близость к южным областям Нумидии наводила на мысль о предприятии, которое могло бы соперничать и даже превзойти штурм Талы, предпринятый Метеллом. Примерно в тринадцать милях к западу от этого города[1120] лежал сильный город Капса.[1121] Он обозначал почти самый крайний предел империи Югурты в этом направлении, расположенный к северу от великих озер и к западу от самого глубокого изгиба Малого Сиртиса. Город был подарен оазисом, который нарушал монотонность пустыни приятными рощами фиников и оливок и многолетним потоком воды. Источники этого ручья, образованного соединением двух фонтанов, были заключены в стены и снабжали город питьевой водой, прежде чем она уходила за его пределы для орошения земель. Но даже этого запаса едва хватало на умеренные нужды нумидийцев, которые дополняли его дождевой водой[1122], которую они ловили и хранили в цистернах. Поэтому осада Капсы в засушливый сезон может оказаться неприятной для жителей; но армия вторжения может оказаться еще менее обеспеченной, поскольку, хотя четыре других источника за стенами питали каналы, служившие для орошения, они, как правило, иссякали, когда сезон дождей заканчивался. Считалось, что безопасность города, несмотря на сильные оборонительные сооружения и гарнизон, в основном зависит от пустынного барьера. Пустошь, через которую должна была пройти армия вторжения, была безводной и бесплодной, а множество змей и скорпионов, нашедших уютный дом на засушливой почве, усиливали ужас, если не опасность, маршрута.[1123] Югурта был добр к одиноким жителям Капсы; они были свободны от налогов и редко должны были отвечать на любые требования царя, и эта милость, которая, возможно, была в равной степени результатом необходимости и политики, укрепляла их верность нумидийскому трону. Вполне вероятно, что в сознании Мария смешались какие-то стратегические или, по крайней мере, военные мотивы с простым желанием превзойти своего предшественника и произвести глубокое впечатление на умы пролетариата в своей армии и на родине. Хотя Капса с ее ограниченными ресурсами вряд ли могла служить отправной точкой для большого нумидийского или гетульского войска, она могла быть ценна как убежище для царя, когда он хотел скрыться от глаз своих врагов, и, возможно, как средство связи с дружественными городами или народами, расположенными между двумя сиртами. Победа над трудностями такого предприятия могла бы также навести ужас на нумидийские гарнизоны других городов, и подданные Югурты могли бы почувствовать, что ни одна крепость не будет в безопасности, если неприступная Капса будет взята или разрушена. Но трудности задачи были велики. Нумидийцы, населяющие эти области, больше привязаны к пастбищному образу жизни, чем к земледелию; запасы кукурузы, которые можно было найти на этом пути, были скудными, и их нехватка усиливалась тем, что царь, который, кажется, совсем недавно проезжал через эти области, приказал вывезти из района большие запасы зерна и хранить их в крепостях, которые все еще удерживали его гарнизоны.[1124] Ничего нельзя было получить с полей, которые в этот поздний период осени представляли собой лишь засушливое жнивье. К счастью, кое-какие запасы еще оставались в Ларесе (Лорбее), городе, расположенном на небольшом расстоянии к юго-

востоку от его нынешней базы;[1125] они должны были быть дополнены скотом, который пригнали фуражиры, и римский солдат, по крайней мере, получил бы нежелательный запас мяса, сдобренный умеренной порцией еды. Однако ужасы путешествия были столь велики, что Марий считал разумным скрыть цель своего предприятия даже от своих людей, и даже когда после шестидневного марша на юг он достиг ручья под названием Тана,[1126] мотив экспедиции, по всей вероятности, остался неизвестным. Здесь, как и во время похода Метелла на Талу, из реки был заготовлен большой запас воды, которая хранилась в шкурах, вся тяжелая поклажа была отброшена, и облегченная колонна приготовилась к походу через пустыню. Днем воины держали лагерь, и все этапы пути были пройдены с наступлением ночи до рассвета. Утром третьего дня они достигли возвышенности не более чем в двух милях от Капсы.[1127] Солнце еще не взошло, когда Марий остановил своих людей в ложбине среди дюн и стал наблюдать за городом, чтобы убедиться, что его осторожные планы действительно принесли сюрприз. Очевидно, так оно и было; с наступлением дня ворота открылись, и стало видно, как большое количество нумидийцев покидает город, отправляясь на полевые работы. Раздался сигнал, и через мгновение вся конница и самая легкая пехота ринулись на город. Они должны были блокировать ворота, а Марий и более тяжелые войска следовали за ними, как только могли, гоня перед собой разбегающихся нумидийцев. Именно обладание этими заложниками решило судьбу города. Комендант провел переговоры и согласился впустить римлян в стены, при этом молчаливым или явно выраженным условием этой капитуляции было сохранение жизни горожан. Условие было немедленно нарушено. Город был предан огню, все совершеннолетние нумидийцы были преданы мечу, остальные проданы в рабство, а захваченное движимое имущество было поделено между солдатами. Нарушение международных обычаев не отрицалось; единственная попытка смягчить его заключалась в том, что оно не было вызвано ни беспричинным вероломством, ни жадностью; такое положение, как Капса, утверждалось, - труднодоступное, открытое для врага, дом расы, известной своей мобильной хитростью, - не может быть удержано ни снисхождением, ни страхом.[1128] Экспедиция потерпела неудачу, если город не был разрушен; и, как это часто случается в войнах с народами, к которым можно применить удобный эпитет "варвар", успешный плод жестокости и вероломства, возможно, защищался на том основании, что обязательства международного права должны быть либо взаимными, либо несуществующими.

За разрушением Капсы последовали другие успехи, хотя и менее трудные. Это событие сослужило хорошую службу Марию, так как распространило перед ним имя ужаса, заставившее некоторые нумидийские гарнизоны бежать из своих укрепленных мест без борьбы. В тех немногих случаях, когда сопротивление встречалось, оно было отбито, а укрепленные места, которые солдаты Югурты не решались защищать, были полностью уничтожены огнем.[1129] Марий оставил за собой пустыню на обратном пути к зимним кварталам[1130] и, возможно, возобновил свой опустошительный курс в юго-восточных районах Нумидии весной следующего года, прежде чем его внимание внезапно было обращено на другой пункт в обширной области войны. Этот легкий триумф, не стоивший римлянам крови и обогативший солдат военными трофеями, породил в его людях веру в его прозорливость и доблесть, которая казалась достаточной, чтобы выдержать самое суровое напряжение.[1131] Теперь предстояло приложить большие усилия в той части Нумидии, которая находилась не менее чем в семистах милях от места недавних операций. Поскольку нам не известны ни место недавней зимней стоянки Мария, ни база, которую он выбрал для весенней кампании, мы не можем сказать, была ли экспедиция, которую он направил на крайний запад Нумидии, неприятным отклонением от уже действующего плана, или же она была результатом плана, созревшего в зимнем лагере; но в любом случае это убеждение в необходимости прочесать страну в таких совершенно разных направлениях доказывает

полный успех плана, который Югурта преследовал. Труднее определить, усилил ли Марий успех этого плана собственной политической ошибкой. Пункт, в котором он действовал, находился у реки Мулукча или Молокат,[1132] разделительной линии между Нумидийским и Мавританским царствами. Если его вторжение в этот регион было неспровоцированным, то оно было вызовом царю Бокху и невежливым нарушением недавнего спокойствия, в котором пребывал этот нерешительный монарх; Но возможно, что до Мариа дошли вести о готовящемся нападении мавретанцев, и тот же мотив, который побудил Метелла поспешить с юга на защиту Цирты, теперь побудил его преемника двинуть свою армию более чем на пятьсот миль дальше на запад, к самым границам Мавретании. По-видимому, это движение было оборонительным, поскольку в тот момент, когда мы видим его усилия, он не пытался пересечь принятую границу[1133], а старался занять сильную позицию в пределах, как он считал, нумидийской территории. Гигантская скала высилась над равниной, сужаясь к узкой крепости, стены которой продолжали столь плавный обрывистый подъем, что казалось, будто творение природы было улучшено рукой человека[1134]. Но одна узкая тропинка вела на вершину, и считалось, что это единственный путь не только к позиции, имеющей огромную ценность для обороны, но и к одному из тех богатых месторождений, которые, как считалось, многострадальный царь заложил в самых сильных частях своих владений. Трудности осады были почти непреодолимы. Гарнизон был силен и хорошо снабжен продовольствием и водой; единственный путь для прямого штурма стен был узок и опасен; место было настолько неподходящим, насколько это вообще возможно для передвижения тяжелых военных машин. Когда атака была предпринята, мантии осаждающих были легко уничтожены огнем и камнями, брошенными сверху; но солдаты не могли ни выйти из укрытия, ни закрепиться на крутом склоне; самые лучшие из штурмующих падали, пораженные ранами, и казалось, что паника воцарится среди всегда победоносной армии, если ее снова позовут в атаку. Пока Марий размышлял над этой неожиданной проверкой, а его мысли разделились между мудростью отступления и шансами, которые может дать промедление, случай восполнил недостаток сил и совета.[1135] Один лигуриец, искавший улиток, соблазнился продолжить поиски от гребня до гребня на той стороне холма, которая лежала в стороне от направления атаки и до сих пор считалась недоступной. Вдруг он обнаружил, что почти добрался до вершины; дух подражания побудил его завершить неосознанно начатое дело, а ветви гигантского падуба, извивавшегося среди скал, дали ему опору, когда перпендикулярные стены последнего подъема, казалось, лишали всякого шанса на дальнейшее продвижение. Когда он перевалил через край самого высокого гребня, перед ним открылась внутренняя часть форта. Ни одного члена гарнизона не было видно, так как все были заняты отражением штурма, возобновившегося с противоположной стороны. Поэтому осмотр был долгим, и все важные детали крепости запечатлелись в памяти лигурийца еще до того, как он начал свой неторопливый спуск. С осторожностью наблюдал он и за особенностями склона, по которому спускался; следующий подъем предстояло совершить не одному, и каждая неровность, которая могла бы дать опору, должна была быть отмечена человеком, которому предстояло доказать и проиллюстрировать свой рассказ. Когда история была рассказана Мариусу, он послал нескольких своих приближенных осмотреть место; их отчеты разнились в зависимости от характера их ума; некоторые из исследователей были настроены сангвинически, другие - более чем сомнительно; но в конце концов консул решил провести эксперимент. Эскалада должна была быть предпринята группой из десяти человек; были отобраны пять трубачей и горнистов и четыре центуриона, проводником которых должен был стать лигуриец. С голой головой и ногами, в единственном доспехе - мече и легком кожаном щите, перекинутом через спину, солдаты мучительно подражали смелым движениям своего активного предводителя. Но он был не только смел, но и предусмотрителен. Иногда он сплетал лестницу из зарослей ползучих растений, в других

случаях протягивал руку помощи, в третьих собирал их доспехи и посылал их вперед, затем быстро отходил в сторону и проходил со своей ношей вдоль и поперек их борющегося строя. Его веселая смелость не давала им покоя, пока каждый не достиг уровня форта. Он был так же безлюден, как и в тот момент, когда его впервые увидел лигуриец, потому что Мариус позаботился о том, чтобы лобовая атака привлекла внимание гарнизона. Подъем был долгим, и сражение длилось уже много часов, когда к встревоженному полководцу пришло известие, что его люди овладели вершиной.[1136] Штурм возобновился с силой, поразившей осажденных, и вскоре с безрассудством, заставившим их подумать, что осаждающие сошли с ума. Они увидели, как сам римский полководец покинул прикрытие мантий и посреди своих людей двинулся вверх по опасному подъему под черепаховой оградой из поднятых щитов. На головы наступающих обрушился шквал снарядов с римских позиций внизу. Как ни были нумидийцы уверены в прочности своей позиции, как ни презирали они насмешки, которые еще мгновение назад бросали в адрес врага, они не могли спокойно думать о той шеренге, которая двигалась вверх по склону, и о дожде пуль, который возвещал ее продвижение. Все руки были заняты, все мысли настороже, как вдруг в тылу римлян раздался трубный зов. Женщины и мальчики, выскочившие понаблюдать за боем, первыми забили тревогу и бросились обратно в укрытие форта; большинство мужчин сражались перед внешними стенами; те, кто был ближе к валам, первыми были охвачены паникой; но вскоре весь гарнизон подался назад, а через него пробивался длинный и узкий клин римлян, прорубая себе путь сквозь беззащитную массу, пока не овладел флигелями форта.

Трудно оценить положительные преимущества этого военного подвига, но вполне вероятно, что захват именно этой крепости, хотя ее сложность и придавала ей излишнюю значимость в анналах войны, был не единичным фактом, а одной из серии успешных попыток установить цепь постов на границе Мавретании, которые могли бы заставить царя Бокха прислушаться к советам и прервать его связь с Югуртой. За этим предприятием, возможно, последовала довольно продолжительная кампания в этих краях. Об этой кампании ничего не известно, но то, что она планировалась, доказывает тот факт, что Марий приказал огромной коннице встретить его у Мулукчи.[1137] Вызванные таким образом войска фактически служили цели прикрытия отступления, которое практически было отступлением; но это не могло быть целью, которую они должны были выполнить, когда было отдано распоряжение об их присутствии. Для того чтобы парализовать Бокха и очистить пограничную страну от врага, необходимо было иметь большое конное войско. Туча, которая должна была вырваться из Мавретании, была не единственным шансом, который можно было предвидеть; ее следовало бояться, если бы все планы по предотвращению провалились; но ее можно было предотвратить присутствием командования в приграничных районах.

Почти год ушел на сбор и транспортировку из Италии конницы, которая теперь вошла в лагерь Мария. Причина, по которой местом набора была выбрана Италия, а не Африка, вероятно, кроется в недоверии, которое римляне испытывали даже к тем нумидийцам, которые исповедовали дружеское отношение; в противном случае дешевизна и даже эффективность могли бы продиктовать выбор туземных контингентов, хотя не исключено, что в качестве оборонительной силы тактическая солидарность италийцев давала им преимущество даже перед нумидийской конницей. Латины и италийские союзники предоставили войска, которые недавно высадились на африканской земле,[1138] возможно, не в порту Утики, а в какой-нибудь гавани на западе, поскольку время, затраченное Марием на поход к своей нынешней позиции, даже если бы кампания не планировалась на зимние месяцы, дало бы ему возможность послать уведомление о своем местонахождении лидеру вспомогательных сил. Этим вождем был Луций Корнелий Сулла, который почти весь первый

год своего квесторства потратил на избиение на италийской земле отрядов всадников , которые он теперь вел в лагерь. По сравнению с прибытием войска квестор был ничтожен, но появление такого подчиненного всегда вызывало интерес у полководца. Традиция определяла, что связи между полководцем и его квестором должны быть особенно тесными; начальник отвечал за каждый поступок мелкого чиновника, с которым его сталкивала случайность; если его подчиненный был способен, он становился избранным делегатом для любой деликатной операции в области финансов, дипломатии, юрисдикции или даже войны: Если же он был неспособен, его можно было уволить,[1139] но нельзя было пренебрегать им, поскольку он был, помимо генерала, единственным человеком в провинции, занимавшим должность магистрата, и по титулу превосходил даже самых старых и уважаемых легатов.[Прибытие нового квестора было делом случая: помочь или помешать правительству или кампании; и Марий, когда впервые услышал о человеке, которого судьба привела на его сторону, был склонен скептически относиться к той помощи, которую обещало новое назначение.[Кроме замечательной внешности - впечатления, вызванного пронзительной голубизной глаз, ясной бледностью лица, внезапным румянцем, мгновенно распространявшимся по щекам, как будто под нежной кожей можно было увидеть пульсирующую силу ума[1142], - Сулла мало чем мог понравиться суровому и жесткому человеку, занятому трудной и неутешительной задачей. У нового лейтенанта не было военного опыта, он был отпрыском разорившейся патрицианской семьи, и, если верить сплетням Рима, его предыдущая жизнь скорее напоминала легкомысленного авантюриста, чем студента, изучающего политику или войну. В ранней юности ему, похоже, было суждено продолжить поздние традиции своей семьи, отличавшейся незлобивым нравом или беспечной леностью, которая позволила консульству исчезнуть в анналах рода и долгое время довольствовалась незначительным призом - преторством. Даже эта честь оказалась недоступной для отца Суллы; наследственные права на должность были полностью разрушены, а состояние семьи настолько уменьшилось, что шансов на возобновление этих прав было мало. Нынешний носитель фамилии, старший сын в доме, жил в наемных комнатах, а те скудные средства, которыми он мог распоряжаться, казалось, использовал для удовлетворения страсти к сцене.[1143] Однако этот вкус был лишь одним из проявлений подлинной жажды культуры;[1144] и, каково бы ни было мнение людей, этот юноша, чьи самые напряженные усилия странным образом сочетались с беспечной приветливостью и аппетитом, который никогда не притуплялся к удовольствиям чувств и плоти, обладал удивительной способностью завоевывать любовь женщин. Его отец вступил во второй брак с дамой со значительным достатком, и любовь мачехи, которая, похоже, сама была бездетной, вскоре сосредоточилась на старшем сыне своего мужа.[1145] После ее смерти он был признан ее наследником, и приобретенное таким образом состояние было дополнено или увеличено другим, также полученным по наследству от одной женщины. Этой благодетельницей была Никополис, женщина греческого происхождения, чьи мимолетные влюбленности, принесшие ей богатство, были закрыты прочной страстью к человеку, которому это богатство было передано.[1146] Обладание этим состоянием, которое могло бы завершить крушение безвольного искателя удовольствий, каким казался Сулла, доказало, из какой стали был сделан этот человек. Первые шаги в его политической карьере сразу же опровергли все теории об упущенных возможностях. Он лишь на год или два превысил минимальный возраст для вступления в должность, когда его избрали квестором; ему был всего тридцать один год, когда он рыскал по Италии в поисках рекрутов;[1147] год спустя он вошел в лагерь Мариуса у Мулукчи со своей конницей. Этого короткого опыта было достаточно, чтобы превратить предубеждение генерала в искреннее одобрение его нового офицера. Дух подражания, которым обладал Сулла, проявлялся только в действиях и советах; никто не мог превзойти его в доблести и предусмотрительности, но все, что он делал,

казалось, было легким результатом либо случая, либо готового остроумия, которое очаровывало, не поражая: от него никогда не слышали ни одного слова, которое бы отразилось на поведении проконсула или его подчиненных. Над старшинами и солдатами он одержал тот немедленный триумф, который сопутствует высочайшим способностям в сочетании с легким нравом и чувством юмора. Его старые товарищи по сцене были, возможно, его лучшими учителями в искусстве формирования воли простого человека. Он находил правильное обращение к каждому; на недовольство отвечал несколькими добрыми словами; готовая шутка вызывала рев смеха, и ее адресат становился счастливее на целый день. Когда требовалась помощь, его ресурсы казались безграничными; однако он никогда не давал так, словно ожидал отдачи, и мысль об обязательствах отmetалась с пожатием плеч и улыбкой.[1148] Сулла не был одним из тех неуклюжих интриганов, которые старательно накапливают благосклонность и легко обнаруживаются при попытке. Он был ужасным человеком, потому что его пронизательность и обаяние были частью его натуры, как и темное течение честолубия, едва ли признаваемое даже его обладателем, и бурные приливы страстей, тщательно гасимые изысканно уравновешенным интеллектом в ровный поток, по которому толпы могли плыть и считать себя жертвами или агентами всепоглощающего принципа, а не каприза одного человека.

Способности каждого офицера в армии Мария вскоре должны были подвергнуться эффективному испытанию; коалиция Югурты и Бокха, которую кампания, возможно, должна была предотвратить, стала ее непосредственным результатом. Мавр все еще колебался между миром и войной, ожидая, возможно, очередного предложения от представителя Рима и выжидая момента, когда он сможет привлечь внимание грубого преемника Метелла, который предпочитал военные предосторожности дипломатии, когда нумидийский царь, в отчаянии от этой губительной пассивности и потери великолепного стратегического шанса, который предоставлял враг, обратился к своему тестю с предложением, чтобы ценой его помощи стала уступка одной трети Нумидии. Уступка должна была вступить в силу либо в случае изгнания римлян из Африки, либо в случае заключения с Римом соглашения, которое оставляло бы границы Нумидии нетронутыми.[1149] Бокк мог не верить в вероятность реализации первого варианта; но совместные действия могли сделать возможным второй, и даже если это не удастся, его шансы на сделку с Римом не уменьшались из-за начала враждебной политики, которая могла быть прекращена в подходящий момент. Однако пока он энергично играл на успех Югурты. Его отряды всадников переправились через границу, чтобы присоединиться к нумидийским войскам, и объединенные армии быстро двинулись на восток, чтобы охватить колонны Мария, которые только что начали свой долгий марш к месту, выбранному для зимних стоянок.

Цель римского полководца заключалась в том, чтобы поддерживать связь с морем для облегчения снабжения своей армии. Но мы не можем сказать, была ли его первоначальная цель - столь отдаленная станция, как окрестности Цирты,[1150] или же его движение в этом направлении, отделившее его на несколько сотен миль от области, которой он недавно командовал, было вынужденной мерой из-за опасности, которой подвергалась его армия на далеком западе от превосходящих сил противника. Во всяком случае, он преодолел значительную территорию, прежде чем столкнулся с объединенными силами Бокха и Югурты; ведь почти непрерывные бои, которые последовали после того, как армии соприкоснулись, похоже, ограничились последними несколькими днями до достижения Цирты и периодом времени, который мог составлять лишь малую часть всей продолжительности похода. Первая атака была запланирована на последние часы дня.[1151] Наступление ночи было бы выгодно туземцам независимо от того, победили бы они или потерпели поражение. В первом случае знание местности позволило бы им развить

успех, во втором - обеспечить отступление. При любых обстоятельствах борьба в темноте должна была увеличить трудности римлян. Полная неожиданность была невозможна, так как разведка Мария была хорошей, и со всех сторон к нему мчались всадники, чтобы сообщить о приближении врага. Но с какой стороны будет произведена атака, определить было невозможно, а движения мавританских и гетульских коней были столь стремительны, что едва последний гонец успел прискакать, как римская колонна была атакована со всех сторон. Римская армия не успела выстроиться в линию, и все, что приближалось к боевому построению, было презираемо врагом. Они наступали отдельными эскадронами, формирование которых, казалось, было обусловлено не только замыслом, но и случайностью; такой беспорядочный способ нападения позволял им атаковать римские войска во всех точках и не дать ни одной части людей обрести устойчивость, которая могла бы спасти беспомощность остальных; они беспокоили легионеров, когда те перекладывали тяжелую поклажу, выхватывали мечи и спешили в линию, и кавалеристов, когда те пытались сесть на своих испуганных лошадей. Конные и пешие неразрывно смешались, и никто не мог определить, кто из них идет в авангарде, а кто в тылу окруженной армии. Генерал сражался как обычный солдат, но не забывал об обязанностях полководца. Со своим отборным конным отрядом он скакал по полю, выявляя слабые стороны своих людей и сильные стороны врага, своевременно оказывая помощь первым и бросая свой вес против вторых.[1152] Но именно опыт хорошо обученных легионеров спас положение. Приученные к подобным неожиданностям, они начали формировать небольшие сплошные квадраты, и в этих заграждениях удары легких всадников были тщетны.[1153] Но наступала ночь - час, который союзные короли выбрали для кульминационного момента своей атаки, и Марий не хуже своих врагов понимал, насколько беспомощными окажутся римские силы, если борьба затянется до темноты. К счастью, место для атаки было выбрано неудачно: близлежащая местность не представляла собой абсолютно ровного пространства, на котором кавалерия могла бы действовать по своему усмотрению. Но на небольшом расстоянии от места сражения над равниной возвышались два соседних холма; на меньшем из них был обильный источник воды, а больший по своей изрезанности, казалось, мог послужить прекрасным валом для обороны.[1154] Вывести всю армию на возвышенность, где протекал желанный ручей, было невозможно, так как ее пространство не позволяло разбить лагерь; но Марий приказал Сулле захватить ее с конницей. Затем он начал собирать свою разрозненную пехоту вместе, пользуясь беспорядком в рядах врага, который произвела последняя стойкость ветеранов, и когда дивизии, наконец, соприкоснулись друг с другом, он повел все войско быстрым маршем к месту, которое он выбрал для отступления. Короли вскоре поняли, что это отступление было неприступным; их план ночной атаки провалился, но они не теряли надежды, что держат римлян в своей власти. Борьба превратилась в блокаду; им предстояло запереть римлян в своих узких пределах или заставить их пробираться дальше под повторным безжалостным натиском. Выстоять против легионов и занять их позиции было триумфом для гетульцев и мавров. Они растянулись длинными рядами вокруг обоих холмов и зажгли большое кольцо сторожевых костров; но их мысли были направлены на то, чтобы провести ночь так, чтобы не мешать ни сну, ни бодрствованию. Они бросили свою победу в манере, свойственной варварству, которому часто не хватает ни храбрости, ни мастерства, но которое находит своего врага в полном отсутствии самоограничения. Из безмолвной темноты хребта римляне могли видеть в кругах красного света, отбрасываемого пылающими сторожевыми кострами, формы своих врагов во всех позах беспечной и безрассудной радости; а доносившиеся до их слуха восторженные вопли триумфа вселяли не ужас, а надежду. В римском лагере не было слышно ни звука; даже призыв патруля затихал по приказу генерала.[1155] С наступлением ночи тишина распространилась и на равнину внизу, но здесь это была тишина глубокого и крепкого сна, который наступает у людей, утомленных

ночными эксцессами. Внезапно раздался страшный шум. Казалось, каждый рог и труба в римских рядах ожили, каждая глотка разразилась пронзительными воплями. Мавры и гетульцы, вскочив с земли, обнаружили врага в самой своей середине. Там, где заканчивалась резня, начиналась погоня. Ни в одном сражении войны не было такого количества убитых; бегство, которое было спасением нумидийцев и насмешкой врагов, в этом столкновении было менее возможным, чем в любом из предшествующих.

Марий продолжил свой поход, но с еще большими предосторожностями, чем те, которые он соблюдал ранее. Он сформировал всю свою армию в "полый квадрат" [1156] - фактически, в большую продолговатую фигуру, расположенную одинаково для обороны спереди, с флангов и сзади, в то время как багаж занимал центр. Сулла с конницей ехал крайним справа; слева - Аул Манлий с пращниками и лучниками и несколько когорт лигурийцев; фронт и тыл прикрывала легкая пехота, отобранная из легионов под командованием военных трибунов. Нумидийские беженцы рыскали по окрестностям, их знание местности придавало им особую ценность как разведчикам. Лагерь был сформирован с той же тщательностью; целые когорты, сформированные из легионеров, несли вахту у ворот, укрепленные посты были выставлены на небольшом расстоянии вдоль ограждающего кургана, а эскадроны вспомогательной конницы всю ночь двигались перед валами. Марий был виден во всех точках и в любое время, живой пример бдительности, а не недоверия, мастер в искусстве управлять людьми не с помощью террора, а разделяя их тяготы. Прошло четыре дня марша, и, по слухам, до Цирты оставалось совсем немного, как вдруг перед глазами возникло зловещее, но уже знакомое зрелище. Со всех сторон скакали разведчики; все они сообщали о враге, но никто не мог с уверенностью сказать, откуда он может появиться.[1157] При нынешней диспозиции римских войск направление атаки не имело особого значения, и Марий объявил привал, не изменив порядка своего марша. Вскоре противник спустился вниз, и Югурта, увидев пологое пространство, понял, что его план частично сорвался. Он разделил свои силы на четыре дивизии; часть из них должна была вступить в бой с римской колонной, а часть, по крайней мере, могла бы в критический момент броситься на незащищенный тыл римской колонны, когда ее внимание будет полностью занято фронтальной атакой[1158].

Как бы то ни было, в римской армии не было ни одного пункта, который казался бы более уязвимым, чем другой, и Югурта решил вступить в бой с римской кавалерией справа, вероятно, полагая, что, отвлекая ту часть римского войска, которая в данных обстоятельствах была его самой сильной защитной рукой, он даст возможность своему союзнику возглавить атаку на тыл, которая должна была стать венцом дня. Его атака, направленная под углом, который правый фланг составлял с фургоном, была скорее ожидаема, чем принята Суллой, который быстро сформировал свои силы в две дивизии, одну для атаки, другую для обороны. Первые он объединил в плотные эскадроны и во главе их бросился на мавританских коней; вторые стояли на месте, прикрываясь, как могли, от туч снарядов, поднимавшихся из рядов противника, и убивая смельчаков, проскакавших слишком близко к их рядам. Некоторое время казалось, что правый фланг и фургон примут на себя основную тяжесть сражения; было известно, что король находится там лично, и Марий, зная, что означает присутствие Югурты, сам поспешил на фронт.

Но внезапно главный момент атаки изменился. К Бокху присоединился отряд туземной пехоты, который только что привел на поле его сын Волукс. Это был отряд, еще не знавший поражений, поскольку какая-то задержка на пути не позволила ему принять участие в предыдущем сражении. С этой пехотой и, вероятно, со значительным количеством мавританских лошадей[1159] Бокх бросился на римский тыл. Ни генерал, ни его главные

офицеры не присутствовали с дивизией, подвергшейся нападению; Марий и Сулла были заняты борьбой на другом конце правого крыла, а Манлий, кажется, все еще сохранял свою позицию на левом фланге; отсутствие вдохновляющего разума среди атакованных войск, их неведение о судьбе своих далеких товарищей подвигли Югурту придать вес своего присутствия и своих слов усилиям своего товарища царя. С горсткой всадников он покинул основные силы под своим командованием и галопом проскакал по всей длине правого крыла, пока не повернул своего коня среди передних рядов сражающейся пехоты. Он поднял меч, обгаренный кровью, и прокричал на латинском языке, что Марий уже пал от его руки и что теперь римляне могут отказаться от борьбы. Его слова подействовали на нервы даже тем, кто не поверил страшным новостям,[1160] а присутствие царя, как и везде, возбудило африканцев до высшей степени смелости. Они давили на колеблющихся римлян сильнее, чем прежде, и битва уже почти превратилась в разгром, как вдруг на правом фланге мавританской пехоты показалось большое конное подразделение римлян. Их вел Сулла, чьи энергичные атаки рассеяли врага на правом фланге; теперь он мог использовать свою кавалерию для других целей, а мавританская пехота сотрясалась под фланговой атакой, Югурта отказывался видеть, что ход победы переломлен; с безрассудной храбростью он все еще пытался собрать воедино разбитые силы мавров и устремить их на римские ряды; Его собственное спасение было чудом; люди падали слева и справа от него, его с двух сторон давили римские кони; временами он казался почти одиноким среди своих врагов; но в последний момент он исчез, и захват, который мог бы положить конец войне, все еще был недостижим для римского мастерства и доблести.[Сулла спас положение, появление Мария было необходимо, чтобы внести последние штрихи в победу. Он видел, как кавалерия справа рассеялась под ударами римской конницы, и почти в тот же момент ему принесли весть о том, что его людей оттесняют в тыл. Его помощь вряд ли была нужна, но его присутствие дало толчок к преследованию. Вид поля, на котором происходило преследование, навсегда запечатлелся в памяти тех, кто разделял его славу и ужас. Тошнотворное зрелище, которое дает ожесточенная битва, в данном случае затянулось благодаря обширной панораме равнин. Везде, куда хватало взгляда, лежали расprostертые тела людей и лошадей, единственной претензией на жизнь которых была корчащаяся агония их ран; на сцене, окрашенной в красный цвет от крови и усыпанной осколками оружия, виднелись маленькие движущиеся группы. Фигуры этих марионеток демонстрировали все фазы беспомощного бегства, яростного преследования и безжалостной бойни.]

Несмотря на кровавую резню на этом поле боя, победа здесь, как и везде на протяжении всей войны, означала не более чем оттеснение врага. Мы располагаем лишь фрагментарными сведениями об этом ужасном отступлении к Цирте, но несомненно, что его опасности и потери отнюдь не исчерпывались двумя сражениями. Случайная заметка, вырванная из контекста[1162], рассказывает о третьем великом сражении, которое завершило долгий период изнурительных атак. У стен Цирты римскую армию встретили два царя во главе шестидесяти тысяч конников. Сражающихся окутало облако, поднятое пылью битвы, римские солдаты, сгрудившиеся на узком пространстве, стали такими беспомощными жертвами вражеских ракет, что нумидийские и мавританские всадники перестали выделять цели и метали свои копья наугад в тесные ряды с уверенностью, что каждое попадет в цель. Три дня продолжался беглый бой. Против залпов врага было невозможно атаковать, а отступление было отрезано множеством легких всадников, которые теснили армию со всех сторон. В последнем отчаянном усилии, которое предпринял Марий, чтобы освободиться от пут царей, даже центр его колонны содрогнулся под градом обрушившихся на него снарядов, а к оружию врага вскоре добавились ужасы ослепляющей жары и нестерпимой жажды. Внезапно над воюющими разразилась буря. Она охладила горло римлян и освежила их конечности, одновременно ослабив силы их врагов. Копья

нумидийцев без ремней[1163] нельзя было метать, когда они были мокрыми, так как они выскальзывали из рук метателя; их щиты из слоновьей шкуры впитывали воду, как губка, и утяжеляли оружие, на котором они висели. Мавры и нумидийцы, видя, что даже их средства защиты не справляются, обратились в бегство, но лишь для того, чтобы на другой день появиться со своей армией, увеличенной до 900 девяноста тысяч человек, и повторить попытку окружить римское войско. Эта последняя попытка закончилась победой Мария. Силы двух царей были не только разбиты, но и почти уничтожены.

Записанные таким образом события вряд ли можно считать простыми вариантами двух битв, которые мы описали ранее. Каким бы расплывчатым и риторическим ни был рассказ о них, он показывает, что в армии Мария были такие страдания и потери, которые не нашли аналогов в кампании его предшественника. Марий попытался сделать то, на что никогда не осмеливался Метелл, - провести кампанию на крайнем западе Нумидии. Ее результатом стали бесплодные успехи паладинского типа, за которыми последовало обременительное и катастрофическое отступление. Запад был потерян, восток оказался под угрозой, но урок не прошел даром. Когда генерал достиг стен Цирты, он утратил свою твердую веру в использование крови и железа; он был более готов апеллировать к мотивам, которые способствуют миру, притворяться, что не испытывает доверия, давать обещания, которые могли бы побудить измену Бокха перерасти в конкретный акт измены своему брату-королю, а главное, опереться на какого-то другого человека, который мог бы играть в тонкую игру дипломатического забора с хитростью, которой не могли достичь его собственные прямолинейные методы. Все зависело от позиции короля Мавретании, и здесь кампания снова не обошлась без полезных последствий. Если римляне не получили никаких материальных преимуществ, то Бокх понес весьма ощутимые потери. Его войска были раздроблены, на их предводителя (возможно, впервые) лежало клеймо неудачника, первый контакт с римлянами не воодушевил его подданных. Кроме того, кампания, возможно, показала трудность, если не безнадежность, дела Югурты. План изгнания римлян из Африки не мог быть осуществлен даже при максимальной мощи объединенных сил двух королевств; сколько бы они ни преследовали, они оказались совершенно неспособны достичь такого успеха, который даже самый благодушный патриотизм мог бы назвать победой; а стойкость сопротивления Рима, казалось, исключала возможность того, что Югурта будет включен в любые условия, которые могут быть заключены. Тем не менее, кампания оставила Бокха в прекрасном положении для переговоров. Он показал, что Мавритания - это большой вес на весах против Рима; он рекламировал свою силу как врага и свою ценность как союзника; теперь было время посмотреть, оценят ли Рим эту силу и ценность, которые так долго игнорировались.

Но прошло пять дней с момента последнего крупного конфликта с маврами, когда посланцы Бокха явились к Мариусу в его зимние покои в Цирте.[1164] Просьба, которую они принесли, состояла в том, чтобы "два самых верных друга римского полководца подождали царя, который хотел поговорить с ними по вопросу, интересующему его самого и римский народ".[1165] Марий сразу же выделил Суллу и Манлия, которые последовали за посланцами к условленному месту встречи. По дороге представители Рима договорились, что им не следует ждать, пока царь начнет обсуждение. До сих пор все предложения исходили от Бокха; с ним играли, но никогда не давали прямого ответа, а тем более - знака реального поощрения. Однако нельзя было добиться ничего хорошего, ожидая, что царь примет покорную позу и заставит его начать предложения о мире с признания собственного унижения. Было бы гораздо разумнее, если бы комиссары начали с нескольких спонтанных замечаний, которые могли бы вернуть царскому уму покой и достоинство. Манлий Старший с готовностью уступил место первого оратора более легкомысленному Сулле. Если слова,

которые история приписывает квестору[1166], действительно были сказаны им, то они свидетельствуют об одном из тех редких случаев, когда дипломат способен говорить чистую правду. Сулла начал с того, что рассказал о радости, которую он и его друзья извлекли из перемены в сознании Бокха - из вдохновения, ниспосланного небесами, которое внушило царю, что мир предпочтительнее войны. Затем он остановился на том факте, для доказательства которого он мог бы привести всю историю своей страны, что Рим всегда больше искал друзей, чем подданных, что Республика всегда считала добровольную верность более безопасной, чем принуждение силой. Он показал, что дружба Рима может стать для Бокха благом, а не бременем; удаленность его царства от столицы исключит столкновение интересов, но нет такого расстояния, которое не преодолела бы благодарность Рима. Бокх уже видел, на что способен Рим в войне; ему оставалось усвоить еще более важный урок, что ее щедрость так же непобедима, как и ее оружие. Слова Суллы были подлинным изложением всей теории протектората, какой она придерживалась и даже действовала в этот период истории. В качестве доказательства того, до каких губительных пределов может дойти римская щедрость, он мог бы привести нумидийскую войну, которая длилась уже шестой год. Темная сторона Протектората - алчность отдельных авантюристов - не была творением правительства и не нуждалась в воспроизведении на холсте яркой картины, которую он нарисовал. Надежды, возлагаемые на Бокха, были достаточно искренними; время его союза было незначительным, а его безопасность - огромной.

Царь, казалось, был впечатлен любезными предложениями уполномоченных. Его ответ был не только дружелюбным, но и извинительным.[1167] Он утверждал, что взялся за оружие не из враждебных побуждений по отношению к Риму, а просто для защиты собственных рубежей. Он утверждал, что территория у Мулукчи, которую преследовал Марий, вовсе не принадлежала Югурте. Он изгнал нумидийского царя из этой области, и она принадлежит ему по праву войны. В заключение он сослался на факт своего прежнего посольства в Рим: он искренне пытался заручиться ее дружбой, но получил отпор.[1168] Однако он готов забыть прошлое и, если Марий позволит, хотел бы отправить в сенат новое посольство. Эта последняя просьба была временно удовлетворена комиссарами; Бокк, обращаясь к ним, проявил мудрое и, учитывая некоторые события этой войны, естественное чувство ненадежности обещаний, данных римскими полководцами, и в то же время оправданную веру в слово, данное когда-то великим органом Республики. Однако, когда комиссары удалились, его прежняя нерешительность, казалось, ожила. Он согласился, по крайней мере, выслушать тех своих советников, которые все еще настаивали на притязаниях Югурты.[1169] Они снова подняли свой голос либо в то время, когда римские комиссары ждали Бокха, либо сразу после их отъезда; ведь Югурта не успел узнать о возобновлении переговоров своего тестя с Римом, как уже использовал все средства (в том числе, как нам говорят, дорогие подарки), чтобы склонить своих мавританских сторонников к защите своего дела.

Следующий этап переговоров был достигнут еще до окончания зимнего сезона, хотя вполне вероятно, что в то время, когда мавританский царь предпринял этот следующий шаг, новый год уже прошел, и наступление весны было не за горами. Марий, который не был связан в своих действиях уважением к традиционным временам года, считавшимся подходящими для кампании, отправился с несколькими летучими колоннами пехоты и частью кавалерии в пустынное место, чтобы осадить крепость, все еще удерживаемую Югуртой и гарнизонованную всеми дезертирами из римской армии, которые теперь находились на службе у царя. Сулла был оставлен с обычным титулом пропретора, чтобы представлять своего отсутствующего командира. В штаб-квартиру зимнего лагеря[1170] Бокк отправил пятерых своих ближайших друзей, отобранных за верность и способности. 1171] Его

последние колебания, если это было больше, чем видимость, были, конечно, недолгими, и посланникам были предоставлены все полномочия для согласования условий мира. Они отправились в путь со всей скоростью, чтобы достичь римского зимнего лагеря, но их путешествие было долгим и мучительным. По дороге они были захвачены и ограблены гетульскими разбойниками, и теперь предстали перед представителем Рима в панике и жалком положении. Лишенные верительных грамот и символов своего высокого поста, они ожидали, что к ним отнесутся как к бродячим самозванцам из враждебного государства; Сулла принял их с пышным достоинством, приличествующим принцам. Простые кочевники почувствовали очарование и удивление от этого первого взгляда на общественные нравы Рима. Возможно ли, чтобы эти любезные и обходительные люди были губителями мира? Должно быть, этот слух - ложная выдумка врагов щедрой Республики. Неподготовленный ум быстро переходит от частных к целому, и такт Суллы оказал большую услугу его стране. Кроме того, он предъявил претензии к мавританскому королю,[1172] и эта личная связь не могла не иметь последствий.

Посланники рассказали квестору о поручениях своего господина и попросили его помощи и совета в предстоящей им миссии. Они с извинительной гордостью говорили о богатстве, величии и чести своего царя и подробно останавливались на каждом пункте, в котором союз с таким могущественным государством мог послужить делу Рима.[1173] Сулла обещал им всестороннюю помощь; он проинструктировал их, как им следует обращаться к Марию, как обращаться в сенат, и продолжал быть их хозяином в течение сорока дней, пока его полководец не был готов выслушать их предложения и отправить их в путь. Когда Марий вернулся в Цирту после успешного завершения своей короткой кампании и узнал о прибытии посланников, он попросил Суллу привести их[1174] в свои покои и занялся подготовкой к сбору настолько официального совета, насколько позволяли ресурсы провинции. В ее пределах оказался претор и несколько человек сенаторского ранга. Все они собрались, чтобы выслушать предложения Бокха. Совет вынес вердикт в пользу подлинности обращения царя, и проконсул разрешил посланникам отправиться в Рим. Они попросили перемирия для своего короля[1175] до тех пор, пока миссия не будет завершена. Раздались громкие и гневные голоса протеста - голоса узких и подозрительных людей, которых преследует твердое убеждение, что просьба о прекращении военных действий всегда является вероломной попыткой возобновить подготовку к войне. Но Сулла и большинство членов совета поддержали просьбу посланников, и мудрый совет в конце концов возобладал. Посольство разделилось, двое из его членов вернулись к своему царю, а троих проводил в Рим Кней Октавий Русо, квестор, который привез последнюю часть жалованья для армии и был готов к возвращению на родину. Речь посланников в римском сенате приняла извиняющийся тон, предложенный Суллой. Их царь, по их словам, заблуждался; причиной ошибки был Югурта. Их господин просил, чтобы Рим допустил его к договорным отношениям с собой, чтобы она называла его своим другом. Не исключено, что эти переговоры имели тайную историю, что Бокху сообщили о какой-то очень существенной награде, которую он мог бы ожидать, если бы Югурта сдался. Но такое предположение не обязательно. Магия имени Рима разжигала воображение африканского царя в начале борьбы; теперь, когда его страхи были успокоены, цель, в какой бы форме она ни была достигнута, могла казаться в высшей степени желанной сама по себе. Сулла научил своих посланников ожидать гораздо большего, чем было обещано, и правильно понимать слова сената. Конечно, если за верность Бокха и была предложена награда, ее тщательно скрывали. Официальная форма, в которой правительство приняло просьбу просителя, давала бесплатное помилование и выражала холодное одобрение. "Сенат и римский народ (так гласила резолюция) привыкли помнить о добрых заслугах и о проступках. Поскольку

Бокк раскаивается в прошлом, они прощают его вину. Ему будет дарован договор и имя друга, когда он докажет, что заслуживает этого." [1176]

Получив ответ, Бокк отправил письмо Марию с просьбой прислать Суллу, чтобы тот посоветовался с ним по вопросам, затрагивающим общие интересы его и Рима.[1177] Было совершенно ясно, в чем заключался этот интерес. Если его можно было сделать "общим", то конец войны был достигнут. Сулла был отправлен, и окончательный триумф, если он будет достигнут, будет принадлежать дипломату, а не солдату. Квестора сопровождал эскорт из конницы, пращников и лучников, а также когорта италийцев с оружием для стычек, так как приключения посланников Бокха показали ненадежность маршрута. На пятый день похода вдали показалось большое конное войско - оно выглядело более крупным и грозным, чем оказалось впоследствии; ведь оно ехало в открытом строю, и дикие движения всадников казались преддверием атаки. Эскорт Суллы бросился к оружию, но вернувшиеся разведчики вскоре избавили его от страха. Оказалось, что приближающаяся конница насчитывает всего тысячу человек, а их предводитель - Волукс, сын Бокха. Принц приветствовал Суллу и сообщил ему, что он послан встретить и проводить его к царю. Два дня объединенные силы продвигались вместе, и в пути не было никаких приключений; но вечером второго дня, когда место отдыха уже было выбрано, мавританский принц поспешно явился к Сулле с выражением недоумения на лице. Он сказал, что его разведчики только что сообщили ему, что Югурта уже близко, и попросил Суллу присоединиться к нему в бегстве из лагеря, пока еще ночь.[1178] На эту просьбу последовал возмущенный отказ; Сулла указал на своих людей, чьи жизни могли быть принесены в жертву позорным исчезновением их вождя. Но когда Волукс сменил позицию и лишь настаивал на целесообразности ночного марша из опасного района, квестор согласился. Он приказал устроить вечернюю трапезу и разжечь множество костров, которые должны были гореть в опустевшем лагере. В первый же час мавры и римляне бесшумно покинули строй. Рассвет застал их уставшими, отяжелевшими от сна и жаждущими отдыха. Сулла наблюдал за измерением лагеря, когда несколько мавританских всадников прискакали с известием, что Югурта находится всего в двух милях от их позиции. Было ясно, что встревоженный нумидиец следит за каждым их движением; нужно было ответить на вопрос: "Участвовал ли принц Волукс в заговоре?" Факты казались достаточно мрачными, чтобы оправдать любые подозрения. Нервы римлян были расшатаны неизвестной опасностью, заставившей их покинуть свой лагерь, и бессонной ночью, последовавшей за его оставлением. Паника была неизбежным результатом, а паника приводит к ярости. Раздавались голоса, что мавританский предатель должен быть убит, и что если плоды его измены и будут собраны, то ему, по крайней мере, не дадут их увидеть. Сулла и сам был охвачен теми же подозрениями, что и его люди, но он не позволил им наложить руки на мавра. [1179] Он подбадривал их, как мог, а затем с горячим протестом обратился к своему сомнительному товарищу. Он призвал бога-покровителя своего рода, хранителя его международной чести, Юпитера Максима, чтобы тот засвидетельствовал преступление и вероломство Бокха, и приказал Волуксу покинуть его лагерь. Несчастный принц, вероятно, находился в состоянии подлинного ужаса перед Югуртой, в полной неопределенности относительно намерений этого ревнивого родственника и союзника. Даже если бы Волукс знал, что его отец Бокк хочет вести двойную игру, уравновесить беспомощность Суллы и Югурты, держать в руках сразу двух ценных заложников, как он мог быть уверен, что Югурта согласится играть роль простой пешки в царской игре, зависеть в своей безопасности от прихоти человека, которому он не доверяет? Югурта мог извлечь выгоду, расправившись с римлянами и захватив Суллу. Этот поступок безнадежно скомпрометировал бы Бокха в глазах римского правительства. Вряд ли найдется

человек, который не поверит в его измену, и с этого момента у Бокха не останется иного выбора, кроме как быть твердым союзником Нумидии против мести Рима. Однако если бы Волукс действовал или говорил так, как будто верил в возможность такого исхода, он мог бы показаться уличающим своего отца и себя самого, мог бы показаться заслуживающим сурового упрека Суллы и приказа об изгнании из римского лагеря. Поэтому он должен был скрыть свои страхи и заявить о доверии, которого не испытывал. Со слезами, которые, возможно, выражали искреннее волнение, он умолял Суллу не питать к нему недостойных подозрений. Никакого заранее обдуманного предательства не было; опасность, в лучшем случае, была результатом хитрости Югурты, который обнаружил их маршрут. Волукс намекнул, что целью нумидийцев было скомпрометировать мавританское правительство в глазах Суллы; но он выразил твердую уверенность, что Югурта не причинит и не сможет причинить никакого вреда ни римскому посланнику, ни его свите. Он указал на то, что у царя нет больших сил в распоряжении, и (что еще важнее) что теперь он полностью зависит от благосклонности своего тестя. Невероятно, утверждал он, чтобы Югурта попытался совершить какой-либо открытый враждебный акт, когда сын Бокха присутствует в качестве свидетеля преступления. Лучшим планом было бы показать свое безразличие к его замыслам и среди бела дня проехать верхом через центр его лагеря. Если бы Сулла пожелал, он мог бы послать мавританский эскорт или оставить его на месте и поехать с ним одним.

Это была одна из тех ситуаций, которые являются высшей проверкой качеств человека. Сулла знал, что его жизнь зависит от каприза или сиюминутного чувства собственной выгоды варвара, который, как считалось, не уклонялся ни от какого преступления и за голову которого Рим назначил цену. И все же он не колебался. Вместе с Волуксом он прошел через ряды лагеря Югурты, и отчаянный нумидиец не дрогнул. Мотивы, побудившие его к действию, так и остались неизвестными: возможно, Югурта никогда не собирался прибегать к насилию, но провал его плана скомпрометировать Бокха вполне мог побудить такого готового к действиям человека; возможно, он все еще полагался на свое влияние на мавританского царя, которое закрепляли его агенты при дворе. Но некоторые полагали, что его бездействие было вызвано неожиданностью, и что проезд Суллы через вражеский лагерь был одним из тех действий, которые становятся безопасными благодаря самой своей смелости[1180].

Через несколько дней путешественники достигли места, где Бокх держал свой двор. Тайные защитники Нумидии и Рима уже находились у царя.[1181] Представителем Югурты был Аспар, нумидийский подданный, посланный своим господином, как только пришло известие о том, что Бокк требует присутствия Суллы. Он был послан наблюдать за ходом переговоров и, по возможности, выступить в защиту своего монарха. Защитником Рима был Дабар, тоже нумидиец, но из царского рода, а потому враждебный Югурте. Он был внуком Масиниссы, но не по законному происхождению, так как его отец был рожден от наложницы царя.[1182] Его большие заслуги давно рекомендовали его Бокху, а известная лояльность Риму делала его полезным посредником в отношениях с представителем этой державы. Теперь он был послан к Сулле с сообщением, что Бокк готов пойти навстречу пожеланиям римского народа; что он просит самого Суллу выбрать день, час и место для совещания; что взаимопонимание, которое уже существовало между ними, осталось совершенно неизменным. Присутствие при дворе представителя Югурты не должно вызывать беспокойства. Этого представителя терпели только потому, что не было другого способа усыпить подозрения нумидийского царя. Мы не знаем, как Сулла отнесся к такому изложению дела; но где-то в летописях того времени можно найти категорическое

убеждение, что Бокк все еще вел двойную игру, что он все еще перебирал в уме достоинства сдачи Югурты римлянам и Суллы Югурте;[1183] что его страхи побуждали к первому шагу, его склонности - ко второму, и что эта внутренняя борьба велась на протяжении всех последующих мучительных переговоров.

Сулла, согласившись на обещанную встречу, ответил, что не возражает против присутствия легата Югурты на предварительных переговорах, но что большая часть того, что он хотел сказать, предназначалась только для царского уха или, по крайней мере, для очень немногих из его самых доверенных советников. Он предложил ответ, которого ожидал от короля, и после короткого перерыва был введен в присутствие Бокха. На этой встрече он вкратце рассказал о своей миссии; по его словам, он был послан проконсулом[1184], чтобы узнать у царя, намерен ли он заключить мир или войну. Было решено, что Бокх не должен давать немедленного ответа на этот вопрос, а должен отложить его до другого дня. Теперь царь перенес аудиенцию на десятое число, намекнув, что в этот день его намерения будут определены и ответ подготовлен. Сулла и Бокк удалились в свои лагеря, но царь был неспокоен, и в поздний час той же ночи к Сулле пришло послание с просьбой о немедленной и тайной беседе. На встрече не было никого, кроме Дабара, надежного посредника, и переводчиков, чья тайна была гарантирована. Поэтому повествование об этой знаменательной встрече[1185] принадлежит Сулле, чей удачный литературный вкус открыл миру часть тайной истории. Царь начал с комплиментов в адрес своего гостя, признания великого долга перед ним и надежды на то, что его благодетель никогда не устанет пытаться исчерпать его безграничную благодарность. Затем он перешел к вопросу о своих будущих отношениях с Римом. Он повторил утверждение, сделанное им по случаю предыдущего визита Суллы, что никогда не вел и даже не желал войны с римским народом, что он лишь защищал свои границы от вооруженной агрессии. Но он был готов отказаться от этого. Он не стал бы препятствовать римлянам вести войну с Югуртой так, как им заблагорассудится. Он не будет настаивать на своих претензиях на спорную территорию к востоку от Мулукчи. Он будет довольствоваться тем, что эта река, по которой проходила граница между его собственным царством и царством Миципсы, станет его будущей границей. Он не станет переходить ее сам и не позволит Югурте пройти в ее пределы. Если бы у Суллы была еще какая-нибудь просьба, которая могла бы быть справедливо высказана просителем и с честью удовлетворена им самим, он бы не отказал ему.

Строгий и безопасный нейтралитет - вот щупальце, протянутое Бокхом. Единственной тенью положительной услуги, которой он предлагал заслужить союз с Римом, был отказ от весьма спорных притязаний на часть владений Югурты. Безусловно, настало время подвести монарха к реальному вопросу, и Сулла надавил на него. Он начал с краткого признания комплиментов, которые царь высказал в свой адрес, а затем позволил себе несколько откровенных высказываний относительно ожиданий, которые римское правительство возлагало на своего потенциального союзника[1186]. Он указал, что предложения Бокха едва ли были нужны Риму. Держава, обладавшая ее военной мощью, вряд ли стала бы рассматривать их в свете благосклонности. Ожидалось нечто такое, что, как можно судить, отвечало бы интересам Рима гораздо больше, чем интересам самого царя. Услуга была очевидной. Югурта находился в его власти; если он передаст его Риму, то ее долг, несомненно, будет велик, и он будет выплачен. Признание дружбы, договор, которого он добивался, и часть Нумидии, на которую он претендовал, - все это он получит в свое распоряжение. Царь отступил; он настаивал на священных узах родства, на не менее священных узах договора, связывавшего его с зятем; он подчеркивал опасность для себя столь вопиющего нарушения веры. Это могло бы оттолкнуть от него сердца подданных, которые любили Югурту и ненавидели имя Рима.[1187] Но Сулла продолжал настаивать на

своим; сопротивление царя, казалось, сдавало позиции, и наконец он пообещал сделать все, чего требовал его настойчивый гость. Однако оба заговорщика сошлись на том, что необходимо сохранить видимость мирных отношений с Югуртой. Нужно сделать вид, что он согласен на условия конвенции; это будет готовой приманкой, ведь он основательно устал от войны. Сулла согласился на это соглашение как на единственное средство заманить жертву в ловушку; для Бокха оно, возможно, имело и другое значение: оно все еще оставляло его руки свободными.

На следующий день начались махинации, которые должны были закончиться жертвоприношением нумидийского царя или римского магистрата. Бокк вызвал Аспара, представителя Югурты, и сообщил ему, что от Суллы получено сообщение о том, что можно рассмотреть условия для завершения войны; поэтому он просит легата выяснить мнение своего государя.[1188] Аспар радостно отправился в штаб-квартиру Югурты, который теперь находился на значительном расстоянии от места переговоров. Восемь дней спустя он вернулся со всей скоростью, неся послание для уха Бокха. Югурта, как оказалось, был готов подчиниться любым условиям. Но он мало доверял Мариусу. Нередко случалось, что условия мира, утвержденные римскими генералами, объявлялись недействительными. Но существовал способ получить гарантии. Если Бокк хотел обеспечить их общие интересы и насладиться бесспорным миром, он должен был организовать встречу всех участников соглашения под предлогом обсуждения его условий. На этой встрече Сулла должен быть передан Югурте. Можно было не сомневаться, что обладание таким заложником заставит сенат и народ согласиться с условиями договора; ведь было невероятно, чтобы римское правительство оставило члена знати, захваченного при исполнении общественного долга, во власти врагов.

После некоторых раздумий Бокк согласился на этот шаг. Тогда, как и позже, был спорным вопрос о том, определился ли царь с окончательным вариантом действий на этом этапе.[1189] Когда время и место встречи были назначены, природа предательства все еще оставалась неясной. В один момент царь вел улыбчивую беседу с Суллой, в другой - с посланником Югурты. Обоим были даны совершенно одинаковые обещания; оба были довольны и с нетерпением ждали назначенного дня. Вечером накануне встречи Бокх созвал совет своих друзей; затем его осенила мысль, что их надо отпустить, и он некоторое время провел в молчаливом раздумье. Но еще до наступления ночи он послал за Суллой, и именно хитрость римлянина поставила перед нумидийцем последнюю точку. На рассвете принесли весть о том, что Югурта уже под рукой. Бокх, сопровождаемый несколькими друзьями и римским квестором, выступил вперед, словно желая оказать ему честь, и остановился на возвышенности, с которой главные действующие лица драмы оказались на виду у людей, сидевших в засаде. Югурта направился к тому же месту в окружении большой свиты своих друзей; было решено, что все участники совещания должны прийти без оружия.[1190] Был дан знак, и люди из засады со всех сторон бросились на курган. Свита Югурты была перебита до единого человека; самого царя схватили, связали и передали Сулле. Через некоторое время он оказался в плену у Мария.

Все давно знали, что с пленением царя война будет закончена. Марий мог отправиться на другие поля и мечтать о славе. Но даже полный крах сопротивления в Нумидии не избавил его от необходимости в значительном объеме детальной работы, которая поглощала энергию полководца в последние месяцы года. Даже когда из Рима пришло известие о том, что благодарный народ во второй раз возвел его в консулы и что на его плечи возложена задача более важная, чем Нумидийская война,[1191] он не сразу покинул африканскую провинцию, и вполне вероятно, что по крайней мере первые шаги в новом урегулировании

Нумидии, определенном сенатом, были сделаны им самим. Это поселение было характерно для империализма того времени. Правительство отказалось распространять пороки империи на запад и юг, делать из Мавритании еще одну Нумидию и вступать в пограничную войну с племенами, окаймлявшими пустыню. Поэтому он отказался признать Нумидию своей провинцией. В отсутствие более сильного правителя Гауда был посажен на трон своих предков;[1192] он давно пользовался поддержкой Мария и, похоже, был единственным законным претендентом. Но ему не досталось всего царства, которым владели Масинисса и Миципса. Стремления Бокха к расширению пределов Мавретании должны были быть удовлетворены, отчасти потому, что было бы неблагородно и невежливо лишать награды, на которую не раз намекали, человека, нарушившего свои личные склонности и национальные традиции подданных, над которыми он правил, ради того, чтобы оказать важную услугу Риму; отчасти потому, что было бы опасно для будущего мира Нумидии, а значит, и Рима, оставить нерешенным вопрос о претензиях Бокха на территорию к востоку от Мулукчи, особенно с таким правителем, как Гауда на троне. Таким образом, западная часть Нумидии была присоединена к царству Мавретания; около пятисот миль береговой линии могли быть переданы, а будущей границей между двумя доминионами мог стать порт Салдае на западе Нумидийского залива.[1193] Мудрость этого решения подтверждается его успехом. Пока сам Рим не станет жертвой гражданских распрей, а его изгнанники или завоеватели не обратятся за помощью к его собственным подданным, Нумидия перестанет быть фактором римской политики. Вред от вмешательства в династические вопросы был слишком очевиден, чтобы допустить необдуманное повторение опасного эксперимента.

По сравнению с урегулированием ситуации в Нумидии, конечная судьба ее покойного царя не вызывала особого беспокойства. Но Югурта сыграл слишком большую роль в истории, чтобы историк или уличный бездельник, толкающий своего соседа за привилегию поглазеть голодными глазами на лицо и осанку грозного воина, мог быть совершенно равнодушен к его концу. Пленник был обречен. Разве в течение многих лет с ним не обращались как с беглым преступником, а не как с враждебным королем? Если не принимать во внимание его злодеяния по отношению к собственной расе, разве он не расправился с римскими купцами, не подстрекал к вероломной расправе над римским гарнизоном и не подстроил убийство клиента римского народа на самых улицах Рима? По правде говоря, против Югурты можно было бы выдвинуть грозное обвинение, и никто не заботился о том, чтобы определить, какие из пунктов относятся к военным действиям, а какие должны быть отнесены к категории просто частных преступлений. Достаточно было того, что он был врагом (что для римского ума означало предателя), принесшим смерть гражданам и унижение государству, и, вероятно, если бы нумидиец был чистейшим рыцарем, чья рыцарская война потрясла могущество Рима, он отправился бы в последний путь на Капитолий. Таков был обычай Рима, и любое отступление от железного правила было актом необыкновенной милости. Тупость толпы, тесно связанная с ее жестокостью, была совершенно неспособна различить различия в поведении, которые являются результатом различия этических стандартов рас мира, или даже сопоставить преступления, совершенные их собственными командирами, с теми, которые могут быть приписаны врагу, которого они захватили. И этот недостаток воображения отразился в культурном правительстве, отчасти потому, что их культура была поверхностной и они все еще оставались продуктами старой мрачной школы, породившей их свирепых предков, отчасти по причинам чисто политическим. Легкая власть, которую Рим держал над своими зависимыми людьми, могла быть облегчена только актами периодической суровости; мир должен был увидеть последствия восстания против государя. Но истинное оправдание римской жестокости зависело не столько от таких соображений, которые часто бывают весьма спорными, сколько от нормального отношения самого римского ума. Жестокость была лишь выражением римского патриотизма; с характерной

последовательностью они применяли одни и те же взгляды к своим гражданам и подданным, а их обращение с пленными врагами было лишь одним из проявлений того духа, который нашел выражение в их собственном ужасном законе об измене.

Когда Марий праздновал свой триумф 1 января в год, последовавший за окончанием Нумидийской войны,[1194] Югурта и два его сына шли перед его колесницей. Пока длилось представление, царь все еще носил свои царские одежды в насмешку над своим прежним состоянием; когда оно достигло своей точки на Капитолии, началось унижение и наказание. Но некоторые считали, что ни то, ни другое теперь не ощущается, и что это был безумец, которого столкнули с узкой лестницы, ведущей в высеченную в скале темницу под холмом.[1195] С него содрали тунику, вынули золотые кольца из ушей, и, когда сын юга[1196] с дрожью ступил в похожую на колодец пещеру, с его губ сорвался крик "О! Какая холодная ванна!". Из рассказов о том, как был достигнут конец, более подробный говорит о затяжной агонии в течение шести дней, пока пленник не умер от голода, а его ослабевший разум все еще цеплялся за надежду, что его жизнь еще может быть спасена[1197].

Главным призом нумидийской войны было множество сокровищ, включая более трех тысяч фунтов золота и более пяти тысяч серебра[1198], которые были показаны на триумфе Мариуса, прежде чем были переданы в сокровищницу. Это была единственная постоянная награда войны, которую можно было показать народу; если не считать двух триумфов и признания заслуг трех чиновников, больше показывать было нечего. Трудно было оправдать войну даже с оборонительной точки зрения, так как требовался смелый защитник, чтобы утверждать, что одно лишь признание Югурты царем Нумидии поставило бы под угрозу римские владения в Африке; и если борьба приняла антиримский характер, то этому результату способствовала, если не обеспечивала, тактика оппозиции, которая систематически пресекала все попытки компромисса. Но война, которую трудно оправдать и еще труднее вспоминать с удовлетворением, может быть необходимым результатом радикально несостоятельной системы управления: и бедствия, которые она влечет за собой, могут быть в равной степени следствием военной системы, превосходной самой по себе, но плохо приспособленной к обстоятельствам страны, в которой ведется борьба. Это единственные две точки зрения, с которых Нумидийская война примечательна как со стратегической, так и с административной точек зрения. Стратегические трудности задачи не более чем демонстрируют мудрость большинства сената и ранних генералов, участвовавших в кампании, в стремлении избежать борьбы почти любой ценой. Военная система обусловлена потребностями ее развития; даже система империи редко бывает достаточно эластичной, чтобы быть одинаково приспособленной к каждой стране и одинаково способной победить любую форму вооруженного сопротивления. Римская система была разработана для того типа войны, который был характерен для цивилизованных наций Средиземноморья - наций, которые использовали хорошо вооруженных и полностью экипированных солдат в качестве основного источника своей боевой силы, и которые были вынуждены действовать на узкой территории, поскольку обладали большими центрами цивилизации, которые было необходимо защищать. Ее мобильность была просто мобильностью тяжелой пехоты с ограниченным радиусом действия; в дни своего наивысшего развития она все еще была поразительно слаба в кавалерии. Она уже показала себя несовершенным инструментом для подавления партизанской войны в Испании; она никогда не предназначалась для ведения войны в пустыне или для умиротворения племен кочевников на обширной и безлюдной территории. Как парфянская война Траяна потребовала формирования практически новой армии, созданной по незнакомым принципам, так и полная реорганизация республиканской системы была бы необходима для эффективного завоевания Нумидии. Небольшие успехи

этой войны, такие как взятие Талы и Капсы и победы под Циртой, были достигнуты благодаря разумному приспособлению к новым условиям, использованию легкой пехоты и более широкому применению кавалерии; но даже эти улучшения были малоэффективны, поскольку эффективное преследование по-прежнему было невозможно, а без преследования конфликт не мог быть доведен до конца. Неблагоприятные условия почти оправдывают генералов, допустивших оплошность в ходе борьбы, и для непредвзятого наблюдателя свидетельства некомпетентности незначительны. Тот факт, что неубедительные действия Метелла и Мария были признаны успешными, почти оправдывает подвиги Бестии, и даже венчающая войну катастрофа - неожиданность армии Аулуса Альбина - могла быть уделом лучшего полководца, противостоящего врагу, намного превосходящему его в мобильности и знании местности. Большинство войн такого типа разрушают репутацию полководцев; повезет тому, кто окажется наименее неспособным из множества промахов. Если мы примем этот относительный стандарт, то одним из удачных итогов кампании можно считать открытие того, что Марий не был недостоин своей военной репутации. Вердикт, правда, не был оправдан положительными результатами; но это был вердикт армии, которую он возглавлял, и его нельзя игнорировать, как и все подобные суждения. Его руководство характеризовалось, по крайней мере, эффективностью в деталях, и эта эффективность обеспечивалась мягкими мерами, неусыпной бдительностью, воспитанием истинного солдатского духа и неустанным примером командира. Смелость новатора - смелость одновременно политическая и военная - также дала Риму, в массе непрофессиональных классов, бездонный источник, из которого она могла бы черпать армию профессиональных солдат, если бы обладала способностью использовать свои возможности.

Политические вопросы войны были связаны со стратегическими, поскольку колебания сената по поводу начала военных действий были основаны на справедливой оценке трудностей кампании, и поскольку политика сглаживания трудностей в государстве-клиенте дипломатическими средствами, вместо того чтобы разворошить осиное гнездо ударом меча, была одной из традиционных максим римского протектората. Но эта вторая проблема затрагивала весь большой административный вопрос о пределах обязанностей, которые Рим должен был выполнять по отношению к своим королям-клиентам. Такой вопрос нередко предполагает конфликт долга с интересами. Требования Адербала о защите от агрессивного кузена могли быть справедливыми, но даже многим умеренным людям, не испорченным макиавеллистской политикой, они могли показаться невыносимыми. Неужели Рим должен был тратить свои силы и ставить на карту мир империи из-за одного лишь вопроса о династическом престолонаследии? Не лучше ли позволить соперникам самим решить этот вопрос, а затем посмотреть, окажется ли тот, кто выйдет победителем из этого поединка, приемлемым и послушным Риму клиентом? Несомненно, такой ход таил в себе опасность: опасность, связанная с порочным примером, который может распространиться на другие государства, находящиеся под защитой; но разве это не меньшая опасность, чем свержение правителя, доказавшего свою энергию и способности, знакомство с римским укладом и знание римских методов, а главное - доверие огромной массы нумидийского народа? Можно возразить, что Адгербал своей слабостью доказал свою непригодность быть эффективным агентом Рима. Можно было бы спросить, мог ли такой человек быть адекватным представителем римских интересов в Африке, адекватным защитником границ провинции. С другой стороны, следует признать, что на стороне сторонников вмешательства было нечто большее, чем требование справедливости и престижа. Неоспоримым фактом было то, что разделение власти в Нумидии в то время, когда вопрос был представлен Риму, показывало, что Адгербал выступал за цивилизацию, а Югурта - за варварство. Этот вопрос, возможно, не был очевиден вначале, хотя любой, кто знал Нумидию, должен был понимать, что военный

дух страны, воплощенный в Югурте, был представлен не в городах побережья с их торговым населением, собранным из многих городов, а в отдаленных сельскохозяйственных районах и пустынях на западе и юге; Но это был вопрос, признанный комиссарами, когда они отдали более цивилизованную часть королевства Адгербалу, а территории, сила которых заключалась в природных богатствах и мужественности, которую они давали, его энергичному сопернику; и этот вопрос стал болезненно очевидным, когда Югурта повел свои варварские орды против Цирты, и когда эти орды в час победы убили всех купцов и ростовщиков, которых они могли найти в городе. Именно этот аспект вопроса в конечном итоге оказался решающим фактором в развязывании войны; ведь требования справедливости теперь могли быть подкреплены интересами, а интересы, которые были поставлены на карту, принадлежали могущественному денежному классу в Риме. Именно этот класс не только заставил правительство начать войну, но и настоял на том, чтобы довести ее до горького конца. Именно этот класс систематически препятствовал всем попыткам компромисса, клеймил контроль над судами перед лицом каждого, кто пытался умерить войну надеждами на мир, терпел Метелла, пока тот не оказался слишком медлительным, и отправил Мария в тщетной надежде, что тот проявит большую прыть. Завершение войны стало своеобразной сатирой на их политику, замечательным доказательством справедливости официальной точки зрения. Конец был положен дипломатией, а не битвой, неизвестным квестором, принадлежавшим к старой знати и обладавшим ее лучшими дарами - легкостью речи и гибкостью в интригах, а не великим "новым человеком", который должен был стать живым примером того, что может быть сделано, если средний класс будет иметь возможность делать государственных министров.

Но денежный класс вряд ли смог бы развить силу, чтобы навязать руку государственному совету, если бы не был в союзе с третьим великим фактором в содружестве, той неорганизованной массой колеблющихся мнений и рассеянного избирательного права, которую называли "народом". Как получилось, что *Populus Romanus* был побужден к действию в этом деле, в результате чего баланс сил, установленный Каем Гракхом, был снова восстановлен? Возможно, многое в их волнении было результатом искажения информации, настойчивых попыток оппозиции доказать, что все переговоры с врагом равносильны измене; еще больше, должно быть, было вызвано позорными известиями о позитивных катастрофах, которыми был отмечен более поздний этап войны; но смешанное отношение негодования и подозрительности, с которым народ учился относиться к своему совету и министрам, похоже, было вызвано искренним убеждением, что многие из первых и почти все из последних были безнадежно коррумпированы. Этот самый мрачный аспект нумидийской войны не становится менее реальным, если мы считаем, что отдельные обвинения в коррупции не были обоснованными и что они были простым партийным приемом, призванным скрыть политику, которая была бы невозможна без них. Действия Мамилианской комиссии, конечно, не вызывали уважения даже у демократа более позднего времени; но нас больше всего волнует подозрение в коррупции, а не справедливость этого подозрения в отдельных случаях. Политическое общество должно быть испорчено до глубины души, если подкуп можно рассматривать и принимать как серьезное и адекватное объяснение действий его ведущих членов. Подозрение было осуждением государства, а не какого-то класса. Заманчиво было бы предположить, что болезнь ограничивалась узким кругом (по любопытной случайности - кругом, фактически стоящим у власти); но какие доказательства давало бы такое предположение? Вожди народа сами были членами сенатского ордена и отпрысками должностной знати. Новый человек" Марий может громогласно призывать к более чистой атмосфере и более широкому полю; но пройдет еще много времени, если вообще пройдет, прежде чем государственные советы будут

управляться людьми, которые могут считаться добродетельными, потому что их предки были неизвестны.

Но на какое-то время возобладало мнение, что интересам государства лучше всего послужит сочетание влиятельных директоров финансовых корпораций с патриотичными реформаторами, наделенными трибуналом, борющимися за высшие посты и выражающими свои взгляды на государственное устройство главным образом в форме обличений правительства. Такая коалиция могла бы сформировать мощный и здоровый орган критики; но она могла бы стать таковой, лишь послужив основой для новой исполнительной власти. Относительно природы этой власти и даже необходимости ее существования взгляды недовольных элементов того времени были, вероятно, столь же неопределенны, как и у приверженцев Кая Гракха. Республиканская конституция была общепризнанным фактом, и сенат, по крайней мере, должен быть терпим как необходимый элемент этой конституции; ведь никто не мог и мечтать о том, чтобы найти последовательное управление ни в комициях, ни в совокупности народных магистратов. Теперь, как и во все времена, когда римская конституция достигла своего полного развития, единственным способом нарушить традицию для достижения определенной цели, которой, как предполагалось, пренебрегал сенат, было обращение к услугам отдельного лица. В этом не было никакой опасности, если человека можно было свергнуть, когда его работа была завершена, или когда сенат восстановил свой прежний престиж. Лидер, возведенный в чисто гражданскую магистратуру народными выборами, всегда подвергался этому риску; если его личное влияние перерастало необходимость его задачи, если он переставал быть агентом и грозил стать хозяином, одно только подозрение в стремлении к монархии вызывало дрожь реакции в массе людей, которые обеспечили ему его величие. Пока призывы к реформам основывались на существовании чисто внутренних бедствий, которые могла бы излечить временная власть внутренней магистратуры, такой как трибунал, грудь даже самого робкого конституционалиста не заслуживала того, чтобы ее будоражила тревога за безопасность республиканского правительства. Но что, если внешние опасности требовали урегулирования, если взоры меркантильных классов и пролетариата были обращены на зрелище приходящей в упадок внешней торговли и империи в беспорядке, если великое оправдание власти сената - его управление иностранными зависимыми территориями Рима - было сначала поставлено под сомнение, а затем отброшено? Не придется ли в таком случае наделять отдельного имперца военной властью? Разве его власть не должна быть защищена и увековечена оружием более могущественным, чем табличка для голосования? Разве его сторонниками не могут быть люди, которым мало прелести гражданской жизни, чьи привычки приучили их искать вдохновения в личности, а не в корпорации, тем более не в абстракции, называемой конституцией, - люди, не подверженные разделяющему влиянию или подверженные сиюминутным страстям своих собратьев по улице? Разве в таком случае власть отдельного человека не будет обеспечена, и что это будет, как не монархия?

Именно на такие мысли наводит потомков власть, которой со времен Нумидийской войны стали обладать всенародно избранные полководцы. Но не таковы были размышления Мария и его современников. Не было ни одного прецедента, ни одного современного обстоятельства, которое могло бы навести на мысль о какой-либо опасности, исходящей от военной власти. Эксперимент, когда сенат поручал ведение кампании народному любимцу, уже был опробован, и, независимо от того, были ли его непосредственные результаты благоприятными или обратными, он не привел к каким-либо скрытым последствиям. Независимо от того, возлагал ли народ свои надежды на людей из знати, таких как два Сципиона, или на людей из народа, таких как Варро, они либо уходили из общественной жизни, либо признавались в своей неспособности, либо возвращались на службу

государству. Армии, которые возглавляли такие генералы, состояли из обеспеченных людей, которые, кроме раздражения от сборов, не имели никаких оснований для жалоб на государство: а изменения в системе набора, которые ввел Марий, были слишком новыми и слишком частичными, чтобы их последствия можно было предсказать. Нельзя было ожидать, что кто-то увидит фундаментальную разницу между Римом двух поколений прошлого и Римом сегодняшнего дня - разницу, которая проистекала из растущего расхождения интересов классов и, как следствие, ослабления доверия к одному классу, который "выдержал бурю и потерпел крушение во время штиля". Аристократия - истинный нивелировщик заслуг, но если она теряет эту магическую силу, переставая быть аристократией, значит, настал черед индивидуума.

Тот факт, что он уже наступал, может оправдать нас, если мы перейдем от общего к частному и отметим, что вопрос "Кто заслужил окончание войны с Югуртой?" вскоре вызвал интерес, который в равной степени касался двух партий в государстве и двух личностей, которых выявило завершение этого эпизода. Естественно, что успех Суллы использовался обиженными представителями знати как триумф аристократа над парвеню, старой дипломатии и старой бюрократии над грубыми и детскими методами оппозиции; заманчиво было распространить мнение, что унижение Метелла было отомщено, что человек, оклеветавший и сместивший его, нашел себе врага в лице молодого представителя аристократии.[1199] Такая версия, если она и достигла ушей масс, была услышана только для того, чтобы быть отвергнутой; человек, который привел Югурту в цепях в Рим, должен быть его победителем, и, даже если бы этих доказательств не было, они не собирались отказываться от славы, которая отражалась от созданного ими чемпиона. Даже в кругах правящего класса эти разногласия не могли быть на данный момент более чем предметом праздных или злонамеренных спекуляций. Нужно было вести тяжелую борьбу с северными варварами, требовалась реорганизация армии, и для обеих этих целей даже они признавали, что Марий - необходимый человек. Даже два человека, которые были больше всего заинтересованы в приговоре, на время подавили амбициозные притязания, которые подкреплялись верой в его справедливость, и обидное отречение, которое стало бы еще более категоричным из-за неприятного ощущения, что оно не может быть абсолютным. В предстоящих походах против германцев Сулла служил сначала легатом, а затем военным трибуном в армии своего старого полководца. 1200] Но его собственное убеждение в том, какую роль он сыграл в нумидийской войне, было выражено не менее раздражающе, поскольку не давало никаких разумных оснований для обиды. Он стал носить перстень с печатью, на которой был изображен Бокк, передающий ему в руки Югурту. 1201] Этой эмблеме суждено было действовать на нервы Марию в еще более оскорбительной форме, поскольку тринадцать лет спустя, когда его дело было сделано и слава начала угасать, Рим получил неожиданное подтверждение правдивости изображенной на ней сцены. Царь Мавретании, желая примирить римский народ и одновременно выразить свою благодарность Сулле, прислал в качестве посвящения на Капитолий группу трофейных викторий, которые охраняли выточенное из золота устройство, изображавшее Бокха, сдающего Сулле личность нумидийского царя. Марий хотел бы убрать его, но сторонники Суллы теперь могли громко заявить о своем требовании, о котором только шептались, когда над государством нависла мрачная туча варварского вторжения, а верная вера народа в Марию усиливала его страхи[1202].

И все же, хотя в конце Нумидийской войны страшная опасность, грозившая империи, стремилась закрепить коалицию, сложившуюся между меркантильными классами и пролетариатом, и вырвать у сената признание нового военного гения с его планами реформ, Есть явные признаки, доказывающие, что даже в течение последних трех лет наблюдался

подъем политических чувств - поворот, который показывает, насколько неустойчивой была бы коалиция против сената, если бы ее не подкрепляли продолжающиеся бедствия за границей. Первым признаком реакции стал лестный прием и триумф Метелла; возможно, именно это течение чувств определило консульские выборы на следующий год. Победителями стали Кай Атилий Серран и Квинт Сервилий Каэпио. Имя Серрана восходило к великим карфагенянам Регулам;[1203] семья, к которой он принадлежал, хотя и была плебейской, но входила в число официальной знати с конца IV века, хотя известно, что со времен Кая Регула государство получило всего пять консулов. Заслуги Серрана в глазах избирателей, которые возвели его на высокий пост, стали загадкой для потомков; ведь знатность, которой он мог похвастаться, казалась единственной компенсацией за недостаток ума, который, как предполагалось, характеризовал его высказывания и поведение.[Но, если судить по решимости, которую он впоследствии проявил в борьбе с революцией в Риме,[1205] он был известен как сторонник власти сената, а его аристократические наклонности, возможно, привели его к объединению с его более выдающимся коллегой Каэпио. Последний принадлежал к патрицианскому клану, причем к той его ветви, которая в последнее время цеплялась за высшие политические награды с упорством, уступавшим только Метеллам. Прадед Каэпио, его дед, отец и два его дяди занимали должности консулов, а его собственные наследственные притязания на этот пост стали более надежными благодаря хорошей службе в Лузитании, которая обеспечила ему военную репутацию и триумф, которым он пользовался в тот самый год, который предшествовал выдвижению его кандидатуры.[1206] Его политические настроения, возможно, были известны до его избрания; но сам факт его возведения в консулы и его оценка направления, в котором, казалось, текла волна общественных чувств, придали определенность его взглядам и смелость его реформаторскому консерватизму, что, должно быть, удивило его сторонников, равно как и его противников, и, возможно, не совсем понравилось крайним членам прежней партии. Должно быть, считалось, что между денежными классами и народом наметился раскол и что последние, удовлетворенные своим недавним политическим триумфом и примиренные честной пассивностью сената, будут довольны тем, что вернулись к своей прежней преданности правящему классу. Должно быть, даже предполагалось, что можно пробудить дух раскаяния и негодования по поводу безрассудного и эгоистичного использования рыцарями вверенной им судебной власти, что маммианская комиссия может быть представлена как оскорбление общественной совести, а обычное рассмотрение государственных преступлений - как террор, направленный лишь на обеспечение безопасности инвестиций.[1207] Рыцари должны были быть атакованы в своей крепости, и Каэпион выступил с новым судебным законом. До нас дошли два рассказа о масштабах этой меры. Согласно одному из них, законопроект предлагал разделить юрисдикцию в постоянных уголовных судах между сенаторами и эквитами;[1208] согласно другому, эта юрисдикция должна была быть передана сенату.[О том, что последний результат должен был быть достигнут каким-то образом с помощью закона, свидетельствует, вероятно, та сильная неприязнь, которую впоследствии испытывал конный орден к любому похвальному упоминанию ненавистного предложения Сервилиана:[1210] и, хотя класс, обладавший и, возможно, злоупотреблявший монополией на юрисдикцию, может возражать против того, чтобы даже часть ее была передана их врагам и жертвам, все же это недовольство будет более естественным, если угрожаемый переход юрисдикции от их ордена будет полным. Но в любом случае мы не можем позволить себе пренебречь прямым свидетельством того, что сенат должен был владеть судами; И единственный способ примирить эту точку зрения с другой традицией о разделении юрисдикции между орденами - предположить, что Цепион предпринял попытку, предложенную Тиберием Гракхом, однажды поддержанную его братом Каиусом[1211] и впоследствии подхваченную младшим

Ливием Друзом, - увеличить сенат, приняв в него определенное число рыцарей, и передать управление судами членам этого расширенного совета. Может показаться странным и революционным шагом попытка такой реформы руководящего органа государства, членство в котором и привилегии которого так ревностно охранялись, ради достижения одной политической цели; на первый взгляд может показаться, что допуск значительного числа представителей высшего среднего класса к власти и наградам, которыми обладали привилегированные немногие, будет шоком даже для мягко консервативного ума, питавшегося традициями прошлого. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что такое изменение означало бы лишь незначительную модификацию нравов и тенденций сената и гарантировало бы очень большое повышение его безопасности, независимо от того, хотел ли он управлять хорошо или плохо, обеспечивать свои собственные преимущества или преимущества своих страдающих подданных. В действительности же интересы сенаторов и более знатных членов конного ордена разделяла очень тонкая грань. И только когда официальная честность или чиновничий эгоизм вступали в конфликт с капиталистической алчностью, между двумя главами политического тела возникали разногласия. Но что, если официальная власть, в любом из ее аспектов, могла бы пойти на компромисс с жадностью? Грубые черты обеих сторон могли бы быть смягчены; но в худшем случае результатом союза стала бы более прочная, постоянная и, в конечном счете, более выгодная монополия на блага империи. Принятие в орден богатых капиталистов не могло считаться очень заметным социальным отклонением от достоинства ордена. Вопрос о родословной может быть утоплен в приятном сообществе вкусов. С точки зрения пышных трат и экзотической утонченности, вкуса, проявлявшегося в покровительстве литературе, коллекционировании предметов искусства, украшении загородных вилл, между капиталистом и дворянином почти не было разницы. А общность вкуса - это легкий переход к общности политических настроений. Любой человек, знакомый с историей прошлого, должен был знать, что все попытки умерить исключительность сенаторского строя приводили лишь к усилению духа исключительности. В былые времена патрицианский совет штурмовала орда плебейских вождей; но эти вожди, однажды ступив в магический круг, не проявляли ни малейшей склонности к тому, чтобы позволить своим более бедным последователям сделать то же самое. Преуспевающий римлянин, практичный, хваткий, коммерческий и великолепно благодетельный, считая славу покровительства второй по значимости, чем обладание властью и ее эгоистичное использование, едва ли придавал значение даже самому высокому рождению, лишенному его блестящих аксессуаров, и всегда находил узы общения в тесной общности интересов с другими, которые помогали ему удерживать положение, которое он мог сохранить вопреки всему миру. Насколько надежнее было бы это положение, если бы первые ряды нападающих были завлечены в крепость и заняли прочные позиции на стенах! Они быстро вдохнули бы в свои легкие крепкий воздух обладания, их быстро сковала бы та электрическая жесткость, которая охватывает человека, когда он становится обладателем кровного интереса. Вероятность того, что рыцари, принятые в сенат, останутся в каком-либо реальном смысле членами конного ордена, была невелика.

Но даже для сенатора, который считал увеличение числа дольщиков, какими бы ни были их нынешние или будущие настроения, потерей для себя, жертва, связанная с предлагаемым увеличением числа членов его ордена, могла показаться вполне достойной. Ибо как можно было осуществлять власть или пользоваться ею перед лицом враждебной судебной системы? Рыцари недавно сделали внешнее управление по принятым правилам не только невозможным само по себе, но и опасным для администратора, и во всех деталях провинциальной политики они могли, если бы захотели, проводить свои взгляды в жизнь с помощью страшного инструмента, который Кай Гракх передал в их руки. Даже если бы

деловые люди, лишенные своих самых выдающихся членов, все еще имели возможность оказывать преходящую оппозицию сенату путем коалиции с толпой, более опасные, потому что более постоянные, возможности нанесения вреда, которые давал им контроль над судами, были бы полностью сведены на нет.

Поэтому привлекательность предложения Казепо для сенаторского ума вполне понятна; но вполне вероятно, что среди знати было немало тех, кто был совершенно нечувствителен к этой привлекательности. Люди, готовые опуститься на несколько ступеней ради выгодного согласия между орденами, возможно, составляли большинство; но должно было быть значительное число чопорных вельмож, которые, даже если они верили, что согласие может быть обеспечено мерой, отдающей привилегии и не примиряющей вражду, крайне не хотели опускаться вообще. Казепо - первый выразитель новой фазы консерватизма, одушевлявшего старшего Друза. Этот государственный деятель стремился привлечь народ на сторону сената рядом благодетельных законов, которые должны были быть столь же привлекательны, как и законы демагога, и, возможно, иметь более постоянную пользу, чем благодеяния, возложенные на них безответственным фаворитом момента; но он ничего не сделал для меркантильного класса; и его старшему сыну осталось объединить схему примирения, переданную ему отцом, с той, которую провозгласил Казепо.

Умеренность и тактическая целесообразность нового предложения поразили воображение человека, чья поддержка была крайне важна для успеха меры, которая должна была быть представлена на рассмотрение народной массы, разделенной в своей преданности, неопределенной в своих взглядах и, следовательно, открытой для убеждения риторикой, а не аргументами. Характерным для прошлой карьеры молодого оратора Луция Красса было то, что теперь он полностью перешел на сторону Казепо и прогрессивных членов сената. [1212] Его прошлая карьера не предполагала крайностей. Он объявил импичмент Карбону, который, как известно, был радикалом и считался ренегатом, и отстаивал политику колонизации провинций, примером которой стало поселение Нарбо Марций. Его действия в первом случае могли быть одинаково приятны для любой стороны; его действия во втором могли быть истолкованы как работа не столько продвинутого либерала, сколько империалиста, более просвещенного, чем его сверстники. Очевидно, что он не уменьшил свои шансы на политический успех; ему было всего тридцать четыре года, и он только что завершил свое пребывание в трибунате. В противоположном лагере стоял Меммий, всеми силами старавшийся сохранить коалицию между народной партией и купеческим сословием, для создания которой он приложил немало усилий. Рыцари охотно встали под его знамена, поскольку у них не было иллюзий относительно смысла законопроекта; невозможно было примирить орден, подкупив несколько сотен его членов, имена которых были еще неизвестны. Удержать народ в верности коалиции было гораздо более сложной задачей. Вскоре всем стало ясно, что агитаторы не ошиблись, полагая, что между бывшими союзниками наметилась серьезная трещина, и в словесной войне, которой вскоре наполнился Форум, Меммий, похоже, не уступал своему противнику. Красс превзошел самого себя, и острая, но шутивная инвектива, с которой он выставил Меммия на посмешище своим бывшим последователям, [1213] была сбалансирована грандиозными периодами, в которых он сформулировал свое подробное обвинение методов, применяемых существующими судами, и ужасных опасностей для общественной безопасности, порожденных их методами управления. Он не просто осуждал вердикты, которые выносились системой присяжных, настолько деградировавшей, что превратилась в спорт политической "фракции", но и подробно останавливался на общественной опасности, исходящей от паразитов судов, мрачном выводке общественных обвинителей, который вылупляется из прогнившей системы, питается нечистотами больной судебной системы и

пугает содружество опасностью, таящейся в его ядовитом жале. Эту речь еще долгие годы должны были изучать жаждущие ученики как образец искусства ораторского искусства.[1214] Но ее сиюминутная эффективность, похоже, была столь же велика, как и ее постоянная ценность. Законопроект Казепо был одобрен и принят.[1215] После этого начался поворот к лучшему. Можно с уверенностью сказать, что у авторов этой меры никогда не хватало смелости, а времени, чтобы воплотить в жизнь хотя бы одно из ее предложений. Сенат не был расширен, а судебное право не было вырвано из рук уже существующих его обладателей.[1216] Возможно, законопроект был отменен в течение нескольких месяцев после его принятия народом. Цепион отправился в Галлию, чтобы поставить свою военную репутацию на карту в конфликте с германскими ордами; он должен был вернуться самым ненавистным человеком в Риме, чтобы не получить пощады от возмущенного народа. Вероятно, у этой внезапной смены политических настроений была не одна причина. Возможно, рыцари были выбиты из колеи внезапностью нападения Казепо на их привилегии, и несколько месяцев организации и агитации, возможно, были всем, что им было нужно, чтобы восстановить большинство, необходимое для стирания пятна с их имени. Но главную причину, несомненно, следует искать во внешних обстоятельствах момента, и она может быть полностью проиллюстрирована только описанием великих событий, которые вскоре произойдут на северных границах империи. Для настоящего времени достаточно вспомнить, что в том самом году, когда мера Цепиона получила ратификацию народа, Кай Попилий Лаэнас, легат одного из консулов предыдущего года, предстал перед этим же народом за заключение договора, который считался еще более позорным, чем предшествовавшее ему поражение. [1217] Теперь комиция услышала всю историю действий римского оружия против северных варваров. Эта история сразу же воскресила коалицию первых дней нумидийской войны, и больше не было никакой надежды на успех даже умеренных советов, исходящих от сената. Попиллий был вторым Аулом Альбином, и для восстановления прежней удачи требовался новый Марий. Однако было ясно, что единственного Мария не удастся отозвать из Африки, и люди с нетерпением ждали, что дадут консульские выборы в следующем году. Мы не знаем ни одного кандидата, принадлежавшего к высшей знати, который считался бы обманутым в своем родовом праве; но разочарование Квинта Лутация Катула было сочтено вполне закономерным, когда Кней Маллий Максим победил его на выборах. Катул принадлежал к плебейской семье, которая была облагорожена владением консульством, по крайней мере, еще во время Первой Пунической войны; но это отличие не было закреплено в поздних анналах дома, и если Катул получил поддержку официальной знати, то только потому, что его вкусы и темперамент гармонировали с их вкусами, и потому, что, возможно, казалось невежливым выдвигать человека лучшего происхождения и более выраженных взглядов, учитывая преобладающие нравы в народе. Катул был человеком с изящным вкусом и отточенной образованностью, одним из самых совершенных эллинистов того времени и отличался изяществом и чистотой латинского стиля, который проявлялся в его сочинениях и ораторских выступлениях.[1218] Однажды он должен был написать историю своего судьбоносного консульства и финальной борьбы с кимврами, в которой он сыграл не самую позорную роль. Многие из того, что мы знаем о тех днях, принадлежит его перу, и современный историк, возможно, может поздравить себя со слепотой народа, который трижды отказал Катулу в консульстве и оставил его в качестве актера и свидетеля венчающей победы великого года освобождения. Он уже был побежден Серраном; теперь он был подчинен требованиям Максима. Но что это были за претензии? Потомки затрудняются дать ответ,[1219] и причина этого затруднения в том, что этот второй эксперимент с добродетелями "нового человека" был отнюдь не удачным. Семья, к которой принадлежал Максим, похоже, ничем не выделялась, а сам он - единственный представитель своего рода, о котором известно, что он достиг консульства.

Объяснение его нынешней известности может быть получено только из знания его прошлой карьеры, а этого знания мы полностью лишены; но очевидно, что он должен был сделать многое, либо в виде положительных заслуг перед государством в подчиненном положении, либо в виде инвектив против его прежних администраторов, что заставило лидеров толпы рассматривать его как открытие. Коллега Максимуса был человеком, от которого народ в сложившейся ситуации не мог отказаться. Публий Рутилий Руф был своего рода Катом с более глубокой философией, более высокой культурой и гораздо менее причудливой деятельностью. Как солдат он прошел обучение у Сципиона в Испании, и ему был присущ теоретический интерес к военным вопросам, который вылился в практические результаты самого важного рода. 1220] Его пребывание на посту городского претора, похоже, было отмечено реформами, которые существенно улучшили положение вольноотпущенников в вопросах частного права и ограничили право покровителей навязывать обременительные условия личной службы в качестве цены за манумиссию.[1221] Возможно, именно он ввел гуманную систему предоставления имущества должника кредитору, если тот готов отказаться от своих притязаний на личность должника. 1222] Таким образом, Рутилий мог претендовать на признательность низших сословий; его личность была такой, что скорее вызывала благодарное уважение, чем горячую привязанность. Он был ученым приверженцем стоической системы, холодная и суровая философия которой пропитала его речи, уже ставшие несколько непривлекательными из-за приверженности их автора к формам гражданского права[1223] Он пользовался большим спросом как адвокат, его образованность вызывала глубокое уважение, но ему не хватало или он не хотел снисходить до очарования, которое сделало бы его большой личной силой в народе в то время, когда была острая нужда в людях, которые были бы одновременно великими и честными.

По необычной иронии судьбы случилось так, что провинция Галлия досталась Максиму, а не Рутилию. Сильный духом солдат остался дома, чтобы предаваться своим планам реформирования армии, а новый человек отправился на свой пост на севере, чтобы поссориться с аристократом Каэпионом, который теперь исполнял обязанности проконсула в этих краях, и разделить с ним сокрушительную катастрофу, которую эти разногласия навлекли на их головы. Поиски гения пришлось возобновить в конце этого меланхоличного года.[1224] Другой "новый человек" был найден в лице Кая Флавия Фимбрии, продукта судебной деятельности эпохи, умного юриста, ожесточенного и вспыльчивого оратора, но с силой, обеспечившей его усилиям преходящее распространение в качестве видов литературного ораторства.[Известно, что он не проявил никаких способностей в качестве солдата, и его избрание, если оно не было обусловлено его собственными неоспоримыми заслугами, возможно, было лишь символом продолжающегося недоверия народа к аристократическому влиянию и квалификации. Его конкурентом был Катул, который потерпел поражение в третий раз. За другое место консула не могло быть никакой конкуренции. Окончание Нумидийской войны освободило руки человека, которого все еще считали величайшим солдатом того времени. Правда, на пути назначения Мария командующим на севере стояла юридическая трудность. Такое командование должно было принадлежать консулу, но почти за пятьдесят лет до этого был принят закон, категорически запрещающий переизбираться на консульский пост.[1226] Однако в качестве прецедента можно было сослаться на послабление, предоставленное младшему Африкану, да и опасность, угрожавшая теперь самым границам Италии, была бесконечно лучшим аргументом для приостановки действия закона, чем неудачи Нумантинской войны.[1227] Народ был не в настроении слушать юридические пререкания. Они изгнали протестантское меньшинство из собрания и возвели Мария на должность, которую считали необходимой для спасения государства. 1228] Формальный акт о диспенсации мог быть принят комицией до или после выборов, но сенат, должно быть, легко заставили дать свое согласие, если

считали, что его присоединение необходимо для действительности акта. Провинция Галлия была выделена ему как само собой разумеющееся,[1229] сенатом или народом - вопрос безразличный. Римская конституция вновь сбрасывала маску обычая и обнажала смелые черты, говорящие о неоспоримом суверенитете народа. Конечно, если государь и имеет право заявить о себе, то это тот, кто находится в *экстремальной ситуации*, кто стоит между смертью и революцией. Личность вновь восторжествовала, несмотря на путы римского права и обычаев. Оставалось выяснить, удастся ли вновь сплести сеть с такой же хитростью, как и раньше, или же проделанная Марием брешь окажется больше той, что была разорвана Гракхами.

НАЗВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, УПОМЯНУТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

L'ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE; revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité Romaine (1896, pp. 30, 31, *Fragmentum Tarentinum*).

BARDEY, E.-*Das sechste Consulat des Marius oder das Jahr 100 in der römischen Verfassungsgeschichte*. Brandenburg-a.-d.-H., 1884.

BEESELY, A.H.-*The Gracchi, Marius and Sulla*. 3rd ed. Лондон, 1882.

BELOCH, J.-*Der Italische Bund unter Roms Hegemonie; staatsrechtliche und statistische Forschungen*. Leipzig, 1880.

BERGMANN, R.-*De Asiae Romanorum provinciae praesidibus* (Philologus, ii., 1847, p. 641).

BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON.-*Der römische Civilprozess* (Der Civilprozess des gemeinen Rechts, Bde. i., ii.). Bonn, 1864-5.

BIEREYE, J.-*Res Numidarum et Maurorum annis inde ab a. DCXLVIII. usque ad a. DCCVIII. ab u.c. perscribuntur*. Halis Saxonum, 1885.

BOISSIER, GASTON.-*L'Afrique Romaine; promenades archéologiques en Algérie et en Tunisie*. Paris, 1895.

BOISSIÈRE, GUSTAVE.-*Esquisse d'une histoire de la conquête et de римской администрации в Северной Африке и particulièrement dans la province de Numidie*. Paris, 1878.

BOOR, C. DE.-*Fasti censorii, quos composuit et commentariis instruxit C. de Boor*. Berolini, 1873.

BRUNS, C. G.-*Fontes juris Romani antiqui*. Ed. 6ta. Friburgi, 1893.

BUECHER, K.-*Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr.*
Frankfurt-a.-M., 1874.

CORPUS INSCRIPTIONUM GRAECARUM. Ed. A. Böckh. Том ii. Берлин, 1843.

КОРПУС ЛАТИНСКИХ НАДПИСЕЙ. Беролини. Том i. (ed. Th. Mommsen, 1863; ed. ii., pars i., ed. Th. Mommsen, G. Henzen, C. Hülsen, 1893). Том ii. (изд. А. Хюбнер, 1869). Том viii. (колл. Г. Вильманс, 1881).

КАННИНГГАМ, У.-Очерк о западной цивилизации в ее экономическом
Очерк западной цивилизации в ее экономических аспектах. Кембридж, 1898-1900.

DELOUME, A.-*Les manieures d'argent à Rome jusqu'à l'Empire.* Paris,
1892.

DREYFUS, R.-*Essai sur les lois agraires sous la République Romaine.*
Париж, 1898.

DRUMANN, W.-*Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung.* 2te Aufl., herausg. von P. Groebe. Berlin. Bd. i., 1899. Bd. ii., 1902.

DUREAU DE LA MALLE, A.-*Économie politique des Romains.* Париж, 1840.

FORBIGER, A.-*Handbuch der alten Geographie.* Лейпциг, 1842-8.

FOWLER, W. WARDE.-*The Roman Festivals of the Period of the Republic.*
Лондон и Нью-Йорк, 1899.

FRAENKEL, M.-*Die Inschriften von Pergamon* (Altertümer von Pergamon.
Berlin, 1890. Bd. viii.).

GOEBEL, E.-*Die Westküste Afrikas im Altertum und die Geschichte*
Mauretaniens. Leipzig, 1887.

GREENIDGE, A.-H. J.-*The Legal Procedure of Cicero's Time.* Oxford, 1901. -*Roman Public Life.*
Лондон, 1901.

GUADET, J.-*Basilica* (Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquités
Grecques et Romaines).

HERZOG, E.-*Geschichte und System der römischen Staatsverfassung.*
Лейпциг, 1884-91.

HUEBNER, E.-*Baliares* (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen
Altetumswissenschaft, p. 2823). --*Römische Heerschaft in Westeuropa*, Berlin, 1890.

IHNE, W.-*Römische Geschichte*. Leipzig, 1868-79. 2te Aufl. 1893.

KIENE, A.-*Der römische Bundesgenossenkrieg nach den Quellen bearbeitet*. Leipzig, 1845.

KLEES, E.-*Atilius Saranus oder Serranus* (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, p. 2094).

KOEPP, F.-*De Attali III. patre* (Rheinisches Museum für Philologie. N. F. Bd. xlviii., 1893, p. 154).

KRAUSE, J. H.-*Deinokrates oder Hütte, Haus und Palast, Dorf, Stadt und Residenz der alten Welt*. Jena, 1863.

LAU, T.-*Lucius Cornelius Sulla. Eine Biografie*, Hamburg, 1855.

LONG, G.-*The Decline of the Roman Republic*. Лондон, 1864-74.

MAHAFFY, J. P.-*The Slave Wars against Rome* (Hermathena, 1890). -*Труд Маго о сельском хозяйстве (там же)*.

MARQUARDT, J.-*Das Privatleben der Römer*. Leipzig, 1879. 2te Aufl, besorgt von A. Mau. Leipzig, 1886.

--*Römische Staatsverwaltung*. Bd. i., 2te Aufl., 1881. Bd. ii, 2te Aufl., besorgt von H. Dessau und A. von Domaszewski, 1884. Лейпциг.

MEINEL, G.-*Zur Chronologie des Jugurthinischen Krieges*. Augsburg, 1883.

MERCIER, E.-*La population indigène de l'Afrique sous la domination Romaine, Vandale et Byzantine* (Recueil des notices et mémoires de la société archéologique du département de Constantine, vol. xxx; 3e série, vol. ix., p, 127. 1895-6. Constantine, 1897).

MEYER, P.-*Der römische Konkubinat, nach den Rechtsquellen und den Inschriften*. Leipzig, 1895.

MIDDLETON, J. H., and SMITH, W.-*Domus* (Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 3rd ed., i., p. 604. London, 1890).

MITTEIS, L.-*Zur Geschichte der Erbpacht im Alterthum* (Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. xx., No. iv. Leipzig, 1901).

MOMMSEN, TH.-*Festi codicis quaternionem decimum sextum denuo edidit Th. Mommsen* (Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philologische und historische Abhandlungen, 1864, p, 57). --*Geschichte des römischen Münzwesens*. Berlin, 1860 г. -*История Рима*, перевод В. П. Диксона, Лондон (Эдинбург.), 1894. --*Römische Forschungen*, Bde. i, ii. (Bd. i., 2te Aufl.). Berlin, 1864, 1879. --*Römisches Staatsrecht*. Leipzig, 1887-8. --*Die römischen Tribus in administrativer Beziehung*. Altona, 1844. --*Зама* (Гермес, хх., 1885, с. 144).

MOVERS, F. C.-*Die Phönizier*. Бонн и Берлин, 1841-56.

MUELLER, L. *Numismatique de l'ancienne Afrique*. Copenhague, 1860-2. Supplément, 1874.

NEUMANN, C.-*Geschichte Roms während des Verfalles der Republik*, Бреслау, 1881-4.

NIESE, B.-*Das sogenannte Licinisch-sextische Ackergesetz* (Hermes, xxiii., 1888).

NITZSCH, K. W.-*Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger, vier Bücher römischer Geschichte*. Berlin, 1847.

OVERBECK, J.-*Pompeii in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken ... dargestellt*. Leipzig, 1856. 2te Aufl. 2 Bde, 1866. 4te im Vereine mit A. Man durchgearbeitete und vermehrte Aufl., 1884.

PETER, C. *Geschichte Roms*. 4te verbesserte Aufl. Halle-a.-S., 1881.

POEHLMANN, R.-*Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus*. München, 1893-1900.

RAMSAY, W. M.-*The Cities and Bishoprics of Phrygia*. Oxford, 1895-7.

REIN, W.-*Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844.

REINACH, TH.-*Mithridate Eupator, roi du Pont*. Париж, 1890.

RICHTER, O.-*Topographie der Stadt Rom*. 2te Aufl. München, 1901.

RUDORFF, A.A.F.-*Das Ackergesetz des Sp. Thorius wiederhergestellt und erläutert* (Zeitschr. für geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. x. Berlin, 1839).

SCHAEFER, A.-On Orosius, v., 9, 6 (*Mamertium oppidum*) (Jahrbücher für classische Philologie, 1873, p. 71).
-- О Плутархе, *Ti. Gracch.* II ([Greek: Mallios kai phoulbios])

(ibid.).

SCHMIDT, J.-*Zama* (Rheinisches Museum für Philologie. N. F. Bd. xlv., 1889, p. 397).

SMITH, W. and WILKINS, A.S.-*Frumentariae Leges* (Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 3rd. ed., i. p. 877. London, 1890).

SOLTAU, W.-*Das Aechtheit des licinischen Ackergesetzes von 367 v. Chr.* (Hermes, xxx., 1895),
-- *Roms Kultur* (Kulturgeschichte des klassischen Altertums, p. 190. Leipzig, 1897).

STEINWENDER, TH.-*Die Römische Bürgerschaft in ihrem Verhältniss zum Heere.* Danzig, 1888.

STRACHAN-DAVIDSON, J.L.-Appian, *Civil Wars*. Книга I., под ред. примечаниями и картой. Оксфорд, 1902.

SUMMERS, W.C.-C. *Sallusti Crispi Jugurtha*, под редакцией, с введением, примечаниями и указателем. Кембридж, 1902.

THÉDENAT, H.-*Ergastulum* (Daremborg-Saglio, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines).

TISSOT, C.-*Géographie comparée de la province Romaine d'Afrique.* Tome i., Paris, 1884. Том ii (издание, опубликованное в соответствии с рукописью автора). автора с примечаниями, дополнениями и атласом Саломона Reinach), 1888.

UNDERHILL, G.E.-Plutarch's *Lives of the Gracchi*, edited, with введением, примечаниями и индексами. Оксфорд, 1892.

USSING, J.L.-*Pergamos, seine Geschichte und Monumente*, nach der dänischen Ausgabe neu bearbeitet. Berlin, 1899.

VOIGT, M.-*Ueber die Bankiers, die Buchführung und die Litteralobligation der Römer* (Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. x. Leipzig, 1887).
-- *Ueber die staatsrechtliche Possessio und den Ager Compascuus der römischen Republik* (ibid.).

-- *Privataltertümer und Kulturgeschichte* (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, herausg. von Iwan von Mueller. Bd. iv., abt. ii., 2te Aufl. München, 1893).

WADDINGTON, W.H.-*Fastes des provinces Asiatiques de l'Empire Romain depuis leur origine jusqu'au règne de Dioclétien. Ch. ii., Province d'Asie* (Voyage Archéologique en Grèce et en Asie Mineure, par P. Le Bas et W.H. Waddington. Vol. iii., p. 661. Paris, 1870).

WALLON, H.-*Histoire de l'esclavage dans l'antiquité*. 2nd edit. Paris, 1879.

WALTZING, J.P.-*Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*. Louvain, 1899-1900.

ВИЛЬКЕН, У.-Атталос III. (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, p. 2168).

ZUMPT, A.W.-*Das Criminalrecht der römischen Republik*. Berlin, 1865-9.

СНОСКИ:

[1] Средний или, по крайней мере, наиболее сильный тип расы накладывает отпечаток на ее историю. Возможно, нет нужды говорить, что никакие обобщения о характере не применимы ко всем ее отдельным представителям.

[2] Даже эллины Запада - лишь частичное исключение. Правда, их города прижимались к побережью, но обширные внутренние владения таких государств, как Сибарис, едва ли имеют аналог в других местах в истории греческой колонизации.

[3] Латинская колония Аквилея была заселена в первом году (Liv. xl. 34 Vellei. 1. 15), римская колония Ауксимум - во втором (Vellei. l.c.).

[4] Cic. *de Leg. Agr.* ii. 27. 73 Est operae pretium diligentiam majorum recordari, qui colonias sic idoneis in locis contra suspicionem periculi collocarunt, ut esse non oppida Italiae, sed propugnacula imperii viderentur.

[5] Liv. xxvii. 38; xxxvi. 3; cp. Marquardt *Staatsverwaltung* 1. p. 51.

[6] Римский гражданин, вписавший свое имя в латинскую колонию, подвергался лишению *caput*, известному позднейшим юристам как *capitis deminutio minor* и выражавшему потерю *civitas* (Gaius i. 161; iii. 56). О том, что штраф был альтернативой зачислению в армию и, следовательно, считался добровольным, нам говорит Цицерон (*pro Caec.* 33. 98 Aut sua voluntate aut legis multa profecti sunt: quam multam si sufferre voluissent, manere in civitate potuissent. Cp. *pro Domo* 30. 78 Qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebantur, fieri non poterant Latini, nisi erant auctores acti nomenque dederant).

[7] Liv. xxxix. 23.

[8] Liv. xxxvii. 4.

[9] Liv. xlii. 32 Multi voluntate nomina dabant, quia locupletes videbant, qui priore Macedonico bello, aut adversus Antiochum in Asia, stipendia fecerant.

[10] О назначении *виритов* во времена царей см. Varro *R.R.* i. 10 (Помул); Cic. *de Rep.* ii. 14. 26 (Нума); Liv. 1. 46 (Сервий Туллий). О том, что распределение Кассиана должно было быть [греч. *kat andra*], говорит Дионисий (viii. 72, 73). По этому вопросу см. Моммзен в *C.I.L.* i. p. 75. Он привел веские доводы в пользу того, что выделенная таким образом земля известна под техническим названием *viritanus ager*. См. Festus p. 373; Siculus Flaccus p. 154 Lachm. Мы увидим, что именно такая форма распределения была осуществлена Гракхами.

[11] О поселении в земле вольсков см. Liv. v. 24; о поселении, произведенном М. Курием на территории сабинов, Colum. i. praef. 14; [Виктор] *de Vir.* Ill. 33.

[12] Cato ap. Varr. *R.R.* i. 2. 7 Ager Gallicus Romanus vocatur, qui viritim cis Ariminum datus est ultra agrum Picentium; cf. Cic. *Brut.* 14. 57; *de Senect.* 4. 11; Val. Max. v. 4. 5.

[13] Liv. xlii. 4 (173 г. до н. э.); ср. xli. 16.

[14] Другими источниками были *portoria* и *vicesima libertatis*. Даже в тот период, когда доходы от провинций были бесконечно больше, чем в настоящее время, Цицерон мог написать, ссылаясь на предложение Цезаря о распределении кампанских земель: Portoriis Italiae sublatis, agro Campano divisor, quid vectigal superest domesticum praeter vicensimam? (Cic. *ad Att.* ii. 16. i).

[15] См. карту, составленную Белохом в его работе "*Итальянский бунд под властью Рима*".

[16] Vellei. ii. 7. См. гл. iv., где описывается отношение сената к предложениям Кая Гракха о трансмаринском урегулировании.

[17] Polyb. xxxii. 11.

[18] Помимо продолжавшейся с 145 по 133 г. войны в Испании, в этот период сравнительного мира происходили волнения в Македонии (в 142 г.) и на Сицилии. Около 140-135 гг. начинается великое восстание рабов на этом острове, а в последнем году начинается длинная серия кампаний против свободных иллирийских и фракийских народов.

[19] *Официи виллис* стали очень обширными уже во времена Катона (Cato *R.R.* 5). Их объем предполагает очень длительное отсутствие хозяина.

[20] Лукулл заплатил 500 200 драхм за дом в Мизенуме, который когда-то принадлежал Корнелии. Она купила его за 75 000 (Plut. *Mar.* 34). Марий был его промежуточным владельцем. Даже во время его пребывания в доме он описывается как [Greek: *polytelaes oikia tryphas echousa kai diaitas thaelyteras hae kat andra polemon tosouton kai strateion autourgon*].

[21] Diod. xxxvii. 3.

[22] Сулла арендовал один из нижних этажей за 3000 сестерций (Plut. *Sulla* 1).

[23] *Коэнакулум* упоминается Ливием (xxxix. 14) в связи с 186 годом до н. э. Он известен Эннию (ap. Tertull. *adv. Valent.* 7) и Плавту (*Amph.* iii. 1. 3).

[24] Festus p. 171. *Инсула* напоминала большую гостиницу с одним или несколькими дворами, ограниченную со всех сторон улицами. См. Smith *Dict. of Antiq.* (3-е изд.) i. p. 665.

[25] Val. Max. viii. 1. damn. 7 Admodum severae notae et illud populi iudicium, cum M. Aemilium Porcinam (consul 137 B.C.) a L. Cassio (censor 125 B.C.) accusatum crimine nimis sublimae exstructae villae in Alsiensi agro gravi multa affecit. Автор не проводит достаточного различия между инициативой цензора и действием закона. Этот отрывок важен как свидетельство существования закона о высоте зданий. См. Voigt в Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2, p. 394, и ср. Vellei. ii. 10. Август ограничил высоту домов 70 футами (Strabo v. p. 235).

[26] Diodor. v. 40 (Этрусски) [Greek: *en ... tais oikiais ta peristoa pros tas ton therapeuonton ochlon tarachas exeuron euchraestian*]. См. Krause *Deinokrates* p. 528.

[27] Несмотря на форму множественного числа *fauces* (Vitruv. vi. 3. 6), может обозначать только один проход. См. Marquardt *Privatl.* p. 240; Smith и Middleton в *Smith Dict. of Antiq.* i. p. 671.

[28] Об этом *atriensis*, английском дворецком, континентальном носильщике, см. частые упоминания у Плавта (например, *Asin.* ii. 2. 80 и 101; *Pseud.* ii. 2. 15), Krause *Deinokrates* p. 534 и Marquardt *Privatl.* p. 140.

[29] Plin. *H.N.* xxxv. 6 Stemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas. Неизвестно, в какой период *изображения* были перенесены из Атриума в Але.

[30] Overbeck *Pompeii* p. 192; Krause *Deinokrates* p. 539.

[31] О практике, начатой или развитой Каем Гракхом, принимать посетителей, одних поодиночке, других небольшими или большими группами, см. Seneca *de Ben.* vi. 34. 2 и описание трибунала Гракха в главе iv.

[32] Festus p. 357 (согласно Моммзену, *Abh. der Berl. Akad. Phil.-hist. Classe*, 1864 p. 68). Tablinum proxime atrium locus dicitur, quod antiqui magistratus in suo imperio tabulis rationum ibi habebant publicarum rationum causa factum locum; Plin. *H.N.* xxxv. 7 Tabulina codicibus implebantur et monumentis rerum in magistratu gestarum. Однако Марквардт (*Privatl.* p. 215) считает, что название *tablinum* происходит от того, что эта камера изначально была сделана из досок (*tablinum* от *tabula*, как *figlinum* от *figulus*).

[33] Самые ранние примеры крайней экстравагантности в использовании строительных материалов - например, использование гиметтийского и нумидийского мрамора - представлены домами оратора Луция Лициния Красса (построен около 92 г. до н.э.) и Марка Аэмилия Лепида, консула в 78 г. до н.э. Этот рост роскоши будет рассмотрен, когда мы перейдем к цивилизации цicerоновского периода.

[34] По выражению Краузе (*Deinokrates* p. 542), на заключительном этапе мы видим греческий "Хинтерхаус", стоящий позади старого итальянского "Вордерхауса".

[35] Случай, упомянутый Ювеналом (xi. 151)

Pastoris duri hic est filius, ille bubulci.
Suspirat longo non visam tempore matrem,
Et casulam, et notos tristis desiderat haedos,

должно быть, часто встречались, как только городские и деревенские семьи были разделены.

[36] Суэтоний говорит (*de Rhet.* 3) о Л. Вольтацилии Пилуте, одном из учителей Помпея: *Servisse dicitur atque etiam ostiarius vetere more in catena fuisse.*

[37] Об этих *atrienses, atriarii, admissionales, velarii* см. Wallon *Hist. de l'Esclavage* ii. p. 108.

[38] Diod. xxxvii. 3; Саллюст (*Jug.* 85) заставляет Мария сказать (107 г. до н. э.) *Neque pluris pretii coquum quam villicum habeo.* Ливий (xxxix. 6) замечает по поводу последствий возвращения армии Манлия из Азии в 187 г. до н. э. *Tum coquus, vilissimum antiquis mancipium et aestimatione et usu, in pretio esse; et, quod ministerium fuerat, ars haberi coepta.*

[39] Plin. *H.N.* xviii. 108 *Nec coquos vero habebant in servitiis eosque ex macello conducebant.* Об этой практике упоминает Плавт (*Aul.* ii. 4. 1; iii. 2. 15).

[40] *Condus promus* (Plaut. *Pseud.* ii. 2. 14).

[41] Wallon op. cit. ii. p. 111.

[42] C. Gracchus ap. Gell. x. 3. 5.

[43] Polyb. xxxii. 11; Diodor. xxxvii. 3.

[44] Diod. l.c.

[45] Plin. *H.N.* xxxiii. 143 *Invenimus legatos Carthaginensium dixisse nullos hominum inter se benignius vivere quam Romanos. Eodem enim argento apud omnes cenitavisse ipsos.*

[46] Val. Max. ii. 9, 3.

[47] Plin. *H.N.* xxxiii. 141.

[48] Vellei. i. 13.

[49] Polyb. xl. 7.

[50] Liv. xxxix. 6 *Lectos aeratos ... plagulas ... monopodia et abacos Romam advexerunt. Tunc psaltriae sambucistriae et convivalia ludionum oblectamenta addita epulis.* Ср. Plin, *H.N.* xxxiv. 14.

[51] Polyb. ix. 10 [греч: *Rhomaioi de metakomisantes ta proeiraemena tais men idiotikais kataskenais tous auton ekosmaesan bious, tais de daemosiais ta koina taes poleos*]. Другим крупным набегом был набег Фульвия Нобилиора в 189 г. до н. э. на художественные сокровища амбрасиотов (*Signa aenea marmorea et tabulae pictae*, Liv. xxxviii. 9).

[52] Plin. *H.N.* xv. 19 *Graeci vitiorum omnium genitores.*

[53] Cic. *pro Arch.* 3. 5 *Erat Italia tum plena Graecarum artium ac disciplinarum ... Itaque hunc (Archiam) et Tarentini et Regini et Neapolitani civitate ceterisque praemiis donarunt: et omnes, qui aliquid de ingeniis poterant judicare, cognitione atque hospitio dignum existimarunt.*

[54] Cic. *de Rep.* ii. 19. 34 *Videtur insitiva quadam disciplina doctior facta esse civitas. Influxit enim non tenuis quidam e Graecia rivulus in hanc urbem, sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium.* Цицерон говорит о самом раннем эллинском влиянии на Рим, но его описание в равной степени подходит и к рассматриваемому нами периоду.

[55] Plut. *Paul.* 28.

[56] Сулла вернул библиотеку Апелликона из Теоса, Лукулл - очень большую библиотеку понтийского царя (Plut. *Sulla* 26; *Luc.* 42; *Isid. Orig.* vi. 5). Лукулл разрешил свободный доступ к своим книгам. Здесь мы получаем зародыш публичной библиотеки. Первая по-настоящему публичная библиотека относится к концу республиканской эпохи. Она была основана Асинием Поллио в Атриуме Либертатис на Авентине (Plin. *H.N.* vii. 45; *Isid. Orig.* vi. 5).

[57] Macrobi. *Sat.* iii. 14. 7.

[58] Dionys. vii. 71.

[59] В 186 г. до н. э. они внесли пожертвования на игры Сципиона Азиатского (Plin. *H.N.* xxxiii. 138).

[60] Ливий (xl. 44) после описания *senatus consultum*, в котором встречаются слова *Neve quid ad eos ludos arcesseret, cogeret, acciperet, faceret adversus id senatus consultum, quod L. Aemilio Cn. Baebio consulibus de ludis factum esset, adds Decreverat id senatus propter effusos sumptus, factos in ludos Ti. Sempronii aedilis, qui graves non modo Italiae ac sociis Latini nominis sed etiam provinciis externis fuerant.*

[61] Эффект был еще хуже, когда богатый человек избегал этого. Cic. *de Off.* ii. 17. 58. *Vitanda tamen suspicio est avaritiae. Mamerco, homini divitissimo, praetermissio aedilitatis consulatus repulsam attulit.* Сулла сказал, что народ не хочет давать ему преторство, потому что желает, чтобы он сначала стал эдилом. Они знали, что он может добыть африканских животных для выставки (Plut. *Sulla* 5).

[62] Cic. *in Verr.* v. 14. 36.

[63] Liv. x. 47; xxvii. 6.

[64] Liv. xxiii. 30.

[65] Liv. xxx. 39.

[66] Plin. *H.N.* xviii. 286.

[67] Mommsen *Röm. Münzw.* p. 645.

[68] Liv. xxxvi. 36. Об этих праздниках см. Warde Fowler *The Roman Festivals* pp. 72. 91. 70. *Мегалесия*, по-видимому, досталась курульным эдилам (Dio. Cass. xliii. 48), а остальные были безразлично отданы любой паре.

[69] Val. Max. ii. 4-7; Liv. *Ep.* xvi. Она была выставлена на форуме Боария Марком и Децимом Брутами на похоронах их отца.

[70] Сравните описание Ливием (xli. 20) принятия Антиохом Эпифаном римских гладиаторских зрелищ - *Armorum studium plerisque juvenum accendit.*

[71] Polyb. xxx. 13.

[72] Liv. xxxix. 22.

[73] Liv. xlv. 18.

[74] Dig. 21. 1. 40-42 (из эдикта курульных эдилов) *Ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem ... qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit.*

[75] Cic. *de Off.* ii. 17. 60 Tota igitur ratio talium largitionum genere vitiosa est, temporibus necessaria. Он добавляет благочестивое, но недостижимое желание Tamen ipsa et ad facultates accomodanda et mediocritate moderanda est. Сравните замечания Пёльмана по этому поводу в его "*Geschichte des antiken Communismus und Sozialismus*" ii. 2. p. 471.

[76] Mommsen *Staatsr.* ii., p. 382.

[77] Plut, *Ti. Gracch.* 14.

[78] Liv. xxxix. 44; Plut, *Cat. Maj.* 18.

[79] Nitzsch *Die Gracchen*, p. 128.

[80] Cic. *de Off.* ii. 22. 76 (Paullus) tantum in aerarium pecuniae invexit, ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributorum. Сдерживающий фактор для роскоши можно было бы создать, наложив большие портовые сборы на ценные предметы; но для этого потребовалось бы законодательство. О республиканском тарифе в итальянских портах ничего не известно. Возможно, процент был единым для всех товаров.

[81] Liv. xxxiv. cc. 1-8; Val. Max. ix. 1. 3; Tac. *Ann.* iii. 33.

[82] Macrob. *Sat.* iii. 17; Festus pp. 201, 242; Schol. Bob. p. 310; Meyer *Orat. Rom. Fragm.* p. 91.

[83] Эту дату (161 г.) приводит Плиний (*H.N.* x. 139); Макробий (*Sat.* iii. 17. 3) помещает закон в 159 г.

[84] Gell. ii. 24; Macrob. *Sat.* iii. 17; Plin. *H.N.* x. 139; Tertull. *Apol.* vi. Десять ослов из этого закона - это Fanni centussis misellus Луцилия.

[85] Кажется, мы должны предположить формальное принятие со стороны союзников в соответствии с принципом, согласно которому Рим не мог издавать законы для своей конфедерации, - принцип, аналогичный тому, который запрещал ей навязывать свою франшизу ее членам (Cic. *pro Balbo* 8, 20 и 21).

[86] Мы можем сравнить закон 193 г. до н. э., который был принят в результате открытия, что римские кредиторы избежали ростовщических законов, используя италиков в качестве своих агентов (Liv. xxxv. 7 M. Sempronius tribunus plebis ... plebem rogavit plebesque scivit ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae jus idem quod cum civibus Romanis esset).

[87] *Lex Licinia*, который Макробий (l.c.) приписывает П. Лицинию Крассу Дивесу, возможно, относится либо к его преторству (104 г. до н.э.), либо к его консульству (97 г. до н.э.).

[88] Геллий (ii. 24), рассказывая об экспериментах Суллы, говорит о более древних законах Legibus istis situ atque senio oblitteratis.

[89] *Exaequatio* (Liv. xxxiv. 4).

[90] Cic. *de Rep.* iii. g. 16; см. с. 80.

[91] Сравните Tac. *Ann.* iii. 53. Император Тиберий говорит здесь: Illa feminarum propria, quis lapidum causa pecuniae nostrae ad externas aut hostilis gentes transferuntur.

[92] Запрет относится к 229 г. до н. э. (Zonar. viii. 19). О других подобных запретах, относящихся к более позднему периоду, чем тот, который мы рассматриваем, см. Voigt в Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2, p. 376 n. 95.

[93] Более ранние законы были направлены против агитации, но не против взяточничества. Простота пятого века до н. э. иллюстрируется законом о том, что кандидат не должен белить свою тогу мелом (Liv. iv. 25; 433 г. до н. э.). *Lex Poetelia* от 358 г. до н. э. (Liv. vii. 16) был направлен против личного домогательства со стороны *novi homines*. Некоторый закон об *амбитусе* известен Плавту (*Amph. prol. 73; ср. Trinum. iv. 3. 26*), См. Rein *Criminalrecht* p. 706

[94] Liv. xl. 19 *Leges de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt*. Это был *лекс Корнелия Баэбия*, и то, что он касался денежной коррупции, известно из фрагмента Катона (ар. *Non. vii. 19, s.v. largi, Cato lege Baebia: pecuniam inlargibo tibi*).

[95] *Obsequens lxxi*.

[96] Liv. *Ep. xlvii*.

[97] Polyb. vi. 56 [Greek: *para men Karchaedoniois dora phaneros didontes lambanousi tas archas, para de Rhomaiois thanatos esti peri touto prostimon*].

[98] Положение разорившегося патриция будет полностью проиллюстрировано на следующих страницах, когда мы будем рассматривать карьеру Скавра и Суллы.

[99] Liv. xxxiv. 52.

[100] Liv. xxxix. 7.

[101] Liv. xxxviii. 9.

[102] О более поздней истории *коронарной ауры* см. Marquardt *Staatsverw.* ii. p. 295. Она была разработана на основе *триумфальных коронарных знаков* (Festus p. 367) и описывается как золотая *Quod triumphantibus ... a victis gentibus datur* и как налагаемая полководцами *Propter concessam vitam (al. immunitatem)* (Serv. *Ad. Aen. viii. 721*).

[103] Liv. xxi. 63 (218 г. до н. э.) *Id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus*.

[104] Это была антиква и мортуа (Cic. *in Verr. v. 18. 45*).

[105] Цицерон (*Parad. 6. 46*) говорит о тех *Qui honeste rem quaerunt mercaturis faciendis, operis dandis, publicis sumendis*. Сравните категорию банаусических торгов в *de Off.* 1. 42. 150, хотя в "*Парадоксе*" противопоставление идет скорее между честными и порочными методами добывания денег. Делум (*Les manieurs d'argent à Rome* pp. 58 ff.) считает, что состояние Цицерона увеличилось благодаря участию в *publica*.

[106] Plut. *Cato Maj.* 21.

[107] Plut. *Crass.* 2.

[108] Plut. *Cato Maj.* 21. Катон использовал этот метод обучения как средство увеличения *пекулия* своих собственных рабов. Но даже *пекулий* технически принадлежал хозяину, и очевидно, что раб-дрессировщик мог использоваться другими в качестве простого инструмента для получения выгоды хозяина.

[109] Plat. l.c. [Greek: *haptomenos de syntonoteron porismou taen men georgian mallon haegeito diagogaen hae prosodon*].

[110] Plaut. *Trinum. Prol. 8*:

Primum mihi Plautus nomen Luxuriae indidit:
Tum hanc mihi gnatam esse voluit Inopiam.

[111] Liv. xxxiv. 4 (речь Катона в защиту Оппиева закона) Saepe me querentem de feminarum, saepe de virorum, nec de privatorum modo, sed etiam magistratuum sumptibus audistis; diversisque duobus vitiis, avaritia et luxuria, civitatem laborare. Сравните впечатления Саллюста о более поздней эпохе (Cat. 3) Pro pudore, pro abstinentia, pro virtute, audacia, largitio, avaritia vigeant.

[112] Polyb. vi. 56.

[113] Polyb. xxiv. 9.

[114] Cato ap. Gell. xi. 18. 18. Речь была De praeda militibus dividenda.

[115] Впервые мы слышим о постоянном суде для *пекулатов* в 66 г. до н. э. (Cic. *pro Cluent.* 53. 147). Вероятно, он был учрежден Суллой.

[116] Rein *Criminalr.* pp. 680 ff.; Mommsen *Röm. Forsch.* ii. pp. 437 ff.

[117] Liv. xxxvii. 57 и 58 (190 г. до н. э.).

[118] См. особенно дело Племиния, лейтенанта Сципиона в Локри (204 г. до н. э.), который после доклада комиссии был доставлен в Рим, но умер в узах до вынесения приговора народным судом (Liv. xxix. 16-22).

[119] Liv. xlii. 1 (173 г. до н. э.) Silentium, nimis aut modestum aut timidum Praenestinatorum, jus, velut probato exemplo, magistratibus fecit graviorum in dies talis generis imperiorum.

[120] О таких требованиях см. Plut. *Cato Maj* 6 (о правлении Катона на Сардинии) [Greek: *ton pro autou strataegon eiotothon chraesthai kai skaenomasi daemosiois kai klinais kai himatiois, pollae de therapeia kai philon plaethei kai peri deipna dapanais kai paraskeuais barhynonton*].

[121] Liv. xxxii. 27 Sumptus, quos in cultum praetorum socii facere soliti erant, circumcisi aut sublatis (198 г. до н. э.).

[122] *Lex de Termessibus* (хартия свободы, данная Термесу в Писидии в 71 г. до н. э.) предписывает (ii. l. 15) Nei ... quis magistratus ... inperato, quo quid magis iei dent praebeant ab ieiisve auferatur nisi quod eos ex lege Porcia dare praebere oportet oportebit. Этот порцианский закон, вероятно, принадлежит Катону (Rein *Criminalr.* p. 607).

[123] Liv. xxxviii. 43; xxxix. 3; Rein, l.c.

[124] Liv. xliii. 2.

[125] Cic. *Brut.* 27. 106; *de Off.* ii. 21. 75; ср. в *Verr.* iii. 84. 195; iv. 25. 56.

[126] Liv. xli. 15. (176 г. до н. э.) Duo (praetores) deprecati sunt ne in provincias irent, M. Popillius in Sardiniam: Gracchum eam provinciam pacare &c.... Probata Popillii excusatio est. P. Licinius Crassus sacrificiis se impediri sollemnibus excusabat, ne in provinciam iret. Citerior Hispania obvenerat. Ceterum aut ire iussus aut jurare pro contione sollemni sacrificio se prohiberi.... Praetores ambo in eadem verba jurarunt. Я видел, что этот отрывок приводился в качестве доказательства того, что губернаторы не отправлялись в непродуктивные провинции; но

Сардиния была плодотворной сферой для грабежа, и оправдания могли быть искренними. А вот слова Попилия, похоже, носили исключительно патриотический характер.

[127] Liv. xlii. 45 Decimius unus sine ullo effectu, captarum etiam pecuniarum ab regibus Illyriorum suspicione infamis, Romam rediit.

[128] Cic. *in Verr.* v. 48. 126 (70 г. до н. э.) Patimur ... multos jam annos et silemus cum videamus ad paucos homines omnes omnium nationum pecunias pervenisse.

[129] О принципе см. Gaius iii. 151-153.

[130] Полибий (vi. 17), говоря о различных видах имущества, принадлежащего государству, добавляет [Greek: *panta cheirizesthai symbainei ta proeiraemena dia tou plaethous, kai schedon hos epos eipein pantas endesthai tais onais kai tais ergasiais tais ek touton*].

[131] Polyb. vi. 17. Сенат может [Greek: *symptomatos genomenou kouphisai kai to parapan adynatou tinos symbantos apolysai taes ergonias*]. Так, сенат признал недействительными *локации* цензоров 184 г. до н. э. (Liv. xxxix. 44 Locationes cum senatus precibus et lacrimis publicanorum victus induci et de integro locari jussisset.)

[132] В 169 г. до н. э. именно народ освободился от деспотичного постановления (Liv. xliii. 16). В этом случае трибун в ответ на намек цензора, что никто из бывших государственных контрагентов не должен появляться на торгах, обнародовал постановление Quae publica vectigalia, ultro tributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset. Ab integro locarentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue jus esset.

[133] Deloume op. cit. pp. 119 ff. Полибий (vi. 17) цитируется как авторитет в отношении различия между этими двумя классами. Он говорит [Greek: *oi men gar agorazousi para ton timaeton autoi tas ekdoseis, oi de koinonousi toutois, oi d' enguontai tous aegorakotas, oi de tas ousias didoasi peri touton eis to daemosion*]. Первые три класса - это *mancipes, socii u praedes*. В четвертом - акционеры (*participes* или, возможно, *adfines*, ср. Liv. xliii. 16) - их находит Делум (р. 120); но их идентификация весьма неопределенна. Эти слова могут обозначать либо реальное, а не формальное обеспечение, либо окончательную выплату *вектигала* в казну. Более убедительное доказательство различия между *socii* и акционерами можно найти у Псевдо-Аскония (в Cic. *in Verr.* p. 197 Or.) Aliud enim socius, Aliud particeps qui certam habet partem et non *_in_divise* agit ut socius. *Magnas partes* (Cic. *pro Rab.* Post. 2. 4) и *particulam* (Val. Max. vi. 9. 7) в *publicum* должны обозначать только большие или малые доли, принадлежащие *socii*. *Dare partes* (Cic. l.c.) означает "выделять доли", но не обязательно сторонним членам. Кроме свидетельства Псевдо-Аскония и упоминания *адфинов* в Ливии, доказательства в пользу обычного акционера незначительны, но отнюдь не фатальны для его существования.

[134] Например, путем предоставления займа *социуму* под проценты, зависящие от его доходности, возможно, с *пактом о непогашении* в определенных обстоятельствах.

[135] Это, говоря строгим юридическим языком, истинные *publicani*; арендаторы государственного имущества - *publicanorum loco* (Dig. 39. 4, 12 и 13).

[136] Позднейшая юридическая теория ассимилировала третий класс с первым. Гай говорит (ii. 7) In eo (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur. Но эта теория не является древней - возможно, не старше периода Гракхов. См. Greenidge *Roman Public Life* p. 320. В широком смысле первый и

второй классы можно объединить, поскольку уплата портовых пошлин (*portoria*) основана на идее использования общественной земли частным лицом.

[137] Cic. *de Leg. Agr.* ii. 31. 84.

[138] Thédenat в Daremberg-Saglio *Dict. des Antiq.* s.v. Ergastulum.

[139] Сравните Cunningham *Western Civilisation in its Economic Aspects* vol. i. p. 162.

[140] Cic. *in Verr.* ii. 55. 137; iii. 33. 77; ii. 13. 32; 26. 63.

[141] Ibid. ii. 13. 32.

[142] Liv. xxv. 3.

[143] Liv. xxiii. 49.

[144] Liv. xxiv. 18; Val. Max. v. 6. 8.

[145] Plut. *Cato Maj.* 19.

[146] Liv. xliii. 16.

[147] Cic. *Brut.* 22. 85 Cum in silva Sila facta caedes esset notique homines interfecti insimulareturque familia, partim etiam liberi, societatis ejus, quae picarias de P. Cornelio, L. Mummiо censoribus redemisset, decrevisse senatum ut de ea re cognoscerent et statuerent consules. О ценности сосновых лесов Силы см. Strabo vi. 1. 9.

[148] Liv. xlv. 18 Metalli quoque Macedonici, quod ingens vectigal erat, locationesque praediorum rusticorum tolli placebat. Nam neque sine publicano exerceri posse, et, ubi publicanus esset, ibi aut jus publicum vanum aut libertatem sociis nullam esse. Вероятно, *praedia rustica* были государственными владениями, которые могли быть частью коронных земель македонских царей и теперь, при естественном ходе событий, были бы сданы в аренду *publicani*.

[149] Могло случиться так, что интересы *участника переговоров* были противоположны интересам *мытаря*. Первый, например, мог желать уменьшения *portoria*, второй - увеличения (Cic. *ad Att.* ii. 16. 4). Но такой конфликт был необычным.

[150] Cato *R.R.* pr. 1. Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item fenerari, si tam honestum sit. Majores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. Quanto pejorem civem existimarint feneratorem quam furem, hinc licet existimare. Ср. Cic. *de Off.* i. 42. 150. Improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut feneratorum.

[151] Cic. *de Off.* ii. 25. 89. Cum ille... dixisset "Quid fenerari?" tum Cato "Quid hominem," inquit, "occidere?"

[152] О таких профессиональных ростовщиках см. Plaut. *Most.* iii. 1. 2 ff.; *Curc.* iv. 1. 19.

[153] Liv. xxxii. 27.

[154] Об истории и функциях банкиров см.

Bankiers, die Buchführung und die Litteralobligation der Römer (Abh. d.

Königl. Sächs. Gesell. d. Wissensch.; Phil. hist. Classe, Bd. x);

Marquardt *Staatsverw.* ii. pp. 64 ff.; Deloume *Les manieurs d'argent à*

Rome, pp. 146 ff.

[155] Plin. *H.N.* xxi. 3. 8.

[156] Cp. Cic. *de Off.* iii. 14. 58. Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines graciosus....

[157] Однако эти два понятия так и не были полностью ассимилированы. *Аргентарий*, например, не был официальным испытателем денег, а *нуммулярии*, по-видимому, не выполняли некоторых функций, обычных для банкира, например, продажи с аукциона. См. Voigt op. cit. pp. 521. 522.

[158] Plaut. *Cure.* iv. 1. 6 ff.

Commonstrabo, quo in quemque hominem facile inveniatis loco.

* * * * *

Ditis damnosos maritos sub basilica quaerito.

Ibidem erunt scorta exoleta, quique stipulari solent.

* * * * *

In foro infumo boni homines, atque dites ambulant.

Sub veteribus, ibi sunt qui dant quique accipiunt faenore.

[159] Быть банкротом - *foro mergi* (Plaut. *Ep.* i. 2. 16), *a foro fugere, abire* (Plaut. *Pers.* iii. 3. 31 и 38).

[160] Cic. *de Off.* ii. 24. 87. Toto hoc de genere, de quaerenda, de collocanda pecunia, vellem etiam de utenda, commodius a quibusdam optumis viris ad Janum medium sedentibus ... disputatur. О *Janus medius* и вопросе о том, означает ли он арку или улицу, см. Richter *Topogr. der Stadt Rom.* pp. 106. 107.

[161] Liv. xxxix. 44; xlv. 16. За Порцианской последовала Фульвийская базилика (Liv. xl. 51). Даты строительства этих трех сооружений - 184, 179, 169 гг. до н. э. соответственно.

[162] Deloume op. cit. pp. 320 и далее; Guadet в Daremberg-Saglio *Dict. des Antiq.* s.v. Basilicae.

[163] Большие транспортные корабли могли сами приходить в Рим, если их конструкция подходила для речного судоходства. В 167 году до н. э. Аэмилий Паулюс поразил город размерами корабля (некогда принадлежавшего македонскому царю), на котором он прибыл (Liv. xlv. 35). По вопросу об этой внешней торговле см. Voigt в Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2, pp. 373-378.

[164] Voigt op. cit. p. 377 n. 99.

[165] Сравните с Каннингемом "*Западная цивилизация в ее экономических аспектах*", том i. p. 165: "Только при очень особых условиях, включая существование сильного правительства, осуществляющего постоянный контроль, свобода действий для образования ассоциаций капиталистов, нацеленных на получение прибыли, представляет собой не что иное, как общественную опасность. До сих пор интересы землевладельцев в Англии были достаточно сильны, чтобы время от времени накладывать на них законодательный контроль..... Проблема предоставления достаточной свободы для формирования капитала и предприимчивости в его использовании, не позволяя ему истощать национальные ресурсы, не была решена".

[166] Plut. Numa 17. Об истории этих гильдий см. *Waltzing Corporations professionnelles chez les Romains* pp. 61-78.

[167] Претором был Рутилий (Ulpian in Dig. 38. 2. 1. 1), возможно, П. Рутилий Руф, консул 105 г. до н. э. (Mommsen *Staatsr.* in. p. 433). См. последнюю главу этого тома. О принципе, по которому такие *оперы* взимались с вольноотпущенников, см. Моммзен l.c.

[168] *Inliberales ac sordidi quaestus* (Cic. *de Off.* i. 42. 150).

[169] Gell. vii. (vi.) 9; Liv. ix. 46; Mommsen *Staatsr.* i. p. 497.

[170] Cp. Cic. *de Off.* i. 42. 151 *Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.*

[171] См. de Boor *Fasti Censorii*. Тревожным элементом в этом перечислении является неопределенность числительных в древних манускриптах. Но факт постепенного сокращения не подлежит сомнению. Никакие случайные ошибки транскрипции не могли привести к такому результату в тексте эпитомы Ливия.

[172] Liv. *Ep.* xvi.

[173] Ibid. lvi.

[174] Ibid. xlvi. xlviii.

[175] Euseb. *Arm.* a. Abr. 1870 OL. 158.3 (Hieron. OL. 158.2 = 608 A.U.C.)

[176] Liv. *Ep.* lvi.

[177] *Eorum qui arma ferre possent* (Liv. i. 44); [Greek: *ton echonton taen strateusimon haelikian*] (*Dionys. xi.* 63); [Greek: *ton en tais haelikiais*] (Polyb. ii. 23).

[178] Кроме *пролетариев*, из этих списков исключались все, не достигшие военного возраста. Моммзен (*Staatsr.* ii. p. 411) идет дальше и считает, что *seniores* не включены в наши списки.

[179] Пределом обложения было имущество в 1500 ассов (Cic. *de Rep.* ii. 22. 40), предел переписи для военной службы ко времени Полибия был снижен до 4000 ассов (Polyb. vi. 19). Геллий (xvi. 10. 10) приводит снижение до 375 ассов в неизвестную дату, но предшествующую марианской реформе. Возможно, цифры неверны и должны быть 3 750.

[180] Liv. xl. 38.

[181] Gell. i. 6. Cp. Liv. *Ep.* lix.

[182] См. Wallon *Hist. de l'Esclavage* ii. p. 276.

[183] *Concubinatus* не мог, по природе дела, стать юридическим понятием, пока император Август не разработал наказания за *stuprum*. Затем необходимо было определить, какой вид *stuprum* не подлежит наказанию. Но социальный институт и его этические характеристики, хотя они и могли быть более определенными благодаря правовым нормам, не могли возникнуть во времена принципата. О значении *paelex* в республиканские времена см. в книге Мейера *Der römische Konkubinatus* и заметку об этой работе в "Английском историческом обозрении" за июль 1896 г.

[184] Cunningham *Western Civilisation* p. 156. Cp. Soltau in *Kulturgesch. des klass. Altertums* p. 318.

[185] Plin. *H.N.* xviii. 3. 22; Varro *R.R.* i. 1. 10.

[186] Colum. 1. 1. 18. Латинский перевод, вероятно, был сделан вскоре после разрушения Карфагена, около 140 г. до н. э. (Mahaffy *The Work of Mago on Agriculture in Hermathena* vol. vii. 1890). Махаффи считает, что греческий перевод Кассия Дионисия (Varro *R.R.* i. 1. 10) был более поздним, и он связывает его с колониями, основанными К. Гракхом в Южной Италии.

[187] Сатурния в 183 г. (Liv. xxxix. 55), Грависки в 181 г. (Liv. xl. 29), Луна в 180 г. и снова в 177 г. (Liv. xli. 13; Mommsen в C.I.L. i. n. 539). См. Marquardt *Staatsverw.* i. p. 39.

[188] Plut. *Ti. Gracch.* 8; Nitzsch *Die Gracchen* p. 198.

[189] Nitzsch *Die Gracchen* p. 198.

[190] Liv. xxxix. 29.

[191] Varro *R.R.* ii. 5. Il Pascuntur armenta commodissime in nemoribus, ubi virgulta et frons multa. Hieme secundum mare, aestu abiguntur in montes frondosos.

[192] Nitzsch *Die Gracchen* p. 16.

[193] Nitzsch op. cit. p. 17.

[194] Cic. *de Off.* ii. 25. 89. Так, в более обоснованной оценке Катона (*R.R.* i. 7) относительных степеней продуктивности, хотя *vinea* стоит на первом месте (ср. с. 80), но *pratium* предшествует *campus frumentarius*.

[195] App. *Hannib.* 61.

[196] App. l.c.; Gell. x. 3. 19.

[197] Nitzsch *Die Gracchen* p. 193 So zerfiel denn Mittelitalien in zwei scharf-getheilte Hälften, den ackerbauenden Westen und den viehzuchttreibenden Osten; jener reich an Häfen, von Landstrassen durchschnitten, in einer Menge von Colonien oder einzelnen Gehöften von Römischen Ackerbürgern bewohnt; dieser fast ohne Häfen, nur von einer Küstenstrasse durchschnitten, für den grossen Römer der rechte Sitz seiner Slaven und Heerden. Cp. с. 21. О пастбищах в Калабрии и Апулии см. указ. соч. с. 13 и 193.

[198] Liv. xxviii. II; ср. Luc. *Phars.* i. 30.

[199] Дюро де ла Малле (*Économie Politique* ii. p. 38) сравнивает предписание римлянина "Quid est agrum bene colere? bene arare. Quid secundum? arare. Tertio stercorare" с поговоркой французского фермера "Fumez bien, labourez mal, vous recueillerez plus qu'en fumant mal et en laborant bien".

[200] См. Dreyfus *Les lois agraires* p. 97. Варро (*R.R.* i. 12. 2) необычайно верно описывает природу болезни, возникавшей в результате *палюстрия*: -Crescunt animalia quaedam minuta, quae non possunt oculi consequi, et per aera intus in corpus per os ac nares perveniunt atque efficiunt difficilis morbos. Этот отрывок цитирует Фойгт (Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2. p. 358), который дает хорошее представление о вреде пренебрежения дренажем.

[201] Nitzsch *Die Gracchen* p. 228.

[202] Polyb. xxxvii. 4.

[203] Nitzsch *Die Gracchen* p. 237.

[204] Polyb. xxxvii. 3.

[205] Polyb. ii. 15.

[206] О таких покупках из Сардинии см. Liv. xxxvi. 2, из Сицилии (в более поздний период, чем рассматриваемый нами) - Cic. *in Verr.* iii. 70, 163.

[207] Ср. Cato *R.R.* i. 3 (При выборе положения своего имения) *oppidum validum prope siet aut mare aut amnis, qua naves ambulant, aut via bona celebrisque.*

[208] О традициях, которые определяют очень раннюю дату законов, касающихся *ager publicus*, см. следующую главу, где рассматривается законодательство Тиберия Гракха.

[209] App. *Bell. Civ.* i. 7 [греч: *taes de gaes taes doriktaetou sphisin ekastote gignomenaes taen men exeirgasmenaen autika tois oikizomenois epidiaeroun hae epipraskon hae exemisthoun, taen d' argon ek tou polemou tote ousan, hae dae kai malista eplaethyen, ouk agontes po scholaen dialachein, epekaerytton en toside tois ethelousin ekponein epi telei ton etaesion karpon*].

[210] Доказательства этого и других утверждений, связанных с *ager publicus*, см. в цитатах в следующей главе.

[211] Вследствие сомнительности традиций, касающихся ранних аграрных законов, это время не может быть определено даже приблизительно. См. следующую главу.

[212] Традиция представляет первые законы, касающиеся *ager publicus* (например, предполагаемый *lex Licinia*), как более ранние, чем *lex Poetelia* от 326 г. до н.э., который отменил договор *nehum*.

[213] Plut. *Ti. Gracch.* 8 [Greek: *hysteron de ton geitnionton plousion hypoblaetois prosopois metaphoronton tas misthoseis eis eautous*].

[214] App. *Bell. Civ.* i. 7 [Greek: *oi gar plousioi ... ta ... anchou sphisin, osa te haen alla brachea penaeton, ta men onoumenoi peithoi ta de bia lambanontes, pedia makra anti chorion egeorgoun*]. Ср. Сенека *Ep.* xiv. 2 (90). 39 *Licet agros agris adjiciat vicinum vel pretio pellens vel injuria.*

[215] [Greek: *pedia makra*] (App. l.c.), Plin. *H.N.* xviii. 6. 35 *Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam.* (Выражение *lati fundi* см. в *Siculus Flaccus* pp. 157, 161). Frontinus p. 53 *Per longum enim tempus attigui possessores vacantia loca quasi invitante otiosi soli opportunitate invaserunt, et per longum tempus inpune commalleaverunt.* О вторжении на пастбища см. Frontinus p. 48 *Haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc cum agri adsignati sunt. Haec pascua multi per inpotentiam invaserunt et colunt.*

[216] Несмотря на плодородие земли, коренное галльское население исчезло из большинства районов этого региона еще во времена Полибия (Polyb. ii. 35). Ср. Nitzsch *Die Gracchen* p. 60.

[217] Val. Max. iv. 4. 6.

[218] Steinwender *Die römische Bürgerschaft in ihrem Verhältnis zum Heere* p. 28.

[219] App. *Bell. Civ.* i. 7.

[220] Polyb. vi. 39.

[221] Liv. xxvii. 9 (209 г. до н. э.) *Fremitus enim inter Latinos sociosque in conciliis ortus: -Decimum annum dilectibus, stipendiis se exhaustos esse ... Duodecim (coloniae) ... negaverunt consulibus esse unde milites pecuniamque darent.*

[222] Nitzsch *Die Gracchen* p. 194.

[223] Cato *R.R.* 144 etc.

[224] Nitzsch *Die Gracchen* p. 187.

[225] Cato *R.R.* 5. 136.

[226] Cato *R.R.* 136 *Politionem quo pacto partiaro dari oporteat. In agro Casinate et Venafro in loco bono parti octava corbi dividat, satis bono septima, tertio loco sexta; si granum modio dividet, parti quinta. In Venafro ager optimus nona parti corbi dividat ... Hordeum quinta modio, fabam quinta modio dividat".*

[227] Nitzsch *Die Gracchen* p. 188.

[228] Dureau de la Malle *Économie Politique* ii. pp. 225, 226.

[229] Cato *R.R.* i. 7 *Vinea est prima,... secundo loco hortus inriguus, tertio salictum, quarto oletum, quinto pratum, sexto campus frumentarius, septimo silva caedua, octavo arbustum, nono glandaria silva.*

[230] Cic. *de Rep.* iii. 9. 16 *Nos vero justissimi homines, qui Transalpinas gentis oleam et vitem serere non sinimus, quo pluris sint nostra oliveta nostraeque vineae.* Cp. Colum. iii. 3. 11.

[231] См. Катон *P.P.* 7, 8 о продукции *fundus suburbanus*. Cp. с. 1 (прим. 2) о стоимости *hortus inriguus*.

[232] См. цитаты в Voigt (Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2 p. 370). Общины и корпорации нанимали *coloni* на свои *agri vectigales* (Cic. *ad Fam.* xiii. 11, 1; Hygin. *de Cond. Agr.* p. 117. 11; Voigt l.c.).

[233] Liv. xlv. 34.

[234] Махаффи ("Войны рабов против Рима" в "*Hermathena*" № xvi. 1890) считает, что большинство из них были отправлены в Сицилию.

[235] Strabo xiv. 5. 2.

[236] Cp. Arist. *Pol.* i. 8. 12 [Greek: *hae polemikae physei ktaetikae pos estai; hae gar thaereutikae meros autaes, hae dei chraesthai pros te ta thaeria kai ton anthropon hosoi pephykotes archesthai mae thelousin, hos physei dikaion touton onta ton polemon*].

[237] Махаффи (l.c.) считает, что сирийцы и киликийцы из первой войны за рабов в Сицилии, которых, по его мнению, перевезли из Карфагена, были обеспечены этим государством для торговли с Востоком - торговли, которая, возможно, шла по южному средиземноморскому пути с Мальты через Крит и Кипр.

[238] Wallon *Histoire de l'Esclavage* ii. p, 45.

[239] Strabo xiv, 3. 2 [Greek: *en Sidae goun polei taes Pamphylias ta naupaegia synistato tois Kilixin, hypo kaeruka te epoloun ekei tous halontas eleutherois homologountes*].

[240] Страбон (xiv. 5. 2), описав рынок рабов на Делосе, продолжает [Greek: *hoste kai paroimian genesthai dia touto; hēmpore, katapleuson, exelou, panta pepratai*].

[241] Plut. *Cato Maj.* 4.

[242] Если принять денарий за приблизительный эквивалент драхмы, то некоторые цены, приведенные у Плавта, выглядят следующим образом: ребенок - 600 денариев, кормилица и двое детей женского пола - 1800, молодая девушка - 2000, еще одна - 3000. Здесь мы, похоже, получаем средние цены на ценную и изысканную домашнюю прислугу. В других местах особые обстоятельства могут повысить стоимость; за женщину-лирика дают 5000 денариев, за девушку с выдающимися способностями - 6000. См. Wallon *Hist. de l'Esclavage* ii. pp. 160 ff.

[243] Ter. *Andria* ii. 6. 26.

[244] Вероятно, однако, что в случае с управляющими (*villici, villicae, procuratores*) опыт мог быть элементом цены, которую они получали.

[245] Festus p. 332 *Sardi venales, alius alio nequior*.

[246] Plut. *Cato Maj.* 21.

[247] Cato *R.R.* 56, 57.

[248] Ibid. 2.

[249] В конце этого периода произошло разделение функций *виллиса* и *прокуратора*. Первый по-прежнему контролировал экономику поместья и распоряжался его имуществом; второй был деловым агентом и вступал в правовые отношения с другими сторонами. См. Voigt в Iwan-Müller's *Handbuch* iv. 2 p. 368.

[250] Colum. i. 6.

[251] Инспекция всех *эргастулов* Италии была проведена по приказу Августа (Suet. *Aug.* 32) и Тиберия (Suet. *Tib.* 8). Колумелла (i. 8) рекомендует проверять их у магистра.

[252] Похищения стали очень частыми после гражданских войн. Именно для предотвращения этого зла императоры приказывали проводить инспекцию (примечание 3). См. Thédenat в Daremberg-Saglio *Dict. des Antiq.* s.v. *Ergastulum*.

[253] Plaut. *Most.* i. 1. 18; Florus iii. 19.

[254] О различии между *vincti* и *soluti* см. Colum. i. 7.

[255] Varro *R.R.* ii. 2 10 Пропорция больше, чем требовалось бы в наши дни, но Махаффи (l.c.) замечает, что мы не слышим о том, чтобы работу по охране разделяли обученные собаки, и что опасность от диких зверей и беззаконных классов была значительной. Что касается первого пункта, однако, мы слышим о стаях гончих, которые следовали за сицилийскими пастухами (Diod. xxxiv. 2), и трудно поверить, что они не были обучены.

[256] Varro *R.R.* ii. 10. 7.

[257] Diod, xxxiv. 2. 38.

[258] Val. Max. ii. 10. 2.

[259] Ливий (xxxii. 26) говорит о них как о *nationis eius*. Он только что упомянул рабов карфагенских заложников. Но из этого не следует, что оба класса состояли из коренных африканцев. Они могли быть привозными азиатами, как в Сицилии.

[260] Liv. xxxii. 26.

[261] Liv. xxxiii. 36 *Etruriam infestam prope conjuratio servorum fecit.*

[262] Liv. xxxix. 29.

[263] Bücher *Die Aufstände der unfreien Arbeiter* p. 34. Cp. Soltau in *Kulturgesch. des klass. Altertums* p. 326.

[264] Oros. v. 9 Diodor. xxxiv. 2. 19.

[265] Mahaffy l.c.

[266] Cf. Bücher op. cit. p. 79.

[267] Diod. xxxiv. 2. 27. О большом количестве римских собственников в Сицилии см. Florus ii. 7 (iii. 19) 3-(*Sicilia*) *terra frugum ferax et quodam modo suburbana provincia latifundis civium Romanorum tenebatur.*

[268] Diod. xxxiv. 2. 32. 36.

[269] Diod. l.c.

[270] Diod. xxxiv. 2. 31. Возможно, это было верно для того времени, о котором мы говорим; ведь влияние римских жителей Сицилии на управление островом, должно быть, всегда было велико. Но Диодор приводит неверную причину, когда утверждает, что римские рыцари Сицилии были судьями правителей провинций. Это верно только для периода, предшествующего второй сервильной войне.

[Историки утверждают, что рассказывают о механизме, с помощью которого обеспечивалось это устройство. Искра огня помещалась вместе с горючим материалом в полый орех или другой подобный небольшой предмет, который был продырявлен. Сосуд помещался в рот, и разумное дыхание делало все остальное. См. Диодор xxxiv, 2. 7; Флорас ii. 7 (iii. 19).

[272] Nitzsch *Die Gracchen* p. 228.

[273] Diod. xxxiv. 2. 24 [Greek: *hypo gar taes pepromenaes autois kekyrosthai taen patrida taen Ennan, ousan akropolin holaes taes naesou*].

[274] Ibid. 2. 12 [Greek: *oud estin eipein ... hosa enybrizon te kai enaeselgainon*].

[275] [Greek: *planon te apekaloun*] (Diod. xxxiv. 2. 14).

[276] Diodor. xxxiv. 3. 41.

[277] Ibid. 2. 39.

[278] Ibid., 2, 24.

[279] Liv. *Ep.* lv.; App. *Syr.* 68. Cp. Nitzsch *Die Gracchen* p. 288.

[280] Диодор описывает его как ахейца. Махаффи (l.c.) подозревает, что он был выходцем из восточной части Малой Азии или Сирии, где Ахей встречается как царское имя. Но это имя встречается и в старой Греции. Можно привести в пример трагического поэта Эретрии.

[281] [Greek: *kai boulae kai cheiri diapheron*] (Diod. xxxiv. 2. 16).

[282] Ibid. 2. 42.

[283] Florus ii. 7 (iii. 19). 6.

[284] Diod. xxxiv. 2. 43.

[285] Ibid. 2. 18; Florus l.c.

[286] Florus ii. 7 (iii. 19). 7 Quin illud quoque ultimum dedecus belli, capta sunt castra praetorum-nec nominare ipsos pudebit-castra Manli Lentuli, Pisonis Hypsaei. Itaque qui per fugitivos abstrahi debuissent praetorios duces profugos praelio ipsi sequebantur. П. Попиллий Лаэнас, консул 132 г. до н. э., был претором в Сицилии либо непосредственно перед восстанием, либо во время него (C.I.L. i. n. 351. l. g).

[287] Strabo vi. 2. 6. О том, удерживали ли они Мессану, см. с. 98.

[288] Florus ii. 7 (iii. 19). 2 Quis crederet Siciliam multo cruentius servili quam Punico bello esse vastatam?

[289] [Greek: *epi tae prophasei ton drapeton*] (Diodor. xxxiv. 2. 48). Валлон (*Hist. de l'Esclavage* ii. p. 307) считает, что эти слова означают, что крестьянство исповедовало поход против рабов.

[290] Махаффи (l.c.) поднял и обсудил этот вопрос. Его выводы таковы: (i) на пиратов могло повлиять чувство деловой чести, согласно которому похититель людей должен был выполнить свою сделку; (ii) эти пираты могли получить какую-то крупную взятку, прямую или косвенную, от Рима; (iii) естественная вражда между рабами и пиратами могла помешать заключению соглашения о перевозке, (iv) что киликийские рабы, привыкшие к постоянным разбойничьим шайкам, не считали невозможным, чтобы Рим согласился на такое создание в Сицилии, (v) что сирийские города не стали бы беспокоиться о восстановлении тех своих членов, которые стали рабами, даже если бы не боялись оскорбить Рим. Он отмечает, что возвращение даже свободных изгнанников в эллинистический город было причиной больших волнений.

[291] Liv. Ep. lvi.; Oros. v. 9.

[292] C.I.L. i. nn. 642, 643.

[293] Oros. v. 9. Этот *Mamertium oppidum* Орозия часто интерпретируется как Мессана (*Mamertinorum oppidum*, Bücher, p. 68); поскольку, хотя рабы этого города не восстали (Oros. v. 6. 4), он мог быть захвачен повстанцами. Однако Шефер (Schäfer, *Jahrb. f. Class. Philol.* 1873 p. 71) объясняет Мамертию как Моргантию (*Murgentinum oppidum*).

[294] Val. Max. ix. 12 ext. 1. Диодор (xxxiv. 2. 20) называет его Команом и говорит о том, что он был взят в плен при осаде Тавромения.

[295] Oros. v. 9.

[296] Wallon *Hist. de l'Esclavage* ii. p. 308.

[297] Florus ii. 7 (iii. 19). 8.

[298] О *lex Rupilia* см. Cic. *in Verr.* ii. 13. 32; 15. 37; 16. 39; 24. 59.

[299] Plut. *Ti. Gracch.* 8. Плутарх говорит о "попытке" ([греч. *επεχειραεσε μεν ουν τae diorthosei*]); но эта попытка, возможно, не шла дальше проверки мнений, чтобы выявить вероятность поддержки. Возможно, это предприятие относится к преторству Лаэлия (145 г. до н. э.).

[300] Polyb. vi. 11.

[301] Nitzsch *Die Gracchen* p. 203.

[302] Cic. *Brut.* 27. 104 Fuit Gracchus diligentia Corneliae matris a puero doctus et Graecis litteris eruditus. Id. *Ib.* 58. 211 Legimus epistulas Corneliae matris Gracchorum: apparet filios non tam in gremio educatos quam in sermone matris. Cp. Quintil. *Inst. Or.* i. 1. 6; Plut. *Ti. Gracch.* 1.

[303] Plut. *Ti. Gracch.* 1. Царь, о котором идет речь в этом рассказе, возможно, Птолемей Эвргет, правивший с 146 по 117 г. до н. э.

[304] Plut. *Ti. Gracch.* 8.

[305] Nitzsch *Die Gracchen* pp. 208 foll., 258.

[306] Polyb. vi. 14 [Greek: *krinei men ουν ho daemos kai diaphorou*] (денежные штрафы) [Greek: *pollakis ... thanatou de krinei monos*].

[307] Polyb. vi. 16 [Greek: *opheilousi d' aei poiein oi daemarchoi to dokoun to daemo kai malista stochazesthai taes toutou boulaeseos*].

[308] Polyb. vi. 57.

[309] Polyb. xxxvii. 4.

[310] Ibid.

[311] Plut. *Ti. Gracch.* 2.

[312] Ibid., 4 [Greek: *outos haen periboaetos hoste taes ton Augouron legomenaes hierosonaes axiothaenai di' aretaen mallon hae dia taen eugeneian*]. Тиберий, возможно, занял место, освободившееся после смерти его отца (около 148 г. до н. э.). Ему едва исполнилось шестнадцать лет; Плутарх говорит (l.c.), что он только что вышел из юношеского возраста. Избрание в коллегию авгуров в это время происходило путем кооптации. См. Underhill in loc.

[313] Plut. *Ti. Gracch.* 4.

[314] Cic. *pro Cael.* 14. 34; Suet. *Tib.* 2.

[315] Plut. *Ti. Gracch.* 4. Рассказывают также об обручении самой Корнелии со старшим Гракхом (Liv. xxxviii. 57; Val. Max. iv. 2. 3; Gell. xii. 8); но Плутарх передает заявление Полибия, что Корнелия была обручена только после смерти отца, и Ливий (l.c.) придерживается этой версии.

[316] Fannius ap. Plut. *Ti. Gracch.* 4 [Greek: *tou ge teichous epebae ton polemion protos*]. Поскольку из контекста следует, что Тиберий не оставался до конца осады, *тейхос*, вероятно, был из Мегары, пригорода Карфагена (Nitzsch *Die Gracchen* p. 244); cp. App. *Lib.* 117.

[317] Plut. l.c.

[318] Plut. *Ti. Gracch.* 7; cp. App. *Iber.* 83; Nitzsch *Die Gracchen* p. 280; Long *Decline of Rom. Rep.* i. p. 83.

[319] Plut. l.c.

[320] Vellei. ii. 1 Mancinum verecundia, poenam non recusando, perduxit huc, ut per fetialis nudus ac post tergum religatis manibus dederetur hostibus. Plut. *Ti. Gracch.* 7 [Greek: *ton men gar hypaton epsaephisanto gymnon kai dedemenon paradounai tois Nomantinois, ton d' allon epheisanto panton dia Tiberion*]. Cp. Cic. *de Off.* iii. 30. 109.

[321] Cic. *Brut.* 27. 103 (Ti. Gracchus) propter turbulentissimum tribunatum, ad quem ex invidia foederis Numantini bonis iratus accesserat, ab ipsa re publica est interfectus. Id. *de Har. Resp.* 20. 43 Ti. Graccho invidia Numantini foederis, cui feriendo, quaestor C. Mancini consulis cum esset, interfuerat, et in eo foedere improbando senatus severitas dolori et timori fuit, eaque res illum fortem et clarum virum a gravitate patrum desciscere coegit. На этот же мотив указывают Vellei. ii. 2; Quinctil. *Inst. Or.* vii. 4. 13; Dio Cass. *frag.* 82; Oros. v. 8. 3; Florus ii. 2 (iii. 14).

[322] Plut. *Ti. Gracch.* 8.

[323] Plut. l.c.

[324] Plut. l.c.

[325] Gell. i. 13. 10 Is Crassas a Sempronio Asellione et plerisque aliis historiae Romanae scriptoribus traditur habuisse quinque rerum bonarum maxima et praecipua: quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eloquentissimus, quod jurisconsultissimus, quod pontifex maximus.

[326] Cic. *Acad. Prior.* ii. 5. 13 Duo ... sapientissimos et clarissimos fratres, P. Crassum et P. Scaevolam, aiunt Ti. Graccho auctores legum fuisse, alterum quidem, ut videmus, palam; alterum, ut suspicantur, obscurius.

[327] Plut. *Ti. Gracch.* 9.

[328] App. *Bell. Civ.* i. 9 [греч. *esemnologaese peri tou Italikou genous*]. Это выражение предполагает дальнейший вопрос о том, намеревался ли Гракх, чтобы его закон принес пользу итальяцам, а также римлянам. Об этом вопросе см. с. 115. Но, каково бы ни было наше мнение на этот счет, расширение вопроса за счет апелляции к итальяским интересам было естественным, если не неизбежным.

[329] App. l.c.

[330] Plut. *Ti. Gracch.* 9.

[331] App. *Bell. Civ.* i. 9; cp. Plut. *Ti. Gracch.* 8.

[332] Наиболее уважаемым авторитетом в отношении того, что закон Лициния касался земельного вопроса, является Варро (*R.R.* 1. 2. 9 *Stolonis illa lex, quae vetat plus D jugera habere civem R*). Подобный рассказ встречается и у многих других авторов (*Liv.* vi. 35; *Vellei.* ii. 6; *Plut. Cam.* 39; *Gell.* vi. 3. 40; *Val. Max.* viii. 6. 3). Вариант максимальной суммы, разрешенной одному держателю, приводится у [Виктора] *de Vir. Ill.* 20 [(*Licinius Stolo*) *legem scivit, ne cui plebeio plus centum jugera agri habere liceret*]; или слово "plebeio", если это не ошибка, может указывать на другое положение в предполагаемом законе.

[333] Cato ap. Gell. vi. (vii.) 3. 37. Катон спрашивает, карает ли какой-либо закон за *намерение* (ведь родосцы обвинялись в *намерении* враждовать с Римом), и приводит в качестве аргумента следующее *сокращение до абсурда* законодательства, задуманного в этом духе: Si quis plus quingenta jugera habere voluerit, tanta poena esto: si quis majorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnas esto.

[334] По этому вопросу см. Niese *Das sogenannte Licinisch-sextische Ackergesetz* (Hermes xxiii. 1888), Soltau *Das Aechtheit des licinischen Ackergesetzes von 367 v. Chr.* (Hermes xxx. 1895).

[335] Mommsen in C.I.L. i. pp. 75 ff.

[336] Cic. *de Leg. Agr.* ii. 29. 81 Nec duo Gracchi, qui de plebis Romanae commodis plurimum cogitaverunt, nec L. Sulla ... agrum Campanum attingere ausus est. Cp. i. 7. 21.

[337] Исключения были указаны в аграрном законе К. Гракха, который, должно быть, появился в законе его старшего брата. Они отмечены в сохранившемся *Lex agraria* (C.I.L. 1. n. 200; Bruns *Fontes* 1. 3. 11) l. 6 Extra eum agrum, quei ager ex lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rog(avit), exceptum cavitumve est nei divideretur..... Здесь упоминается закон К. Гракха как более позднее постановление. Цицерон, когда он пишет (*ad Att.* 1. 19. 4) о своем отношении к флавианскому аграрному закону 60 г. до н. э. Liberabam agrum eum, qui P. Mucio L. Calpurnio consulibus publicus fuisset, вероятно, имеет в виду землю, которая, будучи общественной в 133 г. до н. э., оставалась общественной и в его время.

[338] См. Voigt *Ueber die staatsrechtliche Possessio und den Ager Compascuus* p. 229.

[339] App. *Bell. Civ.* 1. 9 [Greek: *anekainize ton nomon maedena ton pentakosion plethron pleon hechein, paisi d' auton hyper ton palaion nomon prosetithe ta haemisea touton*]. Liv. *Ep.* lviii. Ne quis ex publico agro plus quam mille jugera possideret, cf. [Victor] *de Vir.* Ill. 64. Вывод, изложенный в тексте, который получается из комбинации этих отрывков, является, однако, несколько опасным.

[340] App. *Bell. Civ.* 1. 11 [Greek: *ekeleue tous plousious ... mae, en ho peri mikron diapherontai, ton pleonon hyperidein, misthon hama taes peponaemenaes exergasias autarkae pheromenous taen exaireton aneu timaes ktaesin es aei bebaion hekasto pentakosion plethron, kai paisin, ois eisi paides, ekasto kai touton ta haemisea*]. Если [греч. *aneu timaes*] означает "не платя за это", то фраза не имеет отношения к *тимае*, упомянутой Плутархом (см. следующее примечание), которая была оценкой, которую получали лишенные собственности. Вряд ли она может означать "без дальнейшей компенсации"; но, если истолковать ее таким образом, можно привести эти два счета в некоторое соответствие друг с другом.

[341] Plut. *Ti. Gracch.* 9 [Greek: *ekeleuse timaen proslambanontas ekbainein hon adikos ekektaento*].

[342] Siculus Flaccus (p. 136 Lachm.); cp. Mommsen l.c.

[343] Ссылка на этот предел есть в дошедшем до нас *Lex Agraria* (C. I. L. i. n. 200; Bruns *Fontes* 1. 3. 11) l. 14 Sei quis ... agri jugra Non amplius xxx possidebit habebitve, но нет прямых доказательств, чтобы связать его с законодательством Гракхов.

[344] App. *Bell. Civ.* i. 10.

[345] Cf. p. 110.

[346] Mommsen l.c.

[347] App. *Bell. Civ.* i. 10

[348] Cic. *de Leg. Agr.* ii. 12. 31 Audes etiam, Rulle, mentionem facere legis Semproniae, nec te ea lex ipsa commonet III viros illos XXXV tribuum suffragio creatos esse? App. *Bell. Civ.* i. 9 [Greek: *prosetitheî ... taen loipaen treis airetous andras, henallassomenous kat' hetos, dianemein tois penaesin*]. Страхан-Дэвидсон (Strachan-Davidson, in loc.) сомневается в этой последней характеристике магистратуры. История земельной комиссии доказывает, по крайней мере, что занимающие эту должность постоянно переизбирались и могли быть выбраны в их отсутствие. Так, Гракх, несмотря на двухлетнее квесторство в Сардинии, все еще был комитом в 124 г. до н. э. (App. *Bell. Civ.* i. 21). См. Mommsen *Staatsr.* ii. i. p. 632. Избирательным органом, несомненно, было плебейское собрание племен под руководством трибуна. Такой способ был предписан законом Рулла от 63 г. до н. э. (Cic. *de Leg. Agr.* ii. 7. 16).

[349] App. *Bell. Civ.* i. 11.

[350] Ср. App. *Bell. Civ.* i. 10.

[351] App. l.c. [Greek: *daneistai te chrea kai tautaes epedeiknuon*.]

[352] App. l.c. [Greek: *plaethos hallo hoson en tais apoikois polesin hae tais isopolitisin hae hallos ekoinonei taesde taes gaes, dediotes homoios epaeesan kai es hekaterous auton diemerizonto*. *Изополитиды*], естественно, были бы *муниципалитетами* (см. *Lex Agraria* l. 31); но Страхан-Дэвидсон (in loc.) считает, что здесь имеются в виду *civitates foederatae*. Есть вероятность, что Аппиан использовал этот термин нечетко: но нет никаких реальных трудностей в том, чтобы понять, что имеются в виду *муниципалитеты*. Даже большинство из них, получивших римское гражданство, продолжали носить это название, и, возможно, они продолжали пользоваться муниципальными правами на общественные земли. Поэтому богатые классы в этих городах были встревожены; более бедные классы (имевшие римское гражданство) надеялись на долю в дележе.

[353] Plut. *Ti. Gracch.* 10.

[354] Plut. l.c.

[355] Plut. l.c.

[356] Plut. l.c. [Greek: *ouden eipein legontai peri allaelon phlauron, oude rhaema prospesein thaterou pros ton heteron di' horgaen anepitaedeion*].

[357] Diod. xxxiv 6 [Greek: *synerreon eis taen Rhomaen oi hochloi apo taes choras hosperei potamoi tines eis taen panta dynamenaen dechesthai thalattan*].

[358] App. *Bell. Civ.* i. 12.

[359] Plut. *Ti. Gracch.* 10 [Greek: *paroxyntheis ho Tiberios ton men philanthropon epaneileto nomon, ton d' haedio te tois pollois kai sphodroteron epi tous adikountas eisepheren haedae, keleuon existasthai taes choras haen ekeктаento para tous proterous nomous*]. Плутарх, очевидно, думает об отмене того, что он называет *timae* (с. 9.); но его слова не обязательно означают, что первоначальные уступки, упомянутые Аппианом (р. 114), были отменены.

[360] Plut. *Ti. Gracch.* 10.

[361] Plut. l.c.

[362] App. *Bell. Civ.* 1. 12. Плутарх (*Ti. Gracch.* 11) сохранил предание о том, что собрание было практически сорвано приверженцами *собственников*, которые, чтобы предотвратить принятие незаконного постановления, унесли урны для голосования.

[363] [Greek: *Mallios kai phoulbios*] (Plut. *Ti. Gracch.* 11). Шефер (Schäfer, *Jahrb. f. Class. Philol.* 1873 p. 71) считает, что первое имя - ошибка в имени юриста Манилия, консула в 149 г. до н. э., а второе относится к сиру Фульвию Флакку, консулу в 135 г. до н. э.

[364] App. *Bell. Civ.* 1. 12 *oi dunatoi tous daemarchous aexioun hepitrepesai tae boulae peri hon diapherontai*.

[365] App. *l. c.*

[366] App. *l. c.*

[367] Или в *contio*, проведенном перед собранием. Эта сцена описана у Плута. *Ti. Gracch.* 11.

[368] Plut. *l. c.* [Greek: *hypeipon ho Tiberios hos ouk estin archontas amphoterous kai peri pragmaton megalon ap' isaes exousias diapheromenous aneu polemou diexelthein ton chronon*].

[369] Plut. *Ti. Gracch.* 12.

[370] Cp. Mommsen *Staatsr.* iii. p. 409, прим. 1.

[371] Plut. *Ti. Gracch.* 12.

[372] Так его называет Аппиан (*Bell. Civ.* 1. 13); Плутарх (*Ti. Gracch.* 13) называет его Муцием; Орозий (v. 8. 3) Минуцием.

[373] App. *Iber.* 83. Cp. Liv. xxvii. 20, xxix. 19. См. Mommsen *Staatsr.* i. p. 629.

[374] Mommsen *l. c.*

[375] App. *Bell. Civ.* 1. 13; Plut. *Ti. Gracch.* 13.

[376] Liv. *Ep.* lviii Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut iidem triumviri judicarent qua publicus ager, qua privatus esset. Титулы, которые носили уполномоченные, выглядят как *III vir a. d. a.* (*Lex Latina Tabulae Bantinae*, C.I.L. 1. 197; Bruns *Fontes* i. 3. 9; cp. *Lex Acilia Repetundarum* 1. 13, C.I.L. i. 198; Bruns *Fontes* i. 3. 10): *III vir a. i. a.* (C.I.L. i. nn. 552-555); *III vir a.d.a. i.* (C.I.L. i. n. 583).

[377] Plut. *Ti. Gracch.* 13.

[378] App. *Bell. Civ.* 1. 13.

[379] Plut. *l. c.*

[380] Plut. *Ti. Gracch.* 14.

[381] Nitzsch *Die Gracchen* p. 315.

[382] Liv. *Ep.* lviii Deinde, cum minus agri esset quam quod dividi posset sine offensa etiam plebis, quoniam eos ad cupiditatem amplum modum sperandi incitaverat, legem se promulgaturum ostendit, ut iis, qui Sempronia lege agrum accipere deberent, pecunia quae regia Attali fuisset divideretur. [Victor] *de Vir. Ill.* 64 Tulit ut ea familia quae ex Attali hereditate erat ageretur et populo divideretur, Cf. Plut. *Ti. Gracch.* 14; Oros. v. 8. 4.

[383] Plut. Ti. Gracch. 14.

[384] Ibid.; Oros. v. 8. 4.

[385] Plut. l.c.. Цицерон (*Brut.* 21. 81) говорит о речи Метелла "contra Ti. Gracchum". Цитата Плутарха, возможно, взята из этой речи.

[386] Цицерон считал низложение Октавия гибелью Гракхов. *Brut.* 25. 95 *Injuria accepta fregit Ti. Gracchum patientia civis in rebus optimis constantissimus M. Octavius. De Leg.* iii. 10. 24 *Ipsium Ti. Gracchum non solum neglectus sed etiam sublatus intercessor evertit; quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit?* Низложение было актом "seditio" (*pro Mil.* 27. 72).

[387] Plut. *Quaest. Rom.* Section 81.

[388] Plut. *Ti. Gracch.* 14.

[389] Plut. *Ti. Gracch.* 15.

[390] App. *Bell. Civ.* i. 14.

[391] Plut. Ti. Gracch. 16 [Greek: *authis allois nomois anelambane to plaethos, tou te chronou ton strateion aphairon, kai didous epikaleisthai ton daemon apo ton dikaston kai tois krinousi tote synklaetikois ousi [triakosiois] katamignus ek ton hippeon ton ison arithmon*]. Dio Cass. *Frg.* 88 [греч. *ta dikastaeria apo taes boulaes epi tous hippeas metaege*] (Cp. Plin. *H.N.* xxxiii. 34).

[392] Polyb. vi. 19.

[393] Согласно Полибию (vi. 19), такой максимум уже существовал. Что именно это было, неясно, поскольку отрывок испорчен. Согласно чтению Липсия, он составлял двадцать лет, согласно Казобону - шестнадцать в обычных условиях, двадцать в чрезвычайных. Рыцари должны были отслужить десять кампаний. См. Marquardt *Staatsverw.* ii. p. 381. Характер сокращения, предложенного Гракхом, неизвестен.

[394] *Lex Acilia* ll. 23 и 74.

[395] Cic. *de Fin.* ii. 16. 54.

[396] Не упоминается апелляция по пяти делам, по которым сенатом были учреждены уголовные комиссии. Даты этих комиссий - 331 г. до н. э. (Liv. viii. 18; Val. Max. ii. 5. 3), 314 г. (Liv. ix. 26), 186 г. (Liv. xxxix. 8-19), 184 г. (Liv. xxxix. 41) и 180 г. (Liv. xl. 37).

[397] Vellei. ii. 2 (Tiberius Gracchus) pollicitus toti Italiae civitatem.

[398] Цицерон, возможно, излагает результат, а не намерение законодательства Гракхов, когда говорит (*de Rep.* iii. 29. 41) *Ti. Gracchus perseveravit in civibus, sociorum nominisque Latini jura neglexit ac foedera*. Ни один момент в аграрном законе Гракхов не является более примечательным, чем его строгая, возможно, несправедливая законность. То, что его автор сознательно нарушил договорные отношения, маловероятно.

[399] App. *Bell. Civ.* i. 14.

[400] О квалификации в этот период см. Mommsen *Staatsr.* i. p. 505.

[401] Dio Cass. *frg.* 88 [Greek: *epecheiraese kai es to epion etos meta tou adelphou daemarchaesai kai ton pentheron hypaton apodeixai*].

[402] App. l.c.

[403] Mommsen *Staatsr.* i. p. 523. Дион Кассий действительно говорит (*fr.* 22) [Greek: *koluphen to tina dis taen archaen lambanein*]; но традиция считает, что это условие было нарушено во время ранних плебейских волнений.

[404] App. *Bell. Civ.* 1. 14.

[405] App. l.c.; Plut. *Ti. Gracch.* 13. Эту сцену так описывает Аселлион (современник): -Orare coepit, id quidem ut se defenderent liberosque suos, eumque, quem virile secus tum in eo tempore habebat, produci jussit populoque commendavit prope flens (Gell. ii. 13. 5). Аппиан также говорит о сыне, Плутарх - о детях.

[406] Plut. *Ti. Gracch.*, 16.

[407] App. *Bell. Civ.* 1. 15.

[408] [Greek: *prostataes de tou Rhomaion daemou*] (Plut. *Ti. Gracch.*, 17).

[409] App. *Bell. Civ.* i. 16.

[410] Richter *Topographie* p. 128.

[411] Plut. *Ti. Gracch.* 18.

[412] Plut. *Ti. Gracch.* 19.

[413] App. *Bell. Civ.* i. 15.

[414] Ibid. 16.

[415] Диктатор обычно назначался консулом между полночью и утром (Liv. viii. 23), чтобы избежать неблагоприятных предзнаменований.

[416] Традиция в конечном счете относит его к IV веку до н. э. В революции, которой угрожал Манлий Капитолин (384 г. до н. э., Liv. vi. 19), как полагают, использовалась фраза *Ut videant magistrates ne quid ... res publica detrimenti capiat*.

[417] Plut. *Ti. Gracch.* 19 [Greek: *epei ... prodidosin ho archon taen polin, oi boulomenoi tois nomois boaethein akolouthete*]. Наиболее конкретный и юридически точный отчет об этих разбирательствах (вероятно, заимствованный из Ливия) сохранился у Валерия Максима (iii. 2. 17): -In aedem Fidei publicae convocati patres conscripti a consule Mucio Scaevola quidnam in tali tempestate faciendum esset deliberabant, cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur, Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum. Tum Scipio Nasica Quoniam, inquit, consul dum juris ordinem sequitur id agit ut cum omnibus legibus Romanum imperium corruat, egomet me privatus voluntati vestrae ducem offero.... Qui rem publicam salvam esse volunt me sequantur.

[418] App. *Bell. Civ.* i. 16; Plut. l.c. Аппиан рассуждает о смысле этого акта. Возможно, это было сделано для привлечения внимания его сторонников, возможно, это был сигнал к войне, возможно, это было сделано для того, чтобы скрыть от глаз богов предстоящее ужасное деяние. Cp. Vellei. ii. 3.

[419] Plut. *Ti. Gracch.* 19.

[420] [Cic.] *ad Herenn.*, iv. 55. 68.

[421] В весьма риторическом упражнении, содержащемся в [Cic.] *ad Herenn.* iv. 55. 68, можно найти следующую картину: "Iste spumans ex ore scelus, anhelans ex infirmo pectore crudelitatem, contorquet brachium et dubitanti Graccho quid esset, neque tamen locum, in quo constiterat, relinquenti, percutit tempus".

[422] App. *Bell. Civ.* i. 16.

[423] Plut. *Ti. Gracch.* 19.

[424] App. *Bell. Civ.* i. 16 [Greek: *kai pantas autous nyktos exerripsan es to rheuma ton potamou*]. [Victor] *de Vir. Ill.* 64 (Gracchi) corpus Lucretii aedilis manu in Tiberim missum; unde ille Vespillo dictus.

[425] Plut. *C. Gracch.* 1.

[426] Vellei. ii. 3. 3 Hoc initium in urbe Roma civilis sanguinis gladiatorumque impunitatis fuit. Inde jus vi obrutum potentiorque habitus prior, discordiaeque civium antea condicionibus sanari solitae ferro dijudicatae (cf. Plut. *Ti. Gracch.* 20; App. *Bell. Civ.* i. 17). Cic. *de Rep.* i. 19. 31 Mors Tiberii Gracchi et jam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partes.

[427] Plut. *Ti. Gracch.* 20 [Greek: *tautaen protaen historousin en Rhomae stasin, aph' ou to basileuesthai katelysan, aimati kai phono politon diakrithaenai*].

[428] Sall. *Jug.* 31. 7 Occiso Ti. Graccho, quem regnum parare aiebant, in plebem Romanam quaestiones habitae sunt. Val. Max. iv. 7. 1 Cum senatus Rupilio et Laenati consulibus mandasset ut in eos, qui cum Graccho consenserant, more majorum animadverterent... Cf. Vellei. ii. 7. 4.

[429] Cic. *de Amic.* 11. 37.

[430] Plut. *Ti. Gracch.* 20.

[431] Cic. *de Amic.* ii. 37; Val. Max. iv. 7. 1.

[432] Plut. *Ti. Gracch.* 20.

[433] Ibid. 21.

[434] Val Max. v. 3. 2 e Is quoque (Scipio Nasica) propter iniquissimam virtutum suarum apud cives aestimationem sub titulo legationis Pergamum secessit et quod vitae superfuit ibi sine ullo ingratae patriae desiderio peregit. Cp. Plut. l.c.; Strabo xiv. 1. 38. См. Waddington *Fastes* p. 662.

[435] Vellei. ii. 3. 1 P. Scipio Nasica ... ob eas virtutes primus omnium absens pontifex maximus factus est. Другая точка зрения, согласно которой Насика уже был pontifex maximus до своего изгнания, была широко распространена и изложена почти всеми нашими авторитетами (Cic. *in Cat.* i. 1. 3; Val. Max. 1. 4. 1; Plut. *Ti. Gracch.* 21; App. *Bell. Civ.* i. 16).

[436] Plut. l.c.

[437] Val. Max. vii. 2, 6 Par illa sapientia senatus. Ti. Gracchum tribunum pl. agrariam legem promulgare ausum morte multavit. Idem ut secundum legem ejus per triumviros ager populo viritim divideretur egregie censuit.

[438] Plut. *Ti. Gracch.* 21, C.I.L. i. n. 552 C. Sempronius *Ti. F. Grac.*, Ap. Claudius C. F. Pulc., P. Licinius P. F. Crass. Ill vir. A. I. A. (Cf. nn. 553. 1504), n. 583 (82-81 гг. до н. э.) M. Terentius M. F.

Varro Lucullus Pro Pr. terminos restituendos ex s. c. coeravit qua P. Licinius Ap. Claudius C. Graccus III vir A. D. A. I. statuerunt. Эти *termini* предполагают *limites Graccani* из *Liber Coloniarius* (*Gromatici* ed. Lachmann, pp. 209. 210), которые могут относиться скорее к аграрным пожалованиям по *leges Semproniae* (Ти. и К. Гракхов), чем к колониальным основам младшего брата.

[439] Liv. *Ep.* lix. Seditiones a triumviris Fulvio Flacco et C. Graccho et C. Papirio Carbone agro dividendo creatis excitatae. App. *Bell. Civ.* i. 18. C.I.L. i. n. 554 M. Folvius M.F. Flac., C. Sempronius Ti. F. Grac., C. Paperius C.F. Carb. III vire. A.I.A. (cf. n. 555).

[440] C.I.L. i. 551 (Wilmanns 797) Primus feci ut de agro poplico aratoribus cederent pastores.

[441] Liv. *Ep.* lix. (131 г. до н. э.) Censa sunt civium capita CCCXVIII milia DCCCXXIII praeter pupillos et viduas. Ib. lx. (125 г. до н. э.) Censa sunt civium capita CCCLXXXIII milia DCCXXVI. См. de Boor *Fasti Censorii*.

[442] Mommsen *Hist. of Rome* bk. iv. c. 3.

[443] App. *Bell. Civ.* i. 18 [Greek: *amelounton de ton kektaemenon autaen (sc. taen gaen) apographesthai, kataegorous ekaerytton endeiknynai; kai tachy plaethos haen dikon chalepon*].

[444] App. l.c.

[445] Если только мы не примем это за смысл Гигина (*de Condic. Agr.* p. 116) Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r. p. P. R., quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatum aliquarum. Qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinentes..... В этом отрывке, похоже, говорится о том, что некоторые *agri*, которые были обязаны общинам *вектигалом*, принадлежали римскому народу. Поэтому можно опасаться их возобновления, хотя оно должно было быть отдаленным, поскольку эти земли, как видно из контекста, обрабатывались по системе аренды (о ее природе см. Mitteis *Zur Gesch. der Erbpacht im Alterthum* pp. 13 и далее), а аренда, похоже, не подвергалась угрозе со стороны Гракха.

[446] App. *Bell. Civ.* i. 19.

[447] Plut. *Ti. Gracch.* 21. Hom. *Od.* i. 47.

[448] Cic. *Phil.* xi. 8. 18; Liv. *Ep.* lix.; Eutrop. iv. 19.

[449] Liv. *Ep.* lix. Cum Carbo tribunus plebis rogationem tulisset, ut eundem tribunum plebi, quoties vellet, creare liceret, rogationem ejus P. Africanus gravissima oratione dissuasit. Cic. *de Amic.* 25. 95 Dissuasimus nos (Laelius), sed nihil de me: de Scipione dicam libentius. Quanta illi, dii immortales! fuit gravitas! quanta in oratione majestas! ... Itaque lex popularis suffragiis populi repudiata est. Cp. Cic. *de Or.* ii. 40. 170.

[450] Vellei. ii. 4. 4 Hic, eum interrogante tribuno Carbone quid de Ti. Gracchi caede sentiret, respondit, si is occupandae rei publicae animum habuisset, jure caesum. Et cum omnis contio adclamasset, "Hostium," inquit, "armatorum totiens clamore non territus, qui possum vestro moveri, quorum noverca est Italia?" Val. Max. vi. 2. 3 Orto deinde murmure "Non efficietis," ait, "ut solutos verear quos alligatos adduxi." Cp. Cic. *pro Mil.* 3. 8; Liv. *Ep.* lix; Plut. *Ti. Gracch.* 21.

[451] App. *Bell. Civ.* i. 19 [Greek: *ho d' es tous polemous autois kechraemenos prothymotatois hyperidein ... oknaese*].

[452] Liv. *Ep.* lvii.

[453] App. *Bell. Civ.* i. 19.

[454] Liv. *Ep.* lviii (p. 127).

[455] App. l.c.

[456] App. l.c.

[457] App. l.c.

[458] Plut. *C. Gracch.* 10.

[459] Oros. v. 10. 9; Cic. *de Amic.* 3. 12.

[460] App. *Bell. Civ.* i. 20.

[461] Plut. *Rom.* 27 [Greek: *oi men automatos onta physei nosodae kamein legousin*].

[462] Vellei. ii. 4 Mane in lectulo repertus est mortuus, ita ut quaedam elisarum faucium in cervice reperirentur notae.

[463] Plut. *C. Gracch.* 10 [Greek: *kai deinon outos ergon ep' andri to proto kai megisto Rhomaion tolmaethen ouk etyche dikaes oud' eis elenchon proaelthen; enestaesan gar oi polloi kai katelysan taen krisin hyper tou Gaiou phobaethentes, mae peripetaes tae aitia tou phonou zaetoumenou genaetai*]. Vellei. ii. 4 De tanti viri morte nulla habita est quaestio. Cp. Liv. *Ep.* lix.

[464] Schol. Bob. *ad Cic. Milon.* 7. p. 383.

[465] App. *Bell. Civ.* i. 20.

[466] Schol. Bob. l.c.; cp. Plut. *C. Gracch.* 10.

[467] Plut. l.c.

[468] Cic. *ad Fam.* ix. 21. 3, *ad Q. fr.* ii. 3. 3, *de Or.* ii. 40. 170. Cp. *de Amic.* 12. 41.

[469] App. *Bell. Civ.* i. 20.

[470] App. l.c.

[471] App. *Bell. Civ.* i. 20 [Greek: *hos enioi dokousin, ekon apethane synidon hoti ouk esoito dynatos kataschein hon hyposchoito*]. О теории самоубийства см. Plut. *Rom.* 27 [Greek: *oi d' auton hyph' eautou pharmakois apothanein (legousin)*].

[472] Schol. Bob. *in Milon*, l.c.

[473] Val. Max. iv. 1. 12.

[474] Cic. *de Leg.* iii. 16. 35 Carbonis est tertia (lex tabellaria) de jubendis legibus ac vetandis.

[475] Liv. *Ep.* lvi.

[476] App. *Bell. Civ.* i. 21 [Greek: *kai gar tis haedae nomos ekekyroto, ei daemarchos endeois tais parangeliais, ton daemon ek panton epilegesthai*]. Возможно, Аппиан неверно истолковал положение о том, что если достаточное количество кандидатов не получило абсолютного большинства, необходимого для избрания (*explere tribus*), любой, даже уже действующий трибун, должен был получить право на избрание. См. Strachan-Davidson in loc.

[477] Или, возможно, добившись того, чтобы некоторые из его кандидатов не получили необходимого для избрания числа голосов. См. последнее примечание.

[478] App. Bell. Civ. i 21 [Greek: *kai tines esaegounto tous symmachous hapantas, oi dae teri taes gaes malista antelegon, es taen Rhomaion politeian anagrapasai, os meizoni chariti peri taes gaes ou dioisomenous; kai edechonto hasmenoi touth' oi Italiotai, protithentes ton chorion taen politeian*].

[479] Cic. de Off. iii. 11. 47 Male etiam qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Pennus apud patres nostros.... Nam esse pro cive qui civis non sit rectum est non licere; quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola (95 B.C.); usu vero urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est. О дате принятия закона Пенна см. Cic. Brut. 28. 109: -Fuit ... M. Lepido et L. Oreste consulibus quaestor Gracchus, tribunus Pennus.

[480] Festus p. 286 Resp. multarum civitatum pluraliter dixit C. Gracchus in ea, quam conscripsit de lege p. Enni (Penni Müller) et peregrinis, cum ait: "eae nationes, cum aliis rebus, per avaritiam atque stultitiam res publicas suas amiserunt".

[481] App. Bell. Civ. i. 34 [греч: *Phoulouios phlakkos hypateion malista dae protos ode es to phanerotaton haerethize tous Italiotas epithymein taes Rhomaion politeias hos koinonous taes haegemonias anti hypaekoon esomenous*]. (Cp. i. 21), Val. Max. ix. 5. 1 M. Fulvius Flaccus consul, ... cum perniciosissimas rei publicae leges introduceret de civitate Italiae danda et de provocatione ad populum eorum, qui civitatem mutare noluissent, aegre compulsus est ut in Curiam veniret.

[482] Liv. xxxviii. 36. В 188 г. до н. э. четыре трибуна наложили вето на *рогатину* о предоставлении избирательных прав *муниципиям* Формия, Фунди и Арпинум на том основании, что решение сената не было принято, но Edocti populi esse, non senatus jus, suffragium quibus velit impertire, destiterunt incepto.

[483] Val. Max. ix. 5, 1 Deinde partim monenti, partim oranti senatui ut incepto desisteret, responsum non dedit ... Flaccus in totius amplissimi ordinis contemnenda majestate versatus est. Cp. App. Bell. Civ. i. 21.

[484] App. Bell. Civ. i. 34 [Greek: *esaegoumenos de taen gnomaen kai epimenon autae karteros, upa taes boulaes epi tina strateian exepemphthae dia tode*].

[485] Liv. Ep. lx; Аммиан, xv. 12. 5.

[486] В единичном сообщении говорится о восстании в Аскулуме. [Victor] de Vir. Ill. 65 (C. Gracchus) Asculanae et Fregellanae defectionis invidiam sustinuit.

[487] Liv. viii. 22.

[488] Liv. xxvii. 10.

[489] Liv. Ep. lx L. Opimius praetor Fregellanos, qui defecerant, in deditionem accepit; Fregellas diruit. Cp. Vellei. ii. 6; Obsequens 90; Plut. C. Gracch. 3; [Cic.] ad Herenn. iv. 15. 22.

[490] Vellei. i. 15 Cassio autem Longino et Sextio Calvino ... consulibus Fabrateria deducta est.

[491] Plut. C. Gracch. 3.

[492] Предполагается, что этот мальчик действительно мог быть сыном Аттала, брата Евмена, плодом временной связи между этим принцем и Стратоникой, последовавшей за ложным

известием о смерти Евмена в 172 г. до н. э. См. F. Köpp *De Attali III patre in Rhein. Mus.* xlviii. pp. 154 ff.; Wilcken in Pauly-Wissowa *Real. Enc.* p. 2170, а о временном браке Аттала со Стратонис Plut. *de Frat. Amor.* 18; Polyb. xxx. 2. 6. Ливий (xlii. 16) и, возможно, Диодор (xxix. 34) говорят только о сватовстве Аттала, а не о его женитьбе. Если Аттал Третий и не был сыном Эвмена, он, по крайней мере, был усыновлен царем и явно признан его наследником. Согласно официальной точке зрения, отношения между Атталами были отношениями дяди и племянника.

[493] Об опеке над младшим Атталом см. Strabo xiii. 4. 2. Признание регента царем четко подтверждается надписями (Fränkel *Inschriften von Pergamon* nn. 214 ff., 224, 225, 248. In n. 248.) будущий Аттал Третий называется царем [греч. *ho tadelphon nios*] (л. 18, ср. л. 32 [греч. *ho theios mon*], используемый Атталом Третьим) и имеет некоторые полномочия по назначению на священнические должности. Нет никаких признаков того, что племянник был в каком-либо другом отношении соправителем дяди. См. Fränkel *op. cit.* p. 169.

[494] Liv. xxxviii. cc. 12, 23, 25; Polyb. xxi. 39.

[495] Liv. xlv. 36; xlv. 19.

[496] Wilcken in Pauly-Wissowa *Real. Enc.* p. 2168 foll.

[497] Polyb. xxxii. 22; Diod. xxxi. 32 b.

[498] Подробности этой борьбы см. в Wilcken *l.c.* p. 2172; Ussing *Pergamos* p. 50.

[499] Ussing *op. cit.* p. 51.

[500] Strabo xiii. 4. 2.

[501] Strabo *l.c.*; Lucian. *Macrob.* 12. Ему был шестьдесят один год на момент воцарения и восемьдесят два года на момент смерти.

[502] Justin. xxxvi. 4; Diod. xxxiv. 3.

[503] Однажды, правда, он, кажется, выступил на поле боя с некоторым успехом, о чем свидетельствует указ в честь победы (Fränkel *Inschr. von Pergamon* n. 246). Голосование в городе Элее чествует царя [Greek: *aretaes heneken kai andragathias taes kata polemon, krataesanta ton hupenantion*] (l. 22). Победа также упоминается в n. 249.

[504] Liv. *Ep.* lviii. Heredem autem populum Romanum reliquerat Attalus, rex Pergami, Eumenis filius. Cp. ib. lix; Strabo xiii. 4. 2; Vellei. ii. 4; Val. Max. v. 2, ext. 3; Plut. *Ti. Gracch.* 14; Eutrop. iv. 18; Justin. xxxvi. 4. 5; Florus ii. 3 (iii. 15); Oros. v. 8; App. *Mithr.* 62.

[505] Sall. *Hist.* iv. 69 Maur. (Epistula Mithridatis) Eumenen, cujus amicitiam gloriose ostendant, initio prodidere (Romani) Antiocho, pacis mercedem; post habitum custodiae agri captivi sumptibus et contumeliis ex rege miserrimum servorum effecere, simulatoque impio testamento filium ejus Aristonicum, quia patrium regnum petiverat, hostium more per triumphum duxere.

[506] Реальность завещания подтверждается пергамской надписью (Fränkel *Inschr. von Pergamon* n. 249). В надписи записано решение, принятое [греческим: *daemos*] по предложению [греческого: *strataego*]. Резолюция выносится после того, как завещание стало известно, и в связи с его ратификацией Римом (л. 7 [Greek: *dei de epicurothaenai taen diathaekaen hupo Rhomaion*]). Пергам был оставлен "свободным" после смерти царя и, возможно, в соответствии с завещанием (см. с. 177) (л. 5 Аттал скончался [греч. *apoleloipen taen patrida haemon eleutheran*]). Первый результат этой свободы - расширение привилегий

гражданства. Полные гражданские права получают пареки (т. е. *инколы*) и (наемные) солдаты; права пареков получают и другие сословия: свободные люди, царские и общественные рабы. Мотивом для предоставления прав является общественная безопасность, а расширение прав, по-видимому, оправдывается (л. 6) либеральным духом, проявленным покойным королем при организации своих завоеваний (см. с. 175, прим. 2). Основная идея, по-видимому, заключается в том, что если Пергам должен быть свободным, то он должен быть сильным. См. Frankel in loc., Ussing *Pergamos* p. 55.

[507] В то же время можно было бы признать самоуправляемый характер гражданской корпорации: и Аттал, если он составил завещание, мог быть достаточно вежлив, чтобы признать "свободу" города с этой точки зрения. См. с. 177.

[508] Liv. *Ep.* lix. Cum testamento Attali regis legata populo Romano libera esse deberet (Asia). Ср. с. 175, 176, примечания 5 и 1.

[509] Justin. xxxvi. 4. 6 Sed erat ex Eumene Aristonicus, non justo matrimonio, sed ex paelice Ephesia, citharistae cujusdam filia, genitus, qui post mortem Attali velut paternum regnum Asiam invasit. Эпитоматор Ливия (lix.) говорит о нем как о "Eumenis filius". Страбон (xiv. 1. 38) описывает его как [греч. *dokon tou genous einai tou ton basileon*].

[510] Florus i. 35 (ii. 20).

[511] Strabo xiv. 1. 38.

[512] Diod. xxxiv. 2. 26 [Greek: *to paraplaesion de*] (to the slave revolt in Sicily) [Greek: *gegone kai kata taen Asian kata tous autous kairous, Aristonikou men antipoiaesamenou taes mae prosaekousaes basileias, ton de doulon dia tas ek ton despoton kakouchias synaponoaesamenon ekeino kai megalois atychaemasi pollas poleis peribalonton*].

[513] Strabo l.c. [Greek: *eis de taen mesogaian anion haethroise dia tacheon plaethos aporon te anthropon kai doulon ep' eleutheria katakeklaemenon, ous Haeliopolitas ekalese*]. Мнение о том, что Гелиополь был просто идеальным городом, получившим свое название от сирийского бога солнца, см. в Mommsen *Hist. of Rome* bk. iv. c. 1; Bücher op. cit. pp. 105 и далее. О надеждах на божественное избавление, которыми были пронизаны восстания рабов, см. Mahaffy в *Hermathena* xvi. 1890, и ср. с. 89.

[514] Strabo l.c.

[515] Florus i. 35 (ii. 20).

[516] Val. Max. iii. 2. 12.

[517] Strabo xiv. i. 38.

[518] Strabo l.c. [Greek: *euthus ai te poleis hepempsan plaethos, kai Nikomaedaes ho Bithynos epekouraese kai oi ton Kappadokon basileis*]. Eutrop. iv. 20 P. Licinius Crassus infinita regum habuit auxilia. Nam et Bithyniae rex Nicomedes Romanos juvit et Mithridates Ponticus, cum quo bellum postea gravissimum fuit, et Ariarathes Cappadox et Pylaemenes Paphlagon. Понтийским царем был Митрадат Эвргет, а не Евпатор.

[519] Cic. *Phil.* xi. 8. 18 Populus Romanus consuli potius Crasso quam privato Africano bellum gerendum dedit.

[520] В 189 г. до н. э. (Liv. xxxvii. 51) и 180 г. (Liv. xi. 42).

[521] Cic. l.c. Rogatus est populus quem id bellum gerere placeret. Crassus consul, pontifex maximus, Flacco collegae, flamini Martiali, multam dixit si a sacris discessisset; quam multam populus remisit, pontifici tamen flaminem parere jussit.

[522] Cp. Liv. *Ep.* lix. Adversus eum (Aristonicum) P. Licinius Crassus consul, cum idem pontifex maximus esset, quod numquam antea factum erat, extra Italiam profectus....

[523] Quintil, *Inst. Or.* xi. 2. 50.

[524] Gell. i. 13.

[525] Intentior Attalicae praedae quam bello (Justin. xxxvi. 4. 8).

[526] Cp. Eutrop. iv. 20 Perperna, consul Romanus (130 г. до н. э.) qui successor Crasso veniebat.

[527] Val. Max. iii. 2. 12; Strabo xiv. i. 38.

[528] Val. Max. l.c. Cp. Oros. v. 10; Florus i. 34 (ii. 20). Евтропий (iv. 20) утверждает, что голова Красса была доставлена в Аристонику, а тело похоронено в Смирне.

[529] Justin. xxxvi. 4 Prima congressione Aristonicum superatum in potestatem suam redegit.

[530] Eutrop. iv. 20. Cp. Liv. *Ep.* lix.

[531] Justin. l.c.

[532] Justin. xxxvi. 4 M. Aquilius consul ad eripiendum Aristonicum Perpernae, veluti sui potius triumphi munus esse deberet, festinata velocitate contendit.

[533] Eutrop. iv. 20; Justin. xxxvi. 4.

[534] Vellei. ii. 4.

[535] Eutrop. l.c. Aristonicus jussu senatus Romae in carcere strangulatus est. Согласно Страбону (xiv. i. 38), он был послан в Рим Перперной.

[536] Florus i. 35 (ii. 20) Aquillius Asiatici belli reliquias confecit, mixtis-nefas-veneno fontibus ad deditionem quarundam urbium. Quae res ut maturam ita infamem fecit victoriam, quippe cum contra fas deum moresque majorum medicaminibus impuris in id tempus sacrosancta Romana arma violasset.

[537] Strabo xiv. 1. 38 [греч: *Manion d' Akyllios, epelthon hypatos meta deka presbeuton, dietaxe taen eparchian eis to nyn eti symmenon taes politeias schaema*].

[538] Надпись со словами [греч. *Man(i)os Aky(l)ios Man(i)ou hypato(s) Rhomaion*] была найдена недалеко от Тралл. Вероятно, она принадлежит вехе (C.I.L. i. n. 557 = C.I.Gr. n. 2920).

[539] Там, где права *городов-государств* были под вопросом, демаркационные линии между "провинцией" и "протекторатом" обязательно были расплывчатыми. Даже протекторат над небольшими политическими единицами требовал организации и оправдывал назначение комиссии.

[540] Доказательством служит Цистофор 77 г. до н. э., отчеканенный в Эфесе. См. Waddington *Fastes* p. 674.

[541] Его триумф датируется 126 г. до н. э. (628 г. по Р. Х., 627 г. по летоисчислению *Фастов*). См. *триумф в Фасте*, в C.I.L. i.

[542] Waddington *Fastes* pp. 662 foll. Кария относится к провинции Азия в 76 г. до н. э. (Le Bas-Waddington, № 409).

[543] Она зависит от этой провинции во времена Цицерона (в *Pis.* 35. 86).

[544] Strabo xiv. 3. 4.

[545] Justin. xxxvii. i. Cf. Bergmann in *Philologus* 1847 p. 642.

[546] Forbiger *Handb. der All. Geogr.* ii. p. 338.

[547] Reinach *Mithridate Eupator* p. 43.

[548] Justin. xxxviii. 5.

[549] C. Gracchus ap. Gell. xi. 10. Cp. Plin. *H.N.* xxxiii. ii. 148 Asia primum devicta luxuriam misit in Italiam.... At eadem Asia donata multo etiam gravius adflixit mores, inutiliorque victoria illa hereditas Attalo rege mortuo fuit. Tum enim haec emendi Romae in auctionibus regis verecundia exempta est.

[550] Ramsay, *Cities and Bishoprics of Phrygia* i. 2, pp. 423, 762; Reinach. *Mithridate Eupator* p. 457.

[551] Свидетельства об островах см. в Waddington *Fastes* l. c.

[552] Regni attalici opes (Justin. xxxviii. 7. 7); Attalicae conditiones (Hor, *Od.* i. 1. 12); Attalicae vestes (Prop. iii. 18. 19) etc. (из Ihne *Rom. Gesch.* v., p. 76).

[553] Liv. *Ep.* lix; App. *Illyr.* 10, *Bell. Civ.* i. 19; Plin. *H.N.* iii. 19. 129; *Fasti triumph.* C. Sempronius C.F.C.N. Tuditan. a. dcxxiv cos. de lapudibus k. Oct.

[554] Liv. *Ep.* lx; Florus i. 37 (iii. 2); Obsequens 90 (28); Ammian. xv. 12. 5.

[555] Liv. *Ep.* lx; Plut. *C. Gracch.* 1. 2.

[556] *Fasti Triumph.* L. Aurelius L.F.L.N. Orestes pro an. dcxxi cos. ex Sardinia vi Idus Dec. (123 г. до н. э.)

[557] Plut. *C. Gracch.* 2.

[558] Diod. v. 17, 2.

[559] Кроме Маго (Махон), Боккори и Гиунтум на Майорке, Иамо на Менорке, предположительно, являются пуническими названиями. См. Хюбнер в Pauly-Wissowa *Real. Enc.* p. 2823. Об островах вообще (Балиарес, позднее Балеарес у римлян, [греч. *Gymnaesiaí*, *Baliareis*] у греков) см. работу того же автора "*Römische Heerschaft in Westeuropa*" 208 и далее.

[560] Strabo iii. v. 1.

[561] Diod. v. 17. 4.

[562] Hübner in Pauly-Wissowa *Real. Enc.* l. c.

[563] Они также покупали вино. Они были настолько [греч. *philogynai*], что отдавали пиратам трех или четырех мужчин в качестве выкупа за одну женщину (Diod. v. 17).

[564] Strabo l.c. [Greek: *oi katoikountes eiraenaioi ... kakourgon de tinon oligon koinonias systaesamenon pros tous en tois pelagesi laestas, dieblaethaesan hapantes, kai diebae Metellos ep' autous ho Baliarikos prosagoreutheis*].

[565] Strabo l.c.

[566] Strabo l.c. [Greek: *eisaegage de (Metellos) epoikous trischilious ton ek taes Ibaerias Rhomaion*.]

[567] *Fasti Triumph.* (121 г. до н. э.) Q. Caecilius Q.F.Q.N. Metellus a. dcxxxii Baliaric. procos. de Baliarib.

[568] Plut. *Ti. Gracch.* 2.

[569] Quae sic ab illo acta esse constabat oculis, voce, gestu, inimici ut lacrimas tenere non possent (Cic. *de Or.* iii. 56. 214).

[570] Plut. l.c.

[571] Plut. l.c.

[572] Cic. *Brut.* 33. 125 Sed ecce in manibus vir et praestantissimo ingenio et flagranti studio et doctus a puero, C. Gracchus.... Grandis est verbis, sapiens sententiis, genere toto gravis. O ero "порыве" говорится в Tac. *de Orat.* 26.

[573] Cic. *Brut.* 33. 126 Manus extrema non accessit operibus ejus: praeclare inchoata multa, perfecta non plane. Cp. Tac. *de Orat.* 18 Sic Catoni seni comparatus C. Gracchus plenior et uberior; sic Graccho politior et ornatior Crassus.

[574] Cic, *de Or.* iii. 56. 214.

[575] P. 127

[576] Plut. *C. Gracch.* 1.

[577] C. Gracchus ap. Charis. ii. p. 177 Qui sapientem eum faciet? Qui et vobis et rei publicae et sibi communiter prospiciat, non qui pro suilla humanam trucidet.

[578] Plut. l.c.

[579] Ibid. Cp. [Виктор] *де Вур.* III. 65 Pestilentem Sardiniam quaestor sortitus.

[580] Plut. l.c.

[581] Cic. *de Div.* i. 26. 56 C. vero Gracchus multis dixit, ut scriptum apud eundem Coelium est, sibi in somniis quaesturam petere dubitanti Ti. fratrem visum esse dicere, quam vellet cunctaretur, tamen eodem sibi leto quo ipse interisset esse pereundum. Hoc, ante quam tribunus plebi C. Gracchus factus esset, et se audisse scribit Coelius et dixisse eum multis. Cp. Plut. l.c.

[582] Plut. *C. Gracch.* 2.

[583] Plut. l.c.

[584] Plut. l.c.

[585] Ibid. [Greek: *alla kai pollois allokotom edokei to tamian onta proapostaenai tou archontos*].

[586] Cic. *Div. in Caec.* 19. 61 Sic enim a majoribus nostris accepimus praetorem quaestori suo parentis loco esse oportere: nullam neque justiore neque graviore causam necessitudinis posse reperiri quam conjunctionem sortis, quam provinciae, quam officii, quam publici muneris societatem.

[587] Отрывок из речи Кая "apud censores" цитируется Цицероном *Orat.* 70.233.

[588] Плутарх говорит (C. *Gracch.* 2), что Каий [греч. *aitaesamenos logon outo metestaese tas gnomes ton akousanton, hos apelthein haedikaesthai ta megista doxas*]. Этот отрывок, похоже, подразумевает оправдание цензорами, хотя [греч. *ton akousanton*] предполагает более широкую аудиторию. Аргументы, приведенные Плутархом и развитые Каем, появились или были повторены в речи, которую он впоследствии произнес перед народом.

[589] Gell. xv. 12.

[590] Plut. C. *Gracch.* 3; [Виктор] *de Vir. Ill.* 65.

[591] Plut. l.c.

[592] Plut. l.c.

[593] Cic. *pro Rab.* 4. 12 C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanorum injussu vestro (sc. populi) judicaretur. Plut. C. *Gracch.* 4 [Greek: (nomon eisepheren) ei tis archon akriton ekpekaerychoi politaen, kat' auton didonta krisin to daemo_]. Schol. Ambros. p. 370 Quia sententiam tulerat Gracchus, ut ne quis in civem Romanum capitalem sententiam diceret. Cic. *in Cat.* iv. 5. 10; в *Verr.* v. 63. 163. Cp. Cic. *pro Sest.* 28. 61; Dio Cass. xxxviii. 14.

[594] Plut. C. *Gracch.* 4.

[595] Schol. Ambros. p. 370. Cp. Cic. *pro Sest.* 28, 61 Consule me, cum esset designatus (Cato) tribunus plebis (63 г. до н. э.), obtulit in discrimen vitam suam: dixit eam sententiam cujus invidiam capitis periculo sibi praestandam videbat. Dio Cass. xxxviii. 14.

[596] Cic. *pro Domo* 31. 82 Ubi enim tuleras ut mihi aqua et igni interdiceretur? quod C. Gracchus de P. Popilio ... tulit. *de Leg.* iii. 11. 26 Si nos multitudinis furentis inflammata invidia pepulisset tribuniciaque vis in me populum, sicut Gracchus in Laenatem ... incitasset, ferremus. Cp. *pro Cluent.* 35. 95; *de Rep.* i. 3.6. Речь Кая Гракха о Попиллии см. в Gell. 1.7.7; xi. 13.1.5.

[597] Cic. *post Red. in Sen.* 15. 37 Pro me non ut pro P. Popilio, nobilissimo homine, adulescentes filii, non propinquorum multitudo populum Romanum est deprecata.

[598] Diod. xxxv. 26 [Greek: *ho Popillios meta dakruon hypo ton ochlon proepemphthae ekballomenos ek taes poleos*]. Cp. Plut. C. *Gracch.* 4.

[599] Vellei. ii. 7 Rupilius Popiliusque, qui consules asperime in Tiberii Gracchi amicos saevierant, postea judiciorum publicorum merito oppressit invidia. Трудновато согласовать рассказ Фанния о смерти Рупилия (ар. Cic. *Tusc.* iv. 17.40) с этим осуждением. Здесь говорится, что Рупилий умер от горя из-за того, что его брат не смог получить должность консула, а эта неудача произошла до смерти Сципиона (Cic. *de Am* 20.73). Но брат мог продолжать свои безуспешные попытки вплоть до осуждения Рупилия.

[600] Plut. C. *Gracch.* 4 [Greek: (nomon) eisephere ... ei tinos archontos aphaeraeto ton archaen ho daemos, ouk eonta touto deuteras archaas metousian einai]. Cp. Diod. xxxv. 25. Магистраты, которые были низложены или вынуждены отречься от престола, назывались *abacti* (Festus p. 23 Abacti magistratus dicebantur, qui coacti deposuerant imperium).

[601] Plut. l.c.

[602] Diod. xxxv. 25 [Greek: *ho Grakchos daemaegoraesas peri tou katalysai aristokratian, daemokratian de systaesai, kai ephikomenos taes hapanton euchraestias ton meron, ouketi synagonistas alla kathaper authentas eiche toutous hyper taes idias tolmaes; dedekasmenos gar hekastos tais idiais elpisin hos hyper idion agathon ton eispheromenon nomon hetoimos haen panta kindynon hypomenein.*]

[603] Liv. Ep. xlviii (155 г. до н. э.) Cum locatum a censoribus theatrum exstrueretur; P. Cornelio Nasica auctore, tanquam inutile et nociturum publicis moribus, ex senatus consulto destructum est, populusque aliquamdiu stans ludos spectavit.

[604] Liv. Ep. lx.; Oros. v. II; Nitzsch *Die Gracchen* p. 393.

[605] Plut. C. Gracch. 5 [Greek: *ho de sitikos (nomos) epeunizon tois penaesi taen agoran.*] App. Bell. Civ. i. 21 [Greek: *sitaeresion hemmaenon horisas hekasto ton daemoton apo ton koinon chraematon, ou proteron eiiothos diadidosthai*]. Vellei. ii. 6 Frumentum plebi dari instituerat. Liv. Ep. lx Leges tulit, inter quas frumentariam, ut senis et triente frumentum plebi daretur. Schol. Bob. p. 303 Ut senis aeris et trientibus modios singulos populus acciperet. Cp. Mommsen *Die römischen Tribus* pp. 179 и 182.

[606] Моммзен (*Hist. of Rome* bk. iv. c. 3) считает, что это скорее меньше половины. Среднюю рыночную цену *модия* установить трудно. Низкая цена, по-видимому, составляла около 12 ассов за *модий*. См. Смит и Уилкинс в *Smith Dict. of Antiq.* i. p. 877. О случайных продажах ниже рыночной цены в более ранний период см. Plin. *H.N.* xviii. 3. 17 M. Varro auctor est, cum L. Metellus (cos. 251 B.C.) in triumpho plurimos duxit elephantos, assibus singulis farris modios fuisse.

[607] Cic. *Tusc. Disp.* iii. 20. 48 C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium, verbis ramen defendebat aerarium.

[608] Cic. *Tusc. Disp.* iii. 20. 48.

[609] Cic. *de Off.* ii. 21. 72 C. Gracchi frumentaria magna largitio; exhauriebat igitur aerarium: *pro* Sest. 48. 103 Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. Jucunda res plebei; victus enim suppeditabatur large sine labore. Cp. *Brut.* 62. 222. Diod. xxxv. 25 [Greek: *to koinon tamieion eis aischras kai akairous dapanas kai charitas analiskon eis heauton pantas apoblepein epoiaese*]. Cp. Oros. v. 12.

[610] Plut. C. Gracch. 6 [Greek: *egrapse de kai ... kataskeuazesthai sitobolia.*] Festus p. 290 Sempronia horrea qui locus dicitur, in eo fuerunt lege Gracchi, ad custodiam frumenti publici.

[611] Эта точка зрения представлена в критике, сохраненной Диодором xxxv. 25 [Greek: *tois stratiotais dia ton nomon ta taes archaias agogaes austera katacharisamenos apeithian kai anarchian eisaegagen eis taen politeian*].

[612] Plut. C. Gracch. 5 [Greek: *ho de stratiotikos (nomos) esthaeta te keleuon daemosia choraegesthai kai maeden eis touto taes misthophoras hyphaireisthai ton stratenomenon*].

[613] [Greek: *kai neoteron eton heptakaideka mae katalegesthai stratiotaen*] (Plut. l.c.).

[614] Plut. l.c. [Greek: *ton de nomon ... ho men haen klaerouchikos hama nemon tois penaesi taen daemosian*]. Liv. Ep. lx Tulit ... legem agrariam, quam et frater ejus tulerat. Vellei. ii. 6 (C. Gracchus)

dividebat agros, vetabat quemquam civem plus quingentis iugeribus habere, quod aliquando lege Licinia cautum erat. Cp. Cic. *de Leg. Agr.* i. 7. 21; ii. 5. 10; Oros. v. 12; Florus ii. 3 (iii. 15).

[615] *Lex Agraria* (C.I.L. i. n. 200; Bruns *Fontes* 1. 3. 11) 1. 6. См. с. 113, прим. 2.

[616] В 125 г. до н. э. перепись составляла 394, 726 (Liv. *Ep.* lx), в 115 г. - 394, 336 (Liv. *Ep.* lxiii). См. de Boor *Fasti Censorii*.

[617] Herzog *Staatsverf.* i. p. 466.

[618] В 142 г. до н. э. (Cic. *de Fin.* ii. 16. 54).

[619] Polyb. vi. 14.

[620] Cic. *pro Mur.* 28. 58; *pro Font.* 13. 38; *Brut.* 21. 81; *Div. in Caec.* 21. 69; Tac. *Ann.* 111. 66. Валерий Максим (viii. 1. 11) вряд ли может быть прав, говоря, что суд проходил *apud populum*. Судя по всему, это был суд за вымогательство.

[621] App. *Bell. Civ.* i. 22. Cp. Cic. *Div. in Caec.* 21. 69 [Ascon.] in loc.; App. *Mithr.* 57.

[622] App. *Bell. Civ.* i. 22 [Greek: *oi te presbeis oi kat auton eti parontes syn phthono tauta permontes ekekragesan*].

[623] Plut. *C. Gracch.* 5 [Greek: *ho de dikastikos (nomos) ho to pleiston apekopse taes ton synklaetikon dynameos ... ho de priakosious ton hippeon proskatelexen antois ousi triakosiois kai tas kriseis koinas ton hexakosion epoiaese*]. Cp. Справн. 2. Liv. *Ep.* lx Tertiam (legem tulit) qua equestrem ordinem, tunc cum senatu consentientem, corrumpere: "ut sexcenti ex equitibus in curiam sublegerentur: et quia illis temporibus trecenti tantum senatores erant, sexcenti equites trecentis senatoribus admiscerentur": id est, ut equester ordo bis tantum virium in senatu haberet.

[624] Vellei. ii. 6 C. Gracchus ... judicia a senatu transferebat ad equites. (Cp. ii. 13. 32). Tac. *Ann.* xii. 60 Cum Semproniiis rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur. Plin. *H.N.* xxxiii. 34 Judicium autem appellatione separare eum (equestrem) ordinem primi omnium instituere Gracchi, discordi popularitate in contumeliam senatus. Cp. Diod. xxxv. 25; xxxvii. 9; App. *Bell. Civ.* 1. 22.

[625] Квалификация гракханских присяжных была, вероятно, идентична той, которая требовалась для присяжных по дошедшему до нас *lex Repetundarum* (C.I. L. i. n. 198; Bruns *Fontes* i. 3. 10), который, вероятно, является *lex Acilia* (Cic. *in Verr. Act.* i. 17. 51; ср. Mommsen в C.I. L. l.c.). Условия, установленные этим законом, следующие (ll. 12, l3):- Praetor quei inter peregrinos ious deicet, is in diebus x proxumeis, quibus h. l. populus plebesve iouserit, facito utei CDL viros legat, quei in hac civit[ate ... dum nei quem eorum legat, quei tr. pl., q., iii vir cap., tr. mil. l. iv primis aliqua earum, iii vi]rum a. d. a. siet fueri[tve, queive mercede conductus depugnavit depugnaverit, queive quaestione ioudicioque puplico conde]mnatus siet quod circa eum in senatum legei non liceat, queive minor anneis xxx majorve annos lx gnatus siet, queive in u[rbem Romam propiusve urbem Romam passus M domicilium non habeat, queive ejus magistratus, quei supra scriptus est, pater frater filiusve siet, queive ejus, quei in senatu siet fueritve, pater frater filiusve siet, queive trans mar]e erit. (Cp. лл. 16, 17). К сожалению, основная квалификация присяжных, которая указывалась после слов "in hac civitate", утрачена.

[626] Plut. *C. Gracch.* 6 [Greek: *kakeino tous krinountas ek ton hippeon hedoken (ho daemos) katalexai*].

[627] В *lex Acilia* сказано "в течение десяти дней после того, как он стал законом" (р. 214, прим. 2). Если Плутарх (*l.c.*) прав в том, что Гракх выбирал первоначальных судей, то положение этого *лекса* показывает, что он не может быть, как некоторые думают, законом, который впервые *создал* гракханских присяжных. Должно быть, он был принят позже собственного *lex judiciaria* Гракха.

[628] В цicerоновский период мы находим рыцаря в качестве *судьи* в гражданском деле (*Cic. pro Rosc. Com.* 14. 42), но маловероятно, что сенаторы когда-либо были исключены из гражданской коллегии. См. Greenidge *Legal Procedure of Cicero's Time* p. 265.

[629] *Cic. in Verr. Act.* i. 13. 38.

[630] *Cic. pro Cluent.* 56. 154 *Lege ... quae tum erat Sempronia, nunc est Cornelia* (т. е. закон, упомянутый в примечании 4) ... *intellegebant ... ea lege equestrem ordinem non teneri*. Ливий Друз в 91 г. до н. э. попытался установить ретроспективную ответственность для конных присяжных (*Cic. pro Rab. Post* 7. 16). Ср. *App. Bell. Civ.* i. 35. Тем не менее Аппиан в другом месте (*Bell. Civ.* i. 22) говорит, что эквиты избавились от судебных процессов по делам о взяточничестве [Greek: *synistamenoι sphisin autois kai biazomenoι*]. Возможно, имеются в виду преследования за коррупцию в *народном суде*. См. Strachan-Davidson *in loc.*

[631] *Cic. pro Cluent.* 55. 151 *Hanc ipsam legem NE QUIS JUDICIO CIRCUMVENIRETUR C. Gracchus tulit; eam legem pro plebe, non in plebem tulit. Postea L. Sulla ... cum ejus rei quaestionem hac ipsa lege constitueret, ... populum Romanum ... alligare novo quaestionis genere ausus non est.* 56. 154 *Illi non hoc recusabant, ea ne lege accusarentur ... quae tum erat Sempronia, nunc est Cornelia ... intellegebant enim ea lege equestrem ordinem non teneri.*

[632] *Gell.* 1. xx. 7; *Justin. Inst.* iv. 5. 2.

[633] *App. Bell. Civ.* i. 22.

[634] *App. l.c.* [Greek: *kataegorous te enetous epi tois plousiois epaegonto*].

[635] *C. Gracchus ap. Gell.* xi. 10 *Ego ipse, qui aput vos verba facio, uti vectigalia vestra augeatis, quo facilius vestra commoda et rem publicam administrare possitis, non gratis prodeo.*

[636] *Vellei.* ii. 6. 3 *Nova constituebat portoria.*

[637] Ср. *App. Bell. Civ.* v. 4 (М. Антоний к азиатам) [Greek: *ous ... eteleite phorous Attalo, methaekamen hymin, mechri, daemokopon andron kai par' haemin genomenon, edeaeese phoron, epei de edeasesen ... merae pherein ton ekastote karpon epetazamen*].

[638] *Fronto ad Verum* p. 125 (Naber) *Gracchus locabat Asiam. Cic. in Verr.* iii. 6. 12 *Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum ... aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia.*

[639] *Decumani, hoc est, principes et quasi senatores publicanorum* (*Cic. in Verr.* ii. 71. 175).

[640] *Polyb.* vi. 17.

[641] *Schol. Bob.* p. 259 *Cum princeps esset publicanorum Cn. Plancii pater, et societas eadem in exercendis vectigalibus gravissimo damno videretur adfecta, desideratum est in senatu nomine publicanorum ut cum iis ratio putaretur lege Sempronia, et remissionis tantum fieret de summa pecunia, quantum aequitas postularet, pro quantitate damnorum quibus fuerant hostili incursione vexati* (60 до н. э.; ср. *Cic. ad Att.* i. 17. 9).

[642] Varro ap. Non. p. 308 G. Equestri ordini judicia tradidit ac bicipitem civitatem fecit discordiarum civilium fontem. Cp. Florus ii. 5 (iii. 17).

[643] Diod. xxxvii. 9 [Greek: *apeilousaes taes synklaetou polemon to Grakcho dia taen metathesin ton kritaerion, tetharraekotos outos eipen hoti kan apothano, ou dialeipso to eiphos apo taes pleuras ton synklaetikon diaeraemenos*]. Диодор сохранил это изречение в более понятной форме, чем Цицерон (*de Leg.* iii. 9. 20 C. vero Gracchus ... sicis iis, quas ipse se projecisse in forum dixit, quibus digladiarentur inter se cives, nonne omnem rei publicae statum permutavit?).

[644] Cic. *pro Domo* 9, 24 Tu provincias consulares, quas C. Gracchus, qui unus maxime popularis fuit, non modo non abstulit a senatu, sed etiam, ut necesse esset quotannis constitui per senatum decretas lege sanxit, eas lege Sempronia per senatum decretas rescidisti. Sall, *Fug.* 27 Lege Sempronia provinciae futuris consulibus Numidia atque Italia decretae. Cic. *de Prov. Cons.* 2. 3 Decernendae nobis sunt lege Sempronia duae (provinciae). Cp. *ad Fam.* i. 7. 10; *pro Balbo* 27. 61.

[645] Cic. *de Prov. Cons.* 7. 17.

[646] Колонисты должны были быть [греч. *oi chariestatoi ton politon*] (Plut. *C. Gracch.* 9).

[647] Liv. *Ep.* lx Legibus agrariis latis effecit ut complures coloniae in Italia deducerentur. Cp. Plut. *C. Gracch.* 6. App. *Bell. Civ.* 1. 23; фундаменты в Абеллиуме, Кадатии, Суэссе Аурунке и т. д. приписываются *lex Sempronia* или *lex Graccana* в *Liber Coloniarum* (*Gromatici* Lachmann) pp. 229, 233, 237, 238; ср. pp. 216, 219, 228, 255. Трудно сказать, были ли они продуктом аграрного или колониального права Гракхов. В любом случае, эти основы могли быть заложены после его смерти, поскольку ни один из законов не был отменен.

[648] Vellei. 1. 15 Et post annum (т. е. через год после основания Фабратерии, см. с. 171) Scolacium Minervium, Tarentum Neptunia (coloniae conditae sunt).

[649] Forbiger *Handb. der Alt. Geogr.* ii. p. 503.

[650] L'Année *Epigraphique*, 1896, pp. 30, 31.

[651] Plut. *C. Gracch.* 8.

[652] Vellei. ii. 6 Novis coloniis replebat provincias. Это может быть неверно как факт, но верно как намерение.

[653] Vellei. ii. 7.

[654] Plut. *C. Gracch.* 10 [Greek: *Rhoubrion ton synarchonton henos oikizesthai Karchaedona grapsantos anaeraemenaen hypo Skaepionos*]..... *Lex Acilia* 1. 22 Queive 1. Rubria in. vir col. ded. creatus siet fueritve. Cp. *Lex Agraria* 1. 59. Oros. v. 12 L. Caecilio Metello et Q. Titio (Scr. T. Quinctio) Flaminio coss. Carthago in Africa restitui jussa vicensimo secundo demum anno quam fuerat eversa deductis civium Romanorum familiis, quae eam incolerent, restituta et repleta est. Cp. Eutrop. iv. 21.

[655] Mommsen in C.I.L. i. pp. 75 ff.

[656] Mommsen l.c. Это было владение, впоследствии названное *jus Italicum*.

[657] Liv. *Ep.* ix; App. *Bell. Civ.* i. 24.

[658] Plut. *C. Gracch.* 6; App. *Bell. Civ.* i. 23.

[659] Plut. *C. Gracch.* 7.

[660] Nitzsch *Die Gracchen* p. 402.

[661] Это, по-видимому, *Viasii vicani* из *lex Agraria*. Иногда служба выполнялась личным трудом (*operae*), в других случаях требовался *вектугаль*. См. Моммзен в C.I.L. I.c.

[662] Cic. *ad Fam.* viii. 6. 5; ср. Mommsen I.c.

[663] Это было запрещено *lex Licinia* и *lex Aebutia*, которые Цицерон (*de Leg. Agr.* ii. 8. 21) называет *veteres tribuniciae*. Но возможно, что они были приняты после Гракхана. См. Mommsen *Staatsr.* ii. p. 630.

[664] App. *Bell. Civ.* i. 23 [Greek: *ho de Grakchos kai hodous etemnen ana ten Italian makras, plaethos ergolabon kai cheirotechnon hyph' eauto poionmenos, hetoimon es ho ti keleuoi*]

[665] Plut. *C. Gracch.* 8.

[666] Cic. *Brut.* 26, 100.

[667] Mommsen in C.I.L. i. p. 158.

[668] Plut. *C. Gracch.* 6.

[669] Seneca *de Ben.* vi. 34. 2 Apud nos primi omnium Gracchus et mox Livius Drusus instituerunt segregate turbam suam et alios in secretum recipere, alios cum pluribus, alios universos. Habuerunt itaque isti amicos primos, habuerunt secundos, numquam veros.

[670] Название закона, вероятно, было *lex de sociis et nomine Latino*. См. Cic. *Brut.* 26. 99.

[671] App. *Bell. Civ.* i. 23 [Greek: *kai tous Latinous epi panta ekalei ta Rhomaion, hos ouk euprepos sygnenesi taes boulaes antistaenai dynamenae; ton de heteron symmachon hois ouk ezaen psaephon en tais Rhomaion cheirotoneiais pherein, edidous pherein apo toude, epi to echein kai tousde en tais cherotoneiais ton nomon auto syntelountas*]. Слова [греч. *psaephon k.t.l.*] относятся к ограниченному избирательному праву, предоставленному латинским *инколам* (Liv. xxv. 3. 16); но избирательное право его новых латинян было бы столь незначительным, что мотив, приписываемый Аппианом этой мере, маловероятен. См. Strachan-Davidson in loc. Другие рассказы о предложении Гракха игнорируют это различие между латинами и италиками, например, Плутарх (*C. Gracch.* 5) описывает его закон как [Greek: *isopsaephous toion tois politais tous Italiotas*], а Веллеус говорит (ii. 6) *Dabat civitatem omnibus Italicis*.

[672] Если мы можем доверять Веллею (ii. 6) *Dabat civitatem omnibus Italicis, extendebat eam raene usque Alpibus*. Цизальпинская Галлия еще не была отдельной провинцией, но и не считалась частью Италии. Латинские колонии между Падусом и Рубиконом, несомненно, получили бы римские права, и это могло произойти с латинским городом к северу от Падуса, таким как Аквилея. Но сомнительно, чтобы латинские права были предоставлены городам между Падусом и Альпами. Эти *Transpadani* получили *Latinitas* в 89 г. до н. э. (Ascon. in *Pisonian.* P. 3).

[673] C. *Gracch.* ap. Gell. x. 3. 3.

[674] Fann. ap. Jul. Victor 6. 6. Речь Фанния в качестве консула против Кая Гракха упоминается также Харисием p. 143 Keil.

[675] Cic. *Brut.* 26. 99.

[676] App. *Bell. Civ.* i. 23.

[677] Plut. C. Gracch. 12 [Greek: *antexethaeken ho Gaios diagramma kataegoron ton hypaton, kai tois symmachois, an menosi, boaethaesein epangellomenos*]. По словам Аппиана (l.c.), оба консула получили от сената указание издать эдикт.

[678] Если бы это было затруднено, то судебная защита *перегринов* против решений претора Перегрина была бы невозможна.

[679] Plut. C. Gracch. 12.

[680] App. Bell. Civ. i. 23.

[681] [Sall.] *de Rep. Ord.* ii. 8 Magistratibus creandis haud mihi quidem absurde placet lex quam C. Gracchus in tribunatu promulgaverat, ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae vocarentur. Ita coaequatus dignitate pecunia, virtute anteire alius alium properabit.

[682] Plut. C. Gracch. 8.

[683] Vir et oratione gravis et auctoritate (Cic. Brut. 28. 109) [Greek: *haethei de kai logo kai plouto tois malista timomenois kai dynamenois apo touton enamillos*] (Plut. C. Gracch. 8).

[684] Suet. Tib. 3 Ob eximiam adversus Gracchos operam "patronus senatus" dictus.

[685] Plut. C. Gracch. 9.

[686] App. Bell. Civ. i. 35.

[687] Plut. C. Gracch. 10.

[688] Plut. C. Gracch. 9 [греч. *Libios de kai taen apophoran tautaen*] (которые были навязаны гракханскими законами) [греч. *ton neimatenon aphairon haeresken autois*]. Время *neimatenon*, по-видимому, показывает, что имеются в виду как гракханские, так и ливийские поселенцы. См. Underhill in loc. В любом случае, повторное наложение *вектигала* на надёлы по закону 119 г. (App. Bell. Civ. i. 27) доказывает, что он был отменен до этой даты.

[689] [Greek: *hopos maed' epi strateias exae tina Latinon rhabdois aikisasthai*] (Plut. C. Gracch. 9).

[690] *lex Acilia Repetundarum* предоставляет им право апелляции как альтернативу гражданству в качестве награды за успешное судебное преследование. Ср. аналогичное положение во франкском законе Флакка (p. 168).

[691] Plut. C. Gracch. 9.

[692] Аппиан (Bell. Civ. i. 24) говорит, что Гракха сопровождал Фульвий Флакк. Плутарх (C. Gracch. 10) подразумевает, что последний остался в Риме.

[693] App. l.c. Аппиан представляет эту меру как предложенную после возвращения комиссаров в Рим. Слова Плутарха (C. Gracch. 8) [Greek: *apaertaesato to plaethos ... kakon ... epi koinoniai politeias tous Latinous*], вероятно, относятся к приглашению латинян принять участие в этих гражданских колониях.

[694] Plut. C. Gracch. 10.

[695] Mommsen in C.I.L. l.c.

[696] Plut. C. Gracch. 11.

[697] App. *Bell. Civ.* i. 24. Согласно Аппиану, событие с волком произошло после того, как Гракх покинул Африку.

[698] Plut. *C. Gracch.* 11.

[699] Plut. *C. Gracch.* 12.

[700] Ibid. [Greek: *synetyche d' auto kai pros tous synarchontas en orgae genesthai. synarchontas*] здесь не ограничивается его коллегами по трибунату.

[701] [Greek: *exemisthoun*] (Plut. l.c.), вероятно, к подрядчикам, которые будут сдавать места в субаренду.

[702] Beesly *The Gracchi, Marius and Sulla* p. 53.

[703] [Greek: *psaephon men auto pleiston genomenon, adikos de kai kakourgos ton synarchonton poiaesamenon taen anagoreusin kai anadeixin*]. (Plut. l.c.)

[704] Cic. *in Pis.* 15. 36; Varro *R.R.* iii. 5. 18.

[705] [Greek: *hos Sardonion gelota gelosin, ou gignoskontes hoson autois skotos ek ton auton perikechytai politeumatōn*]. (Plut. l.c.)

[706] Cic. *pro Caec.* 33. 95; *pro Domo* 40. 106.

[707] [Victor] *de Vir. Ill.* 65.

[708] Cornelia ap. Corn. Nep. fr. 16 Ne id quidem tam breve spatium (sc. vitae) potest opitulari quin et mihi adversere et rem publicam profliges? Denique quae pausa erit? Ecquando desinet familia nostra insanire? Ecquando modus ei rei haberi poterit? Ecquando desinemus et habentes et praebentes molestiis insistere? Ecquando perpudescet miscenda atque perturbanda re publica?

[709] [Greek: *hos dae theristas*] (Plut. *C. Gracch.* 13).

[710] Плутарх (l.c.) говорит, что консул "принес жертву" [греч. *thysantos*], и, если это верно, Опимий должен был созвать собрание.

[711] App. *Bell. Civ.* i. 25.

[712] Plut. *C. Gracch.* 13; App. *Bell. Civ.* i. 25; [Victor] *de Vir. Ill.* 65. Последний автор называет убитого Аттилием и характеризует его как "praeco Opimii consulis". Cp. Ihne *Röm. Gesch.* v. p. 103.

[713] [Victor] l.c. Imprudens contionem a tribuno plebis advocavit. Cp. App. *Bell. Civ.* i. 25.

[714] Plut. *C. Gracch.* 14.

[715] App. *Bell. Civ.* i. 25.

[716] App. l.c.

[717] Plut. *C. Gracch.* 14.

[718] Cic. *Phil.* viii. 4. 14 Quod L. Opimius consul verba fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet. Senatus haec verbis, Opimius armis. Cp. *в Cat.* i. 2. 4; iv. 5. 10. Plut. *C. Gracch.* 14 [Greek: *eis to bouleutaerion apelthontes epsaephisanto kai prosetaxan Opimio to hypato sozein taen polin hopos dynaito kai katalyein tous tyrannous*].

[719] Plut. l.c.

[720] App. *Bell. Civ.* i. 26.

[721] Plut. *C. Gracch.* 14.

[722] Ibid. 15.

[723] App. *Bell. Civ.* i. 26.

[724] Cp. Bardey *Das sechste Consulat des Marius* p. 61.

[725] Plut. l.c.

[726] Plut. *C. Gracch.* 16; App. l.c.

[727] Plut. l.c.

[728] Plut. l.c.

[729] Cic. *in Cat.* iv. 6. 13.

[730] App. *Bell. Civ.* i. 26. Плут (C. *Gracch.* 16) утверждает, что Флакк бежал в ванную ([Greek: *eis ti balaneion*]).

[731] Dionys. viii. 80.

[732] Plut. l.c.

[733] Val. Max. iv. 7. 2; [Виктор] *de Vir. Ill.* 65; Oros, v. 12. Плутарх (l.c.) называет его второе имя Лициний.

[734] Plut. l.c.

[735] [Victor] l.c.

[736] В переводе Плутарха - "Роща фурий"; ср. Cic. *de Nat. Deor.* iii. 18. 46. Настоящее название рощи - *Lucus Furrinae*, по имени какой-то богини, значение которой было забыто (Varro *L. L.* vi. 19 *Nunc vix nomen notum paucis*). См. Richter *Topographie* p. 271.

[737] Plut. *C. Gracch.* 17. Cp. Val. Max. vi. 8. 3.

[738] Plin. *H.N.* xxxiii. 3. 48. Cp. Plut. l.c.; [Victor] l.c.; Florus ii. 3 (iii. 15).

[739] Oros. v. 12.

[740] Oros. l.c. *Opimius consul sicut in bello fortis fuit ita in quaestione crudelis. Nam amplius tria milia hominum suppliciis necavit, ex quibus plurimi ne dicta quidem causa innocentes interfecti sunt.* Плутарх (l.c.) называет три тысячи человек как число убитых во время беспорядков. Орозий (l.c.) называет число убитых на Авентине двести пятьдесят человек. О суровости, с которой Опимий провел *quaestio*, см. Sall. *Jug.* 16. 2, 31. 7; Vellei. ii. 7.

[741] Plut. l.c.

[742] Dig. xxiv. 3. 66. В этом отрывке говорится о приданом Лициния; однако Плутарх (l.c.) утверждает, что оно было конфисковано.

[743] В греческой версии Плутарха (C. Gracch, 17) [Greek: *ergon aponoias*] (vecordiae) [Greek: *naon homonoias*] (concordiae) [Greek: *poiei*].

[744] Cp. Neumann *Geschichte Roms*. p. 259.

[745] Plut, C. *Gracch*, 18.

[746] Plut. C, *Gracch*, 19.

[747] Plin. *H.N.* xxxiv. 6. 31.

[748] Отсюда учреждение *praefecti jure dicundo*, направляемых в бюргерские колонии и муниципии.

[749] Arist. *Pol.* iv. 6, p. 1292 b.

[750] Выбор месяца июля в качестве даты выборов, по-видимому, является послесулланским. См. Mommsen *Staatsr.* i. p. 583. Во время Югуртинской войны консульские выборы проходили, как мы увидим, поздней осенью или даже зимой.

[751] Suet. *Caes.* 42.

[752] Если некоторые задания Гракхов составляли по тридцать югеров (p. 115). Более крупные ассигнации в более ранние времена составляли от семи до десяти югеров. См. Моммзен в C.I. L. i. pp. 75 foll.

[753] Liv. *Ep.* lxi L. Opimius accusatus apud populum a Q. Decio tribuno plebis quod indemnatos cives in carcerem conjecisset, absolutus est. "In carcerem conjicere" не выражает всей правды. Магистрат мог заключить в тюрьму в рамках подготовки к судебному процессу. Слова должны означать заключение, подготовленное к казни, и, вероятно, относятся к смерти в Туллиане.

[754] Cic. *de Orat.* ii. 30. 132; *Part. Orat.* 30, 104. В последнем отрывке Опимий должен сказать: "Jure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa". Деций должен ответить: "Ne sceleratissimum quidem civem sine judicio jure ullo necare potuisti". Таким образом, кардинальный вопрос звучит так: "Potueritne recte salutis rei publicae causa civem eversorem civitatis indemnatum necare?". Cp. Cic. *de Orat.* ii. 39. 165 Si ex vocabulo, ut Carbo: Sei consul est qui consuluit patriae, quid aliud fecit Opimius?

[755] Cp. Cic. *pro Sest.* 67. 140 (Opimium) flagrantem invidia propter interitum C. Gracchi semper ipse populus Romanus periculo liberavit.

[756] Cic. *Brut.* 34. 128 L. Bestia ... P. Popillium vi C. Gracchi expulsum sua rogatione restituit. Cp. *post Red. in Sen.* 15. 38; *post Red. ad Quir.* 4.10.

[757] Cic. *in Cat.* iv. 6, 13; *Phil.* viii. 4. 14.

[758] Val. Max. v. 3. 2. В красочности этой истории сомневается Ине (*Rom. Gesch.* v. p. 111). Он считает, что, возможно, Лентул отправился в Сицилию, чтобы восстановить свое пошатнувшееся здоровье.

[759] Cic. *de Orat.* ii. 25. 106; 39. 165; 40. 170.

[760] Ibid. ii. 39. 165.

[761] Cic. *Brut.* 43. 159 Красс ... обвиняет C. Carbonem, eloquentissimum hominem, admodum adulescens. Ср. *de Orat.* i. 10. 39.

[762] Валерий Максим (vi. 5. 6) рассказывает историю о том, что раб Карбона принес Крассу футляр для писем (*scrinium*), полный компрометирующих бумаг. Красс отослал Карбону запечатанный футляр и раба в цепях.

[763] Mommsen, *Hist. of Rome* bk. iv. с. 4.

[764] Cic. *in Verr.* iii. i. 3 Itaque hoc, iudices, ex ... L. Crasso saepe auditum est, cum se nullius rei tam paenitere diceret quam quod C. Carbonem unquam in iudicium vocavisset.

[765] Cic. *ad Fam.* ix. 21. 3 (C. Carbo) accusante L. Crasso cantharidas sumpsisse dicitur. Валерий Максим (iii. 7. 6) предполагает, что Карбо был отправлен в изгнание. Но эти две истории не обязательно противоречат друг другу.

[766] Аппиан (*Bell. Civ.* i. 35) говорит, что младший Ливий Друз (91 г. до н. э.) [Greek: *ton daemon ... hypaegeto apoikiais pollais es te taen Italian kai Sikelian epsaephismenais men ek pollou, gegonuias de oupo*]. Эти колонии могли быть только теми, которые предложил его отец.

[767] Моммзен в C.I.L. 1 стр. 75 и далее. Ср. р. 227. У нас нет сведений о том, на каком основании римляне владели своими землями в таких поселениях, как Пальма и Поллентия (стр. 189). Они также могли быть иллюстрацией того, что позже было известно как *jus Italicum*.

[768] Мы знаем, что закон о кукурузе К. Гракха был отменен или изменен *lex Octavia*. Cic. *Brut.* 62. 222 (M. Octavius) tantum auctoritate dicendoque valuit, ut legem Semproniam frumentariam populi frequentis suffragiis abrogaverit. Ср. *de Off.* ii. 21. 72. Но дата этого изменения неизвестна, и, возможно, оно не было немедленным. Если это было следствием падения Гракха, как считает Петр (*Gesch. Roms.* ii. р. 41), то распределения могли быть восстановлены около 119 г. до н. э. (см. с. 287). Мы увидим, что в трибунате Мария в этом году перед народом было представлено некое предложение о кукурузе (Plut. *Mar.* 4).

[769] App. *Bell. Civ.* i. 27 [Greek: *nomos te ou poly hysteron ekyrhothae, taen gaen, hyper haes dietheronto, exeinai pipraskein tois echousin*].

[770] App. l.c. [Greek: *kai euthus oi plousioi para ton penaeton eonounto, hae taisde tais prophasesin ebiazonto*].

[771] Закон, разрешающий отчуждение, возможно, был принят в 121 г. до н. э. 119 или 118 г. до н. э. ([греч. *pentekaideka maliosta etesin apo taes Grakchou nomothesias*]) указан Аппианом (l.c.) для одного из двух последующих законов, о которых он говорит. Вероятно, это дата первого из них, того, который мы сейчас рассматриваем.

[772] App. l.c. [Greek: *Sporios Thorios daemarchon esaegaesato nomon, taen men gaen maeketi sianemein, all' einai ton echonton, kai phorous hyper autaes to daemo katatithesthai, kai tade ta chrhaemata chorein es dianomas*].

[773] Если закон о кукурузе Гракха был отменен или изменен сразу после его падения, то теперь, возможно, кукурузные льготы были восстановлены или расширены. Cf. р. 306.

[774] О некоторой такой гарантии можно судить по фрагменту в *lex Agraria* (l. 29) Item Latino peregrinoque, quibus M. Livio L. Calpurnio [cos. in eis agris id facere ... ex lege plebeive sc(ito) exve foedere licuit].

[775] Cic. *Brut.* 36. 136 Sp. Thorius satis valuit in populari genere dicendi, is qui agrum publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit. Ср. *de Orat.* ii. 70. 284. Аппиан, с другой стороны, делает Sp. Thorius автором закона, предшествующего этому (р. 285). Возможно, Цицерон ошибается, но если он прав, то фрагменты аграрного закона, которыми мы располагаем, могут быть фрагментами *lex Thoria*, как его называли ранние редакторы. Иное мнение см. у Моммзена в C.I.L. i. pp. 75 ff.

[776] App. *Bell Civ.* i. 27 [Greek: tous phorous ou poly hysteron dielyse daemarchos heteros].

[777] Последние годы, к которым он относится, - это годы цензоров 115 года и консулов 113, 112 и 111 годов. Урожай и будущий урожай 111 года упоминаются (1. 95), и поэтому его относят к какому-то периоду между 1 января и летом этого года. См. Rudorff *Das Ackergesetz des Sp. Thorius* и ср. Mommsen l.c. Любопытно, однако, что закон, касающийся, в частности, африканских земель, должен был быть принят в первый год активных военных действий с Югуртой. С этой точки зрения более вероятна дата окончания Югуртинской войны, предложенная Кином (*Bundesgenossenkrieg* p. 125), то есть 106 или 105 год до н.э. Но возражение против этой точки зрения состоит в том, что закон не содержит упоминания о цензорах 109 года. См. Mommsen l.c.

[778] *Ager compascuus*. См. Mommsen l.c. и Voigt *Ueber die staatsrechtliche possessio und den ager compascuus der röm. Republik*.

[779] *Пасторы* также часто должны были быть слишком неопределенным органом, чтобы можно было рассматривать их как совместных владельцев.

[780] Трибун Л. Марций Филипп, представляя аграрный закон в 104 г. до н. э., сделал поразительное заявление: "Non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent" (Cic. *de Off.* ii. 21, 73). Если в его словах была хоть минимальная доля правды, то выражение "qui rem haberent" должно означать "состоятельные люди", "люди с комфортным достатком".

[781] Mommsen in C.I.L. l.c.

[782] Кине также считает (*Bundesgenossenkrieg* p. 146), что предоставленное законом право обмена части собственной земли на эквивалентную часть общественного достояния, которая становилась частной собственностью, было зарезервировано исключительно за гражданином.

[783] Cic. *Brut.* 26. 102; *de Orat.* ii. 70. 281; *de Fin.* i. 3. 8.

[784] Vellei. ii. 8; Cic. *in Verr.* iii 80. 184; iv. 10. 22.

[785] [Victor] *de Vir.* III. 72 Consul legem de sumptibus et libertinorum suffragiis tulit.

[786] Liv. xlv, 15.

[787] [Victor] l.c.

[788] Plin. *H.N.* viii. 57. 223.

[789] Cassiodor. *Chron.* L. Metellus et Cn. Domitius censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibicinem cum cantore et ludum talarium. В своей главной форме *ludus talaris*

был игрой на ловкость, а не на случай. Возможно, здесь имеется в виду жонглирование *талями* на сцене, а не игра в домашних условиях.

[790] Liv. *Ep.* lxiii.

[791] *Fast. triumph.*; [Victor] *de Vir. Ill.* 72.

[792] Val. Max. vii. 1. 1.

[793] [Виктор] *de Vir. Ill.* 72.

[794] [Victor] l.c. Ipse primo dubitavit honores peteret an argentariam faceret.

[795] [Victor] l.c. Aedilis juri reddendo magis quam muneri edendo studuit.

[796] Саллюст (*Jug.* 15) дает следующий несколько недоброжелательный очерк о великом сенаторском чемпионе: "Aemilius Scaurus, homo nobilis, inpiger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divitiarum, ceterum vitia sua callide occultans". "Inpiger, factiosus" - свидетельство его ценности для своей партии. Последние слова очерка - признание того, что его репутация могла быть запятнана подозрениями, но никогда - доказательствами.

[797] [Victor] l.c. Consul Ligures et Gantiscos domuit, atque de his triumphavit. Ср. *фаст. triumph.*

[798] [Victor] l.c.

[799] Plut. *Mar.* 3.

[800] В рукописи Velleius ii. 11 возможно правильное чтение *natus equestri loco* (исправленное на *agresti*).

[801] Plut. *Mar.* 3.

[802] Plut. *Mar.* 5.

[803] Ibid. 4.

[804] Его военная репутация среди старых солдат привела к тому, что он легко получил военный трибунат. Sall. *Jug.* 63 Ubi primum tribunatum militare a populo petit, plerisque faciem ejus ignorantibus, facile notus per omnis tribus declaratur. Deinde ab eo magistratu alium post alium sibi peperit.

[805] Plut. *Mar.* 4.

[806] Plut. l.c. [Greek: *nomon tina peri psaephophorias graphontos autou dokounta ton dynaton arphaireisthai taen peri tas kriseis ischyn*]. Возможно, однако, что *kriseis* может означать просто "решения".

[807] Cic. *de Leg.* iii. 17. 38 Pontes ... lex Maria fecit angustos.

[808] Plut. l.c. [греч. *ei me diagraphseie to dogma*].

[809] Plut. l.c. [Greek: *nomou ... eispheromenou peri sitou dianomaes*]. См. с. 284.

[810] Plut. *Mar.* 5. Ср. Cic. *pro Planc.* 21, 51; Val. Max. vi. 9. 14.

[811] Val. Max. vi. 9. 14.

[812] Plut. *Mar.* 5.

[813] [Greek: *dikastai*] (Plut. l.c.). Таким образом, похоже, что в это время существовала особая *quaestio de ambitu*. В противном случае дело, естественно, рассматривалось бы *Comitia*. Мы вряд ли можем думать о специальной комиссии.

[814] Plut. *Mar.* 6 [Greek: *en men oun tae strataegia metrios epainoumenon heauton paresche*].

[815] Plut. l.c.

[816] Plut. l.c.

[817] Vellei. ii. 7 Porcio Marcioque consulibus deducta colonia Narbo Martius. Cf. i. 15.

[818] Это был всего лишь [греч. *phroura Rhomaion*] (Strabo iv. 1. 5). Он был основан в 122 г. до н.э.

[819] Cic. *pro Font.* 5. 13 Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum et objectum.

[820] Этот факт следует из Cic. *pro Cluent.* 51. 140 (Красс) in dissuasione rogationis ejus quae contra coloniam Narbonensem ferebatur, quantum potest, de auctoritate senatus detrahit. *Рогация* против проекта подразумевает нечто большее, чем противодействие законопроекту.

[821] Cic. *Brut.* 43. 160 Exstat in eam legem senior ut ita dicam quam illa aetas ferebat oratio.

[822] Cic. *Brut.* l.c. Cp. *pro Cluent.* 51. 140; *de Orat.* ii. 55. 223; Quintil. *Inst. Or.* vi. 3. 44.

[823] Дата неизвестна, но *lex Servilia repetundarum*, вероятно, был продуктом этого трибуната. Можно определить приблизительную дату этого закона, если считать, что он сразу же заменил *lex Acilia* как закон о вымогательстве и что *lex Acilia* - это *lex repetundarum*, дошедший до нас на бронзовой табличке (см. с. 214); ведь последний закон, должно быть, был отменен к 111 году до н. э., поскольку оборотная сторона таблички, на которой он начертан, используется для *lex agraria* этого года. Сторона, содержащая *lex Acilia*, должна была быть повернута к стене, и этот факт, по-видимому, доказывает замену этого закона более поздним по тому же вопросу. См. Моммзен в C.I.L. i. p. 56.

[824] Peracutus et callidus cum primisque ridiculus (Cic. *Brut.* 62. 224).

[825] Cic. *pro Rab. Post.* 6, 14.

[826] Stercus Curiae (Cic. *de Orat.* iii. 41. 164).

[827] Cic. *Brut.* 62. 224 Is ... equestrem ordinem beneficio legis devinxerat. Cp. *pro Scauro* 1. 2. Но закон Глауции был *lex repetundarum* (Ascon. in *Scaurian.* p. 21; Val. Max. viii. 1. 8; ср. прим. 4 и 5), а не *lex judiciaria*.

[828] Cic. *in Verr.* i. 9. 26.

[829] Cic. *pro Rab. Post.* 4. 8. Предоставление латинянам *civitas* в качестве награды за успешное преследование (Cic. *pro Balbo* 24. 54) не было нововведением Глауция. Оно появляется уже в *lex Acilia*.

[830] Liv. *Ep.* lxiii; Florus i. 39 (iii. 4); Eutrop. iv. 24.

[831] Oros. v. 15.

[832] Plut. *Quaest. Rom.* 83.

[833] Plut. *Quaest. Rom.* 83. В рукописи читается как [греч. *barbarou tinos hippikou therapon*]. Я принял предложение Ихне о *Барру*, которое он подкрепляет ссылкой на Порфирия *ad Hor. Sat.* 1. 6. 30-Hic Barrus vilissimae libidinosaeque admodum vitae fuit, adeo ut Aemiliam virginem Vestae incestasse dictus sit.

[834] Dio Cass. *fr.* 92.

[835] Macrobi. *Sat.* i. 10. 5.

[836] Ascon. *in Milonian.* p. 46. Cp. Cic. *de Nat. Deor.* iii. 30. 74.

[837] Scopulus reorum (Val. Max. iii. 7. 9).

[838] Ascon. l.c.

[839] Val. Max. l.c. Cum id vitare beneficio legis Memmiae liceret, quae eorum, qui rei publicae causa abessent, recipi nomina vetabat.

[840] Val. Max. vi. 8. 1.

[841] Ascon. l.c. Nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus.

[842] Zumpt *Criminalrecht* i. p. 117.

[843] Plut. *Quaest. Rom.*, 83 [Greek: *duo en andras duo de gynaikas en tae boon agorai legomenae tous men Hellaenas, tous de Galatas, zontas katorhyxan*].

[844] Plin. *H.N.* xxx. 1. 12 DCLVII demum anno urbis Cn. Cornelia Lentulo P. Licinio Crasso consulibus (97 г. до н. э.) senatus consultum factum est ne homo immolaretur.

[845] Plut. l.c.

[846] Obsequens 99 (37) (111 г. до н. э.) Maxima pars urbis exusta cum aede Matris Magnae; lacte per triduum pluit, hostiisque expiatum majoribus, Jugurthinum bellum exortum. Решение о начале войны было принято за год до этого.

[847] Boissière *Esquisse d'une histoire de la conquête et de l'administration Romaines dans le Nord de l'Afrique* p. 41.

[848] App. *Lib.* [Greek: *apo Maurousion ton okeanoi mechri taes Kyraenaion archaes es ta mesogeia*].

[849] Boissière l.c.

[850] [Greek: *ton legomenon Megalon Pedion*] (App. *Lib.* 68).

[851] Tissot *Géographie comparée de la province Romaine d'Afrique* ii. p. 5.

[852] Plin. *H.N.* v. 3. 22; v. 4. 25; Ptol. iv. 3. 7.

[853] Tissot op. cit. ii. pp. 1-20.

[854] Ibid. ii. p. 20.

[855] Mercier *La population indigène de L'Afrique* pp. 129, 130; Boissière op. cit. p. 39.

[856] Tissot op. cit. i. pp. 400 и далее. О распространении родного ливийского языка см. Boissière, *L'Afrique Romaine* p. 6.

[857] Tissot op. cit. pp. 403, 404.

[858] Отсюда [греч. *Melanogathoi*] и [греч. *Lenkaithiopes*] Птолемея (iv. 6. 5 и 6.) См. Tissot op. cit. p. 447.

[859] Mercier op. cit. p. 136.

[860] Tissot op. cit. i. pp. 414-17.

[861] Буасьер (op. cit. p. 101) приводит интересное описание кабылов от *Le capitaine Rinn*. В нем встречаются следующие слова: "Война для него (кабыла) - это дело долга, необходимости, чести или мести; она не является ни удовольствием, ни развлечением, ни тем более нормальным состоянием; она не совершается после того, как он отрекся от своего врага, и в бою или после победы он не испытывает неуместной жестокости".

[862] Tissot op. cit. i. pp. 417-18.

[863] Polyb. xxxvii. 3; Diod. xxxii. 17.

[864] Plin. *H.N.* v. 3 22.

[865] Strabo xvii. 3. 13.

[866] Ливий говорит (xxix. 29), что таков был принятый порядок престолонаследия (*ita mos apud Numidas est*). Брат покойного царя, вероятно, считался наиболее способным преемником. Незрелый сын был бы обойден вниманием. Ср. Biereye *Res Numidarum et Maurorum* p. 18.

[867] Liv. *Ep.* 1.; Val. Max. v. 2, ext. 4; Oros. iv. 22.

[868] App. *Lib.* 106.

[869] App. *Hisp.* 67; Sall. *Jug.* 7.

[870] Strabo. xvii. 3. 13; Diod. xxxiv. 35.

[871] Oros. v, 11.

[872] Strabo l.c.

[873] Sall. *Jug.* 65. 1 *Morbis confectus et ob eam causam mente paulum inminuta*. Нам не говорят, что он находился в таком состоянии до смерти Микипса; но, возможно, именно по этой причине царь оставил его лишь "наследником в остатке" (*secundum heredem*) короны. Позднее появляется еще один претендент в лице Массивы, сына Гулуссы (Sall. *Jug.* 35. i), но этот принц, возможно, еще не родился или был младенцем в то время, когда Югурта был признан возможным преемником. Не исключено, что Массива мог быть упомянут как один из дополнительных наследников в завещании Миципсы, хотя Саллюст не сообщает нам об этом факте.

[874] Sall. *Jug.* 6. 1.

[875] Sall. *Jug.* 6. 2.

[876] Ibid. 7. 6.

[877] Sall. *Jug.* 8. 1.

[878] Ibid. 8. 2.

[879] Sall. *Jug.* 9. 1.

[880] Statimque eum adoptavit et testamento pariter cum filiis heredem instituit (Ibid. 9. 3).

[881] Ibid. 10.

[882] Sall. *Jug.* 11.

[883] Ibid. 12. 3. Местонахождение Тирмиды неизвестно.

[884] Саллюст, используя римскую фразеологию, говорит, что он был "proximus lictor Jugurthae" (I с.). Такой ликтор должен был стоять ближе всех к магистрату, получать его непосредственные приказы и, следовательно, быть, предположительно, более доверенным и близким слугой.

[885] Sall. *Jug.* 12.

[886] In duas partis discedunt Numidae; plures Adherbalem secuntur, sed illum alterum bello meliores (Ibid. 13. 1).

[887] Sall. *Jug.* 13. 4.

[888] Ibid. 13. 6.

[889] Там же. 14.

[890] Саллюст (I.с.) заставляет Адгербала сказать: "Micipsa pater meus moriens mihi praesepit, ut regni Numidiae tantum modo procurationem existumarem meam, ceterum jus et imperium ejus penes vos esse". "jus et imperium" не имеют истинного применения к протекторату.

[891] Sall. *Jug.* 15. 1.

[892] Ibid. 15. 2.

[893] Sall. *Jug.* 16. 2.

[894] Ibid. 16. 3.

[895] Sall. *Jug.* 16. 5.

[896] Sall. *Jug.* 20. 4.

[897] Ibid. 20. 7 Itaque non uti antea cum praedatoria manu, sed magno exercitu comparato bellum gerere coepit et aperte totius Numidiae imperium petere.

[898] Ibid. 21. 3.

[899] Саллюст говорит (*Jug.* 21. 2): Haud longe a mari prope Cirtam oppidum utriusque exercitus consedit. Он, очевидно, недооценивает удаленность Цирты от моря.

[900] Ibid. 21. 2 Ni multitudo togatorum fuisset, quae Numidas insequentis moenibus prohibuit, uno die inter duos reges coeptum atque patratum bellum foret.

[901] Мост, описанный Шоу, построенный на одной из естественных арок, соединяющих две стороны русла реки и представляющий собой два ряда наложенных друг на друга аркад, больше не существует. Этот мост соединял юго-восточный угол города с высотами Мансуры. См. Tissot *Géographie comparée* ii. p. 393.

[902] Sall. *Jug.* 21. 3.

[903] Sall. *Jug.* 21. 4 Postquam senatus de bello eorum accepit, tres adulescentes in Africam legantur, qui ambos reges adeant, senatus populi que Romani verbis nuntient velle et censere eos ab armis discedere, de controversiis suis jure potius quam bello disceptare: ita seque illisque dignum esse.

[904] Is rumor clemens erat (Ibid. 22. 1).

[905] Adherbalis adpellandi copia non fuit (Ibid. 22. 5).

[906] Si ab jure gentium sese prohibuerit (Sall. *Jug.* 22.4).

[907] Ibid, 23. 2 Adherbal... intellegit... penuria rerum necessariorum bellum trahi non posse.

[908] Sall. *Jug.* 23. 2.

[909] Ibid. 24.

[910] Sall. *Jug.* 25. 1.

[911] Ibid. 25. 3 Ita bonum publicum, ut in plerisque negotiis solet, privata gratia devictum.

[912] Ibid. 25. 4 Legantur tamen in Africam majores natu nobiles, amplis honoribus usi.

[913] Cujus ... nutu prope terrarum orbis regebatur (Cic. *pro Font.* 7, 24).

[914] Sall. *Jug.* 25. 6 Primo commotus metu atque lubidine divorsus agitabatur. Timebat iram senatus, ni paruisset legatis: porro animus cupidine caecus ad inceptum scelus rapiebatur.

[915] Sall, *Jug.* 25. 10.

[916] Ibid. 25. 11.

[917] Sall. *Jug.* 26. 1 Italici, quorum virtute moenia defensabantur, confisi deditione facta propter magnitudinem populi Romani inviolatos sese fore, Adherbali suadent uti seque et oppidum Jugurthae tradat, tantum ab eo vitam paciscatur: de ceteris senatui curae fore.

[918] Ibid. 26. 3 Jugurtha in primis Adherbalem excruciatum necat.

[919] Саллюст (l.c.) представляет его как автора этой резни; (Jugurtha) omnis puberes Numidas atque negotiatores promiscue, uti quisque armatus obvius fuerat, interficit. Но атрибуция может быть обусловлена краткостью повествования. Предводителю убийственного войска легко приписать те злодеяния, которые оно совершает.

[920] Cic. *Brut.* 36. 136 Tum etiam C. L. Memmii fuerunt oratores mediocres, accusatores acres atque acerbi. Itaque in judicium capitis multos vocaverunt, pro reis non saepe dixerunt. О его язвительном стиле см. Cic. *de Orat.* ii. 59, 240. Возвышенное мнение, которое он, как предполагается, имел о себе, иллюстрируется в Cic. *de Orat.* ii. 66, 267 Velut tu, Crasse, in contione "ita sibi ipsum magnum videri Memmium ut in forum descendens caput ad fornicem Fabianum demitteret".

[921] Он уже был "vir acer et infestus potentiae nobilitatis" (Sall. *Jug.* 27. 2).

[922] Ibid. 27. 1.

[923] Ibid. 27. 2.

[924] Sall. *Jug.* 27. 3 Lege Sempronia provinciae futuris consulibus Numidia atque Italia decretae. Consules declarati P. Scipio Nasica, L. Bestia: Calpurnio Numidia, Scipioni Italia obvenit.

[925] Jugurtha, contra spem nuntio accepto, quippe cui Romae omnia venum ire in animo haeserat (Ibid, 28. 1).

[926] Ibid.

[927] Sall. *Jug.* 28. 2.

[928] In consule nostro multae bonaeque artes animi et corporis erant, quas omnis avaritia praepediebat: patiens laborum, acri ingenio, satis providens, belli haud ignarus, firmissimus contra pericula et insidias (Ibid. 28. 5).

[929] Sall. *Jug.* 28. 4 Calpurnius parato exercitu legal sibi homines nobilis, factiosos, quorum auctoritate quae deliquisset munita fore sperabat.

[930] Sall. *l. c.*

[931] Единственное свидетельство об этой кампании содержится в нескольких словах Саллюста (Ibid, 28. 7) Acriter Numidiam ingressus est multosque mortalis et urbis aliquot pugnando cepit.

[932] Возможно, не в это время, но дата его восстановления неизвестна. Город находится в руках Метелла в последние месяцы его кампании (Sall. *Jug.* 81. 2). Cf. p. 431.

[933] Sall. *Jug.* 19. 7 Mauris omnibus rex Bocchus imperitabat, praeter nomen cetera ignarus populi Romani, itemque nobis neque bello neque pace antea cognitus. О предшественниках этого царя практически ничего не известно. Ливий (xxix. 30) упоминает более раннего Бага из Мавретании, и, возможно, это имя совпадает с именем Бокха или [греч. *Bogos*]. См. Biereye *Res Numidarum et Maurorum*. О более ранней истории Мавритании см. также Göbel *Die Westküste Afrikas im Altertum*. Границами королевства были Атлантика и Мулукча на западе и востоке соответственно (Liv. xxiv. 49, xxi. 22; Sall. *Jug.* 110). Южная граница, естественно, смещалась. Временами мавританские цари правили некоторыми гетульскими племенами, а Страбон (ii. 3.4) считает, что в одно время царство распространялось на племена, родственные аэтиопийцам - предположительно, до Атласского хребта. В другом месте (xvii. 3. 2) он говорит о том, что оно простиралось через Риф до гетульцев. См. Göbel *op. cit.* pp. 79-82.

[934] Ibid. 80. 4 Bocchus initio hujusce belli legatos Romam miserat foedus et amicitiam petitem.

[935] Sall. *Jug.* 29. 2 Scaurus ... tametsi a principio, plerisque ex factione ejus corruptis, acerrume regem inpugnaverat, tamen magnitudine pecuniae a bono honestoque in pravum abstractus est.

[936] Sall. *Jug.* 29. 3.

[937] Ibid. 29. 4 Interea fidei causa mittitur a consule Sextius quaestor in oppidum Jugurthae Vagam.

[938] Вага (Беджа) - граница между Нумидийским царством и римской провинцией, граница, созданная в 172 г. до н. э. в результате вторжения Масиниссы и окончательно закрепленная

в 146 г. до н. э. Город лежал на западе от Вад-Беджа, который впадает в Меджерду, и справа от дороги из Карфагена в Булла Регия. В самом центре Нумидии, между Ампсагой и Фабракой, находилась еще одна Вара. См. Tissot *Géographie comparée* ii. pp. 6, 302; Wilmanns in C.I.L. viii. p. 154.

[939] Long *Decline of the Rom. Republic* i. p. 400.

[940] Sall. *Jug*, 29, 5 Rex ... pauca praesenti consilio locutus de invidia fact! sui atque uti in deditionem acciperetur, reliqua cum Bestia et Scauro secreta transigit.

[941] Ibid. (Rex) quasi per saturam sententiis exquisitis in deditionem accipitur.

[942] Ibid. 29. 6.

[943] Присутствие Бестии в Риме было необходимо, так как его коллега Насика умер во время его пребывания в должности консула (Cic. *Brut.* 34. 128).

[944] Sall. *Jug*. 30. I Postquam res in Africa gestas, quoque modo actae forent fama divulgavit, Romae per omnis locos et conventus de facto consulis agitari. Apud plebem gravis invidia.

[945] Sall. *Jug*. 30. 1 Patres solliciti erant: probarentne tantum flagitium an decretum consulis subverterent parum constabat.

[946] Ibid. 30. 2 Maxime eos potentia Scauri, quod is auctor et socius Bestiae ferebatur, a vero bonoque inpediebat.

[947] Ibid. 30. 3.

[948] Ibid. 31.

[949] В лучших рукописях *ergo annis xv* читается как Sall, *Jug* 31. 2, но xv может быть ошибкой для xx, что является чтением некоторых хороших рукописей. Двадцать лет возвращают нас к 131 году до н. э., примерно к дате падения Тиберия Гракха. 126 год до н. э., который читается как xv, вряд ли можно назвать эпохой упадка свобод народа.

[950] Sociis nostris veluti hostibus, hostibus pro sociis utuntur (Sall. *Jug*. 31. 23).

[951] Metum ab scelere suo ad ignaviam vostram transtulere, quos omnis eadem cupere, eadem odisse, eadem metuere in unum coegit. Sed haec inter bonos amicitia, inter malos factio est (Sall. *Jug*. 31. 14.)

[952] Quo facilius indicio regis Scauri et reliquorum, quos pecuniae captae accersebat (Memmius), delicta patefierent (Ibid. 33. i).

[953] Alii perfugas vendere (Sall, *Jug*, 32.3). Лонг (*Decline of the Rom. Rep.* i. p. 406) считает, что это означает, что они были проданы в рабство. Но эти слова, вероятно, должны быть связаны с условиями маммианской комиссии (Sall. *Jug*. 40.1) "qui elephantos quique perfugas tradidissent". Ихне (*Röm. Gesch.* v. p. 131), по-видимому, считает этих *perfugae* римскими подданными, которых передал Югурта.

[954] Quoniam se populo Romano dedisset, ne vim quam misericordiam ejus experiri mallet (Sall. *Jug*. 32. 5).

[955] Sall. *Jug*, 33.7.

[956] Confirmatus ab omnibus, quorum potentia aut scelere cuncta ea gesserat quae supra diximus (Ibid. 33. 2).

[957] Ibid. 33. 2 (Jugurtha) C. Baebium tribunum plebis magna mercede parat, cujus inpudentia contra jus et injurias omnis munitus foret.

[958] Sall. *Jug.* 33. 3.

[959] Producto Jugurtha (Ibid., 33. 4), т. е. привел его к передней части трибунала или Ростры, если сцена происходила на Форуме.

[960] Regem tacere jubet (Sall. *Jug.* 34.1).

[961] Vicit tamen inpudentia (Ibid.).

[962] Ibid. 34. 2.

[963] Sall. *Jug.* 35. 2. Не исключено, что он мог быть упомянут как один из дополнительных наследников в завещании Миципы. См. с. 323.

[964] Sall. *Jug.* 35. 6.

[965] Ibid. 35. 7 Fit reus magis ex aequo bonoque quam ex jure gentium Bomilcar, comes ejus qui Romam fide publica venerat.

[966] Sall. *Jug.* 35. 9.

[967] Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit! (Ibid. 35. 10).

[968] В Гауде все еще оставался наследник - один из тех, кто был признан в завещании Миципы (р. 323); но он, возможно, не рассматривался как подходящий кандидат.

[969] Sall. *Jug.* 36. 1 Albinus renovato bello commeatum, stipendium, aliaque, quae militibus usui forent, maturat in Africam portare, ac statim ipse profectus, uti ante comitia, quod tempus haud longe aberat, armis aut deditione aut quovis modo bellum conficeret.

[970] Cp. Sall. *Jug.* 36. 1 Armis aut deditione aut quovis modo.

[971] Sall. *Jug.* 36. 3 Ac fuere qui tum Albinum haud ignarum consili regis existumarent, neque ex tanta properantia tam facile tractum bellum socordia magis quam dolo crederent.

[972] Его коллега Квинт Минуций Руф вел войну с варварами Фракии (Liv. *Ep.* lxxv; Vellei. ii. 8; Florus i. 39 (iii. 4); Eutrop. iv. 27).

[973] См. cp. Meinel *Zur Chronologie des Jug. Krieges* p. 11.

[974] Quae dissensio totius anni comitia inpediebat (Sall. *Jug.* 37. 2).

[975] Трибунский год заканчивался 9 декабря, но маловероятно, что консулы 109 года, Метелл и Силан, были избраны между этой датой и 1 января 109 года. Если бы они были избраны, Метеллу достались бы Нумидия и Спб. Альбину не позволили бы туда вернуться.

[976] Sall. *Jug.* 37. 3.

[977] Маловероятно, что Калама (Гельма) Орозия (ст. 15) и Сутул Саллюста идентичны. Те, кто побывал на месте Гельмы, отрицают, что описание Саллюста подходит к этому региону, и считают, что Сутул был местом, расположенным неподалеку. Грелуа (*Ghelma* pp. 263 и далее)

считает, что Сутул можно поместить на месте, где сейчас находится деревня Хеншир Айн Нешма, в часе езды от Гельмы. См. Wilmanns в C.I. L. viii. p. 521.

[978] Sall. *Jug.* 37. 4.

[979] Vineas agere, aggerem jacere, aliaque quae incepto usui forent properare (Sall. *Jug.* 37. 4).

[980] Sall. *Jug.* 38. 9. Возможно, договор давал Югурте конкретную гарантию ненарушенного владения Нумидией.

[981] Oros. v. 15.

[982] Sall. *Jug.* 39. 1.

[983] Саллюст (*Jug.* 39. 2) неправоммерно называет его *консулом*. Единственная должность, которую он занимал сейчас, - проконсул Нумидии.

[984] Senatus ita uti par fuerat decernit, suo atque populi injussu nullum potuisse foedus fieri (Sall. *Jug.* 39. 3).

[985] Sall. *Jug.* 39. 4.

[986] Sall. *Jug.* 40. 1.

[987] Occulte per amicos ac maxime per homines nominis Latini et socios Italicos inpedimenta parabant (Ibid. 40. 2). О последующих отношениях правительства с латинянами и союзниками см. с. 288.

[988] Sed plebes incredibile memoratu est quam intenta fuerit quantaque vi rogationem jussit, magis odio nobilitatis cui mala illa parabantur, quam cura rei publicae: tanta libido in partibus erat (Sall. *Jug.* 40. 3).

[989] Ibid. 40. 4.

[990] [Victor] *de Vir. Ill.* 72; Plut. *Quaest. Rom.* 50.

[991] Sall. *Jug.* 40. 5 Sed quaestio exercita aspere violenterque ex rumore et libidine plebis. Ut saepe nobilitatem, sic ea tempestate plebem ex secundis rebus insolentia ceperat.

[992] Cic. *Brut.* 34. 128 Invidiosa lege Mamilia quaestio C. Galbam sacerdotem et quattuor consulates, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum civemque praestantissimum L. Opimium, Gracchi interfectorem, a populo absolutum, cum is contra populi studium stetisset. Gracchani iudices sustulerunt. Об осуждении Опимия см. *pro Sest.* 67, 140; об осуждении Гальбы - *Brut.* 33. 127. Здесь воздается честь речи Гальбы в его защиту (Extat ejus peroratio, qui epilogus dicitur: qui tanto in honore pueris nobis erat, ut eum etiam edisceremus). О Гальбе сказано (l.c.) Hic, qui in collegio sacerdotum esset, primus post Romam conditam iudicio publico est condemnatus. Возможно, он был членом коллегии понтификов (Long *Decline of the Rom. Rep.* i. p. 415). (Об изгнании Катона в Таррако см. *pro Balbo* 11. 28).

[993] Sall. *Jug.* 43. I; Liv. *Ep.* lxx.

[994] Язык Саллюста (*Jug.* 43. 1) неопределенен, но предполагает использование жребия - Metellus et Silanus consules designati provincias inter se partiverant, Metelloque Numidia evenerat. В более поздние времена встречаются случаи манипуляции с *sortitio*. См. Cic. *ad Fam.* v. 2. 3; *ad Att.* i. 16. 8. Это распределение провинций последовало за договором Аулуса (l.c.), т.е. произошло в начале 109 г., но не в первые месяцы того года, поскольку Спурий

Альбин вернулся в Африку в качестве проконсула (р. 373). Как мы уже видели (с. 369), нет никакой вероятности того, что консулы 109 года были избраны в 110 году. Слова Саллюстия (l.c.) "consules designati" означают просто "назначенные консулы" и не имеют никакого отношения к обычному статусу "назначенных консулов".

[995] Polyb. vi. 56.

[996] Cic. *pro Balbo* 5. 11; *ad Att.* i. 16. 4; Val. Max. ii. 10. 1. Предполагается, что Сицилия могла быть провинцией, которой он управлял как пропретор и из которой он вернулся, когда подвергся этому испытанию. См. Drumann *Gesch. Roms.* ii. p. 31.

[997] Acri viro et, quamquam advorso populi partium, fama tamen aequabili et inviolata (Sall. *Jug.* 43. 1).

[998] Ibid. 43. 4.

[999] Sall. *Jug.* 44. Cp. Val. Max. ii. 7. 2; Frontin. *Strat.* iv. 1. 2.

[1000] Sed in ea difficultate Metellum non minus quam in rebus hostilibus magnum et sapientem virum fuisse conperior: tanta temperantia inter ambitionem saevitiamque moderatum..... Ita prohibendo a delictis magis quam vindicando exercitum brevi confirmavit (Sall. *Jug.* 45).

[1001] Sall. *Jug.* 46. 1.

[1002] Jugurtha ... diffidere suis rebus ac tum demum veram deditionem facere conatus est (Ibid.).

[1003] Sall. *Jug.* 46. 2.

[1004] Sed Metello jam antea experimentis cognitum erat genus Numidarum infidum, ingenio mobili, novarum rerum avidum esse (Ibid. 46. 3).

[1005] Sall. *Jug.* 46. 5.

[1006] Sall. *Кувшин.* 47. 1 Oppidum Numidarum nomine Vaga, forum rerum venalium totius regni maxime celebratum, ubi et incolere et mercari consueverant Italici generis multi mortales. Саллюст не говорит, что итальянские купцы все еще находились в городе. Их присутствие в нумидийских городах после резни в Цирте можно поставить под сомнение, хотя тот факт, что город находился так близко от провинции, мог унять страх некоторых торговцев.

[1007] Sall. *Jug.* 47. 4.

[1008] Ibid. 48. 1 Coactus rerum necessitudine statuit armis certare.

[1009] Tissot *Géographie comparée* 1. pp. 67-68. Я последовал за Тиссотом в его отождествлении Мутула с Вэд-Меллагом. Согласно этой точке зрения, усилия Метелла в это время были сосредоточены на юго-востоке Нумидии. Он намеревался обезопасить свои коммуникации, прежде чем двигаться дальше, на юг или на запад. Более старая точка зрения, которая отождествляет Мутул с Убусом (Маннерт и Форбигер), представляет Метелла как начинающего свою кампанию в направлении Гиппо Регия - западная Нумидия, таким образом, была его целью, а последующая кампания у Замы указывала на изменение плана. Эта точка зрения не является невозможной; но есть и другие признаки, которые свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что Мутул - это Вэд Меллаг. Одним из них является то, что Сикка в ее окрестностях после битвы перешла на сторону римлян (Sall. *Jug.* 56. 3). Другой - предполагаемое соответствие этого региона топографическому описанию, данному Саллюстом. Тиссот считал, что каждый шаг в великой битве можно проследить на местности.

"Трактуемый участок" - это Джебель Хемер мта Уарга, параллельный течению Вэд Меллаг и простирающийся от Джебель Сара до Вэд Зуатин. Холм, выходящий этой цепью перпендикулярно реке, - это Кудиат Абд Аллах, который отделяется от центрального блока Джебель Хемер и направление которого перпендикулярно как горе, так и Вэд Меллаг. Равнина, безводная и пустынная под углом, образованным холмом и горой, но заселенная и возделанная в окрестностях Мутула, - это Феид-эс-Смар, орошаемый в своей нижней части двумя ручьями, впадающими в Вэд-Меллаг. Однако расстояние, отделяющее Джебель-Хемер от левого берега Вэд-Меллаг, составляет не двадцать (число, указанное в СМС Саллюста), а около семи миль. С. Рейнах в своем издании "Тиссо" не воспроизвел собственный набросок автора о битве при Мутхуле, но карту этого района можно найти в Атласе, прилагаемом к работе (карта xviii., Medjerda supérieure). Эта карта лежит в основе приведенной мною карты.

[1010] См. примечание 1. Следует согласиться с Тиссо, что "ferme milia passuum viginti" Саллюста (*Jug.* 48. 3) не может быть принята. Такое расстояние невозможно со стратегической точки зрения, так как Метелл никогда не смог бы отправить свой авангард на такое расстояние вперед, когда он сам был занят противником. Оно также не согласуется с рассказом о битве, детали которой явно свидетельствуют о том, что она происходила на гораздо меньшей территории. Фактическое расстояние между предполагаемыми местами составляет около семи римских миль (прим. 1. См. Tissot op. cit. i. p. 71).

[1011] Sall. *Jug.* 48.

[1012] Это следует из повествования в *Ibid.* 52. 5. Даже когда Югурта продвинулся на некоторое расстояние к реке, Бомилькар фактически не соприкасался с царскими войсками.

[1013] Sall. *Jug.* 49. 4.

[1014] Sall. *Jug.* 49. 4.

[1015] *Ibid.* 49. 6 *Ibi conmutatis ordinibus in dextero latere, quod proximum hostis erat, triplicibus subsidies aciem instruxit.*

[1016] Sall. *Jug.* 49. 6 *Sicuti instruxerat, transvorsis principiis in planum deducit.* Слово "transvorsis" здесь, вероятно, относится к направлению, в котором передняя шеренга стояла лицом к противнику, , и положение можно описать по-другому, сказав, что Метелл маршировал со своей передней шеренгой боком к Югурту. См. Summers in loc.

[1017] *Ibid.* 50. 2.

[1018] *Ibid.* 50. 1.

[1019] Sall. *Jug.* 52. 5.

[1020] *Ibid.* 50. 2.

[1021] Sall. *Jug.* 51. 3.

[1022] Sall. *Кувшин.* 52.5.

[1023] *Aciem quam diffidens virtuti militum arte statuerat, quo hostium itineri officeret, latius porrigit eoque modo ad Rutili castra procedit* (*Ibid.* 52. 6).

[1024] Sall. *Jug.* 53. 3.

[1025] Ibid. 53. 5 Instructi intentique obviam procedunt. Nam dolus Numidarum nihil languidi neque remissi patiebatur.

[1026] Pro victoria satis jam pugnatum, reliquos labores pro praeda fore (Sall. *Jug.* 54. 1).

[1027] Interim Romae gaudium ingens ortum cognitis Metelli rebus, ut seque et exercitum more majorum gereret, in advorso loco victor tamen virtute fuisset, hostium agro potiretur, Jugurtham magnificum ex Albinis socordia spem salutis in solitudine aut fuga coegisset habere (Ibid. 55. 1).

[1028] Sall. *Jug.* 54. 1.

[1029] Ibid. 54. 3.

[1030] Metellus, ubi videt ... minore detrimento illos vinci quam suos vincere, statuit non proeliis neque in acie, sed alio more bellum gerundum (Ibid. 54. 5).

[1031] Sall. *Jug.* 54. 6.

[1032] Sall. *Кувшин.* 55. 5.

[1033] Сикка - это современный Эль-Кеф, но его жители до сих пор называют его старым именем Сикка-Венерия (Шак-Бенар), Название *Венерия* произошло от храма пунической Афродиты (ср. Val. Max. ii. 6. 15). О его стратегическом значении Тиссот говорит: "Эль-Кеф до сих пор считается самым сильным местом в Тунисе. Город доминирует над большими равнинами Эс-Серс, Занфур, Лорбеус и Вэд-Меллаг, в то же время он занимает одну из главных коммуникаций, ведущих из Туниса в Алжир". См. Wilmanns в C.I.L. viii. p. 197; Tissot *Géogr. comp.* ii. p. 378. Зама Регия теперь отождествляется не с местом, называемым Лехс, Эль-Лехс или Элиес (Wilmanns op. cit. p. 210), а с Джамой. См. Tissot op. cit. ii. pp. 571, 577-79; Mommsen в *Hermes* xx. pp. 144-56; Schmidt в *Rhein. Mus.* 1889 (N. F. 44) pp. 397 foll.

[1034] Sall. *Jug.* 56. 3.

[1035] Ibid. 56. 2.

[1036] Id oppidum in campo situm magis opere quam natura munitum erat (Ibid. 57. 1).

[1037] Contra ea oppidani in proximos saxa volvere, sudes, pila, praeterea picem sulphure et taeda mixtam ardentia mittere (Sall. *Jug.* 57. 5). Если *ardentia* - это правильно, то *sudes* и *pila* также должны были быть крыльями с огнем. Я интерпретировал этот отрывок так, как если бы *ardenti* (предложенное Херцогом) было истинным чтением. Саммерс предлагает "picem sulphure mixtam et tela ardentia".

[1038] Ibid. 58. 1.

[1039] Sall. *Jug.* 59. 1.

[1040] Ibid. 59. 3.

[1041] Sall. *Jug.* 60. 4.

[1042] Ibid. 61. 1.

[1043] Sall. *Jug.* 61. 4.

[1044] Sall. *Jug.* 62. 1.

[1045] Mittuntur ad imperatorem legati, qui Jugurtham imperata facturum dice rent (Ibid. 62. 3). Слово *imperata* подразумевает предшествующие переговоры.

[1046] Metellus proper cantos senatorial ordinis ex Hibernia accurse jubet; eorum et variorum, quos ironers defeat, console habet (Ibid. 62. 4).

[1047] Ihne *Röm. Gesch.* v. p. 146.

[1048] Sall. *Jug.* 62. 5. Орозий (v. 15. 7) добавляет, что Югурта обещал кукурузу и другие припасы.

[1049] Oros. l.c.

[1050] Sall. *Jug.* 62. 7.

[1051] Oros. l.c.

[1052] App. *Num.* 3.

[1053] Его местоположение неизвестно.

[1054] Romae senatus de provinciis consults Numidiam Metello decelerare (Sall. *Jug.* 62. 10). Возможно, что сенат просто воздержался от превращения Нумидии в консульскую провинцию. См. Summers in loc. и cf. p. 222.

[1055] Etiam tum alios magistratus plebs, consulate nobilities inter se per manus trade bat. Novas memo tam claries neque tam egregious facts erat, quin is indigenous illo honore et quasi pollutes aerator (Ibid. 63. 6).

[1056] Ibid. 63. 1.

[1057] Sall. *Jug.* 64. 4.

[1058] Milites quibus in Hibernia preheat lax ore imperio quam antea habere (Ibid. 64. 5).

[1059] Sall. *Jug.* 64. 5.

[1060] Ibid. 65. 1 Erat praeterea in exercitu nostro Unmade quidam nomine Gauda, Mastanabalis filius, Masinissae nepos, quem Micipsa testamento secundum heredem scripserat, morbis confectus et ob eam causam mente paulum inminuta.

[1061] Turmam equitum Romanorum (Ibid. 65. 2). Таким образом, оказывается, что *equites equo publico*, хотя и редко (если вообще когда-либо) использовались в качестве кавалерии в это время, все еще составляли эскорт генералов или принцев.

[1062] Equites Romanos, milites et negotiatores (Sall. *Jug.* 65. 4).

[1063] Sall. *Jug.* 66. 3.

[1064] Ibid. 67.

[1065] Sall. *Jug.* 67. 3 Turpilius praefectus unus ex omnibus Italicis intactus profugit. Id misericordiane hospitis an pactione an casu ita evenerit, parum comperimus: nisi, quia illi in tanto malo turpis vita integra fama potior fuit, inprobis intestabilisque videtur.

[1066] Ibid. 68. 1.

[1067] Ibid. 68. 4 Equites in primo late, pedites quam artissime ire et signa occultare jubet.

[1068] Plut. *Mar.* 8 *outos gar ho anaer aen men ek poteron xenos toi Metello kai tote taen epi ton tektonon echon archaen synestrategieue.*

[1069] Plut. l.c.

[1070] Plut. l.c.

[1071] Sall. *Jug.* 69. 4 *Turpilius ... condemnatus verberatusque capite poenas solvit: nam is civis e Latio erat.* Если последние слова означают, что Турпилий был латинянином, они могут показать, что закон Друза (р. 242), если он был принят, больше не соблюдался. Если же они означают, что он был римским гражданином из латинского города, то они иллюстрируют этот закон. Аппиан (*Num.* 3) говорит, что Турпилий был римлянином ([Greek: *andra Rhomaion*]).

[1072] Sall. *Jug.* 70.

[1073] *Proinde reputaret cum animo suo, praemia an cruciatum mallet* (Sall. *Jug.* 70. 6).

[1074] Sall. *Jug.* 72.

[1075] *Ibid.* 73.

[1076] Мейнел (*Zur Chronologie des Jugurth. Kriegen p. 13*) считает, что консульские выборы 108 г. не состоялись до зимы, и что они могли даже перенестись на следующий год.

[1077] Plut, *Mar.* 8.

[1078] Plut. l.c. Возможно, что эта история и история Саллюстия (*Jug.* 63, см. с. 410) о жертвоприношении в Утике относятся к одному и тому же инциденту. Но это маловероятно. Такой человек, как Марий, часто приближался к любимому святилищу.

[1079] Liv. *Ep.* lxxv.

[1080] [Victor] *de Vir. Ill.* 72; Ammian. xxvii. 3. 9.

[1081] The *via Aemilia* ([Victor] l.c.; Strabo v. 1. 11).

[1082] Plut. *Quaest. Rom.* 50.

[1083] Plut. *Mar.* 8.

[1084] Sall. *Jug.* 73. 6 *Denique plebes sic accensa, uti opifices agrestesque omnes, quorum res fidesque in manibus sitae erant, relictis operibus frequentarent Marium et sua necessaria post illius honorem ducerent.* Труды, из которых были извлечены *agrestes*, могли быть трудами ранней весны, если выборы были отложены до начала 107 г. до н. э. (См. р. 420, Meinel l.c.).

[1085] *Ibid.* 73. 7 *Sed paulo ante senatus Metello Numidiam decreverat: ea res frustra fuit.* Слова, выделенные курсивом, не приводятся в хороших рукописях; возможно, они являются интерполяцией, взятой из гл. 62. См. Summers in loc. Возможно, здесь содержится упоминание о провинциях, которые сенат отдал новым консулам. Моммзен (*Hist. of Rome* bk. iv. с. 4) считает, что этот отрывок мог содержать заявление о том, что сенат предназначил Галлию и Италию для консулов.

[1086] Sall. *Fug.* 85.

[1087] *Ibid.* 85. 12 *Atque ego scio, Quirites, qui, postquam consules facti sunt, et acta majorum et Graecorum militaria praecepta legere coeperint-praeposter homines: nam gerere quam fieri tempore posterius, re atque usu prius est.*

[1088] Ibid. 84. 2.

[1089] Polyb. vi. 19.2.

[1090] Согласно Геллию (xvi. 10, 10) 375 ослов: -Qui ... nullo aut perquam parvo aere censebantur, "capite censi" vocabantur, extremus autem census capite censorum aeris fuit trecentis septuaginta quinque. Но это снижение по сравнению с полибийской переписью кажется невероятно быстрым. Возможно, цифра должна быть 3 750 - одна из тех, что приводит Полибий. Cf. p. 61.

[1091] Cp. Liv. x. 21 (цитируется по Ihne *Röm. Gesch.* v. p. 154) Senatus ... delectum omnis generis hominum haberi iussit. См. также Gell. l.c. 13. Polybius vi. 19. 3, согласно чтению Казобона (p. 135), не может быть приведен в качестве иллюстрации к этому пункту.

[1092] Sall. *Jug.* 86 2 Ipse interea milites scribere, non more majorum neque ex classibus, sed uti cujusque lubido erat, capite censos plerosque. Val. Max. ii. 3. 1 Fastidiosum dilectus genus in exercitibus Romanis oblitterandum duxit. Cp. Florus i. 36 (iii. 1). 13. Сохранившаяся у Плутарха (*Mar.* 9) традиция о том, что Марий зачислял и рабов ([Greek: polyn ton aporon kai doulon katagraphon]), очевидно, является отголоском времен гражданских войн. Возможно, Плутарх имеет в виду людей подневольного происхождения, и, хотя отмечается, что вольноотпущенников не нанимали даже на эпизодическую службу до 90 г. до н. э. (App. *Bell. Civ.* i. 49), все же возможно, что поспешный сбор Мария мог привлечь некоторых людей такого положения. Но после, как и до Мария, свободное происхождение (*ingenuitas*) оставалось необходимым условием для службы в легионах.

[1093] Sall. *Jug.* 86. 3.

[1094] Sall. *Jug.* 86. 3.

[1095] Sall. *Jug.* 74. 1.

[1096] Ibid. 74. 2.

[1097] Ibid. 75. 1. В Нумидии есть два тала. Считается, что тот, о котором идет речь, лежит к востоку от Капсы (Хафсы), а не возле Аммаэдары (последний, вероятно, является Талой из Тас. *Ann.* iii. 21). Его идентификация была проведена благодаря Пелиссье, который посетил это место. Он имеет одну из характеристик, упомянутых Саллюстом, поскольку существующие руины расположены в местности, лишенной воды, за исключением одного соседнего фонтана. Река, из которой римляне брали воду и наполняли свои сосуды, возможно, та самая, которая сейчас называется Вед Лебем или Лебен - единственная в этой части Туниса, которая не пересыхает даже летом. Руины невелики и не впечатляют, но эта особенность согласуется с утверждением Страбона (xvii. 3. 12), что Тала была одним из городов, уничтоженных непрерывными войнами в Африке. Поэтому он не был восстановлен римлянами. Возникли сомнения, является ли название Тала доказательством идентичности места с тем, которое описал Саллюст, поскольку Пелиссье говорит (*Rev. Arch.* 1847, p. 399), что место окружено рощей деревьев, известных как *мимоза гуммифера* и называемых арабами *тала*. Возможно, руины получили свое название от этих деревьев. См. Wilmanns в C.I.L. viii. p. 28 и cp. Tissot *Géogr. comp.* ii. p. 635.

[1098] Sall. *Jug.* 75. 9.

[1099] Sall. *Кувшин.* 76. 3 Deinde locis ex copia maxume idoneis vineas agere, aggerem jacere et super aggerem inpositis turribus opus et administros tutari.

[1102] Название встречается на монетах пуническими буквами как L B Q I (*Movers Die Phönizer* II 2. p. 486; Müller *Numismatique de l'Afrique* II p. 10). Греческие писатели также называют его Неаполисом, вероятно, потому, что он находился недалеко от более древнего города в устье Синьипа (Вэд Мгар-эль-Грин), хотя другие считают, что это название обозначало определенный квартал города. Три города Сиртиса - Сабрата, Оэа и Лептис - назывались Триполис, но, похоже, не были связаны друг с другом политически. Лептис был стипендиатом Карфагена (Liv. xxxiv. 62) и впоследствии был занят Масиниссой (Liv. l.c.; ср. App. *Lib.* 106). Но оккупация не была постоянной или эффективной. Саллюст отмечает (*Jug.* 78), что его положение позволило ему избежать нумидийского влияния.

[1101] Sall. *Jug.* 77. 3.

[1102] Ibid. 80. 1.

[1103] Forbiger *Handb. der alt. Geogr.* ii. p. 885.

[1104] Sall. *Jug.* 80. 2.

[1105] Ibid. 80. 1.

[1106] Ibid. 80. 6 Ea necessitudo apud Numidas Maurosque levis ducitur, quia singuli pro opibus quisque quam plurimas uxores, denas alii, alii pluris habent, sed reges eo amplius. Ita animus multitudine distrahitur: nulla pro socia optinet, pariter omnes viles sunt.

[1107] Sall. *Jug.* 81. 1.

[1108] Ibid. 82. 1.

[1109] Cf. p. 349.

[1110] Sall. *Jug.* 81. 2.

[1111] Ibid. 82. 1.

[1112] Там же. 82. 2.

[1113] Sall. *Jug.* 83. 1.

[1114] Салл, *Кувшин.* 86. 5.

[1115] Ibid. 88. 1.

[1116] Vellei. ii. Il Metelli ... et triumphus fuit clarissimus et meritum ex virtute ei cognomen Numidici inditum. Ср. Eutrop. iv. 27.

[1117] Sall. *Jug.* 88. 5.

[1118] Sall. *Jug.* 88. 3.

[1119] Саллюст использует исторический инфинитив (Ibid, 89. 1 Consul, uti statuerat, oppida castellaque munita adire, partim vi, alia metu aut praemia ostentando avortere ab hostibus), но сокращение некоторых из этих мест, возможно, можно предположить.

[1120] Cf. p. 426.

[1121] Капса (Кафса или Гафса), возможно, когда-то подчинялась Карфагену и была присоединена к царству Масиниссы после Ганнибаловой войны. Страбон (xvii. 3. 12)

упоминает его среди разрушенных городов Африки, но позже он возродился, получил латинскую форму конституции при Адриане и в конце концов стал местом расположения епископства. См. Wilmanns в С. I. L. viii. p. 22. Его торговое значение было очень велико. Как говорит Тиссо (*Géogr. comp.* ii. p. 664), он находился на пороге пустыни, во главе трех великих долин, которые ведут: одна - на дно залива Кабеса, другая - в Тебессу, третья - в центр регентства Тунис. Он описывает его как одни из ворот Сахары и один из ключей Телля, необходимый транзитный пункт для караванов Судана и передовой пост высокогорного плато против набегов кочевников. Страбон (I.c.) описывает Капсу как сокровищницу Югурты, но возникает вопрос, не является ли это описание следствием путаницы с Талой (Wilmanns I.c.).

[1122] Sall. *Jug.* 89. 6.

[1123] Ibid. 89. 5 Nam, praeter oppido propinqua, alia omnia vasta, inculta, egentia aquae, infesta serpentibus, quarum vis sicuti omnium ferarum inopia cibi acrior. Ad hoc natura serpentium, ipsa perniciose, siti magis quam alia re accenditur. Тиссо говорит (op. cit. ii. p. 669), что пустыни, окружающие оазис, представляют собой настоящий "пояс песков и змей" (cp. Florus iii. 1. 14 Anguibus harenisque vallatam).

[1124] Sal. *Jug.* 90. 1.

[1125] Аулус Манлий был послан с легкими когортами для охраны складов в Ларесе (Ibid. 90. 2). Следовательно, эти запасы не были исчерпаны.

[1126] Тану часто отождествляют с Вэд-Тиной, но при таком отождествлении Марий должен был бы идти вдоль побережья по Тене, чего он почти наверняка не делал. Тиссо считает (*Géogr. comp.* i. p. 85), что Тана - это всего лишь общее ливийское название водотока. Он считает, что речь идет о реке Вэд-эд-Дерб (Ibid. p. 86).

[1127] Этот *locus tumulosus* (Sall. *Jug.* 91. 3) Тиссот (op. cit. ii. p. 669) отождествляет с отрогом Джебель Бени-Юнес, который возвышается над Кафсой на северо-востоке на расстоянии, указанном Саллюстом.

[1128] Ibid. 91. 7.

[1129] Sall. *Jug.* 92. 3.

[1130] Саллюст опускает все упоминания об этих зимних кварталах. Такое упущение доказывает не то, что он плохой военный историк, а лишь то, что он никогда не хотел, чтобы его очерк был военной историей. Но, возможно, он слишком полностью освободился от анналистических методов большинства римских историков.

[1131] Sall. *Jug.* 92. 2.

[1132] Wād Muluja. У Саллюста он называется Мулукча, у Страбона - *Молохам* (xvii. 3, 9). Другие названия, данные ему древними властями, - Мальване, [греч. *Maloua*], Мальва. См. Göbel *Die Westküste Afrikas im Altertum* pp. 79, 80.

[1133] Бокх, однако, претендовал на территорию, в пределах которой действовал Марий (Sall. *Jug.* 102).

[1134] Ibid. 92. 5.

[1135] Ibid. 93.

[1136] Sall. *Jug.* 94. 3.

[1137] Sall. *Кувшин.* 95. 1.

[1138] Салл, *Кувшин.* 95. 1 L. Sulla quaestor cum magno equitatu in castra venit, quos uti ex Latio et a sociis cogeret Romae relictus erat.

[1139] Cic. *in Verr.* iii. 58. 134.

[1140] Cp. Cic. *ad Att.* vi. 6. 3 и 4.

[1141] Val. Max. vi. 9. 6 C. Marius consul moleste tulisse traditur quod sibi asperrimum in Africa bellum gerenti tam delicatus quaestor sorte obvenisset.

[1142] Plut. *Sulla* 2.

[1143] Val. Max. l.c.; Plut. *Sulla* 2.

[1144] Litteris Graecis atque Latinis juxta, atque doctissime, eruditus (Sall. *Jug.* 95. 3).

[1145] Plut. l.c.

[1146] Plut. l.c.

[1147] Он родился в 138 г. до н. э. На момент смерти в 78 г. до н. э. ему шел шестидесятый год (Val. Max. ix. 3. 8). Cp. Vellei. ii. 17 и см. Lau *Lucius Cornelius Sulla* p. 25.

[1148] Sall. *Jug.* 96.

[1149] Sall. *Jug.* 97. 2.

[1150] Позднее Саллюст утверждает, что Цирта была его первоначальной целью (Ibid. 102. 1 Pervenit in oppidum Cirtam, quo initio profectus intenderat); но планы Мария могли быть изменены вмешавшимися событиями.

[1151] Vix decuma parte die reliqua (Ibid. 97. 3).

[1152] Sall, *Jug.* 98. 1.

[1153] Ibid. 97. 5 Denique Romani ... orbis facere, atque ita ab omnibus partibus simul tecti et instructi hostium vim sustentabant.

[1154] Ibid. 98. 3.

[1155] Sall. *Jug.* 99. 1.

[1156] Pariter atque in conspectu hostium quadrato agmine incedere (Ibid. 100. 1). О характере и развитии этого тактического построения у римлян см. Marquardt *Staatsverw.* ii. p. 423.

[1157] Sall. *Jug.* 101. 2.

[1158] Возможно, Югурта намеренно дал знать о своем приближении, чтобы римляне могли выстроиться в свой обычный боевой порядок.

[1159] Эта сила не упоминается Саллюстом (Sall. *Jug.* 101. 5), но она, кажется, подразумевается в соединении Бокха с Волуксом.

[1160] Quod ubi milites accipere, magis atrocitate rei quam fide nuntii terrentur (Ibid. 101. 7).

[1161] Sall. *Jug.* 101. 9.

[1162] Oros. v. 15. 9 foll. Этот рассказ Орозия не соответствует ничему в Саллюсте и явно заимствован из других источников. Попытка римлян взять штурмом Цирту (раздел 10) должна быть ошибкой, если только она не относится к какой-то более ранней и незарегистрированной операции войны. Некоторые детали раздела 14 имеют теневое сходство с моментами первой из недавних битв, описанных Саллюстием; но есть и другие детали, которые делают идентификацию невозможной.

[1163] *Hastilia telorum, quae manu intorquere sine ammentis solent* (Oros. v. 15. 16).

[1164] Согласно Саллюсту (*Jug.* 102. 2.); но бой, который он описывает, возможно, не был финальной битвой. См. с. 452.

[1165] *Ibid.* 102. 2.

[1166] Sall. *Jug.* 102. 5.

[1167] *Ibid.* 102. 12.

[1168] Cp. Sall. *Jug.* 80. 4. См. с. 349.

[1169] Sall. *Jug.* 102. 15.

[1170] Штаб-квартира, несомненно, находилась в Цирте, куда, как мы видим, вернулся Марий (*Ibid.* 104. 1); но вскоре после этого мы видим, что Сулла и посланники прибыли в Цирту из места, которое, согласно одному из вариантов, называется Тукка (см. с. 457). Вероятно, все войска не были сосредоточены в Цирте, поскольку Марий намеревался разместить их в прибрежных городах (*Ibid.* 100. 1).

[1171] *Ibid.* 103. 2.

[1172] Sall. *Jug.* 104. 3.

[1173] *Ibid.* 103. 7.

[1174] Сулла и посланники находились в месте, которое, согласно вариантам прочтения, является либо Туккой, либо Утикой (*Ibid.* 104. 1 *Illosque et Sullam [ab Tucca или Utica] venire jubet, item L. Bellienum praetorem Utica*). Утика становится неправдоподобной из-за ее упоминания несколькими словами позже, хотя возможно, что название этого города было продублировано в предложении. Если мы оставим Тукку, то это не может быть Тугга (Дугга) в Нумидии, которая находится на некотором расстоянии от побережья. Возможно, это город, который Плиний (*Hist. Nat.* v. 2. 21) называет "*oppidum Tucca inpositum mari et flumini Ampsagae*".

[1175] Возможно, что это перемирие включало и Югурту, хотя Саллюст об этом не говорит (Sall. *Jug.* 104. 2).

[1176] *Ibid.* 104. 5.

[1177] Sall. *Jug.* 105. 1.

[1178] *Ibid.* 106. 2.

[1179] Sall. *Jug.* 107, 1.

[1180] Sall. *Jug.* 107. 6. Cp. Plut. *Sulla* 3.

[1181] Ibid. 108.

[1182] По-видимому, именно это имел в виду Саллюст (Ibid. 108. 1), когда описывал Дабара как Massugrae filius, ex gente Masinissae, ceterum materno genere inpar (nam pater ejus ex concubina ortus erat).

[1183] Sall. *Jug.* 108. 3 Sed ego conperior Bocchum magis Punica fide quam ob ea, quae praedicabat, simul Romanos et Numidam spe pacis attinuisse, multumque cum animo suo volvere solitum, Jugurtham Romanis an illi Sullam traderet; lubidinem adversum nos, metum pro nobis suasisse.

[1184] Ibid. 109, 2 Dicit se missum a consule. Марий действительно был проконсулом.

[1185] Ibid. 110.

[1186] Sall. *Jug.* 111.

[1187] Sall. *Кувшин.* 111. 2

[1188] Ibid. 112. 1.

[1189] Haec Maurus secum ipse diu volvens tandem promisit, ceterum dolo an vere cunctatus parum comperimus (Ibid. 113. 1).

[1190] Должно быть, таково было соглашение, хотя Саллюст говорит только об Eodem Numida cum plerisque necessariis inermis, uti dictum erat, adcedit (Sall. *Jug.* 113. 6).

[1191] Ibid. 114. 3.

[1192] Гауда назван королем в надписи, в которой приводится весь дом Джубы II. Надпись (C.I.L. II. n. 3417) гласит: -Regi Jubae reg(is) Jubae filio regi(s) Iempsalis n. regis Gau(dae) pronepoti regis Masiniss(ae) pronepotis nepoti Ilvir quinq. patrono coloni (колони, которые установили надпись, сделав Джубу II Ilvir quinquennalis honoris causa). Единственное сомнение, которое влияет на веру в преемственность Гауды, возникает из-за отрывка в Cic. *post Red. ad Quir.* 8. 20. Здесь Цицерон говорит (Мариусу): "cum parva navicula pervectus in Africam, quibus regna ipse dederat, ad eos inops supplexque venisset". Не может быть сомнений в том, что Марий бежал в Гиемпсал, а не в Гауду. Но было отмечено, что Цицерон выражается "ad eos", а не "ad eum". Множественное число, вероятно, относится ко всему "домусу" монарха и включает как Гауду, так и Гиемпсал. См. Biereye *Res Numidarum et Maurorum* p. 7.

[1193] Мавритания впоследствии включает область Caesariensis, но считается вероятным, что территория Ситифиса на востоке не была добавлена до нового поселения в 46 г. до н. э. (Mommsen *Hist. of Rome* bk. iv. c. 4). Таким образом, территория между Мулукчей и Салдой могла быть присоединена после окончания войны с Югуртой. См. Müller *Numismatique de l'Afrique*. p. 4; Mommsen l.c.; Göbel *Die Westküste Afrikas im Altertum* p. 93; Biereye op. cit. p. 6. Очень сомнительно, что пределы римской провинции были каким-либо образом расширены за счет Нумидии. Такие добавления, как Вага и Сикка, вероятно, относятся к урегулированию 46 г. до н. э. См. Tissot *Géogr. comp.* ii. pp. 21 foll. Иногда считается, что присоединение Лептис Магна к Риму (с. 429) было постоянным (Wilmanns in C.I.L. viii. p. 2) и что Триполис стал частью римской провинции (Marquardt *Staatsverw.* i. p. 465), но Тиссо (op. cit. ii. p. 22) считает, что Лептис оставался свободным городом.

[1194] Sall. *Jug.* 114. 3; Liv. *Ep.* lxvii; C.I.L. i. n. xxxiii p. 290 Eum (Jugurtham) cepit et triumphans in secundo consulatu ante currum suum duci jussit ... veste triumphali calceis patriciis [*? in senatum venit*]. Однако сомнительно, чтобы последние слова этой арретинской надписи (слова, которые не следуют сразу за рассказом о нумидийском триумфе) можно было связать с историей, рассказанной Плутархом (*Mar.* 12), о том, что Марий по забывчивости или неуклюжести вошел в сенат в своем триумфальном одеянии. По-видимому, они относятся к каким-то особым почестям, оказанным после разгрома германских племен. Не исключено, что именно оказание этих почестей послужило поводом для злонамеренной истории, которая стала не только искаженной, но и неверной.

[1195] Plut. *Mar.* 12.

[1196] Ihne *Röm. Gesch.* v. p. 164 Wo dem Sohn des Südens der Schmerzenschrei entfuhr.

[1197] Plut. *Mar.* 12. Эпитоматор Ливия (lxvii.) говорит in carcere necatus est. Слово *necatus* вполне соответствует смерти, подобной той, что описана Плутархом. См. Festus, pp. 162, 178.

[1198] Plut. l.c.

[1199] Plut. *Mar.* 10.

[1200] Plut. *Sulla* 4.

[1201] Plut. *Mar.* 10; *Sulla* 3.

[1202] Plut. *Sulla* 6.

[1203] Древние писатели выводят название от *serere* и связывают его с историей о семье Регулов (Plin. *Hist. Nat.* xviii. 3, 20; Verg. *Aen.* vi. 844; Val. Max. iv. 4. 5). Но на монетах это имя встречается как "Саранус" (Eckhel v. p. 146). Однако, по-видимому, верно, что это имя носил или применял К. Атилий Регул, консул 257 г. до н. э. См. Klebs в Pauly-Wissowa R. E. p. 2095.

[1204] Cic. *pro Planc.* 5. 12.

[1205] В движении, связанном с процессом Сатурнина в 100 г. до н. э. (Cic. *pro Rab.* 7. 21).

[1206] Eutrop. iv. 27; Val. Max. vi. 9. 13; *Fast. triumph.*

[1207] Тем не менее, не известно ни одного недавнего случая *repetundarum*. Последним, по-видимому, было обвинение М. Валерия Мессалы (Gell. xv. 14). Примерно в это же время К. Флавий Фимбрия был обвинен М. Гратидием и оправдан, несмотря на враждебные показания М. Аэмилия Скавра (Cic. *pro Font.* 11. 24; *Brut.* 45. 168; Val. Max. viii. 5. 2; Rein *Criminalrecht* p. 649); но даже если вместе с Рейном отнести это дело к 106 г., а не ко времени более позднему, чем консульство Фимбрии, судебный закон должен был быть подготовлен до суда.

[1208] Cassiodor. *Chron.* Per Servilium Caepionem consulem judicia equitibus et senatoribus communicata. Obsequens 101 (39) Per Caepionem cos. senatorum et equitum judicia communicata.

[1209] Tac. *Ann.* xii. 60 Cum ... Serviliae leges senatui judicia redderent.

[1210] Cic. *de Inv.* i. 49. 92 Offensum est quod eorum qui audiunt voluntatem laedit: ut si quis apud equites Romanos cupidos judicandi Caepionis legem judicariam laudet.

[1211] Pp. 135, 213.

[1212] Cic. *Brut.* 43, 161; *pro Cluent.* 51, 140.

[1213] Cic. *de Or.* ii. 59. 240, 66. 264. Очень вероятно, что эта атака на Меммия относится к речи о законе Сервилия.

[1214] Cic. *Brut.* 44. 164 Mihi (Ciceroni) quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio.

[1215] Cassiod. *Chron.*; Obsequens 101 (39) (цитируется с, 478).

[1216] Цицерон, выступая в 70 г. до н. э., говорит, что эквиты владели судами в течение почти пятидесяти лет, т. е. вплоть до принятия закона Корнелия в 81 г. до н. э. (Cic. *in Verr. Act.* i. 13. 38).

[1217] [Cic.] *ad Herenn.* i. 15, 25, iv. 24. 34; *de Rep.* i. 3. 6; *pro Balbo* II. 28.

[1218] Cic. *de Orat.* iii. 8. 29; *Brut.* 35. 132.

[1219] Цицерон, рассказывая о последовательных поражениях Катуты на выборах, говорит: Praeposuisse (populum Romanum) Q. Catulo, summa in familia nato, sapientissimo et sanctissimo viro, non dico C. Serranum, stultissimum hominem, (fuit enim tamen nobilis,) non C. Fimbriam, novum hominem, (fuit enim et animi satis magni et consilii,) sed Cn. Mallium, non solum ignobilem, verum sine virtute, sine ingenio, vita etiam contempta ac sordida (*pro Planc.* 5. 12).

[1220] Val. Max. ii. 3. 2. Изменения, внесенные в военную систему Рутилием, будут объяснены в следующей главе.

[1221] Ulp. в *Dig.* xxxviii. 2, i. i. Моммзен (*Staatsr.* iii. p. 433) считает, что консул 105 года - это "претор Рутилий" из рассказа Ульпиана.

[1222] Gaius iv, 35 (Praetor Publius Rutilius), qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur. См. Bethmann-Hollweg *Civilprozess* ii. p. 671. Здесь снова, вероятно, имеется в виду консул 105 года.

[1223] Cic. *Brut.* 30. 113, 114.

[1224] Катастрофа в Араузио произошла 6 октября (Plut. *Luc.* 27). Консулы на следующий год, возможно, еще не были избраны, так как в это время не было установленной даты консульской комиции. Ср. с. 364 и см. Sall. *Jug.* 114.

[1225] Cic. *Brut.* 34. 129; *de Orat.* ii. 22. 91.

[1226] Liv. *Ep.* lvi. (см. следующее примечание). О вероятной дате принятия этого закона (151 г. до н. э.) см. Mommsen *Staatsrecht* i. p. 521.

[1227] Liv. *Ep.* lvi Cum bellum Numantinum vitio ducum non sine pudore publico duraret, delatus est ultro Scipioni Africano a senatu populoque Romano consulatus; quem cum illi capere ob legem, quae vetabat quemquam iterum consulem fieri, non liceret, sicut priori consulatu, legibus solutus est.

[1228] Plut. *Mar.* 12 [Greek: kai to deuteron hypatos apedeichthae, tou men nomou koluontos aponta kai mae dialiponta chronon horismenon authis aireisthai, tou de daemou tous antilegontas ekbalontos]. Плутарх добавляет, что народ вспомнил о поблажке, предоставленной Сципиону, когда планировалось уничтожение карфагенской державы. Возможно, это ошибочное упоминание о поблажке, предоставленной Сципиону во время Нумантинской

войны. См. Liv. *Ep.* lvi. (цитируется в последнем примечании); Cic. *pro Leg. Man.* 20. 60 и Mommsen *Staatsr.* I.c. Что касается нарушения, связанного с отсутствием Мария, то сомнительно, что Плутарх прав, полагая, что в это время требовалась личная *профессура*. См. Mommsen *Staatsr.* i. p. 504. Возможно, нарушение заключалось в том, что официальной кандидатуры вообще не было. Другие упоминания об этом избрании Мария можно найти в Sall. *Jug.* 114; Vellei. ii. 12; Liv. *Ep.* lxvii.

[1229] Sall. *Jug.* 114, Marius consul absens factus est, et ei decreta provincia Gallia.

End of Project Gutenberg's A History of Rome, Vol 1, by A. H. J. Greenidge